



ШИЛЛЕР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В СЕМИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ



СТИХОТВОРЕНИЯ
ДРАМЫ В ПРОЗЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955

*Издание осуществляется
под общей редакцией*

Н. Н. ВИЛЬМОНТА и Р. М. САМАРИНА

Переводы с немецкого.

*Вступительная статья
Н. Н. ВИЛЬМОНТА*



Ф Р И Д Р И Х Ш И Л Л Е Р

1759—1805

1

Передовые люди всего мира издавна чтут великого немецкого поэта и драматурга Фридриха Шиллера как благородного борца за раскрепощение человечества. Вместе с Гете Шиллер воспитывал свой народ в безграничной вере в лучшее будущее, вместе с Гете внушал немецкому обществу и всем народам, что «золотой век» надлежит искать не в прошлом, а в грядущем. «Гимн свету» — таково название стихотворения, задуманного поэтом накануне смерти и оставшегося ненаписанным. Гимном свету было и все творчество Шиллера в конечном его устремлении.

С осени 1781 года, когда появилась на книжном рынке первая драма Шиллера — «Разбойники», и до 9 мая 1805 года, последнего дня его замечательной жизни, не прошло и четверти века. За этот скромно отмеренный ему отрезок времени Шиллер успел обогатить немецкую и мировую культуру непреходящими ценностями. Его творческий вклад в литературу — художественную, историографическую, философскую — поражает грандиозностью масштабов; особенно если принять во внимание, как часто тяжелый недуг прерывал его напряженную работу.

Шиллер — один из крупнейших представителей «старой великой германской поэзии»¹, мощно участвовавшей в формировании национального сознания немцев, в борьбе за единое германское государство. Творения Шиллера пробуждали в

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 30, стр. 335.

немецком народе протест против политического и социального гнета, царившего в Германии конца XVIII—начала XIX века, против феодальной раздробленности немецких земель.

Прав был великий русский критик В. Г. Белинский, видевший в поэзии Шиллера «намек на будущее Германии»¹, на еще чуждое его соотечественникам *живое и разумное действие*. А под таковым Белинский понимал вооруженное восстание немецкого народа против злейших его врагов — властителей тогдашней Германии. Немецкому полуфеодальному застою, произволу многочисленных самодержавных князей Шиллер противопоставил свои высокие гуманистические идеалы, идею *народовластия*. Он мечтал о новом, народном государстве, о «гармоническом обществе», не знающем ни сословий, ни классов.

Эта светлая мечта стояла перед глазами Шиллера и тогда, когда он создавал свои ранние бунтарские драмы, в которых пригвоздил к позорному столбу отсталое немецкое общество XVIII века, и тогда, когда, к концу своей безвременно оборвавшейся литературной деятельности, стал проникаться верой в созидательные силы народных масс, в их способность преобразить историю человечества. В «Валленштейне», в «Орлеанской деве», в «Вильгельме Телле» Шиллер по-разному ставит и разрешает проблему народности. Если в «Лагере Валленштейна» народ (вернее, его вооруженные представители) — всего лишь грозная материальная сила, которую хотят себе подчинить гла-вари враждующих партий, если в «Орлеанской деве» простая крестьянка возглавляет разбитое войско королевской Франции, чтобы избавить родину от британского ига, то в «Вильгельме Телле» народ смело борется за собственные права, за свободу — против тирании, против ставленников антинародной власти.

К какому бы драматическому конфликту, к какой бы трагической странице немецкой или всемирной истории Шиллер ни обращался, его сердце всегда на стороне угнетенных, на стороне борцов за раскрепощение человечества. Такой всеобъемлющий гуманизм, такое «пламенное сочувствие всему, чем благороден и силен человек»², сообщает творчеству Шиллера черту несокрушимого оптимизма, делает Шиллера наиболее популярным представителем немецкой классической литературы.

¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 136.

² Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 507.

Пора поэзии Шиллера «не прошла и никогда не пройдет, пока человек будет стремиться к чему-нибудь лучшему, нежели окружающая его действительность»¹. Героический театр Шиллера, его вольнолюбивая лирика всегда укрепляли немецкий народ в борьбе за национальное единство и демократическую свободу. Так было во время освободительной войны, которую немцы плечом к плечу с русскими повели против иноземного владычества Наполеона. Так было во время революции 1848 года, когда с баррикад восставшего народа звучало вдохновенное слово Шиллера. Революционный авангард немецкого пролетариата всегда смотрел и смотрит на себя как на законного наследника благороднейших заветов Шиллера. В наши дни славное имя поэта особенно дорого немецкому народу. Подобно тому, как на стыке XVIII и XIX веков Шиллер неустанно ратовал за национальное объединение немцев, за демократическое германское государство, так все немецкие патриоты современности стремятся покончить с национальным расколом и воссоединить свое отчество на демократической основе.

Творчество Шиллера давно принадлежит не только немецкому народу, но и всему человечеству. Передовое русское общество высоко ценило великого немецкого поэта. Героический пафос его освободительных идей, его пламенный протест против векового гнета правящих классов были близки Белинскому, Герцену, всем русским революционным демократам.

Каждый подъем революционной борьбы русского народа сопровождался новым увлечением поэзией Шиллера. Известно, как горячо принимали в годы гражданской войны наши революционные рабочие, комсомольцы, воины геропческой Красной Армии драмы немецкого поэта. Об этом достаточно красноречиво свидетельствуют романы А. Толстого и К. Федина, посвященные теме гражданской войны. «Разбойники», «Коварство и любовь», «Дон Карлос» заняли почетное место в репертуаре советского театра первых лет Великой Октябрьской социалистической революции. И эту свою популярность они сохраняют вплоть до наших дней.

Советское литературоведение стремится обнять жизнь и творчество великих писателей прошлого в целом, со всеми их внутренними противоречиями. Мы полагаем, что слова Энгельса:

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, стр. 507.

«И Гете был не в силах победить немецкое убожество; напротив, оно побеждает его; и эта победа убожества (*misère*) над величайшим немцем является лучшим доказательством того, что «изнутри» его вообще нельзя победить»¹, в известной мере приложимы и к Шиллеру. Экономическая и политическая отсталость его родины не позволила ему, как и многим другим выдающимся его современникам, принять якобинскую диктатуру, *революцию как метод*. Именно в годы наибольшего подъема первой французской буржуазной революции Шиллер (не без влияния идеалистической философии Канта) утверждал, что истинную свободу надо искать не на этой земле, а в идеальном «царстве прекрасной видимости».

Но такой вывод не был окончательным: великий поэт никогда не останавливался в своем развитии. Об этом, в частности, свидетельствует высказывание Гете (от 18 января 1825 года), записанное Эккерманом: «С недели на неделю Шиллер становился другим... При каждой новой встрече он казался мне все более начитанным, все более зрелым в своих суждениях». Не могло удовлетворять Шиллера, натуру страстную, волевую, и пребывание в абстрактном «царстве прекрасной видимости». С годами он все больше сочувствовал реальным достижениям французской революции. Проблемы *нации, свободы* ставились и разрешались им в духе идей, утвердившихся в революционной Франции. Все более близкой, все более осуществимой ему представлялась победа новых сил истории над отжившим общественным строем.

Весь путь Шиллера, поэта, мыслителя, патриота, был постоянным стремлением вперед к познанию и осуществлению человеческого счастья. Цель настоящего критико-биографического очерка — ознакомление советского читателя с важнейшими вехами в художественном и философском развитии великого немецкого поэта.

2

Иоганн-Христоф-Фридрих Шиллер родился 10 ноября 1759 года в швабском городке Марбахе, входившем в состав герцогства Бюртембергского. Его предки — исконные обитатели Швабии, некогда виноградари, позднее, в большинстве своем, городские ремесленники: булочники, часовщики, портные.

Отец поэта, Иоганн-Каспар Шиллер, человек недюжинный, хотя и без всякого образования, всю жизнь стремился «выйти

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 142.

в люди». В юные годы он изучил «хирургическое искусство», служил военным фельдшером, потом сделался прапорщиком, принял участие в Семилетней войне, служа в войсках австрийской императрицы Марии-Терезии, и, выйдя в отставку в чине лейтенанта, избрал себе местом жительства город Марбах. Думая поправить свои дела выгодной женитьбой, Иоганн-Каспар оставил свой выбор на Доротее Кодвейс, дочери владельца гостиницы «Золотой лев». Но родители его жены, слывшие зажиточными горожанами, вскоре разорились, и это заставило отставного офицера снова поступить на военную службу. Иоганн-Каспар долго тянул служебную лямку. Исправляя мало привлекательную должность вербовщика, он дослужился до чина капитана и под конец жизни, выйдя в отставку в чине майора, стал лесничим, «смотрителем древесных насаждений герцога Бюргенбергского», — мирный, но не слишком блестящий итог долгих жизненных испытаний.

Мать Шиллера, женщина добрая, но обезличенная энергичным и властным супругом, не могла оказывать заметное влияние на своего гениального сына. Семья скромного «офицера из мещан» не раз меняла место жительства. То это был Людвигсбург, новая резиденция герцога, где по широким улицам и аллеям гуляли придворные в шелковых фраках, военные в богато расширенных мундирах и гренадеры в высоких касках, сходных с колпаком весельчака Петрушки. Вдали, на западе, высился тюремный замок Гогенasperg. Со страхом и скрытой ненавистью взирали на него горожане, зная, что в его казематах томится немало узников, неосторожно отзавшихся о властях предержащих.

Позднее, по воле военного начальства, семья Шиллеров проживала в деревне Лорх и местечке Гмюнд, где в тесном кольце городской стены взамен изящных построек XVII века возводились средневековые башни и колокольни, а по обе стороны улиц в сажень шириной плотно жались друг к другу узкие фасады готических домов. Близ каждого города и селения стояла на холме большая виселица. «Это мышеловка?» — спросил капитана во время одного из частых переездов маленький Фрид, — и впервые услышал в ответ поучительный рассказ о преступлениях и неминуемых карах, о ворах и конокрадах, о беглых солдатах и страшных разбойниках, живущих в густом лесу вместе с волками и лисами.

Так постепенно из пестрых впечатлений, из разговоров взрослых складывалась в сознании мальчика картина немецкой действи-

вительности — тот мир, в котором предстояло жить великому поэту.

Творческая деятельность Шиллера почти целиком протекала во второй половине XVIII века. Согласно классическому определению Ф. Энгельса, Германия той поры (состоящая из множества самостоятельных государств Священная Римская империя германской нации) «была одна гниющая и разлагающаяся масса... Крестьяне, торговцы и ремесленники испытывали двойной гнет: кровожадного правительства и плохого состояния торговли... Все было скверно, и в стране господствовало общее недовольство. Не было образования, средств воздействия на умы масс, свободы печати, общественного мнения, не было сколько-нибудь значительной торговли с другими странами; везде только мерзость и эгоизм... Все прогнило, колебалось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что в народе не было такой силы, которая могла бы смести разлагающиеся трупы отживших учреждений»¹.

Всему этому родина поэта — герцогство Вюртембергское — служила наглядным примером. Неограниченным властителем этой злосчастной страны был герцог Карл-Евгений. Много мрачных и преступных имен занесено в анналы немецкой истории, но это имя, тесно связанное с судьбами поэта-страдальца Христиана-Даниэля Шубарта и молодого Шиллера, принадлежит к именам, наиболее ненавистным немецкому народу.

Жестокий и вздорный, распутный и расточительный, Карл-Евгений довел Вюртембергское герцогство до крайнего разорения. Истощив страну непосильными налогами и чрезвычайными изъятиями, он повел широкую торговлю собственными подданными — занятие, достаточно распространенное среди немецких государей XVIII века.

Карл-Евгений стольких разорил и обездолил, столько погубил человеческих жизней, что и сам порою удивлялся народному долготерпению, а потому почел разумным выпустить по случаю своего пятидесятилетия покаянный манифест, в котором открыто признал греховность своих былых деяний и обещал впредь лучше управлять страной, «содействуя ее благоденstвию и просвещению». Что касается посула «благоденstвия», то это был всего лишь приличный случаю пустопозван казенного красноречия; напротив, упоминание о «просвещении» подданных, к сожалению,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 6—7.

имело некоторое основание: в 1772 году Карл-Евгений преобразовал Дом солдатских сирот, где питомцы обучались различным ремеслам, в военную школу, а вскоре и в академию.

Академия Карла — так называлось теперь это учебное заведение — готовила не только офицеров, но и юристов, медиков, а также живописцев и архитекторов. Желая привить ученикам академии чувство слепой преданности своей особе, герцог подчинил их чрезвычайному режиму: его воспитанники не знали каникул, их переписка с родными была строго ограничена и подчинена тщательному контролю, встречи с родителями допускались лишь в исключительных случаях и не иначе, как в присутствии надзирателей. Ученикам вменялось в обязанность друг за другом шпионить; они были строго подразделены на детей дворян, офицеров, чиновников, простых обывателей, и общение между этими различными категориями учащихся находилось под запретом.

Карл-Евгений объявил себя «верховным ректором» своей академии. Утратив интерес к маневрам и военным парадам, он школил и истязал теперь своих воспитанников. Последних он набирал во вновь основанную академию теми же методами послушов и принуждений, какие пускались в ход при вербовке рекрутов. Мог ли противиться герцогскому повелению отдать в академию единственного сына капитан Иоганн-Каспар Шиллер, когда отказ означал бы потерю службы, составлявшей единственный источник существования его большой семьи? Так, в январе 1772 года, против отцовского и собственного желания, тринадцатилетний Фридрих Шиллер поступил в заранее ненавистное ему учебное заведение, с тем чтобы покинуть его лишь восемь лет спустя, на двадцать втором году жизни.

Отзываясь позднее о педагогических затеях Карла-Евгения, Шиллер назвал своего «августейшего» воспитателя «новым Девкалионом», в отличие от мифического превращавшим «не камни в людей, а людей в камни».

Но он, Шиллер, не окаменел душой в стенах герцогской академии. Ни карцер и капральская палка, ни жестокое решение герцога лишний год продержать беспокойного студента в своем «питомнике рабов» (так называл Академию Карла поэт Шубарт), ни постоянное чувство поднадзорности не могли сломить отважного юношу. Именно здесь, в Академии Карла, он почерпнул огромный обвинительный материал против князей и господствующего класса тогдашней Германии.

Конечно, Шиллер не мог бы произнести столь суровый обвинительный приговор над властью имущими, если бы сквозь стены казармы, где жили в отрешенности от мира воспитанники Карла-Евгения, не проникало могучее веяние передовой немецкой литературы XVIII века, которая на протяжении всего лишь одного десятилетия дала человечеству «Эмилию Галотти» и «Натана Мудрого» Лессинга, «Геза фон Берлихингена» и «Страдания юного Вертера» Гете, знаменитую «Ленору» и другие народные баллады Бюргера, бунтарские оды и памфлеты Шубарта. Вся эта «высочайше запрещенная» разоблачительная литература ходила по рукам среди воспитанников Академии Карла.

Но идеи, волновавшие умы передовых немецких людей, вторгались в Академию Карла и «узаконенным» путем. Воспитанникам читался курс философии — сначала, правда, рутинером Яном, строго державшимся философских прописей старика Вольфа, но потом сменившим его талантливым (при всей эклектичности его взглядов) молодым профессором Абелем. Последний знакомил своих слушателей с французскими материалистами (Дидро, Гольбахом, Гельвецием), с воззрениями «мятежного женевца» Жан-Жака Руссо, с англо-шотландскими философами-моралистами (Шефтсбери, Болингброком).

Главная заслуга Абеля заключалась в его умении приохватывать молодую аудиторию к собственной оценке жизненных явлений. Мало оригинальный, но тем более впечатлятельный мыслитель, Абель обращался также к новейшим идеям поэтов «бури и натиска» (Клингера, Ленца, молодого Гете). В частности, у них почерпнул он своеобразную теорию «отступления от юридических норм», учение об «аномалиях ума и сердца», в которых обнажаются душевые силы, в обычной жизни почти незаметные.

Под рубрику «преступления» Абель, маскируя свое сочувствие революционному протесту народных масс, подводил также и бунт против существующего порядка. Не без основания некоторым исследователям слышатся «абелевские интонации» в авторецензии Шиллера на «Разбойников», анонимно опубликованной в январском номере «Вюртембергского репертуара литературы» за 1782 год. «Мне во всяком случае, — пишет здесь Шиллер, — представляется, что выдающимся преступникам присуща столь же большая сила духа, как и выдающимся праведникам». Интерес ко всем видам протеста против существующих порядков — от разбоя удалого атамана Зонненвирта до высокой героики грядущего «нового Брута», интерес к конфликту между

героем-народолюбцем и порочным государством завладели Шиллером еще на школьной скамье.

Именно такой конфликт положен в основу первой юношеской драмы Шиллера — «Разбойники», да, собственно, и *всего* его творчества.

3

Шиллер начал писать «Разбойников» в 1780 году, еще в стенах Академии Карла. «Тяга к поэзии оскорбляла законы заведения, где я воспитывался, и противоречила замыслам его основателя,— вспоминал он позднее.— Восемь лет боролось мое одушевление с военным порядком. Но страсть к поэзии пламенна и сильна, как первая любовь. То, что должно было ее задушить, разжигало ее». Шиллер набрасывал отдельные сцены «Разбойников» урывками — по ночам, на дежурствах в лазарете. Завершена драма была в 1781 году, когда, по окончании медицинского факультета академии, Шиллер перебрался в Штутгарт, получив назначение в один из гренадерских полков Карла-Евгения на должность лекаря «без права заниматься частной практикой и носить партикулярную одежду» (явный знак «августейшего неблаговоления»!).

Сюжет «Разбойников» — история враждующих братьев — был почерпнут Шиллером из новеллы поэта Шубарта. В ней повествовалось о двух сыновьях богатого дворянина — Карле, предавшемся юношескому разгулу, но по существу благородном юноше, и Вильгельме — коварном, расчетливом, лишенном всяких моральных устоев. Прибегая к обману и подлогам, Вильгельм ссорит отца с прямодушным Карлом и тем обрекает брата на нищенское существование. Позднее Карл становится батраком-лесорубом невдалеке от родного замка и волею случая спасает отца от руки замаскированных бандитов, подосланных коварным Вильгельмом. Отец узнает правду о своих сыновьях. Любящий сын Карл поконит его старость, а Вильгельм, прощенный отцом по просьбе незлобивого брата, но ничуть не раскаивающийся, возглавляет религиозную секту зелотов в одном из отдаленных углов Германии. Этой историей, в основе которой лежало истинное происшествие, Шубарт предлагал воспользоваться кому-нибудь из пишущей братии для более развернутого повествования или драмы.

Безвестный студент Академии Карла принял этот вызов. Рукою прирожденного драматурга, пусть еще юношески нетвер-

дой, он воплотил в своих «Разбойниках» наиболее острые и жизненные противоречия века. Другое дело, что Шиллер, как мы увидим, не дал верного истолкования этим типичным для тогдашней Германии социальным противоречиям, как не наметил в своей первой драме и путей возможного их преодоления. Но поставленные друг против друга в остром драматическом конфликте, эти противоречия уже не могли выпасть из поля зрения современников и ближайшего потомства.

«Разбойники» непосредственно примыкают к славному ряду великих произведений немецкой классической литературы XVIII века. Но это не значит, что юный Шиллер учился лишь на лучших ее образцах, что его увлекали только такие вещи, как «Вертер» и «Гец» или «Эмилия Галотти». Порой ему казалось, что протест против удушающей немецкой действительности и всех ее обветшальных устоев выражен с большей силой,— по сравнению не только со сдержаным Лессингом, но и с Гете,— у таких представителей литературы «бури и натиска», как Клингер и Лейзевиц. Оторванный от внешнего мира, воспитанник Академии Карла не видел, как быстро менялась духовная жизнь Германии, не знал, что группа «бури и натиска» к концу 70-х годов уже распалась, что постоянный конфликт их драматических произведений — столкновение между неукротимым гением и стесняющей средой — значительно утратил свое обаяние, казался уже беспредметным. Гете, признанный глава «бурных гениев» (другое название упомянутой группы), впрочем, с самого начала вносил в неистовое бунтарство своих соратников более определенное содержание (призыв к объединению Германии в «Геце», развернутую критику немецкого общества в «Вертере»).

Шиллер, еще столь восприимчивый к неистовому пафосу своих старших современников, руководствуясь верным инстинктом, продолжал дальнейшую конкретизацию проблематики, выдвинутой «бурными гениями». Он четко назвал в первой же своей драме реальных виновников народных бедствий: владельческого князя, ministra, лукавого попа, продавца почетных чинов и должностей, раболепных чиновников,— и столь же четко указал на единственную форму вооруженного протesta народных масс, знакомую тогдашней Германии. Избрание героем драмы *разбойника* — не пустая дань юношескому романтизму. Толки о великолдуших разбойниках, щадивших простой народ и порою щедро делившихся с бедняками своей добычей, не переставал и занимать народную фантазию. В самый год написания «Раз-

бойников» была раскрыта и уничтожена в баварских лесах разбойничья шайка, насчитывавшая более девяносто человек. Имена знаменитых атаманов Зонненвирта и Матиаса Клостермейера помнились всеми. Примечательно, что оба они, подобно разбойнику Моору, мучились раскаянием, а первый из них и вправду предал себя в руки правосудия.

Так смутное бунтарство «бурных гениев» обрядилось в «Разбойниках» в конкретную форму стихийного народного протеста.

Шиллер привнес в немецкую драматургию еще одно существенное качество. Идеи большого революционного накала встречались у многих его предшественников и современников. Но Шиллер отвел *идеям, идеологии* совсем особое место. «До сих пор обычно довольствовались тем, — писал он в предисловии к «Философским письмам», — что рассматривали страсти в их крайностях, заблуждениях и последствиях, не принимая в расчет того, как тесно они связаны с системой мышления индивида». Не так в его собственной драматургии. Уже первое его произведение («Разбойники»), как мы убедимся в дальнейшем, — трагедия не только страстей, но и *философских воззрений*, которые, завладев сознанием героев, отуманивают их разум и тем вернее приводят к неизбежной гибели.

И Карл и Франц, главные герои драмы, — враждующие братья, сыновья владетельного графа Моора — бесконечно пересли свои литературные прототипы: Карла и Вильгельма из краткой новеллы Шубарта. У Шиллера Карл не только пылкий юноша, предающийся широкому разгулу: его студенческие проказы, ввергающие в трепет лейпцигских обывателей, — своеобразная форма протesta и бунта против существующего порядка, бунта, стоящего в прямой связи с его ненавистью к «веку бездарных борзописцев», к поколению, не способному на «великие деяния». Карл мечтает стать во главе войска таких же молодцов, как он сам, чтобы преобразить Германию в республику, «рядом с которой Рим и Спарта покажутся женскими монастырями».

Но, всматриваясь в немецкую действительность, презирая «хилый век кастраторов», не способных на «великие деяния», Карл Моор, так страстно грезивший за чтением Плутарха республиканским строем и античной добродетелью, вместе с тем не верит в осуществимость своих мечтаний. Мы знакомимся с главным

героем драмы в тот кризисный час его жизни, когда он уже намерен отказаться от благородной цели: «*ferro et igne*» (железом и огнем) оздоровить немецкое общество, уже готов перейти из лагеря «вольнолюбивых буршай» в лагерь «благонамеренных филистеров». Он малодушно стремится к «иным радостям» — к мирной жизни «в объятиях Амалии», своей невесты, воспитанницы старого Моора.

Коварные интриги Франца делают невозможным задуманное бегство под «тень дедовских рощ». Вопреки просьбе старика Моора: «...не доводи моего сына до отчаяния», Франц безжалостно возвещает брату родительское проклятие, лишение наследства. Сознание, что ему, еще вчера предпочтенному сыну и — по праву первородства — законному наследнику владетельного графа, заказаны не только «великие деяния», но даже тихие «домашние усадьбы», приводит пылкого юношу к возмущению, к бунту: «Я могу улыбаться, глядя, как мой заклятый враг поднимает бокал, наполненный кровью моего сердца... Но если кровная любовь предает меня, если любовь отца превращается в мегеру, о, тогда возворись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий ягненок!»

Филистерский застой университетского городка сам по себе еще не сделал бы из молодого мечтателя разбойничьего атамана. Только сознание полной испорченности людского племени, каким оно сложилось под воздействием вековой политической и социальной неправды («Поцелуй на устах и кинжал в сердце!»), доводит Карла Моора до великого гнева; только перед лицом утраты «семейного рая» — этого, по его убеждению, последнего убежища человека от зла, царящего в мире,— решается он на попрание существующих законов, становится разбойником, мстителем за униженных и оскорблennых. Более того, к чувству ненависти должно было приобщиться *иное чувство*, прежде чем Карл вооружился разбойничьим кинжалом, чтобы «нанести жгучую рану людскому племени, этому порождению ехидны». Имъ этому чувству — отчаяние.

«Выбора? У вас нет выбора? — иронически вопрошаet Шпигельберг.— А не хотите ли сидеть в долговой яме и забавлять друг дружку веселыми анекдотами?.. Не то можете потеть с мотыгой и заступом в руках из-за куска черствого хлеба! Или с жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню! Можно также облечься в серое сукно, ...а там, повинуясь самодуру-капралу, пройти все муки чистилища или

в такт барабану прогуляться под свист шпипрутенов!.. А вы говорите: выбора нет! Да выбирайте любое!»

Как ни отличается Карл — силою духа, моральным пафосом, политическими идеалами (пусть они смутны и противоречивы!) — от пройдохи Шпигельберга и прочих «распутных молодых людей, позднее разбойников», нельзя не помнить, что и перед ним, не в меньшей мере, чем перед его товарищами, *не было теперь выбора*. (На деле, конечно, так только казалось Карлу, поскольку он не чуял обмана в письме коварного брата.)

И все же решение стать разбойником, уйти в богемские леса, не было для Карла Моора одним лишь актом отчаяния. Несправедливость, которую он претерпел, для него — красноречивейший обвинительный материал против лицемерного века, породившего людей, «чьи слезы — вода, чьи сердца — железо», главный довод, позволяющий ему смотреть на себя и свою шайку как на «карающих ангелов», призванных восстановить на земле поруганную «божественную справедливость», «Этот рубин,— воскликнет он в сознании своей правоты, своей причастности к «высшей премудрости», — снят с пальца одного министра... Падение предшественника послужило ему ступенью к высоким почестям; он всплыл на слезах обобранных сирот. Этот алмаз я снял с одного советника, который продавал почетные чины и должности... и прогонял от своих дверей скорбящего о родине патриота. Этот агат я ношу в память о гнусном попе, которого я придушил собственными руками за то, что он в своей проповеди плакался на упадок инквизиции».

Но, вменяя себе в заслугу страшный суд над высокородными влodeями, Карл вместе с тем содрогается при мысли о том, что рука разбойника помимо его воли поражает также и безвинных. К тому же он видит, что им повергаются во прах одни лишь «пигмеи», «титаны» же, истинные виновники социального зла, полно-властно царившего в Германии, остаются безнаказанными.

Так Шиллер заставляет своего героя постепенно проникнуться убеждением, что его замысел «восстановить закон беззаконием» несостоятелен. Но это горестное сознание не приводит Карла Моора к идее необходимости всенародной борьбы за новую законность, за другую, лучшую жизнь «под демократическим небом». Моор, романтический бунтарь, благородный разбойник, так и не становится революционером. Напротив, он сознает себя «неразумным мальчишкой», беззаконно посягнувшим на «право возмездия», принадлежащее, как он теперь полагает, одному

лишь господу богу. Если Карл в первом действии хочет бежать под «тень дедовских рощ», в объятия своей Амалии, то к исходу второго действия он мечтает забиться в темную щель, в мрак безвестности. Только опасность, грозящая его товарищам,— окружение богемских лесов карательными отрядами правительства,— заставляет разбойника Моора не прекращать борьбы, вступить в неравный бой с сильнейшим противником.

В постоянных колебаниях разбойника Моора, во все более овладевающей его сознанием вере в то, что бог, допустивший зло существующего миропорядка, в нужный час сам, без его помощи, восстановит «нарушенную гармонию», с достаточной четкостью отражается общее неверие бургерских классов тогдашней Германии в свою способность насильственно покончить со столь живучим немецким феодализмом.

Не может не броситься в глаза налет религиозного мышления, лежащий на мятежных речах, равно как и на горьких сомнениях разбойника Моора в нравственной правомерности чинимой им кровавой расправы. Никакие ссылки ученых филологов на литературные источники «Разбойников» (поэзию Мильтона, Клопштока) не разъясняют этого глубоко не случайного обстоятельства. Здесь, надо думать, мы имеем дело со своеобразной национальной революционной *традицией* — традицией, восходящей к немецким религиозно-политическим войнам XVI века. Величайшая из незавершенных западноевропейских буржуазных революций позднего средневековья — Реформация и Крестьянская война в Германии 1525 года — кончилась неслыханным разгромом восставшего народа. Тридцатилетняя война завершила этот разгром, вытолкнув все, что было в Германии еще способно сопротивляться феодальному гнету. Разодранная на части (на триста почти самостоятельных государств) Германия с тех пор не знала народно-повстанческих движений. Но память о великой гражданской войне, «когда немецкие крестьяне и плебеи носились с идеями и планами, которые довольно часто приводили в содрогание и ужас их противников»¹, память о бурных временах, когда Томас Мюнцер имел революционную смелость выводить из богословской мысли о «равенстве перед богом» политическую мысль о равенстве гражданском и имущественном, достаточноочно прочно укоренилась в народном сознании. Отсюда и неизжитое «низами»

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. VIII, стр. 115.

немецкого общества ложное представление о неразрывности двух понятий — «революции» и «религии». Так удивительно ли, что молодой Шиллер, плоть от плоти немецкого плебейства XVIII века, наделил своего героя религиозно-политическими воззрениями из арсенала 1525 года?

Напротив, антипод великолепного Карла — злодей и интриган Франц Моор — изображен юным автором «Разбойников» как вульгарный материалистический атеист. Понятно и последнее. Немецкий мелкобуржуазно-революционный идеалист, Шиллер (тем более в ранний свой период) не был способен понять всемирно-историческое значение материализма XVIII века, не видел в нем прогрессивной идеологии, сокрушающей устои феодально-абсолютистского общества. Для него материализм был мировоззрением ненавистной ему аристократии (сопрапезников Фридриха II, клевретов Карла-Евгения) — аристократии, часть которой и в самом деле на свой лад и в своих интересах усвоила некоторые стороны материалистической философии.

Аргументами, почерпнутыми из *механического материализма XVIII века*, аристократия по сути лишь подкрепляла собственную, практически уже сложившуюся *философию наслаждения*. Именно слабая сторона материализма просветителей — их неспособность охватить методом материалистического мышления также общественные, исторические явления — и привлекала к себе европейскую (в частности немецкую) аристократию, позволяя ей выводить из новейшего философского учения далеко не новые своеобразные взгляды. Неверная, односторонняя (ибо не учитывающая активной, жизнепреобразующей деятельности человека) *теория детерминизма* материалистов XVIII века понимала мир как бездушный механизм, управляемый геометрической и механической закономерностью. Перед «железным богом меры и числа», перед этой всеобуславливающей *непреложной* необходимостью — последовательно рассуждая — добро и зло равнозначны, всякая моральная оценка неправомерна (сколько бы ни возмущалось против этого сердце униженного человека, испытывая гнет неравенства).

Революционные буржуазные материалисты не считались с таким пессимистическим выводом из их же теорий и, вопреки ему, страстно боролись за свободу и равенство, против социальной несправедливости. Иное дело аристократы. Их меньше всего беспокоило исчезновение с «обезбоженной земли» всех и всяких моральных оценок,—при условии, конечно, чтобы в тайну такого

абсолютного морального нигилизма не был посвящен простой народ (включая сюда и буржуа). «Честное имя, совесть? Что говорить, весьма похвальные понятия,— иронизирует Франц Моор.— Дураков они держат в решекте, чернь — под каблуком, а умникам развязывают руки».

В этой своей аристократической, антинародной форме материализм (каким он предстает перед нами, скажем, в философии Гобса) становится предметом ненависти радикальной буржуазной оппозиции как в Англии, так позднее и во Франции, не говоря уже об экономически и политически отсталой Германии. Более того, нередко радикальные буржуа и плебеи (такие их идеологи, как Руссо, Робеспьер) распространяли свою ненависть и на материалистическое мировоззрение в целом. То же следует сказать и о молодом Шиллере.

Моральный нигилизм аристократов, столь ненавистный автору «Разбойников», их вульгарный физиологический материализм, отчасти восходивший к сочинениям Ламеттри, всего более раскрывается в монологе Франца над телом отца (которого он считает умершим): «Теперь долой тягостную личину кротости и добродетели!.. Мой отец не в меру подслащал свою власть... Он гладил и ласкал строптивую выю. Гладить и ласкать — не в моих обычаях. Я вонжу в ваше тело зубчатые шпоры и заставлю вас отведать кнута. Скоро в моих владениях картофель и жидкое пиво станут праздничным угождением... Бледность нищеты и рабского страха — вот цвет моей ливреи. И я одену вас в эту ливрею».

Такова политическая программа нового мелкого тирана, ценою преступлений, в обход первенцу Карлу, ставшего «владельческим графом Моором». Все интриги и злодеяния Франца в его собственных глазах «оправданы» усвоенной им философией. Отцеубийство, вероломство по отношению к брату, стремление обольстить его невесту Амалию — на все это Франц идет с хладным сердцем и разумом, не щадя ни одной «моральной святыни» на дороге, ведущей его к власти, к богатству, к почестям.

Напротив, благородный правдолюбец Карл решился на «беззаконие» не раньше, чем пришел к горькому убеждению, что в «законопослушном» мире не осталось ни одного уголка, не пораженного всеобщей моральной и социальной скверной, что даже его отец, которого он так любил, не возвышается над «стаей гиен», над людьми, которые от него, Карла, «заслоняют человечество».

В какую же трагическую безду бросает его открытие, что все, из чего он исходил, принимая решение «восстановить закон беззаконием», — лишь подлый обман, бессовестная подтасовка Франца, что старик отец хотел простить его, Амалия осталась ему верна, семейный рай для него не закрывался! Для Карла это открытие означало не только потерю возможного земного счастья, но вместе с тем и утрату наиболее веского довода, позволившего ему взять на себя роль восстановителя попранной правды: «Обманут, обманут!.. Убийца, разбойник! И все из-за... черных козней!.. О, я слепой, слепой глупец!»

Перед лицом неисчислимых бедствий (самоубийство брата, смерть отца, гибель Амалии, сожжение замка Мооров) Карл предает себя в руки правосудия. «Со скрежетом зубовным» приходит он к сознанию: «Два человека, мне подобных, могли бы разрушить все здание нравственного миропорядка!.. Тебе отмщение, и ты воздашь! Нет нужды тебе в руке человеческой!»

Обе «системы мышления» — правдоискателя Карла и аморалиста Франца — оказываются равно гибельными для каждого из братьев и к тому же — теоретически и практически — равно несостоятельными.

Ведь не только атеизм Франца разрушается изнутри и извне: под напором собственных сомнений злодея и богословских доводов вступника бедных, пастора Мозера; характерно, что и Карл, убедившись в том, что очень уж не оригинально вышло с выдуманной им *теорией мщения*, что его разбой, «причастный к высшей премудрости», слишком похож на самый обыкновенный разбой, в свою очередь (стремясь *оправдать содеянное*) хватается за аргументы морального нигилизма: «Души, загубленные мною, вы думаете — я содрогнусь? Нет, я не содрогнусь! Ваш дикий предсмертный визаг, посинелые лица удавленников, ваши страшные зияющие раны — только звенья единой, неразрывной цепи рока. Цепь эту выковали мои досуги, причуды моих мамок и воспитателей, темперамент моего отца, кровь моей матери». Словом, вины нет, морали нет; существует только неизбежное сцепление обстоятельств. Все это мог бы сказать и Франц — до того, как его атеизм разбился о «скалу религии».

Правда, это рассуждение Карла только краткий логический эпизод в его напряженной умственной работе. Разбойник Моор, как сказано, возвратится на путь религии, смирится перед «божественным промыслом»... Но остро пережитый им пароксизм «материалистического атеизма», конечно, не случаен. За-

мыслями героев — вполне продуманное убеждение молодого Шиллера в односторонности и шаткости противоположных друг другу мировоззрений: механического (или физиологического) материализма и религиозно-окрашенного идеализма, эпикурейства и стоицизма, равно как и признание необходимым теоретического синтеза этих учений¹.

Позднее, как мы увидим, Шиллер-философ, стремясь осуществить такой синтез, сближается с учением Канта. Но в своих ранних драмах он показывал не примирение, а борьбу теоретических крайностей, гибельную *дерзость* человека, стремящегося дойти до последних столбов на пути завладевшего им мировоззрения — пока не стукнется о них лбом, часто лишь для того, чтобы метнуться в обратную крайность, чтобы все до последней черты «объяснить в другую сторону» (религиозное раскаяние Франца, апелляция исстрадавшегося Карла к железным законам всеобщего детерминизма).

Вместе с тем чутьем художника Шиллер догадывался, что «системы мышления» имеют «свои эпохи, свои судьбы». Многообразные идеологии не только порождены, но и ограничены конкретным историческим временем, стечением исторических обстоятельств. Об этой догадке, в частности, свидетельствует характеристика Карла Моора, данная Шиллером в предисловии к драме. Карл, поясняет здесь автор, принадлежит к разряду выдающихся, значительных людей, наделенных «исключительной силой», а такой человек «в зависимости от направления», которое получает эта сила, «неизбежно становится Брутом или Катилиной. Несчастное стечье обстоятельств делает его вторым, и только после ряда чудовищных заблуждений он становится первым».

Карл Моор, конечно, не Катилина, то есть не своекорыстный политический авантюрист, каким Шиллер представлял себе римского мятежника, но его деятельность авантюристична уже в силу того, что в Германии конца XVIII века всякое восстание было обречено на неудачу; Карл Моор, конечно, Брут по бескорыстности республиканских помыслов, по горячности любви к простому человеку, — но Брут, лишенный поддержки народа и потому исторически обреченный на бездействие. А так как Моор, вопреки действительности и рассудку, все же действует, он, как

¹ Об этом, в частности, свидетельствует его диссертация «О связи между духовной и животной природой человека».

говорит Шиллер в том же предисловии, неизбежно становится «новым Дон Кихотом, который... кажется нам то отвратительным, то достойным любви, то заслуживающим восхищения, то вызывающим жалость».

Такова судьба нового Брута в политически-аморфной немецкой действительности XVIII века, заставляющей его идти на компромиссы с существующим строем, а в иных случаях,— как мы видим на примере Карла Моора,— и смиряться перед «неведомым замыслом providения».

К счастью, идеиное содержание «Разбойников» не сводится к смиренному выводу, к которому приходит главный герой в финальной сцене трагедии. Жизнь, отображенная в «Разбойниках»,— страдания немецкого народа, трагическая судьба жертвы княжеского произвола Косинского, злодейства графа Франца,— вновь и вновь укрепляет Карла Моора в его решимости бороться с «неправедными властями», вновь и вновь возвращает нас к изречению Гиппократа, которое Шиллер поставил эпиграфом к драме: «Чего не исцеляет лекарство, исцеляет железо; чего не исцеляет железо, исцеляет огонь».

Шиллер никогда не смотрел на раскаяние Карла Моора как на конечный вывод человеческой мысли, стремящейся построить справедливое общество. Напротив, в своем дальнейшем творчестве он стремится с разных сторон подойти к разрешению все той же великой задачи.

Несмотря на все противоречия, несмотря на смутность общественного идеала, провозглашаемого в этой драме (колебания между «Римом и Спартой», то есть республиканским строем и патриархальным управлением старого графа Моора), «Разбойники», более чем какое-либо другое произведение немецкой литературы XVIII века, будили гражданское сознание немецкого — да и не только немецкого — народа.

«Разбойники» сразу покорили передовую часть немецкого общества. На первом издании драмы, вышедшем в 1781 году, имени автора не значилось, но оно тут же стало известным всем друзьям и недругам этой пьесы. Директор Мангеймского театра, чопорный барон фон Дальберг, заигрывая с демократическим зрителем, первый решился поставить «Разбойников», с непремен-

ным, однако, условием: чтобы автор перенес действие пьесы из XVIII в более отдаленное — XVI столетие.

Первое представление «Разбойников» состоялось в январе 1782 года. «Партер походил на дом умалищенных,— свидетельствует очевидец,— горящие глаза, сжатые кулаки, топот, хриплые возгласы! Незнакомые бросались друг другу в объятия... Казалось, в этом хаосе рождается новое мицроздание». Сам Шиллер, никем незамеченный, сидел в директорской ложе, тихо торжествуя свою первую победу. Он тайно приехал в Мангейм на те жалкие сорок четыре гульдена, которые ему выдал Дальберг за драму, неизменно обогащавшую кассы немецких театров.

Ведя переписку с бароном Дальбергом о первой постановке драмы, Шиллер непрестанно работал над своей «Антологией на 1782 год». Эта антология, почти единственным автором которой был Шиллер (даром что под включенными в нее стихотворениями значилось более тридцати интригующих инициалов), не произвела и отдаленно того впечатления, какое вызвали «Разбойники». И читающая Германия конца XVIII века была здесь отчасти права.

Пусть печать юношеской неопытности и незрелости лежала и на драматическом первенце Шиллера: излишняя риторичность, злоупотребление уже отживавшими свой век сценическими приемами и среди них особенно бросающимся в глаза мотивом *неузнавания* (неузнанным остается не только хорошо известный и старику Моору и Амалии бастард Герман, но позднее и Карл, после двух лет скитаний вернувшийся в родовой замок Мооров), неудачный, абстрактный образ невесты Карла — Амалии фон Эдельрейх. Но все эти недостатки с лихвой искупаются глубиной идей, яростью плебейской критики общества, стремительным развитием действия, выразительностью массовых сцен, обилием реалистических образов, второстепенных и эпизодических (порочного, преступного Шпигельберга рядом с отважным Роллером, низкого Шуфтерле рядом с глубоко преданным атаману Швейцером и т. д.), наконец богатством языка — то грубо-житейского, то саркастично-светского, то исполненного мятежной мощи.

Незрелость «Антологии» не искупается столь очевидными достоинствами. Бесспорных поэтических удач в ней не так много. Но «Антология» содержит в себе целую программу литературно-общественной деятельности. Призыв: «In tygannos!» («Против тиранов!») грозно звучит и в ранней лирике Шиллера. Так, сти-

хтврение «Дурные монархи» (несколько расплывчатое и растянутое) кончается такой знаменательной, энергичной строфой:

Прячьте же свой срам и злые страсти
Под порфирой королевской власти,
Но страшитесь голоса певца!
Сквозь камзолы, сквозь стальные латы —
Все равно! — пробьет, пронзит стрела расплаты
Хладные сердца!

Не менее примечательно другое стихотворение «Антологии»—«Руссо», с его эпиграмматически четким заключением:

Язвы мира ввек не заживали!
Встарь был мрак,— и мудрых убивали,
Нынче — свет, а меньше ль палачей?
Пал Сократ от рук невежд суровых,
Пал Руссо, но от рабов Христовых,
За порыв создать из них людей.

Рядом с этими образцами высокой дидактики в «Антологии» были представлены и другие жанры, обращенные к широким читательским массам: мужественная баллада о швабском герое графе Эберхарде Грейнере и дерзкие, буйные застольные песни и послания (вроде «Вытревления Бахуса» или «Колесницы Венеры»). Впоследствии историческая баллада станет излюбленным жанром Шиллера; напротив, застольная песня утратит свою непринужденную веселость, поднимется до одического стиля песни «К радости», до «высокой оратории» (Белинский) «Торжества победителей». Но источник народного юмора, так жизнерадостно бивший в простодушных песнях «Антологии» или, в «Мужицкой серенаде», в творчестве Шиллера не иссякнет. Достаточно вспомнить в этой связи крепкий солдатский язык «Лагеря Валленштейна». Одно лишь ученическое следование образцам, заимствованным у Гете, не могло бы, конечно, породить такие почвенные, глубоко народные драматические сцены.

В «Антологии» намечены все пути и направления, которых держался впоследствии Шиллер-лирик. Характерен в этом смысле также и цикл стихотворений, обращенный к Лауре. Навряд ли существует в мировой поэзии любовная лирика, менее согретая непосредственным чувством. Перед нами не признания любящего, а проповедь своеобразной философии любви, в которой эмпедоклова мысль о том, что все мироздание виждется на любви и создателем мира является Эрос, перекреивается с теорией всемирного тяготения Ньютона. Впрочем, любовной,

равно как и пейзажной лирикой Шиллер так никогда и не овладел. Эти области изящной словесности, по собственному признанию писателя, не сделались «провинциями (его) поэтического царства». Голос Шиллера-лирика крепнет вместе с созреванием мысли, почерпнутой в пристальном созерцании действительности, вместе с гневным осуждением общественного миропорядка. И здесь он сразу становится подлинным поэтом, по поэтом-мыслителем, *поэтом рефлексии*. Истинно великие образы философской лирики поэту удалось создать значительно позже, но скромные зачатки этого излюбленного Шиллером жанра нетрудно обнаружить и в первом его сборнике.

Как и драматический первенец поэта, «Антология на 1782 год» вышла без обозначения имени автора. Однако, радио коммерческом успехе предприятия, издатель поспешил сообщить в печати, что «редактором и автором большинства стихотворений этой «Антологии» является творец «Разбойников».

Герцог Карл-Евгений был достаточно щеславен, чтобы испытывать известное удовлетворение от сознания, что автор нашумевшей драмы — его бывший «питомец». Но придворная камарилья не преминула разъяснить своему господину «опасные тенденции шиллеровской музы». (Стихотворение «Дурные монархи» слишком очевидно подтверждало их «правоту».) Герцог призвал к себе дерзкого сочинителя и с показным благодушием попенял ему за «нарушение правил хорошего вкуса». Одновременно он вызвался быть цензором произведений молодого поэта, предполагаемых к напечатанию.

К вящему неудовольствию герцога, Шиллер решительно отказался от его опеки. Более того, он вскоре позволил себе прямой выпад против своего «благодетеля» в стихотворении, написанном на смерть «его превосходительства, безвременно скончавшегося генерала фон Регера». Этот генерал был ничуть не лучше большинства слуг Карла-Евгения. В прошлом истязатель солдат и жестокий дрессировщик рекрутов, Регер к концу своей мало почтенной деятельности стал комендантом тюремного замка Гогенасперга, в каземате которого томился несчастный Шубарт. Но Регеру (непосредственно перед назначением его на должность тюремного коменданта) пришлось и самому испытать немилость герцога — отведать тюремной похлебки. Этого было достаточно, чтобы поэт-тираноборец изобразил генерала как благородную жертву самовластья.

Карл-Евгений стерпел этот вызов, но не простили его неосто-

рожному юноше. Случай для сведения счетов не замедлил представиться. Герцогу стало известно о двух поездках Шиллера в Мангейм, на первое и одно из последующих представлений «Разбойников», а Мангейм для баварцев был «заграницей». Разгневанный не столько самовольными отлучками поэта, сколько всей его литературно-политической деятельностью, герцог призвал к себе слушника и, категорически запретив ему заниматься сочинительством, тут же отправил его на гауптвахту. При этом он заявил, что всякая новая, хотя бы и однодневная, его отлучка будет приравнена к дезертирству. Над автором «Разбойников» нависла горькая судьба Шубарта.

Настал час, когда поэту приходилось выбирать между полным смирением и открытым разрывом с герцогом, а это означало бегство из полка и из пределов Баварии. Шиллер решился на последнее. Он вступил в переговоры с Дальбергом о поступлении к нему в театр на должность драматурга (заведующего репертуарной частью). Не зная, что речь идет о самовольном оставлении герцогской службы, барон согласился на это предложение.

22 сентября 1782 года Шиллер и его верный друг музыкант Штрейхер, такой же бедняк, как он, покинули пределы герцогства: Накануне он побывал у родителей, не выдавая, однако, своих намерений (это могло бы повредить его отцу). Из Штуттгарта друзья выехали через Эслингенские ворота. «Доктор Риттер и доктор Вольф — на пути следования в город Эслинген», — гласила запись в журнале караула, сделанная со слов Штрейхера.

Молча ехали они кружными дорогами, пока не выбрались на тракт, ведущий к границе. В полночь небо над резиденцией герцога, Людвигсбургом, загорелось пышным заревом иллюминации в честь посетившей Карла-Евгения русской великонижеской четы — Павла Петровича и Марии Федоровны, родной племянницы герцога. Ясно обрисовался дворец со всеми пристройками. Шиллер без труда обнаружил домик родителей. «Матушка! Матушка!» — вздохнул он и снова погрузился в молчание.

В восемь часов утра 23 сентября 1782 года герцогство Бавария осталось позади. Позади осталась и целая полоса жизни Шиллера. Нищий беглец, он прибыл в Мангейм.

Там ждал его ряд разочарований.

Шиллер передал дирекции Мангеймского театра рукопись новой пьесы — «Заговор Фиеско в Генуе». Благоприятные отзывы о ней главных пайщиков театра ничуть не приблизили ее появления на мангеймской сцене. Дальберг решительно отклонил ее,

узнав о «дезертирстве» молодого драматурга; он не хотел и слышать о более тесном сотрудничестве с «беглым лекарем». Малый запас денег обоих друзей быстро подходил к концу, и Шиллеру пришлось бы очень туго, если б ему не предложила крова и стола местная небогатая помещица, госпожа фон Вольдеген, мать двух его соучеников по академии. Шиллер поселился в ее пустующей усадьбе Бауэрбах под именем «доктора Ритера», — так было безопаснее и для него самого и для сыновей госпожи фон Вольдеген, которые служили в войсках герцога Бюрембергского и могли чувствительно пострадать за поддержку, оказанную их матерью автору «Разбойников».

В тиши Бауэрбаха Шиллер усердно работал над новой пьесой — «Луиза Миллер» (позднее, по совету актера и плодовитого драматурга Иффлянда, названной «Коварством и любовью»). Закончена пьеса была только в июне 1783 года. Работу над ней отчасти задерживал другой драматический замысел — «Дон Карлос», постепенно все более завладевавший сознанием поэта.

Тем временем дела Шиллера стали поправляться. Полное молчание, которым обходил Карл-Евгений бегство поэта, несколько успокоило не в меру осторожного Дальберга и побудило его возобновить переговоры с многообещающим юношей. На короткое время Шиллер становится штатным драматургом Мангеймского театра. В сезоны 1783—1784 годов его «Фиеско» и «Коварство и любовь» идут на сцене театра Дальберга — первая драма без особого успеха, вторая, напротив, под громкие овации, заставившие вспомнить о первой постановке «Разбойников».

Неодинаковый прием, оказанный публикой этим драмам, имеет свое объяснение.

«Заговор Фиеско в Генуе» (1783) — первая историческая драма Шиллера. Более отчетливо, чем «Разбойники», она продемонстрировала одну из сильнейших сторон гениального дарования поэта — его умение создавать массовые сцены, групповые портреты большой выразительности и жизненной правды. Не в меньшей степени, чем первая его драма, «Фиеско» — скопище ярких характеров: величавый Андреа Дория рядом со спесивым его племянником Джанеттино, суровый Веррина и его несчастная дочь Берта, благородный, пылкий Бургоньино и пустой любезник Кальканьо, целомудренная Леонора — жена Фиеско, и кокетка Джулilia Империали — сестра Джанеттино, наконец наемный убийца мавр (одна из лучших фигур трагедии). По справедливому замечанию немецкого ученого Карла Бергера, этот персо-

наж—«превосходное драматургическое изобретение поэта»: выполнения поручение Фиеско и отчитываясь перед ним, мавр все время держит зрителя в курсе нарастающего политического заговора.

«Заговор Фиеско» полон острых драматических положений и увлекательной подвижности. В пьесе оживает Италия с ее бурными страстями, эпоха Возрождения с ее пышной благородной культурой и разящим, находчиво-точным языком.

При несомненно возросшем драматическом мастерстве «Заговор Фиеско» в одном решающем пункте заметно уступает «Разбойникам». Идея драмы, сама по себе достаточно ясная — скорбное признание общества морально неподготовленным для возобновления «римской добродетели» и республиканского строя,— не получает в пьесе должного развития.

В центре драмы поставлен политический заговорщик, граф Фиеско. Подобно Карлу Моору, и он из разряда тех «исключительных», волевых людей, которые, смотря по обстоятельствам, «становятся либо Брутом, либо Катилиной».

Шиллер впервые натолкнулся на имя Фиеско, перелистывая «Примечательные мысли Жан-Жака Руссо» в переводе Георга Штурца: «В истории нового времени имелся один человек, достойный пера Плутарха. Это — граф Фиеско». Знакомясь с научной литературой, посвященной заговору в Генуе 1547 года, Шиллер пришел, однако, к оценке личности Фиеско, далеко не совпадающей с отзывом Руссо. Эпиграфом к драме автор поставил слова Саллюстия о Катилине: «Сие алодейство почитаю из ряда вон выходящим по необычности и опасности преступления».

Эта цитата из римского историка сразу дает понять, что из двух возможных *путей непокорства* — пути Брута и пути Катилины — Фиеско, по убеждению Шиллера, избрал последний. Но было бы неверным полагать, что альтернатива *Брут* или *Катилина* представлена в драме лишь как борьба двух главных деятелей заговора — Фиеско и Веррины. Нет, бескорыстный патриотизм Брута и суетное тщеславие Катилины борются друг с другом и в груди самого Фиеско, и *Брут* в ней порою торжествует над *Катилиной*. Ведь не кто иной, как Фиеско, в час, когда в его голове «вихрем проносятся тайные думы», произносит эти проникнутые «римской добродетелью» слова: «Завоевать венец — великое деяние, отбросить его — деяние божественное!»

Фиеско — натура сложная, человек, созданный для великих дел, но сам глубоко зараженный «безнравственностью века». Эпикуреец, тщеславный и сластолюбивый, он меньше всего бес-

корыстный поборник свободы. «Божественное деяние» — отказ от герцогской короны — для него не более, чем показное великолупшие, желание восхитить сограждан и увенчаться новыми лаврами.

Но оценят ли генуэзские аристократы такой поступок? Для них, как, собственно, и для Фиеско, республика — пустое понятие, возможный переворот — лишь наилучший выход из различных житейских обстоятельств. Так, Кальканьо надеется на увлечение Фиеско политическим заговором, чтобы тем легче завладеть не-присступным сердцем его жены, добродетельной Леоноры. Так, Сакко доверительно признается: «Если нынешний порядок в республике не полетит к чертям я — нищий... Вся моя надежда — государственный переворот. Тогда только я вздохну свободно. Пусть переворот не поможет мне расплатиться с долгами, но он отучит моих кредиторов требовать уплаты! — «Понимаю, — цинически вторит ему Кальканьо... Вот и повторяй избитую басню о высокой добродетели, когда судьба республики зависит от пустого кармана вертопраха и от прихоти сладострастника! Ей-богу, Сакко, мы с тобой восхитительный пример тонкости замыслов провидения: покрывая тело злокачественными гнойниками, оно спасает сердце организма».

Нет, этим светским негодиям не понять его великодушного порыва! Так что же делать Фиеско? Удивлять «римской добродетелью» единственного праведника Генуи — Веррину? Или простой народ, который для графа-заговорщика всего лишь «толпа», «слепой неуклюжий колосс»? Нет и нет! Опираясь на народ и аристократов-заговорщиков, Фиеско решается низложить обоих Дория и, перешагнув через труп республики, облачиться в пурпур самодержца.

Фиеско уверенно идет к своей цели. Он коварен и скрытен. Ни его давние друзья, знавшие о былых республиканских идеалах Фиеско, ни герцог Андреа Дория не верят, что этот пустившийся в большой разврат «волокита» еще думает о политических переворотах. Даже племянник герцога, принц Джанеттино, всегда считавший его опаснейшим врагом, ставит под сомнение собственную прозорливость, узнав, что Фиеско — любовник его сестры, «гордой кокетки» графини Империали. Ничего не знает о тайных замыслах Фиеско и его жена Леонора, которую он — лишь бы до срока не раскрыть своих карт! — заставляет терзаться ужасной ревностью и подвергает насмешкам мнимой соперницы (Фиеско позднее жестоко расплатится с Империали за ее временное торжество).

Только заручившись согласием Пармы, Франции и папы; только выждав благоприятную обстановку, Фиеско сбрасывает личину, открывается генуэзским патриотам. Все расчеты Фиеско сходятся. Все способствует заговору. Неучтенней остается только недоступная пониманию Фиеско незыблемость республиканских воззрений Веррины. Об эти возврсния и разбивается честолюбивый замысел графа-заговорщика. Веррина, остающийся гражданином и патриотом даже в час, когда узнает, что его дочь обеспечена принцем Джанеттино, Веррина, мечтающий видеть Фиеско во главе восстания, смиленно довольствуясь второй ролью,— угадывает чутьем республиканца-патриота, что «человек, чья улыбка обманула всю Италию, равных себе в Генуе не потерпит... Бессспорно, Фиеско свергнет тирана; еще бесспорнее: Фиеско станет самым грозным тираном Генуи». И потому Фиеско должен пасть от его руки.

Антагонизм между Брутом-Верриной и Катилиной-Фиеско (а под Катилиной Шиллер теперь понимает изменника революции) в дальнейшем не получает подлинно драматического выражения. Заговор благополучно завершается. Джанеттино убит, Андреа покидает город под охраной немецких наемников, заговорщики, изменяя собственному делу, провозглашают Фиеско герцогом генуэзским, и тот, несмотря на постигшее его несчастье (невольное убийство жены), не отказывается от предложенной ему верховной власти, становится, как то и предвидел Веррина, волком, зарезавшим «агица-республику».

Лишь после переворота выступает на сцену событий неподкупный республиканец, до того почти не влиявший на их развитие. По убеждению Веррины (и стоявшего за ним Шиллера), Фиеско «гнусно согрешил против истинного бога», ибо «руками добродетели сотворил свое злодейство, руками патриотов совершил насилие над Генуей». Пусть новый герцог будет и милостив, и справедлив, и великодушен, но на нем «мервостный пурпур» низложенных Дория, а в пурпур рядятся монархи, чтобы кровавый цвет скрыл следы их злодеяний. Тем самым Фиеско принимает наследие тирании, подтверждает самый принцип насилия: право на убийство себе подобных, коль скоро они не будут покорствовать его самодержавной власти. И за это Веррина его убивает, не страшась ощутить в своей груди «пустоту, которой не заполнить всему человечеству». Веррина сбрасывает Фиеско с корабельного трапа, и тяжкие латы устремляют его ко дну. (Здесь Шиллер всего заметнее отступает от летописных данных: исто-

рический Фиеско, добившись высшей власти, гибнет случайно; но поэт не хотел воспользоваться такой развязкой, полагая, «что природа драмы не терпит вмешательства случая или рока».)

Уничтожение друга, ставшего изменником революции,— в этом республиканский подвиг Веррины. На короткий миг кажется, что убийство Катилины-Фиеско новым Брутом означает победу революционного принципа над политическим авантюризмом. Но нет! Веррина совершаet свой подвиг в час, когда уже не верит в борьбу за республику, проданную и преданную самими заговорщиками, более того — когда он решается «идти к Андреа», предпочитая старую тиранию — новой, кощунствен-но воздвигнутой руками добродетели.

Все это внешне напоминает смирение Карла Моора перед существующим строем и его правосудием. Но такое сходство — лишь кажущееся: мечтатель Карл преклоняется перед «божьим промыслом» («Тебе отмщение, и ты воздашь!.. Нет нужды тебе в руке человеческой!»); политик Веррина скорбно сознает крах республиканской идеи, измельчание аристократов-генуэзцев, вовлеченных в корыстный заговор, политическое и моральное падение этих наследственных патрициев, чья гордость,— по выражению Фиеско, — «запакована в туки левантинских товаров, а душонки боязливо трепещут за благополучие кораблей, плывущих в Ост-Индию».

«Заговор Фиеско в Генуе» не мог покорить немецкого зрителя, подобно тому как покорили его «Разбойники» и позднее — «Коварство и любовь». Во-первых, уже в силу того, что герой этой «республиканской трагедии», Фиеско, не был республиканцем, а носитель республиканской идеи, Веррина, не был двигателем событий, пружиной драматического действия. И во-вторых — потому, что эта драма Шиллера не призыв к действию, а скорбная элегия о несбыточном идеальном строе, о гибели республиканских помыслов.

5

Тем большее впечатление произвела на передовую часть немецкого общества третья пьеса Шиллера — «Коварство и любовь» (1784).

Главное ее достоинство Ф. Энгельс усматривает в том, что это «первая немецкая политически-тенденциозная драма»¹.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVII, стр. 505.

Конечно, политически-тенденциозными драмами были и «Эмилия Галотти» Лессинга, многое в театре «бури и натиска», «Гец фон Берлихинген» Гете, наконец те же «Разбойники» и «Фиеско». Но в «Коварстве и любви», этой «мещанской трагедии», как называл ее Шиллер, бесправие народных масс, угнетавшихся немецкими властями, отражено особенно полно, особенно драматично. Более того,— и это главное,— самый конфликт трагедии здесь только *производное* от большого исторического конфликта, от противоречий общественного строя Германии XVIII века (да и не одной только Германии), от непримиримой вражды и борьбы двух сословий, двух классов. Шиллер не побоялся прямо заявить, что «действие происходит при одном из немецких дворов». Исследователи установили, что прототипами ряда действующих лиц этой драмы — президента фон Вальтера, фаворитки леди Мильфорд, секретаря Бурма — послужили живые люди из ближайшего окружения герцога Вюртембергского. Но дело, конечно, не в этом. На сцене *любого* немецкого театра драма «Коварство и любовь» звучала одинаково выразительно, ибо произвол и насилие, коварные интриги и узаконенный разврат, унижение человеческого достоинства и торговля «пушечным мясом» были в равной мере типичны почти для всех немецких дворов того времени.

В «Коварстве и любви» Шиллер сошел с героико-романтических высот «Разбойников» и «Фиеско», встал на твердую почву реальной немецкой действительности. Реализм, глубоко национальная окраска драмы оказались и на ее языке. Пожалуй, ни одна из пьес Шиллера не обладает столь индивидуализированным языком действующих лиц: каждого персонажа, каждой социальной группы, представленных в этой драме. Даже близкие к высокой патетике первых драм Шиллера речи двух любящих, Луизы и Фердинанда, речи, которые в значительной степени выполняют функцию «рупора времени», чаще звучат вполне естественно: так произносятся «благородные великие мысли» простодушными молодыми людьми, только что усвоившими новые взгляды на окружающую действительность (учение Руссо и энциклопедистов). Фердинанд познакомился с ними в университете, Луиза переняла их у Фердинанда. Примечательно, что последнее прямо подчеркнуто в сцене двух соперниц, Луизы и леди Мильфорд, где, в ответ на возвышенную тираду девушки из народа, видавшая виды фаворитка запальчиво, но с несомненной прозорливостью восклицает: «Нет, моя милая, тебе меня не провести!.. Это у

тебя не прирожденное величие! И его не мог внушить тебе отец — в нем слишком много молодого задора. Не отпираися! Я слышу голос другого учителя».

Вообще мысли, системы воззрений в «Коварстве и любви» — в отличие от «Фиеско» и тем более «Разбойников» — не играют столь решающей роли. В драме нет тех самодовлеющих философских глубин, нет тех «бумажных (умственных) страстей», которые движут поступками героев и доводят их до роковой черты. Не стремится Шиллер в этой драме и к установлению идеального типа революционера или желательного характера революционных действий, равно как и к разрешению или постановке общих, абстрактных проблем грядущего преображения человечества. Всю свою творческую энергию поэт направляет на другую задачу: на изображение «несовместимых с моралью» противоречий между жизнью угнетателей и угнетенных, на показ конкретно-исторической, социальной почвы, на которой с неотвратимостью рока должно взойти семя революции,— если не теперь, то не в далеком будущем, если не в Германии, так в какой-либо другой европейской дворянской монархии.

В «Коварстве и любви» сталкиваются в непримиримой вражде два социальных мира: *феодальный*, придворно-дворянский — и *мещанство*, крепко спаянное судьбою и традицией с широкими народными массами. К первому принадлежит по рождению Фердинанд, сын президента фон Вальтера (обязанный этой среде своим относительно высоким военным чином и университетским образованием); ко второму, к миру униженных и оскорбленных,— возлюбленная Фердинанда, Луиза.

Сложность характера — отличительная черта почти всех действующих лиц этой драмы; и в этом, конечно, сказывается возросшая реалистическая зоркость Шиллера, понявшего сердцем художника и, отчасти, умом мыслителя, что поступки и сознание людей определяются не только «прирожденными свойствами», но и их положением в обществе.

Отсюда — глубокая испорченность и вместе с тем великодушие леди Мильфорд (ее разрыв с герцогом и отъезд из его владений). Отсюда — властолюбие и тщеславие президента фон Вальтера, способного поступиться счастьем единственного сына (женить его на всесильной герцогской фаворитке), лишь бы удержать за собой первенствующее положение в стране; но вот — перед лицом самоубийства Фердинанда — обнажается его истинное отцовское чувство и заставляет его, честолюбца и карьериста,

предать себя в руки правосудия: прощение, вымоленное у умирающего сына, для него теперь важнее всего...

Отсюда же — строптивость, артистическая гордость, но также и трусливое пресмыкальство, приниженность старого Миллера. В одной из сцен, где старый музыкант, «то скрипя зубами от бешенства, то стуча ими от страха», выставляет за дверь оскорбителя его дочери — президента, — эти противоречивые свойства проступают даже одновременно.

А Вурм? Какая сложная, «подпольная» натура! Лояльный бюрократ, он пресмыкается перед высшими и презирает простой народ, из которого он вышел; но вместе с тем он отнюдь не «верный раб» власть имущих: пустого гофмаршала фон Кальба он осмеивает открыто, президента ненавидит тайно. В последней сцене Вурм испытывает своего рода удовлетворение, ввергая президента (отнявшего у него сперва честь и совесть, а затем и Луизу) в ту бездну позора, которого не избежать и ему, но которая теперь, когда он все потерял, его уже не устрашает. «Я всему вину? — кричит он в исступлении фон Вальтеру.— И ты мне это говоришь, когда от одного вида этой девушки холод пробирает меня до костей... Я обезумел, то правда. Это ты свел меня с ума, вот я и буду вести себя, как сумасшедший! Об руку с тобою на эшафот! Об руку с тобою в ад! Мне льстит, что я буду осужден вместе с таким негодяем, как ты!» В этом взрыве отчаяния и жгучей ненависти — своего рода проблеск человечности, извращенной всем рабским, низким его существованием.

Такая сложность душевной жизни — прорывающаяся сквозь наносные дурные чувства и помыслы человека лучшая, исконная его природа — глубоко связана с руссоистской верой Шиллера в благую основу человека, искалеченную, но не умерщвленную существующим общественным порядком.

И еще об одной черте этой драмы. Никто до Шиллера не показывал с такой пронзительной силой испытания, через которые проходит человеческое сердце, в частности — сердце *простого* человека.

В прямой связи со сказанным всего естественнее вспомнить сцену, где секретарь Вурм вымогает у Луизы им же сочиненную «любовную записку» гофмаршалу фон Кальбу — улику, которая, как полагает Вурм, должна побудить Фердинанда фон Вальтера добровольно отказаться от девушки, столь очевидно «недостойной» его высокого чувства. Но сцена эта, при всем ее ключевом значении для хода действия и ее неоспоримых драматических

достоинствах, все же носит на себе печать мещанской мелодрамы; тирады Луизы здесь не свободны от условной риторики, в которой слышится не столько крик раненого сердца героини, сколько политическая страсть стоящего за нею автора.

Новой страницей в истории немецкого реализма, гениально глубоким воссозданием душевного надрыва униженного, исстрадавшегося человека, нам представляется сцена объяснения старика Миллера с Фердинандом. Миллер возвратился из арестного дома благодаря «любовной записке» Луизы, тюрьма и жестокая расправа ему уже не грозят; более того, ему удалось отвратить свою дочь от ужасной мысли о самоубийстве. Он хочет бежать из этого города «дальше, дальше, как можно дальше!» «Луиза, утешение мое! Я в сердечных делах не знаток, но как больно вырывать из сердца любовь — это-то уж я понимаю!.. Я переложу на музыку сказание о твоем злосчастии, сочиню песню о дочери, из любви к отцу разбившей свое сердце. С этой балладой мы будем ходить от двери к двери, и нам не горько будет принимать подаяние от тех, у кого она вызовет слезы». В таком состоянии умиленного восторга он встречается с молодым фон Вальтером. Фердинанд дает ему большую сумму денег за уроки музыки, которые он у него брал, столь большую, что Миллер сначала не решается и принять ее, но Фердинанд успокаивает его словами: «Я отправляюсь в путешествие, и в стране, где я собираюсь поселиться, деньги этой чеканки не имеют хождения». Так, значит, не придется играть под окнами, вымаливая милостию, ему и его любимой дочери? В приступе болезненного, слепого эгоизма он хочет и Фердинанда, мнимо обманутого любовника, приобщить к счастью своему и Луизы: «Жаль только, что вы уезжаете! Посмотрели бы, какой я стану важный, как буду нос задирать!.. А дочка, дочка-то моя, сударь!.. Для мужчины деньги — тьфу, деньги тьфу... Но девчонке все эти блага вот как нужны!.. Она у меня и по-французски выучится как следует, и менуэт танцевать, и петь, да так, что о ней в газетах напечатают». И все это он говорит мнящему себя обманутым Фердинанду, уже задумавшему отравить Луизу, свою мнимую изменницу! Правда, Миллер помнит о его горе, но он рад избавиться от зятя-дворянина; а позади тюрьма, страх перед казнью или позорным наказанием, и сверх того — гордость великодушным поступком дочери! «Эх! Будь вы простым, незаметным мещанином и не полюби вас моя девчонка, да я бы ее придушил своими руками!»

Но обратимся к раскрытию конфликта «мещанской трагедии».

Шиллер удачно выбрал для отца Луизы профессию музыканта и столь же удачно назначил местом столкновения двух социальных миров его дом. Выходец из народа, занимаясь искусством, усваивал более тонкие чувства, более возвышенный образ мысли; да и посещение его дома знатным учеником было в порядке вещей, а потому чувство, соединявшее Фердинанда и Луизу, могло надолго остаться незамеченным.

Молодой дворянин новых, «просвещенных» воззрений, Фердинанд полюбил дочь простого музыканта. Он грезил не о тайных любовных встречах, а о том, как поведет Луизу к алтарю, назовет своею перед целым миром. В его глазах она не только равна ему, но и единственно желанна: «Подумай, что старше: мои дворянские грамоты или же мировая гармония? Что важнее: мой герб или предначертание небес во взоре моей Луизы: «Эта женщина рождена для этого мужчины?»

Любви Фердинанда и Луизы приходится преодолевать вражду двух непримиримых сословий, к которым они принадлежат. И эта вражда так глубока, что ею в известной степени затронуты и сердца обоих любящих, прежде всего сердце Луизы, более болезненно переживающей горесть неравенства. Еще недавно она разделяла с отцом его неприязнь к высшим классам. И вдруг ею завладевает любовь к знатному дворянину, к сыну всесильного президента, к юноше, который не только не кичится своим словием, но вместе с нею мечтает о временах, когда «цену будут иметь лишь добродетель и бесспорочное сердце». Но, при всей своей любви к Фердинанду, Луиза не может в себе заглушить страх девушки из народа перед «сильными мира сего», перед отцом Фердинанда, а потому не способна смело ринуться в борьбу с существующим порядком — в борьбу, быть может, грозящую гибелью ее родным.

Предчувствия Луизы оправдались. Пусть первая попытка президента насилием разлучить любящих и женить сына на фаворитке герцога, леди Мильфорд, была парирована Фердинандом, пригрозившим отцу губительными разоблачениями. «Сорвалось!» — должен был признать устрашенный президент фон Вальтер. Но тут-то Бурм, его секретарь, сам мечтавший жениться на дочери музыканта, и выдвинул другой, более сложный план действия: отцу надо для виду согласиться на неравный брак Фердинанда; тем временем родители Луизы берутся под стражу, Миллеру грозит эшафот, его жене — смирительный дом, — и единственное возможное их освобождение — «письмо», записка,

в которой Луиза назначает «очередное свидание» гофмаршалу фон Кальбу и смеется над слепотой молодого фон Вальтера, верящего в ее невинность. «Теперь давайте посмотрим, как это у нас с вами все ловко выйдет. Девушка утратит любовь майора, утратит свое доброе имя. Родители после такой встряски... еще в ножки мне поклонятся, если я женюсь на их дочери и спасу ее честь». — «А мой сын? — недоуменно вопрошают президент. — Ведь он же мигом обо всем проведает! Ведь он же придет в неистовство!» — «Положитесь на меня, ваша милость! Родители будут выпущены из тюрьмы не прежде, чем вся семья даст клятву держать происшествие в строжайшей тайне...» — «Клятву? Да чего она стоит, эта клятва, глупец!» — «Для нас с вами, ваша милость, ничего. Для таких же, как они, клятва — это все».

И Фердинанд попадает в эту «чертовски тонко» сплетенную сеть, становится жертвой коварной интриги президента и Вурма, построенной на циничном учете религиозных предрассудков меньшинства, ибо оказывается неспособным — вопреки обманчивой очевидности — верить «только своей Луизе и голосу собственного сердца». И в том, что он не попимает Луизы, психологического склада простой бургерской девушки,— один из источников трагическойвязки их любви. С младенчества не знаяший чувства принужденности, Фердинанд видит в малодушных колебаниях своей возлюбленной лишь недостаточную силу ее страсти. Ревность Фердинанда, приведшая его к убийству невинной Луизы, а затем и к самоубийству, родилась много раньше, чем Вурмом было составлено письмо Луизы к ничтожному гофмаршалу. Оно дало только новую пищу его старым подозрениям.

Тем самым гибель этих любящих (в отличие от гибели Ромео и Джульетты) — не результат столкновения их согласно бьющихся сердец с внешним миром. Напротив, она подготовлена изнутри, ибо Фердинанд и Луиза, несмотря на всю их готовность порвать со своей средой, с сословными предрассудками, сами затронуты растлевающим влиянием общества: социальные перегородки не до конца ими разрушены и в собственных душах. «Рожденный друг для друга», им все же не удалось одолеть построенный на неравенстве несправедливый, калечащий людей общественный порядок,— как не удалось Карлу Моору «поддержать закон беззаконием», как не удалось суровому Веррине увидеть возрождение генуэзской республики. Каждая из этих попыток вырваться из-под гнета тирании, царившей в Германии и за ее пределами, оказывалась несостоятельной.

Тема четвертой, и последней, юношеской драмы Шиллера «Дон Карлос, инфант испанский» — крушение еще одной попытки разрушить мир костров и бичей, поддерживающих угнетение человека человеком; попытки горячим словом убедить верховную власть стать на сторону угнетенных.

Подобно «Коварству и любви», «Дон Карлос» первоначально писался Шиллером как «семейная драма», правда разыгравшаяся в королевском доме и «на земле испанской» — исконной почве папистско-габсбургской реакции. Приступая к осуществлению нового драматургического замысла, Шиллер тогда же писал другу Рейнгольду (в письме от 14 апреля 1783 г.): «Считаю своим долгом отомстить моим изображением инквизиции за поруганное человечество, пригвоздить к позорному столбу их гнусные деяния. Я хочу..., чтобы нож трагедии вонзился в самое сердце той людской породы, которую он до сих пор лишь слегка царапал».

В основу трагедии автором положен недостоверный исторический анекдот о любви наследного принца Карлоса к своей матери и бывшей невесте — Елизавете, супруге Филиппа II, короля Испании. Согласно первоначальным намерениям автора, любовники, опутанные интригой светских и духовных сыщиков Филиппа, падают жертвой его гнева; их невинность обнаруживается слишком поздно. Король не в силах поправить содеянное и предается неистовой скорби.

Позднее Шиллер коренным образом изменил и форму и содержание своей драмы. Ранее написанный прозой, «Дон Карлос» отлился в пятистопные ямбы — по образцу драматических поэм Лессинга («Натаан Мудрый») и Гете («Ифигения в Тавриде»); «семейная драма» усложнилась, переросла в драму политическую. События озарены пламенем народного восстания в Нидерландах; рядом с Карлосом вырастает второй герой, маркиз Поза, друг инфанта, красноречивый «посланник человечества». Да и сам Карлос теперь не только злосчастный любовник, но и будущий республиканец на троне. Для него королевский пурпур, который должен лечь на его плечи, — лишь маскарадный наряд, не более:

Покуда длится масленица, мы
Обману верим, избранные роли
С насмешливой серьезностью играем.

Осью трагедии стала *политическая дружба* Карлоса и Позы — дружба единомышленников, одушевленная благородной идеей раскрепощения человечества. Несчастная любовь Карлоса к Елизавете, некогда поставленная в центр конфликта, теперь, в окончательной редакции пьесы, превратилась лишь в наиболее выразительную деталь драматического фона, на котором развертывается борьба светлых и темных сил истории. Вместе с тем эта запретная, ото всех тайная любовь играет вдвойне роковую роль в ходе действия: она ослабляет волю к борьбе Дон Карлоса, наиболее сильного (по своему положению в стране) единомышленника и соратника Позы, и в то же время помогает противникам Карлоса, Альбе и Доминго — мечу и кресту реакции, — ускорить гибель принца, поставив его под удар отцовского гнева. Сама по себе никакая преступная близость между пасынком и мачехой не могла ни смутить, ни даже удивить таких прожженных циников, как Альба и Доминго. Да они и не верят в эту кровосмешительную связь, зная строгую добродетель королевы, стремившейся направить сердечный пыл Карлоса на более возвышенную цель — служение народам, подвластным испанской короне. Но восшествие на престол наследника Филиппа означало бы падение Альбы и Доминго и стоящей за ними феодальной реакции. Так как же было им не ухватиться хотя бы за призрак оскверненного отцовского (и вместе королевского) ложа, как за оружие, наиболее гибельное для ненавистного им принца-республиканца?

Историческая обстановка «Дон Карлоса» — позднее средневековье, эпоха зарождения капитализма — время, когда экономически окрепшие города-республики Нидерландов повели освободительную борьбу против испанского владычества. В эту пору, как говорит Шиллер в своих «Письмах о «Дон Карлосе», «более, чем когда-либо, шла речь о правах человека и свободе совести», всюду в Европе наблюдалось брожение умов, анархия мнений, борьба тьмы и света, а таковым, по убеждению Шиллера, был искони час рождения «необыкновенных людей».

При дворе короля Филиппа II такими «необыкновенными людьми» были — вопреки их высокому происхождению — Дон Карлос и маркиз Поза. В силу отзывчивости на все доброе и справедливое, которой их наделил Шиллер, они выступают здесь как поборники свободы, равенства, идеального республиканского строя — идей, жизненность которых подтверждало восстание в Нидерландах.

В пламенном сердце Позы эти высокие идеи «дошли до степени страсти». Обаяние маркиза-народолюбца столь велико, что ему поддается и сам Филипп, жестокий притеснитель народов, глава средневековой реакции. Великодушный, бескорыстный юноша — первая любовь короля:

Я любил его, любил!
Он стал мне сыном. В этом юном духе
Я видел утро новой, лучшей жизни.

Впервые в нем полюбив человека, Филипп — нежданно для себя — начинает проникаться любовью ко всему человечеству, считать людей достойными свободы. Он идет на сотрудничество с маркизом, хочет стать человеком на престоле.

Король, его наследник Карлос, королева Елизавета — все на время превращаются в сообщников маркиза-республиканца и все по-разному становятся жертвами темных сил реакции, окружающих испанский престол. С помощью отвергнутой Карлосом мстительной принцессы Эболи Доминго и Альба представляют Филиппу лживые доказательства измены королевы, будто бы ответившей на любовь инфанта. Позе удается на время отвлечь подозрение на себя, за что его и поражает пуля, пущенная по повелению разгневанного Филиппа.

Вы дружбы
Просили у него — и не сумели
Пред легким испытанием устоять
... Вы лишь одно могли: убить его,
Сломать рукой жестокой эту лиру,—

кричит в лицо отцу и королю Дон Карлос над трупом поверженного друга.

При всем том Филипп, в понимании Шиллера, отнюдь не чудовище. В предисловии, предпосланном «Дон Карлосу» в «Рейнской Талии», Шиллер прямо заявляет: «Когда речь идет о Филиппе II, все ждут не знаю какого чудовища, но моей пьесе конец, если он в ней окажется таковым». Вразрез с показаниями историографов, чтобы тем рельефнее провести мысль о диалектике исторических сил, независящей от чувств и свойств отдельного человека, Шиллер наделяет своего Филиппа острым умом и горячим темпераментом, отзывчивостью на благородные порывы, нетерпимостью к лести, даже известным великодушием — словом, чертами выдающегося человека и властелина. Но Филипп

прикован к политическому принципу абсолютизма, и этот «преступный принцип» продолжает определять его поступки даже тогда, когда он хочет от него отречься, когда он под обаянием Позы, сам себе в том не признаваясь, готов встать под светлое знамя юного человеколюбца. Несмотря на влечение к добру, к любви, к дружбе, Филипп остается тираном, палачом людей и народов, убийцей единственного друга...

Маркизу Позе не удается ценою жизни спасти Карлоса, в котором он видит будущего короля-республиканца, благодетеля человечества. И Карлос и Елизавета попадаются в сети придворной интриги. Чтобы пресечь измену в своем доме и планы Карлоса, мечтающего возглавить восстание в Нидерландах, Филипп обращается к помощи инквизиции. По повелению короля к нему вводят слепого старца, великого инквизитора.

В беседе с ним Филипп, дотоле мнивший себя полновластным монархом, впервые сознает, что и он — только раб всевластной церкви и феодально-католического государства. Страшный старец говорит ему о Позе:

И дальше, на вопрос короля, кому он передаст наследство, если Карлос будет уничтожен:

Тленью,
Но не свободе...
...Во имя справедливости извечной
Сын божий был распят.

Поистине в этой сцене «кож трагедии вонзается в самое сердце» реакционных сил истории в ее прошлом и настоящем. Беседа короля с инквизитором перекликается с его же беседой с маркизом Позой, когда прекраснодушный юноша восклицает с безграничной верой в человечество: «О, дайте людям свободу

мысли» — и красноречиво говорит королю о счастье раскрепощенных народов, которое составит и его счастье, об ужасе управления безропотными рабами, столь знакомом Филиппу.

В отличие от Позы, великий инквизитор глубоко убежден, что человек, и тем более простой человек (хотя бы он порою и восставал на церковь и освященную ею феодальную иерархию власти, духовной и светской), — лишь невольник, созданный для покорства «земному богу». Если он, монарх, поставленный на царство католической церковью, только допустит, что в этом мире есть ему равные, что тогда дает ему «право над равными возвыситься безмерно»? И, прикованный к политическому принципу самовластья, Филипп подчиняется голосу римской церкви. Как человек он умирает. Теперь он только деспот, бестрепетно предающий сына и жену в руки инквизиции.

Не раз отмечалось историками литературы, что Шиллер в «Дон Карлосе» переходит от тираноборчества «Разбойников», «Фиеско» и «Коварства и любви» к идеи «революции сверху», к ставке на просвещенного монарха. Если даже это и так, то Шиллер здесь наименее оригинален. На «революцию сверху», на «добрую волю государей» возлагали надежды и такие умы, как Дидро и Вольтер, а позднее великие социалисты-утописты. Существенное, что Шиллер показал (быть может, вопреки его тогдашним теоретическим убеждениям), что всякое сотрудничество сторонников прогресса с реакционным государством невозможно, что готовность верховой власти встать на сторону угнетенных неизменно парализуется правящими классами, истинными хозяевами «самодержавного» государства, «абсолютной» монархии.

Несостоятельной оказалась и эта новая попытка — попытка освободить человека и человечество от гнета «неправой власти», от «бичей и костров» с помощью просветительских идей. Как известно, такие попытки делались в годы, когда писался «Дон Карлос», масонами и иллюминатами, стремившимися распространить республиканский образ мыслей среди дворянства, министров и государей. Шиллер внимательно присматривался к их деятельности и был достаточно зорок, чтобы видеть ее бесплодность. Провозвестник героических освободительных идей, «жрец свободы духа», он не видел путей к искомой цели — построению общества, отвечающего интересам народа, всего поруганного человечества.

За годы работы над «Дон Карлосом» Шиллеру пришлось немало пережить и перестрадать. Согласно контракту на сезон 1783—1784 года, заключенному с Дальбергом, поэт должен был представить театру три новые пьесы: «Фиеско», «Коварство и любовь» и «Дон Карлос». Третью пьесу Шиллеру помешала закончить тяжелая болезнь, на долгие месяцы приковавшая его к постели. Такого «нарушения условий» было достаточно, чтобы Дальберг, и без того решивший расстаться с дерзким автором «Коварства и любви», драмы, столь досадившей немецким правителям, отказался от возобновления контракта с Шиллером на следующий сезон.

Поэт вновь оказался в тяжелом материальном положении. Его душили долги, теснили заимодавцы. Правда, пьесы Шиллера шли повсеместно и книги быстро распродавались, но театры в лучшем случае отделывались грошовыми подачками, издатели же и вовсе ничего не платили за бесчисленные перепечатки его произведений. Поэту грозила долговая тюрьма.

Помощь пришла неожиданно. Шиллера выручил его квартирохозяин, столяр Антон Гельцель, отдавший бедствовавшему литератору все, что он и его жена успели приберечь на черный день за долгую трудовую жизнь. Чистые сердцем простые люди оказали великодушную поддержку «заступнику простых людей».

Находились и другие отзывчивые, бескорыстные друзья. Таков был круг дрезденских почитателей Шиллера, сплотившихся вокруг Кернера, юриста по образованию и просвещенного ценителя литературы и искусства. Кернер уплатил неотложные долги поэта и на время избавил его от житейских забот; «как брат, как верный друг» он решил сопровождать Шиллера в его «романтическом путешествии к правде, к славе и к счастью».

На дружеских чувствах, связывавших Шиллера с кругом Кернера, лежит отблеск политического подъема, охватившего европейское общество накануне французской революции 1789 года. Здесь, в кругу Кернера, рождались строфы гимна «К радости», проникнутые духом героического оптимизма, гимна, явившегося первым бессмертным образцом той «лирики мысли», которая позднее прославила имя Шиллера. Дружба, воспетая

в этом гимне, понималась автором как залог исчезновения всех социальных пороков, омрачивших жизнь человека и человечества:

Стойкость в муке нестерпимой,
Помощь тем, кто угнетен,
Сила клятвы нерушимой —
Вот священный наш закон!
Гордость пред лицом тирана
(Пусть то жизни стоит нам),
Смерть служителям обмана,
Слава праведным делам!

Но Шиллер был слишком предан светлой идее раскрепощения человечества, чтобы довольствоваться благодушно-поверхностной застольной болтовней своих новых друзей и сотрапезников, их восторженными, но смутными мечтами о счастливых временах, сужденных человечеству. «Энтузиазм и идеалы... страшно пали в моих глазах,— писал он 5 октября 1785 года другу Губеру.— Обычная наша ошибка — расценивать будущее... в свете наших идиллических часов. Энтузиазм — это смелый, сильный бросок, взметающий ядро в воздух; но дурак тот, кто думает, что оно будет вечно сохранять свое направление и скорость. В воздухе сила его иссякает, и ядро описывает дугу... Не пренебрегай этой аллегорией, мой милый!»

И здесь, в кругу вольнолюбивых единомышленников, Шиллера попрежнему томило неведение путей к лучшему будущему человечества. Поистине он «впал бы в отчаяние, если бы не нашел прибежища в науке»¹. Тяга к науке, к более глубокому пониманию общественных явлений все настойчивее овладевала поэтом: «Я до боли чувствую, как страшно много мне еще надо учиться»²,— признавался он Кернеру.

Но была ли современная ему наука, а тем более немецкая наука, сколько-либо достоверным источником познания общества, действительности?

Первой областью знания, с которой соприкоснулся Шиллер еще в работе над «Дон Карлосом», была история. Далекая от правильного понимания общественного процесса, немецкая историческая наука XVIII века носила описательный, в лучшем случае публицистический характер. В силу своего боевого темпера-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 7.

² Письмо от 15 апреля 1786 года.

мента Шиллер, естественно, больше тяготел к историко-публицистическому жанру.

И правда, его «История отпадения объединенных Нидерландов от испанской короны» содержит много гневных страниц, направленных против кровавого произвола тиранов — против всех покушений на свободу человека. Шиллер смело звал немецкий народ последовать примеру нидерландской буржуазной революции: «Сила, с какою действовали народы Нидерландов, не иссякла и у нас. Успех, увенчавший их смелое начинание, может выпасть на долю и нам, когда... сходный повод призовет нас к сходным подвигам». К сожалению, «История отпадения Нидерландов» не была дописана. Шиллер довел свое повествование до отъезда нидерландской наместницы Маргариты Пармской, то есть всего лишь до кануна восстания. Но фрагмент этот написан Шиллером с поразительной драматической силой: могучие пластицы событий и портреты отдельных исторических деятелей наделены одинаковой выразительностью. Симпатии ко всему передовому, к светлым силам истории, к народу — отличительная черта Шиллера-историка, что отнюдь не мешает ему объяснять события с научной беспристрастностью. Нельзя, однако, не отметить, что, отзываясь о нидерландской революции, Шиллер всегда подчеркивал ее «законность», восхвалял ее за отсутствие «героического величия», за мещансскую умеренность, в которой он усматривал «подлинную бургесскую силу». Такой взгляд на природу буржуазных революций позднее определил неприятие Шиллером первой французской буржуазной революции 1789 года в период ее наивысшего подъема.

Позднейшие исторические работы Шиллера: «История Тридцатилетней войны», а также «История французских смут, предшествовавших воцарению Генриха IV», хотя и законченные, написаны со значительно меньшей затратой сил на изучение источников. Но и их отличает блестящий драматизм изложения, прозрачный, сдержанно-энергичный язык — высокий образец повествовательной прозы. К тому же исторические занятия были для Шиллера необходимой школой реализма, не пройдя которую он никогда бы не создал своих исторических трагедий.

К историческим занятиям вскоре присоединились и занятия философией, чему отчасти способствовал переезд Шиллера в Веймарское герцогство, где в расположеннном вблизи от Веймара университете городке Иене тогда профессорствовал ученик и усердный популяризатор Канта — Рейнгольд.

Шиллер прибыл в Веймар 21 июня 1787 года. Его влекло в этот город, где жили три корифея тогдашней немецкой литературы — Гердер, Виланд и Гете, и где он думал развить более широкую научную и литературную деятельность. Гердер и Виланд приняли Шиллера радушно, но Гете в городе не оказалось — он все еще путешествовал по Италии. Их встреча состоялась только год спустя, в сентябре 1788 года, но на первых порах не привела к более тесному сближению поэтов. Это, впрочем, не помешало Гете выхлопотать автору «Истории отпадения Нидерландов» должность экстраординарного профессора истории в Иене и небольшую правительственную пенсию, позволившую Шиллеру жениться на бесприданнице Лотте фон Ленгфельд.

Вступительная лекция Шиллера прошла с большим успехом, при огромном стечении университетской молодежи. Но педагогическая деятельность требовала подготовки, а Шиллер был связан рядом литературных обязательств. Работая по четырнадцать часов в сутки, он вконец подорвал свое здоровье. В 1791 году Шиллер захворал чахоткой и в продолжение нескольких недель находился между жизнью и смертью. Болезнь, позднее сведшая его в могилу, на этот раз была приостановлена, но вынужденное безделье привело к новым долгам, и это обстоятельство, тяготившее поэта, в свою очередь затягивало болезнь. Только значительный денежный дар, пришедший из Дании от либерального принца Аугустенбургского избавил Шиллера от беспроблемной нужды и позволил ему, покинув Иенский университет, вновь предаться научно-литературным занятиям. Предметом этих занятий Шиллера была эстетика.

Эстетические взгляды поэта складывались в годы, предшествовавшие первой французской буржуазной революции, и далее с 1789 по 1794 год, когда «героический период революции» был уже позади. Через все его статьи и трактаты по эстетике («О грации и достоинстве», «О возвышенном», «Письма об эстетическом воспитании человека», «О наивной и сентиментальной поэзии» и т. д.) проходит, по выражению Гете, *идея свободы*, неизменно воодушевлявшая и его художественное творчество.

В 90-х годах XVIII века вся немецкая философская мысль испытывала на себе сильнейшее влияние Канта, в философии которого эклектически сочетались некоторые передовые лозунги эпохи Просвещения с системой воззрений, направленной против

идущих из Франции радикальных революционных идей философского материализма, равно как, позднее, и против учения якобинцев об обществе и государстве.

Субъективно-психологический путь, приведший Канта в лагерь реакции, был не во всем и не всегда преднамеренно реакционен. Не как сознательный реакционер возражал Кант против метафизического материализма французских просветителей и не принимал их мира, в котором, как он думал, безраздельно царила непредотвратимая *абсолютная необходимость*, по сути исключавшая понятия «свободы», «свободной воли».

Правда, к счастью для себя и для прогресса общественной мысли, великие французские просветители-материалисты не запутались в столь смутивших Канта действительных противоречиях их философии, не стали рабами собственной несовершенной теории. Несспособные материалистически изъяснять общественные явления и проблемы, они предпочитали идеалистическое их толкование бессильному смирению перед ложной понимаемой ими «необходимостью». Куда бы их ни заносила неполноценная мысль, они никогда не теряли из виду стоявшей перед ними исторической задачи: революционной борьбы с дворянской монархией.

Кабинетный ученый до мозга костей, Кант не хотел и не мог терпеть подобной теоретической непоследовательности. Но поскольку ни уровень тогдашней науки и техники, ни степень развития производительных сил и производственных отношений, ни, наконец, расстановка классовых сил в Германии конца XVIII века не позволяли создать на базе материализма единую теорию, способную охватить и природу с ее объективной закономерностью и человека с его преобразующей действительность исторической активностью,— Кант не мог пойти дальше того, что Ленин называл эклектическим примирением материализма с идеализмом.

Всю бесцельность такого «примирения» нетрудно усмотреть уже в том, что Канту, да и всем немецким идеалистам, так и не удалось вырвать «свободу» из фаталистических тисков «необходимости». Более того, не решаясь и заикнуться о насильтвенном низложении феодально-абсолютистских монархий, Кант усматривал подлинный смысл всякого общественного порядка в том, что таковой, не снимая противоречий между устремлениями и интересами отдельных людей (классов, сословий), сглаживает эти противоречия, ограничивая «свободу индивидуума»

тем, что заставляет его применяться к «свободе другого индивидуума».

Стоит только дать себе отчет в том, что все это взаимоприспособление «индивидуальных свобод» («свобода» короля и «свобода» народа, «свобода» феодала и «свобода» крепостного) мыслилось Кантом в условиях существующего общества, чтобы сразу понять весь безнадежный формализм кантовской *философии свободы*. Во имя такого призрачного бытия «свободы», ничего на деле уже не означавшей, Кант, говоря гневными словами Чернышевского, «изломал все, на чем опирался Дидро со своими друзьями»¹.

Развивая свое эстетическое учение, Шиллер не мог пройти мимо учения Канта. Стремление спасти человеческую волю из «железных тисков природы (необходимости)», которое декларировалось этой философией, не могло не подкупить его. Оно совпадало с его собственным давним убеждением. Темперамент художника, политического трибуна никогда не позволял Шиллеру быть последовательным кантианцем. Но не подлежит сомнению, что он ко многому, сказанному Кантом, относился с доверием ученика. В частности, Шиллер нередко оценивал явления французской революции 1789 года под углом кантовской этики.

Как и большинство немецких буржуазных интеллигентов XVIII века, Шиллер начал с горячего признания французской революции 1789 года. Шиллеру было лестно, когда парижский Конвент 1792 года даровал ему, автору «Разбойников» и «Фиеско», права гражданина молодой французской республики. Он не отказывался от этого почетного звания, несмотря на протесты веймарского придворного мирка.

Но в 1793 году, испуганный политической практикой якобинства, Шиллер стал сомневаться в подготовленности тогдашнего общества для жизни под знаком свободы и равенства. «Здание старого мира,— говорит он в одном из «Писем об эстетическом воспитании человека»,— колеблется. Его прогнивший фундамент оседает. Сдается, явились *физическая* возможность обосновать царство закона, где будет уважаться человек как самоцель, возможность положить в основу политического союза истинную свободу. Тщетные надежды! Для этого недостает *моральной* возможности, и щедрый миг встречает невосприимчивое поколение».

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XV, стр. 198.

Разумеется, якобинское государство не было истинно народным, и исполненный «римской добродетели» героический гражданин Франции 1793 года по сути продолжал творить дело буржуазии. Буржуазное общество, в муках рождавшееся во Франции, мало походило на «гармоническое общество», не знающее ни словий, ни классов, какое смутно рисовалось воображению поэта. Но критика якобинского государства велась Шиллером с весьма нечетких позиций. Когда Шиллер настаивает на уважении к человеку как самоцели, требует, чтобы, строя новое общество, не рисковали «физическими, действительным человеком ради проблематического, нравственного», он выступает с абстрактно-гуманистических позиций, горячо сочувствуя человеку как таковому. Другое дело, когда — в разрез с немецким левым якобинцем Георгом Форстером, мечтавшим, что «мы вскоре будем свидетелями того, как народ станет единственным хозяином всех богатств», ибо «любому мероприятию, ущемляющему богатых, успех обеспечен», — Шиллер, напротив, настаивал на том, что «законодатель должен быть одинаково справедлив и к богатым и к бедным». Здесь Шиллер стоит уже не на абстрактной, а на достаточно реальной позиции, защищая буржуазно-ограниченное содержание французской революции, в соответствии с учением Канта о сглаживании противоречий как основном назначении государства.

По мере обострения классовой борьбы в революционной Франции Шиллер все более проникался убеждением, что осуществление счастливого и совершенного человеческого общества вообще не может удастся какой бы то ни было государственной власти — феодально-монархической или якобинской. Ибо, как рассуждает Шиллер, «государство... должно само быть основано на лучшем существе человека, а потому не может способствовать возникновению совершенного общества».

Пробудить «лучшее существо человека» (без чего нельзя построить совершенное общество), по убеждению Шиллера, может только искусство. Только оно способно воспитать человека еще в рамках существующего общества, заботиться о том, чтобы он мог «и в этой грязи быть чистым, и в этом рабстве свободным», — правда, в надежде на то, что вслед за нравственным обновлением общества наступит и политическое его обновление. Не раньше, однако, чем искусство воскресит «гармонию человеческой личности», нарушенную установившимся в обществе «разделением труда».

Но, чтобы воспитать общество в духе республиканской добродетели — от короля до раба, — в духе свободы, равенства и братства, продолжает развивать свою эстетику Шиллер, искусство должно предварительно перевоспитать себя, возвыситься над своим веком, избавиться от его недугов: «Пусть художник в образе пришельца вернется в свое столетие, чтобы беспощадно... очистить его. Содержание он, конечно, возьмет из современности, но форму — из более благородного времени», у великих мастеров древности, в арсенале классического искусства.

Взгляды Шиллера на литературу и стоящую перед ней задачу в значительной степени складывались под живым впечатлением примера Гете. Долго, почти шесть лет, не сходились жизненные пути обоих поэтов, но сейчас они сошлись. «Давно уже, хотя и издали, следил я за продвижением вашего духа,— говорит Шиллер в письме к Гете от 23 августа 1794 года, ознаменовавшем начало их литературной дружбы.— ...Так как вы родились немцем, так как ваш греческий дух был ввергнут в этот северный мир, вам не осталось иного выхода, как или самому сделаться северным художником, или, при содействии способности мышления, возместить своему воображению то, что отнимала у него действительность, и, таким образом, как бы изнутри, рациональным путем, породить Грецию... а этого, конечно, можно достигнуть, только следуя руководящим понятиям...» (художественным правилам античного искусства.—H. B.). «Но это логическое направление не уживается с эстетическим. Таким образом, перед вами возникает новая работа, ибо точно так же, как вы переходили от созерцания к абстракции, вы должны теперь превратить обратно понятия в интуицию, преобразить мысли в чувства, ибо гений может творить, лишь обратившись к чувству. Так приблизительно сужу я о шествии вашего духа».

Так примерно представлял себе Шиллер и собственное развитие, более того — развитие всего современного искусства. Издававшиеся Шиллером (при участии Гете) журнал «Оры» и «Альманах муз» должны были содействовать укоренению такого нового классицизма, преодолевающего *средствами формы* разорванность человеческой личности, противоречия века. Здесь следует, однако, подчеркнуть, что художественная практика как Шиллера, так и Гете была прогрессивнее их эстетических теорий. Недаром Шиллер позднее писал своему другу, что идеалистические теории искусства ему мешают свободно творить, что подлинное мастерство может быть достигнуто только методом реализма.

При всем том было бы неверно недооценивать работы Шиллера по эстетике. Исходя, как сказано, из кантовской теории познания, Шиллер — сколь он ни скован основными положениями и терминологией этой философской системы — все же продвигается вперед, преодолевая субъективный идеализм Канта. Додумывая отдельные его мысли, он нередко дает им другое, более широкое и жизненное обоснование.

В настоящей статье мы не имеем возможности отметить все то новое, что Шиллер привнес в эстетику, в философию. Остановимся только на двух примечательных моментах. В отличие от Канта, Шиллер усматривал центральную проблему эстетики не в «созерцании прекрасного», а в той роли, которую выполняет искусство в развитии человечества — от полуживотного до современного культурного его состояния. Взгляд на художественную деятельность человека как на *создание человеком самого себя* — излюбленная идея Шиллера, получившая дальнейшее развитие в гегелевой «Феноменологии духа» (известно, с каким сочувствием отзывался К. Маркс об этой мысли, одушевляющей названное произведение Гегеля).

Второй момент шиллеровской эстетики, который мы хотели бы здесь подчеркнуть, имеет прямое отношение к драматической практике поэта.

Так, Шиллер, в противоположность Канту, отнюдь не считает, что любой трагический конфликт неизбежно должен вытекать из столкновения двух начал, действующих в человеке: *разума* с его «категорическим императивом» (властным призывом к выполнению нравственного долга) и *чувственных влечений* (заложенных в человека природой). Шиллер, напротив, считает, что трагический конфликт может быть и результатом двух разных (или даже одинаковых) *нравственных побуждений*: «Таково положение Химены и Родрига в «Сиде» Пьера Корнеля... — говорит он в статье «О трагическом искусстве». — Долг чести и сыновней любви вооружает руку Родрига против отца его возлюбленной, а мужество дает ему победу; долг чести и дочерней любви заставляет Химену мстить за убитого отца, стать суповейшей обвинительницей Родрига. Оба действуют наперекор своей любви, которая столь же боязливо трепещет перед несчастьем преследуемого существа, сколь настоятельно моральный долг повелевает обоим добиваться этого несчастья».

Ясно, что такой взгляд на трагическое — как на столкновение двух проявлений нравственного долга — несовместим с кан-

товской этикой (с приведенным выше кантовским обоснованием трагического конфликта как столкновения долга и вожделений). Но Шиллер, хоть и считавший себя «кантианцем», здесь явно порывает с учением Канта. Он был автором «Дон Карлоса», показавшим на примере созданного им образа короля Филиппа, что дурные поступки (цепь таких поступков) могут вытекать не из личных чувств, не под воздействием «чувственности» (чтобы держаться привычной для Шиллера терминологии), а, напротив, из доводов «разума». Иными словами, диалектике (борьбе) исторических сил должна, не может не соответствовать, по убеждению Шиллера, диалектика (борьба) различных моральных классовых, сословных, религиозных убеждений. Филиппу (или стоящему за ним великому инквизитору) столь же ненавистны ересь и еретики, как маркизу Позе тиран и тирания.

Более того, Шиллер видит трагические конфликты и положения там, где о морали и вовсе нет речи, где мы имеем дело только с губительной ошибкой при исчислении реальных исторических сил, на которые думает опереться в своей борьбе политик-«реалист» (в отличие от «идеалиста», — по Шиллеру, — не руководствующийся высокими идеалами, а взвешивающий реальные обстоятельства, ожидающий того или иного оборота событий). Трагедия здесь, очевидно, зависит уже не от моральной сути, а от *исторических масштабов* события, порождающего неисчислимое множество частных бед и малых трагедий.

Так, Шиллер, интерпретируя ограниченную и противоречивую теорию Канта, при всей половинчатости и робости своей критики, рукой художника-реалиста вносил в нее существеннейшие, плодотворные исправления.

Совершенно так же и несостоятельная (ибо насквозь идеалистическая) попытка Гете и Шиллера насадить у себя на родине, в полуфеодальной Германии, классическое искусство, не уступающее античному, вопреки всем противоречиям нового, капиталистического общества, привела отнюдь не только к спорным и ошибочным философским положениям и художественным неудачам. Напротив, вопреки ложным исходным позициям, рассуждения обоих поэтов в их «эпоху классицизма» вскрывают многие законы художественного творчества, существо отдельных литературных жанров, взаимосвязи искусства, литературы с развитием общества, в частности европейского общества, каким оно сложилось после французской революции.

Но сотрудничество Гете с Шиллером было для них плодотворно не только как для эстетиков и теоретиков искусства и литературы,— многим важнее, что в тесном дружеском общении оба поэта вернулись к прерванной ими литературно-художественной деятельности.

Что касается Шиллера, то он с 1789 и по 1794 год не создал ни одного художественного произведения, всецело погрузившись в занятия историей и философией. То были годы нового ученичества, отчасти вынужденного: немецкие зрители под влиянием лицеприятной реакционной критики остывли к Шиллеру-драматургу. Долгие годы работы над «Дон Карлосом» (с 1783 по 1787 гг.) только закрепили это пренебрежение публики. Шиллер на время становится беллетристом и, лишь убедившись в том, что и беллетристика не может принести ему необходимых средств существования, решается стать профессиональным историком и эстетиком, чтобы добиться прочного положения при одном из немецких университетов.

В беллетристику (область, не получившую достаточного развития в его творчестве) Шиллер привносил чисто драматическую напряженность сюжета и слога. Это сказывается не столько в его новеллах (написанных в 1786—1787 годах), где большое место занимает анализ причин, приводящих человека к преступлению («Преступник из-за потерянной чести», «Игра судьбы»), сколько в незаконченном романе «Духовидец». Задуманный как разоблачение шарлатанствующих мистиков (вроде пресловутого Калиостро) и деятельности ордена иезуитов, этот роман с его сложным, интригующим сюжетом сразу захватывает читателя, пораженного сказочным видением Венеции, куда попадает протестантский немецкий принц, которого думает залучить в свои сети католическая церковь. Перед читателем проходит пестрое шествие венецианских патрициев, кардиналов, монахов, нищих и бандитов, таинственных масок, дерзких обманщиков и коварных красавиц. Но это шествие обрывается прежде, чем мы становимся свидетелями обещанного разоблачения казней и «завлекательных чудес» иезуитов. Шиллер не дописал романа, несмотря на необычайный успех фрагмента, печатавшегося в журнале «Талия» за 1787—1789 годы небольшими отрывками, каждый раз под давлением острой материальной нужды. В 1788 году Шиллер публикует «Боги Греции», большое стихотворение, в котором достаточно ясно высказывает свою неприязнь к христианской религии, свое восхищение светлым, жизне-

радостным мировоззрением древних. В 1789 году выходит отдельной книгой «Духовидец», а также философское стихотворение «Художники». На этом Шиллер надолго, на целых шесть лет, обрывает свое художественное творчество.

Дружба с Гете воскресила в Шиллере поэта, художника. Образ Валленштейна, мрачная фигура, высящаяся над трагическим хаосом Тридцатилетней войны (1618—1648), мощно захватывает его воображением. Но новое понимание исторического развития общества и задач драматического искусства, наконец трудно поддающийся законам сцены исторический материал потребовали от поэта пересмотра привычных коллизий, совершенно новой художественной формы. Выполнение замысла затягивалось на годы. Первая мысль о Валленштейне, мелькнувшая в сознании поэта еще в 1791 году, была закреплена в первоначальном плане только в 1794 году. В марте 1796 года он решился приступить к ее осуществлению. В 1799 году трагедия о Валленштейне, выросшая в трилогию, была завершена.

Ожившая поэтическая активность позволяла Шиллеру наряду с работой над «Валленштейном» создавать множество мелких и крупных лирических произведений. В 1795 году он пишет ряд наиболее известных своих философских стихотворений. Философская лирика Шиллера далеко не равноценна. Рядом с вершинами этого жанра, такими стихотворениями, как «Раздел земли», «Власть песнопения», «Пегас в ярме», «Прогулка» или «Жалоба Цереры», где сила пластического языка сообщает абстракции вес и блеск неподдельного «золота поэзии», встречаются также поэтически худосочные *рассуждения в стихах* («Идеалы и жизни», «Гений»), читая которые, отчасти соглашаешься с Шиллером, когда он пишет о себе Гете: «...сила воображения вредит моим абстракциям, а холодный рассудок — моему поэтическому творчеству».

В 1796 году Шиллер, частично в соавторстве с Гете, написал более четырехсот эпиграмм, направленных против вульгарных просветителей, узкобогословов, а также против романтиков (так называемой «иенской школы»), в которых Шиллер плеебейским чутьем угадал будущих идеологов реакции, философски и литературно подготовивших политическую систему Меттерниха.

Но особенно знаменателен в творческой биографии Шиллера 1797 год. В этом году им были созданы его всемирно известные баллады, в которых чувствуется властная рука драматурга,

писавшая их одновременно со сценами «Валленштейна». Баллады Шиллера переносят нас не в мир сказок и доисторических преданий, а на конкретную почву истории, где «чудесное» существует разве лишь как черта психологии людей отдаленной эпохи. Герои большинства шиллеровских баллад — подвижники, люди большой отваги, верящие в правду своих деяний, своего жизненного пути. Такие баллады, как «Рыцарь Тогенбург», «Кубок», «Перчатка», «Порука», «Поликратов перстень», «Ивиковы журавли», «Бой с драконом», никогда не перестанут волновать читателя. Все это образцы замечательной исторической живописи. Так, рядом со старинной, восходящей к устному народному творчеству *сказочной* балладой (классическим примером которой служит «Лесной царь» Гете) Шиллер создает свою *историческую* балладу, нашедшую самый широкий отклик в народных массах. Эти баллады писались в соревновании с Гете, который не только дружески критиковал своего младшего собрата, но в одном случае даже уступил ему давно облюбованную тему («Ивиковых журавлей»), полагая, что она более соответствует драматическому дарованию Шиллера.

Особое место в шиллеровской лирике занимает «Песнь о колоколе» (1799), в которой, более чем в каком-либо другом стихотворении поэта, переплетаются сильнейшие и слабейшие стороны его мировоззрения. «Песнь о колоколе» — вдохновенная здравица в честь труда, в честь трудовой жизни простого народа с ее буднями и празднествами, радостями и печалями, в честь мирной, созидающей работы человечества:

Труд — народов украшение
И ограда от нужды.
Королю за трон почтенье,
Нам почтенье за труды.

Тем досаднее, что идея труда и мира в «Песне о колоколе» увязана с идеей безропотного市民ского прозябания, филистерски противопоставлена практике французской революции. Когда Писарев упрекал Шиллера и Гете в том, что они «украсили на вечные времена свинью голову немецкого филистерства лавровыми листьями бессмертной поэзии», он, несомненно, имел в виду и это стихотворение, где как бы обрел философский голос тот самый филистерский мирок, который Гете противопоставил «ужасам французской революции» в «Германе и Доротее».

Начиная с 1797 года Шиллер, вновь почти всецело отдавшийся драматическому творчеству, создает семь драм за те восемь лет, которые отделяют его от смерти: «Лагерь Валленштейна» (1797), «Пикколомини» (1798), «Смерть Валленштейна» (1799), «Мария Стюарт» (1800), «Орлеанская дева» (1801), «Мессинская невеста» (1803) и «Вильгельм Телль» (1804). Восьмая — «Деметриус», драма об «обманутом обманщике» Лжедимитрии, — отсталась незаконченной.

За исключением «Мессинской невесты», все это — исторические драмы, освещающие великие поворотные пункты в жизни человечества, которые, по мысли Шиллера, одни лишь достойны внимания автора трагедий. Так, в «Валленштейне» (трилогии, охватывающей «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштейна») Шиллер изобразил Тридцатилетнюю войну с ее борьбой *одних* за единство Германии, *других* за сохранение ее раздробленности. В «Марии Стюарт» он показал столкновение сил реформации с силами контрреформации, в «Орлеанской деве» — борьбу за национальное освобождение Франции, в «Телле» — восстание швейцарских крестьян против крупного феодального хищника, Австрии.

Шиллер отнюдь не сводит действительные коллизии той или иной эпохи к одним лишь проблемам отвлеченной морали (в духе кантовской этики). Под его пером художника-реалиста с замечательной драматической картинностью оживают действительные силы, движавшие исторической жизнью человечества.

В отличие от Карла Моора, Фердинанда, Позы или Дон Карлоса, герои позднейших драм Шиллера — меньше всего простые возвестители политических убеждений автора. Напротив, в своем большинстве они принадлежат к тому разряду людских характеров, которые Шиллер обозначил термином «реалист», — то есть, как мы уже говорили, человек, действующий не в соответствии с законами отвлеченной морали, установленной разумом, а сообразно реальным обстоятельствам.

Стремясь к широкому объективному взгляду на историю человечества и на выдающихся исторических деятелей, Шиллер отказался от первоначальной мысли превратить Валленштейна, главного героя трилогии, в бескорыстного борца за объединение политически раздробленной Германии. Такой «великодушный»

герой вполне отвечал бы симпатиям автора, но противоречил бы исторической правде.

Валленштейн Шиллера (подобно историческому Валленштейну) сознает необходимость централизации Германо-римской империи, сплочения немецких земель в единый политический организм. Он видит, в какие бедствия ввергнута страна непрекращающейся междуусобной войной. Идея объединения империи (или хотя бы ее замирения), однако, не владеет всецело сознанием этого гениально одаренного полководца, но тщеславного, безудержного властолюбца,— бескорыстное служение родине не является истинной целью его жизни. Валленштейн смотрит на всю свою деятельность политика и полководца как на средство для личного возвышения. Он прав, сознавая всю шаткость своего положения «полновластного имперского главнокомандующего», прав, полагая, что сможет влиять на судьбы империи, изгнать чужеземцев, даровать мир государству, равноправие католикам и протестантам, лишь сделавшись королем Богемии. Но богемская корона, личная слава ему дороже и блага империи и благоденствия населяющих ее племен и народов. Человек великих дарований и сильной воли, Валленштейн — все же сын «ужасного века», не возывающийся над нравственным уровнем расплетенной имперской знати. Мысль, высказанная своим Валленштейна, графом Терцким: «Корысть людьми и миром управляет», вполне разделяется и Валленштейном. Более того, эта мысль и есть та практическая философия, которая движет жизнью и Валленштейна и всех «валленштейнцев» — генералов Терцкого, Илло, Изолани, Бутлера (образ каждого из них полнокровен и обособлен). Впрочем, той же «философии» держатся и противники Валленштейна — Октавио, Пикколомини, Квестенберг. Император или его главнокомандующий? В глазах обеих партий — это не два политических принципа, а всего лишь две ставки в игре с изменчивой судьбой.

Валленштейн не верит в чистоту людских побуждений и потому, желая удержать за собою армию, играет на самых низких инстинктах своих солдат и военачальников. Одних он покупает поощрением мародерства, других щедрыми подачками, третьих иными, столь же недостойными средствами. Так, возбуждая перед императором ходатайство о возведении в графское достоинство генерала Бутлера — выходца из народных низов, он тут же, в частном письме, советует не потакать честолюбию зарвавшегося простолюдина. Естественно, что отказ в ходатай-

стве, пришедший из императорской канцелярии, делает Бутлера тем более безоговорочным «валленштейнцем».

Теми же способами — подкупом, посулами, игрой на честолюбии — будет действовать, стремясь подчинить себе армию, и «императорская партия» во главе со старым Пикколомини, антиподом Валленштейна. Посвященный в историю ходатайства о присвоении ему графского титула, Бутлер становится убийцей главнокомандующего.

Борьба за обладание армией — такова реальная пружина действия трилогии о Валленштейне. Шиллер с подлинным реалистическим мастерством изображает войско Валленштейна, пестрый сброд, ставший под знамена удачливого полководца. В веселой подвижности оживает перед нами эта армия (в «Лагере Валленштейна»): при поимке шулера, за слушанием яростной проповеди капуцина, у прилавка маркитантки. Канониры, стрелки, егеря, аркебузиры, уланы, кирасиры... каждый из них — реальное лицо, но на каждом печать родовой общности: полка, края, народности. Немцы рядом с валлонцами, итальянцы рядом с хорватами. У каждого свое прошлое — темное, горестное, беспутное, на которое они смотрят с высоты вахмистрского чина, глазами видавшего виды воина, с беспечностью подвыпившего рекрута. О, они прекрасно знают, каково живется народу. Но вольно же ему не идти в войско «фридландца», к их кумиру Валленштейну!

Лишь там не унижен еще человек,
Лишь там мы кое-что значим!

Валленштейн — некогда бедный дворянин, а теперь герцог Фридландский и всесильный генералиссимус имперских войск — для своих солдат и офицеров и отец и прообраз боевого и личного успеха.

В беседе со шведским полковником Врангелем этот умный, расчетливый полководец и политик ясно определяет нравственное лицо своего войска:

у австрийца
Отчизна есть, и любит он ее,
Да и недаром любит. Но у этих
Имперских войск, как называют их,
Ни крова, ни отчизны нет.
...И здесь, в kraю богемском, за который
Воюем мы, привязанности нет
К властителю...

Озлоблен чех гонением за веру,
Насильем он запуган — не смирен.
...Забыть возможно ль сыну, что отца
К латинской литургии гнали псами?
Когда народ такие снес обиды,
Его страшна покорность, как и месть.

Такая армия, по убеждению Валленштейна, пойдет зашим против кого бы он ни выступил.

Так что же мешает ему воспользоваться этой армией, поднять свой меч на императора? Прежде всего именно то, что он — не бескорыстный борец за счастье родины, что лозунг «единство Германии — или смерть!» — не его лозунг. Валленштейн расчетлив, он не хочет второго Регенсбурга (на регенсбургском сейме император однажды уже отрешил его от командования). Он знает, как переменчива удача, от какого множества причин и неожиданностей она зависит:

Мой помысел, хранимый в недрах сердца,
В моей был власти: выпущенный вон
Из своего родимого приюта,
Заброшенный в быт внешний, он подвластен
Тем силам злым, с которыми дружиться
Пытается напрасно человек.

Валленштейн желает действовать наверняка, завладеть искусством точного учета причин и следствий. Это приводит его к увлечению астрологией, которую он понимает в духе «наивного материализма» своего времени — как науку о неотвратимой необходимости, о извечной обусловленности бытия. «Научно», «по взаимному расположению планет» хочет он теперь принимать великие решения, которые приведут его к желанной цели. Астрология и стоящее за ней мировоззрение завладевают сознанием Валленштейна, исполняют его гибельной дерзостью: дойти до конца по пути, на который его толкнула система мышления, прельстившая его разум. Тем самым в его реалистический образ мысли вторгается иррациональное начало. Валленштейн уже не оценивает холодным умом все pro и contra, не взвешивает вероятности удачи, не вмешивается активной волей в ход событий, не слушает сторонних советов. Он только вчитывается в «небесные письмена», желая сохранить за собой свободу действовать в возведенный звездами, наиболее благоприятный час. На самом деле он лишь упускает время, компрометирует себя в глазах верховной имперской власти, становится рабом независящих от

него обстоятельств, и безвольно, в напряженном созерцательном бездействии, идет навстречу гибели.

Так он вступает в Эгер, покинутый генералами, войском, но все еще верящий в свою счастливую звезду,— в Эгер, который он считает своим надежным оплотом и который станет его могилой. Здесь приходит конец его пути — совершается убийство (или казнь) Валленштейна.

Думая о своем «Валленштейне» (по верному предположению немецкого ученого Кюнеманна), но, конечно, и на более общую тему, Шиллер пишет в своей статье «О возвышенном», что человек напрасно сочиняет «какую-то гармонию благополучия... между тем как в действительном мире нет и следа чего-либо подобного. Лицом к лицу стоим мы перед злым роком! Наше спасение не в неведении окружающих нас опасностей,— ибо оно должно же когда-либо прекратиться,— а только в знакомстве с ними. Это знакомство мы приобретаем благодаря ужасающему чудесному зрелищу все сокрушающей, и вновь созидающей, и вновь сокрушающей смены явлений, то медленно подкапывающей, то быстро нападающей на нас гибели; это *знакомство* мы приобретаем благодаря патетическим картинам борьбы, которую ведет человечество с судьбою, картинам неудержимо исчезающего счастья, обманутой безопасности, торжествующей несправедливости и побежденной невинности, которых так много в истории и которые изображает перед нашими взорами трагическое искусство. Разве можно себе представить человека с не совсем искаженными моральными устоями, который... не преклонился бы в ужасе перед суровым законом необходимости...»

Именно в этой мысли — философское зерно трилогии о Валленштейне, по мере приближения к развязке поднимающейся по ступеням комедии («Лагерь Валленштейна») и драмы («Пикколомини») на вершину большой исторической трагедии («Смерть Валленштейна»).

Но Шиллер не ограничился отображением реальных исторических сил, их борьбы за единство и разобщенность Германии, а также тщетного стремления Валленштейна использовать эту борьбу в своих корыстных целях,— стремления, приведшего к гибели героя и к крушению тех, кто с ним связал свою судьбу. Автор трилогии о Валленштейне считал нужным усложнить свой замысел абстрактно-этическим мотивом. В этом привнесенном аспекте измена Валленштейна императору, его переход на сторону шведов и немецких князей-протестантов вырастает в

«трагическую вину» героя, взывающую к отщепению, в преступление, которое не должно остаться безнаказанным.

Шиллер не искажает характера своего героя. Валленштейн остается «реалистом». Его «вины», его «преступление» им, собственно, даже не осознаются. Он не раскаивается в содеянном. Отщепение, кара ударяют в него, как нежданная молния. Последние слова Валленштейна на сцене:

Спокойной ночи, Гордон!
Я думаю, что долго буду спать,
Все эти дни тревог мне было много,—
Так слишком рано не будить меня.

Он даже не догадывается о том, какой роковой смысл получит это последнее его приказание.

Сознание «вины» Валленштейна, его «преступность» доходят до нас благодаря вплетенной в трилогию теме Макса — Тэкли: полюбивших друг друга сына Октавио Пикколомини, главы императорской партии, и дочери Валленштейна. Их душевная чистота противопоставлена корысти всех других действующих лиц трилогии. Макс и Тэкла искренне любят Валленштейна, восторгаются его высоким духом, широтою его воззрений; и Валленштейн отвечает им столь же горячим чувством. Но «идеалист» Макс не может «принять» измену своего кумира, и Тэкла судит о ней не иначе. Макс оставляет Валленштейна и гибнет в сражении. Тэкла кончает самоубийством: «Таков удел прекрасного на свете». Людям чистого сердца не место в растленном, морально разложившемся обществе.

Но здесь напрашивается вопрос: почему Макс, человек «чистого сердца», должен быть непременно человеком «вчерашнего дня», почему разрыв Валленштейна с императором ему представляется столь ужасным? Ведь традиционная власть римского императора ко времени Тридцатилетней войны стала тормозящим началом немецкой истории, да и всегда (в силу своей антинациональной идеи: быть межнациональной высшей светской властью для всего христианско-католического мира) играла отрицательную, реакционную роль в жизни немецкого народа. Здесь уязвимое место концепции. Привнесенная автором идея «трагической вины» героя дает событиям драмы совсем особое освещение: абстрактно-этический мотив выделяется из цепи естественных причин и следствий, становится особым «миистическим фактором» истории, определяет исход борьбы героя с действительностью.

Силою замечательного драматического дара Шиллер сумел свести воедино по сути противоречащие друг другу реальные и абстрактно-этические мотивы трилогии, подчинить их единой концепции. Но это ему удалось лишь ценой ущербной, идеалистической трактовки истории,— объяснением неудачи, постигшей Валленштейна в его борьбе за централизацию Германии, не реальными причинами — объективным соотношением борющихся сил (включая сюда его личную роль в ходе событий), а вмешательством «высших сил», гарантирующих торжество «сверхисторической правды», абстрактной этики.

9

«Мария Стюарт», трагедия, освещающая одну из наиболее драматических глав в истории английской реформации и контрреформации,— новый шаг Шиллера в сторону реализма.

Действие трагедии начинается за день до казни Марии, шотландской королевы, томящейся в английском заточении, и кончается утром рокового для нее дня — 8 февраля 1587 года. Таким образом, вся прошлая жизнь злосчастной королевы вынесена за рамки трагедии. Шиллеру, несравненному мастеру драматической композиции, удалось «отмети весь судебный процесс и политическую возню и сразу начать с приговора». Строго говоря, в первом же акте автором дается не только завязка, но и развязка трагедии. Создавая видимость ухода от неизбежного конца, действие тем неуловимее движется ему навстречу.

Только со слов действующих лиц, и в первую очередь самой Марии, мы узнаем о ее прошлой блестящей и греховной жизни, о совершенном ею мужеубийстве, об утрате шотландского трона и бегстве в Англию — в надежде на помощь Елизаветы, права которой на английский престол она так дерзко и неосторожно оспаривала. С первого же дня вступления на английскую почву и до самой смерти Мария, хотя и лишенная свободы, являлась вольным и невольным оружием католической реакции, знаменем многочисленных восстаний. Обвиненная в заговоре против королевы, своей кровной родственницы, она была привлечена к суду и на основании документов сомнительной достоверности признана виновной.

Таким образом, к началу действия нерешенным остался только один вопрос: будет ли приговор подписан Елизаветой, скатится ли с плахи голова Марии?

В глазах Елизаветы, в глазах большинства английского народа казнь Марии исторически необходима. Только с ее исчезновением прекратятся кровавые заговоры, только ее смерть навсегда избавит Англию от католической реакции.

Когда на сцене впервые появляется Мария
...с распятием в руках,

С надеждой суэтной в надменном сердце,—

кажется несправедливым, предвзятым такое определение сущности развенчанной шотландской королевы, данное ее тюремщиком, суровым Полетом. И действительно, в беседе с кормилицей Мария искренне готова примириться со своей участью, считает справедливым кровью искупить содеянное ею кровавое преступление. Слова кормилицы:

Если есть
На вас грехи какие, им судья —
Не королева и ее парламент.
Насильники они! Вы перед их
Судом неправедным и самозванным
С отвагою невинности предстаньте! —

ее не убеждают.

Но вот племянник Полета, юный Мортимер, тайный агент католической реакции, передает ей письмо из Франции и возвещает намерение, свое и своих сообщников, освободить ее из заточения. И что же? В кающейся грешнице сразу оживают погребенные было надежды — и вместе с ними ее женское чувство, ее любовь к Лейстеру, всесильному фавориту Елизаветы. Мы с изумлением узнаем, что, несмотря на всю свою удрученность, Мария хранила за поясом письмо к лорду Лейстеру и только ждала надежного человека, чтобы при его помощи возобновить связь с могучим сообщником.

Эти внезапно воспрянувшие надежды помогают ей с честью провести политический и вместе правовой спор с бароном Берли, пришедшим ей сообщить о произнесенном над нею смертном приговоре. Едва ли и позднее (в кульминационной сцене третьего действия — знаменитом свидании двух королев) Мария перешла бы так быстро от смирения к взрыву королевского гнева, если бы не считалась с возможностью своей конечной победы над Елизаветой, если бы не знала о кровавом заговоре против английской королевы, не верила — хотя бы отчасти — в свое воцарение на престоле Тюдоров. Даже после бурных любовных домогательств Мортимера, заставивших ее в ужасе воскликнуть:

О Анна! Как от дерзкого укрыться?
И на какой замкнуться мне запор?
Какому мне святителю молиться?
Насилье — здесь, там — плаха и топор! —

Мария не перестает цепляться за жизнь, борясь с соперницей. Вплоть до прихода шерифа и плотников, явившихся возвигнуть эшафот, она надеется на избавление и победу, и только уравумев истинный смысл внезапно поднявшегося шума, — смиряется, кончает счеты с жизнью, вновь проникается чувством раскаяния, сознанием заслуженной кары. Две бездны — глубочайшего раскаяния и безудержного упоения борьбой — одинаково готовы поглотить все ее существо. Такова эта страстная, не знающая удержку, пежная и гневная женская натура.

Не менее страстна в любви и ненависти ее соперница Елизавета, несмотря на всю ее холодную расчетливость и коварство. Обе королевы играют фальшивую игру в сцене свидания: Елизавета, желающая сперва унизить, а затем простить свою соперницу, чтобы позднее прикончить ее рукою наемного убийцы; и Мария, пытающаяся искусственно воссоздать лик смиренницы, который еще так недавно (до обнадеживающей встречи с Мортимером) был ее непритворным лицом, чтобы уйти из-под топора, дождаться убийства Елизаветы и воцариться на ее престоле. Обе не выдерживают взятой на себя роли. Гнев и взаимная пешависть опрокидывают их хорошо продуманные намерения.

И все же Шиллер, все более склонявшийся тогда к реализму, объясняет ход событий не роковым столкновением двух женских характеров: прямого, пылкого — у Марии, и расчетливого жестокого — у Елизаветы. За этими характерами — борьба партий, схватка реальных исторических сил: реформации и контрреформации, французской и английской политики. Неудачное покушение на Елизавету, весть, что Мортимер, предполагаемый убийца Марии, а на деле ее сторонник, разоблачен и покончил с собою, сомнение в верности Лейстера, в его непричастности к заговору в пользу Стюарт побуждают английскую королеву решиться на казнь соперницы, которой требуют и возмущенный народ и ее советники. Если бы не произошло столкновения этих двух страстных натур, Елизавета, конечно, предпочла бы помилование и тайное убийство Марии. Но необходимость ее смерти сама по себе ни ею, ни всеми сторонниками реформации никогда не ставилась под сомнение. Королева была бесспорно права,sarcastically вопросая Марию:

Скажите, кто поручится за вас,
Когда я вам прошу деянья ваши?
Каким замком запру я вашу верность,
Чтоб ключ Петра ее не отомкнул?

Пока Мария жива, козни контрреформации не могут прекратиться. Елизавете остается только разыграть комедию с секретарем Дэвисоном, уклониться от прямого ответа: положить ли под сукно, или передать для исполнения подписанный ею смертный приговор, чтобы снять с себя обвинение в насильственной смерти кровной родственницы:

Никто не станет
Меня убийцей звать! Зальюсь слезами
Горючими над сестринской могилой...

Факт исторический. Так и поступила Елизавета Английская, не только отрицавшая свою причастность к смерти Марии, но и объявившая национальный траур по случаю ее кончины.

Замечательно мастерство, с каким Шиллер плетет живую нить драматического действия, чередуя успехи и провалы то одной, то другой из борющихся сторон, вплоть до конечного поражения и гибели шотландской королевы! Покаяние Марии, приятие ею смертного приговора как заслуженной кары за некогда совершенное мужеубийство — все это составляет трагическое содержание ее личных душевных переживаний, отнюдь не преображаясь в своего рода «мистический фактор», движущий историческими событиями, как то в известной мере имело место в «Валлештейне».

Пусть в «Марии Стюарт» не воскресает перед нами такая обширная картина эпохи, как в трилогии из времен Тридцатилетней войны, пусть действие этой трагедии разворачивается всего лишь в узкой сфере придворного мирка,— но внутри этих более тесных границ Шиллер в основном остается верен реалистической трактовке истории.

В этом смысле «Марию Стюарт» следует признать вершиной реалистического искусства Шиллера, до которой ему уже не удалось подняться ни в «Орлеанской деве», ни даже в «Вильгельме Телле», ни тем более в «Мессинской невесте», что не мешает, конечно, и «Орлеанской деве» и «Вильгельму Теллю» в некоторых других, существеннейших, отношениях значительно превосходить трагедию о злосчастной шотландской королеве.

Да! Чистое чернится не впервые,
И доблесь в прах затоптана стократ.
Но не страшись! Еще сердца людские
Прекрасным и возвышенным горят! —

с такими словами утешения Шиллер обратился к крестьянке из Дом-Реми, приступая к работе над «романтической трагедией», которой он хотел вернуть поруганной Жанне д'Арк былой ореол ее славы великой французской патриотки, столь беспощадно рассеянный поэтом Вольтера «Орлеанская девственница» (произведением, впрочем, и поныне сохраняющим свою ценность острой сатиры на католическую церковь и тиранию).

Правда, Шиллер полемизировал в своей «Орлеанской деве» не с одним лишь Вольтером, а и с Шекспиром, также исказившим и принизившим образ отважной воительницы в «Генрихе VI». Наконец, спорил Шиллер своей «романтической трагедией» и с реакционными немецкими романтиками (в первую очередь с Людвигом Тиком), противопоставляя их мистической драматургии и слепой приверженности к готической старине свое понимание средневековья, свой интерес к ранним движениям народных масс, сумевших — вопреки политической немощи и прямому предательству правящих классов — избавить Францию от британского ига. Как и в своих исторических балладах, Шиллер, в отличие от реакционных романтиков, вводит в эту драму религиозно-фантастический элемент лишь как черту отдаленной эпохи.

В разгаре работы над «Орлеанской девой» Шиллер писал другу Кернеру: «Моя новая пьеса должна возбудить большую симпатию уже своим сюжетом. Здесь один главный персонаж, все остальные персонажи, число которых достаточно велико, не могут идти с ним ни в какое сравнение по тому участию, которое он возбуждает»¹. И правда, в известном смысле «Орлеанская дева» — монодрама. Почти все действующие лица, равно как и массовые сцены, здесь выдержаны в блеклых, приглушенных тонах, чтобы тем ярче и рельефнее выделялся мощный образ Иоанны.

В «Орлеанской деве» Шиллер более, чем где-либо, злоупотребляет своим сентенциозно-многозначительным стилем. Действие

¹ Из письма к Кернеру от 13 июля 1800 года.

вующие лица в этой трагедии очень много рассуждают, рефлектируют, мыслят; но — вопреки декартовскому «*cogito ergo sum*» («я мыслю, а значит — я существую») — этим не доказывают реальность своего бытия. Героиня трагедии «Орлеанская дева» — личность *исключительная*, трагически одинокая, чужая в отцовском доме и при королевском дворе, постоянно живущая идеей служения родине. Пастушка из Дом-Реми глубоко убеждена в своей избранности, в том, что на нее возложена небом великая миссия освободительницы Франции, при условии, что она не поступится своим целомудрием, не привяжется сердцем к мужчине, к семье, к домашнему очагу.

Высокая патетика ее монологов не имеет ничего общего ни с кроткими или страстными словами Марии Стюарт, ни с рассудительным холодом тронных речей и горьких раздумий Елизаветы. Насколько язык всех персонажей «Марии Стюарт» реалистичен даже в сценах наибольшего драматического напряжения, настолько монологи Иоанны всегда возвыщенно-условны — как будто раздается Роландов рог и начинается народный эпос, героический миф. Было бы неправомерно возражать против «неестественности» речей и поступков героини в драме, где автор меньше всего добивался какой бы то ни было «естественноти», где он сознательно отступает если не от реалистического tolkowania событий, то от реалистической стилистики, от обыденности речей и поступков. И пресловутая жестокость Иоанны в сцене с Монгомери, и торжественные античные trimetры, в которых она ему возвещает о своем высоком назначении, вполне вяжутся с экстатическим образом «святой воительницы». И уж тем более понятно, что нарушение обета — внезапно завладевшее ею «греховное чувство» к мужчине, да еще к врагу Франции — должно было надломить ее уверенность в своей сверхъестественной силе. Только покорно приняв жестокие воздаяния за совершенную вину — проклятие отца, обвинение в колдовстве, английский плен, только подавив в себе чувство к Лионелю, Иоанна снова ощущает себя существом, вдохновленным свыше, и умирает, просветленная, на поле битвы, спасая родину (Шиллер не дает ей погибнуть на костре, как то было в действительности).

В отличие от «Марии Стюарт», трагедия «Орлеанская дева» стремится охватить жизнь *всей* страны, *всех* сословий и социальных слоев королевства. Но именно потому, что Шиллер хотел сообщить своей героине черты исключительности, вывести ее пророчицей, «избранницей небес», ясновидящей, он должен

был оторвать Иоанну от ее среды, отобщить от родных, от крестьянства, народа. Тем самым Франция с ее сословиями и классами здесь — всего лишь подвижный декоративный фон, на котором протекает самоотверженная жизнь Иоанны. Поэтому тема «герой и народ» не могла стать центральной темой «Орлеанской девы», и осью драматического действия здесь должна была послужить излюбленная коллизия французских трагиков: борьба между «долгом» и «чувством», между высоким призванием героини и ее вдвойне греховной любовью к британцу Лионелю.

Мысль о воздействии воли народных низов на ход истории, о глубокой связи героя с народом, поставленная в «Орлеанской деве», но не получившая в ней должного драматического развития, стала центральным мотивом последней из законченных драм Шиллера — «Вильгельма Телля».

11

Шиллер не сразу перешел от «Орлеанской девы» к «Вильгельму Теллю», народно-романтической драме о знаменитом стрелке, с именем которого швейцарцы связывают свое освобождение от австрийского ига. Раньше «Телля» была закончена «Мессинская невеста», самая «античная» из шиллеровских драм, единственная драма, работая над которой поэт вступил в противоречие с собственным утверждением, что художнику следует брать «форму из более благородных времен» лишь для того, чтобы «в образе пришельца вернуться в свое столетие». «Мессинская невеста», написанная по схеме софокловых трагедий и подчиненная давно отжившей идее рока, не имела живого контакта с современностью, была и осталась чисто эстетическим экспериментом. Здесь следует, однако, оговорить, что *рок* (фатум) получил в этой трагедии не достаточно величественное отображение — и по сравнению с античной его трактовкой и по сравнению с собственным, шиллеровским, его пониманием как *необходимости*, неотвратимого результата бесчисленного множества предпосылок. Слишком большое место среди таких предпосылок отведено здесь элементу «чистой случайности». Нельзя не согласиться с Фридрихом Геббелем, немецким драматургом XIX века, находившим, что в «Мессинской невесте» судьба попросту «играет с человеком в жмурки». И если, несмотря на сказанное, эта трагедия все же покоряла немецкого зрителя, то только благодаря ее бесспорным сценическим достоинствам —

напряженному развитию фабулы, великолепию стихотворного языка и трагическому лиризму хоров:

Не прилепляйся беспечной душой
К зыбкого счастья дарам богатым!
Кто в достатке, готовься к утратам,
Кто в удаче, свыкайся с бедой!

«Мессинская невеста» была паузой, необходимым роздыхом для Шиллера, на время прервавшим его напряженную работу над освоением столь значительной темы, как «свобода и народ», «свобода и родина». Однако только паузой, а отнюдь не бегством от убогой немецкой действительности (подобно «Ифигении в Тавриде» или «Римским элегиям» Гете), — ибо сейчас же по написании «Мессинской невесты» Шиллер снова взялся за эту на время оставленную актуальнейшую тему.

«Вильгельм Телль» писался Шиллером в 1803—1804 годах. К этому времени наполеоновские войны в значительной степени очистили «огромные Августинские конюшни Германии»¹, сотни самостоятельных карликовых государств были уничтожены, «Священная Римская империя германской нации» явно доживала свои последние дни (окончательно ликвидирована она была в 1806 году). Перед немецким обществом все настоятельнее вставал вопрос: какие формы, какой метод объединения Германии должен быть выбран? Естественно, что Шиллер не мог пройти мимо этого вопроса, волновавшего лучшие немецкие умы, как естественно и то, что автор «Орлеанской девы», уже однажды провозгласивший правомерность и плодотворность народного вмешательства в судьбы страны, признал наиболее желательным демократическое объединение немцев без помощи «феодальных опекунов», стремившихся объединить Германию «сверху», сводя до самых малых размеров необходимые социальные и политические реформы (первый разработанный проект такого юнкерского объединения Германии во главе с прусским королем в качестве императора был составлен в 1806 году).

«Вильгельм Телль» бесспорно является ответом на этот столь жизненный для Германии вопрос.

Пусть средневековое крестьянское восстание, приведшее к объединению швейцарских кантонов, нимало не сходствовало с историческим моментом, переживавшимся немецким народом на стыке XVIII и XIX столетий, пусть швейцарские крестьяне

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 143.

«освободились от господства австрийского орла, чтобы попасть под иго цюрихских, люцернских, бернских и базельских буржуя»¹, — Шиллер не мог не знать об этом. Для этого ему было достаточно прочесть известное место в «Письмах из Швейцарии» Гете: «Как, швейцарцы свободны? Свободны эти жалкие бедняки, ютящиеся по отвесным скалам? Они однажды освободились от тирана и на мгновение вообразили себя свободными. И вдруг под лучами солнышка совершилось странное превращение — из трупа поработителя возник целый рой маленьких тиранов». Но Шиллер игнорировал последующую, капиталистическую фазу швейцарской истории и даже реакционный, партикуляристский характер крестьянского восстания, увековеченного им в «Вильгельме Телле». На материале отдаленной исторической эпохи Шиллер решал вопрос, насущно важный для его современников: вправе ли народ восставать с оружием в руках против власти, угнетающей и грабящей его?

«Тебе отмщение, и ты воздашь!.. Нет нужды тебе в руке человеческой!» — некогда воскликнул Карл Моор, сознавая себя неразумным мальчишкой, посягнувшим на право воздаяния, принадлежащее, как он полагал, одному только богу.

Нет, есть предел насилию тиранов!
Когда жестоко попраны права
И бремя нестерпимо, к небесам
Бестрепетно взывает угнетенный
И все свои права там достает,
Что неотъемлемы и нерушимы
В небесной выси звездами сияют;
Вернется первобытная пора,
Когда повсюду равенство царило.
И если все испробованы средства,
Тогда разящий остается меч.
Мы благо высшее имеем право
Оборонять! —

убежденно говорит повстанец Штауффахер. Отдельный человек, быть может, должен терпеть и страдать (Шиллер во многих местах делает эту оговорку), но народ вправе сам ковать свое счастье, обороняться от насилия.

Неверие Карла Моора в свое право на бунт тесно связано с сознанием бюргерскими классами XVIII века собственной немощи. Напротив, уверенность Штауффахера в праве народа на воору-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. V, стр. 229.

женное восстание отражает новую фазу немецкого национального сознания, свидетельствует о великом уроке, вынесенном передовыми немцами из опыта французской революции, говорит о том, что право народа на разрушение старой, дурной, и построение новой, лучшей, жизни получило широкое признание и за рубежами Франции, в том числе на родине Шиллера.

От трагедии одинокого бунтаря Карла Моора к прославлению народного восстания, к убийству тирана — таков творческий путь Шиллера, сложный, извилистый, противоречивый и все же достаточно ясный по своей устремленности.

Мы отнюдь не склонны забывать о мещанском страхе Шиллера перед французской революцией, перед улицей якобинского Парижа, как о том свидетельствует «Песня о колоколе». Правда, это стихотворение было написано в 1799 году, но тот же мещанский страх в известной степени ощущается и в «Вильгельме Телле». Вся сцена с герцогом Иоганном, по прозвищу «Паррицида», убившим императора Альбрехта I, своего дядю и опекуна, введена специально для того, чтобы несколько смягчить «террористический акт» альпийского стрелка. Телль приходит в ужас от совершенного Паррицидой, изгоняет его из своего дома. Вообще, строго говоря, Шиллер прославляет в «Телле» всего лишь «оборонительную» буржуазную революцию, революцию во имя нарушенных властями «старых прав». Но под этим реакционным лозунгом стихийных народных движений сокрушалась не одна твердыня, воздвигнутая господствующим классом.

Известно, что Шиллер думал написать драму из жизни революционного Парижа; позднее он отказался от этой идеи. Но и теперь, погрузившись в далекое прошлое, вглубь XIV века, в жизнь средневековой крестьянской общины, Шиллер по сути уяснял себе смысл явлений новейшей истории. Изображая «узкий локальный мирок», он хотел «бросить взгляд из этой узости локально-характерного на дальнейшие перспективы развития человечества. Так из узкого ущелья человек смотрит в открывающиеся впереди просторы необъятной равнины». С тем большей обстоятельностью и любовью воссоздавал он швейцарский пейзаж, почти не тронутый человеком, и этих патриархальных поселен с узостью их воззрений, с их консерватизмом и суеверным почитанием «доброго старого времени», чтобы затем показать, как в этих простодушных, терпеливых людях пробуждается готовность к борьбе, сознание своей социальной правоты, своего человеческого достоинства. Ведь еще на сходке в Рюти

один из вождей-повстанцев говорит такие «благоразумные» слова:

Цель наша — свергнуть ненавистный гнет
И отстоять старины права,
Завещанные предками. Но мы
Не гонимся разнуданно за новым.
Вы кесарево кесарю отдайте,
И пусть вассал несет свой долг, как прежде,—

и так далее, в том же смиренном духе.

Сам Вильгельм Телль столь же, если не более, смиренен, как эта своеобразная швейцарская «вольница». Человек мощных благородных душевых движений, но кроткий сердцем и привыкший к послушанию — таков этот своеобразный герой, сын народа, но никак не вождь его. Альпийский охотник, он много бродит в горах, мало общается с людьми, редко задумывается над жизнью своей общины. Он ничуть не лукавит, говоря, что лишь по неразумию, по легкомыслию не поклонился шляпе фохта!

Но все смирение Телля не избавляет его от суровой расправы и беспощадного глумления Гесслера. На собственном опыте Телль узнает, что значит владычество Австрии. Человек, имевший жестокость потребовать от него, мирного селянина, не пошедшего даже на сходку в Рютли, чтобы он поразил из лука яблоко, положенное на голову сына, *не должен жить*, как не должна существовать и власть, поставившая над Теллем и его односельчанами такого изверга.

К этому решению приходит герой драмы. Он дает себе клятву уничтожить Гесслера и, невольный свидетель нового преступления фохта — его издевательства над беспомощной матерью и ее детьми,— с тем большей верой в свою правоту совершает казнь над ненавистным ставленником Австрии. Твердая рука и чистая совесть своего народа, Телль убивает Гесслера и тем подает сигнал к восстанию объединившимся швейцарским кантонам:

Один народ, и воля в нем едина.

Как бы автор «Вильгельма Телля» ни подчеркивал исключительность жестокости Гесслера и исключительность обиды, нанесенной родительскому сердцу Телля, весь смысл этой героической драмы достаточно ясно подтверждает право народа на восстание, на революционное устройство своей судьбы.

Уверенной рукой художника-реалиста Шиллер воссоздал

исторический и местный колорит отдаленной эпохи,— его Вильгельм Телль ни в малой мере не носитель собственных воззрений автора. И все же Шиллер был вынужден прибегнуть в этой драме к старому, уже отвергнутому им творческому приему — сознательному обнажению политической тенденции своего замысла. Чем, как не прямым «рупором духа времени», являются слова владетельного барона, умирающего старика Аттинггаузена:

Как без поддержки рыцарства крестьянин
Дерзнул подобный подвиг совершить?
О, если он в свои так верит силы,
Тогда ему мы больше не нужны,
В могилу можем мы сойти спокойно.
Бессмертна жизнь... Иные силы впредь
К величию народы приведут.

Конечно, феодал XIV века не говорил, да и не мог говорить таких слов,— но Шиллеру было слишком важно сообщить зрителю свое новое *credo*, обрисовать те «перспективы дальнейшего развития человечества», которые ему открылись «из узости локально-характерного». Он верил теперь в плодотворность смены общественных формаций, в бессмертную жизнь, упраздняющую некогда необходимые исторические силы (дворянство, феодализм) и заменяющую их другими силами, тоже подлежащими смене, покуда трудовой человек не станет, наконец, полным хозяином земли. Добровольное освобождение крепостных крестьян племянником Аттинггаузена Руденцем лишь дополняет слова умирающего барона. Апофеоз во славу меткого стрелка Телля перерастает в апофеоз освобожденного от угнетения народа. «Свобода! Свобода! Свобода!» — таковы последние слова этой драмы, главным действующим лицом которой является сам народ, идущий навстречу счастливой жизни.

Вера в народ, в его способность осуществить национальное объединение на демократической, подлинно народной основе — таков пафос, одушевляющий «Вильгельма Телля», таков итог раздумий Шиллера о судьбе своей родины. Характерно, что Шиллер назвал «Вильгельма Телля» не трагедией, а драмой. Убийство тирана, ставленника императора, не вызывает ни в ком (включая тираноборца Телля) каких-либо трагических чувств и размышлений. Шиллер усматривал в «Телле» новый литературный жанр, партитуру народного праздничного действия в ознаменование дня давней победы над тиранией. В «Телле» Шиллер переходит от трагического восприятия истории (какое он некогда

обнаружил в статье «О возвышенном») к вновь окрепшей в нем вере в оптимистическое разрешение истории человечества.

В следующей драме, «Деметриусе», — драме о «невольном обманщике» Лжедимитрии, — Шиллер реализовал давний замысел: изобразить трагическую судьбу самозванца (первоначальным героем такой трагедии должен был быть Варбек, выдававший себя за Ричарда Йорка, младшего из двух сыновей Эдуарда IV, умерщвленных Ричардом III).

В основе «Деметриуса» лежат две органически связанные темы: тема душевной драмы «невольного обманщика», первоначально считавшего себя царевичем и лишь позднее узнавшего об истинном своем происхождении, и тема освобождения России от польской интервенции, перекликающаяся с патриотическими мотивами «Орлеанской девы» и «Вильгельма Телля».

Фрагменты драмы и краткий ее план, оставшиеся нам после смерти Шиллера, дают основание для самых различных догадок о том, во что мог бы вылиться этот замысел. Великолепные прения в польском сейме, эскиз замечательной сцены свидания самозванца с матерью убитого царевича, инокиней Марфой, написаны с огромной драматической силой. Вместе с тем, обратившись к давнему замыслу — трагедии самозванства, Шиллер на время отошел от проблем, положенных в основу «Вильгельма Телля» и «Орлеанской девы». В этом смысле не «Деметриус», а «Вильгельм Телль» — последнее слово Шиллера, его высший идейный взлет, и вместе с тем его политическое завещание потомству.

Смерть вырвала перо из рук благородного поэта-гуманиста в момент, когда его взору открывались новые горизонты, когда его расплывчатые идеалы уже начинали принимать более четкие очертания и в нем крепла вера в политическую самодеятельность народа.

Бунтарские юношеские драмы Шиллера волновали и продолжают волновать всех тех, кто ненавидит темные силы истории, кто стремился и стремится к полному раскрепощению человека. «Разбойники», «Фиеско», «Коварство и любовь» — богатейший арсенал революционных идей. Недаром А. Н. Островский в драме «Лес» заставляет воскликнуть барина Милонова в ответ на цитату из «Разбойников»: «Но позвольте, за эти слова можно вас и к ответу притянуть!»

Но и позднее, когда Шиллер на время проникся горьким сознанием того, что счастливая «республика равных» мыслима

лишь в «царстве идеала», он остается страстным «адвокатом человечества» (В. Белинский). И такие драмы, как «Мария Стюарт» или трилогия о Валленштейне, доносили до сознания читателей и артистов мысль о пагубности общества, построенного на угнетении человека человеком, делающего из людей с хорошими, иногда выдающимися задатками — злодеев, преступников.

Со временем же, когда под влиянием французской буржуазной революции Шиллер начал постепенно переходить от страха перед народными движениями к вере в плодотворность самодеятельности масс, его творчество ознаменовалось такими народно-романтическими произведениями, как «Орлеанская дева», как «Вильгельм Телль» — этот апофеоз свободы, национального возрождения, демократического преображения мира.

Пусть многое и здесь еще половинчато, смутно, но вспомним знаменитую строфу из «Эпилога к шиллерову Колоколу» Гете:

Его ланиты зацвели румяно
Той юностью, конца которой нет,
Тем мужеством, что поздно или рано,
Но победит тупой, враждебный свет,
Той верой, что дерзает неустанно
Идти вперед, терпеть удары бед,
Чтоб среди нас добро росло свободно,
Чтоб день пришел всему, что благородно.

В 1955 году Всемирный Совет Мира постановил повсеместно отметить 150-летие со дня смерти великого Шиллера. Имя того, чье сердце, по слову другого великого человеколюбца, Белинского, всегда исходило «самою живою, пламенною и благородною кровию любви к человеку и человечеству, ненависти к фанатизму религиозному и национальному, к предрассудкам, к кострам и бичам, которые разделяют людей и заставляют их забывать, что они — братья друг другу»¹, — это имя будет по праву стоять на знамени миролюбивых сил всех стран и всех народов.

Ник. ВИЛЬМОНТ



¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. XI, стр. 245—246.



СТИХОТВОРЕНИЯ



ПРОЩАНИЕ ГЕКТОРА

Андромаха

Для чего стремится Гектор к бою,
Где Ахилл безжалостной рукою
За Патрокла грозно мстит врагам?
Если Орк угрюмый нас разлучит,
Кто малютку твоего научит
Дрот метать и угождать богам?

Гектор

Слез не лей, супруга дорогая!
В поле битвы пыл свой устремляя,
Этой дланью я храню Пергам.
За богов священную обитель
Я паду и — родины спаситель —
Отойду к стигийским берегам.

Андромаха

Не греметь твоим доспехам боле;
Ржавый меч твой пролежит в неволе,
И Приами оскудеет кровь.
В область мрака ты сойдешь отныне,
Где Коцит слезится по пустыне,
Канет в Лету Гектора любовь!

Гектор

Весь мой пыл, все мысли и стремленья
Я залью волной реки забвенья,

Но не пламенник любви.
Чу! дикарь у стен уж кличет к бою.
Дай мне меч и не томись тоскою!
Леты нет для Гектора любви.

А М А Л И Я

Светлый образ жителя Валгаллы,
Друг мой был всех юношей милей:
Очи — моря синего кристаллы
В майском блеске солнечных лучей!

Поцелуй друга — обаянье! —
Как две искры, вспыхнувшие вдруг,
Как два тона арфы при слиянье
В односторонний, неразрывный звук,—

Пламенели, душу сплавивши с душою,
На устах звука, сливавшися...
Сердце рвалось к сердцу... небеса с землею
Вокруг счастливцев растоплялися.

Друга нет, напрасно, ах, напрасно
Звать его в кручине и слезах!
Нет его — и все, что в жизни красно,
Все звучит мне безнадежным «ах!»

Б Р У Т И Ц Е З А Р Ъ

Б р у т

Здравствуй, царство мира и покоя!
Как последний римлянин к тебе
От Филиппа пришел я с поля боя,
Злой покорствуя судьбе.
Рим погиб! Мои войска разбиты!
Брат мой Кассий, где ты? Дай ответ!
В царстве смерти я прошу защиты,
Мне к живым возврата нет.

Ц е з а р ь

Кто, как муж, не знавший пораженья,
Величаво сходит в вечный мрак?
Этот взор и поступь — нет сомненья! —
Слышу римлянина шаг.
Тибра сын! Как прежде ль под грозою
Семихолмный град неколебим?
Часто воплем ночь я беспокою:
Умер Цезарь! Сиротеет Рим!

Б р у т

Как! Забыл ты двадцать три кинжала?
Тень твою — кто звал из черных струй?
Сгинь во тьме стигийского провала!
Плакальщик надменный, не ликуй!
При Филиппах на алтарь железный
Всю в крови поверг свободу враг.
Брут сражен, но Рим хрипит над бездной.
Брут идет к Миносу. Уползай во мрак!

Ц е з а р ь

Горе! Смерть от твоего кинжала!
Брут! И ты, мой сын?
Вся земля тебе принадлежала,
Ты бы мне наследовал один.
Уходи, ты стал бессмертен в Риме,
Ибо меч вонзил ты в грудь отца.
Разглашай меж градами земными:
«Величайшим стал я мужем в Риме,
Ибо меч вонзил я в грудь отца».
Уходи! Ты муке необорной
Дух мой предал скорбный.
Отплывай, гребец мой черный!

Б р у т

Стой, отец! Во всей твоей державе
Знал я только одного,
Кто с тобой сравниться был бы вправе,
Сыном ты назвал его.

Только Цезарь страшен был для Рима,
Только в Бруте Рима был оплот.
Прочь, тиран! Мы встретились — и мимо!
Жизнь твоя с моей несовместима.
Сгинет Цезарь там, где Брут живет!

МОГИЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ

Месяц сквозь туманы
Льет свой свет на тихие поляны;
Духи ночи с воплями летят;
Туч несется стая,
И, мерцая,
Звезды, словно светочки, блестят.
Вереницей мрачной и печальной,
Как видений сонм, толпа людей
К кладбищу идет — и погребальный
Их окутал мрак ночных теней.

Над клюкой склоненный,
В землю взор уставив помраченный,
Под двойным ярмом тоски и лет,
Тяжкою судьбою удрученный,
Кто идет за гробом тихо вслед?
Не «отцом» ли звал его умерший?
И от горя, злой тоски дрожит
Старца стан, согбенный, похудевший,
Волос дыбом на челе стоит.

Как сильна боль раны незажившей!
Холод в душу сирую проник!
Называл «отцом» его почивший,
«Сыном» называл его старик.
Сын твой — труп холодный и безгласный —
Он, твоя надежда и покой!
О, как жалок ты, отец несчастный!
Сын твой — труп холодный и безгласный —
Он, твоя отрада, рай земной!

Точно сейчас из объятий Авроры,
Райским сияньем еще окружен,
Радостно по полю бегал сын Флоры,
Роз ароматом облит, упоен.
Волны его красоту отражали,
Он веселился, заботы презрев,
Страстью его поцелуи пылали,
Краску любви вызывая у дев.

Бодрым казался в людских он собраньях,
Бодрым, как серна; и знал ли предел
Он, необузданный, в дерзких желаньях?
Нет, как орел в облаках, он был смел.
Как с приподнявшейся гривой густою
Конь негодует на узы свои,—
Так никогда не склонялся главою
Он перед сильными бренной земли.

Жизнь для него была светлой, отрадной,
Словно сиянье небесных светил;
Скорбь он во влаге топил виноградной,
Горе он в пляске рассеять спешил.
Сколько задатков в нем чудных хранилось!
Если б он зрелости полной достиг,
Если бы все, что в нем только таилось,
Пышно дозрело! Подумай, старик!

Чу! со скрипом двери растворились:
Вот кладбище. О, как страшно тут,
В сени мертвых! Все сердца забились...
Старец! слезы пусть твои текут! —
О, иди теперь по назначенью
Дальше, милый мой, и страсть свою,
Страсть избранных к высшему стремленью,
Утоли в Валгалле, как в раю!

До свиданья! О, какую силу
Эта мысль таит! Вновь увидать!
Чу! вот гроб спускается в могилу!
Чу! веревка вверх скользит опять!

Ах, мы часто молча обнимались,
И в глазах видна была любовь!
Стойте!.. Часто мы не соглашались...
Но потоком слезы льются вновь.

Месяц сквозь туманы
Льет свой свет на тихие поляны;
Духи ночи с воплями летят;
Туч несется стая,
И, мерцая,
Звезды, словно светочи, блестят.
Вот уже насыпан холм могильный...
О, за все богатства мира — только взгляди!
Гроб закрыт навек, отец бессильный!
Выше, выше холм растет могильный,—
Не вернется сын к тебе назад!

КОЛЕСНИЦА ВЕНЕРЫ

Дйн-дон! Дйн-дон! Всех, кто жив на свете,
На судилище зову!
Дйн-дон! Дйн-дон! Прометея дети,
Вот вам чудо наяву!

Пламенных юнцов и старцев мудрых
Гул колоколов скликает к нам,
Трепетных девчонок златокудрых
И холодных, благочинных дам.

Короли, философы, матроны
Толпами стекаются сюда,—
Все, чью мудрость стрелы Купидона
Вдребезги разбили без труда.

Движутся с улыбкою притворной
Те, кто, длань к небу устремив,
Воплями на паперти соборной
Заглушают совести призыв,

Кто в слезах, в смирении унылом,
Гасит сердца похотливый зной...
Фарисеи с янусовым рылом,
Встаньте молча предо мной!

Всех зову: еще не преступивших
Розами увенчанный порог,
Девственной душою не вкусивших
Ни страстей любовных, ни тревог.

Кто готов отведать яд и ныне
На распутье потрясенный встал:
Здесь — благоуханная богиня,
Там — безгрешной жизни идеал;

Кто уже знаком с хмельною чашей
И спешит бесстыдницу обнять —
Возвратитесь, юноши, чтоб нашей
Многомудрой лире внять!

Наконец, кто пил ее лобзанья,
Жертвы необузданных страстей,
К нам, на суд! И дайте показанья
Против обольстительницы сей!

Дин-дон-дён! — летит по всем дорогам.
Гогот черни слышится вдали.
В кандалах, прикованную к дорогам,
Шлюху Афродиту привезли.

Вот она — блудница, что от века
Род людской морочила всегда.
Не она ль смутила человека
Красотой запретного плода?

Стой, мамзель! Иль мыслишь, как доселе,
Справедливой кары избежать?
Ты не у Людовика в постели!
Здесь тебе помост, а не кровать!

Не к чему сегодня строить глазки,
Повторять кокетливую ложь.
Не спасут заученные ласки —
Этого судью не проведешь.

Вой, каналья! Нет тебе пощады!
Ну-ка, юбку заверните ей!
Плетью — хвать по розовому заду!
Так! Еще раз! Всыпьте посильней!

Слушайте! В судебном протоколе —
Все ее злодейские дела,
В чем она призналась поневоле,
Хоть сперва юлила и лгала.

Венценосцев, королей суровых,
Призванных строжайше чтить мораль,
Сладострастием уст своих медовых
Заманила сводница в сераль.

Там не раз носители короны
Делались подобием скота,
И об этом в хронике Назона
Есть весьма занятные места.

А желаешь избежать скандала —
Как Юпитер поступай, тайком:
В грязь швырнет он мантию, бывало,
И тотчас становится быком.

Впрочем, маскировка под скотину
Многим Зевсам нынешним под стать.
Прав народ, велевший властелину
В чистом поле травку пощипать!

Их сердца мертвы для состраданья
(Что ж! Им раем кажется земля),
Гложут их безумные желанья.
Тигр и тот добре короля!

Возле коронованного зверя
Суетятся сводни и дельцы,
Фавориткам отпирая двери,
Добывают деньги и венцы.

И нередко — о, предел коварства! —
Шлюха в царский кабинет войдет,
В сложную машину государства
Пальцы беспрепятственно сует.

Королям слепым она — как посох,
Слабоумным — библии взамен.
Разве в Дельфах не оракул в косах
Предрекал нам близость перемен?

Грабь! Дави! Иди любой дорогой!
Не страшись разгневанной молвы!
Только леди Пифию не трогай —
Иначе не сносишь головы.

Скольких шельма сбросила с престола —
Ни в каких стихах не передашь!
Сколько образин мужского пола
Вознесла за их любовный раж!

Даже тот, прославленный навеки,
Гений боя, баловень войны,
Кто, пролив солдатской крови реки,
Мог дсйти до Марса и луны,

Кто на мир безудержно и бурно
Налетал неистовой грозой
И пред лицом дальнего Сатурна
Плакал безутешною слезой,

Тот юнец, кто на вселенском троне
Не привык страшиться ничего,
Был пленен блудницей в Вавилоне,
И — конец владычеству его!

Сладкозвучным голосом сирены
Многих убаюкала она —
Тех, кто к делу рвался вдохновенно,
Чья душа для славы рождена.

Губит жизнь змеиный яд блудницы,
Отравляет радость майских дней.
Сгорблены, мрачны и желтолицы
Юноши, ужаленные ей.

Глянь на них — ходячие скелеты!
Не таких ли хладный ждет Коцит?
Им косу бы дать, и скажешь: это
Смерть сама перед тобой стоит.

Юноши, клянитесь клятвой вечной,
На скрижалях выбейте закон:
Избегать Харибы бессердечной.
И — хвала вам до конца времен!

Добродетель губит эта дама,
Беспощадно гасит мысли свет.
Так — в измятых розах нет бальзама,
Так — в разбитой скрипке звуков нет.

Разрушает Фрина силу духа,
Копошится, источая яд,
В механизме сердца потаскуха:
Миг — и стрелки совести стоят.

Будь велик, будь трижды гениален,
Но спознался с нею — и тогда
Из души безжизненных развалил
Звука не исторгнешь никогда.

Скольких старцев, на краю могилы
Молча вставших с ветхою клюкой,
Афродита дерзко поманила
Нагло обнаженою рукой.

Ток ударил в высохшие нервы,
В дряхлых членах дрожь не побороть,
И безбожно-сладкий голос стервы
Всколыхнул очнувшуюся плоть.

С пагубною прытью загудела
Кровь в застывших венах старика,
Напряглось изношенное тело,
Блещут очи: цель недалека!

Рот признанья жаркие бормочет...
Вдруг она, с беспечнейшим лицом,
Прыг в сторонку! Встала и хохочет
Над измученным бойцом.

Даже в храмах удалось пройдохе
Грязные обделывать дела.
О, сколь часто сладострастья вздохи
Устремлялись ввысь, под купола!

Сколько слез — из ящика Пандоры —
Лили в церкви тысячи очей.
Сколько, сколько слышали соборы
Ведьмою нашептанных речей!

Как известно, мир сквозь покрывало
Нам чудесней кажется подчас.
С детства стон церковного хорала
Рой видений пробуждает в нас.

Семь раз на́ день с добрым Михаилом
Добрый состязуется Молох.
Каждому великий труд по силам:
Этот славен, да и тот — неплох.

Вдруг — удар! И треснул меч Молоха.
(Бедная! Ее кидает в пот!)
Искренне, без всякого подвоха
Воину иглу она дает...

Томные, упитанные вдовы,
В сорок лет гонимые тоской,
В монастырь отправиться готовы,
Не предвидя радости мирской.

Жгуче-темпераментные дамы,
Проклиная немощных мужей,
Страстно ищут в полумраке храма
То, чего им не дал Гименей.

Горячит им кровь святая вера,
Щеки жарким пламенем горят.
Ах, и здесь печать свою Венера
Ставит на божественный обряд.

Их молитвы — волны нимфоманки
(Как заметил доктор Циммерман).
Матерь божью в образе вакханки
Ловко им рисует Тициан...

Как-то, заподозренную в блуде,
Афродиту в ратушу ввели.
Но обмякли слуги правосудья,
Даже слова молвить не смогли.

Ненароком распахнулось платье ль,
Или в этом тонкий был расчет,—
Но заерзal в кресле председатель,
У судейских с губ слюна течет.

Ну, какое вынести сужденье?
Сами посудите — как тут быть?
«Девушка... достойна... снисхожденья...
Предлагаю... дело... прекратить!»

К счастью, председателя супруга
Во-время смогла прорваться в зал.
Председатель замер от испуга
И — преступницу связал.

Даже клир (была она в уме ли?!)
Гадина оплевывала всласть.
Ну и что? Мы даже не посмели
Ей заткнуть разнужданную пасть.

Бедных дам, живущих жизнью сирой,
Без огня и трепета в крови,
Рыцарей с обрубленной рапирой,
Ставших инвалидами любви,

Шлет богиня с пенсиеей убогой
Отдыхать от гибельных страстей,
А иных пошлет другой дорогой —
К Мудрости, противнице своей.

(Слушай, Мудрость! Радоваться рано.
Погляди на рекрутов своих:
По причине тайного изъяна
Набожность подобная у них.

Улыбнись Амур им благосклонно,
Афродита подмигни хоть раз,—
И — увы! — под старые знамена
Каждый дезертирует тотчас.)

Сам альков стал тесен для блудницы.
Извращенной страсти не тая,
Даже пола четкие границы
Преступает хищная змея.

Но довольно!.. Кончим список черный.
Молкнут струны, цепенеет рот.
Бросьте ж ведьму на помост позорный,
Где стервятник мертвчину рвет.

Пусть палач железом раскаленным
Выжжет «Смерть» на мраморном челе,
И со лбом, навеки заклейменным,
Грешницу погонят по земле.

Так вот рек судья об Афродите..
— Кто же тот судья, скажи, поэт?
Где он жил? — Ну, если вы хотите,
Так и быть! Открою вам секрет:

В дни, когда морей земного шара
Христофор Колумб не бороздил,
Не было Кортеса и Пизарро,—
На пустынном острове он жил.

И поэты, струнами бряцая,
Тот клочок неведомой земли
Именем потерянного рая
И преддверьем счастья нарекли.

Но в тот самый миг, когда мужчину
Обманула женщина впервый,
Сорвался в бездонную пучину
Дивный остров грэзы золотой.

Грустно он маячит в океане,
Не один корабль его встречал,
Но тотчас в береговом тумане
Разбивался вдребезги у скал.





ДУРНЫЕ МОНАРХИ

Да прославит лира, что, бывало,
Лишь красу Венеры восхваляла,
 Вас, монархов, вас, земных богов!
Мой напев, смущенный шумом бурным,
В робости пред облачением пурпурным
 Задрожать готов.

Говорите! Взять ли мне цевницу
В час, когда надменно с колесницы
 На толпу взирает властелин?
Иль иное должен воспевать я,
Как король меняет панцырь на объятья
 Обнаженных Фрин?

Может, в раззолоченном чертоге
Смелый гимн сложить я должен, боги,
 Как во мгле мистических теней
Скука наряжается в беспечность,
Преступленья пожирают человечность
 До последних дней?

Или ваши сны я славить стану?
Червь желаний гложет неустанно
 Души обладателей корон.
Лишь к рабу, что у дверей палаты
Злато стережет, не алча блеска зата,
 Сходит чистый сон.

Муза, покажи, как за стенами
Короли с галерными рабами
На одном и том же ложе спят.
Там, где жадный взор ласкает мавра,
Театральные смолкают минотавры,
Тигры не хрипят.

Встань! Ключом таинственным Гекаты
Отвори подземные палаты!
Крылья бьют над головой моей.
Там, где смерть глухая завывает,
Дикий ветер страха кудри развеивает,
Я пою князей!

Здесь ли тихий берег? В эти ль гроты
Пристают желаний ваших флоты?
Ведь поток поистине велик!
Нет! И здесь вам не найти покоя!
В цепи ночь зловещей, черною рукою
Закует владык!

Мрачно блещут на гробах свинцовых
Скипетры в каменях бирюзовых.
Как роскошно разукрашен тлен!
Только златом не прикроешь смрада:
Лишь одним червям прожорливым награда
Те, кто мир взял в плен!

Гордые цветы в столь жалкой яме!..
Видишь, как с увядшими князьями
Шутит смерть бесстыжая сейчас!
Каково, лишившись всех сокровищ,
Оказаться в лапах мерзостных чудовищ?
Иль ваш гнев угас?!

Что ж вы спите, что ж вы не стряхнете
Тяжкий сон? Когда конец дремоте?
Гром победы загремел вдали!
Славою овеяны знамена,
И толпа вам рукоплещет исступленно.
Встаньте ж, короли!

Или вы не слышите, о сони?!

Лают псы, и в рощу рвутся кони,—

На охоту вас зовет труба.

Хорошо, предчувствуя победу,

Через лес скакать за кабаном по следу!

Бросьте же гроба!

Как! И вы молчите? Непонятно!

Передразнит эхо семикратно

Шепот камер-юнкера тотчас:

«Государь! Примите благосклонно

Тайные ключи! Покорнейше мадонна

В спальню просит вас».

Нет ответа! О, спадут ли шоры
С королевских глаз! Прочтут ли взоры
Слугами придуманный обман?

Даже здесь надеетесь вы глухо,
Что весь мир судьба, слепая потаскуха,
Сунет в ваш карман!

Чванитесь, трещите, куклы божьи,
На паяцев оперных похожи,
Дьявольский вам рукооплещет сброд.
Но на небе ангелы в печали
Горе-музыкантов громко освистали
С неземных высот.

Даже в ту священную обитель,
Где живет всевышний повелитель,
Вы готовы бросить змей клубок.
Но, добро и справедливость сея,
Навсегда срывает маску с фарисея
Бездесущий бог!

Так чеканьте ж на металле лживом
Профиль свой в сиянье горделивом,
Медь рядите в золотой наряд!

Алчный ростовщик спешил к вам с дапью,
Но бесплоден денег звон за тою гранью,
Где весы гремят.

Вас не скроют замки и серали,
Если небо грянет: «Не пора ли
 Оплатить проценты? Суд идет!»
Разве шутовское благородство
От расчета за вчерашнее банкротство
 Вас тогда спасет?

Прячьте же свой срам и злые страсти
Под порфиroy королевской власти,
 Но страшитесь голоса певца!
Сквозь камзолы, сквозь стальные латы —
Все равно! — пробьет, пронзит стрела расплаты
 Хладные сердца!

ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ ЮНОШИ

Словно близкой бури стон печальный,
Сышен скорбный колокольный гул.
С хмурых башен звон слетает погребальный,—
Сном последним юноша уснул.
Не успел созреть он для могилы,—
Жизнь его вступала в май,
Молодость безудержная била
И переливалась через край.
Стонет мать в тоске необоримой
(Горя ей не перенесть).
Умер друг мой, сверстник, брат любимый.
Плачьте все, в ком сердце есть!

Чем же вы кичитесь, вековые,
Бурям неподвластные леса?
Чем кичитесь, горы снеговые,
Врезавшись хребтами в небеса?
Чем кичишься, старец седоглавый,
Завершивший труд житеjsкий свой,
Или, опьяненный мимолетной славой,
На вершине подвига герой?

Лишь глупец себя уверить тщится,
Что он вечен, что кончины нет,—
Смерть, как червь, в самом цветке таится
И берет людей в расцвете лет.

Ласково пред ним кружились годы
В молодом веселье хоровода,
Мир так сладок и прекрасен был.
Будущего солнце золотое
Перед ним сияло и мечтою
Рай земной его манил.
Даже в дни, когда он, умирая,
Сыпал, как рыдала мать седая,
И над ним уже нависла мгла,—
Все равно, противясь темной силе,
В страхе гнал он мысли о могиле:
Обреченный жизнь вдвойне мила!

В этом тесном, подземельном доме
Глух и беспробуден сон его,
Не увидит он в глубокой дреме
Помыслов заветных торжество.
Встанет солнце над холмом угрюмым —
Скроет свет могильная доска.
Ветер пролетит с весенным шумом —
Нет, он не услышит ветерка.
Никогда в сияющие дали
Глас любви его не позовет,
И, над трупом сколько б ни рыдали,
Никогда он уст не разомкнет.

Только драгоценна та дремота
В тесном доме, где ты спишь, мертвец!
Там проходят радость и забота,
Мукам человеческим — конец!
Пусть вопит неистовой кликушай
Клевета! Пусть, брызгая слюной,
Злобствуют обман и криводушье,—
Там они не властны над тобой!

Шелудивый отпрыск правосудья,
Незаконнорожденный закон,
Оптом продает людские судьбы,—
Но бессилен пред тобой и он!

Пусть апостольскую маску подлость носит,
Пусть Фортуна в рвенье шутовском
Человека то на шаткий трон возносит,
То швыряет сверху в грязь лицом,—
В тесной келье, в темноте незрячей,
Огражден ты, друг мой дорогой,
От смешной погони за удачей,
Лотереи этой жизни шутовской!
Пошлой жизни с мертвыми делами,
Суеты ленивого труда,
Неба, заселенного чертями,
Взор твой не увидит никогда!

Так прощай же!.. Под могильной сенью
Мирно спи, не ведая забот.
Убаюкан скорбью песнопенья,
Спи, пока свиданье не придет.
Над холмами кладбища громово
Затрубит тогда труба во все концы,
С древних склепов свалятся засовы —
И от сна воспрянут мертвецы.
И когда планета задымится,
В этот богом освященный час,
Нам вернут бесчисленные гробницы
Все, что ими отнято у нас.

Не в раю, которым чернь согрета,
Не в мирах, что видят звездочет,
Не на небе, как твердят поэты,—
Но свиданье все ж произойдет!
Верить ли прозреньям пилигрима?
Есть ли где загробная страна?
С нами ль ходят мертвые незримо —
Или то фантазия одна?

Для тебя разгадана загадка.
И, вступив в тот сумрачный предел,
Может, оттого ты спиши так сладко,
Что ты высшей правдой овладел!

Так пускай под щелест черных мантий
Слуги смерти труд свершают свой.
Плакальщики! Плакать перестаньте!
Мы на прах насыплем прах земной.
Божью волю чей постигнет разум?
Где и кто обрящет силу ту,
Чтоб проникнуть человечьим глазом
Сквозь могильную плиту?
Сын земли — он в землю возвратится.
Ветр подхватит пепел мертвца.
Но любовь его да будет длиться,
И любви вовеки несть конца!

ЖУРНАЛИСТЫ И МИНОС

На днях случилось это:
Не помню как, но вдруг
Попалась мне газета
Из царства вечных мук.

Обычно наша пресса —
Как знать, по чьей вине? —
Не будит интереса
Особого во мне.

Но вот одна заметка
Мой приковала взор:
Такие вещи редко
Встречал я до сих пор.

«В аду,— статья гласила,—
Лет этак с двадцать пять
(Немало колесило
Известие, видать),—

Везде вода исчезла,
Любой ручей заглох.
Смерть на стену полезла,
В аду переполох!

Ловили в Лете раков,
Стикс проходили вброл.
Бедняк Харон, заплакав,
В грязи оставил бот.

Теперь в нем не нуждался
Уже ни стар, ни мал.
Без хлеба он остался,
Геенну проклинал.

Чертей во все пределы
Минос послал тогда:
«Разведайте, в чем дело,
Что высохла вода?!»

«Ура! — несутся клики,
Беснуется набат:
«Отысканы улики!
Победу празднуй, ад!»

Рой авторов во мраке
Пробрался раз к реке.
У каждого писаки
Чернильница в руке.

И (мы еще не знали
Таких чудес вовек) —
В бочонки перегнали
Всю воду адских рек.

Правитель багровеет —
Пощады не проси:
«Казнить их, лишь посмеют
Явиться в Сансуси!»

Дрожите, душегубы!
Сегодня царь не спит.
Он алчно точит зубы
И в ярости сопит.

«Попались, чужеземцы!
Вы кто?» А те в ответ:
«Мы, ваша светлость, немцы,
Сотрудники газет».

Князь говорит: «Дружищи,
Я мог бы дать приказ
Приправой к царской пище
Тотчас же сделать вас.

Но я для вас имею
Похлеще приговор:
Вас, лисы и злодеи,
Ждут муки и позор!

Покуда цел, обязан
Ходить к колодцу жбан!
Все, кто с писаньем связан,
Пусть платят за обман!

Отгрызть у них по пальцу —
Псу бросить моему!
Клянусь: вкуснее сальца
Такой обед ему!»

Писак — представьте сами —
Испуг пронзил насквозь...
Тут Цербер — щелк зубами!
И — дело началось!

Но и рукой увечной
Хотелось им опять
Воды из Леты вечной
В чернила накачать...»

Эй вы, кто в вере истов!
Совет даю я вам:
Отныне журналистов
Ищите по рукам.

Они порою сами
Изъян скрывают сей,
Как воры париками
Отсутствие ушей!

ВЫТРЕЗВЛЕНИЕ БАХУСА

Валил валом из ворот
Весь народ,
Взяли парня в оборот!
«Отчего ж ты, брат, невесел?
Ведь немало куролесил,—
Сколькоих с толку сбил ты, брат!
Делал умника болваном,
Застилал глаза туманом,
Одурачивал рассудки,
Выворачивал желудки,
В тигров обращал ягнят!
Набекрень сдвигали шляпы
Мы, в твои попавшись лапы,
И мелькали в дикой пляске
Зданья, улицы, коляски.
Неспроста тебя винят!
Что ж! Отведай в этой клетке
Горький плод своей же ветки;
Выворачивай желудок,
Потеряй и ты рассудок.
Не уйдешь отсюда, брат,—
Будешь сам себе не рад!»
Валил валом из ворот
Весь народ,
Взяли парня в оборот!
«Мы тебя, браток, потешим,

Языки теперь почешем.

Вспомни, старый зубоскал,
Как, твое вкусили зелье,
Мы кружились каруселью,
Как в глазах у нас томнело,
Как в ушах у нас звенело.

Получай, чего искал!
Из пивной, бывало, выйдем —
Солнца на небе не видим,
Выпив чертову отраву,
С ходу валимся в канаву.

Вспомни, старый зубоскал,
Как луна хмельною ночкой
Нам казалась винной бочкой,
Как мы башни и курганы
Принимали за стаканы.

Вспомни, старый зубоскал!
Получай, чего искал!»
Валит валом из ворот
Весь народ.

Взяли парня в оборот!
«Козни плесть ты мог неплохо.
Отчего ж примолк, пройдоха?

Иль не знаешь, как тут быть?
Видно, в этой переделке
Ты забыл свои проделки
И, умаявшись от качки,
Стал подобен глупой прачке,
Растеряв былую прыть!
Но послушай: ведь не худо
Улизнуть тебе отсюда.

Так беги ж, спасая шкуру,
К своему дружку Амуру.
Прочь, негодный лоботряс!
Улепетывай-ка! Живо!
Мы ведь, парень, незлобивы,—
Но коль снова попадешься,
От расправы не спасешься!

Что, бездельник? Понял нас?
Ну, так вот тебе наказ!»

МУЖИЦКАЯ СЕРЕНАДА

Слышишь? Выгляни в окно!
Средь дождя и мрака
Я торчу давным-давно,
 Мерзну, как собака.
Ну и дождь! Потоп кругом!
Барабанит в небе гром.
 Спрятаться куда бы?
До чего же ливень зол!
Мокнут шляпа и камзол
 Из-за вздорной бабы.
Дождь и гром. В глазах черно.
Слышишь? Выгляни в окно!

К черту! Выгляни в окно!
Холод сводит скулы.
Месяц спрятался. Темно.
 И фонарь задул.
Слышишь? Если, на беду
Я в канаву упаду —
 Захлебнуться можно.
Темнота черней чернил.
Дьявол, знать, тебя учил
 Поступать безбожно!
Дождь и гром. В глазах черно.
Баба, выгляни в окно!

Дура, выгляни в окно!
Ax, тебе не жалко?
Я молил, я плакал, но —
 Здесь вернее палка.
Иль я попросту дурак,
Чтоб всю ночь срамиться так
 Перед целым светом?
Ноют руки, стынет кровь,—
Распроклятая любовь
 Виновата в этом!
Дождь и гром. В глазах черно.
Стерва, выгляни в окно!

Тыфу́ ты черт! Дождусь ли дня?..
 Только что со мною?..
Эта ведьма на меня
 Вылила помои!
Сколько я истратил сил,
Холод, голод, дождь сносил
 Ради той чертовки!
Дьявол в юбке!.. Хватит петь!
Не намерен я терпеть
 Подлые издевки.
Дождь и ветер! Шут с тобой!
Баста! Я пошел домой!

ВОЗМЕЗДИЕ МУЗ

Забавное происшествие на Геликоне

Девять муз в слезах вбежали
К богу песен в храм.
«Папа! — сестры завизжали.—
Угрожают нам!

Молодые рифмоплеты
Появились тут.
В геликонские ворота
Кулаками бьют,

Галопируют нахально
На конях. Взгляни!
Говорят, что гениально
Могут петь они.

И к тому нас принуждают,
Что девичья честь
Нам никак не разрешает
Даже произнесть.

А один — всех прочих хуже —
Полчище зовет,
Машет лапой неуклюже,
Как медведь ревет.

Дважды свистом заливался
Дерзкий скандалист,
Но никто не отзывался
На злодейский свист.

Коль тебе искусство любо,—
Страхам нашим верь,—
Вновь придет — так душегуба
Выгони за дверь!»

Слушал Феб стонанья эти
И сказал засим:
«Ерунда! Не бойтесь, дети!
Мы им зададим!

Ну-ка, дочка Мельпомена,
Мигом в ад слетай,
Лиру, ноты, плащ мгновенно
Фурии отдай.

Чтоб она, переодетой,
Лишь сгустится мгла,
С атаманом шайки этой
Встретиться могла,

Чтоб угрюмого лобзанья
Он отведал всласть,—
Неплохое наказанье
За шальную страсть!»

Вот владычица геенны
(Прямо не узнать!)
В одеянье Мельпомены
Вышла погулять.

Может, это небылица,
А быть может — нет:
Словно коршун голубицу,
Хвать ее — поэт.

И, несдержаны в порывах,
Спешившись с коней,
Много мальчиков красивых
Подоспело к ней.

Богиня выкинула — ах! —
Родился новый альманах!

ФАНТАЗИЯ К ЛАУРЕ

О Лаура, как назвать ту силу,
Что сближает и роднит тела,—
Как назвать, когда в волшебном вихре
Две души в одну она слила?

Посмотри: планеты мчатся в безднах,—
Что велит им вечный круг свершать?
Что влечет их в пляску круговую,
Как детей, приветствующих мать?

В золотых потоках света греясь,
Их лучистый хоровод
Черплет жизнь из огненной амфоры,—
Так из мозга тело жизни берет.

Если атом к атому стремится,
Если строй миров ненарушим,
Если сфер мелодииозвучны —
Эту связь любовь дарует им.

Изыми любовь из сил природы —
Естество рассыплется во прах,
Все поглотит дикий древний хаос,—
Плачь, о Ньютон, о былых мирах!

Изыми из сонма душ богиню —
И, как телу, смерть им суждена.
Без любви не станет жизни,
Без любви не расцветет весна.

И какою силой, о Лаура,
Пламень в сердце поцелуй твой льет,
Заставляет всыхнуть щеки,
Устремляет смелый дух в полет?

Крови тесно в берегах природных,
Чувствам тесно в алчущей груди,—
Две души в одном огне сгорают,
Тело в тело жаждет перейти.

В вечных сменах неживой природы
Ту же власть любви вручил творец,
Что и в тонкой арахнейской ткани
Чутко внемлющих сердец.

Посмотри, Лаура, тьму страданий
Озаряет радостью любовь,
Холоду отчаянья враждебна,
Льет надежду пламенную в кровь.

В роковую ночь угрюмой скорби
Брызнет счастья кроткий луч —
И уже сквозь золотые слезы
Взор блестит, как солнце из-за туч.

Да, есть зло. Но страстному влеченью
Разве силы зла не подлежат?
Если небу наш порок враждебен —
Разве с ним не дружен ад?

Вслед греху послали Евмениды
Лютых змей — раскаянье и стыд.
Дан орлиный взлет величью,
Но за ним предательство следит.

Гордости грозит паденье,
Счастью зависть преграждает путь,
Сладострастье, как сестру родную,
Привлекает смерть к себе на грудь.

И, любви грядущего покорно,
Прошлое встает из темных урн,
Но свою невесту — Вечность —
Долго ищет сумрачный Сатурн.

Час пробьет,— так возвестил оракул,—
Вспыхнет брачным факелом весь мир.
Время Вечность приведет на тризну —
Это будет свадебный их пир.

Новый день не сменит брачной ночи,
Не смутит блаженные сердца.
И любовь меж нами будет длиться —
Радуйся, Лаура! — без конца.

ЛАУРА У КЛАВЕСИНА

Чуть коснешься ты струны послушной —
Чудо! — то, как статуя, бездушный,
То бесплотный, молча я стою.
Смертью, жизнью — всем ты завладела.
Словно Филадельфиа, из тела
Душу исторгаешь ты мою.

Мир, как будто зачарован,
К звукам сладостным прикован,
Обрывая дней полет,
Полноту блаженства пьет.
Самый воздух, замирая,
Чутко внемлет песням рая.
Как меня твой дивный взор —
Все пленяет звуков хор.

Вот они, как в сладострастной буре,
Гимном счастью вознеслись,—
Так новорожденные, в лазури,
Ангелы стремятся ввысь,
Так из тьмы, где Хаоса владенья,

В грозовую ночь миротворенья
Роем огненных шаров
Извергались тысячи миров.

Звуки льются, то журча украдкой,
Словно ключ по гальке гладкой,
То сильны, как бурный вал,
Бьющий в твердь гранитных скал,
Грозны, как гром, что в оркестр урагана
Мощно врывается гулом органа,
Смутны, как ветер весной
В липовой чаше,
Дышащий негой ночной,
Томный, пьянящий.

Горестны, как полный грустных пеней
Ропот сожалений в той ночи, где тени
Бродят плача, где Коцит
Волны слез в глухую даль стремит.

Дева, молви! Не сошла ль ты с неба,
Вестница возвышенная Феба?
Не в Элизии ль возник
Твой божественный язык?

ВОСХИЩЕНИЕ ЛАУРОЙ

О Лаура! Я парю над миром,
Я небесным осиян эфиром:
То в глаза мне заглянула ты.
Упиваюсь ароматом рая,—
Это взор твой вспыхнул, отражая
В яркой бирюзе мои черты.

Я внимаю пенью лир надзвездных,
Гимну сфер, врачающихся в безднах,
С музой сочетаюсь в забытьи,—
Это медля, как в блаженной муке,
Неохотно покидают звуки
Губы сладострастные твои.

Вот амуры над тобой взлетели,
Опьянев от песни, пляшут ели,
Словно душу в них вдохнул Орфей.
Полюсы вращаются быстрее,—
Это ты, подобна легкой фее,
Увлекла их пляскою своей.

Ты с невольной лаской улыбнулась —
И в граните, в мраморе проснулась
Жизни теплая струя.
Дивной явью стал мой сон заветный:
Это мне Лауры взор ответный
Молвил: «Я твоя!»

РУССО

Монумент, возникший злым укором
Нашим дням и Франции позором,
Гроб Руссо, склоняюсь пред тобой!
Мир тебе, мудрец уже безгласный!
Мира в жизни ты искал напрасно —
Мир нашел ты, но в земле сырой.

Язвы мира ввек не заживали:
Встарь был мрак — и мудрых убивали.
Нынче — свет, а меньше ль палачей?
Пал Сократ от рук невежд суровых,
Пал Руссо — но от рабов Христовых,
За порыв создать из них людей.

ДЕТОУБИЙЦА

Слышишь: полночь в колокол забила,
Кончен стрелок кругооборот.
Значит, с богом!.. Время наступило!
Стражники толпятся у ворот.

Жизнь, прощай! Любовь мою возьми ты,
Слезы, чувства, сны, последний взгляд.
Мир весенний, мы с тобою квиты,
Бесконечно сладок был твой яд.

Луч горячий солнца золотого,
В мрак могилы не проникнешь ты,
Никогда не встретимся мы снова,
Радужные девичьи мечты.
Я прощаюсь с вами в час печали,
Дети рая — грезы юных лет;
Не успев родиться, вы увяли
И вовек не явитесь на свет.

А давно ли девушкой невинной
Я была и пурпур алых роз
Оттенял наряд мой лебединый,
Вились розы в золоте волос?
Я сегодня в том же белом платье —
Жертва ада — здесь стою, нема.
Только вместо роз — как знак проклятья —
Смерти черная тесьма.

Плачете же надо мной, кто непорочно
Лилию невинности хранит,—
Девы, сочетающие прочно
Твердость воли с нежностью ланит.
Моему позору оправданье —
Это сердце, полное огня,
Злого искусителя лобзанья,
Усыпившие меня.

Ах, быть может, со змеиной лаской
Он к другой красавице прильнет
В страшный миг, когда дорогой тряской
Повезут меня на эшафот.
И когда в глухой предсмертной муке
Вскрикну я и ливнем хлынет кровь,
Будет он, другой целуя руки,
Пить блаженство и любовь.

Нет, Иосиф! Где б ты ни скрывался,
Знай — тебя найдет Луизы стон.
Слышишь: гул колоколов раздался.
Пусть в твой слух ворвется этот звон,
Пусть твоё спокойствие отравит,
В час, когда «люблю» шепнет она,
Пусть мой голос рану пробуравит
В голубых картинах сна.

О изменник! Иль тебе нет дела,
Как страдала молодая мать?
Это горе — горе без предела —
Тигра бы заставило дрожать!
Парус поднят — ты ушел надменно.
Вслед тебе смотрела я в слезах.
Девушкам на побережье Сены
Ты скулишь фальшивейшее «ах!»

А ребенок, милый мой ребенок,
Мирно спал, не зная ни о чем,
Улыбался ласково спросонок,
Пробужденный утренним лучом.
И душа на части разрывалась,
Глядя на святое существо,
И любовь отчаяньем сменялась
В сердце матери его.

«Женщина! Где мой отец?» — безмолвный
Лепет сына громом грохотал.
«Женщина! Где муж твой?» — боли полный,
Каждый угол сердца вопрошал.
Нет, мой мальчик! Звать отца не время,—
Он других голубит сыновей.
Проклянешь ты, презираем всеми,
Наслажденья матери своей.

Адский жар в груди моей пылает,
В целом мире я теперь одна.
Так зачем твой взор напоминает
Канувшие в бездну времена?

Детский смех твой воскрешает снова
Счастья дни, огонь любви былой,
Входит в душу, разорвав покровы,
Горькою, смертельною стрелой.

Ад мне, ад жить без тебя на свете!
Быть с тобою рядом — трижды ад!
Поцелуй ласковые эти
Об иных лобзаньях говорят.
Вопиют они о ложной клятве мужа,
Каждый звук той клятвы не забыт.
Сердце сжалось, и петля все туже...
Так был мною сын убит.

Но, Иосиф, где б ты ни был, помни:
Гневный призрак за тобой придет,
Сладкий сон развеет ночью темной,
Хладными руками обовьет.
Будь в раю,— но и в пределы рая,
В звездную полуночную тишину
Явится — провижу, умирая,—
Матерью удавленный малыш.

Здесь он, здесь, сынок мой бездыханный,
Я его сквозь сумрак узнаю.
Кровь струится из открытой раны
И с собой уносит жизнь мою...
Вот палач стучит. Бьет в сердце молот.
Радостно на казнь спеши!
Пусть скорей погасит смерти холод
Пламень мук истерзанной души.

Знай, Иосиф! Я тебя простила.
Да простит тебя господь!
Ты свободен: письма поглотило
Пламя, что ничем не побороть.
Ложные пылают обещанья,
Поцелуй корчается в огне,—
Все, что столько сладкого страданья
Принесло в минуты счастья мне.

Сестры! Розам юности не верьте,
Не поддайтесь лжи мужских речей!
На пороге неизбежной смерти
Шлю проклятья юности своей!
Слезы? Слезы палача?! Не надо!
Жалость не нужна мне. Так не плачь!
Лилию ломая без попады,
Не бледней, руби, палач!

Б И Т В А

Тяжкой, душной
Грозовою тучей
По равнине движутся полки.
Зеленея, раскинулось поле
Для жестокой, азартной игры,
Бьются тревожно сердца;
Смотрят в землю солдаты.
Мимо лиц мертвенно-белых
Скачет вдоль фронта майор:
«Стой!»
Скован командой железной,
Строй застыл, бездыханен и нем.

Что там блещет в утреннем тумане
На заре средь гор?
«Видите ли вы знамена вражьи?» —
«Видим, видим вдалеке знамена,
Да хранит господь малюток наших!»
Слышите? Весельем пьяны,
Рассыпают барабаны
По шеренгам дробь свою;
Звуки песен, звуки дудок
Нас волнуют и томят.

Братья! Коль умрем в бою,
Свидимся в ином краю.

Уж блещут молнии кругом
И нам вонзаются в глаза,

Дрожат ресницы, гул растет;
От войска к войску клич летит:
Пускай, пускай ревет гроза,
Все легче, глубже дышит грудь.

Уж бой в разгаре — играет в кости
смерть,
В дыму померкла твердь,
Гремят железные удары.

Схватились рати меж собой;
«Готовься!» — летит от взвода к взводу.
С колена целятся стрелки,
И многим больше не подняться.
Повсюду рвет ряды картечь,
Над павшими встают живые...
И косит смерть со всех сторон
За батальоном батальон.
Погасло солнце — пылает бой,
Над войском виснет мрак ночной.

Братья! спите вечным сном,
В мире свидимся иnom!

Брызжет на спину горячая кровь,
Где мертвые здесь, где живые? Нога
Наступает на трупы.
«Франц и ты?» — «Передай моей Лоттхен привет!»
Все яростней битва бушует.
«Я привет передам... — Боже! Гляньте,
друзья,
Что творит, завывая, картечь позади! —
Передам твоей Лоттхен последний привет!
Спи спокойно, товарищ! Покинут тобой,
Вновь я брошусь под пули, в бой».

Как прилив и отлив, колеблется бой,
Над войском все гуще мрак ночной.
Спите, братья, вечным сном!
В мире свидимся ином!

Чу! кто мчится бешено вскачь?
Мимо летят адъютанты,
Тяжко драгуны рванулись вперед,
Смолкли врага батареи.
Ряды бегущих развеял страх,
И медленно падает знамя.
Братья! Победа за нами!

Решился бой, жестокий бой,
Нам день сияет голубой.
Барабаны громче бьют,
Песнь победную поют!
Мир вам, павшие в бою!
Свидимся в ином краю!

ТРИУМФ ЛЮБВИ

Гимн

Счастливы любовью
Боги,— и любовью
Равны мы богам!
Где любовь — небесней
Небо и земля там
Ближе к небесам.

Так гласят поэтов хоры:
При начале дней
В мире гор родили горы
Каменных людей.

Были души их — кремнями,
Мрачен их удел,
Он небесными свечами
Запылать не смел.

Уготованных печали,
Их амуры не вязали
Розовым узлом;

Муз порхающая стая
Не касалась их, слетая,
Гармоническим крылом.

Ах! В Элизий улетала
Скорбная весна,
И цветами не венчала
Любящих она.

Непривеченной вставала
Эос из морей,
Непривеченный и солнце
Никло вглубь морей.

Век влачил скиталец пленный
Под туманною Селеною
Рок железный свой,
В круге звезд не чаял чуда
И богов не звал оттуда
Тайною слезой.

*

Из вод лазурного стекла
Дочь неба кротко истекла,—
И вот к брегам услады
Богиню мчат наяды.

Единым всемогущим «Стань!»
Вздохнула утренняя рань,
Как бы на крыльях мая
Стихии проницая.

Склонился дня лучистый взор
В лесов полуночный затвор;
Расцвел нарцисс пахучий,
Припав к стопе дремучей.

Уж пел впервые соловей,
Заворожен любовью;
Уж ручеек сбегал с камней
И падал в грудь — любовью.

Блаженнейший Пигмалион!
Твой мрамор жизнью напоен!
Бог Эрос, победитель,
Будь вечный наш хранитель!

*

Счастливы любовью
Боги,— и любовью
Равны мы богам!
Где любовь — небесней
Небо и земля там
Ближе к небесам.

*

Нектар, золотом вспенен,
Сладких ликов полный сон,
Светлые чертоги,—
Так пируют боги.
Одевает свой чертог
Блеском молний высший бог;
Никнут олимпийцы сами,
Если он встряхнет кудрями.

Уступив богам их троны,
Любит он земные склоны,
Сном аркадским обуян;
Укротив грома победы,
Кротко спит в объятьях Леды
Тот, кем свергнут был титан.

Кони солнечные белы,
Их ведет, как сталь тверда,
Феба рдяная узда,
Мир произают огневые стрелы.
Но пусть кони солнца белы,
Пусть его огнисты стрелы,—
Все ж любовь и песен лад —
Ах! — милей ему стократ.

Пред супругою Кронида
Никнет гордость Уранида.
У порхающего трона —
Два павлина в облаках;
Блещет легкая корона
В амброзийных волосах.

Страсть страшится Волоокой:
Ах, любовь ее, жестокой,
Избегать осуждена!
И, смирив свою гордыню,
Миродержица, она
Вечно юную богиню
О любви молить должна.

*

Счастливы любовью
Боги,— и любовью
Равны мы богам!
Где любовь — небесней
Небо и земля там
Ближе к небесам.

*

Мрак любовью озарен!
Орк зловещий подчинен
Той же власти чудотворной:
Сердцем тих властитель черный,
Коль Деметру видит он.
Мрак любовью озарен.

В ад божественно слетели,
Диких стражей одолели
Вздохи струн твоих, Орфей.
Царь Минос, влажнея взором,
Медлил с гневным приговором,
Щеки фурии впервые
Целовали змеи злые,
Приумолк и свист бичей.

С песней враждовать не смея,
Коршун кинул Прометея;
Тише берег обнимали
Лета и Коцит — внимали
Песням струн твоих, Орфей!
О любви ты пел, Орфей!

*

Счастливы любовью
Боги,— и любовью
Равны мы богам!
Где любовь — небесней
Небо и земля там
Ближе к небесам.

*

В вечном круге естества
Ею дышит, синева,
Взмах твой златокрылый.
Не кивали б мне с луны
Афродиты нежной сны,
С пашни, сердцу милой,
Если б звездный океан
Не был светлой осиян,—
Солнце, звезды, лунный лик,
Свет ваш в сердце б не проник.
Лишь любовь, любовь жива
В вечном взоре естества —
Отраженной силой!

О любви гремит ручей,
Ею кроток он в долинах,
Разливается над ней
Море жалоб соловьиных.
Лишь любви, любви слова
Льются с арфы естества.

Мудрость, мерящая высъ,
Богонравная, склонись
Кротко пред любовью.

Пред царями без числа
Ты рабыней не была,
Стань ей — пред любовью!

Кто средь звезд путем крутым
Был вождатем твоим
В лоно высшей силы?
Сбросив святость покрывал,
Кто Элизий указал
Нам — на дне могилы?

Не вела б живая нить —
Мог бы ты *бессмертным* быть?
Знал бы дух твой пленный
Мастера вселенной?
Лишь любовь, вовек жива,
К властелину естества
Вносит дух наш пленный.

Счастливы любовью
Боги,— и любовью
Равны мы богам!
Где любовь — небесней
Небо и земля там
Ближе к небесам.

ФОРТУНА И МУДРОСТЬ

С временщиком Фортуна в споре,
К убогой Мудрости летит:
«Сестра, дай руку мне — и горе
Твоя мне дружба облегчит!

Дарами лучшими своими
Его осыпала, как мать,—
И что ж? Ничем ненасытимый,
Меня скопой он смел назвать!

София, верь мне,— будем дружны...
Смотри — вот горы серебра!
Кинь заступ твой, теперь ненужный:
С нас будет, милая сестра».

«Лети! — ей Мудрость отвечала.—
Не слышишь? Друг твой жизнь клянет!
Спаси безумца от кинжала;
А мне в Фортуне нужды нет».

МОРАЛИСТУ

Зачем ворчишь на ветреную младость,
Зовешь любовь безделицей пустой,
В снегах зимы утратив радость,
На май клевещешь золотой?

Когда-то, нимф несчетных покоряя,
Ты в карнавальном вихре первым был,
Горстями черпал ты блаженства рая,
Из уст прелестных нектар пил.

О селадон! Ведь если бы в ту пору
Земля низверглась с места своего,
В объятьях Юлии, счастливей всех без спору,
Ты бы не заметил ничего.

Так вспомни же своей весны цветенье!
Не с тех ли пор ты стал суров,
Как стало сердца медленней биенье?
Людей — не превратить в богов!

Блажен, кто жизнью насладился вволю
И не дал сердцу подо льдом уснуть.
Оставим небожителям их долю,—
Нам, смертным, к ней заказан путь.

Пускай толпа стремилась рьяно
В темницу дух свободный заточить,—
Останусь с ней. Я ангелом не стану —
В надежде человеком быть

ГЕНИЮ ВЕСНЫ

Привет тебе, прекрасный!
С кошницею цветов,
Природы упоенье,
Пришел ты средь лугов!

И вот опять ты с нами,
И мил и вновь красив!
Мы радостно навстречу
Идем на твой призыв.

И девушку ты помнишь,
Которая меня
Любила и все любит
До нынешнего дня?

Для девушки цветочек
Прошу я у тебя.
А ты? Цветок даешь ты,
Любой даешь, любя.

Привет тебе, прекрасный!
С кошницею цветов,
Природы упоенье,
Пришел ты средь лугов!

ВЕЛИЧИЕ МИРА

Вдаль, сквозь сонмы миров, тех, что из бездны вод
К жизни вызвал творец, вихрем стремлю полет,
Уповая
Стать у самого края,
Бросить якорь, где тишь и мгла,
Где граница мира прошла.

Вижу, солнца встают, юный означив век,
В тверди свершая свой тысячелетний бег;
Вижу, мчится

К светлым далям их вереница,
И за гранью этой игры
Взор беззвездные зрит миры.

К царству небытия, дальше стремлю, вперед,
Быстрый, как света луч, огненный свой полет.
Мчится мимо
Небо в облаке дыма,
Сонмы звезд, потоки планет
Низвергаются, пенясь, вслед.

Вижу, путник спешит тесной своей стезей,
Мне навстречу из мглы: «Путник, куда ты? Стой!» —
«Чаю смело
Мирового предела!
Правлю путь свой, где тишь и мгла,
Где граница мира прошла!» —

«Путник, перед тобой лишь бесконечность! Стой!» —
«Путник, она и там — и позади меня!»
Опусти же,
Мысль, орлиные крылья ниже!
Ты, фантазии дух живой,
Брось безрадостный якорь свой!

К ЦВЕТАМ

Дети солнечного всхода,
Пестрых пажитей цветы,
Вас взлелеяла природа
В честь любви и красоты!
Ваши яркие уборы
Под перстом прозрачным Флоры
Так нарядно-хороши!
Но, любимцы неги веснней,
Плачьте! Прелесть жизни внешней
Не вдохнула в вас души.

Вслед за жаворонком нежно
Соловьи о вас грустят;
На листах у вас небрежно,
Колыхаясь, сильфы спят;
Ваши пышные короны
Превратила дочь Дионы
В брачный полог мотыльков.
Плачете, плачьте, дети света!
В вас тоска понятна эта —
Вам неведома любовь.

Но томление разлуки
Выношу я не скорбя.
Друг мой Нани! Эти руки
Вют подарок для тебя.
Жизнь и душу, страсть и речи,
Сердца нежные предтечи,
Вам теперь передаю.—
И сильнейший меж богами
Здесь, под скромными листами,
Скрыл божественность свою.

ТАЙНА ВОСПОМИНАНИЙ

Лауре

Вечно льнуть к устам с безумной страстью —
Кто ненасыщаемому счастью,
Этой жажде пить твое дыханье,
Слитъ с твоим свое существованье
Даст истолкованье?

Не стремятся ль, как рабы, охотно,
Отдаваясь власти безответно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост, чтобы с тобою
Жизнью жить одною?

О, скажи: владыку оставляя,
Не в твоем ли взгляде память рая
Обрели разрозненные братья
И — свободны вновь от уз проклятья —
В нем слились в объятья?

Или мы когда-то единились?
Иль затем сердца в нас страстью бились?
Не в луче ль погасших звезд с тобою
Были мы единою душою,
Жизникою одною?

Да, мы были. Внутренне была ты
В тех эонах, им же нет возврата,
Связана со мною... Так в скрижали
Мне прочесть в той довременной дали
Вдохновенья дали!

В существе, соединенном тесно,
Взором веющим я прочел чудесно:
Мы единым богом неизменно:
Творческою силой вдохновенной
Были во вселенной.

Нектара источники пред нами
Разливались светлыми волнами;
Смело мы печали разрешали,
К светозарной правды вечной дали
Гордо взлетали.

Плачь, Лаура! Бога в нас не стало,
Мы — обломки дивного начала,
И, не зная удовлетворенья,
Ненасытно в нас живет влеченье:
К божеству стремленье.

Оттого-то преданность вся счастью —
Вечно льнуть к устам с безумной страстью,
Эта жажда пить твое дыханье,
Слитъ с твоим свое существованье
В вечное лобзанье.

Оттого-то, как рабы, охотно,
Отдаваясь власти безотчетно,
Силы духа быстрой чередою
Через жизни мост бегут с тобою
Жизнью жить одною.

Оттого, владыку оставляя,
У тебя во взгляде память рая
Обрели — и, тяжкий гнет проклятья
Позабыв, сливаются в объятья
Вновь они, как братья.

Ты сама... Пускай глаза сокрыты,
Но горят зарей твои ланиты...
Мы родные: из страны изгнанья
В край родной летим мы в миг слияния
В пламени лобзанья.

ГРУППА ИЗ ТАРТАРА

Словно ропот моря в час тревожный,
Словно плач потока, что скалой стеснен,
Там звучит протяжный, безнадежный,
Болью вымученный стон.

Мукой лица
Искажились, в их глазницах
Нет очей, разверстый рот
Изрыгает брань, мольбы, угрозы,
С ужасом глядят они сквозь слезы
В черный Стикс, в пучину страшных вод.

И смятенный взор ответа ищет:
Долго ли нам пить из чаши мук?
Но коса Сатурна там не свищет,
И над ними чертит Вечность круг.

ЭЛИЗИУМ

Забудем все горести мира!
Элизий зовет нас для пира,
Для радостных дней и ночей.
Весна там бессменна.
Вечно прекрасна, вечно блаженна,
Там жизнь протекает, как светлый ручей.

Солнечным маем
Вечно ласкаем
Тот вертоград.
Душа там не знает предела земного,
Там Правда являет свой лик без покрова,
Часы точно сны золотые летят.

Безмерная радость
Там сердцу дана;
Там болью зовут восхищения сладость,
Земных огорчений забыв имена.

Там путник усталый под ласковой сенью
Задремлет, охвачен целительной ленью,
Сбросил он бремя гнетущей судьбы.
Напевами арф усыпленный,
Выронит косу косарь утомленный,
И снятся ему золотые снопы.

Тот, чей стяг блистал в дыму багровом,
Тот, чей слух прельщен был смерти ревом,
Кто губил народы, рушил города,—
Дремлет возле речки серебристой,
Чьи струи звенят по гальке чистой,
Битвам чужд отныне навсегда.

Там, в долинах, у потоков звучных,
Вечный рай супругов неразлучных.
Обретя желанный мир,
Страха смерти в том краю не зная,
Там любовь под синим небом мая
Вечно правит свадебный свой пир.

ДРУЖБА

В мир единство внес его создатель.
Лиши убогий разумом кропатель
В сотнях формул мыслит естество.
Друг! единый двигатель чудесный
Движет мир духовный и телесный,—
Ньютон здесь познал его.

Он вкруг сердца жаркого вселенной
Сфера мчит стезею неизменной,
Им всеобщий дав закон.
От светил, сроднившихся навеки,
К солнцу духов, точно к морю реки,
Души устремляет он.

И, сердца к союзу побуждая,
Направляет мощь его святая
Нас любви ликующим путем.
Рафаэль, мы вместе — о блаженство! —
Светлою дорогой совершенства
К солнцу духов радостно идем.

Счастье! Счастье! Мною был ты встречен,
Мной средь миллионов был замечен,—
И моим ты будешь до конца.
Пусть весь мир в осколки разлетится,
Пусть извечный хаос возвратится —
Наши не разрознит он сердца.

Не себя ль, мой друг, обрел в тебе я?
Не моей ли страстью пламенея
Взор твой загорается огнем?
Все я вижу: вижу небо наше,
Вижу землю — лишь светлей и краше,—
Друг мой, в образе твоем.

Бурю страсти умеряют грозы.
Нет, недаром тягостные слезы
Жгут взволнованную грудь

И восторг с губительною силой,
Сладострастной привлечен могилой,
В милом взоре жаждет потонуть!

Если б в мире я один остался,
Я любви у скал бы домогался,
Их мечтой одушевив,
Я б наполнил воздух воплем жалоб,
Радуясь, что эхо отвечало б —
О глупец! — на страстный мой призыв.

Тот, кто ненавидит,— мертв, как камень.
Но едва любви узнал он пламень,
Возжелал святых оков —
Через все ступени мирозданья,
Мимо духов, чуждых созиданья,
Радостный, он входит в сонм богов.

Все вперед, все выше век от века —
От монгола до провидца грека,
За которым вверх — лишь серафим,—
К морю света, к миру постоянства,
Где исчезнут время и пространство,
В дружном хоре мы свой путь стремим.

Был господь без друга и, скучая,
Создал тварей, чья душа живая
В смертном отражает божество,—
Дабы тот, кто всех нас совершенней,
Видел в совокупности творений
Беспределность лика своего.

ПАМЯТНИК РАЗБОЙНИКУ МООРУ

Кончено!
Слава тебе! Все кончено!
О величавый преступник!
Твой жребий ужасный свершился!

Павший колосс!
Высокого рода конец и начало!
Странный плод причуды жестокой,
Природы ошибка прекрасная ты!

Слепящая молния в бурной ночи!
Гулко хлопнув, за ним замкнулись ворота!
В трепет народы ввергает
Его грозящая гибелью мопь!
Но слава тебе! Все кончено!
Твой жребий ужасный свершился!

Тлей, распылись
В колыбели разверстого неба!
Взорам преступников страшный предстань
Там, где напротив престола
Жажде славы воздвигся предел роковой.
Чудо! Позорная смерть тебя венчала бессмертьем!
Славы сорвал ты звезду,
Став гордо на плечи позора.
Близок день — позор улетучится дымом,
И лишь одно восхищенье
Сможет к тебе досягнуть.

Влажный взор опустив, к твоей печальной могиле
Подходят мужи.
Дух казненного, радуйся
Скудным мужским слезам!
Влажный взор опустив, к твоей печальной могиле
Девушка раз подошла.
Страшную весть о твоих злодеяниях
Ей каменный страж твой поведал.
И девушка — радуйся! радуйся! —
Милых очей не отерла.
Поодаль там я стоял, и видел, как падали слезы,
И я воскликнул: «Амалия!»

Юноши! Юноши!
Впредь осторожней играйте
Гения грозным эфирным лучом!
Гневно грызет удила солнечный конь Аполлона!

Если в умелых руках
Мчится он плавно, баюкая небо и землю,—
Детской ведомый уздой,
Страшным пожаром зажжет он миры.
Дерзко приблизившись к солнцу,
Безумный погиб Фаэтон!

Отпрыск небесного гения,
Пламенный, жаждущий подвигов дух!
Жребий разбойника манит тебя?
Он ведь, подобно тебе, пламенно подвига жаждал,
Чадом небесного гения был, подобно тебе.
Но ты, улыбаясь, проходишь,—
В пространствах истории мира
Взор твой разбойника Моора не видит.
Юноша! Стой же! Не смейся!
Грех и позор его живы.
Нет лишь Моора — имени, данного им.

Б Е Г Л Е Ц

Предутренней свежестью веет с небес.
Вот, золотые разбросав узоры,
Новорожденный свет прокрался в лес,
Облек нагие горы
В пурпурные уборы.
И песен весенних ликующих строй,
В полях, на лугу, в перелеске,
Приветствует солнце, что в пламенном блеске
Встает, обновившись в объятьях зари.

О ласка светила!
Лучей его сила
Живительно льется на рощи, на луг.
Как поле искрится,
Росой серебрится
И тысячей солнц загорается вдруг!

Всем играм природы
Зеленые своды
Открыли приют.
Зефиры, ласкаясь,
Вокруг роз обвиваясь,
На луг благовонья весенние льют.

Как весело дымы над городом вьются,
А кони и ржут, и хранит, и несутся,
Грохочут колеса,
Спускаясь с откоса,
Плетутся волы.
И, крылья купая
В лучах ослепительных буйного мая,
Под небом парят ястреба и орлы.

Покоя взыскую,
В какие пойду я
Земные края?
Весь мир обновленный,
Лазурный, зеленый —
Могила моя.

Ты, восход, долинам пробужденным
Подари пурпурный поцелуй.
Ты, закат, повей зефиром сонным
И дремотой землю зачаруй.
Утро, ты сияньем
Гроб окрасишь мой.
Вечер, освежающим дыханьем
Ты мой сон овеешь гробовой.

К МИННЕ

Что это? Непостижимо!
Вижу сон средь бела дня! —
Минна, ты проходишь мимо?
Ты не узнаешь меня?

Об руку с глупцом богатым
Посещаешь высший свет,
Гордая, с надменным взглядом,—
Не моя ты, Минна, нет!

Перья летней шляпы ярки,
Банты украшают грудь,—
Пусть тебе мои подарки
Крикнут: «Минна, не забудь!»
Те цветы на белом платье,
Что растил я, взор мой жгут:
Лгали мне твои объятья,
А цветы еще цветут.

Прочь! Останься в окруженье
Суетящихся льстецов.
Я теперь одно презренье
Чувствовать к тебе готов.
Сердцу, что тебя любило,
Ты наносишь раны. Прочь!
У него довольно силы,
Чтоб страданье превозмочь.

С прошлым я навек расстался
У развалин красоты,—
Далеко твой май остался,
Хоть вокруг тебя цветы.
Рой касаток вешних вился,
Осень их разогнала;
Твой поклонник удалился,
Другом ты пренебрегла.

Тот, чье жадное желанье
Поцелуй срывает с губ,
Не простит им увяданья,
Станет холоден и груб.
Посмеюсь над этим скоро.
Посмеюсь? О боже мой! —
Горько буду я в ту пору
Плакать, Минна, над тобой!

ГРАФ ЭБЕРХАРД ГРЕЙНЕР
ФОН ВЮРТЕМБЕРГ

Военная песня

Эй там — во вражеском строю —
Чего задрали нос?
Немало тех у нас в краю,
Кто в мире добр и тверд в бою,
Кто в Швабии возрос!

У вас и Карл, и Эдуард,
Вы Фридрихом сильны.
Но Фридрих, Карл и Эдуард
Для нас — граф Грейнер Эберхард,
Разящий гром войны.

И Улерих — его сынок,—
Любил железный звон.
Да, Улерих — его сынок, —
Лиши затрубят в призывный рог —
И в самом пекле он!

Бывало, рейтлингцы не раз,
Озлобясь, варят яд.
Собаки, смять хотели нас,
Не вылезают из кирас
И саблями гремят.

Ну, граф — войной на них тогда.
Да нет, не победил.
Отец промолвил: «Не беда!»
А парень плачет от стыда,
И свет ему не мил.

«Что ж,— говорит себе,— не трусь!
Начнется новый бой!
Еще с мечом я доберусь
До этой падали! Клянусь
Отцовской бородой!»

И вот — пошло. Земля — в огне.
И с отчего двора
Бесстрашный юноша в броне
Летит на взмыленном коне,
И грянуло «ура!»

И грозно армия клялась
С врагами счеты свести.
Неудержимо кровь лилась
И нас вело сквозь ночь и грязь
Святое чувство — месть.

И, разъярившись, юный лев
Взмахнул своим клинком.
В его душе великий гнев,
А враг бушует, озверев.
И вой, и смерть кругом.

Вдруг — горе! — сабельный удар
Сынку рассек чело.
Спешат на помощь млад и стар.
Но — поздно: стынет жизни жар
И взгляд заволокло.

Казалось, солнца свет поблек.
Рыдают друг и враг.
Но граф войскам спокойно рек:
«Мой сын — всего лишь человек!
Марш, дети! Тверже шаг!»

Наш разговор с врагами крут,
Расплаты дух воскрес.
И снова хлещет смерти кнут,
По трупам рейтлингцы бегут
За горы, в дол и лес.

К утру вернулись в лагерь свой
С победою полки.
Искрился кубок круговой,
И в буйной пляске огневой
Стучали каблуки.

Но где ж наш старый граф? Сидит
Один в своем шатре.
Слеза в глазах его дрожит:
Пред ним убитый сын лежит
Безмолвно на ковре.

Затем-то графу своему
Мы навсегда верны:
Подвластен гром войны ему,
Он — пламя в боевом дыму,
Звезда родной страны.

Так пусть во вражеском строю
Не задирают нос!
Немало тех у нас в краю,
Кто в мире добр и тверд в бою,
Кто в Швабии возрос!





ДОСТОИНСТВО МУЖЧИНЫ

Да, я — мужчина! Кто другой
С моей сравняться силой?
Найдись такой — пляши и пой
И не робей, друг милый!

Лицом подобен богу я
И вынужден признаться,
Что пью свободно из ручья,
Где небеса струятся.

Я горд, что черпать в нем могу,
Что тем ручьем владею.
Навстречу девушке бегу —
Целую прямо в шею!

Она красна, что маков цвет.
Известно, в чем причина:
Стал тесен девушке корсет,—
Понятно, я ж мужчина.

Когда в купальню к ней ворвусь,
О как она заплачет!
Ведь я — мужчина, и клянусь —
Немало это значит!

Да, я — мужчина, хоть порой
Одет весьма плачевно,
Но оставлять вдвоем со мной
Опасно и царевну.

Словцо я знаю, чтоб тотчас
Нежнейшие принцессы
Меня любили, а не вас,
Вельможные балбесы!

Да, я — мужчина! Суть мою
Вам лира доказала.
На ней победу я пою,
Мне хныкать не пристало!

Ведь вспоены одной рекой,
Истоком всех творений,
Воззвавшим к жизни род людской,
И божество и гений.

Тиранов я могу стереть
Победным талисманом,
Что рад скорей в огне сгореть,
Но не служить тиранам.

Он против перса вел полки,
На Границе продымлен,
И на германские пески
Швырял развратных римлян.

Взгляните: кто это сидит
Там, в африканском пекле?
Кудряв. Могуч. Огонь кинит
В очах, подобных Гекле.

Явился отрок молодой,
А тот ему надменно:
«Ты чуешь? Марий пред тобой
На прахе Карфагена!»

Велик, хотя и побежден,
Он даром не сдается.
Ведь и в беде — мужчина он,
И мир пред ним трясется.

Но внуки жалкие его
Все промотали с детства,
И не осталось ничего
От славного наследства.

Эх, племя! Не душа — а пар!
Без пользы и без славы
Вы проштутили высший дар —
Свое мужское право.

Кряхтя, с улыбкой неживой,
Бредут толпой бесполой,
Тряся порожней головой,
Подобной тыкве полой.

Так старый химикус вино
Прогонит сквозь реторту —
И что ж: название одно,
А спирт и крепость — к черту!

Едва завидят женский взгляд,
Они дрожат, и млеют,
И замирают, и скулят,—
Хотят, да не умеют.

Мрачнеют сердцем и лицом...
Не зря их зависть гложет:
Кто не способен быть отцом,
Тот и любить не может!

Вот отчего, гордясь собой,
Кричу подруге милой:
«Да! Я — мужчина! Кто другой
С моей сравняться силой!»

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Прощай! Уж скрылось солнце за холмами,
Гонимое луной.
Немая ночь вороньими крылами
Уже обвяла шар земной.

В пустых полях, окутанных метелью,
Не слышно голосов.
Лишь вдалеке журчит ручей в ущелье,
Да лес встревожен криком сов.

В постели водной рыбу сон объемлет.
Повсюду тишина.
Под письменным столом собачка дремлет,
И в спальню спит моя жена...

О мальчики, друзья поры счастливой, детской!
Я думаю о вас.
Быть может, вы за кружкою немецкой,
Сойдясь, пируете сейчас.

Мир отражен в стакане, что до края
Налит густым вином.
И радость, всеми красками играя,
Цветет неомрачимо в нем.

Встают пред вами прошлого картины
Виденьем золотым.
И тают все минувшие кручины,
Как голубой табачный дым.

От мячика до мантии магистра
Пролег немалый путь.
И муки школьных лет, прошедших быстро,
Приятно, братцы, помянуть!

О, сколько раз — чтобы его черти драли,
Вонзив в него клыки! —
Теренция мы с вами проклинали,
Статьям Минелли вопреки.

А выпускной экзамен! Правый боже!
Лишь ректор позовет,
Бывало, мы унять не силах дрожи,
Со лба струится хладный пот.

Не грех припомнить некую подругу
(Теперь она — мадам).
Что не узнать злосчастному супругу,
То хорошо известно нам.

Но все прошло... Подернуты туманом
Черты знакомых лиц.
И не расскажет Фридрих за стаканом
О том, что делал юный Фриц.

Вчерашний мальчик — ныне врач военный.
Не служба — благодать!
Но пузырем, рожденным мыльной пеной,
Привык он грезы называть.

Что ж, дуй в соломинку! Гони мечты по свету!
Лишь сердце б ты сберег,
Чтобы венец германского поэта
Навеки сохранить ты мог!

СРАВНЕНИЕ

Фрау Рамлер требует: «Достойное сравненье
Найдите для меня!..» Брожу я, как больной:
Где под луной найти похожее явленье?
А ну, попробую сравнить ее с луной!

Украв у солнца свет, луна румянит рожу,
Чужим добром живя, не ведает забот.
Фрау Рамлер на луну здесь полностью похожа —
И красится, и кровь чужую пьет.

Луна ложится спать, едва восходит солнце,
Чтоб силы приберечь для важных дел ночных.
Ну, а фрау Рамлер днем расходует червонцы,
А ночью зарабатывает их.

В средине месяца луна гуляет с брюхом,
К исходу месяца — затянет поясок.
Фрау Рамлер — как луна, коль верить праздным
слухам
Но, чтоб родить, ей нужен больший срок.

Среди лучистых звезд, по голубому лугу
Преважно шествует двурогая луна.
А Рамлерша рога наставила супругу.
И тут права она!





БОРЬБА

Нет, прочь, суровый долг! Зачем мне сердце гложешь?
Не требуй жертв напрасных от меня,
Когда уж погасить в груди моей не можешь
Ее палящего огня!

Я клялся, да, я клялся мощной воли
Признать над сердцем власть...
Теперь... вот твой венок — он мне не нужен боле,
Возьми его — и дай мне пасть!

Разорван наш союз! Она, я знаю, любит...
И вдруг отречься от нее!
О нет! Пусть страсти пыл навек меня погубит:
В моем падении — блаженство все мое!

Что точит червь мне жизнь, что гибну я в молчанье —
Все поняла душой она
И на мои безмолвные страданья
Глядит, участия полна.

О боже! Вот оно, желанное участие!
Один лишь час остался роковой...
Но нет, постой, дитя! Мне страшно это счастье:
В нем приговор конечный мой.

О страшная судьба! Коварное сомненье!
Я здесь у цели наконец;
В ней тайных мук моих награда и венец
И роковой удар преступного паденья.

О Т Р Е Ч Е Н И Е

И я на свет в Аркадии родился,
И я, как все кругом,
Лишь в колыбели счастьем насладился;
И я на свет в Аркадии родился,
Но сколько слез пролил потом.

Май жизни только раз цветет, прекрасный,
И мой отцвел давно.
Благой господь—о, плачь, мой брат несчастный!—
Благой господь задул мой светоч ясный,
И вот — вокруг темно.

О Вечность жуткая, стою, взываю
У входа твоего.
Свидетельство на счастье я вручаю,
Его тебе я целым возвращаю,
О счастье я не ведал ничего.

Вот, справедливая, с мольбою трудной
У ног твоих, я тут.
На той звезде я верил сказке чудной,
Что, царствуя, ты судишь правосудно,—
Все Мстительницей там тебя зовут.

Здесь, говорят, ты грешников караешь
И праведным отраду шлешь,
Всё муки сердца здесь ты исцеляешь,
Извечные загадки разрешаешь
И за страданья честно разочшешь.

Сюда изгнаник как домой вернется,
Здесь всех дорог страдальческих концы.
Дитя богов, что Истиной зовется,
Что всех бежит, немногим достается,
Мою судьбу схватило под уздцы:

«С тобой я рассчитаюсь в жизни новой,
Взяв молодость твою.
Дать векселя я не могу иного».
Беру я вексель, жду я жизни новой,
А молодость взамен даю.

«Отдай мне ту, кого так любишь нежно,
Лауру дай твою.
Ты в барыше здесь будешь неизбежно».
И вот я ту, кого люблю так нежно,
С рыданьем громким отдаю.

«Расписка, выданная трупу,— мненье
Свое с усмешкой высказал мне свет.—
Та лгунья, у тиранов в услуженье,
Не истиной манит тебя, а тенью.
Срок векселю, а уж тебя и нет».

Шипят везде насмешки дерзновенно:
«Такой пустой ты тешишься мечтой?
Фальшивые спасители вселенной,
Как могут божества помочь мгновенно
Людскою выдумкой нужде людской?»

Какое будущее за гробами?
Что Вечность чванная твоя?
Она, нас разлучившая с телами,—
Наш ужас, отраженный зеркалами
Пугливой совести, наш страх небытия.

Как мумию времен, как призрак хилый,
Живою притворившуюся ложь,
Которую Надежда из могилы,
Набальзамировав, к нам притащила,—
Вот это ты бессмертием зовешь?

Надеждам — ложь их тленье покарало —
Кто подлинные блага отдает?
Шесть тысяч лет все мертвое молчало,
И вдруг мертвец, из гроба встав сначала,
Вручает Мстительнице счет?»

Я видел: Время на крылах стремилось
К тебе, к твоим брегам.
Природа, вялый труп, за ним влачилась.
Мертвец не встал, могила не открылась.
И я доверился богам.

Тебе отдавший все свои улады,
Я пред тобою распростерт в мольбе.
Презрев толпы насмешки без досады,
Я, Мстительница, требую награды.
Я всем пожертвовал одной тебе.

«Всех чад своих люблю без исключенья! —
Вскричал незримый некий дух.—
Есть два цветка, они полны значенья,
Есть два цветка — *Наде́ждА*, *Насла́жде́нье*,
И мудрый выберет один из двух.

Избрав один, другим не соблазняйся,
Искать другой — напрасный труд!
Кто не имеет веры, наслаждайся,
А верующий — благ земных лишайся!
История и есть всемирный суд.

Надеявшися награжден не мало,—
Награду вера всю в себе несет.
Тебе недаром мудрость подсказала:
Что у тебя Минута отобрала,
То никакая Вечность не вернет».





К РАДОСТИ

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилия
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.

Х о р

Обнимитесь, миллионы!
Слейтесь в радости одной!
Там, над звездною страной,—
Бог, в любовь пресуществленный.

Кто сберег в житейской выноге
Дружбу друга своего,
Верен был своей подруге,—
Влейся в наше торжество!
Кто презрел в земной юдоли
Теплоту душевных уз,
Тот в слезах, по доброй воле,
Пусть покинет наш союз!

Х о р

Все, что в мире обитает,
Вечной дружбе присягай!

Путь ее — в надзвездный край,
Где Неведомый витает.

Мать-природа все живое
Соком радости поит.
Все — и доброе и злое —
К ней влечение таит.
Нам дает лозу и счастье
И друзей в предсмертный миг,
Малой твари сладострастье,
Херувиму божий лик...

Х о р

Ниц простерлись вы в смиренье?
Мир! Ты видишь божество?
Выше звезд ищи его;
В небесах его селенья.

Радость двигает колеса
Вечных мировых часов,
Свет рождает из хаоса,
Плод рождает из цветов.
С мировым круговоротом
Состязаясь в быстроте,
Водит солнца в звездочетам
Недоступной высоте.

Х о р

Как миры без колебаний
Путь свершают круговой,
Братья, в путь идите свой,
Как герой на поле брани.

С ней мудрец читает сферы,
Пишет правды письмена,
На крутых высотах веры
Страстотерпца ждет она.
Там парят ее знамена
Средь сияющих светил,
Здесь стоит она склоненной
У разверзшихся могил.

Х о р

Выше огненных созвездий,
Братья, есть блаженный мир.
Претерпи, кто слаб и сир,—
Там награда и возмездье!

Не нужны богам рыданья!
Будем равны им в одном:
К общей чаше ликованья
Всех скорбящих созовем.
Прочь и распри и угрозы!
Не считай врагу обид!
Пусть его не душат слезы
И печаль не тяготит.

Х о р

В пламя, книга долговая!
Мир и радость — путь из тьмы.
Братья, как судили мы,
Судит бог в надзвездном крае.
Радость льется по бокалам.
Золотая кровь лозы
Дарит кротость каннибалам,
Робким силу в час грозы.
Братья, встаньте, пусть, играя,
Брызжет пена выше звезд!
Выше, чаша круговая!
Духу света этот тост!

Х о р

Вознесем ему хваленья
С хором ангелов и звезд.
Духу света этот тост
Ввысь, в надзвездные сelenья!

Стойкость в муке нестерпимой,
Помощь тем, кто угнетен,
Сила клятвы нерушимой —
Вот священный наш закон!

Гордость пред лицом тирана
(Пусть то жизни стоит нам),
Смерть служителям обмана,
Слава праведным делам!

Х о р

Братья, в тесный круг сомнитесь
И над чашею с вином
Слово соблюдать во всем
Звездным судией клянитесь!

П Р О Ш Е Н И Е

Мой дар иссяк, в мозгу свинец,
И докурилась трубка.
Желудок пуст. О мой творец!
Как вдохновенье хрупко!

Перо скребет и на листе
Кроит стихи без чувства.
Где взять в сердечной пустоте
Священный жар искусства?

Как высечь мерзнущей рукой
Стих из огня и света?
О Феб, ты враг стряпни такой,
Приди согрей поэта!

За дверью стирка. В сотый раз
Кухарка заворчала.
А я — меня зовет Пегас
К садам Эскуриала.

В Мадрид, мой конь! — и вот Мадрид.
О смелых дум свобода!
Дворец Филиппа мне открыт,
Я спешился у входа.

Иду и вижу: там, вдали,
Моей мечты созданье,
Спешит принцесса Эболи
На тайное свиданье.

Спешит в объятья принца пасть,
Блаженство предвкушая.
В ее глазах — восторг и страсть,
В его — печаль немая.

Уже триумф пьянит ее,
Уже он ей в угоду...
О дьявол! Мокрое белье
Вдруг шлепается в воду!

И нет блестательного сна,
И скрыла тьма принцессу.
Мой бог! Пусть пишет сатана
Во время стирки пьесу!

К Е Р Н Е Р У

В его экземпляре Антологии

Стихи мои, немногие вас знали,
Почти никто не понял вас.
Цветите же! В переплет вы лучший здесь попали
И лавры лучшие здесь для меня стяжали,—
Но вечность да забудет вас!





НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА

Плынет, плывет — и грузно пенит волны
Могучий флот полуденных зыбей.
С ним тысячи громов и молний,
И новый бог, и звон цепей.
Смятение будя в седой пучине,—
Слывет непобедимым он,—
Идет железный легион
Пловучих крепостей, не виданных доныне.
Им прозвище, что прогремит в веках,
Дал порожденный ими страх.

Медлителен их шаг надменный,
Нептун, дрожа, громаду их несет,
Они идут, грозя вселенной,
Не смеют бури встретить мощный флот.

Тебе готовит гибель он,
Морей владыка, остров благодатный,
Тебе велит восстать на подвиг ратный,
О многославный Альбион!
Он движется, как туча в непогоду,
Неся позор свободному народу.

Кто наделил тебя верховным саном,
Возвысил меж земных племен?
Не ты ли сам в борьбе с жестоким Иоанном
Обрел державный свой закон —

Тот мудрый договор, что князем гражданина
И гражданином короля зовет?
А первенство на лоне вод
У всех, кого влекла их зыбкая пучина,
Не твой ли отобрал победоносный флот?
Кто так вознес тебя? — Краснейте, все народы!—
Твой меч, твой дух, возжаждавший свободы.

Вглядись, несчастный, в даль — и в огнедыша-
щих громадах
Узнай тебе грозящую судьбу!
Мир жаждет облегчить твою борьбу.
В сердцах, свободой вдохновленных,
В глазах, испуганно на море устремленных,
Страх за твою, Британия, судьбу.

Но всемогущий с вышины
Увидел флаги львинные Кастилии и Леона,
Увидел гибель избранной страны
И рек: ужели слава Альбиона,
Ужель моих героев древний род,
Последний вольности оплот,
Погибнет — и в смятенном человеке
Умрет тираноборчество навеки?
Нет! В рай свободы враг да не войдет!
Стой, Англия, щитом достоинству людскому!
И бог дохнул, и грозный флот,
Рассеян бурею, пошел ко дну морскому.





БОГИ ГРЕЦИИ

В дни, когда вы светлый мир учили
Безмятежной поступи весны,
Над блаженным пламенем царили
Властелины сказочной страны,—
Ах, счастливой верою владея,
Жизнь была совсем, совсем иной
В дни, когда цветами, Киферея,
Храм увенчивали твой!

В дни, когда покров воображенья
Вдохновенно правду облекал,
Жизнь струилась полнотой творенья,
И бездушный камень ощуптал.
Благородней этот мир казался,
И любовь к нему была жива;
Вещим взорам всюду открывался
След священный божества.

Где теперь, как нас мудрец наставил,
Мертвый шар в пространстве раскален,
Там в тиши величественной правил
Колесницей светлой Аполлон.
Здесь, на высях, жили ореады,
Этот лес был сенью для дриад,
Там из урны молодой наяды
Бил сребристый водопад.

Этот лавр был нимфою молящей,
В той скале дочь Тантала молчит,
Филомела плачет в темной чаще,
Стон Сиринка в тростнике звучит;
Этот ключ унес слезу Деметры
К Персефоне, у подземных рек;
Зов Киприды мчали эти ветры
Вслед отшедшему навек.

В те года сынов Девкалиона
Из богов не презирал никто;
К дщерям Пирры с высей Геликона
Пастухом спускался сын Лето.
И богов, и смертных, и героев
Нежной связью Эрос обвивал,
Он богов, и смертных, и героев
К аматунтской жертве звал.

Не печаль учила вас молиться,
Хмурый подвиг был не нужен вам;
Все сердца могли блаженно биться,
И блаженный был сродни богам.
Было все лишь красотою свято,
Не стыдился радостей никто
Там, где пела нежная Эрато,
Там, где правила Пейто.

Как дворцы, смеялись ваши храмы;
На истмийских пышных торжествах
В вашу честь курились фимиамы,
Колесницы подымали прах.
Стройной пляской, легкой и живою,
Оплеталось пламя алтарей;
Вы венчали свежею листвою
Благовонный лен кудрей.

Тирсоносцев радостные клики
И пантер великолепный мех
Возвещали шествие владыки:
Пьяный Фавн опережает всех;

Перед Вакхом буйствуют менады,
Прославляя плясками вино;
Смуглый чашник льет волну отрады
Всем, в чьем кубке сухо дно.

Охранял предсмертное страданье
Не костяк ужасный. С губ снимал
Поцелуй последнее дыханье,
Тихий гений факел опускал.
Даже в глуби Орка неизбежной
Строгий суд внук женщины творил,
И фракиец жалобою нежной
Слух эринний покорил.

В Елисейских рощах ожидала
Сонмы теней радость прежних дней;
Там любовь любимого встречала,
И возничий обретал коней;
Лин, как встарь, былую песнь заводит,
Алкестиду к сердцу жмет Адмет,
Вновь Орест товарища находит,
Лук и стрелы — Филоктет.

Выспренней награды ждал воитель
На пройденном доблестно пути,
Славных дел торжественный свершитель
В круг блаженных смело мог войти.
Перед тем, кто смерть одолевает,
Преклонялся тихий сонм богов;
Путь пловцам с Олимпа озаряет
Луч бессмертных близнецов.

Где ты светлый мир? Вернись, воскресни,
Дня земного ласковый расцвет!
Только в небывалом царстве песни
Жив еще твой баснословный след.
Вымерли печальные равнины,
Божество не явится очам;
Ах, от знойно-жизненной картины
Только тень осталась нам.

Все цветы исчезли, облетая
В жутком вихре северных ветров;
Одного из всех обогащая,
Должен был погибнуть мир богов.
Я ишу печально в тверди звездной:
Там тебя, Селена, больше нет;
Я зову в лесах, над водной бездной:
Пуст и гулок их ответ!

Безучастно радость расточая,
Не гордясь величием своим,
К духу, в ней живущему, глухая,
Не счастлива счастием моим,
К своему поэту равнодушна,
Бег минут, как маятник, деля,
Лишь закону тяжести послушна,
Обезбожена земля.

Чтобы завтра сызнова родиться,
Белый саван ткет себе она,
Все на той же прялке будет виться
За луною новая луна.
В царство сказок возвратились боги,
Покидая мир, который сам,
Возмужав, уже без их подмоги
Может плыть по небесам.

Да, ушли, и все, что вдохновенно,
Что прекрасно, унесли с собой,—
Все цветы, всю полноту вселенной,—
Нам оставив только звук пустой.
Высей Пинда, их блаженных сеней,
Не зальёт времен водоворот:
Что бессмертно в мире песнопений,
В смертном мире не живет.

ЗНАМЕНИТАЯ ЖЕНЩИНА

Письмо одного мужа другому

Тебя мне пожалеть? Ты проклял Гименея,
Кричишь, что жизнь тебе отныне не мила.
И все из-за того, что, чести не жалея,
С любовником твоя изменница нашла
Давным-давно тобой утраченные страсти?
Нет, друг! *Мою* беду узнай —
Забудешь о своем несчастье!

Ты уязвлен столь дерзкою изменой?
Наивный человек! Такая участь — рай!
А вот моя жена досталась всей вселенной!
От Бельта до седых вершин
Покрытых льдами Апеннин,
На Рейне и в парижской давке
Ее ты купишь в каждой лавке.
Любому школяру, какой-нибудь козявке,
Обязана она во всем давать отчет.
Заглянешь в дилижанс, в дырявый пакетбот —
Бессовестно о ней болтают пассажиры,
И грязный Аристарх пророчит ей судьбу:
Иди ли ей к позорному столбу,
На углях жариться, иль стать царицей мира!
А критик лейпцигский — отмсти, господь, злодею! —
Как крепость, снял ее на плане в два листа
И предлагает публике места,
О коих даже я и то судить не смею!

Твоя супруга рассудила здраво:
Она твоя жена и ценит это право,
И знает почему, и видит в том резон.
А я для каждого — ведь только муж *Нинон!*
Когда ты входишь в клуб иль пьесу смотришь в ложе,
То все вокруг шипит, судачит... Ну и что же?
Счастливейший! Ужель ты этому не рад?
Ты славен, знаменит! А я, любезный брат?
Когда молочная диета
Мне позволяет выйти в свет,
То на меня никто не взглянет, нет.
Лишь на мою жену направлены лорнеты.

Едва светлеет за окном,
По лестнице спешат в камзолах разноцветных
Курьеры с грудой книг и вырезок газетных
К известной женщине — в мой суматошный дом.
Она так сладко спит. Будить грешно. Да где там!
«Мадам, рецензии получены для вас!»
В мгновение согнав дремоту с дивных глаз,
Она бросается к газетам.
К газетам — не ко мне! О, есть ли участь хуже?
Бумага ей милее мужа!
Но в детской слышен крик. (Проснулись дети, значит.)
Газету отложив, лишь спросит: «Кто там плачет?»

Пора одеться ей.
Но зеркалу она не дарит и полвзгляда,
Ворчит на девушку: «Нельзя ли поживей?»
(Видать, торопится. Засесть за письма надо.)
О, женский туалет! Но у жены моей
Не грации парят, витая возле окон,—
Нет! Сами фурии ей завивают локон!

Вдруг новая беда. Грохочут экипажи,
Лакеи прыгают с запяток. Что за черт?!

Аббат надушенный, барон, британский лорд,
Что двух немецких слов связать не в силах даже,
Гроссинг с компанией, десяток прочих морд
С визитом жалуют... Поди потрафь их блажи!
А там в углу молчит немое существо,
Что мужем числится. Кто взглянет на него?
Но это, брат, не все. Ты требовал бы мщенья,
Когда б глупейший фат, мошенник продувной
Кричал, что восхищен твоей женой,
В твоем присутствии, без всякого смущенья!
А я стою при том и льстивыми словами
Покорнейше прошу его откусить с нами.

А за обедом, друг! Вот где позор, хоть плачь!
Мое бургундское! О нет, уж это слишком!
Прекраснейшим вином, что запретил мне врач,
Я глотки полощу прожорливым мальчишкам.

Ее угодники! От них, попробуй, спрячь
Свой хлеб, добытый столь нелегкою ценою!
О горемычное, о проклятое мною
Бессмертие жены — не ты ли мой палач,
Смерть печени моей?.. Редакторам — проклятье!
В чем благодарность мне? Гrimасы. Плеч пожатье.
Ужимки подлые. На постных лицах — жалость.
Ты разгадал в чем суть? Я понял все тотчас:
Мол, чудо-женщина, блистательный алмаз,
И павиану этому досталась!

Пришла весна. По всем холмам и склонам
Природа разостлала своей ковер.
В полях не молкнет жаворонков хор,
Цветы пестреют на лугу зеленом..
Увы! Весны приход ей не взволнует грудь,
Пленительная трель в саду на зорьке ранней,
Аллеи темные — места быльих свиданий —
Ее не трогают ничуть.
Ведь лилия рецензий не читает,
А соловей не пишет их.
Мелодиям весны она предпочитает
Сентенцию или мудреный стих.
Ей странствовать пора в такое время года!
Сегодня целый мир съезжается в Карлсбад.
Глядь — и она туда или в Пирмонт, на воды.
О, что за пошлый маскарад,
Где парами плывут, как в лодке у Харона,
Прославленные твари всех мастей:
Кто в званье доктора, кто в титуле барона,
Любуются собой, глазеют на гостей,
Проехав сотни миль, слетевшись для потехи,
Подштопать добродетели прорехи!
И там моя жена (пойми сколь нрав мой кроток!)
Проводит весь сезон, подбросив мне сироток.

О первый год любви — медовая пора!
Куда исчезла ты, в какие скрылась дали?
Богиня, юным грациям сестра,
Которой равных на земле не знали,
Прелестней ангела, доверчива душой,

Нежна, как майский день, беспечна, словно птица,—
Такой она предстала предо мной,
Пленившая мой разум чаровница!
В вечерней полутьме, таинственно маня,
Шепнули мне: «Люблю!» — родные очи эти.
Мы к алтарю пошли; забыв про все на свете.
Кто был счастливее меня!
Как в дивном зеркале, в одном ее привете
Сияли радость, жизнь и красота.
Я в светлый рай открыл врата.
Уже мерещилась мне милая картина:
В кругу резвящихся детей
Сидит младая мать, подруга их затей,
И улыбаюсь я прелестнице моей,
С которой связан воедино.
И вдруг — о, разорви его гроза на части! —
Вломился в нашу жизнь разнузданный гигант —
Дух высокий, жены моей талант,—
Как домик карточный, мое разрушив счастье.
С кем я *теперь*? Плачевнейший подмен!
Блаженство превратилось в тлен!
Где прежний ангел мой? Отныне в теле *слабом*
Царит высокий дух... Так кто ж она?
Погибла для любви, для власти не годна,
Мужчиной не назвать и не причислить к бабам,—
Дитя с оружьем великана,
Не разбери-поймешь: мудрец иль обезьяна!
Презрев очаг семьи, стремится в эмпиреи,
Ей чары собственные больше не милы,
С престола свергнута в пучину книжной мглы,
Она завянет в ней, безвременно старея,
Изъята навсегда из списка Цитерей,
И все — за десять строк газетной похвалы!





ХУДОЖНИКИ

Прекрасен гордый облик человека,
Стоящего на склоне века,—
Он сбросил тяжкий гнет оков,
Ему открыты тайны мирозданья,
Он погружен безмолвно в созиданье,
Могучий сын веков.

Трудясь с усердьем непреклонным,
Завоевав могущество — законом
И волю — разумом, в борьбе он стал сильней.
Природа, что была неукротимо дикой,
Простерлась ниц перед своим владыкой,
Теперь он стал хозяином над ней.

Гордясь победою своей,
Воспой спасительную руку,
Которая нашла тебя,
Когда ты, обречен на муку,
Пустыней мира брел, скорбя.
Ту, что вела тебя к прекрасному служенью,
Сиявшему далеко впереди,
И не дала коснуться вожделенью
Твоей младенческой груди.
Ту благостную, что в игре, случайно,
Тебя учила долгу твоему,
В загадках легких раскрывая тайну
Высокой добродетели — уму.
Ту, что любимца своего до срока
К другим в объятия толкнула от себя.

О, берегись, не стань рабом порока,
Ее прислужниц низких возлюбя!
Пусть щелковичный червь в терпенье твой учитель,
Пускай усердие в пчеле воплощено,
Пусть духам равен в мудрости мыслитель,—
Искусство лишь тебе дано.

В страну познания вступая
Через ворота Красоты,
Смотреть на солнце не мигая
Свой разум приучашь ты.
Бряцанье лиры поразило
Гармонии причастный слух,
И вот в тебе открылась сила,
Что познает всемирный дух.

Все, что теперь, спустя тысячелетье,
Умом созревшим понимаешь ты,
Когда-то люди, чистые, как дети,
Уже прочли на лице Красоты.
Она учила нас склоняться пред законом
И всей душою презирать порок,
Когда еще не создан был Солоном
Закон, который справедлив и строг.
И прежде чем мудрец пробился к тайнам вечным,
Планет и солнца исчисляя бег,
Уж трепетал пред бесконечным,
Взирая на созвездья, человек.

Она, сверкающая в ореоле,
В котором звезды вечные горят;
На лучезарном солнечном престоле
Слепящая сияньем смертный взгляд,
Доступная лишь взорам духов чистым,
Урания, прекрасна и страшна,
Рассталась со своим венцом лучистым,
И Красотой явилась нам она.
Сама — дитя, бесхитростной, простою
Она пришла, понятна для детей.
Представшая когда-то Красотою,
Нам Истину явится поздней.

Когда творец, изгнав людей из рая,
Их неизбежной смертности обрек,
Чтоб, медленно во мраке прозревая,
К познанию вернулся человек,
Когда он был отвергнут небесами
И всеми был забыт, убог и сир,
Великодушная, ты сжалилась над нами,
Спустившись в этот бренный мир.
Ты снизошла мерцающим туманом
В долину чувств, к любимцу своему,
Видений сладостным обманом
Преображая в рай его тюрьму.

Когда в руках кормилицы покойно
Еще лежал младенец — род людской,
Священные не полыхали войны
И кровь невинных не лилась рекой.
Душа, которая для Красоты открыта,
Неведом долга рабский гнет:
Ведь лучезарная ее орбита
Ведет, куда и нравственность ведет.
У преданных ей набожно и верно
Не леденеет в жилах кровь,
Их не коснется никакая скверна,—
Ее господство полюбив безмерно,
Они свободу обретают вновь.

Блаженны вы, избранные богиней,
Чистейшие, введенные во храм,
Кого она дарует благостыней,
Через которых обращалась к нам,
Кто ею избран был меж всеми нами
Поддерживать негаснущее пламя,
К кому богиня, чуждая страстей,
Нисходит в блеске наготы своей!
Гордитесь! Так угодно провиденью,
Чтоб на пути, которым смертный род
К блаженству и бессмертию идет,
Вы были первою ступенью.

В те времена, когда еще земле
Не дали вы гармонии великой,
Вселенная, тонувшая во мгле,
Казалась злобной, беспощадной, дикой.
Мерцающим лучом озарена,
Она хаосом дикаря страшила;
Как сам дикарь, свирепа и страшна,
Враждебная, чудовищная сила
Везде ему погибелью грозила.
Насытить вожделения спеша,
Не видел он лазури небосвода,
И ускользала от него природа,
Ее прекрасная душа.

И вот, узрев ее, едва дыша,
Вы бережными, тихими руками
Безмолвно прикоснулись к ней,
Связать пытаясь очерки теней,
Простершиеся рядом с вами.
Вознесся кедр огромный в небосвод,
Манило взор листвы его движенье,
И медленно дрожало отраженье
В блистающем кристалле вод.
Могли ли вы не внять урокам терпеливо,
Что вам давала здесь сама природа-мать?
Картина, плывшая по зеркалу залива,
Учила вас искусству подражать.
К объятьям бога водяного
Природа, суть забыв свою,
Во имя бытия иного
Бросалась в светлую струю
И творческий тогда в душе проснулся гений,
И радостный порыв почуяла рука,
Воссоздававшая плениительные тени,
Подобья бытию — из глины и песка.
В груди у вас кипело вдохновенье.
Так возникало первое творенье.

Вам, погруженным в созерцанье,
Великий дар познанья дан,
Лишь вам одним явленья мирозданья

Вручили свой волшебный талисман.
Необходимость во вселенной
С законом прелести нетленной
В созданьях ваших чудотворных сил
Животворящий ум объединил.
Он окрылился, пирамиду строя:
Встает колонна, обелиск растет,
И голосом свирели лес поет,
И песня славит подвиги героя.

Собрать со вкусом пестрые цветы,
Растущие необозримым лугом,—
Вот первый шаг в созданье красоты.
Потом они в венке сплелись друг с другом,—
Под мудрой человеческой рукой
Искусство совершило шаг второй.
Дитя искусства, что казалось зрелым
И навсегда самим собой полно,
Теперь уже зовет к иным пределам,
Законченности прежней лишено.
Так, подчинясь гармонии единой,
Колонна встанет к сестрам в дружный строй,
В рядах героев борется герой,
Гомеров глас гремит над всей дружиной.

Дивясь, сбежались варварские орды,
К творениям, не виданным вовек.
«Смотрите,— люди восклицали гордо,—
Смотрите, это создал человек!»
Кифары вдохновенные аккорды
Вселяли радость и любовь в сердца;
И, лиру величавую настроив,
Певец им пел дела титанов и героев,
И к подвигам звала их песнь певца.
И дух тогда познал впервые,
Те наслажденья, что манят
Лишь издалека слух и взгляд;
Не будят алчности они, всегда живыс,
И, не померкнув, души утолят.

Теперь от вековой дремоты
Свободный, гордый дух воспрял.

Освобожденный раб заботы
Блаженство радости познал.
Сокрылось зверство темное угрюмо,
И человечность на челе зажглась.
И царственная незнакомка — дума
Над потрясенным мозгом вознеслась.
Встал человек под небом звездным
Во весь свой богатырский рост,
Поднявши взор к вселенским безднам,
К сверкнувшим мириадам звезд.
И зацвели уста в улыбке,
И слезы увлажнили взор,
И звучной песней голос гибкий
Безмолвный победил простор.
Слова веселья и печали,
Соединившись, в ней звучали.

За низкой похотью греховной,
За злобным чувственным огнем
Вы разглядеть сумели в нем
Ростки иной любви — духовной.
Он тем, что пыл его любовный
Лишился низости греха,
Обязан песне пастуха.
Облагорожено мышленьем,
Желанье стало песнопеньем,
Мелодией в устах певца.
Орошены слезой ланиты,
Нетленною любовью слиты
На веки вечные сердца.

Все то, чем мудрый мудр и чем велик великий,
Чем кроткий кроток и силач силен,
Соединили вы в едином лице,
Который вами нимбом озарен.
Герои, те, что трепетали прежде
Перед неведомым и злобным существом,
Теперь пылали мужеством — в надежде
Сравняться с этим божеством.
В природе бесконечной обрели вы
Прекрасного прообраз горделивый.

Таинственного рока власть,
Игру судеб от самой колыбели
И долг, который побеждает страсть,
Вы строго рассчитать сумели
И подчинили высшей цели.
Все, что природа разбросала
На сумрачном пути земном,
То в песне, на подмостках стало
Единства высшего звеном.

Поют эринии; убийце в звуках хора
Уже мерецится звучанье приговора,
Хотя никто еще не помышлял о нем
Еще мудрец на мир не поднял взгляда,
А, в тайны вечные проникнув, Илиада
Уже раскрыла людям бытие;
Уж на арене Фесписа Эллада
Узрела провидение свое.

Но светлая гармония ее —
Для мира слишком ранняя награда.
Когда рукой таинственною рок
Узлы судеб, затянутые туго,
Здесь, перед вами, развязать не мог
И жизни путь в подземный мир пролег,
Прекрасного не завершая круга,
Вы протянули волею своей
Дугу существованья в мир теней.
И в океан Аверна бурный
Бесстрашно бросившись с земли,
Вы вновь за гробовою урной
Дорогу жизни обрели.
Светильник опрокинув, там с Кастором
Стоял Поллукс, его бессмертный друг;
Казалось, тень предстала вашим взорам,
Скрывающая лунный полукруг.

Но дальше, ввысь, к пределам всех дерзаний,
Творящий гений над землей парит.
Созданье возникает из созданий,
Гармония гармонию творит.

Все то, что здесь ласкает взоры ныне,
Там подчинит себе иная Красота;
Сверкающая нимфы нагота
Облагородилась в божественной Афине,
Мощь, взбухнувшая мускулом борца,
Смягчилась в Аполлоне перед нами,
Зевес, творение великого резца,
Склонился в олимпийском храме.

Мир, измененный силой ваших дел,
В бореньях с ним окрепнувшие чувства
Теперь для высшего искусства
Уже раздвинули предел.
На мощных крыльях дух вознесся к небосводу,
Приняв искусства щедрые дары,
И заново узрел природу,
Невиданных красот миры.
Развернулись врата наук,—
И вы, которым ныне ведом
Прекрасный, легкий путь к победам,
Вы раздвигаете все шире
Границы знаний о подлунном мире,
Объемлющем созданья ваших рук.
И человек своею мерой ныне
Природу мерит по делам своим,
И, Красоте покорная рабыня,
Склоняется природа перед ним.
Ликующий и гордый, вечным сферам
Свою гармонию внушает человек.
Отныне мир покорен новым мерам
И подчинен симметрии навек

Теперь повсюду во вселенной
Гармонию находит он,
И пояс красоты священной
Во все пути его вплетен.
И искусства образ совершенный
Над ним в твореньях ваших вознесен.
Там, где бушует ликованье,
И там, где горе леденит,
И там, где стынет созерцанье.

Где слезы катятся с ланит,
Где угрожает смерть героям,—
Гармония струится там,
Там грации несутся светлым роем;
И он, навек покинутый покоем,
Спешит за ними по пятам.
И, как дыханье, жизнь его струится
С той мягкостью, с которойю вокруг
Сливаются, не ведая границы,
Бессмертные творенья ваших рук.
Его теперь со всех сторон объемлет
Гармонии великий океан,
И дух его священной лире внемлет,
Цитерой вездесущей осиян.
Покорствуя своей судьбы урокам,
Он ей возносит высшую хвалу
И, с музой в единении высоком,
Готов принять смертельную стрелу,
Направленную милосердным роком.

Божественной гармонии сыны,
Вы, чуждые пустым земным тревогам,
Которые по жизненным дорогам
Нам в спутники природою даны.
За то, что люди долг свой *понимают*,
За то, что ими этот долг любим,
И что случайности людьми не помыкают,—
Мы вам бессмертьем воздадим.
Вам высшая награда — сердце ваше!
За то, что боги радости, смеясь,
Людской свободы поднимают чашу
И что мечта прекрасная сбылась,—
Вам вечная за это благодарность.

Пусть гордый, светлый дух, облекший мир
И Неизбежность красотой чудесной,
Который дал нам, людям, свод небесный
И беспределный свой эфир,
Который, ужасая, восхищает,
Уничтожая, душу возвышает,—
Пусть он, художник вечный, вас ведет.

Как в зеркале спокойных вод
Мерцает берег изумрудный,
Огонь зари, цветы полей,—
Так отразился в жизни скучной
Мир поэтических теней.
Нам, легкомысленным, беспечным.
Вы Парку в платье подвенечном
Являли, услаждая взор.
Как скрыты кости вашей урной,
Так ужас нашей жизни бурной
Сокрыл волшебный ваш узор.
Пройдя тысячелетья взглядом,
Я видел то же всякий раз:
Как все ликуют с вами рядом
И как скорбят, не видя вас!

Тот гений, что, взмахнув крылами,
Из ваших рук вознесся к небесам,
Отныне, воскрешенный вами,
Вернулся к новой жизни сам.
Ему крыло сломило время,
И он, лишенный прежних сил,
Как дряхлый старец, жизни бремя,
На посох опервшись, влашил.
Тогда ему вы дали снова
Глоток источника живого.
Взошел вторично ваш посев,
Вторично мир воспрял, помолодев.

Свирипым варваром жестоко
Гонимые с родной земли,
Вы искру с алтарей Востока
На Запад к нам перенесли.
И встал, как солнце, озаряя дали,
Беглец востока, гений Красоты.
В Гесперии огнями засверкали,
Воскреснув, ионийские цветы.
Прекрасная природа воскресила
Людские души, где царила мгла.
Богиня света сумрак победила
И в души воскрешенные вошла.

Упали с громом тяжкие оковы,
Рабы воспряли, увидав закон,
И род людской поднялся гордо снова,
Невиданной свободой упоен.
Высоким счастьем вас дарит творенье,
Которым одарили вы других,
И вы уходите во мрак смиренья,
Гордясь делами рук своих.

Когда теперь дорогой проторенной
Мыслитель дерзко движется вперед,
И, громом песнопений опьяненный,
Себе венец победы он берет,
Когда, певца унизвив жалкой платой,
Искусство думает уволить он,
Когда в рабы низведен им вожатый,
А он воссел на вожделенный трон,—
Не гневайтесь: победою крылатой
Венец последний будет вам вручен.
Искусство — первенец природы,
Вращеный раннею весной.
Искусство — зрелый плод природы,
Что подвиг завершила свой.

Возникнув скромно в камне, в глине,
Искусство покорило ныне
Мир безграничный дум людских.
Все, что мудрец открыл в своей гордыне,—
Открыл он лишь для вас одних.
Наукой, созданной рассудком ясным,
Тогда лишь насладится он сполна,
Когда, преображенная Прекрасным,
К художеству возвысится она,
Когда поднимется он вместе с вами в гору,
И вся долина вдруг, обагрена
Вечерним солнцем, распахнется взору.

Чем больше вы вкусите наслаждений,
Которые ласкают слух и взор,
Чем выше к небу воспаряет гений,
Объемля взглядом мировой простор,

Чем больше ваши мысли, ваши чувства
Открыты для безбрежного искусства,
Для светлого потока красоты,—
Тем он яснее различает звенья
Единства мирозданья,— те черты,
Которых прежде он не знал значенья;
Тем больше тайн ему откроет ночь,
Тем больше он узрит в подлунном мире,
Тем океан, его несущий, шире,—
И тем слабей слепого рока мощь;
Он рвется выше, Правды вожделея.
И чем он меньше сам, тем страсть его сильнее.
Так лестница поэзии ведет
Все вверх его, дорогой звуков ясных,
Дорогой форм, все более прекрасных,
К вершинам новым, по цветам, вперед.
И, наконец, последних поколений
Еще одно усилие, мощный взлет,
Последний взмах широких крыл — и вот
Пред *Истиною* пал он на колени.

Предстанет сыну своему,
Покров откинув, Киферея,
Венцом бессмертья пламенея,
Явясь Уранией ему.
Нежданно для себя дошел он
До ослепительных вершин.
Так некогда, блаженства полон,
Стоял Улисса гордый сын,
Когда его чудесный провожатый
Предстал ему Афинью крылатой.

Достоинство людей вам вверено богами.
Храните же его!
Оно падет без вас! Оно воспрянет с вами!
Поэзии святое волшебство
Подвластно планам мудрости нетленной.
Так пусть гармония, как океан вселенной,
Свое справляет торжество.

Отринутая веком гневно,
Пусть Истина звучит напевно
И кров обрящет среди муз;
Пускай, в сияний великом,
Еще страшней прекрасным лицом,
Она, воспрянув песней, блещет,
И пусть, внимая ей, трепещет
Ее гонитель — низкий трус.

Летите к светлому престолу,
Свободной матери сыны!
Вам, не клонящим очи долу,
Бенцы иные не нужны.
Сестру, утраченную вами,
Найдя у матери своей,
Вы станете душою сами
Великодушнее, мудрей.
Летите ввысь в слепящем свете,
Отбросив цепи дней лихих,
Зарю грядущего столетья
В твореньях отразив своих.
Многообразными путями
Сойдетесь вы со всех сторон
И здесь узрите перед вами
Великого Единства трон.
Как ярких семь лучей рождает,
Переломившись, луч дневной,
Как, в белый свет сливаясь, тают
Семь красок радуги цветной,—
Так вы, чарующей картиной
Неутолимый взор маня,
Сольетесь в Истине единой,
В едином, ярком свете дня.





ПОЭЗИЯ ЖИЗНИ

«К виденьям радужным, что суть вещей скрывают,
Кто ж взор напрасно устремляет,
Мирясь безропотно с утратою надежд?
Нет! — Истина мила мне без одежд.
Пусть неба на земле мне суждено лишиться,
Пусть мой свободный дух, полет стремивший свой
К стране возможностей безбрежно голубой,
В окоах настоящего смирятся;
Победе над собой он сможет научиться,
Тогда священный долг ему не будет чужд,
И перед этой злейшею из нужд
Покорнее сумеет он склониться.
А тот, кто чувствует пред кроткой правдой страх,—
С необходимостью как может быть в ладах?»

Так восклицая, о мой строгий друг,
В надежной гавани расстался ты с мечтами
И все иллюзии отверг вокруг.
Испуганный суровыми словами,
Богов любви умчался рой.
Смолкает муз игра и не танцуют оры,
Богини-сестры, опуская взоры,
С себя венки срывают горестной рукой.
Бросает лиру Аполлон,
Гермес ломает жезл чудесный,
Лик жизни красок всех лишен;
И меркнет сразу мир окрестный,

И предстает могилой он.
Снимает с глаз волшебную повязку
Венеры сын: прозревшая любовь
Перестает похожей быть на сказку
И прочь бежит, и не вернется вновь.
И юная краса стареет,
И поцелуй любовный леденеет,
И, видя смерть сквозь милые черты,
В миг высшей радости окаменеешь ты.

ВЛАСТЬ ПЕСНОПЕНИЯ

Вот, грохоча по кручам горным,
Потоки ливня пролились,
Деревья вырывая с корнем
И скалы скатывая вниз.
И, страхом сладостным объятый,
Внимает путник шуму вод.
Он слышит громкие раскаты,
Но где исток их — не поймет.
Так льются волны песнопенья,
Но тайной скрыто их рожденье.

Кто из покорных вещим девам,
Что тянут жизни нить в тиши,
К волшебным не склонял напевам
Певцом разбуженной души.
Одной лишь силой вдохновенья
Он, как божественным жезлом,
Свергает в адские селенья,
Возносит к небу с торжеством,
Сердцами чуткими играя
Меж скорбью и блаженством рая.

Как в мир ликующих нежданно,
Виденьем страшным, на порог
Стопою тяжкой великана
Необоримый всходит рок,
И вмиг смолкают гул и крики

Под грозным взором пришлеца,
И ниц склоняются владыки,
И маски падают с лица,
И перед правдой непроложной
Бледнеет мир пустой и ложный,—

Так человек: едва лишь слуха
Коснется песни властный зов,
Он воспаряет в царство духа,
Вседневных отрешась оков.
Там, вечным божествам подобный,
Земных не знает он забот,
И рок ему не страшен злобный,
И власть земная не гнетет,
И расправляются морщины —
Следы раздумий и кручин.

Как сын, изведав боль разлуки
И совершив обратный путь,
В слезах протягивает руки,
Чтоб к сердцу матери прильнуть,—
Так странник, песнею ведомый,
Спешит, покинув чуждый свет,
Под тихий кров родного дома,
К отрадам юношеских лет,
От леденящих правил моды
В объятья жаркие природы.

ТАНЕЦ

Вот, проносясь, как волны, мелькают в плавном движенье
Пары, крылатой ногой еле касаясь земли.
Вижу ль полет теней, оболочки телесной лишенных,
Эльфы ли в лунных лучах там хороводом сплелись?
Как дуновенье зефира по воздуху дым развеивает,
Как серебристая зыбь тихо колышет челнок,
Так обученной ногой колебанья мелодии правят,
Тело эфирное так поднято рокотом струи.
Вот, как будто затем, чтобы цепь прорвать плясовую,

Смелая пара одна мчится на сомкнутый ряд.
Быстро путь перед ней раздается и вмиг исчезает,
Словно волшебной рукой доступ открыт и закрыт.
Пара пропала из глаз, и этого мира живого
В дикой сумятице вдруг рушится дивный дворец.
Нет, возникает он снова, ликующий узел развязан,
Но — в измененной красе прежний порядок встает.
То разрушается вдруг, то опять воздвигается зданье,
И прихотливой игрой правит незримый закон.
Но почему же, скажи, обновленье картин непрестанно
И безмятежный покой в образ движения влит?
Каждый — себе господин, своему лишь сердцу послужен,
Но сочетает свой бег все-таки с общим путем.
Знай же! — Это оно, божество музыкальных созвучий,
Что из дикарских прыжков танец согласный творит.
Как Немезида, оно золотыми поводьями ритма
Буйство смиряет, ручным дикое делает вмиг.
И не пленяет тебя ничуть гармония мира?
Не увлекает с собой песни высокой поток?
Также и такт вдохновенный, что слышишь в каждом со-
зданье,
Также и пляс вихревой, буйным порывом своим
В необозримую даль уносящий лучистое солнце?
Знаешь ты меру в игре, что же ты в деле к ней глух.

П Е Г А С В Я Р М Е

На конные торги в местечко Хаймаркет,
Где продавали всё — и жен законных даже,—
Изголодавшийся поэт
Привел Пегаса для продажи.

Нетерпеливый гиппогриф
И ржет и пляшет, на дыбы вставая.
И все кругом дивятся, рот раскрыв:
«Какой отличный конь! И масть какая!
Вот крылья б только снять! Такого, брат, конька
Хоть с фонарем тогда ищи по белу свету!
Порода, говоришь, редка?»

А вдруг под облака он занесет карету?
Нет, лучше придержать монету!»
Но глянь, подходит откупщик:
«Хоть крылья,— молвит он,— конечно, портят дело,
Но их обрезать можно смело,
Мне коновал спроворит это вмиг,—
И станет конь как конь. Пять золотых, приятель!»
Обрадован, что вдруг нашелся покупатель,
Тот молвит: «По рукам!» И вот
С довольным видом Ганс коня домой ведет.

Ни дать ни взять тяжеловоз,
Крылатый конь впряжен в телегу.
Он рвется, он взлететь пытается с разбегу
И в благородном гневе под откос
Швыряет и хозяина и воз.
«Добро,— подумал Ганс,— такой скакун бедовый
Не может воз тащить. Но ничего!
Я завтра еду на почтовой,
Попробую туда запрячь его.
Проказник мне трех кляч заменит разом,
А там, глядишь, войдет он в разум».

Сперва пошло на лад. От груза облегчен,
Всю четверню взбодрил рысак неосторожный.
Карета мчит стрелой. Но вдруг забылся он
И, не приучен бить копытом прах дорожный,
Воззрился ввысь, покинул колею
И, вновь являя мощь свою,
Понес через луга, ручьи, болота, нивы.
Все лошади взбесились тут,
Не помогают ни узда, ни кнут,
От страха путники чуть живы.
Спустилась ночь, и вот, уже во тьме,
Карета стала на крутом холме.

«Ну,— размышляет Ганс,— не знал же я заботы!
Как видно, дурня тянет в небеса.
Чтоб он забыл свои полеты,
Вперед поменьше класть ему овса,
Зато побольше дать работы!»

Сказал — и сделал. Конь, лишенный корма вдруг,
Стал за четыре дня худее старой клячи.
Наш Ганс ликует, радуясь удаче:
«Теперь летать не станешь, друг!
Впрягите-ка его с быком сильнейшим в плуг!»

И вот, позорной обреченный доле,
Крылатый конь с быком выходит в поле.
Напрасно землю бьет копытом гриф,
Напрасно рвется ввысь, в простор родного неба.—
Сосед его бредет, рога склонив,
И гнется под ярмом скакун могучий Феба.
И, вырваться не в силах из оков,
Лишь обломав бесплодно крылья,
На землю падает — он! вскормленник богов! —
И корчится от боли и бессилья.

«Проклятый зверь! — прорвало Ганса вдруг,
И он, ругаясь, бьет невиданную лошадь.—
Его не запряжешь и в плуг!
Сумел меня мошенник облапошить!»

Пока он бьет коня, тропинкою крутой
С горы спускается красавец молодой,
На цитре весело играя.
Открытый взор сияет добротой,
В кудрях блестит повязка золотая,
И радостен веселой цитры звон.
«Приятель! Что ж без толку злиться? —
Крестьянину с улыбкой молвит он.—
Ты родом из каких сторон?
Где ты видал, чтоб зверь и птица
В одной упряжке стали бы трудиться?
Доверь мне твоего коня,
Он чудеса покажет у меня!»

И конь был отпряжен тотчас.
С улыбкой юноша взлетел ему на спину.
И руку мастера почувствовал Пегас
И, молнии метнув из глаз,
Веселым ржанием ответил господину.

Где жалкий пленик? Он, как встарь,
Могучий дух, он бог, он царь,
Он прыгнул, как на крыльях бури,
Стрелой взвился в безоблачный простор
И вмиг, опережая взор,
Исчез в сияющей лазури.

М Е Ч Т Ы

Зачем так рано изменила?
С мечтами, радостью, тоской
Куда полет свой устремила?
Неумолимая, постой!
О дней моих весна златая,
Постой... тебе возврата нет...
Летит, молитве не внимая;
И все за ней помчалось вслед.

О! где ты, луч, путеводитель
Веселых юношеских дней?
Где ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей?
Уж нет ее, сей веры милой
К твореньям пламенной мечты...
Добыча истины унылой,
Призраков прежних красоты.

Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион —
И мрамор внял любви стенанье
И мертвый был одушевлен,—
Так пламенно объята мною
Природа хладная была;
И, полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

И, юноши деля желанье,
Немая обрела язык:
Мне отвечала на лобзанье,
И сердца глас в нее проник.

Тогда и древо жизнь прияло,
И чувство ощутил ручей,
И мертвое отзывом стало
Пылающей души моей.

И неестественным стремленьем
Весь мир в мою теснился грудь;
Картиной, звуком, выраженьем
Во все я жизнь хотел вдохнуть.
И в нежном семени сокрытый,
Сколь пышным мне казался свет...
Но ах! сколь мало в нем развито!
И малое — сколь бедный цвет.

Как бодро, следом за мечтою,
Волшебным очарован сном,
Забот не связанный уздою,
Я жизни полетел путем.
Желанье было — исполненье;
Успех отвагу пламенил:
Ни высота, ни отдаленье
Не ужасали смелых крыл.

И быстро жизни колесница
Стезею младости текла;
Ее воздушная станица
Веселых призраков влекла:
Любовь с прелестными дарами,
С алмазным Счаствие ключом,
И Слава с звездными венцами,
И с ярким Истина лучом.

Но ах!.. еще с полудороги,
Наскучив резвою игрой,
Вожди отстали быстроноги...
За роем вслед умчался рой.
Украдкой Счаствие сокрылось;
Изменой Знание ушло;
Сомненья тучей обложилось
Священной Истины чело.

Я зрел, как дерзкою рукою
Презренный славу похищал;
И быстро с быстрою весною
Прелестный цвет Любви увял.
И все пустынно, тихо стало
Окрест меня и предо мной!
Едва Надежды лишь сияло
Светило над моей тропой.

Но кто ж из сей толпы крылатой
Один с любовью мне восслед,
Мой до могилы провожатой,
Участник радостей и бед?..
Ты, уз житейских облегчитель,
В душевном мраке милый свет,
Ты, Дружба, сердца исцелитель,
Мой добрый гений с юных лет.

И ты, товарищ мой любимый,
Души хранитель, как она,
Друг верный, Труд неутомимый,
Кому святая власть дана:
Всегда творить не разрушая,
Мирить печального с судьбой
И, силу в сердце водворяя,
Беречь в нем ясность и покой.

В Е Ч Е Р

По одной картине

Бог лучезарный, спустись! — жаждут долины
Вновь освежиться росой; люди томятся;
Медлят усталые кони,—
Спустись в золотой колеснице!

Кто, посмотри, там манит из светлого моря
Милой улыбкой тебя! Узнало ли сердце?
Кони помчались быстрее,
Манит Тефифа тебя.

Быстро в объятия к ней, вожжи покинув,
Спрянул возничий; Эрот держит за узды;
Будто вкопаны, кони
Пьют прохладную влагу.

Ночь по своду небес, прохладою вея,
Легкой стопою идет с подругой-любовью.
Люди, покойтесь, любите!
Феб влюбленный почил.

М Е Т А Ф И З И К

«Ого! Высоко я залез!
Людишек суетню я еле вижу с крыши.
Да, ремесло мое, что всех ремесел *выше*,
Меня взметнуло до небес!» —
Так, с башни глядя гордым взором,
Кичился кровельщик. Так, карлик-великан,
Ганс-Метафизикус за письменным прибором
Вопит... О карлик-великан,
Та башня, с высоты которой ты взираешь,
На чем она стоит? Как сам ты полагаешь?
Зачем такая высь нужна тебе, ответь? —
Чтоб просто сверху вниз на публику глядеть!

ДОСТОИНСТВО ЖЕНЩИН

Женщинам слава! Искусно вплетая
В жизнь эту розы небесного рая,
Узы любви они сладостно вьют.
В туники граций одевшись стыдливо,
Женщины бережно и терпеливо
Чувства извечный огонь стерегут.

Сила буйная мужчины
Век блуждает без путей,
Мысль уносится в пучины
Необузданых страстей.

Не нашедшему покоя
Сердцу вечно вдаль нестись,
За крылатою мечтою
Уноситься к звездам ввысь.

Женщина теплым, колдующим взглядом
Манит безумца к домашним усладам,
В тихие будни, от призраков прочь.
Нравом застенчива, в хижине отчей
Путника днем поджидает и ночью
Доброй природы покорная дочь.

Но мужчина в рвенье рьяном
Беспощаден и упрям,
В жизнь врывааясь ураганом,
Рушит все, что создал сам.
Страсти вспыхивают снова,
Укрученные едва,
Так у гидры стоголовой
Отрастает голова.

Женщина к славе не рвется спесиво,
Робко срывает, хранит бережливо
Быстротекущих мгновений цветы;
Много свободней, хоть связаны руки,
Много богаче мужчин, что в науке
Ищут познаний, свершений мечты.

Род мужской в душе бесстрастен,
Сам собою горд всегда,
К нежным чувствам не причастен,
Близость душ ему чужда.
Не прильнет к груди с повинной,
Ливнем слез не изойдет,—
Закален в боях мужчина,
Дух суровый в нем живет.

Женские души со струнами схожи.
Ветер Эолову арфу тревожит,
Тихо в отзывчивых струнах дыша.

Райской росою при виде страданий
Слезы сверкают у нежных созданий,
Чуткая, в страхе трепещет душа.

Сила властвует над правом,
Нрав мужской ожесточив.
Перс — в цепях. Мечом кровавым
Потрясает грозный скиф.
Налетают страсти бурей,
Дух вражды в сердцах горит,
Слышен хриплый голос фурий,
Где умолкнул зов харит.

Мягкою просьбой, простым уговором
Женщина путь преграждает раздорам,
Властью любви пересиливши гнев;
В тихое русло враждебные силы
Вводит, в порыве сердечного пыла
Непримиримость страстей одолев.

ПРОЩАНЬЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

С румянцем девственным, лицом пригожа,
Перед тобою муга предстаёт.
Молчит она, и ждёт суда без дрожи,
И похвалы добру с надеждой ждёт.
Ей слово истины всего дороже,
И мишуры она не признаёт,
А увенчать ее тот будет вправе,
Кто красоту предпочитает славе.

Хочу я, чтобы песнь моя звучала
Для смелых и чувствительных сердец,
К возвышенному мысли устремляла
И не шлела грядущему венец,—
В лучах зари берет она начало,
И в сумерках придет ее конец.
Она мгновенной радостью пленяет
И с орами, танцуя, улетает.

Опять весна проснулась на полянах,
И вся природа оживает вновь,
Струя дыханье ароматов пряных,
Рождая вдохновенье и любовь;
Исчезла память о сердечных ранах,
Ясны глаза, играет в жилах кровь...
Весна уйдет. И с ней уйдет бесследно
Все, что цвело и пело так победно.

ИДЕАЛ И ЖИЗНЬ

Вечно юны и прекрасны боги.
Там, в блаженном их чертоге,
Жизнь чиста, безбурна и светла.
Что им бег времен и поколений!
Неизменны в этой вечной смене
Розы их бессмертного чела.
Мир души иль чувственное счастье —
Люди могут выбрать лишь одно.
В полноте изведать обе части
Лишь жильцам небес дано.

Хочешь быть подобен им, блаженным,
Стать свободным в мире бренном —
Не срывай манящего плода!
Взор насыть отрадой созерцанья:
Прежде срока все убьет желанья
Насаждений беглых пестрота.
Дочери Цереры не преграда
Даже Стиksа многокружный бег,
Но сорвавшей яблоко — из ада
Ей не вырваться вовек.

Лишь над телом властвуют жестоко
Силы гибельного рока,
Но, с косой Сатурна незнаком,
Онодомец духом совершенных,
Первообраз там, в кругах блаженных,
Меж богов сияет божеством.

Всем пожертвуй, что тебя связало,
Если крылья сятся в полет,—
Возлети в державу идеала,
Сбросив жизни душной гнет!

Там блистает чистотой от века
Первосущность человека
С нимбом совершенства вокруг чела,—
Так в сени Элизия безгласной
Чисты тени жизни той прекрасной,
Что в надмирной тишине цвела
До поры, как в бренные сelenья
Низошла бессмертная с высот.
От живого скрыт исход боренья,
Здесь — его победа ждет.

Не затем, чтоб вывести из боя,
Дать усталым час покоя,
Им победа поднесет венок.
Пусть бойцы предаться жаждут негам,
Жизнь умчит их мощным водобегом,
Увлечет их времени поток.
Если же духа иссякает сила
И в оковах тщетно бьешься ты,
Вспомни цель, что взор твой поразила
С горных высей красоты.

В жажде славы, золота иль власти
Гибельно бушуют страсти,
И боец кровавой сече рад.
Мужество летит навстречу силе,
Колесницы мчатся в тучах пыли,
И, гремя, ломается булат.
Только самым смелым удается
Выдержать великую борьбу.
Там, где слабый в ужасе сдается,
Сильный победит судьбу.

Но, утесы миновав, где волны
Бились, ярым гневом полны,
По цветущим землям красоты

Жизнь рекою плавною струится,
И в нее с улыбкою глядится
Хор светил с небесной высоты.
Враг исчез: покорны нежным узам,
Позабыв кровавый свой разлад,
Братским примиренные союзом,
Все желанья мирно спят.

Мертвый камень оживляя смело,
Создает богини тело
Вдохновенъя пламенный порыв,
Но художник лишь в борьбе упорной
Побеждает мрамор непокорный,
Разуму стихию подчинив.
Только труд, не знаящий отступлений,
Истину постигнет до конца,
И над глыбой торжествует гений
Непреклонностью резца.

Но своим последним, мощным взмахом
Он свершает чудо с прахом:
След усилий тщетно ищешь ты.
Массы и материи не стало,
Стройный, легкий, сходит с пьедестала
Образ воплощенной красоты.
Больше нет борьбы и колебаний,
Здесь победы высшей торжество.
Смолк раздор бытийственных желаний
Пред гармонией его.

Если ты в бессилии исконном
Предстоишь перед законом
И вина святыню лицезрит,—
Перед высшей правдой идеала
Все отринь, что дух твой увлекало,
Что питало повседневный быт.
Этой цели женщиной рожденный
Никогда еще не достигал,
Здесь зияет гибельный, бездонный,
Неизведанный провал.

Но едва, раздвинув чувств пределы,
К солнцу мысли выйдет смелый,
Страшный призрак скроется, как сон,
Вечной бездны ты не видишь боле,—
Высший долг сверши по доброй воле,
И покинет бог свой горний трон.
Пред лицом закона поникает
Дух, смиренный рабством. Но едва
Человек воспрял, он низвергает
Неприступность божества.

Если в горе стонут люди-братья,
Если к небу крик проклятья,
Корчась в муках, шлет Лаокоон,
Человек восстань! Пусть эти крики
Сотрясут надмирный трон владыки,
Пусть ответит им твой скорбный стон,
Пусть от щек в смятенье кровь отхлынет
И, земной покорствуя судьбе,
Пред священным состраданьем сгинет
Все бессмертное в тебе.

Лишь в высоких образах искусства
Гармоничны бури чувства,
Боль не ранит сердце никому,
Не смутят покой ничьи рыданья,
Скорбь ни в ком не вызовет страданья—
Дух противоборствует ему.
Чистый, словно радуга Ириды
В поздних каплях тучи грозовой,
Там, сквозь боль и муки, сквозь обиды,
Блещет купол голубой.

Брошен в жизнь, как в вечное сраженье,
В беспримерном униженье
Был слугой ничтожного Алкид,
С вепрем бился, с Гидрою сражался,
Чтоб друзей спасти, не убоился
К мертвцам, живой, сойти в Аид.
Тяжесть мук, которыми герою

Мстила Зевса грозная жена,
Добровольно, собственной рукою
Возложил на рамена.

И совершив земное, роковое,
Мощно сбросил все людское
Чрез огонь очистившийся бог
И, полету радуясь впервые,
Устремился в выси голубые,
Кинув долу груз земных тревог.
Встречен там гармониями неба,
Входит, светлый, он в Кронидов зал.
И ему сияющая Геба
Полный подает фиал.

Г Е Н И Й

«Верить ли,— молвишь ты мне,— словам мудрецов
знаменитых,
Коим внимает толпа преданных учеников?
Только ль наука ведет к истине, счастью и миру
И на сваях систем зиждется счастье людей?
Должен ли я сомневаться во внутреннем гласе, в законе
Вечном, который мне в грудь вложен природой самой,
До тех пор, пока не скрепит его *школьная мудрость*,
Цепью формул сковав легкие крылья души?
О, расскажи мне, ведь ты спускался в эти глубины,
Ты из могилы глухой вырвался к нам невредим.
Ведаешь ты, что таит пещера слов этих темных,
Могут ли мумии дать успокоенье живым?
Должен ли я пойти поочной дороге, скажи мне?
Страшно мне, правда, но я к истине, к счастью пойду».
Помнишь ли ты, мой друг, времена золотые? Поэты
С детской невинностью нам в древности пели о них.
Помнишь ли время, когда среди нас еще жило святое,
Чувство хранило еще девственную чистоту,
А великий закон, по которому движутся звезды
И зарождается плод за скорлупою яйца,
Необходимости скрытый закон, неизбежный и вечный,—
Он и в нашей груди волны страстей поднимал;

Время, когда, не блуждая, разум показывал людям,
 Точный, как стрелка часов, только на истины свет?
Не было в те времена непосвященных, профанов,
 К мертвым не шел человек чувство живое искать.
Равно понятно для всех было вечное правило жизни,
 Светлый источник его равно сокрыт ото всех.
Но миновало счастливое время! Людским произволом
 Был божественный мир вечной природы разбит.
Чувство, лишенное святости, больше не голос бессмертных,
 И оракул замолк в опустошенной груди.
Только в себя погрузясь, его дух обретает порою,
 Там сокровеннейший смысл тайное слово хранит.
Чистый сердцем ученый там постигает природу,
 И природа свою мудрость ему отдает.
Если же ангел-хранитель тобой не утрачен, счастливец,
 Набожный, светлый огонь в сердце твоем не погас,
Взорам твоим предстоит истины образ нетленный,
 Голос ее не умолк в девственно-чистой груди,
Если в мирной душе безмолвствует демон сомненья,
 Если ты убежден — он не проснется вовек,
Если чувства твои не станут жертвой раздора,
 Сердце коварством своим разума не замутит,—
О, тогда навсегда сохрани святую невинность,
 Брось науку! Она учится пусть у тебя!
Палка закона нужна упирающимся и дрожащим,
 Но не тебе. Все, что ты вольно свершаешь,— закон.
Все поколенья людей не нарушают божественной воли;
 Все, что для них тытворишь, все, что им вымолвишь ты,
Будет во веки веков для всех непреложно и свято.
 Только тебе одному будет неведом твой бог,
Грозная сила твоя, тебе подчинившая духов.
 Молча по миру идешь ты, победитель его.

САИССКОЕ ИЗВАЯНИЕ ПОД ПОКРОВОМ

Влекомый страстью к истине, в Саис
Пришел однажды юноша, который,
Стремясь постигнуть тайную науку
Египетских жрецов, уже прошел

Немало ступеней к высотам духа;
Но рвался он вперед неудержимо,
Учитель отвечать не успевал
На все его вопросы. «Чем владею,—
Твердил он,— если не владею всем?
В познанье есть ли много или мало?
Ведь истина — не чувственная радость,
Которой мы, как суммою, владеем:
Порою — меньшей, а порою — большей.
Нет! Истина от века неделима!
Из радуги возьми лишь цвет единый
Иль из гармонии единый звук —
И ты ни с чем останешься, погибнет
Прекрасное единство красок, звуков».

Однажды, так беседуя, они
Вступили в одинокий круглый зал,
Где юноша увидел изваянье,
Покрытое завесой; с изумленьем
Учителя спросил он: «Что таится
Здесь под покровом этим?» И в ответ
Услышал: «Это — истина». — «Возможно ль? —
Воскликнул он. — Я к истине стремлюсь,
А здесь она таится под завесой?»
«Об этом ты спроси богов, — сказал
Ему учитель. — Ни один из смертных,
Так боги молвят, да не смеет тронуть
Священной ткани дерзостной рукой,
Пока ее мы сами не поднимем.
А если человек сорвет ее,
Тогда...» — «Тогда?..» — «Он истину узрит». —
«Какой оракул странный! Неужели
И ты, ты сам не поднял этой ткани?» —
«Я? Никогда! И даже искушенья
Не испытал ни разу...» — «Я не в силах
Тебя понять. Ведь если отделяет
От истины лишь тонкая завеса...» —
«Но и закон! — прервал его учитель. —
Весомее, чем мнишь, завеса эта.
Она, поверь мой сын, для рук легка,
Но тяжела для совести людской».

В раздумье юноша домой вернулся.
Томясь познанья жаждою, без сна
Он мечется, горя, на душном ложе
И в полночь вдруг встает. Неверным шагом,
Непобедимой силою влеком,
Подходит к храму. Здесь, легко и ловко
Одолевая стену, он с нее
Соскакивает прямо в круглый зал.
Достигнув цели, он стоит во мраке,
Со всех сторон объятый тишиной,
И мертвое безмолвье нарушают
Лишь отзвуки шагов по гулким плитам.
Мерцая, через купол проникает
Голубовато-белый луч луны;
И, словно бог, спустившийся на землю,
Под сумрачными сводами блестит
В таинственном покрове изваянье.

Так он воскликнул и сорвал покров.
«И что ж,— вы спросите,— ему открылось?»
Не знаю. Только полумертвым, бледным
Он утром найден был у ног Изиды.
О том, что видел он и что узнал,

Он не поведал никому. Навеки
Он разучился радоваться жизни;
Терзаемый какой-то тайной мукой,
Сошел он скоро в раннюю могилу...
«О, горе тем,— твердил он неизменно
В ответ на все расспросы,— горе тем,
Кто к истине идет путем вины!
Она не даст отрады человеку».

ПРОГУЛКА

Здравствуй, моя гора с красноватой блещущей высью,
Здравствуй, солнце, чей свет мягко ее озарил!
Вас я приветствую, нивы, тебя, шелестящая липа,
И на упругих ветвях звучный и радостный хор;
Здравствуй и ты, лазурь, объявшая неизмеримо
Бурые склоны горы, темную зелень лесов
И — заодно меня, кто бежал из темницы домашней
И от избитых речей ищет спасенья в тебе.
Током животворящим твой воздух меня пронимает,
Крепнет мой жаждущий взор в блеске могучих лучей.
Густо в долине цветущей блестят переливные краски,
Но пестротою ничуть не оскорбляется глаз.
Вольно луг расстилает свой пышный ковер, и далеко
В зелени свежей по нем сельская вьется тропа.
Пчелка, жужжа, снует деловито; на клевере красном
Сонно дрожит мотылек, слабым повиснув крылом.
Жгут меня стрелы солнца; в просторах — ни дуновенья,
Жаворонка лишь трель в воздухе ясном журчит.
Вот зашумело в близких кустах,— качнулись вершины
Ольх, и волна пронеслась по серебристой траве.
Благоуханная ночь обступает меня, и в прохладу
Под восхитительный свод буки густые зовут.
В тайне леса из глаз исчезает ландшафт на мгновенье,
Вьется тропинка змеей, в гору все выше ведя.
Только украдкой свет сквозь решетку листвы проникает,
И, улыбаясь, лазурь блещет порой сквозь нее.
Но разрывается полог внезапно, и проредь лесная

С шумом назад отдает взору сияние дня.
Необозримая даль разливается передо мною,
И, голубея во мгле, мир замыкает гора.
Там, внизу, у подножья горы, ниспадающей круто,
Зеленоватый поток зыблет свои зеркала.
Воздух вокруг меня беспределен; на небо взглянешь —
И помутится в глазах; в бездну заглянешь — замрешь.
Но промеж высоты и бездны, сердцем спокоен,
Путник неспешно идет по безопасной тропе.
Берег богатый с улыбкой бежит ко мне издалека,
Славит живые труды пышно разубранный дол.
Видишь вон те полоски? То межи крестьянских владений,
Кинула пестрый ковер матерь Деметра на них.
Древний закон дружелюбный, начертанный роду
людскому

С дней, как любовь, отлетев, медный покинула
век.

По в размежеванном поле вьет петли, как прежде,
тропинка,
То пропадает в лесу, то неуклонно ползет
В гору, полоской мелькая, связующей разъединенных.
Плавно по гладкой реке вниз потянулись плоты.
Слышны на сотни ладов колокольчики стад средь
равнины,

Эхом продлен пастуха уединенный напев.
Шумные села венчают поток — то в частый кустарник
Прячутся, то, наклонясь, в бездну глядят с крутизны.
Здесь еще с пашней в соседстве живет человек неразлучно,
И окружают поля сельский домишко его.

Затканы цепкой лозою оконные низкие рамы,
Нежно древесная ветвь бедный шалаш обняла.
Сельский счастливый народ! Порывов бурных не зная,
Весело с полем своим делишь ты скромный удел.
Все помышленья твои ограничены жатвою мирной,
Ровно, как будничный труд, жизнь твоя льется всегда.
Кто ж похищает внезапно картину прелестную? Чуждый
Распространяется дух быстро по чуждым полям.
Обособляется то, что, любя, мешалось недавно,
Равенству прежних времен классы на смену идут.
Вижу перед собой поколенье тополей гордых,
В пышном порядке ряды вдали протянули они.

Всюду там правильность, всюду там выбор, всюду
различье,

Свита почтительных слуг, особняком — властелин.
Дивно светясь, купола возвещают о нем издалека,
Тяжко из чрева скалы башенный город растет.
Из первозданных лесов в пустыню изгнаны фавны,
Но поколенье дало камню высокую жизнь.

Сходится ближе теперь человек с человеком. Теснее
Стал окружающий мир, внутренний — шире, полней.
Глянь, как в огненной схватке кипят упорные силы;

Чем напряженней их спор, тем будет крепче союз.
Тысячу рук оживляет единый дух, и ревниво
В тысяче верных грудей сердце пылает одно.

Бьется, пылает оно за отеческий край, за уставы
Предков, чьи кости лежат в этой бесценной земле.
Сходят с небес чередою блаженные боги — и ждет их
Сень благолепных жилищ там, за священной чертой.

Каждый является с даром чудесным: всех прежде —
Церера

Смертному плуг дарит, якорь приносит Гермес,
Бахус — гроздь винограда, Миневра — отросток оливы,

И боевого коня мощный ведет Посейдон.
Львов в колесницу запрягши, гражданкой вольной
въезжает

Матерь Кибела в проем гостеприимных ворот.
Камни святые, познаний рассадники! Нравы смягчая,
Дальним морским островам слали вы семя искусств.

Бодро у этих ворот мудрецы возвещали законы,
Храбрые пылко рвались в бой за пенаты свои.

С этой стены неотрывно восслед уходящим глядели
Матери скорбной толпой, к сердцу младенцев прижав;

После с молитвой они повергались пред алтарями,
Славы, победы прося и возвращенья мужьям.

Вы победили в бою, но назад вернулась лишь слава,
Память о вас бережет красноречивый гранит:

«Путник, прия в Лакедемон, скажи согражданам нашим,
Что полегли мы костьюми, как повелел нам закон».
Спите спокойно, друзья! Напоенная вашею кровью,
Блещет олива в цвету, пашня пускает ростки.

Вольно творит ремесло, наслаждаясь плодами усилий,
Встав из речных камышей, бог голубой закивал.

В дерево входит со свистом секира, стонет дриада,
Грузно с вершины горы рушится ствол вековой.
Окрылена рычагом, устремилась глыба с утеса,
В тайные недра земли с лампой нырнул рудокоп.
Мерно и звонко стучит в наковальню молот циклопов,
И под могучей рукой искрами брызжет металл.
Пляшет веретено, золотистым льном обвитое,
С шумом меж нитей тугих носится ткацкий челнок.
Эхо разносит по рейду крик лодмана; в дальние страны
Ждут отправленья суда с грузом домашних трудов,
Весело тянутся в гавань другие с дарами чужбины,—
Веет нарядный венок на высочайшей из мачт.
Что за кипенье на рынках, исполненных радостной жизни,
Ах, что за смесь языков, странно волнующих слух!
Вот на подмостки купец высыпает богатства земные —
Все, что под знайным лучом Африка произвела,
Что в Аравийском kraю вскипает, копится в Фуле,—
И Амальтея добром переполняет свой рог.
Счаствие здесь родит детей небесных таланту,
Благоволеньем богов бурно искусства растут,
Жизнью воспроизведенной художник радует взоры,
Камень, ожив под резцом, заговорил по-людски.
Свод рукотворных небес утвержден на столбах ионийских,
В стены свои Пантеон весь заключает Олимп.
Легче летящей Ирисы, стрелы стремительней арка
Круто перенеслась через ревущий поток.
В уединенье мудрец фигуры циркулем чертит:
Дерзок и неутомим, он проникает умом
В силу материи, в дух, в любовь и презренье
магнита,
Ловит он в воздухе звук, он разлагает лучи,
В чуде случайностей ищет причины закономерной,
Хочет явлений хаос в стройность и мир привести.
Буквами в голос и плоть облекаются мысли немые,
И говорящий листок с ними плывет сквозь века.
Тает туман заблуждений пред взором, широко раскрытым,
Образы хмурых ночей тонут в сиянье дневном.
Рвет оковы свои человек-счастливец, но вместе
С узами страха, чтоб он повод стыда не порвал,—
«Воли!» — взывает рассудок, «Свободы!» — вторят
желанья,—

Бешено рвутся они прочь от природы святой.

Ах, средь бури исчез тот бдительный якорь, который

У побережий держал; волны швыряют пловца

И в беспредельность несут; потерян из виду берег,

Пляшет без мачт и руля член по горам водяным.

В тучи зарывшись, погасли Медведицы кормчие звезды,

Всюду, куда ни глянь, властвует хаос один.

Правда из речи исчезла, из жизни вера и верность

Скрылись, и ложь на устах клятвой священной звучит.

В крепкие связи сердец, в любовные тайны впускает

Жало свое Сикофант, разъединяет друзей.

Вот пожирающий взгляд вероломство в невинность

вперило,

Вот злодеянье своим жгучим укусом мертвят.

Мысли продажные в душах растленных; любовь

отрешилась

От благородства, и нет в чувствах свободы былой.

Низкий присвоил обман святые черты твои, Правда,

Он у природы украл лучшие те голоса,

Что неимущее сердце в порывах дружбы открыло;

Честному чувству теперь — выход в безмолвье одном.

Право кичится на пышной трибуне, в лачуге — согласье,

И привиденье — закон — стражем у трона стоит.

Множество лет и столетий мумия существовала,

Обликом ложным своим жизни противостоя,

Но пробудилась природа, могучей медною дланью

Двинула в полый костяк время с нуждой заодно,—

И, уподобясь тигрице, что, клетку стальную разрушив,

Вдруг вспоминает, грозна, сень нумидийских лесов,

Гневно на зло человек ополчился и под остывшим

Пеплом города вновь ищет природы родной.

О, раздвиньтесь же, стены, и дайте пленнику выход,

Вот он, спасенный, бежит в лоно забытых полей.

Где я? Исчезла тропинка. Глубоко зияют ущелья

Передо мной и за мной, переграждая мне путь.

Сзади остались сады, провожатых кустов вереницы,

Скрылся из глаз любой след человеческих рук.

Только материю вижу, откуда росток свой пускает

Жизнь, одичалый базальт ждет чудотворной руки.

С ревом и с шумом несется поток по ребрам утесов

И под корнями дерев путь пролагает себе.

Дико и страшно здесь! Одинокий в пустыне воздушной,
Только орел висит, мир с облаками связав.
Здесь ни один ветерок не доносит ко мне на вершину
Отзыва дальних людских радостей или скорбей.
Но неужели один я? — О нет, я с тобою, природа,
Ах, я на сердце твоем — это был только лишь сон;
Грозной картиною жизни мне ужас невольный внушал он,
Рухнула в дол с крутизны мрачная греза моя.
Здесь, на твоем алтаре, очищаются все мои чувства,
И молодеет мой дух, полный веселых надежд.
Цель и намеренья вечно меняет властная воля,
И повторяются век, круговорачаясь, дела.
Но, молодая всегда, ты, природа, во всех измененьях
Благочестиво хранишь древний закон красоты.
Все, что тебе доверяет младенец резвый и отрок,
Чистой и верной рукой мужу ты передаешь;
Разные возрасты жизни ты кормишь грудью единой;
И под одной синевой и по одной мураве
Бродят совместно с близкими также и дальние роды.
Видишь — сияет светло солнце Гомера и нам!

РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ

Зевс молвил людям: «Забирайте землю!
Ее дарю вам в щедрости своей,
Чтоб вы, в наследство высший дар приемля,
Как братья стали жить на ней!»

Тут все засуетились торопливо,
И стар и млад поспешно поднялся.
Взял земледелец золотую ниву,
Охотник — темные леса,

Аббат — вино, купец — товар в продажу,
Король забрал торговые пути,
Закрыл мосты, везде расставил стражу:
«Торгуешь — пошлину плати!»

А в поздний час издалека явился,
Потупив взор, задумчивый поэт.
Все раздано. Раздел земли свершился,
И для поэта места нет.

«О, горе мне! Ужели обделенным
Лишь я остался — твой вернейший сын?» —
Воскликнул он и рухнул ниц пред троном.
Но рек небесный властелин:

«Коль ты ушел в бесплодных грезы пределы,
То не тревожь меня своей мольбой.
Где был ты в час великого раздела?» —
«Я был,— сказал поэт,— с тобой!

Мой взор твоим пленился светлым лицом,
К твоим словам мой слух прикован был.
Прости же того, кто в думах о великом
Юдоль земную позабыл!»

И Зевс сказал: «Так как же быть с тобою?
Нет у меня ни городов, ни сел.
Но для тебя я небеса открою —
Будь принят в них, когда б ты ни пришел!»

М У Д Р Е Ц Ы

Тот тезис, в ком обрел предмет
Объем и содержанье,
Гвоздь, на который грешный свет
Повесил Зевс, от страшных бед
Спасая мирозданье,—
Кто этот тезис назовет,
В том светлый дух, и гений тот,
Кто сможет точно взвесить,
Что двадцать пять — не десять.

От снега — холод, ночь — темна,
Без ног — не разгуляться,
Сияет на небе луна.
Едва ли логика нужна,
Чтоб в этом разобраться.
Но метафизик разъяснит,
Что тот не мерзнет, кто горит,
Что все глухое — глухо,
А все сухое — сухо.

Герой врагов разит мечом,
Гомер творит поэмы.
Кто честен — жив своим трудом,
И здесь, конечно, ни при чем
Логические схемы.
Но коль свершить ты что-то смог,
Тотчас Картезиус и Локк
Докажут без смущенья
Возможность совершенья.

За силой — право. Трусить брось —
Иль встанешь на колени!
Издревле эдак повелось,
И скверно б иначе пришлось
На жизненной арене.
Но чем бы стал порядок тот,
Коль было б все наоборот,
Расскажет теоретик —
Истолкователь этик:

«Без человека человек
Благ не обрящет вечных.
Единством славен этот век.
Сотворены просторы рек
Из капель бесконечных!»
Чтоб нам не быть под стать волкам,
Герр Пуффендорф и Федер нам
Подносят, как лекарство:
«Сплотитесь в государство!»

Но их профессорская речь —
Увы! — не всем доступна
И чтобы землю уберечь
И нас в несчастья не вовлечь,
Природа неотступно
Сама крепит взаимосвязь,
На мудрецов не положась.
И чтобы мир был молод,
Царят любовь и голод!





ЭПИГРАММЫ

1. ДИТИЯ В КОЛЫБЕЛИ

Счастлив младенец! Пока колыбель для него беспредельна.
Зрелому мужу поздней тесен покажется мир.

2. ОДИССЕЙ

Избороздил океан Одиссей, устремляясь к отчизне;
Сциллу сумел обмануть, мимо Харибы проплыл,
Ужас враждебной земли и ужас враждебного моря —
Все сумел превозмочь, даже спускался в Аид.
Спящего, рок, наконец, принес к побережью Итаки;
Но, в слезах пробудясь, родины он не узнал.

3. НЕИЗМЕННОЕ

«Время безудержно мчит». Оно к постоянству стремится.
Будь постоянен, и ты в цепи его закуешь.

4. ЗЕВС — ГЕРКУЛЕСУ

Нет, не в нектаре моем нашел ты бессмертие бога;
Дивная сила твоя завоевала нектар.

5. ПОЧЕСТИ

Как на поверхности вод отражается низкое солнце —

Словно горя изнутри, золотом волны блестят;

Но убегает волна, и за нею к блестящей дорожке

Тотчас другая спешит, чтобы, как та, убежать,—

Так же и почестей блеск озаряет пути человека:

Люди не светятся — путь, пройденный ими, блестит.

6. ГЕРМАНИЯ И ЕЕ КНЯЗЬЯ

Ты порождала великих монархов, и ты их достойна,

Каждый владыка велик только покорством людей.

Только, Германия, пусть будет твоим государям

Трудно великими стать, легче — остаться людьми.

7. ИГРАЮЩИЙ МАЛЬЧИК

Мальчик, играй на руках материнских! На острове этом

Минут заботы тебя, горе тебя не найдет!

Бережно держат над бездной тебя материнские руки;

Вниз, на бурлящую смерть, ты улыбаясь глядишь.

Будь беззаботен, играй, пока ты в Аркадии светлой

И управляет порыв вольной природой твоей.

Сила, бушуя в груди, сама себе ставит преграды,

Долга и цели еще чужда отвага твоя.

Смейся! Скоро придет к тебе труд, упорный, тяжелый,

Будет отвага чужда долгу и цели твоей.

8. ИОАННИТЫ

Как был прекрасен на вас доспех крестоносцев, когда вы,

Силою равные львам, обороняли Родос,

Среди сирийских пустынь провожали паломников робких

Или стояли с мечом возле могилы святой.

Но прекраснее вас украшает передник, когда вы,

Силою равные львам, знатного рода сыны,

Долг милосердия свой по-христиански свершая,

У рокового одра помочь несете больным.

Вера креста, только ты в едином венке сочетаешь

Пальму святой доброты с пальмою воинских дел.

9. С Е Я Т Е Л Ь

Полон надежды, земле ты вверяешь зерно золотое
И ожидаешь весной радостно всхода его.
Что же боишься на поле времен свои сеять деянья?
Мудрости смелый посев тихо цветет для веков.

10. Д В А П У Т И Д О Б Р О Д Е Т Е Л И

Два пути к добродетели вечно ведут человека;
Первый закрыт для тебя,— значит, доступен второй.
Действуя, цели достигнет счастливый, несчастный —
страдая.
Благо тому, кого рок вел по обоим путям.

11. К У П Е Ц

Ветер раздул паруса. Это сूдно несет финикийцам
С дикого севера груз олова и янтаря.
Милостив будь, Посейдон, осторожнее, ветры, качайте,
В гостеприимном порту встреть его, чистый родник!
Вам себя вверил купец, о боги! Плывет за добром он,
Сопровождает добро смелое судно купца.

12. ИЩУЩИМ ПРОЗЕЛИТОВ

— Дайте мне точку земли за пределами шара земного,—
Мольвил божественный муж,— тотчас я сдвину его.
Если дадите вы мне выйти всего на мгновенье
За пределы себя — сразу же к вам я примкну.

13. К О Л У М Б

Далее, смелый пловец! Пускай невежды смеются;
Пусть, утомившийся, руль выпустит кормчий из рук,
Далее, далее к западу! Должен там берег явиться:
Ясно видится он мысли твоей вдалеке!

Веруй вожатаю — разуму! Бодро плыви океаном!
Если земли там и нет — выйдет она из пучин.
В тесном союзе и были и будут природа и гений:
Что обещает нам он — верно исполнит она!

14. ФИЛОСОФСКИЙ ЭГОИСТ

Видел ли ты, как спит младенец в руках материных,
Не созиавая любви, что согревает его,
До тех пор дитя, пока страсть не пробудит в нем мужа,
Не озарит ему мир, вспыхнув, как молния, мысль?
Видел ли ты, как мать, заботясь о дремлющем сыне,
Сон его чуткий хранит, жертвуя собственным сном,
Вознаграждает себя за заботу иною заботой,
Жизнь питает своей пламя дрожащей свечи?
Ты же поносишь природу, что, строя и вновь разрушая,
То ребенок, то мать, круговоротом живет?
Самодостаточно, мнишь ты, уйти из чудесного круга,
В мире, где все существа связаны цепью живой?
Как же хочешь ты, нищий, прожить, на себя полагаясь,
Если взаимностью сил держится вечность сама?

15. АНТИЧНАЯ СТАТУЯ — СЕВЕРНОМУ СТРАНИКУ

Реки ты одолел, переплыл через бурное море,
Через альпийский хребет шел каменистой тропой,
Чтобы, увидев меня, моей красоте подивиться,
Славу которой гремит весь очарованный мир.
Вот предо мной ты, и можешь меня, священной, коснуться:
Ближе ли ты мне теперь? Ближе ль я стала тебе?

16. НЕМЕЦКАЯ ВЕРНОСТЬ

С Людвигом, принцем баварским, за власть императора
спорил
Фридрих, габсбургский принц, призванный тоже на
трон.
Но коварное счастье войны изменило австрийцу,
Бросив его в кандалы к победоносным врагам.
Он, откупившись престолом, дает священную клятву
За победителя меч против друзей обнажить.
То, в чем пленник поклялся, свободный исполнить не
в силах,
И добровольно тогда он возвращается в плен.
Враг, потрясенный, его заключает в объятья, отныне

Рядом на общем пиру чаши вздывают друзья.
Дремлют, по-братьски обнявшись, на ложе *едином,*
монархи

В час, когда льют еще кровь, гневом объяты войска.
Людвиг, на бой уходя с дружиною Фридриха, просит,
Чтобы Баварию враг, тот, с кем он бьется, хранил.
«Это действительно так! Это так! Мне об этом писали!» —
Первосвященник изрек, дивную весть услыхав.

17. НАИВЫШЕЕ

Ты наивысшего ищешь? Учись у растений. Пусть разум
Даст овладеть тебе тем, что им природой дано.

18. ИЛИАДА

Что ж, разрывайте на ключья венок Гомера, считайте
Сколько у вечной поэмы отцов.
Мать одна у нее, и черты материнского сходства —
Это бессмертной природы черты.

19. БЕССМЕРТИЕ

Смерти страшишься ты? Ты мечтаешь о жизни
бессмертной?
В целом живи! Ты умрешь — вечно пребудет оно.

20. ТЕОФАНИЯ

Видя счастливца, богов-небожителей я забываю,
Но предо мною они, если страдальца я зрю.

21. ЮНОМУ ДРУГУ,
ПОСВЯТИВШЕМУ СЕБЯ ФИЛОСОФИИ

Только достойно пройдя искус больших испытаний,
Греческий юноша мог в храм элевзинский вступить.
Ты готов ли к тому, чтоб вступить в святилище мысли,
Где Афина хранит клад, неизвестный для всех?
Знаешь ли, что тебя ждет там? Что ты заплатишь за это?
Что за сомнительный клад ты несомненный отдашь?
Хватит ли сил у тебя вести тяжелейшую битву,
Разум и сердце твои, чувства и мысль примирить?

Хватит ли мужества биться с бессмертною гидрой
сомненья,
Выйти бестрепетно в бой против себя самого?
Хватит ли зоркости глаза, невинности чистого сердца,
Чтобы с обмана сорвать истины светлый венец?
Если же ты не уверен в пути, указуемом чувством,
О, беги от краев бездны, грозящей тебе!
Многих, кто света алкал, беспросветная ночь поглотила;
Твердой стопою во мгле шествует только дитя.

22. АРХИМЕД И УЧЕНИК

Юноша, жаждущий знаний, придя к Архимеду,
промолвил:
«Старец, меня приобщи к миру божественных тайн,
К миру искусства, принесшего родине плод драгоценный,
Оборонив от самбука стены родных Сиракуз». —
«Ты называешь искусство божественным? Да, это верно,
Сын мой, до тех пор, пока власти не служит оно.
Плод, о котором мечтаешь, и смертная дать тебе может.
Ты богиней плленен? Женщины в ней не ипци».

23. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

Раз ты читаешь в ней то, что ты сам начертал в ее книге,
Раз явлений хаос ты по рядам разложил
И разделил на квадраты ее беспредельное поле,
Мнишь ты уже, что постиг тайну природы самой?
Так астроном расчертил фигурами небо ночное,
Чтобы вселенную всю взглядом единым объять,
Солнца, что отдалены световыми годами, связал он
Вместе в Персее, в Мече или в созвездии Пса.
Но, расчертив небосвод и представив его планиграфом,
Смог ли он лучше понять пляску таинственных сфер?

24. ПЕВЦЫ МИНУВШЕГО

Где же великие, где поэты минувшей эпохи,
Те, что словом живым воспламеняли народ,
Певшие людям о вечных богах, и бессмертным — о людях,
И возносившие дух в песнях крылатых своих?
Живы поэты, но нет геройских подвигов, лиру

Прежде будивших, и нет чуткости в душах людей.
О, как блаженны вы были, певцы блаженного мира!
От отцов к сыновьям ваши летели слова.
Как откровение бога, каждый встречал с восхищением
Все, что гений ему в слове и камне ваял.
Песен жар зажигал страстное сердце сограждан,
Жар их сердца питал страстные песни певца.
Счастлив певец, услыхавший в песнях родного народа
Отзвуки песни своей, созданной им для него,
Видевший в жизни самой Красоты божественный образ —
Тот, который теперь ищет он в сердце своем.

25. П У Т Е В О Д И Т Е Л И Ж И З Н И

Два гения есть, человека по жизни ведущих.
Счастлив ты, если они оба шагают с тобой.
Первый тебе сокращает веселою шуткой дорогу
И облегчает в пути необходимость и долг.
В мирной беседе тебя приведет он к зияющей бездне,
Где, трепеща, человек вечности море узрит.
Здесь тебя встретит второй, суровый, строгий,
безмолвный,
Он над пучиной тебя монцной рукой пронесет.
Ни одному из них не вверяйся всеселу. Второму
Верить счастья нельзя, первому — чести своей.

26. К А Р Ф А Г Е Н

Хилый, изнеженный отпрыск славной праматери нашей,
С римским могуществом ты хитрость тирийскую слил.
Первый силой царил над завоеванным миром,
Мир второй просвещал, мудро его обобраз.
Чем ты в истории славен? Риму подобно, железом
Ты покорял, а затем золотом правил, как Тир.

27. З Е Н И Т И Н А Д И Р

Твой Зенит и Надир, где бы ты ни был в пространстве,
С небом и с осью земной накрепко свяжут тебя.
Что бы ни делал ты, пусть твоя воля касается неба,
С осью земною пускай связано дело твое.

28. ЛУЧШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Так назову только строй, облегчающий путь благомыслью,
Но не тот, что людей хочет принудить к нему.

29. ЗАКОНОДАТЕЛЯМ

Что же, считайте всегда, что стремленья людей
справедливы,
Но, создавая закон, нужно об этом забыть.

30. ГОРДОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Хватит, довольно речей! Обеспечьте их кровом и хлебом,—
Тотчас, прикрыв наготу, гордость они обретут.

31. ДОСТОЙНОЕ УВАЖЕНИЯ

Целое чтите вы! Я же — только отдельную личность;
Только в отдельном всегда целое видится мне.

32. ЛЖЕУЧЕНИЕ

Сколько у истины новых врагов! Душа замирает,
К свету теснится — увы! — стая незрячая сов.

33. ИСТОЧНИК ЮНОСТИ

Верьте мне, это не сказка: ключ юности вечной струею
Тихо течет. Только где? В мире поэзии он.

34. КРУГ ПРИРОДЫ

В царстве твоем, Безмятежная, все стремится по кругу;
В детях воскреснув, старик в детство впадает опять.

35. ПОДАРОК

Жезл и перстень, прекрасны вы на бутылках рейнвейна!
Да, кто так поит овец — истинно мудрый пастух!
Этим напитком богов обязан я музе, и муз
Мне прислала его, церкви печатью скрепив.

36. Г Е Н И Й С О П Р О К И Н У ТЫ М С ВЕТИЛЬНИКОМ

Как он красиво стоит, опрокинув погасший светильник!
Смерть, государи мои, вовсе не так хороша.

37. М О Г УЩЕСТВО ЖЕНЩИН

Ваше могущество только в волшебной власти покоя;
Тихая там победит, где бесполезен напор.
Сила мужчине нужна, пусть он защищает законы,
Женщина в мире царит силою женственных чар.
Правда, иные царили могуществом духа и воли,
Но утратив тебя, лучший на свете венец.
Есть наивысшая власть в женственной прелести женщин,
Что, появляясь, царит лишь появлением своим.

38. Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь Ж Е Н Щ И Н Ы

Мужу нужны добродетели, в жизнь он выходит отважно,
С более сильным всегда в битву готовясь вступить,
Женщине хватит одной: она существует на свете,
Счастье давая душе, пусть она радует взор!

39. П Р И Г О В О Р Ж Е Н Щ И Н Ы

Мужу нужны основания; женщина судит любовью.
Если не любит она — это ее приговор.

40. С У Д Ж Е Н Щ И Н Ы

Женщины! Вы никогда не судите поступков мужчины;
Но о мужчине самом произносите свой суд.

41. И Д Е А Л Ж Е Н Щ И Н Ы

Аманде

Женщина всюду уступит мужчине; но лишь в высочайшем
Женственность женщин берет верх над мужчиной
любым.
Что высочайшим я чту? Величавую ясность победы,

Ту, что на светлом челе блещет, Аманда, твоем.
Если облако грусти закроет лучистое солнце,
 Только прекрасней оно позолотит небосвод.
Нет, не мужчина свободен, но ты; ибо по принуждению
 Выбора нет для тебя, необходимости нет.
Что бы ты нам ни дала, ты даешь себя всю; ты едина
 В звуке нежнейшем твоем — вся гармоничная ты.
Это — бессмертная юность, богатства которой несметны,
И, срывая цветок, плод ты сорвешь золотой.

42. ПРЕКРАСНЕЙШЕЕ ЯВЛЕНИЕ

Если ты красоту не видел в минуты страданья,
 Ты красоты не видал никогда.
Если ты радость не видел, в прекрасном лице отраженной,
 Радости ты не видал никогда.

43. ГРЕЧЕСКИЙ ГЕНИЙ

Мейеру в Италии

Тысяче сердцем глухих никогда не дававший ответа,
Словно с другом, с тобой близок доверчивый дух.

44. ОЖИДАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ

Юноша в плаванье вышел на многомачтовом судне,
На уцелевшем челне в гавань вернулся старик.

45. ОБЩАЯ УЧАСТЬ

Мы ненавидим друг друга, мы спорим о мнениях, вкусах,
Годы меж тем серебрят равно тебя и меня.

46. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В самом начале пути беспредельные манят просторы;
Но настоящий мудрец к узкому кругу придет.

47. ОТЕЦ

Сколько хочешь твори, ты пребудешь всегда одиноким.—
Если Природа сама с целым не свяжет тебя.

48. ЛЮБОВЬ И ЖЕЛАНИЕ

Любим мы то, что имеем; желаем, чего не имесм.

Ибо кто духом богат — любит; желает — бедняк.

49. ДОБРО И ВЕЛИЧИЕ

Две только есть добродетели. Быть бы им вечно в союзе:

Вечно великим добру, вечно величью благим.

50. ПРАВЛЕНИЕ

Должен *мужчиною* быть закон в государственном доме;

С *женственной* мягкостью пусть нравственность в доме царит.

51. ФИЛИСТЕР И ПРЕКРАСНОДУШНЫЙ

Этот полезен, он будет истине честным слугою,

Тот обворует зараз истины и красоту.

52. СУБЪЕКТ

Важно и трудно искусство всегда оставаться собою,

Но уйти от себя — это трудней во сто крат.

53. УРОДСТВО

Честность здоровой природы, тебя мораль опозорит!

Разум священный, тебя ярый мечтатель низверг.

54. ПРУЖИНЫ

Пусть прутом раскаленным страх раба подгоняет;

Радость, в жизни моей будь моим поводырем!

55. ИСТИНА

Вечно *единица* для всех — ты для каждого лицом иная;

Но, многоликая, ты истинна тем, что *одна*.

56. КРАСОТА

Вечно единая ты, но формы твои бесконечны.
Лишь в бесконечности форм скрыто единство твое.

57. УСЛОВИЕ

Тщетно ты будешь стремиться во всем уподобиться богу,
Если не сможешь сперва сделать *своим* божество.

58. ПРЕДПОЧТЕНИЕ

Сердце свое победивший — герой, восхваленъя достойный;
Но победивший своим сердцем — достойней хвали.

59. ВОСПИТАЛИ

Граждан для мира морали растите вы, это похвально;
Но не старайтесь им путь в мир ощущений закрыть.

60. РАССУДОК

Строит рассудок, но мертв он и душу вдохнуть не способен;
Лишь из живого ключа может живое истечь.

61. ФАНТАЗИЯ

Дикая, тему создав, она форму создать не способна,
Из гармонии лишь может гармония бить.

62. СИЛА ПОЭЗИИ

Жизни ты образ придашь, а мысли — жизнь, если будет
Сила, дающая жизнь, образ ее создавать.

63. ОСТРОУМИЕ И РАССУДОК

Этот робок, а тот слишком смел; лишь гений способен
Смелым в трезвости быть, трезвым — в свободе своей.

64. ПОСРЕДСТВЕННОЕ И ДОБРОЕ

Первому цену придать ты сможешь подсчетом ошибок,
Но второе прославь, доблести все подсчитав.

65. ЗНАЧЕНИЕ

Коль о создании искусства спросил ты: «Что это
значит?»

Ты не богиню узрел — только служанку ее.

66. НЕМЕЦКИЙ ГЕНИЙ

Эллинской красоты и римской силы достигнув,
Немец, не сможешь ты ввек галльскую легкость понять.

67. ПОЭТ-МОРАЛИСТ

Слаб человек и ничтожен, знаю,— но именно это
Я и хотел позабыть, как повстречался мне ты!

68. СРЕДСТВО СОЕДИНЕНИЯ

Как, о природа, ты поступаешь, чтоб высшее с низшим
Соединялось у нас? Ты нам тщеславье даешь.

69. УЛОВКА

Хочешь ли вдруг угодить и весельчаку и святоше?
Ты сладострастье рисуй, черта малюя при нем.

70. ВОЗВЫШЕННАЯ ТЕМА

Муза вещает твоя, как над смертными сжалился вышний.
Есть ли поэзия в том, что он их жалкими мнил?

71. ЭПОХА

Наше столетие нам породило великую эру.
Но величавый момент жалких людышек застал.

72. Н Е П Р О С Т И Т Е Л Ь Н О Е

Всякому можно всегда любую простить неудачу,
Но не тому, кто хотел милым и ласковым быть.

73. Д А Н А И Д Ы

Воду мы черпаем ситом, и камень у сердца мы греем.
Камень теплее не стал, в сито воды не набрать.

74. Н О В Е Й Ш ИЕ З А К О П О Д А Т Е Л И В К У С А

Вам, бедняги-поэты, чего не придется услышать,
Чтобы писанье свое видел в печати студент.

75. К А Н Т И Е Г О Т О Л К О В А Т Е Л И

Множество нищих богач всегда прокормить в состоянье.
Стройку задумает царь — плотник работу найдет.

76. Д У Х И Б У К В А

Можно долго платить марками да медяками.
Хочешь не хочешь, потом надо мошною тряхнуть.

77. Н А У К А

Кажешься ты одному небесной богиней, другому—
Жирной коровой, всегда масло дающей ему.

78. Ф И Л О С О Ф С К А Я Б Е С Е Д А

Друг за другом они говорят, отнюдь не друг другу.
Разве беседою мы два монолога зовем?

79. Г Е Р М А Н С К О Е Г О С У Д А Р С Т В О

Как? Германия? Этой страны отыскать я не в силах.
Может, ученая есть, но политической — нет.

80. НЕМЕЦКИЙ ШЕДЕВР

Тема, язык и размер — в стихе этом все превосходно, —
Лишь не хватает одной мелочи — это не стих.

81. НЕМЕЦКАЯ КОМЕДИЯ

Что ж, дураков и уродов у нас нашлось бы немало,
Но и в комедию нам не пригодятся они.

82. ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ И ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФЫ

Будьте врагами! Пока помышлять о союзе вам рано:
Только на разных путях правду обрящете вы.

83. УЧЕНОЕ ОБЩЕСТВО

Каждый в отдельности может вам показаться толковым;
Если ж in согрое все, тотчас глупеют они.

84. ОБЪЯВЛЕНИЕ КНИГОПРОДАВЦА

Главная цель человечества — ведать свое назначенье:
Ровно за десять грошей здесь его можно купить.

85. ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ОБЪЕДИНİТЕЛЯM

Каждый шагает пускай, ничего про другого не зная;
Если сойдутся в пути — значит, дорога верна.

86. ГРЕКОМАНИЯ

Только оправились мы от галломании, тотчас
Пуще того скрутил нас грекоманский недуг.
Греческий дух, чем же был он? Разумом, ясностью, мерой.
Так что — терпенье, друзья! Рано о греках мечтать.
Боретесь вы за достойную цель,— но будьте разумны,
Чтобы посмешищем вдруг не оказаться для всех.

87. О ПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Остерегайтесь, друзья, глубокую, смелую правду
Людям высказывать вслух: тотчас ее извратят.

88. БАЛОВНИ СЧАСТЬЯ

Трудится мастер годами — и вечно собой недоволен.
Мелкие гении вмиг труд завершают любой,—
Только вчера научившись, сегодня других обучаают.
Ах, как у этих господ быстро кишечник варит!

89. ВОЛЬФОВСКИЙ ГОМЕР

Спорили семь городов о месте рождения поэта.
Вольф разодрал его. Что ж! Каждый бери свой кусок!

90. ГОМЕРИДЫ

- Кто тут из вас певец «Илиады»? Я прислан от Гейно,
Чтобы ему передать в дар геттингенских колбас.
- Мне! Я скору царей воспел! — Я — сраженье при
флоте!
- Мне колбасу! Я воспел то, что на Иде сбылось!
- Тише, не то вы меня разорвете, на всех ведь не хватит,
Только для *одного* Гейне прислал колбасу.





ДЕВА С ЧУЖБИНЫ

Из года в год в начале мая,
Когда не молкнет птичий гам,
Являлась дева молодая
В долину к бедным пастухам.

Она жила в стране нездешней,
В краю, куда дороги нет.
Уйдет она — и в дымке вешней
Растает девы легкий след.

Она с собою приносила
Цветы и сочные плоды.
Их солнце юга золотило,
Ростили пышные сады.

И отрок и старик с клюкою —
Навстречу ей спешили все;
Хоть что-то чудилось чужое
В ее чарующей красе.

Она дарила прихотливо
Цветы одним, плоды другим,
И каждый уходил счастливый
Домой с подарком дорогим.

И все довольны; но, бывало,
Чета влюбленных к ней придет,—
С улыбкой дева выбирала
Им лучший цвет и лучший плод.

ПОМПЕЯ И ГЕРКУЛАНУМ

Что за чудо случилось? Источников чистых просили
Мы у тебя, земля,— что же нам шлешь из глубин?
Или есть жизнь под землей? Иль живет под лавою тайно
Новое племя? Иль нам прошлое возвращено?
Римляне, греки, глядите: открыта снова Помпей,
Город Геракла воскрес в древней своей красоте.
Гордо над сводом свод вздымается; портик обширный
Залы раскрыл: сюда — их населите скорей!
Вот отворен театр: так пусть несметные толпы
Реками хлынут в его семь исполинских ворот.
Мими, на сцену! Пусть совершается жертва Атрида,
Пусть Оресту вслед страшный потянемся хор!
Вы, триумфальную арку пройдя, узнаете ли форум?
Что это там за мужи в креслах курульных сидят?
Ликторы, ваши секиры несите! Претору должно
В кресло усесться и суд неумолимый творить.
Улицы чистые вширь раздались, и, вымощен камнем,
Путь пешеходный пролег около самых домов.
Кровли вперед выдаются, навес образуя над ними,
Комната нарядных кольцо весь опоясало двор.
Ставни спешите открыть и дверей заваленных створки,
Пусть в их жуткую тьму радостный луч упадет.
Глянь, как стройно вокруг стоят красивые скамьи,
Пол, возвышаясь, блестит от разноцветных камней.
Свежи еще на стене огневые, пыпные краски,
Где же художник, ужель только что кисть отложил?
Здесь наливные плоды и цветов роскошных гирлянды
Вдоль по карнизу каймой дивный фестон протянул.
Там — младенец Амур с корзиной крадется полной,
Здесь выжимают гурьбой гении пурпурный сок.
В пляске несется вакханка; там — нежится в полуудремоте,
И притаившийся фавн жадно глядит на нее;
Здесь она горячит кентавра и, на колене
Стоя одном лишь, бьет тирсом его по хребту.
Отрок, что же ты медлишь? Здесь много сосудов красивых,
Свежей воды зачерпни, дева, в этрусский кувшин.
Здесь и треножник, стоящий на сфинексах крылатых,—
живее

Уголья вздуйте, рабы, и разожгите очаг!
Нате на рынок монету времен могучего Тита,
Вот и весы тут лежат,— видите, цел разновес.
Вставьте зажженные свечи в чудесные эти шандалы,
Чистым маслом по край лампы наполните все.
Что этот ларчик вмешает? Глядите, девушки, кольца
И ожерелья жених вам золотые прислал.
Так поведите невесту в душистую баню; вот мази,
Вот румяна хранит этот граненый хрусталь.
Где ж старики и мужи? Сокровищем великолепным
Древние хартии сплошь заполонили музей.
Вот и стиль для письма и таблички вощенные также.
Все уцелело — земля преданно все сберегла.
Так же пенаты на прежних местах, и все отыскались
Боги опять; почему ж строгих не видно жрецов?
Вот золотым кадуцеем Гермес взмахнул стройнобедрый,
И над рукою его гордо победа летит.
Тут алтари, как древле, стоят,— придите ж, придите,
Бог заждался,— поскорей жертву сожгите ему!

ЖАЛОБА ЦЕРЕРЫ

Снова гений жизни веет;
Возвратилася весна;
Холм на солнце зеленеет;
Лед разрушила волна;
Распустившийся дымится
Благовониями лес,
И безоблачен глядится
В воды зеркальны Зевес;
Все цветет — липы мой единый
Не взойдет прекрасный цвет;
Прозерпины, Прозерпины
На земле моей уж нет.

Я везде ее искала,
В дневном свете и в ночи;
Все за ней я посыпала
Аполлоновы лучи;

Но ее под сводом неба
Не нашел всезрящий бог,
А подземной тьмы Эреба
Луч его пронзить не мог:
Те брега недостижимы,
И богам их страшен вид...
Там она! неумолимый
Ею властвует Аид.

Кто ж мое во мрак Плутона
Слово к ней перенесет?
Вечно ходит член Харона,
Но лишь тени он берет.
Жизнь подземного страшится;
Недоступен ад и тих;
И с тех пор, как он стремится,
Стикс не видывал живых;
Тьма дорог туда низводит,
Ни одной оттуда нет;
И отшедший не приходит
Никогда опять на свет.

Сколь завидна мне, печальной,
Участь смертных матерей!
Легкий пламень погребальный
Возвращает им детей;
А для нас, богов нетленных,
Что усладою утрат?
Нас, безрадостно-блаженных,
Парки строгие щадят...
Парки, парки, поспешите
С неба в ад меня послать;
Прав·богини не щадите:
Вы обрадуете мать.

В тот предел — где, утешенью
И веселию чужда,
Дочь живет,— свободной тенью
Полетела б я тогда;
Близ супруга, на престоле,
Мне предстала бы она,

Грустной думою о воле
И о матери полна;
И ко мне бы взор склонился,
И меня узнал бы он,
И над нами б прослезился
Сам безжалостный Плутон.

Тщетный призрак! стон напрасный!
Все одним путем небес
Ходит Гелиос прекрасный;
Все навек решил Зевес;
Ненавидя адскую ночь,
Он и сам отдать неволен
Мне утраченную дочь.
Там ей быть, доколь Аида
Не осветит Аполлон
Или радугой Ирида
Не сойдет на Ахерон!

Нет ли ж мне чего от милой
В сладкопамятный завет:
Что осталось все, как было,
Что для нас разлуки нет?
Нет ли тайных уз, чтоб ими
Снова сблизить мать и дочь,
Мертвых с милыми живыми,
С светлым днем подземну ночь?
Так, не все следы пропали!
К ней дойдет мой нежный клик:
Нам святые боги дали
Усладительный язык.
В те часы, как хлад Борея
Губит нежных чад весны,
Листья падают, желтея,
И леса обнажены:
Из руки Вертумна щедрой
Семя жизни взять спешу
И, его в земное недро
Бросив, Стиксу приношу;
Сердцу дочери вверяю
Тайный дар моей руки

И, скорбя, в нем посылаю
Весть любви, залог тоски.

Но когда с небес слетает
Вслед за бурями весна:
В мертвом снова жизнь играет,
Солнце греет семена;
И, умершие для взора,
Вняв они весны привет
Из подземного затвора
Рвутся радостно на свет:
Лист выходит в область неба,
Корень ищет тьмы ночной;
Лист живет лучами Феба,
Корень — Стиксовой струей.

Ими таинственно слита
Область тьмы с страною дня,
И приходят от Коцита
С ними вести для меня;
И ко мне в живом дыханье
Молодых цветов весны
Подымается признанье,
Глас родной из глубины;
Он разлуку услаждает,
Он душе моей твердит:
Что любовь не умирает
И в отшедших за Коцит.

О! приветствую вас, чада
Расцветающих полей;
Вы тоски моей услада,
Образ дочери моей;
Вас налью благоуханьем,
Напою живой росой
И с Аврорным сияньем
Поравняю красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенний мрак полей
И мою венчают радость
И печаль души моей.

Д В А П О Л А

В хрупком ребенке ты видишь цветы человеческой жизни:
Юношу с девушкой скрыл, не распустившись, бутон.
Он раскрывается медленно, нежно расходятся оба,
И стыдливость, дрожа, огненной мохи бежит.
Пусть в играющем мальчике сила, бушуя, клокочет;
Только насытясь борьбой, прелесть она обретет.
Оба цветка, распускаясь, бутон разрывают, но каждый
Нам отрады не даст, как ни пленителен он.
Девы цветущая грудь наливаются жизненной силой,
Но, словно пояс, хранит гордость ее красоту.
Робко, как дикая серна, гонимая рогом по лесу,
Дева мужчины бежит, видя в нем только врага.
Юноша смело глядит, насупив суровые брови,
И тетива напряглась, перед сраженьем звения.
Там, где сверкают мечи, где несутся, пыля, колесницы,
Там, на ристалище, в бой, слава мужчину зовет.
Действуй, природа, пора! Не то разойдутся навеки
Те, кто друг друга бежит, вечно друг к другу стремясь.
Вот уже ты, всемогущая, гасишь военное пламя,
И божественный мир бранную злобу сменил.
Гром охоты затих, день отшумел, и на небо
Вместе с ночной тишиной светлые звезды пришли.
Сладостно в ропце звенит мелодичная песнь Филомелы,
Шепчет, вздыхая, камыш, нежно бормочет ручей.
Вздох глубокий стесняет грудь взволнованной девы,
И затуманенный взор юноши блещет слезой.
Ах, вокруг чего ей бы обвиться, ласкайся?
Тянет ветви к земле тяжко налившийся плод.
Юношу жар пожирает безжалостный, неугасимый,
Ветер и тот не дохнет, муки его облегчить.
Но, посмотрите, Эрос показал им друг друга, победа,
Богу крылатому вслед, их осеняет крылом.
Ты сочетаешь, любовь, цветы человеческой жизни!
Вечно в разлуке, они связаны вечно тобой.

ДИФИРАМБ

Знайте, с Олимпа
Являются боги
К нам не одни;
Только что Бахус придет говорливый,
Мчится Эрот, благодатный младенец,
Следом за ним и сам Аполлон.
Слетелись, слетелись
Все жители неба.
Небесными полно
Земное жилище.

Чем угощу я,
Земли урожденец,
Вечных богов?
Дайте мне вашей, бессмертные, жизни.
Боги, что, смертный, могу поднести вам?
К вашему небу возвысьте меня.
Прекрасная радость
Живет у Зевеса.
Где нектар? Налейте,
Налейте мне чашу!

Нектара чашу
Певцу, молодая
Геба, подай!
Очи небесной росой окропите;
Пусть он не зрит ненавистного Стикса,
Быть да мечтает одним из богов!
Шумит, заблистала
Небесная влага,
Спокоилось сердце,
Провидели очи.

ПАМЯТКИ

1

То, чему бог научил и что помогало мне в жизни,
Я, благодарный, к стенам этого храма прибью.

2. РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Пусть миллионы людей стремятся к продлению рода,
Только немногим дано племя людское продлить.
Из миллиона семян, рассыпанных осенью, может
Только *одно* прорости, прочие станут землей.
Если же *одно* разовьется, оно создаст неизбежно
Мир растений живых, вечно подобных ему.

3. ЖИВОТВОРЯЩЕЕ

Вновь загорается жизнь в органическом, в чувственном
мире,
Лишь на вершине ее, где распустился цветок.

4. ДВОЯКИЙ СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ

Благо творя, ты растишь божественный злак в человеке;
Но творя красоту, сеешь его семена.

5. СОСЛОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ

Есть благородство и в нравственном мире. У низменных
платой
Служат поступки, дела; у благородных — вся жизнь.

6. ЦЕННОЕ И ДОСТОЙНОЕ

Нечто есть у тебя? Поделись, заплачу тебе честно.
Нечто ты *сам*? О, тогда душу отдашь я тебе.

7. ИРАВСТВЕННАЯ СИЛА

Если ты чуткой душою не наделен от природы,
Силою воли соверши то, что иначе не смог.

8. СООБЩЕНИЕ

Истина может быть силой даже в уродливой форме,
Но Красота создает все содержанье свое.

9. К*

Дай мне все то, что ты знаешь; я буду тебе благодарен.
Ты же даешь мне себя; нет уж, приятель, уволь!

10. К**

Знаньям ты учишь меня? Не стоит! Стремлюсь не предмет я
Через тебя, но тебя в этом предмете узреть.

11. К***

Ты мой учитель, мой друг. Твое созиданье живое
Учит, а слово, уча, живо волнует мой дух.

12. НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Было ли так всегда? Не могу я понять поколенья,
Где одни старики юны, а юность — стара.

13. К МУЗЕ

Чем без тебя бы я стал? Не знаю. Но только мне страшно
Видеть, как без тебя тысячи тысяч живут.

14. УЧЕНЫЙ ТРУЖЕНИК

Он не вкусит от плодов им же взращенных деревьев:
Может лишь вкус оценить то, что ученость растит.

15. ДОЛГ КАЖДОГО

К пелому вечно стремись; но если ты сам не сумеешь
Целым стать, то сумей в целом остаться звеном.

16. ЗАДАЧА

Не уподобясь другим, пусть высшему каждый подобен,
Как это сделать, мой друг? Что ж, совершенствуйся
сам.

17. СОБСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ

Мысль — достояние всех; чувство — твое лишь богатство.
Бога, что в мыслях твоих, чувствуя — он станет твоим.

18. МИСТИКА

Тайной поистине то я зову, что у всех пред глазами,
Что окружает вас всех, только невидимо вам.

19. КЛЮЧ

Хочешь себя разгадать — посмотри на поступки другого.
Хочешь другого познать — в сердце свое загляни.

20. КРИТИКУ

Строго, как совесть моя, отмечал ты мои прегрешенья.
Не потому ли тебя, как свою совесть, люблю?

21. МУДРОСТЬ И УМ

Если ты хочешь, мой друг, познать высочайшую мудрость,
Мыслю взлети высоко, пусть издается ум.
Он, близорукий, лишь видит тобою покинутый берег,
Не различая вершин, где ты закончишь полет.

22. СОГЛАСИЕ

Истину оба мы ищем: ты — в окружающей жизни,
Я же — в сердце, и мы оба ее обретем.
Здравое око увидит творца в созерцаемом мире,
Здравое сердце в себе целостный мир отразит.

23. ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

Только благое свершай, но этим, мой друг, ограничься,
Все благое свершить ты не стремись никогда.

Истинный ум желает сущее зреть *совершенным*,
Ложный же *сущим* узреть все совершенное
мнит.

24. MAJESTAS POPULI

Рода людского величье! Найду ли тебя я у черни?

Ты с незапамятных лет только в немногих живешь.
Только немногие — в счет, а все остальные — пустышки.
Выигрыш тонет, увы, в куче пустых номеров.

25. ИСПРАВИТЕЛЬ МИРА

«Всем я пожертвовал,— ты говоришь,— человечества ради,
Но ничего не достиг, ненависть только снискал».
Друг мой, сказать ли тебе, как я с людьми поступаю?
Этому правилу верь: не был обманут я им.
О человечестве ты питаешь великие мысли,
Ты его носишь в душе и воплощаешь в делах.
И человеку, который тебе повстречается в жизни,
Дружески руку подай, если он помохи ждет.
Но о дожде, и росе, и о благе людских поколений
Пусть позаботятся, друг, как и всегда, небеса.

26. МОЯ АНТИПАТИЯ

«Мне ненавистен порок, и мне он вдвойне ненавистен
Тем, что заставил он нас про добродетель болтать».—
«Ты добродетель не терпишь?» — «Пусть все
добродетельны будут,
И, ради бога, тогда больше ни слова о ней».

27. АСТРОНОМАМ

Будет вам вечно твердить о туманностях, солнцах и
звездах!
Мир оттого ли велик, что научил вас считать?
Вашей науки предмет совершенен, конечно, в
пространстве.
Но совершенство, друзья, разве в пространстве живет?

28. АСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

Как бесконечно и как беспримечательно возвыщено небо!
Но крохоборы смогли небо и то низвести!

29. ЛУЧШЕЕ ГОСУДАРСТВО

Как узнаю я, какой государственный строй наилучший?
Как добродетельных жен — нет разговоров о них.

30. МОЯ ВЕРА

— Что за религию я исповедую? Все, что назвал ты,
Чужды мне.— Из-за чего? — Из-за религии, друг.

31. ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ

«Сердце видит лишь бог». И так как лишь бог видит сердце,
Ты покажи что-нибудь сносное также и нам.

32. ДРУГ И ВРАГ

Дорог мне друг, но и враг иногда бывает полезен:
Друг в меня силу вселит, долгу научит мой враг.

33. СВЕТ И ЦВЕТ

Вечно единый, останься навеки при вечно едином!
Ты же, изменчивый цвет, дружески к людям сойди!

34. ПРЕКРАСНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

С целым в единстве живи, не сливааясь в единое с целым,
Ум — единение с ним, сердце — единство дает.
Ум — это целого глас, но личность твоя — это сердце,—
Благо тебе, если ум в сердце пребудет твоем.

35. ИДЕАЛЬНАЯ СВОБОДА

Два пути для тебя, чтобы выйти из жизни, открыты:
Тот к идеалу ведет, этот же к смерти твоей.
Поторопись и свободно выбери первый, иначе
Силой ступить на другой парка принудит тебя.

36. МНОГООБРАЗИЕ

Умных и добрых немало, но все они, все *однолики*,
Ибо не сердце, увы, разум над ними царит.
Разум, печальный властитель, из тысячи форм
многоцветных,
Скupo и строго творя, лепит бессменно *одну*.
Там же, где властвуешь ты, Красота, все жизнью и
счастьем
Дышит: единому ты тысячи форм придаешь.

37. ТРИ ВОЗРАСТА ПРИРОДЫ

Жизнь вдохнул в нее миф, а *школа* в ней душу убила.
Животворящую жизнь разум ей снова дает.

38. ГЕНИЙ

Наш рассудок способен лишь то повторить, что уж было,
Лишь за природою вслед строит обдуманно он.
Разум за гранью природы творит, в пустоту устремляясь.
Только гений один может природу создать.

39. ПОДРАЖАТЕЛЬ

Всякий разумный способен из доброго доброе сделать.
Гений способен один злое в добро обратить.
Ты, подражатель, творишь лишь в пределах готовых
творений.
Гения творческий дух зрит и в твореньях — руду.

40. ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Как проявляется гений? Так же, как и создатель,
Что наполняет собой всю беспредельность миров.
Как ни прозрачен эфир, глубина его неизмерима,
Ясное глазу, уму тайною будет навек.

41. ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Ныне постичь человека хотят изнутри и снаружи.

Истина, сможешь ли ты скрыться от ярых ловцов?
Чтобы тебя изловить, бегут они с кольями, сетью,
Ты же проходишь сквозь них, духом бесплотным
скользя.

42. РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ

Вкус сочетается редко с гением. В чем здесь причина?
Этого сила страшит, тот презирает узду.

43. БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

Нам безупречность дается на высшей ступени и низшей,
Ибо бессиление к ней или величье ведет.

44. ЗАКОН ПРИРОДЫ

Вечно так было, мой друг, и будет вовеки: бессилье
Держится правил, а мощь правит победу свою.

45. ВЫБОР

Если не всем угодишь искусством своим или делом,
Ты немногих плени; признанный многими — плох.

46. МУЗЫКА

Жизнью трепещет картина, поэзия дух возвышает,
Лишь, Полигимния, ты выразишь душу сполна.

47. ЯЗЫК

Дух, воплотившись, не может явиться воочию духу.
Если душа говорит, то говорит не душа.

48. ПОЭТУ

Пусть язык для тебя будет то, что для любящих — тело:
Их разделяет оно, их же оно единит.

49. МАСТЕР

Всякого мастера мы узнаем по тому, что он скажет;
Мастера слога — что он мудро сумел умолчать.

50. ПОЯС

Пояс Венеры хранит тайну ее обаянья.
Прелесть ей то придает, чем она скована,— стыд.

51. ДИЛЕТАНТ

Стих сочинив на родном языке, который и мыслит
И творит за тебя, мнишь ты, поэтом ты стал?

52. БОЛТУНЫ — ЦЕНИТЕЛИ ИСКУССТВА

Ждете Добра от искусства? Но разве Добра вы достойны?
Ведь возникает оно только в борьбе против вас!

53. ФИЛОСОФСКИЕ СИСТЕМЫ

Из философских систем долговечней какая? Не знаю.
Но философия, верь, вечно останется жить.

54. БЛАГОСКОЛОННОСТЬ МУЗ

Слава филистера с ним умирает. Небесная муза,
Славу любивших тебя ты Мнемозине вручи.

55. ПЕЧАТЬ В ВИДЕ ГОЛОВЫ ГОМЕРА

Верный старый Гомер! Ты храни эту нежную тайну!
Счастье любящих душ только поэту вверяй!

МЕЛОЧИ

1. ЭПИЧЕСКИЙ ГЕКЗАМЕТР

Вдаль он уносит тебя на волнах, неустанно кипящих,—
Вспять ли посмотришь, вперед — небо вокруг и вода.

2. ДИСТИХ

Гордо в гекзаметре вверх взмывает колонна фонтана,
Чтобы в пентаметре вновь звучно на землю упасть.

3. ВОСЬМИСТРОЧНАЯ СТАНСА

Стансы, созданы вы нежным томлением страсти,
Трижды бежите, стыдясь, трижды приходите вновь.

4. ОБЕЛИСК

Мастер воздвигнул меня на пьедестале высоком.
— Стой! — сказал он; и я, мощный, покорно стою.

5. ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

Мастер сказал мне: — Не бойся свода небесного; будешь
Ты, бесконечна, как он, с ним бесконечность делить.

6. ПРЕКРАСНЫЙ МОСТ

Волны бегут подо мной, надо мной — экипажи; и мастер
С ними позволил и мне через поток перейти.

7. ВОРОТА

Пусть дикаря привлекают ворота к жизни оседлой,
Граждан выводят они, вольной природой маня.

8. СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА

Если ты хочешь найти беспределное здесь, ты ошибся:
Яозвеличу тебя — в этом величье мое.

РЕКИ

1. РЕЙН

Верно, как истый швейцарец, храню я германскую землю,
Но перескакивал галл над терпеливой струей.

2. РЕЙН И МОЗЕЛЬ

Хоть лотарингскую деву давно я сжимаю в объятьях,
До сих пор еще сын не увенчал наш союз.

3. ДУНАЙ В***

Здесь окружает меня ясноглазое племя феаков;
Праздник всегда здесь, шипит вертел всегда над огнем.

4. МАЙН

Рушатся замки мои, но в одном нахожу я отраду:
Много столетий спустя те же я зрю племена.

5. ЗААЛ

Короток бег мой, я вижу много князей и народов.
Каждый князь справедлив, каждый свободен народ.

6. ИЛЬМ

Бедны мои берега, но, мимо них протекая,
Слушают волны мои песни бессмертных певцов.

7. ПЛЕЙСА

Я обмелела затем, что и поэт и прозаик
Пьют мою воду, стремясь жажду свою утолить.

8. ЭЛЬБА

Что ваша речь? Тарабаршина! Все вы безграмотны, реки.
В Мейсене только я знаю немецкий язык.

9. Ш П Р Е

Рамлер дал мне язык, а тему дал Цезарь; когда-то
Пела я пышно, зато ныне безмолвствую я.

10. В Е З Е Р

Что мне сказать о себе? Ничего, к сожалению; муга
Тем у меня не найдет и для таких эпиграмм.

11. Ц Е Л Е Б Н Ы Й И С Т О Ч Н И К в***

Край удивительный! Вкус тут имеют ручьи и колодцы,
Только у жителей я не обнаружил его.

12. П Е Г Н И Ц

Скука меня одолела, я стал ипохондриком сонным;
Даже и течь бы не стал, но по привычке теку.

13. ... Н Ы Е Р Е К И

Нашему брату вольготно там, где ...ные власти
Правят,— не душит ярмо, да и не тягостен груз.

14. З А Л Ъ Ц А Х

С гор юавийских сбежав, снабжаю епархию солью;
После к баварцам спешу — в соли нехватка у них.

15. А Н О Н И М Н А Я Р Е К А

Чтобы несла я к столу епископа постные яства,
Путь указал мне творец сквозь голодающий край.

16. L E S F L E U V E S I N D I S C R E T S¹

Реки, довольно речей, замолчите! У вас, непутевых,
Так же несдержан язык, как у сокровищ Дидро,

¹ Дерзкие реки (*франц.*).

И Е Р Е М И А Д А

Ныне и проза и стих в Германии стали дурными,

Горе нам, век золотой невозвратимо ушел.

Губят философы речь, логику губят поэты,

Здравым смыслом одним в жизни пробиться нельзя.

Мы добродетель, изгнав ее из эстетики, силой

Гоним в политику, где гостьей докучной она.

Как нам вести себя? Если естественно — это банально,

Если застенчивы мы — это безвкусным зовут.

О простодушье лукавое лейпцигской горничной, где ты?

Прелесть наивности, ты к нам поскорее вернись!

Еженедельная гостья, комедия, к нам возвращайся,

Зигмунд — любовник лихой, хитрый слуга Маскариль!

Как в менуэте, шагай, котурн, напрокат нами взятый,

Жги нас, трагедия, вновь солью крутых эпиграмм.

Ты, философский роман,— манекен, неподвижно стоящий

Перед портным, никогда не противляясь ему!

Старая проза, вернись, разъясняй обстоятельно снова

Все, что ты мыслишь сама, все, что читатель прочел.

Ныне проза и стих в Германии стали дурными,

Горе нам, век золотой невозвратимо ушел.

Ф И Л О С О Ф Ы

У ч е н и к

Вот хорошо, господа! Встречаю вас вместе, *in pleno*.

То, что *потребно одно*, к вам привлекло меня вниз.

А р и ст о т е л ь

Прямо к делу, мой друг! «Временник» получаем мы енскиий

Здесь, в аду, давно знаем доподлинно все.

У ч е н и к

Ну и тем лучше! Так я уж с просьбой от вас не отстану

Тезис всегодный мне дать,— был чтобы годен на все.

Первый¹

Cogito ergo sum.— Я мыслю — так я существую.
В мысли-то истина будь,— в деле уж будет она.

Ученик

«Мыслю — так, значит, я есмь». Да всегда-то разве
кто мыслит?
Я вот часто уж был, вовсе не мысля при том!

Второй²

Раз лишь что-нибудь есть, то есть и всеобщая сущность,—
Вещь всякой вещи, где все вместе плаваем мы.

Третий³

Прямо обратное я говорю: вещей не бывает
Вне меня, и весь мир во мне, как пузырь.

Четвертый⁴

Я же на два бытия согласен — на мир и на душу:
Друг до друга им нет дела, но смысл их один.

Пятый⁵

Знать ничего мне нельзя про вещь, а также про душу;
Обе являются мне, все же не призрак они.

Шестой⁶

Я есмь, я и себя полагаю; когда ж с отрицанием
Я себя положу,— тут я не-я положил.

Седьмой⁷

Ну, представленье-то есть, и, значит, предмет его также;
А чтобы было их три — будь представляющий тут.

¹ Декарт.

² Спиноза.

³ Беркли.

⁴ Лейбниц.

⁵ Кант.

⁶ Фихте.

⁷ Рейнгольд.

Ученик

Этим-то я, господа, и пса из угла не приличу:

Мне положенье давай с тем, что положено в нем.

Восьмой¹

Дальше напрасно искать на теоретической почве:

Действию принцип все ж есть,— можешь, коль долг
повелел.

Ученик

Так я и думал: когда ума-то у них не хватает —

В совесть чужую залезть сразу готовы они.

Давид Юм

С ними — пустой разговор: им Кант все мысли запутал;
Лучше меня ты спроси: тот же я все и в аду.

Вопрос права

Нос свой давно уже я для нюханья употребляю,
Можно ли мне доказать право свое на него?

Пуффендорф

Случай трудный! Но ты ведь прежнее можешь владенье
За собой показать? Ну, владей им и впредь.

Сомнение совести

Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склон-
ность.

Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?

Решение

Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг.

¹ Эрг. Шмидт.

ТЕНЬ ШЕКСПИРА

(Пародия)

И, наконец, мне явилась высокая сила Геракла,
Тень его. Сам он — увы! — был недоступен для глаз.
Трагики возле него каркали, словно вороны,
И рецензенты, как псы, лаяли что было сил.
Страх наводил он на всех. Был лук до отказа натянут,
Стрелы, сходя с тетивы, били со свистом в сердца.
«Подвиг какой ты задумал с великой отвагой, несчастный,
Если в могильную тьму смело сошел к мертвцам?» —
«Из-за Терезия к вам сошел я. Мне нужен провидец,
Чтобы котурн отыскать, вовсе пропавший у нас». —
«Если в природу они и в древних греков не верят,
Драматургию им дать было б напрасным трудом». —
«Часто природа у нас голышом выходит на сцену,
Так что все ребра у ней можно легко сосчитать». —
«Значит, возможно у вас увидеть былье котурны,
Ради которых я сам спускался к Тартару в ночь?» —
«Нет у нас больше трагедии. Раз только в год на под-
мостках
Твой воинственный дух может пройти пред толпой». —
«Тоже не плохо! У вас философия чувствам диктует,
Юмором вашим давно черный аффект побежден!» —
«Да, мы охотно встречаем сухую и грубую шутку,
Даже от горя не прочь, коль оно мокро от слез». —
«Значит, могу здесь увидеть я Талии радостный танец,
И Мельпомена у вас поступью строгой идет?» —
«Нет! Восторгаемся мы одной христианской моралью,
Бытом домашним мещан, общепонятным для всех». —
«Разве на сцене у вас появиться не может ни Цезарь,
ни Андромаха? Орест или отважный Ахилл?» —
«Что ты! Герои у нас коммерц-советник или пастор,
Прапорщик иль секретарь, иль сам гусарский майор». —
«Но я спрошу тебя, друг, что может случаться с
такою
Мелочью? Сам посуди, прок от нее нам какой?» —
«Как же! Коварны они, дают под залог и воруют
Ложки у добрых людей, чтобы окончить тюрьмой». —

«Где же возьмете вы Рок, который порой человека
Может высоко возвесть и ниспревергнуть затём?» —
«Нам ни к чему он. Себя и наших добрых знакомых,
Горести наши — всегда можем мы в пьесах узреть». —
«Но это найти можете также и дома;
Что вам бежать от себя, чтобы себя отыскать?» —
«Не обижайся, герой, ео это совсем уж другое.
Рок наделен слепотой, автор один справедлив». —
«Значит, лишь низости ваши на вашей выводятся сцене,
Великого ж нет ничего и вечного тоже нет?» —
«Автор — хозяин трактира, и пятый акт — угощенье.
Только порок отблевал, нравственность сядет за
стол».

ТЕАТР ЖИЗНИ

Вот ящик мой! Открылся он!
Марионетки, балагуря,
Представят жизнь в миниатюре.
Театрик ярко освещен.
Но пусть любовь зажжет вам свечи,
Пусть факел держит Купидон.

Смотрите! Сцена не пустует!
Вот мать ребенка привела с собой,
Вот мальчик скачет, вот юнец бушует,
Вот зрелый муж идет отважно в бой.

Гремя, в пыли несутся колесницы.
К удаче каждый здесь влеком,
Но слишком тесен ипподром.
Вот трус героя обойти стремится,
Гордец упал под общий смех,
А умный обгоняет всех.

И женщины теснятся у барьера.
Блестящ и томе^и их прекрасный взгляд,
Они героя лаврами дарят.

В С Т Р Е Ч А

Толпа придворных дам вокруг теснится,
Но всех она прекрасней во сто крат.
Не приближайся к ней: моя царица,
Как солнце в небе, ослепляет взгляд,
Увидев свет, каким она лучится,
Я был блаженным ужасом объят.
В порыве счастья, радостном и юном,
Стремительно ударил я по струнам.

Напрасно вспомнить я пытаюсь снова
Тот жар, которым дух мой был согрет,
Священное, возвышенное слово,
Воспевшее слепящий этот свет.
В тот миг душа, порвав свои оковы,
Стеснявшие ее так много лет,
Нашла созвучья песен соловьиных,
Дремавших в неведомых глубинах.

И вот, когда моя умолкла лира,
Когда душа ко мне вернулась вновь,
Увидел я: у моего кумира
Боролась со стыдливостью любовь.
Казалось мне, я стал владыкой мира,
И вдохновенно закипела кровь.
О, только там я, в царстве духов, снова
Когда-нибудь услышу это слово:

«Душа, которая, таясь, молчит,
Которая себя бессильно гложет,
Я знаю, чем она меня пленит,—
Она любовью светлой счастье множит.
Пусть бедняка блаженство осенит,
Цветок любви сорвать лишь верность может.
Прекрасный дар дается лишь тому,
Чье сердце может отвечать ему».

ТАЙНА

Она ни слова не сказала,
Чтоб не могли подслушать нас...
Но что слова? — Их заменяла
Живая речь любимых глаз.
Вхожу под свод ветвей склоненных,
Увитых буковой листвой.
О лес! Скорее двух влюбленных
От мира шумного укрой!

Гуденье полдня городского
К нам долетит издалека,
Где в смутный гул толпы сурово
Вступает грохот молотка.
Так человек в заботах бьется,
Найти крупицу счастья рад,
Меж тем судьбой оно дается
Легко и щедро, без затрат.

Вот почему, согреты страстью,
Любовь мы в тайне сохраним.
Лишь помешают люди счастью,
Коль непонятна радость им.
Свет — счастью враг. Таков обычай:
Покуда счастье не ушло,
Считай его своей добычей,
Лови — завистникам назло!

В тиши, забвением объятой,
С ним дружит сладостная ночь.
Но чуть проснется соглядатай,
Оно тотчас умчится прочь.
Разлейся ж, счастье, перед нами
Потоком яростным гуди
И возмущенными волнами
Святыню нашу огради!

ОЖИДАНИЕ

Чу! Скрипнули дверцей садовой?
Чу!. Брякнула ручка замка?
Нет, то в тополи махровой
Сышен лепет ветерка.

Оденься густолиственной красотой,
Пышно-зеленый свод! Торжественный устроим
Прием мы в честь красавицы младой.
Вы, ветки, для нее сплетайтесь покоем,
Наполненным таинственною мглой!
Проснитесь, ветерки, играйте резвым роем
Вокруг розовых ланит ее, когда
На зов любви придет она сюда!

Чу! Кто это там торопливо
Скользит, шелестя, по кустам?
Нет, то птица боязливо
Пропорхнула по ветвям.

День, погаси свой пламенник скорей!
Ко мне, немая ночь и сумрак молчаливый!
Укрой нас в сень таинственных ветвей,
Набрось на нас свой флер пурпурный и ревнивый;
Свидетелей дощечных, их ушей,
Нескромных взоров их бежит Амур стыдливый;
Лишь Геспер — страж доверенный любви.
Его, о ночь, на небо призови!

Чу! звук издалека домчался,
Как будто кто шепчет в саду?
Нет, то лебедь расплескался
На серебряном пруду.

Мой слух обнял гармонии поток;
Ручей журчит волной; зари живым румянцем
Лобзаемый, колеблется цветок;
Прозрачный виноград горит янтарным глянцем,
И персик наливной, припавши за листок,
Лепечет радостно с златистым померанцем;
И ветер ароматною волной
С моих ланит смывает летний зной.

Чу, кажется, входят в аллею?
Чу! девственный шаг прозвучал?
Нет, под тяжестью своею
С ветки спелый плод упал.

День сладко задремал, и пламенные взгляды
Его угасли; меркнет полоса
На западе; цветы отрадной ждут прохлады;
Сребристый серп взошел на небеса;
Мир растопляется в спокойные громады,
И все — краса, волшебная краса,
И каждая из них, свой пояс разрешая,
Восторженным очам является нагая.

Но что там во мраке мелькает —
Не платье ли милой моей?
Нет, то белый столб сверкает
В темной зелени ветвей.

О сердце, полно ждать! К чему мечту пустую,
Тень счаствия в душе своей искать?
Мечтой не остыдить мне грудь мою больную
И призрака руками не обнять...
О, приведи же мне — не тень — ее живую,
О, дайте ручку нежную пожать,
Коснуться хоть слегка краев ее мантильи,—
И надо мною сон простер незримо крылья.

И тихо, незримо, как луч упованья,
Нежданной зарею блаженного дня
Она подошла — и лобзанья
Ее пробудили меня.

К ЭММЕ

Ты вдали, ты скрыто мглою,
Счастье милой старины:
Неприступною звездою
Ты сияешь с вышины.
Ах, звезды не приманить!
Счастью бывшему не быть!

Если б жадною рукою
Смерть тебя от нас взяла,
Ты б была моей тоскою,
В сердце все бы ты жила!
Ты живешь в сиянье дня,
Ты живешь не для меня.

То, что нас одушевляло,
Эмма, как то пережить?
Эмма! то, что миновало,
Как тому любовью быть?
Небом сердце зажжено,
Умирает ли оно?





НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОСПОЖИ ГРИЗБАХ

От имени Карла, маленького сына Шиллера

Открой, фрау Гризбах! Полно спать!
Взгляни: да это я ведь.
Велели мне отец и мать
Прийти тебя поздравить.

Я лишь стихи тебе припас —
Прими без укоризны.
Других подарков нет у нас
Из-за дороговизны.

Что пожелать тебе? Решай.
Ведь знают все соседи:
В твоих подвалах — сущий рай,
Полно на кухне снеди.

Как в сказке, валятся на стол
И спаржа и ренклоды.
Сама бежит к тебе в котел
Капуста с огорода.

А твой крыжовник! Благодать!
Поешь — и сердце млеет.
Смотри, фрау Гризбах, дай мне знать,
Как только он созреет.

Ты кур разводишь и гусей,
Хозяйствуя толково.
И кормит всласть твоих гостей
Сметаною корова.

Кого ни расспроси вокруг —
Ты всем пришлась по нраву.
И добрый, верный твой супруг
Дела ведет на славу.

Здорова ты. Так пусть и впредь
Врач о тебе не слышит.
А то попробуй заболеть —
Такую дрянь пропишет!

Теперь — прощай. Надеюсь, я
Был скромным, слава богу?
За это порцию гуся
Отрежь мне на дорогу!

С Л О В А В Е Р Ы

Три слова разносит людская молва,
В них кроется жизни начало.
Не кем-то придуманы эти слова —
Их сердце само подсказало.
Тот духом ничтожен, тот нищ и смешон,
Кто веры в три этих слова лишен.

Свободными люди рождаются на свет,
Свободными даже в оковах.
И пусть не обманет вас черни навет
И ярость безумцев суровых.
Страшитесь раба, что порвал кандалы,—
Лишь только свободный достоин хвалы!

И добродетель — не звук пустой.
Мы в этом легко убедимся.
Блуждая во тьме, оступаясь порой,

Мы к ней, лучезарной, стремимся.
И что не дается постигнуть уму,
То детскому чувству дано одному.

И высшая воля над миром царит,
О чём мы не ведаем сами.
Объяв времена и пространства, парит
Божественный разум над нами.
В безудержных сменах живет человек,
Но дух мировой неизменен вовек.

Так пусть же три слова разносит молва,
В них высшее скрыто начало.
Не кем-то придуманы эти слова,
Их людям душа подсказала.
Благами великими тот одарен,
Кто верит в них до конца времен!

С В Е Т И Т Е П Л О

Вот человек вступает в свет,
Прекрасной веры полон,
Что все, чем дух его согрет,
Среди людей нашел он.
Он сердцем чист, он — людям брат,
Он весь отдаётся правде рад.

Но лишь увидев, что кругом
Все пошло и мизерно,
Он только о себе самом
Заботится безмерно.
Любви — конец. Надменен взор.
Закрыто сердце на затвор.

Ах, как нам правды свет ни мил,
Не греет нас сиянье.
Блажен, кто сердцем не платил
За горький плод познанья.
Соедини ж навеки ты
Страсть мысли с трезвостью мечты!

ШИРИНА И ГЛУБИНА

Немало на свете людей таких,
Блистающих в вихре света,
На всякий вопрос всегда у них
Не может не быть ответа.
Покажется, слушая этих повес,
Что звезды они хватают с небес.

Но каждый из них свой жизненный путь
Окончит пустым и безликим.
А тот, кто хочет создать что-нибудь,
Взволнованный делом великим,
Пускай собирает надежно в тиши
В единую точку силы души.

Тянется к небу могучий ствол,
И ветви сильней год от года,
Покров листвы богат и тяжел,
Но не может создать он плода.
А желудь, который невзрачен на вид,
Он дерево, гордость леса, таит.

КУБОК

«Кто, рыцарь ли знатный, иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».

Так царь возгласил и с высокой скалы,
Висевшей над бездной морской,
В пучину бездонной, зияющей мглы
Он бросил свой кубок златой.
«Кто, смелый, на подвиг опасный решится?
Кто сыщет мой кубок и с ним возвратится?»

Но рыцарь и латник недвижно стоят;

Молчанье -- на вызов ответ;

В молчанье на грозное море глядят;

За кубком отважного нет.

И в третий раз царь возгласил громогласно:
«Отыщется ли смелый на подвиг опасной?»

И все безответны... вдруг паж молодой

Смиренно и дерзко вперед;

Он снял епанчу, снял пояс он свой;

Их молча на землю кладет...

И дамы и рыцари мыслят, безгласны:

«Ах! юноша, кто ты? Куда ты, прекрасный?»

И он подступает к наклону скалы

И взор устремил в глубину...

Из чрева пучины бежали валы,

Шумя и гремя, в вышину;

И волны спирались, и пена кипела:

Как будто гроза, наступая, ревела.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,

Как влага, мешаясь с огнем,

Волна за волною; и к небу летит

Дымящимся пена столбом;

Пучина бунтует, пучина клокочет...

Не море ль из моря извергнуться хочет?

И вдруг, успокоясь, волненье легло;

И грозно из пены седой

Разинулось черною щелью жерло;

И воды обратно толпой

Помчались во глубь истощенного чрева;

И глубь застонала от грома и рева.

И он, упредя разъяренный прилив,

Спасителя-бога призвал...

И дрогнули зрители, все возопив,—

Уж юноша в бездне пропал.

И бездна таинственно зев свой закрыла:

Его не спасет никакая уж сила.

Над бездной утихло... в ней глухо шумит...
И каждый, очей отвести
Не смея от бездны, печально твердит:
«Красавец отважный, прости!»
Все тише и тише на дне ее воет...
И сердце у всех ожиданием ноет.

«Хоть брось ты туда свой венец золотой,
Сказав: *Кто венец возвратит,*
Тот с ним и престол мой разделит со мной! —
Меня твой престол не прельстит.
Того, что скрывает та бездна немая,
Ничья здесь душа не расскажет живая.

Немало судов, закруженных волной,
Глотала ее глубина:
Все мелкой назад вылетали щепой
С ее неприступного dna...»
Но слышится снова в пучине глубокой
Как будто роптанье грозы недалекой.

И воет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...
И брызнул поток с оглушительным ревом,
Извергнутый бездны зияющим зевом.

Вдруг... что-то сквозь пену седой глубины
Мелькнуло живой белизной...
Мелькнула рука и плечо из волны...
И борется, спорит с волной...
И видят — весь берег потрясся от клича —
Он левою правит, а в правой добыча.

И долго дышал он, и тяжко дышал,
И божий приветствовал свет...
И каждый с весельем «Он жив! — повторял.—
Чудеснее подвига нет!
Из темного гроба, из пропасти влажной,
Спас душу живую красавец отважной».

Он на берег вышел; он встречен толпой;
К царевым ногам он упал;
И кубок у ног положил золотой;
И дочери царь приказал
Дать юноше кубок с струей винограда;
И в сладость была для него та награда.

«Да здравствует царь! Кто живет на земле,
Тот жизнью земной веселись!
Но странно в подземной таинственной мгле...
И смертный пред богом смирись:
И мыслью своей не желай дерзновенно
Знать тайны, им мудро от нас сокровенной.

Стрелою стремглав полетел я туда...
И вдруг мне навстречу поток;
Из трещины камня лилась вода;
И вихорь ужасный повлек
Меня в глубину с непонятною силой...
И страшно меня там кружило и било.

Но богу молитву тогда я принес,
И он мне спасителем был:
Торчащий из мглы я увидел утес
И крепко его обхватил;
Висел там и кубок на ветви коралла:
В бездонное влага его не умчала.

И смутно все было внизу подо мной
В пурпуром сумраке там,
Все спало для слуха в той бездне глухой;
Но виделось страшно очам,
Как двигались в ней безобразные груды,
Морской глубины несказанные чуды.

Я видел, как в черной пучине кипят,
В громадный свиваяся клуб,
И млат водяной, и уродливый скат,
И ужас морей однозуб;
И смертью грозил мне, зубами сверкая,
Мокой ненасытный, гиена морская.

И был я один с неизбежной судьбой,
От взора людей далеко;
Один, меж чудовищ, с любящей душой,
Во чреве земли, глубоко
Под звуком живым человечьего слова,
Меж страшных жильцов подземелья немова.

И я содрогнулся... вдруг слышу: ползет
Стоновое грозно из мглы,
И хочет схватить, и разинулся рот...
Я в ужасе прочь от скалы!..
То было спасеньем: я схвачен приливом
И выброшен вверх водомета порывом».

Чудесен рассказ показался царю:
«Мой кубок возьми золотой;
Но с ним я и перстень тебе подарю,
В котором алмаз дорогой,
Когда ты на подвиг отважишься снова
И тайны все дна перескажешь морскова».

То слыша, царевна с волнением в груди,
Краснея, царю говорит:
«Довольно, родитель, его пощади!
Подобное кто совершил?
И если уж должно быть опыту снова,
То рыцаря вышли, не пажа младова».

Но царь, не внимая, свой кубок златой
В пучину швырнул с высоты:
«И будешь здесь рыцарь любимейший мой,
Когда с ним воротишься ты;
И дочь моя, ныне твоя предо мною
Заступница, будет твою женою».

В нем жизнью небесной душа зажжена;
Отважность сверкнула в очах;
Он видит: краснеет, бледнеет она;
Он видит: в ней жалость и страх...
Тогда, неописанной радостью полный,
На жизнь и погибель он кинулся в волны.

Утихнула бездна... и снова шумит...
И пеной снова полна...
И с трепетом в бездну царевна глядит...
И бьет за волною волна...
Приходит, уходит волна быстротечно:
А юноши нет и не будет уж вечно.

ПЕРЧАТКА

Перед своим зверинцем,
С баронами, с наследным принцем,
Король Франциск сидел;
С высокого балкона он глядел
На поприще, сраженья ожидая;
За королем, обворожая
Цветущей прелестию взгляд,
Придворных дам являлся пышный ряд.

Король дал знак рукою —
Со стуком растворилась дверь:
И грозный зверь
С огромной головою,
Косматый лев
Выходит,
Кругом глаза угрюмо водят;
И вот, все оглядев,
Наморщил лоб с осанкой горделивой,
Пошевелил густою гривой,
И потянулся, и зевнул,
И лег. Король опять рукой махнул —
Затвор железной двери грянул,
И смелый тигр из-за решетки прянул;
Но видит льва, робеет и ревет,
Себя хвостом по ребрам бьет,
И крадется, косясь взглядом,
И лижет морду языком,
И, обогнавши льва кругом,
Рычит и с ним ложится рядом.

И в третий раз король махнул рукой —
Два барса дружною четой
В один прыжок над тигром очутились;
Но он удар им тяжкой лапой дал,
А лев с рыканьем встал...
Они смирились,
Оскалив зубы, отошли,
И зарычали, и легли.

И гости ждут, чтоб битва началася.
Вдруг женская с балкона сорвалася
Перчатка... все глядят за ней...
Она упала меж зверей.
Тогда на рыцаря Делоржа с лицемерной
И колкою улыбкою глядит
Его красавица и говорит:
«Когда меня, мой рыцарь верной,
Ты любишь так, как говоришь,
Ты мне перчатку возвратишь»

Делорж, не отвечав ни слова,
К зверям идет,
Перчатку смело он берет
И возвращается к собранью снова.

У рыцарей и дам при дерзости такой
От страха сердце помутилось;
А витязь молодой,
Как будто ничего с ним не случилось,
Спокойно всходит на балкон;
Рукоцлесканьем встречен он;
Его приветствуют красавицыны взгляды...
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».

ПОЛИКРАТОВ ПЕРСТЕНЬ

На кровле он стоял высоко
И на Самос богатый око
С весельем гордым преклонял.

«Сколь щедро взыскан я богами!
Сколь счастлив я между царями!» —
Царю Египта он сказал.

«Тебе благоприятны боги;
Они к твоим врагам лишь строги
И всех их предали тебе;
Но жив один, опасный мститель;
Пока он дышит... победитель,
Не доверяй своей судьбе».

Еще не кончил он ответа,
Как из союзного Милета
Явился присланный гонец:
«Победой ты украшен новой;
Да обовьет опять лавровый
Главу властителя венец;

Твой враг постигнут строгой местью;
Меня послал к вам с этой вестью
Наш полководец Полидор».
Рука гонца сосуд держала;
В сосуде голова лежала;
Врага узнал в ней царский взор.

И гость воскликнул с содроганьем:
«Страхись! Судьба очарованьем
Тебя к погибели влечет.
Неверные морские волны
Обломков корабельных полны;
Еще не в пристани твой флот».

Еще слова его звучали...
А клики брег уж оглашали,
Народ на пристани кипел;
И в пристань, царь морей крылатый,
Дарами дальних стран богатый,
Флот торжествующий влетел.

И гость, увидя то, бледнеет.
«Тебе Фортуна благодеет...
Но ты не верь, здесь хитрый ков,
Здесь тайная погибель скрыта:
Разбойники морские Крита
От здешних близко берегов».

И только выронил он слово,
Гонец вбегает с вестью новой:
«Победа, царь! Судьбе хвала!
Мы торжествуем над врагами:
Флот Критский истреблен богами:
Его их буря пожрала».

Испуган гость нежданной вестью...
«Ты счастлив; но Судьбины лестью
Такое счастье мнится мне:
Здесь вечны блага не бывали,
И никогда нам без печали
Не доставалися оне.

И мне все в жизни улыбалось;
Неизменяемо, казалось,
Я Силой вышней был храним;
Все блага прочил я для сына...
Его, его взяла Судьбина;
Я долг мой сыном заплатил.

Чтоб верной избежать напасти,
Моли невидимые Власти
Подлить печали в твой фиал.
Судьба и в милостях мздоимец:
Какой, какой ее любимец
Свой век не бедственно кончал?

Когда ж в несчастье Рок откажет,
Исполни то, что друг твой скажет:
Ты призови несчастье сам.
Твои сокровища несметны:
Из них скорей, как дар заветный,
Отдай любимое богам».

Он гостю внемлет с содроганьем:
«Моим избранным достояньем
Доныне этот перстень был;
Но я готов Властиям незримым
Добром пожертвовать любимым...»
И перстень в море он пустил.

Наутро, только луч денницы
Озолотил верхи столицы,
К царю является рыбарь:
«Я рыбу, пойманную мною,
Чудовище величинаю,
Тебе принес в подарок, царь!»

Царь изъявил благоволенье...
Вдруг царский повар в исступленье
С неожданной вестию бежит:
«Найден твой перстень драгоценный,
Огромной рыбой поглощенный,
Он в ней ножом моим открыт».

Тут гость, как пораженный громом,
Сказал: «Беда над этим домом!
Нельзя мне другом быть твоим;
На смерть ты обречен Судьбою:
Бегу, чтоб здесь не пасть с тобою...»
Сказал и разлучился с ним.

НАДОВЕССКИЙ ПОХОРОННЫЙ ПЛАЧ

Вот сидит он на цыновке,
Выстлавшей вигвам,
Как живой, посажен ловко,
Величав и прям.

Но кулак уж не сожмется,
На устах — замок.
К горним духам не взовьется
Трубочный дымок.

Где, скажите, взор соколий,
Что, на след напав,
Не терял его в раздолье,
В колыханье трав.

Ноги скрещены покорно —
Не пуститься в бег
С быстротой косули горной
Сквозь буран и снег.

Жизнь ушла из этих вяло
Свесившихся рук,
Не согнуть уж, как бывало,
Им упругий лук.

Он ушел для лучшей доли
В край бесснежный тот,
Где маис на тучном поле
Сам собой растет.

Где леса богаты дичью,
Реки рыб полны,
С каждой ветки песни птичьи
Звонкие слышны.

Духи с ним пируют вместе
В солнечной дали.
Нас оставил он, чтоб с честью
Тело погребли!

Все, что может быть отрадой
Воину в пути,
С похоронным плачем надо
В дар ему снести.

Сложим здесь, у изголовья;—
Путь его далек,—
Мы топор, облитый кровью,
И медвежий бок.

Острый нож положим с краю,
Он сверкал не раз,
С головы врага сдирая
Скальп в возмездья час.

Горстку краски в руку вложим,—
С нею погребен,
Пусть предстанет краснокожим
В мире духов он.

РЫЦАРЬ ТОГЕНБУРГ.

«Сладко мне твоей сестрою,
Милый рыцарь, быть;
Но любовию иною
Не могу любить:
При разлуке, при свиданье
Сердце в тишине,—
И любви твоей страданье
Непонятно мне».

Он глядит с немой печалью —
Участь решена:
Руку сжал ей; крепкой сталью
Грудь обложена;
Звонкий рог созвал дружины,
Все уж на конях;
И помчались в Палестину,
Крест на раменах.

Уж в толпе врагов сверкают
Грозно шлемы их;
Уж отвагой изумляют
Чуждыих и своих.
Тогенбург лишь выйдет к бою:
Сарацин бежит...
Но душа в нем все тоскою
Прежнею болит.

Год прошел бѣз утоленья...
Нет уж сил страдать;
Не найти ему забвенья —
И покинул рать.
Зрят корабль — шумят ветрилы,
Бѣет в корму волна,—
Сел и поплыл в край тот милый,
Где цветет она.

Но стучится к ней напрасно
В двери пилигрим;
Ах, они с молвой ужасной
Отперлись пред ним:
«Узы вечного обета
Приняла она
И, погибшая для света,
Богу отдана».

Пышны праотцев палаты
Бросить он спешит;
Навсегда покинул латы;
Конь навек забыт;
Власяной покрыт одеждой
Инок в цвете лет,
Не украшенный надеждой
Он оставил свет.

И в убогой келье скрылся
Близ долины той,
Где меж темных лип светился
Монастырь святой;
Там — сияло лъ утро ясно,
Вечер ли темнел —
В ожиданье, с мукой страстной,
Он один сидел.

И душе его унылой
Счастье там одно:
Дожидаться, чтоб у милой
Стукнуло окно,

Чтоб прекрасная явилась,
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.

И, дождавшися, на ложе
Простирался он;
И надежда: *завтра то же!*
Услаждала сон.
Время годы уводило...
Для него ж одно:
Ждать, как ждал он, чтоб у милой
Стукнуло окно;

Чтоб прекрасная явилась;
Чтоб от вышины
В тихий дол лицом склонилась,
Ангел тишины.
Раз — туманно утро было —
Мертв он там сидел,
Бледен ликом, и уныло
На окно глядел.

И ВИКОВЫ ЖУРАВЛИ

К Коринфу, где во время оно
Справляли праздник Посейдона,
На состязание певцов
Шел кроткий Ивик, друг богов.
Владея даром песнопенья,
Оставив Регий вдалеке,
Он шел, исполнен вдохновенья,
С дорожным посохом в руке.

Уже его пленяет взоры
Акрокоринф, венчая горы,
И в Посейдонов лес густой
Он входит с трепетной душой.

Здесь всюду сумрак молчаливый,
Лишь в небе стая журавлей
Вослед певцу на юг счастливый
Станицей тянется своей.

«О птицы, будьте мне друзьями!
Делил я путь далекий с вами,
Был добрым знамением дан
Мне ваш летучий караван.
Теперь равны мы на чужбине,—
Явившись издали сюда,
Мы о приюте молим ныне,
Чтоб не постигла нас беда!»

И бодрым шагом вглубь дубравы
Спешит певец, достойный славы,
Но, притаившиеся тут,
Его убийцы стерегут.
Он борется, но два злодея
Разят его со всех сторон:
Искусно лирою владея,
Был неискусен в битве он.

К богам и к людям он взывает,
Но стон его не достигает
Ушей спасителя: в глухи
Не отыскать живой души.
«И так погибну я, сраженный,
И навсегда останусь нем,
Ничьей рукой не отомщенный
И не оплаканный никем!»

И пал он низ, и пред кончиной
Услышал ропот журавлинный,
И громкий крик, и трепет крыл
В далеком небе различил.
«Лишь вы меня, родные птицы,
В чужом не бросили краю!
Откройте ж людям, кто убийцы,
Услышьте жалобу мою!».

И труп был найден обнаженный,
И лик страдальца, искаженный
Печатью ужаса и мук,
Узнал в Керинфе старый друг.
«О, как безгласным и суровым
Тебя мне встретить тяжело!
Не я ли мнил венком сосновым
Венчать любимое чело?»

Молва про злое это дело
Мгновенно праздник облетела,
И поразились все сердца
Ужасной гибели певца.
И люди кинулись к пританам,
Немедля требуя от них
Над песнопевцем бездыханным
Казнить преступников самих.

Но где они? В толпе несметной
Кто след укажет незаметный?
Среди собравшихся людей
Где укрывается злодей?
И кто он, этот враг опасный,—
Завистник злой иль жадный тать?
Один лишь Гелиос прекрасный
Об этом может рассказать.

Быть может, наглыми шагами
Теперь идет он меж рядами
И, невзирая на народ,
Преступных дел вкушает плод.
Быть может, на пороге храма
Он здесь упорно лжет богам
Или с толпой людей упрямо
Спешит к театру, бросив храм.

Треща подпорами строенья,
Перед началом представльенья,
Скамья к скамье, над рядом ряд,
В театре эллины сидят.

Глухо шумящие, как волны,
От гула множества людей,
Вплоть до небес, движенья полны,
Изгибы тянутся скамей.

Кто здесь сочетет мужей Фокиды,
Прибрежных жителей Авлиды,
Гостей из Спарты, из Афин?
Они явились из долин,
Они спустились с гор окрестных,
Приплыли с дальних островов
И внемлют хору неизвестных,
Непостижимых голосов.

Вот перед ними тесным кругом,
Из подземелья друг за другом,
Чтоб древний выполнить обряд,
Выходит теней длинный ряд.
Земные жены так не ходят,
Не здесь родные их края,
Их очертания уводят
За грань земного бытия.

Их руки тощие трепещут,
Мрачно-багровым жаром плещут
Их факелы, и бледен вид
Их обескровленных ланит.
И, к приведеньям безобидны,
Вокруг чела их, средь кудрей
Клубятся змеи и ехидны
В свирепой алчности своей.

И гимн торжественно согласный
Звучит мелодией ужасной
И сети пагубных тенет
Вкруг злодеяния плетет.
Смущая дух, волнуя разум,
Эринний слышится напев,
И в страхе зрители, и разом
Смолкают лиры, онемев.

«Хвала тому, кто, чист душою,
Вины не знает за собою!
Без опасений и забот.
Дорогой жизни он идет.
Но горе тем, кто злое дело
Творит украдкой тут и там!
Исчадья ночи, мчимся смело
Мы вслед за ними по пятам.

Куда б ни бросились убийцы,—
Быстро крылатые, как птицы,
Мы их, когда настанет срок,
Петлей аркана валим с ног.
Не слыша горестных молений,
Мы гоним грешников в Аид
И даже в темном царстве теней
Хватаем тех, кто не добит».

И так, зловещим хороводом,
Они поют перед народом,
И, чуя близость божества,
Народ вникает в их слова.
И тишина вокруг ложится,
И в этой мертвой тишине
Смолкает теней вереница
И исчезает в глубине.

Еще меж правдой и обманом
Блуждает мысль в сомненье странном,
Но сердце ужасом полно,
Незримой властью смущено.
Ясна лишь сердцу человека,
Но скрытая при свете дня,
Клубок судьбы она от века
Плетет, преступников казня.

И вдруг услышали все гости,
Как кто-то вскрикнул на помосте:
«Взгляни на небо, Тимофей,
Накликай Ивик журавлей!»

И небо вдруг покрылось мглою,
И над театром, сквозь туман,
Промчался низко над землею
Пернатых грозный караван.

«Что? Ивик, он сказал?» И снова
Амфитеатр гудит сурово,
И, поднимаясь, весь народ
Из уст в уста передает:
«Наш бедный Ивик, брат невинный,
Кого убил презренный тать!
При виде стаи журавлиной
Что этот гость хотел сказать?»

И вдруг, как молния, средь гула
В сердцах догадка промелькнула,
И в ужасе народ твердит:
«Свершилось миценье Эвменид!
Убийца кроткого поэта
Себя нам выдал самого!
К суду того, что молвил это,
И с ним — приспешника его!»

И так всего одно лишь слово
Убийцу уличило злого,
И два злодея, смущены,
Не отрекались от вины.
И тут же, схваченные вместе
И усмиренные с трудом,
Добыча праведная мести,—
Они предстали пред судом.

ХОЖДЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАВОД

Был добр и скромен Фридолин.
Страшась греховных скверн,
Служил он, мальчик-селянин,
Графине дѣ Саверн.

Она была кротка, нежна,
И что б ни молвила она,
Ее любое повеленье
Он исполнял в благоговенье.

Рассвет ли красит небосклон,
Иль вечер у дверей,
Слуга в заботу погружен
О госпоже своей.
И скажет дама не в укор:
«Сядь, отдохни!» — влажнеет взор:
Ведь служба — от грехов ограда —
Ему не тягость, а отрада.

Его графиня предпочла,
На зависть прочих слуг,
Не раз высокая хвала
Ему ласкала слух.
И для графини Фридолин
Был не слуга, а словно сын,
В расположении глубоком
За ним следила ясным оком.

Но Роберт — графский стремянной —
Не мог обиды снести,
Давно он черною душой
Взлелеял злую месть.
И, на охоту с графом мчась,
Коварной мыслью соблазнясь,
Он, полон лжи и лицемерья,
Стал сеять семя недоверья.

«О, сколь вы счастливы, мой граф,—
Лукавя, начал он,—
Сомнений горьких не познав,
Блаженный видеть сон.
Ведь кто б, прия в любовный пыл,
Супруге вашей ни грозил,
Клянусь — и небо в том свидетель —
Ее опора — добродетель!»

Насупил брови граф тогда:
«Ты что там мелешь, раб?
Как волны зыбки, как вода
Любовь и верность баб!
Размякнут пред любым хлыщом!..
О нет! Я строю на другом:
Одно лишь имя де Саверна
Страшит любезников безмерно».

«Вы трижды правы, господин,—
Обманщик говорит.—
Как глупо тот простолюдин
Себя надеждой льстит!
Подумать лишь: мужик, нахал
К графине страстью воспыпал...» —
«Что?! — крикнул граф.— К какой
графине?!
И сей безумец жив поныне?»

«Ужель до графа не дошло
То, что известно всем?
Но коль вы скрыть решили зло,
Я буду глух и нем!» —
«Ты близок к смерти, жалкий пес! —
Граф, багровея, произнес.—
Ответствуй! Кто ж тот червь презренный?» —
«Да Фридolin — ваш раб смиренный.

Он, правда, недурен собой,—
Плетет злодей рассказ,
Меж тем как графа хлад и знай
Бросают в дрожь тотчас.—
С графини, бог его прости,
Не в силах взора он свести.
Стоит за стулом да вздыхает,
А вас почти не замечает.

А вот и вирши, наконец,
Взгляните поскорей!» —
«О, тварь!» — «Взаимности, наглец,
Здесь требует у ней..

Графиня все молчала, знать
Вас не желая огорчать.
Эх, мне бы сразу догадаться!
Ведь вам-то, граф, чего пугаться?!»

И граф помчался на коне
В ту рощу, где в печи
На жарком плавятся огне
Подковы и мечи.
Там неустанною рукой
Рабы трудились день-деньской.
Клокочет пламя, дуют парни,
Как стеклодувы в стекловарне.

Единство пламени и вод
Увидишь в том лесу.
Поток бушующий дает
Вращенье колесу.
И молоткам немолчным в лад
Бьет по листу огромный млат,
И, размягчаемое жаром,
Железо гнется под ударом.

И двум разнужданным рабам
Граф отдает приказ:
«Кто будет мною послан к вам
И первым спросит вас:
— Свершен ли графский приговор? —
Того швырните в печь, в костер,
Чтоб он, став пеплом и золою
Вовек не встретился со мною!»

Уж предвкушают крови вкус
Два дюжих кузнеца,
У коих, как железный брус,
Бесчувственны сердца.
Как громок, как свиреп их смех!
И раздувают парни мех.
Полны жестокости звериной,
Убийцы жертвы ждут невинной.

А Роберт к дому прискакал
И молвит: «Фридолин!
Поторопись! Тебя искал
Зачем-то господин».
И Фридолина граф зовет:
«Отправься в рощу, на завод,
И там узнай без промедленья,
Исполнено ль мое веленье».

«Быть,— тот ответил,— по сему!» —
Собрался побыстрей.
Но тут приходит мысль ему:
«А вдруг я нужен *ей*?»
Он пред графиней предстает:
«Я отправляюсь на завод.
Не дашь ли ты мне приказанья?
Мой долг — свершать твои желанья!»

Графиня очи подняла,
И мальчик услыхал:
«На мессу б нынче я пошла,
Но сын мой захворал.
Так загляни в господень храм
И, вечным каясь небесам,
Воздай мою молитву богу...»
И он отправился в дорогу.

Спешит. Душа его светла.
Он видит милый лик.
И лишь окраины села
Он на бегу достиг —
С ближайшей колокольни он
Услышал тихий перезвон,
Торжественно зовущий к требе,
Широко разливаясь в небе.

«Коль бога на пути своем
Ты встретишь — подойди!» —
Он рек, вступая в божий дом
С молитвою в груди.

Но пусто в храме. Стар и мал
В ту пору жатву собирал.
Причетник с ними был. Священник
Один спускался со ступенек.

И Фридолин решает сам
Долг причета свершить:
«Не может служба небесам
Помехой делу быть».
Он ризу белую берет,
Святому старцу подает,
Идет в алтарь он и оттуда
Несет священные сосуды.

Расставил чаши, а засим,
Взяв в руки требник, он
За настоятелем благим
Вступает на амвон.
И, на колени пав с мольбой,
Звонит он в колокольчик свой,
Когда над ним, в конце хорала,
Три раза «Sanctus»¹ прозвучало.

Священник, небом осиян,
Ввысь устремляет взор,
Над головами прихожан
Распятие простер.
И слезы катятся с ланит.
А служка в колокол звонит
И все склоняется в усердье,
Христово славя милосердье.

Он службу ревностно несет.
Церковный ритуал
И светлой мессы обиход
Еще он в детстве знал.
И не отхлынет чувств прилив,
Пока, молебен завершив,

¹ Свят (лат.).

Святой отец в поклоне низком
Не скажет: «Dominus vobiscum!»¹

Но, прежде чем покинуть храм,
Идет он за алтарь
И молча складывает там
Сосуды и стихарь.
С благословения небес
Теперь к печам спешит он, в лес,
И «Pater Noster»² без тревоги
Негромко шепчет по дороге.

А вот и печь. Сквозь черный дым
Рабов он увидал.
«Исполнено ль,— кричит он им,—
Что граф вам приказал?»
Скривив отвисшую губу,
Кузнец кивает на трубу:
«Печь нажралась и зубы скалит.
Пусть граф рабов своих похвалит!»

И к графу в замок мчится он,
Ответ рабов узнав.
Как будто громом поражен,
Его встречает граф:
«Мертвец! Откуда ты идешь?!» —
«С завода». — «Быть не может! Ложь!
Иль ты не сразу в путь пустился?» —
«Тотчас, как богу помолился.

Когда я утром в лес пошел,—
Простите, но скажу,—
Что долгом я своим почел
Проведать госпожу.
Она здрави велела в храм
И, сердцем вняв ее словам,
Молитву я вознес с любовью
О вашем и ее здоровье».

¹ С вами бог (лат.).

² «Отче наш» (лат.).

И, мучим страхом и тоской,
Граф в ужасе спросил:
«Но подожди! Ответ какой
Ты в роще получил?» —
«Мой граф! Запутанную речь
Сказал кузнец, кивнув на печь:
Мол, нажралась и зубы скалит,
Пусть граф рабов своих похвалит!»

«А где же Роберт? — граф вскричал,
Догадкою сражен. —
Его ты разве не встречал?
Мной в лес был послан он!» —
«Нет, ни в лесу, ни у пруда
Я не видал его следа».
Тут граф воскликнул: «Ты свободен!
Свершился правый суд господень!»

И с непривычной добротой
Он говорит: «Идем!» —
И предстает перед женой,
Не знавшей ни о чем:
«Сей мальчик чист, как серафим!
Да будет милость наша с ним!
Кого людской навет оставил,
В беде всевышний не оставил!»

НАДЕЖДА

Надеются люди, мечтают весь век
Судьбу покорить роковую,
И хочет поставить себе человек
Цель счаствия — цель золотую.
За днями несчастий дни счастья идут;
А люди все лучшего, лучшего ждут.

Надежда ведет на путь жизни людей;
Дитя уже ей веселится;
Манит она юношу блеском лучей

И с старцем во гроб не ложится:
Пусть нас утомленье в могилу сведет —
Надежда для нас и за гробом цветет.

Нет, нет! не пустым, не безумным мечтам
Мы дух предаем с колыбели,
Не даром твердит сердце вещее нам:
Для высшей мы созданы цели!
Что внутренний голос нам внятно твердит,
То нам неизменной судьбою горит.





СЧАСТЬЕ

Благо тому, кого боги любят еще до рожденья,
Чей младенческий сон нежно Киприда хранит,
Тот, кому очи — Феб, а губы — Гермес размыкает,
Чье отметил чело знаком могущества Зевс.
Выпал на долю ему высокий, божественный жребий,
Лавром Счастливый венчан, не начиная борьбы.
Прежде, чем жил он, ему жизнь отпущена полною
мерой,
Прежде, чем труд познал, стал он любимцем Харит.
Мужа зову я великим, кто, сам свой творец и ваятель,
Доблестной силой своей парку сумел одолеть.
Но не достичь ему счастья, и то, что Хариты ревниво
Берегут от него, силой у них не отнять.
От недостойного ты храним суровою волей,
Высшее благо богов вольно слетает к тебе.
Женщина дарит любовь любимому; так и Юпитер
Счастье дарует с небес только любимцам своим.
Боги пристрастны, любезна блаженным цветущая
юность,
Волны кудрей, и всегда радость их сердце влечет.
К зрячим они не сойдут, они не откроются взору,
Славу бессмертных дано только слепому узреть.
Их привлекают к себе наивные детские души,
В этот смиренный сосуд вложат они божество.
Сходят нежданно они, обманув ожидания гордых,—
Ибо свободных вовек силой принудить нельзя.

Только к избранникам Зевс, отец бессмертных и
смертных,
Ниспосыпает орла, в небо он их вознесет.
Вольною прихотью бога в толпе избирая любимцев,
Он украшает главу гордых питомцев своих
То лавровым венком, то власти державной повязкой,—
Так и его самого некогда рок увенчал.
Только счастливцу предстанет Феб, поразивший Пифона,
И покоритель сердец — неодолимый Эрот.
Склонится лишь перед ним трезубец Нептуна, и мирно
Судно по глади бежит, цезаря счастье неся.
Ляжет к ногам его лев, дельфины, резвясь в океане,
Спину подставят ему, выгнув смиренно хребет.
О, не гневись на счастливца за то, что даруют победу
Боги ему, что в бою был он Кипридой спасен.
Жребий завиден его, спасенного нежной богиней,
А не героя, что был ею низринут во мрак.
Меньше ли славен Ахилл, оттого что искусством
Гефестом

Был ему выкован щит и сокрушительный меч?
Что потрясен был Олимп деянием смертного мужа?
Трижды прославлен герой светлой любовью небес,
Тем, что, желая любимца яростный гнев успокоить,
Боги низвергли в Аид лучших Эллады сынов.
На красоту не гневись за то, что она без заслуги,
Словно лилея, цветет волей Киприды одной.
Пусть она будет счастливой,— ее созерцая, ты счастлив,
Блещет она без заслуг, так осчастливлен и ты.
Радуйся тем, что с небес нисходит на смертного песня,
Тем, что певец передаст музой внушенный напев.
Бог вдохновляет его, и для внемлющих станет он богом;
Он счастливец, и ты сможешь блаженство вкусить.
Пусть же на торжище шумном слепая Фемида сурово
Взвесит на мудрых весах труд и награду людей;
Радость может лишь бог зажечь на смертных ланитах,
Где не свершалось чудес — тщетно счастливых
искать.

Смертное вечно должно рождаться, расти, развиваться,
Время ваяет его, образом образ сменив.
Но красоту и счастье мы в становленье не видим,
Сразу природа дала нам совершенными их.

Каждой Венере земной, как той, первозданной,
небесной,

Из беспредельности вод тайно рождаться дано.
Снова, как вышла Паллада из головы громовержца,
Выйдет, эгидой блестя, каждая светлая мысль.

БОЙ С ДРАКОНОМ

Шумит Родос. Куда идет,
Куда торопится народ?
Пожар ли? Ждут ли сарацина?
Людская катится лавина
К той части города, куда,
В броне, блестящей, как звезда,
Верхом прекрасный рыцарь мчится.
За ним чудовище влечится —
О страх! — крылатый змей на вид,
Но крокодильи пасть и шея.
И весь народ, дивясь, глядит
То на героя, то на змея.

И слышен гул со всех сторон:
«Смотрите, вот он, вот дракон,
Губитель пастухов и стада!
Вот рыцарь, поразивший гада!
Не раз ходили смельчаки
Изведать монъ своей руки, —
Их смерть была исходом боя.
Ликуй, Родос, восславь героя!»
И толпы шумные текут
В иоаннитскую обитель,
Где братьев на совет и суд
Созвал их брат и повелитель.

Но рыцарь спешился, и вот
Он пред владыкой предстает.
Толпа в веселии великом
Еще гремит хвалебным кликом.
Он речь повел — и каждый смолк.

«Я рыцарский исполнил долг.
Дракон, страну державший в страхе,
Пред вами здесь, в крови и прахе.
Не страшны горы пастухам,
Не страшно пахарю в долине,
И пилигримы в божий храм
Без страха пусть идут отныне».

Но прерывает князь его:
«Твое законно торжество.
Ты смел и тверд, ты сердцем воин
И званья рыцаря достоин.
Но если рыцарь ты Христов
И носишь крест, ответь: каков
Твой первый долг?» Толпа в молчанье
Бледнеет, затаив дыханье.
А тот задрался, но в ответ,
Склонившись, молвит он без страха:
«Покорность — первый наш обет,
Святой для воина-монаха». —

«Его презрел ты,— молвит князь,—
С отродьем сатаны сразясь.
Мой сын, ты вопреки запрету
Замыслил дерзко битву эту». —
«Суди ж,— ответил смело тот. —
Ты знаешь мысли тайный ход.
Но верь, поднявшись на дракона,
Я блюл и смысл и дух закона.
Не в самомнении слепом
Я шел с чудовищем сразиться:
В союз с коварством и умом
Вступила тут моя десница.

Цвет нашей веры пресвятой,
Пять лучших рыцарей чредой
В бою сгубила их отвага.
И был бы ордену во благо
Закон твой, отче. Но мой дух
К веленьям разума был глух:
Им жажда подвига владела.

Во сне, стряхнув оковы тела,
Он мчался в бой. Но вот заря —
И вновь бессилье, вновь мученье.
И, смелым замыслом горя,
Я принял тайное решенье.

Я рассуждал в тиши ночей:
В чем гордость юных, честь мужей?
И чем герои взяли право,
Чтобы о них гремела слава,
Чтоб их почтил в дали веков
Слепой язычник как богов?
Не пользой дел своих, не тем ли,
Что очищал родные земли
От всякой нечисти их меч,—
За благо общее радея,
Главу Медузы мог отсечь
И льва сразить в лесах Немея?

Так что ж, иль правый меч Христов
Лишь сарацин разить готов?
Лишь верных ложному кумиру?
Нет, во спасенье послан миру,
Он от безвинных отведет
Всех бед и всех несчастий гнет.
Но, чтоб удача с ним дружила,
Должна призвать коварство сила.
Так я мечтал, мой гнев дразня,
И след искал к жилищу гада.
И бог прозренье влил в меня:
Я понял что мне делать надо.

И я сказал тебе, склонясь:
«Душа в отчизну повлеклась!»
Ты внял просящему, и вскоре
Счастливо пересек я море.
Сойдя на берег родной, тотчас
Я дал ваятелю заказ.
И, с описаньями согласный,
Им зверь был вылеплен ужасный:
Его на шесть коротких ног
Природа глыбой взгромоздила;

На брюхе кожа — точно рог,
Спина — как панцырь крокодила.

Дугой сгибает шею гад.
Разверстый шире адских врат,
Чернеет зев и дышит смрадно,
И жертву ждет, оскалясь жадно.
В нем три ряда зубов видны.
Как меч, из черной глубины
Торчит язык. Как две зарницы,
Сверкают узкие зеницы
Свирапых глаз. Его спина
Змеей кончается двуглавой;
Семью обхватами она
Коня сжимает в ком кровавый.

Таким дракона сделал он,
Покрасил в мерзкий серый тон,—
И тот живым казался гадом,
Что вспоен кровью, вскормлен ядом.
Тогда, признав, что он готов,
Я выбрал двух громадных псов,
Чья лютость, быстрота и сила
И зубра дикого страшила.
Я начал распалять их злость,
Учил, мой голос разумея,
Хватать, как брошенную кость,
И грызть изображенье змея.

Учил их мяса рвать куски,
Вонзив туда свои клыки,
Где, голы, розовы и гадки,
Под грудью вздулись жира складки.
А сам, доспехами звения,
Я сел на мощного коня
Арабской благородной крови,
Хлестнул и, с пикой наготове,
Взъярив коня ударом шпор,
Помчался прямо на дракона
И сталью прободал в упор
Его чудовищное лоно.

Собаки жалобно визжат,
Конь, дыбясь, пятится назад,
Грызет мундштук, покрытый пеной.
Но, верен мысли сокровенной,
Я был упорен; и когда
Трех лун сменилась череда,
Ни пес, ни конь уж не робели.
Тогда на быстрой каравелле
Я совершил возвратный путь,
И здесь три дня, не знав покоя,
Не мысля кратким сном уснуть,
Искал назначенного боя.

О, как моя вскипела кровь,
Когда страну узрел я вновь!
Лишь день назад под горным склоном
Пастух проглочен был драконом.
И, мщенья жаждою палим,
Решив скорей покончить с ним,
Я известил лишь слуг надежных,
Я только меч проверил в ножнах,
Я кликнул псов, взнуддал коня
И смело, тайною тропою,
Чтоб не увидели меня,
Помчался в ночь, навстречу бою.

Отец, ты знаешь церковь ту,
Что зодчий взнес на высоту,
Как бы с самой природой споря.
Оттуда видно все до моря.
Та церковь хоть мала, бедна,
Но в ней святыни есть одна —
С младенцем пресвятая дева
И три царя у двери хлева.
И трижды тридцать ступеней
Прорублены в скале отвесной,
Но пилигрим, взойдя по ней,
Вкусит от благости небесной.

А под скалой — в пещеру вход.
Кругом трава не прорастет,

Лишил мох сырой по косогору;
Свет не заглянет в эту нору.
И в той дыре живет дракон,
Людей подстерегает он.
Как змий в воротах преисподней,
Он бдит под церковью господней,
И лишь пройдет там пилигрим,
Неся мольбы Христу и деве,
Дракон кидается за ним,—
И жертва гибнет в черном зеве.

И прежде, чем затеять бой,
Я поднялся в тот храм святой,
Я причастился благодати,
Святому помолился дитяти;
Я перед лицом вышних сил
Доспех мой верный освятил
И, взяв копье рукою правой,
Пошел — за смертью или славой.
И слуги встретили меня,
Я задержался миг, не боле,
Простился, прыгнул на коня
И вверил душу божьей воле.

Мой путь привел на ровный луг.
И псы насторожились вдруг,
А конь заржал, попятысь боком,
Храпит, кося багровым оком,
И стал. Так вот он, наконец!
Клубком чудовищных колец
Лежит, на солнце брюхо грея.
Псы молча кинулись на змея,
Но завизжали — и назад,—
Когда, зевнув с протяжным воем,
Дохнул вонючим ветром гад
И морды им обжег обоим.

Но тут мой оклик, мой укор
Вернул, удвоил их напор.
А сам я в шею твари гнусной
Метнул копье рукой искусной.

Как трость, от панцыря ее,
Звеня, отпрянуло копье.
Я целись вновь. Но конь пугливо
Храпит и рвется — дыбом грива!—
Не слышит ни узды, ни шпор
И, повернув к дракону задом,
Несется прочь во весь опор...
И был бы я настигнут гадом!

Тогда я спрыгнул, я извлек
Дамасский добрий мой клинок.
Удар! Удар! Всей силой в брюхо!
Но только звякал меч мой глухо.
И вдруг упал я на песок,
Хвостом, как бурей, сбитый с ног.
И зев оскалился громадный,
Язык вытягивая смрадный.
Но тут вцепились оба пса
В прогал, где обнажалось тело,
И змей на брюхе поднялся,
От боли взвыв остервенело.

И прежде чем он скинул псов,
Я снова к бою был готов.
Я в тот же промежуток голый —
Под сердце — свой булат тяжелый
Богнал уверенной рукой.
Кровь черной хлынула рекой —
И рухнул змей, громадой тела
Подмяв меня. И потемнело
Передо мною все вокруг.
Когда ж упал тот полог темный,
Очнувшись, я увидел слуг
И — в луже крови — труп огромный».

И долго сдержаный восторг
Из тысяч уст хвалу исторг,
Чуть кончил он повествованье.
И в каждом сердце ликованье,
И жарких слез глаза полны,
И даже Ордена сыны

Герою требуют награды.
И с окон, с крыш, из-за ограды
Глядит ликующий народ
И славит рыцаря младого.
Но пастырь Ордена встает
И смолкнуть всем велит сурово.

«Ты поднял меч,— так молвит он,—
И гад неистовый сражен.
Но сердце предал ты гордыне.
Ты для народа бог отныне,
Но знай, для Ордена ты враг;
Твоей души глубокий мрак
Дракона худшего лелеет.
Тот змий раздор и гибель сеет,
Не признает святых препон
Порядка и повиновенья,
И в бездну мир ввергает он
Мятежной пагубой сомненья.

И мамелюк в сраженье тверд.
Христианин смиреньем горд.
Там, где являл свое величье
Господь, приняв раба обличье,
Там, на земле святых могил,
Основан Орден этот был.
И воли самообузданье
В свое приял он основанье.
А ты был гордостью ведом,
Тебя влекла мирская слава.
Так прочь! Не входит в божий дом
Отступник божьего устава!»

Он рек. И суд неправый тот
С великим воплем внял народ.
И братья молят о пощаде.
Но рыцарь, с кротостью во взгляде,
Отдав вождю земной поклон,
Одежды снял и вышел вон
Под негодующие клики.
И вот светлеет взор владыки.

Он молвил: «Сын мой! Этот бой
Труднейшим был. Вернись в обитель,
И да украсит крест святой
Твою покорность, победитель!»

ПОРУКА

Мерос проскользнул к Дионисию в дом,
Но скрыться не мог от дозорных,—
И вот он в оковах позорных
Тиран ему грозно: «Зачем ты с мечом
За дверью таился, накрывшись плащом?» —
«Хотел я покончить с тираном». —
«Распять в назиданье смутьянам!»

«О царь! Пусть я жизнью своей заплачу —
Приемлю судьбу без боязни.
Но дай лишь три дня мне до казни:
Я замуж сестру мою выдать хочу.
Тебе же, пока не вернусь к палачу,
Останется друг мой порукой.
Солгу — насладись его мукой».

И, злобный метнув на просящего взгляд,
Тиран отвечает с усмешкой:
«Ступай, да смотри же — не мешкай.
Быстрее мгновенья три дня пролетят,
И если ты в срок не вернешься назад,
Его я на муку отправлю,
Тебя ж на свободе оставлю».

И к другу идет он, «Немилостив рок!
Хотел я покончить с проклятым,
И быть мне, как вору, распятым,
Но дал он трехдневный до казни мне срок,
Чтоб замуж сестру мою выдать я мог.
Останься порукой тирану,
Пока я на казнь не предстану».

И обнял без слов его преданный друг
И тотчас к тирану явился,

Мерос же в дорогу пустился.
И принял сестру его юный супруг,
Но солнце обходит уж третий свой круг,
И вот он спешит в Сиракузы,
Чтоб снять с поручителя узы.

И хлынул невиданный ливень тогда.
Уже погружает он посох
В потоки на горных откосах.
И вот он выходит к реке, но беда! —
Бурлит и на мост напирает вода,
И груда обломков чугунных
Гремит, исчезая в бурунах.

Он бродит по берегу взад и вперед,
Он смотрит в смятенье великому,
Он будит безмолвие криком,—
Увы, над равниной бушующих вод
Лишь ветер, беснуясь, гудит и ревет;
Ни лодки на бурном просторе,
А волны бескрайны, как море.

И к Зевсу безумный подъемлет он взгляд
И молит, отчаянья полный:
«Смири исступленные волны!
Уж полдень, часы беспощадно летят,
А я обещал, лишь померкнет закат,
Сегодня к царю воротиться,—
Иль с жизнию друг мой простится».

Но тучи клубятся, и ветер жесток,
И волны спибаются люто.
Бежит за минутой минута...
И страх, наконец, в нем решимость зажег;
Он смело бросается в грозный поток,
Валы рассекает руками,
Плывет — и услышан богами!

И снова угрюмою горной тропой
Идет он и славит Зевеса,
Но вдруг из дремучего леса,

Держа наготове ножи пред собой,
Выходят разбойники буйной толпой;
И, путь преграждая пустынныи,
Грозит ему первый дубиной.

И в вопле Мероса — смертельный испуг:
«Клянусь вам, я ниц! Не владею
И самою жизнью своею!
Оставьте мне жизнь, иль погибнет мой друг!»
Тут вырвал у вора дубину он вдруг,—
И шайка спасается в страхе,
Три трупа оставив во прахе.

Как жар сицилийского солнца жесток!
Как ломит колени усталость!
А сколько до цели осталось!
«Ты силы мне дал переплыть чрез поток,
Разбойников ты одолеть мне помог,—
Ужель до царя не дойду я
И друга распнет он, ликуя!»

Но что там? Средь голых и выжженных круч
Внезапно журчанье он слышит...
Он верить не смеет, не дышит...
О чудо! Он видит: серебряный ключ,
Так чист и прозрачен, так нежно певуч,
Сверкает и манит омыться,
Гортань освежить и напиться.

И вновь он шагает, минуя в пути
Сады, и холмы, и долины.
Уж тени глубоки и длинны.
Два путника тропкой идут впереди.
Он шаг ускоряет, чтоб их обойти,
И слышит слова их: «Едва ли —
Мы, верно, на казнь опоздали».

Надежда и страх его сердце теснят,
Летят, не идут его ноги.
И вот — о великие боги! —
Пред ним Сиракузы, пылает закат,

И верный привратник его Филострат,
Прождавший весь день на пороге,
Навстречу бежит по дороге.

«Назад, господин! Если друга не спас,
Хоть сам не давайся им в руки!
Его повели уж на муки.

Он верил, он ждал тебя с часу на час,
В нем дружбы священный огонь не погас,
И царь наш в ответ на глумление
Лишь гордое встретил презренье».

«О, если уж поздно, и он на кресте,
И предал я друга такого,
Душа моя к смерти готова.
Зато мой палач не расскажет нигде,
Что друг отказался от друга в беде!
Он кровью двоих насладится,
Но в силе любви убедится».

И гаснет закат, но уж он у ворот,
И видит он крест на агоре,
Голов человеческих море.
Веревкою связанный, друг его ждет,
И он раздвигает толпу, он идет.
«Тиран! — он кричит.— Ты глумился,
Но видишь — я здесь! Я не скрылся!»

И в бурю восторженный гул перерос,
Друзья обнялись, и во взоре
У каждого радость и горе;
И нет ни единого ока без слез;
И царь узнает, что вернулся Мерос,
Глядит на смятенные лица,—
И чувство в царе шевелится.

И он их велит привести перед трон,
Он влажными смотрит очами:
«Ваш царь побежденный пред вами;
Он понял, что дружба — не призрак, не сон,
И с просьбою к вам обращается он:
На диво грядущим столетьям
В союз ваш принять его третьим».

ЭЛЕВЗИНСКИЙ ПРАЗДНИК

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетеите;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых
И пеньем благую Цереру встречайте.
Церера сдружила враждебных людей,
Жестокие нравы смягчила
И в дом постоянный меж нив и полей
Шатер подвижной обратила.

Робок, наг и дик, скрывался
Трогладит в пещерах скал;
По полямnomad скитался
И поля опустошал;
Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен, бегал по лесам...
Горе брошенным волнами
К неприютным их берегам!

С Олимпийских вершин
Сходит мать Церера вслед
Похищенной Прозерпины.
Дик лежит пред нею свет:
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блестают на пирах,
Лишь дымятся там остатки
На кровавых алтарях;
И куда печальным оком
Там Церера не глядит:
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

«Ты ль, Зевесовой рукою
Сотворенный человек?
Для того ль тебя красою
Олимпийскою облек

Бог богов и во владенье
Мир земной тебе отдал,
Чтоб ты в нем, как в заточенье
Узник брошенный, страдал?

Иль ни в ком между богами
Сожаленья к людям нет
И могучими руками
Ни один из бездны бед
Их не вырвет? Знать, к блаженным
Скорбь земная не дошла?
Знать, одна я огорченным
Сердцем горе поняла?

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью-землею
Он вступил в союз навек;
Чти закон времен спокойной,
Знай теченье лун и лет,
Знай, как движется под стройной
Их гармониею свет».

И мгновенно расступилась
Тьма, лежавшая на ней,
И небесная явилась
Божеством пред дикарей.
Кончив бой, они, как тигры,
Из черепьев вражных пьют
И ее на зверски игры
И на страшный пир зовут.

Но богиня, с содроганьем
Отвратясь, рекла: «Богам
Кровь противна; с сим даяньем
Вы, как звери, чужды нам.
Чистым чистое угодно;
Дар, достойнейший небес:
Нивы голос первородной
Сок оливы, плод древес».

Тут богиня исторгает
Тяжкий дротик у стрелка,
Острием его пронзает
Грудь земли ее рука;
И берет она живое
Из венца главы зерно,
И в пронзенное земное
Лоно брошено оно.

И выводит молодые
Классы тучная земля;
И повсюду, как златые
Волны, зыблются поля;
Их она благословляет
И, колосья в сноп сложив,
На смиренный возлагает
Камень жертву первых нив.

И гласит: «Прими даянье,
Царь Зевес, и с высоты
Нам подай знаменование,
Что доволен жертвой ты.
Бечный бог, сними завесу
С них, не знающих тебя:
Да поклоняются Зевесу,
Сердцем правду возлюбя».

Чистой жертвы не отринул
На Олимпе царь Зевес;
Он во знамение кинул
Гром излучистый с небес:
Вмиг алтарь воспламенился,
К небу жертвы дым взлетел;
И над ней горе явился
Зевсов пламенный орел.

И чудо проникло в сердца дикарей;
Упали во прах перед дивной Церерой;
Исторгнулись слезы из грубых очей,
И сладкой сердца растворилися верой.

Оружие кинув, теснятся толпой
И ей воздают поклоненье,
И с видом смиренным, покорной душой
Приемлют ее поученье.

С высоты небес нисходит
Олимпийцев светлый сонм;
И Фемида их предводит,
И своим она жезлом
Ставит грани юных, жатвой
Озлатившихся полей
И скрепляет первой клятвой
Узы первые людей.

И приходит благ податель,
Друг пиров, веселый Ком;
Бог, ремесл изобретатель.
Он людей дружит с огнем;
Учит их владеть клещами;
Движет мехом, млатом бьет
И искусными руками
Первый плуг им создает.

И вослед ему Паллада
Копьеносная идет
И богов к строению града
Крепостного зовет:
Чтоб приютно-безопасный
Кров толпам бродящим дать
И в один союз согласный
Мир рассеянный собрать.

И богиня утверждает
Града нового чертеж;
Ей покорный, означает
Термин камнями рубеж.
Цепью смерена равнина,
Холм глубоким рвом обвит;
И могучая плотина
Гранью бурных вод стоит.

Мчатся Нимфы, Ореады
(За Дианой, по лесам,
Чрез потоки, водопады,
По долинам, по холмам,
С звонким скачущие луком);
Блещет в их руках топор;
И обрушился со стуком
Побежденный ими бор.

И, Палладою призванный,
Из зеленых вод встает
Бог, осокою венчанный,
И тяжелый строит плот;
И, сияя, низлетают
Орлы легкие с небес
И в колонну округляют
Суковатый ствол древес.

И во грудь горы вонзает
Свой трезубец Посидон,
Слой гранитный отторгает
От ребра земного он;
И в руке своей громаду
Как песчинку он несет
И огромную ограду
Во мгновенье создает.

И вливает в струны пенье
Светлоглавый Аполлон:
Пробуждает вдохновенье
Их согласно-мерный звон;
И веселые Камены
Сладким хором с ним поют;
И красивых зданий стены
Под напев их восстают.

И творит рука Цибелы
Створы врат городовых:
Держат петли их дебелы,
Утвержден замок на них;

И чудесное творенье
Довершает, в честь богам,
Совокупное творенье
Всех богов, великий храм.

И Юнона, с оком ясным,
Низлетев от высоты,
Сводит с юношей прекрасным
В храме деву красоты;
И Киприда обвивает
Их гирляндою цветов,
И с небес благословляет
Первый брак отец богов.

И с торжественной игрою
Сладких лир, поющих в лад,
Вводят боги за собою
Новых граждан в новый град;
В храме Зевсовом царица,
Мать Церера там стоит,
Жжет курения, как жрица,
И пришельцам говорит:

«В лесе ищет зверь свободы,
Правит всем свободно бог,
Их закон — закон природы.
Человек, прияв в залог
Зоркий ум — звено меж ними,—
Для гражданства сотворен:
Здесь лишь нравами одними
Может быть свободен он».

Сшивайте венцы из колосьев златых,
Цианы лазурные в них заплетеите;
Сбрайтесь плясать на коврах луговых
И с пеньем благую Цереру встречайте!
Всю землю богинин приход изменил:
Признавши ее руководство,
В союз человек с человеком вступил
И жизни постиг благородство.

СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Друзья, на коней! Покидаем ночлег!
В широкое поле ускачем.
Лишь там не унижен еще человек,
Лишь в поле мы кое-что значим.
И нет там заступников ни у кого,—
Там каждый стоит за себя самого.

Свободы теперь на земле не найдешь —
Застыли рабы на коленях;
И властвуют злоба, коварство и ложь
В трусливых людских поколеньях.
И только солдат никому не слуга,
Он смерти самой обломает рога!

Он страха не знает, робеть не привык,
Опасность его не тревожит;
Навстречу судьбе он летит напрямик
И завтра с ней встретиться может.
Что ж, завтра так завтра! А нынче сердца
Остаток веселья допьют до конца!

Он счастья не клянчит, а в битвах берет.
Шлет небо удачу герою.
Батрак, тот в земле копошится, как крот:
«Здесь,— думает,— клад я отрою!»
Он роет и роет, покорный судьбе,
А выроет только могилу себе.

Вот в замок, где люстры сияют в окне,
Сверкают, как сотни жемчужин,
Непрошенный гость на горячем коне
Прискакет на свадебный ужин.
Не даст он подарков, не станет ждать,
А выкуп любовью велит подать!

С чего тебя, девка, тоска извела?
Не плачь, все равно не поможет!
Ведь нет у него своего угла,

И верность хранить он не может:
Простится с тобой — и помчится к другим,
Военной судьбою по свету гоним.

Вставайте ж, товарищи! Кони храпят,
И сердце ветрами продuto.
Веселье и молодость брагой кипят.
Ловите святые минуты!
Ставь жизнь свою на кон в игре боевой,
И жизнь сохранишь ты, и выигрыш — твой!

ЖАЛОБА ДЕВУШКИ

Дубы расшумелись,
И туча летит;
В траве над водою
Пастушка сидит.
У ног ее плещет волна, волна,
И во мраке печально вздыхает она,
Ей взоры слеза затемнила.

«И сердце разбито,
И пуст весь свет,
И больше желаний
Не будет и нет.
Позвать свою дочь, богоматерь, вели,
Уже я изведала счастье земли,
Уже отжила, отлюбила».

«Бессильные слезы,
Напрасен их бег,
Твой стон не разбудит
Умерших вовек;
Но ты утешенье мне назови,
Скажи, чем помочь от несчастной любви,—
И я помогу благосклонно».

«Пусть слезы бессильны,
Напрасен их бег,
Пусть стон не разбудит

Умерших вовек —
Но знай, богоматерь, и всем объяви:
Что слаще всего при погибшей любви
Любовные муки и стоны!»

Н Е Н И Я

Смерть суждена и Прекрасному — богу людей и
бессмертных.

Зевса стигийского грудь, меди подобно, тверда,
Раз лишь достигла любовь до властителя сумрачных
теней,

Но при пороге еще строго он отнял свой дар.
Не уладить Афродите прекрасного юноши рану,
Венеру беспощадно красу тела его растерзал.
И бессмертная мать не спасла великого сына:

Пал он у скейских ворот волей державных судеб...
Но она вышла из моря в сонме дщерей Нерея,
В жалобах ожил опять славный делами герой.
Видишь: боги рыдают и плачут богини Олимпа,
Что совершенному — смерть, смерть красоте суждена.
Даже и песнью печали славно в устах быть любимых,
Только ничтожное в Орк сходит без звуков любви.





ПЕСНЬ О КОЛОКОЛЕ

Vivos voco. Mortuos plango.
Fulgura frango¹.

Вот уж форма затвердела,
Обожженная огнем.
Веселей, друзья, за дело —
Выльем колокол! Начнем!

Пусть горячий пот
По лицу течет,—
Труд наш, если бог поможет,
Славу мастера умножит.

В счастливый миг, с дерзаньем новым
И речи мудрые придут:
Ведь, сдобренный разумным словом,
Живей и радостнее труд.
Итак, все вдумчиво обсудим,
Чтоб не трудиться наугад.
Презренье тем ничтожным людям,
Что необдуманно творят.
В том человеку украшенье
И честь, живущая века,
Что сердцем чует он значенье
Того, что делает рука.

¹ Живых призываю. Мертвых оплакиваю. Молнии ломаю
(лат.).

Больше в яму положите
Дров сосновых, дров сухих,
Чтобы сжатое в укрытие
Пламя охватило их.

Медь сперва расплавь,
Олова прибавь,
Чтобы к вящей нашей славе
Все слилось в едином сплаве!

И то, что ныне в яме темной
Рука усердная вершит,
С высокой башни в мир огромный
О нашей славе возвестит;
И, трогая сердца людские,
Потомков звоном будет звать,
Сливаться с хором литургии,
В груди скорбящего рыдать;
И что сынам земли в наследье
Во мгле готовит рок слепой,
Все отзовется в гулкой меди
Тысячекратною волной.

Цель все ближе час от часу:
Плавка в блестках пузырей.
Поташу прибавьте в массу,
Чтобы плавилась быстрей.

Живо, не зевай!
Пену всю снимай!
Чтоб металл и наших внуков
Трогал чистотою звуков.

Пусть колокол, зовя к веселью,
Пошлет к младенцу свой привет,
Когда, склоняясь над колыбелью,
Мать сторожит его рассвет,
Пока в объятьях сладкой дремы
Он мир встречает незнакомый
И дремлют в золотом тумане
Его надежды и желанья.
Но год за годом мчится вслед,
И, верный доброму завету,

Уходит отрок, вдаль влеком;
Он бродит с посохом по свету
И вновь вступает в отчий дом.
И здесь, как неземное диво,
Вдруг видит юный пилигрим:
Ресницы опустив стыдливо,
Подруга детства перед ним.
И вот, с тоской невыразимой
В глуби встревоженной души,
Он ловит каждый взгляд любимой
И тайно слезы льет в тиши;
Вздыхая, бродит вслед за нею,
Покинув шумный круг друзей;
В полях срывает он лилею
И молча преподносит ей.
О грезы счастья, трепет тайный!
Любови первый светлый сон!
Душа открылся мир бескрайний,
И взор блаженством озарен!
О, если б, вечно расцветая,
Сияла нам пора златая!

Смесь бурлит водоворотом,
Стрежень опущу в струю:
Чуть покроется налетом —
Время приступать к литью
А теперь ковшом
Пробу зачерпнем
И проверим живо, все ли
Там слилось по нашей воле.

Где сила с лаской в дружной смеси,
Тепло и строгость в равновесье,
Там звук отменно чист всегда.
И тот, кто друга выбирает,
Пусть сердцем сердце проверяет,—
Ведь грезам — день, слезам — года.
Вот невеста молодая,
Вокруг чела венок лежит.
В божий храм людей скликая,
Медный колокол гудит.

Ах, мгновенье золотое!
Праздник счастья и весны!
Вместе с поясом, с фатою
Неземные тают сны.
Жар сердца пройдет,
Любовь остается.
Цветок опадет,
Но плод разовьется.
Муж выйдет в простор
Житейского поля;
Чтоб радостной доли
И счастья добиться,
Он будет трудиться,
С людьми состязаться,
В борьбе изощряться,
За благом гоняться.
И вот уж добро без конца и без края
В амбары течет, наполняет сараи;
И множатся службы, и ширится двор.
И всюду хозяйка
Царит молодая,
Мать нежных малюток:
И правит с уменьем
Семьею, именьем,
И девочек учит,
И мальчиков школит,
И вечно в заботе,
В движенье, в работе,
И дом бережет,
И множит доход,
И в ларчик душистый собирает пожитки,
И крутит на прядке немолкнувшей нитки,
И прячет в сундук стародавних времен
Волнистую шерсть и мерцающий лен,
И мир охраняет семейного круга,
Не зная досуга.

И с балкона дома отец,
Все хозяйство взглядом окинув —
В новом доме каждый венец,
Двор, сараи из свежих бревен,

Скирды хлеба с крышей вровень,
Скот в задворье жирный, сытый,
В поле волны зреющего жита,—
Молвит, гордый собой:
«Создан моим трудом,
Против беды любой
Век устоит мой дом!»
Но судьба хитра и лжива,
Краток с ней союз счастливый:
Срок пришел — и горе в дом.

Смесь уже давно поспела:
Весь в зазубринах излом.
Подставляйте желоб смело,
И с молитвою начнем.
Краны открывай!
Боже, счастья дай!
Дай нам счастья и удачи
В форму слить металлы горячий!

Огонь священный! Испокон
Великих благ источник он.
За все, что строим, что творим,
В душе огонь благодарим.
Но страшен этот дар богов,
Когда, свободный от оков,
Лавиной с каменных вершин
Летит он, неба вольный сын.
Горе, если невозбранно
Мчится он, неудержим,
С дикой силой урагана
По строеньям городским:
Ведь стихии обуяны
Злобою к делам людским.
Вот из тучи
Льется щедро
Дождь могучий.
Но из тех же черных туч —
Молний луч.
Чу, набат на башне бьют!
Все бегут!

Багровеет
Небосвод!
То не солнечный восход:
Гарью веет.
Дым столбом.
Гул кругом.
Клокоча и свирепея,
Смерча дикого быстрее
Вются огненные змеи.
Пышет жар; огнем объятыи,
Рухнул дом; трещат накаты;
Душен воздух раскаленный.
Плачут дети, плачут жены,
С воем звери
Бятся в двери,
Люди мечутся, как тени,—
Все бежит, ища спасенья.
Ночь светла, как день весенний.
По рукам легко и бодро
Мчатся ведра,
В небо бьют воды потоки...
Вдруг сорвался вихрь жестокий,
Закружился, и, стена,
Подхватил он столб огня;
И, сдружившись, две стихии
В бревна бросились сухие,
На дощатые сараи.
Будто в ярости желая
Закружить весь шар земной
В страшной выноге огневой,
Вверх поднялся коловертью
Исполин!
Средь руин,
Отступив пред высшей силой,
Человек стоит уныло,
Видя все в объятьях смерти.

Стихло все.
В пепелище
Сиротливо ветер свищет,
Бродит ужас,

И в оконницы слепые
Смотрят тучи грозовые
С высоты.

Бросив взор,
Взор прощальный,
На печальный,
Черный, опустевший двор,
Хозяин в путь собрался дальний.
Пусть все под пеплом, все мертвое,—
Он тем утешен, слава богу,
Что, сосчитав родных с тревогой,
Увидел — все вокруг него.

Форма налита, как чаша.
Славно потрудились мы!
Но каким созданье наше
Выйдет в божий свет из тьмы?
Вдруг да сплав не тот?
Вдруг да газ пройдет?
И пока работа длится,
В двери к нам беда стучится.

В родной земли святое лоно
Мы льем горячий сплав, равно
Как пахарь лучшее зерно
Бросает с верой непреклонной,
Что в добный час взойдет оно.
Как плод, что жизни нам дороже,
Земле мы с верой предаем,
Что встанет с гробового ложа
Он в мире радостном, ином..

С башни дальней
В небосвод
Погребальный
Звон плывет.
Провожает колокол сурово
В путь последний странника земного.

Ах, то верная супруга,
Мать малюток неутешных,
Отошла в долину смерти
От любви и ласки друга,

От хозяйства, от детей,
Что росли на радость ей
День за днем, за годом год
Под лучом ее забот.

Ах, судьба без сожаленья
Дома связь разорвала,
Обитает в царстве теней
Та, что матерью была!
Вместе с ней любовь святая,
Кротость нежная ушла.
Скоро в дом войдет чужая —
Без любви и без тепла.

Что ж, пока не остынет
Медь, чтобы колоколом стать,
Беззаботен, словно птица,
Каждый может отдыхать.
Звездочки горят.
Подмастерье рад:
Звон его вечерний манит.
Только мастер вечно занят.

Одиночко в роще темной
Путник весело шагает
К хижине своей укромной.
У ворот толпятся овцы,
И вразвалку
Крутолобые коровы
В стойло сумрачное входят.
Воз тяжелый
Со снопами
Подъезжает.
Он венками
И цветами
Весь повит.
Вот идут с веселой песней
Толпы юниц.
Стихли улицы и рынок;
Собралась вокруг лампады
Вся семья; и городские,
Скрипнув, заперлись ворота.

Ночь ложится.
Но спокойный,
Мирный житель не боится
Тьмы густой:
В ней, быть может, зло таится,
Но не спит закон святой.

О святой порядок — дивный
Сын богов, что в неразрывный
Круг связует всех, кто равны,
Городов зиждитель славный,
Что с полей ли, из лесов ли
Дикарей собрал под кровли,
Их спаял в единой речи,
Нрав привил им человечий,
Дал им для совместной жизни
Высший дар — любовь к отчизне!
Сотни душ в одном порыве,
В сопряжение дружных рук
Трудятся на мирной ниве,
Охраняют общий круг.
Каждый счастлив, каждый волен,
И, как равный средь людей,
Кто работает, доволен
Скромной участью своей.
Труд — народов украшенье
И ограда от нужды.
Королю за трон почтенье,
Нам почтенье — за труды!

Мир блаженный,
Дух единства,
Охраняйте
Стражей верной город наш!
Пусть отныне не ворвутся
Злые вражеские толпы
В эту тихую долину,
Где извечно
В синей чаше поднебесья
Тишина.

Пусть же города и веси
Кровью не зальет война!

Разберите бревна сруба:
Отслужил — долой его!
Ах, как сердцу видеть любо
Смелой мысли торжество!
Бей по форме, бей!
Смело, не робей!
Чтобы мира вестник новый
Нам явился без покрова!

Разбить ее имеет право
Лишь мастер мудрою рукой.
Но горе, если хлынет лава,
Прорвавшись огненной рекой!
С громовым грохотом на части
Она взрывает хрупкий дом
И, словно пламя адской пасти,
Все губит на пути своем!
Где диких сил поток развязан,
Там путь к искусству нам заказан;
Где торжествует своеволье,
Нет ничего святого боле.

И горе, если накопится
Огонь восстанья в городах,
И сам народ крушит темницы
И цепи разбивает в прах.
И меди грозные раскаты
Раскальвают небосвод:
То колокол — любви глашатай —
Призыв к насилию подает.

Бегут с оружьем горожане,
«Свобода! Равенство!» — орут.
Кипит на площади восстанье,
Вершит свой беспощадный суд.
И жены в этот час суровый,
Свирепей тигров и волков,
Зубами разрывать готовы
Сердца испуганных врагов.

Здесь все забыто: благочестье,
Добро и дружба: вместо них —
Разгул вражды и черной мести
И пиршество пороков злых.
Опасен тигр, сломавший двери,
Опасно встретиться со львом,—
Но человек любого зверя
Страшней в безумии своем.
И горе тем, кто поручает
Светильник благостный слепым:
Огонь его не светит им,
Лишь стогны в пепел превращает.

Боже, радость нам какая!
Вот по милости творца
Колокол стоит, сверкая
От ушка п до венца.
Зорькой золотой
Блещет шлем литой,
И в гербе горит реченье,
Славя новое творенье.

Друзья, кольцом
Вокруг колокола тесно станем
И, верные благим желаньям,
Его Согласьем наречем.
К единству, дружбе, благостыне
Пусть он людей зовет отныне;
И в мире то исполнит он,
Чему он нами посвящен.

Пусть, в небесах паря над нами,
Над жизнью жалкою земной,
Перекликается с громами,
С далкой звездною страной,
И свой глагол вольет по праву
В хорал блуждающих планет,
Создателю поющих славу,
Ведущих вереницу лет.
И пусть, рожденный в темной яме,
О светлом вечном учит нас.

И Время легкими крылами
Его тревожит каждый час.
Велениям судьбы послушный
И сам к страданьям глух и слеп,
Пусть отражает равнодушно
Игру изменчивых судеб.
И звуком, тающим в эфире,
В свой мир последний возвестит,
Что все непрочно в этом мире,
Что все земное отзовет.

Ну-ка, дружно за канаты!
Вознесем его в простор,
В царство звуков, под богатый
Голубых небес шатер!
Взяли! Разом! В ход!
Тронулся! Идет!
Пусть раздастся громче, шире
Первый звон его о *Mire!*

ИЗРЕЧЕНИЕ КОНФУЦИЯ

Меры мира нам даны:
Бесконечен путь *длины* —
Чужд ей отдых и граница,
Вечно *ширина* струится,
И бездонна *глубина*.

Если сможешь, будь таким:
Вечно будь неутомим;
Завершишь любое дело,
Лишь не ведая предела.
Пусть поможет *ширина*
Мир тебе узреть сполна;
А в *глубинах* *мирозданья*
Обретешь ты суть познанья.

Лишь в упорстве твой успех.
Ясность — в широте таится,
В безднах истина гнездится.

СЛОВА БЕЗУМИЯ

Три слова мы слышим от добрых и злых,
Звучат они, полны значенья,
Но смысла напрасно отыскивать в них,
Напрасно в них ждать утешенья.
Вся жизнь человека бесплодна, как сон,
Пока лишь за тенью гоняется он,

Пока он все верит в тот век золотой,
Где правда с добром побеждает,—
Попрежнему длится их спор вековой,
Но вечно их враг оживает.
Когда, побежденный, лежит он в пыли,
Он новые силы берет из земли.

Напрасно трудиться тому суждено,
Кто счастье с добром сочетает;
Не добрым всегда улыбнется оно,
Не им оно мир обещает;
Они же проходят тяжелой стезей
И ищут далеко чертог вековой.

Все тщетно, пока наш рассудок земной
Ждет истины вечной виденья:
Покров ее смертной не сбросить рукой,
У нас лишь догадки, сомненья.
В слова ты хотел бы свой дух заковать,—
Свободный, он в буре умчится опять.

Покинь же смелее безумный твой бред,
Лишь веру свою сохраняя!
Невнятный есть звук и невидимый свет —
И в них только правда святая.
Наруже безумец лишь ищет того,
Что вечно таится в груди у него.





К ГЕТЕ,
КОГДА ОН ПОСТАВИЛ «МАГОМЕТА»
ВОЛЬТЕРА

Не ты ли, кто от гнета ложных правил
К природе нас и правде возвратил
И, с колыбели богатырь, заставил
Смириться змея, что наш дух сдавил,
Кто взоры толп к божественной направил
И жреческие ризы обновил,—
Пред рухнувшими служишь алтарями
Порочной музе, что не чтится нами?

Родным искусствам царствовать довлеет
На этой сцене, не чужим богам.
И указать на лавр, что зеленеет
На нашем Пинде, уж нетрудно нам.
Германский гений, не смущаясь, смеет
В искусство святилище спускаться сам,
И, вслед за греком и британцем, вправе
Он шествовать навстречу высшей славе.

Там, где рабы дрожат, тираны правят,
Где ложный блеск тщеславиться привык —
Творить свой мир искусство не заставят,—
Иль гений при Людовиках возник?
На ремесло свои богатства плавит
Художник, не сокровища владык;
Лишь с правою обручено искусство,
Лишь в вольных душах загорится чувство.

Не для того, чтоб вновь надеть оковы,
Ты старую игру возобновил,
Не для того, чтоб к дням вернуть нас снова
Младенчески-несовершенных сил.
Ты встретил бы отпор судеб суровый,
Когда бы колесо остановил
Времен, бегущих обручем крылатым:
Восходит новь, былому нет возврата.

Перед театром ширятся просторы,
Он целый мир шумливый охватил;
Не пышных слов блестящие уборы —
Природы точный образ сердцу мил;
Не чопорные нравы, разговоры —
Герой людские чувства затвердил,
Язык страстей гремит свободным взрывом,
И красота нам видится в правдивом.

Но плохо слажен был возок феспийский,
Он с утлой лодкой Ахерона схож:
Лишь тени встретишь на волне стигийской;
Когда же ты живых в ладью возьмешь?
Ей кладь не вынести на берег близкий,
Одних лишь духов в ней перевезешь.
Пусть плоти зыбкий мир не обретает:
Где жизнь груба — искусство увядает.

Ведь на подмостках деревянной сцены
Нас идеальный мир спешит объять,
Здесь подлинны лишь чувств живые смены.
Растягованность ужель безумством звать!
Но дышит правдой голос Мельпомены,
Спешащий небылицу передать;
И эта сказка часто былью мнилась,
Обманщица живою притворилась.

Грозит искусство сцену бросить ныне.
Свой дикий мир фантазия творит —
С театром жизнь смешать, в своей гордыне,
С возвышеннейшим низкое спешит.
Один француз не изменил богине,
Хоть он и вровень с высшим не стоит,

И, взяв искусство в жесткие оковы,
Не даст поколебать его основы.

Ему подмостки шаткие священны,
И изгонять он издавна привык
Болтливой жизни шум несовершенный,—
Здесь песней стал суровый наш язык.
Да, это мир — в величье неизменный!
Здесь замысел звеном к звену приник,
Здесь строгий свод священный храм венчает
И жест у танца прелесть занимает.

Французу мы не поклонимся снова,
В его вещах живой не веет дух,
Приличьем чувств и пышным взлетом слова
Привыкший к правде не прельстится слух.
Но пусть зовет он в лучший мир былого,
Пусть явится, как отопедший дух,—
Вернуть величье оскверненной сцене,—
В приют достойный, к древней Мельпомене.

ПЕСНЯ ПРИВАТНИКА

На смену ночи день идет,
И жаворонок песнь поет,
И с высоты небесной
Льет солнце свет чудесный.

Заглянет во дворец оно,
Посмотрит бедняку в окно,—
И все, что пряталось в ночи,
Вдруг озарят его лучи.

Вовеки господу хвала,
Чья воля дом сей берегла,
Чьих ангелов участье
Хранит наш мир и счастье.

О, сколько спящих вечным сном
Разлучены с лазурным днем!
Пускай же радуется тот,
Кто видит солнце, кто живет!

НЕМЕЦКАЯ МУЗА

Века Августа блистанье,
Гордых Медичей вниманье
Не пришлось на долю ей:
Не обласкана приветом,
Распустилась пышным цветом
Не от княжеских лучей.

Ей из отческого лона,
Ей от Фридрихова трона
Не курился фимиам.
Может сердце гордо биться,
Может немец возгордиться:
Он искусство создал сам.

Вот и льнет к дуге небесной,
Вот и бьет волной чудесной
Наших песен вольный взлет;
И в своем же изобилье
Песнь от сердца без усилия
Разбивает правил гнет.

АНТИЧНЫЕ СТАТУИ В ПАРИЖЕ

Все, что дали греку музы,
Пусть насильственно французы
Увезут в свою страну.
Пусть блестящие музеи
Примут пышные трофеи,
Увенчавшие войну.

Нет, они, во власти галла,
Не покинут пьедестала
Для французской солдатни.
Музами лишь тот владеет,
Кто их трепетно лелеет.
Камень — варварам они.





НАЧАЛО НОВОГО ВЕКА

Где приют для мира уготован?
Где найдет свободу человек?
Старый век грозой означенован,
И в крови родился новый век.

Сокрушились старых форм основы,
Связь племен разорвалась; бог Нил,
Старый Рейн и океан суровый —
Кто из них войне преградой был?

Два народа, молнии бросая
И трезубцем двигая, шумят,
И, дележ всемирный совершая,
Над свободой страшный суд творят.

Злато им, как дань, несут народы,
И, в слепой гордыне буйных сил,
Франк свой меч, как Брени в былые годы,
На весы закона положил.

Как полип тысячерукий, бритты
Цепкий флот раскинули кругом
И владенья вольной Амфитриты
Запереть мечтают, как свой дом.

След до звезд полярных пролагая,
Захватили, смелые, везде
Острова и берега, но рая
Не нашли и не найдут нигде.

Нет на карте той страны счастливой,
Где цветет златой свободы век,
Зим не зная, зеленеют нивы,
Вечно свеж и молод человек.

Пред тобою мир необозримый!
Мореходу не объехать свет!
Но на всей земле неизмеримой
Десяти счастливцам места нет.

Заключись в святом уединснье,
В мире сердца, чуждом суеты!
Красота цветет лишь в песнопенье,
А свобода — в области мечты.

ЖЕЛАНИЕ

Озарися, дол туманный,
Расступися, мрак густой;
Где найду исход желанный?
Где воскресну я душой?
Испещренные цветами,
Красны холмы вижу там...
Ах! зачем я не с крылами?
Полетел бы я к холмам.

Там поют согласны лиры,
Там обитель тишины;
Мчат ко мне оттоль зефиры
Благовония весны;
Там блестят плоды златые
На сенистых деревах,
Там не слышны вихри злые
На пригорках, на лугах.

О предел очарованья!
Как прелестна там весна!
Как от юных роз дыханья
Там душа оживлена!
Полечу туда... напрасно!
Нет путей к сим берегам:
Предо мной поток ужасной
Грозно мчится по скалам.

Лодку вижу... где ж вожатый?
Едем!.. Будь, что суждено!..
Паруса ее крылаты,
И весло оживлено.
Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес;
Нам лишь чудо путь укажет
В сей волшебный край чудес.

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА

Чтоб высмеять величье человека,
Тебя насмешка затоптала в прах.
Шутник с прекрасным во вражде от века,
Он ангелов не видит в облаках;
Заветный клад у сердца похищая,
Мечту и веру губит ложь земная.

Но чья, как ты, земли святое детство,
Сама, как ты, пастушкой рождена,
Поэзия далась тебе в наследство,
С тобою к звездам взреяла она.
Тебя влекла ее благая сила;
Бессмертна ты, тебя душа творила.

Да! Чистое чернится не впервые,
И доблесь в прах затоптана стократ.
Но не страшись! Еще сердца людские
Прекрасным и возвышенным горят.
На рынке Мом царит без разделенья;
Высокий ум чтит высшие виденья.

ГЕРО И ЛЕАНДР

Видишь — там, где в Дарданеллы,
Изумрудный, синий, белый,
Геллеспонта плещет вал,
В блеске солнца золотого
Два дворца глядят сурово
Друг на друга с темных скал.
Здесь от Азии Европу
Отделила бездна вод,
Но ни бурный вал, ни ветер
Уз любви не разорвет.

В сердце Геро, уязвленном
Беспощадным Купидоном,
Страсть к Леандру расцвела;
И в ответ ей — смертной Гебе —
Вспыхнул он, стрелою в небе
Настигающий орла.
Но меж юными сердцами
Встал отцов нежданный гнев;
И до срока плод волшебный
Поникает, не созрев.

Где, штурмую Сест надменный,
Геллеспонт громадой пениной
Бьет в незыблемый утес,
Дева юная сидела
И, печальная, глядела
На далекий Абидос.
Горе! Нет моста к Леандру,
Нет попутного челна,—
Но любовь не знает страха,
И везде пройдет она.

Обернувшись Ариадной,
Тьмой ведет нас непроглядной,
Вводит смертных в круг богов,
Льва и вепря в плен ввергает
И в алмазный плуг впряжен
Огнедышащих быков.
Даже Стикс девятикружный

Не преграда ей в пути,
Если тень она захочет
Из Аида увести.

И любовь Леандра гонит;
Лишь багряный шар потонет
За чертою синих вод,
Лишь померкнет день враждебный,—
Уж туда, в приют волшебный,
Смелый юноша плывет.
Рассекая грудью волны,
Он спешит сквозь мрак ночной
К той скале, где обещаньем
Светит факел смоляной.

Там, из плена волн студеных,
В плен восторгов потаенных
Он любимой увлечен:
И лобзаньям нет преграды,
И божественной награды
Полноту приемлет он.
Но заря счастливца будит,
И бежит, как сон, любовь,—
Он из пламенных объятий
В холод моря кинут вновь.

Так, в безумстве нег запретных,
Тридцать солнц прошло заветных,—
По таинственным кругам
Пронеслись они короче
Той блаженной брачной ночи,
Что завидна и богам.
О, лишь тот изведал счастье,
Кто срывал небесный плод
В темных безднах преисподней,
Над пучиной адских вод.

Непрестанно в звездном хоре
Мчится Веспер вслед Авроре;
Но счастливцам недосуг
Сожалеть, что роща вянет,
Что зима вот-вот нагрянет

В колеснице снежных выюг.
Нет, их радует, что рано
Скучный день уходит прочь,—
И не помнят, чем грозит им
Возрастающая ночь.

Вот сентябрь под зодиаком
Свет уравнивает с мраком,—
На утесе дева ждет,
Смотрит вдаль, где кони Феба
Вниз бегут по склону неба,
Завершая свой полет.
Неподвижен сонный воздух,
Точно зеркало чиста,
Синий купол отражая,
Дремлет ясная вода.

Там, сверкнув на миг спиною
Над серебряной волною,
Резвый выпрыгнул дельфин,
Там Фетиды влажной стая
Роем черных стрел, играя,
Из немых всплыла глубин.
Тайна страсти нежной зrima
Им одним из темных вод,
Но безмолвием Геката
Наказала рыбий род.

Глядя в синий мрак пролива,
Дева ласково и льстиво
Молвит: «О прекрасный бог!
Ты ль обманчив, ты ль неверен?
Нет! И лжив и лицемерен,
Кто тебя ославить мог!
Безучастны только люди,
И жесток лишь мой отец;
Ты же, кроткий, облегчаешь
Горе любящих сердец.

Безутешна, одинока,
Отцвела бы я до срока,
Дни влача, как в тяжком сне,—

Но твоя святая сила
Без моста и без ветрила
Мчит любимого ко мне.
Страшны мглы твоей глубины,
Грозен шум твоих валов,
Но отваге ты покорен,
Ты любви помочь готов.

Ибо сам во время оно
Стал ты жертвой Купидона —
В час, как бросив отчий дом,
Увлекая брата смело,
Поплыла в Колхиду Гелла
На баране золотом.
Вспыхнув страстью, в блеске бурн
Ты восстал из недр, о бог,
И красавицу в пучину
С пышнорунного совлек.

Там живет богиня с богом,
Тайный грот избрав чертогом,
В глуби волн бессмертной став;
Челн хранит рукой незримой
И, добра к любви гонимой,
Твой смиряет буйный нрав.
Гелла! Светлая богиня!
Я пришла к тебе с мольбой:
Приведи и ныне друга
Той же зыбкою тропой».

С неба сходит вечер мглистый.
Геро факел свой смолистый
Зажигает на скале,
Чтоб звездою путеводной
По равнине вод холодной
Вел он милого во мгле.
Но темнеет, пенясь, море,
Ветра свист и гром вдали;
Звезды краткие погасли,
Небо тучи облекли.

Ночь идет. Завесой темной
Хлынул дождь на Понт огромный,
Грозовым взмахнув крылом,
С гор, из дикого провала,
Буря вырвалась, взыграла —
Трепет молний, блеск и гром.
Вихрь сверлит, буравит волны,—
Черным зевом глубина,
Точно бездна преисподней,
Разверзается до дна.

Геро плачет: «Горе, горе!
Успокой, Кронион, море!
О мой рок! Не я ль виной?
Мне, безумной, вняли боги,
Если в гибельной дороге
С бурей бьется милый мой.
Птицы, вскормленные морем,
На земле приют нашли;
Не боящиеся ветра,
В бухте скрылись корабли.

Только мой Леандр и ныне,
Знаю, вверился пучине,—
Ибо сам в блаженный час,
Мощным богом вдохновенный,
Он мне дал обет священный,
И лишь смерть разделит нас.
В этот миг — о сжальтесь, оры! —
Обессиленный борьбой,
Он в последний раз, быть может,
Небо видит над собой.

Понт! Свирепая пучина!
Твой лазурный блеск — личина:
Ты неверен, ты жесток!
Ты его, коварства полный,
В притаившиеся волны
Лживой ясностью завлек.
И теперь, вдали от берега,

Беззащитного пловца
Всеми ужасами гонишь
К неизбежности конца».

Страшно бешенство стихии!
Ходят горы водяные,
Бьют в береговую твердь.
Горе! Горе! Час недобрый!
И корабль дубоворебрый
Здесь нашел бы только смерть.
Буря погашает факел,
Рвет спасительную нить.
Страшно быть в открытом море,
Страшно к берегу подплыть!

У великой Афродиты
Молит скорбная защиты
Для отважного пловца;
Ветру в дар закладь клянется,
Если милый к ней вернется,
Златорогого тельца;
Молит всех богов небесных,
Всех богинь подводной мглы
Лить смягчающее масло
На бурлящие валы.

«Помоги моей кручине,
Вновь рожденная в пучине,
Левкотея, встань из вод!
Кинь Леандру покрывало,
Как не раз его кидала
Жертвам бурных непогод,—
Чтоб, его священной ткани
Силой тайною храним,
Утопающий из бездны
Выплыл жив и невредим!»

И смолкает грохот бури.
В распахнувшейся лазури
Кони Эос мчатся ввысь..
Вновь на зеркало похоже,

Дремлет море в древнем ложе,
Скалы блестками зажглись,
И, шурша о берег мягко,
Волны к острову бегут
И, ласкаясь и играя,
Тело мертвое влекут.

Это он! И бездыханный —
Верен ей, своей желанной.
Видит хладный труп она
И стоит, как неживая,
Ни слезинки не роняя,
Неподвижна и бледна;
Смотрит в небо, смотрит в море,
На обрывы черных скал,—
И в лице бескровном пламень
Благородный заиграл.

«Я постигла волю рока:
Неизбежно и жестоко
Равновесье бытия.
Рано сниду в мрак могилы,
Но хвалю благие силы,—
Ибо счастье знала я.
Юной жрицей, о Венера,
Я вошла в твой гордый храм
И, как радостную жертву,
Ныне жизнь тебе отдан».

И она, светла, как прежде,
В белой взвившейся одежде,
С башни кинулась в провал.
И в объятия стихии
Принял бог тела святые
И приют им вечный дал.
И, безгневный, примиренный,
Вновь во славу бытию
Из великой светлой урны
Льет он вечную струю.





ПРИТЧИ И ЗАГАДКИ

1

Над серым озером высоко
Жемчужный перекинут мост.
Родившись во мгновенье ока,
Вознесся он до самых звезд.

Под аркою такого свода
Любые проплынут суда,
Но никакого пешехода
Еще не знал он никогда.

Рожден из вод, могуч и строен,
Растает он, как волшебство.
Так где же этот мост построен,
И кто соорудил его?

РАЗГАДКА

Сверкая жемчугами над водой,
Поднявшийся под самым небосводом,
Обязанный своим рожденьем водам
И тающий волшебно — мост чудесный
Людьми зовется *радугой небесной*.

Она с тобой далеко мчится —
 И все же с места не сойдет;
 Не машет крыльями, как птица,
 Но улетает в небосвод.
 Способна лишь ладья такая
 Нести тебя всего быстрей,—
 Быстрей, чем мысль, пересекая
 Огромнейшее из морей.
 Мгновения довольно ей.

Пасутся на большой долине
 Стада серебряных ягнят,
 И человек их видит ныне,
 Как много тысяч лет назад.

Стада поит вода живая,
 Их охраняет пастушок,
 Который, стадо созывая,
 Трубит в серебряный рожок.

В ворота, блещущие златом,
 Выводит он свои стада
 И, ночью счет ведя ягнятам,
 Потерь не знает никогда.

Телец и пес шагают рядом...
 Ответь же мне на мой вопрос:
 Кто этот пастушок со стадом,
 И кто — телец и верный пес?

Стоит большой просторный дом,
 Его столбы незримы,
 И обойти его кругом
 Не в силах пилигримы.

Без чертежей сооружен,
Вознесся он чудесно.
Светильник пламенный зажжен
Рукою неизвестной.

А крыша там — слепит глаза,—
Граненый камень — бирюза.
Но зодчего доселе
Ничьи глаза не зрели.

5

В колодце две бадыи бегут,
Друг друга обгоняя:
Одна поднимется, и тут
Опустится другая.
Бегут без устали всегда,—
Одна пуста, в другой вода.
Ты поднесешь к устам одну,
Другая никнет в глубину.
Вовек нельзя нам их водицы
В один и тот же миг напиться.

6

На нежном полотне картина,
Светящаяся изнутри,—
Всегда иная, но едина,
В какой ты миг ни посмотри.
Размер картины несравненной
Так необыкновенно мал,—
Но о величии вселенной
Ты только из нее узнал.

Алмаза всякого ценнее
Необычайный тот кристалл,
Он светится, не пламенея,
Он целый мир в себя впитал.
В нем отразилось звезд движенье
И солнца величавый свет.
И все ж прекрасней отраженье,
Чем отражаемый предмет.

РАЗГАДКА

Та нежная картина, что на малом
Пространстве нам являет целый мир,
Кристалл, который излучает свет,
Чье отраженье лучше, чем предмет,—
То глаз наш, в коем мир отображен;
Твой глаз, когда меня ласкает он.

7

Летят над строением этим столетья,
Оно — не храм, и оно — не дом.
Сто суток, коня погоняя плетью,
Скачи — не объедешь его кругом.

Стоит оно вольно на светлом просторе,
Ни бури не свергли его, ни века.
Подошвой оно опускается в море,
Вершиной уходит под облака.

Воздвигнуто здесь не пустой похвальбою,
Оно укрывает народ за собою.
Подобного мир не видал никогда,—
И все ж это плод людского труда.

РАЗГАДКА

Старинное, могучее строенье,
Что, вопреки столетиям и бурям,
Стоит, народ обороняя,— это
Великая Китайская Стена.
Китай хранит от недругов она.

8

Страшны человеку змеи,
Но всех страшней одна:
На жертву всех быстрее
Бросается она.

Испепеляет с ревом
Она своим огнем,
Сверкнув языком багровым,
Наездника с конем.

Она любит верхушки башен,
Свérканье шлемов и лат,
Ни замок, ни засов ей не страшен
И пути ей не преградят.

Она, как былинку, ломает
Самый могучий дуб.
Руду в порошок стирает
Ее железный зуб.

Она крушит, играя,
Огромные дома,
Но погибает, сгорая
В огне своем сама.

РАЗГАДКА

Змея, которая стремительней всех змей,
Которая, упав из поднебесья,
Крушит дубы, засовы и запоры,
Огромные дома уничтожает,
Себя сжигая собственным огнем,—
Змею мы эту молнией зовем.

9

Нас шестеро, и мы, сестрицы,
Чудесной рождены четой.
Печалью мать всегда томится,
Отец блистает красотой.

На мать похожи тихой лаской,
И светлым блеском — на отца;
Вокруг тебя в веселой пляске
Мы кружим, кружим без конца.

В пещерах нам темно и душно,
Дышать мы можем только днем.
Без нас творение бездушно,
Мы душу пробуждаем в нем.

Нам только жизнь и юность милы,
Посланцам ласковой весны.
Мы в ужасе бежим могилы,
Жилища мертвых нам страшны.

Счастливцу посланные раем,
Огнями радости горя,
Мы блеском славы озаряем
Честолюбивого царя.

РАЗГАДКА

Сестрицы, сочетающие в себе
Прекрасный блеск отца с печалью нежной,
Им данной матерью в наследство, дети,
Что душу придают всему на свете,
Которым склепы чужды и страшны,
Которые несут нам блеск и радость,—
Они — цветы, что Днем и Ночью рождены,

10

Не всюду он в почете равном,
Но императору весной
Он служит украшеньем славным,
Хоть он мечу и брат родной.

Наносит раны он, но кровь не льет народа,
Богатство множит он, людей не обобрав.
Покорена им вся природа
И мощь основана держав.

Он побеждал путем достойным,
Не убивая никого.
Он чужд насилиям и войнам;
И благо тем, кто чтит его.

РАЗГАДКА

Орудие, которое не весми
Достойно чтится по его заслугам,
С которым сам китайский император
Идет работать в новогодний праздник,
Которое, не проливая крови,
Всю землю трудолюбью подчинило,—
О, кто бы мог, вступив из дикой, голой
Татарской степи, где охотник рыщет
И гонит скот пастух,— в цветущий край,
Увидев зеленеющие нивы
И сотни многолюдных городов,
Цветущих под защитою закона,—
Не спеть хвалу великому орудью,
Создателю всех благ на свете — плугу?

11

Я в каменном доме живу и привык
Дремать там, слаб и ничтожен.
Но выйду на волю, выскочу вмиг,
Железным мечом потревожен.
Сначала так мал я, что, стоит подуть,
Меня победишь без усилия,
Я в капле дождя могу утонуть,—
Но в победе растут мои крылья.
А если мне братец поможет — беда,
Владыкою мира я стану тогда!

12

Не зная отдыха, годами
Я все хожу, хожу кругом.
Мой круг так мал, что ты руками
Его накрыл бы целиком.

Но я десятки тысяч милей
Промчалась, путь свершая свой,
Быстрой ветров, орлиных крылий,
Стрелы, гонимой тетивой.

Ту, что летит стремительней, чем стрелы,
 И, малый круг пройдя за долгий день,
 Десятки тысяч милей пролетела,
 На солнечных часах увидишь — тень.

13

Он *птицей* мчит под небосводом
 И состязается с орлом;
 Он *рыбою* плывет по водам
 И режет волны плавником.
 Как *слон*, который носит башню,
 Он носит на спине чертог
 И, как *паук*, шевелит страшно
 Десятками ползущих ног.
 А если он свой зуб железный
 В кромешную вонзает тьму,
 Он намертво встает над бездной,
 И буря не страшна ему.





БЛАГОВОЛЕНИЕ МИГА

Вновь наш круг, как прежде, тесен
И унынья минул срок
Заплетем же свежих песен
Зеленеющий венок!

Кто из всех богов вселенной
Первым должен быть воспет?
Тот, кто силой вдохновенной
Порождает счастья свет.

Пусть Церера нам в усладу
За плодом приносит плод,
Сок пурпурный винограда
Бахус щедро в чаши льет.

Если гром с небес не грянет,
Чтоб алтарь воспламенить,
Дух в веселье не воспрянет,
Сердцу мрака не избыть.

Боги нам даруют счастье,
И любой из них велик,
Но в природе высшей властью
Наделен властитель *миг*.

С той поры, когда с землею
Разлучился звездный рой,
В мире самое святое —
Вспышка мысли огневой.

В беге дней неотвратимом
Чуть пластов заметен сдвиг,
Но творенье ощутимым
Стать стремится в краткий миг.

Солнца луч в мгновенье ока
Ткет ковер цветистый свой,
Вмиг Церера мост высоко
Воздвигает над землей.

Так и каждый дар прекрасный,
Отодвинув тени прочь,
Проблеснет зарницей ясной,
Безвозвратно канет в ночь.

ДРУЗЬЯМ

Лучше было встарь, чем в наше время,
Это, други, признается всеми;
Благородней был и род людской.
Если б мы истории не знали,
Нам о том бы камни рассказали,
Вырыты из груди земной.

Но те радостные поколенья
Все исчезли, головы сложив.
Мы, мы живы! Наши все мгновенья!
А ведь прав лишь тот, кто жив.

Есть и край, друзья, счастливей края,
Где живем мы с вами прозябая,—
Странники твердят нам без конца.
Нас природа многого лишила,

Но зато искусство наградило:
Греются в его лучах сердца.

Лавров здесь не сыщешь, вот досада,
С миртом зимы обошлись бы зло,
Но растут здесь лозы винограда,—
Ими увенчай чело.

Как хорош богатый и обширный
В устье шумной Темзы торг всемирный,
С четырех стран света корабли
Появляются и исчезают,
Все богатства мира там сверкают,
Царствуют там деньги — бог земли.

Но не в том ручье, который несся
После ливня, мутен, шумен, дик,—
В ясной водной глади, в тихом плесе
Отразился солица лик.

Северян богаче несравненно
Нищий в Ангельских воротах Рима:
Ибо созерцает вечный Рим,
Ибо весь он окружен прекрасным;
Как второе небо в небе ясном,
Высится собор Петра над ним.

Да, но Рим, при всем своем сверканье,
Лишь гробница сгинувших веков.
Любит жизнь вдыхать благоуханье
Расцветающих цветов.

Лучше час живет, быть может, всякий,
Наша жизнь тиха, скромна; однако
Новым солнца не видал никто;
Мы ж времен величье, близких, дальних,
Видим на подмостках театральных,
Чувств и смысла полное, зато.

. Все исчезло, скрылось, миновало,
Лишь, фантазия, ты молода,
То, чего на свете не бывало,
Не стареет никогда.

ЧЕТЫРЕ ВЕКА

Сверкают стаканы пурпурным вином,
Очи светятся пламенем жгучим.
На пороге — певец. Он вступает в лом,
Чтоб украсить хорошее лучшим.
Ведь без песен застольных и звона лир
Вянет крепость нектара и пир не в пир.

Дан поэту счастливейший дар от богов:
Отражает весь мир его гений,
Проникает он в тайны грядущих веков
И в глубины минувших явлений.
На предвечном совете, с богами воссев,
Он подслушал событий таинственный сев.

Перед вами, как свиток, он жизнь развернет —
Все, что сбудется в ней и что было.
Из унылой лачуги он храм создает,—
Этим муга его наделила!
Нет предела такого, нет хижины той,
Куда он богов не привел бы с собой.

И как сын Зевеса запечатлел
На щите своем лик мирозданья —
Море, землю, движенье небесных тел,
Полн божественного дерзанья,—
Так поэт необъятный вселенский круг
Сжал и втиснул в один мимолетный звук.

Знал он детство земли, когда мир расцветал
И не ведали люди мучений.
Он, восторженный странник, товарищем стал
Всех времен и любых поколений.
Четыре века незримо прошли —
И пятый вступает в пределы земли.

Век Сатурна был кроток и справедлив,
Полон ясности и простодушья.
На земле, среди пастбищ и тучных нив,
Жило скромное племя пастушье.
Лишь любить да мечтать умело оно,
Все природой ему было даром дано.

Но земля повстречалась с трудом и с борьбой,
И чудовища крови алкали.
И возник властелин, и возник герой,
И могучие слабых искали,
И на поле Скамандра кипела вражда,—
Но Прекрасному верен был мир и тогда.

Наконец, увенчался победой раздор,
Стихли в воздухе бранные клики.
И раздался муз вдохновенный хор,
Воссияли святые лики.
О, эра фантазии, время мечты!
Ты ушло навсегда, не вернешься ты!

Но покинули боги небесный трон,
И прекрасное рухнуло зданье.
И тогда был Девою Сын рожден —
Исцелять земные страданья.
Так окончился чувств мимолетный век,
И, мысля, в себя уходил человек.

Красота и веселье рассыпались в прах,
Украшавшие молодость мира,
Умертвляет бичом свою плоть монах,
Скачет рыцарь в броне на турниры.
И хоть жизнь беспросветной и дикой была —
Любовь оставалась, любовь жила.

И один лишь алтарь непорочный в тиши
Сберегли и укрыли богини:
В глубине целомудренной женской души
Все, что нравственно, живо поныне.
Пламя песни забытой, ты вспыхнуло вновь,
И зажгла тебя верность, зажгла любовь!

Так пускай же связует союз на века
Сердце женщины с песней поэта,
И да ткут они дружно — к руке рука —
Пояс радости, правды и света!
Любовь и песнь! Да внесут они
Сияние юности в наши дни!

КАССАНДРА

Все в обители Приама
Возвещало брачный час,
Запах роз и фимиама,
Гимны дев и лирный глас.
Спит гроза минувшей брани,
Щит, и меч, и конь забыт,
Облечен в пурпурны ткани
С Поликсеною Пелид.

Девы, юноши четами
По узорчатым коврам,
Украшенные венками,
Идут веселы во храм;
Стогны дышут фимиамом,
В злато царский дом одет;
Снова счастье над Пергамом...
Для Кассандры счастья нет.

Уклоняясь от лирных звонов,
Нелюдима и одна,
Дочь Приама в Аполлонов
Древний лес удалена.
Сводом лавров осененна,
Сбросив жрический покров,
Провозвестница священна
Так роптала на богов:

«Там шумят веселых волны,
Всем душа оживлена,
Мать, отец надеждой полны,
В храм сестра приведена.
Я одна мечты лишенна:
Ужас мне — что радость там;
Вижу, вижу: окрыленна
Мчится Гибель на Пергам.

Вижу факел — он светлеет
Не в Гименовых руках,
И не жертвы пламя рдеет
На сгущенных облаках;

Зрю пиров уготовленье...
Но... горé, по небесам,
Слышно бога приближенье,
Предлетящего бедам.

И вотще мое стenanье,
И печаль моя мне стыд:
Лишь с пустынями страданье
Сердце сирое делит.
От счастливых отчужденна,
Веселящимся позор,—
Я тобой всех благ лишенна,
О предведения взор!

Что Кассандре дар вещанья
В сем жилище скромных чад
Безмятежного незнанья
И блаженных им стократ?
Ах! почто она предвидит
То, чего не отвратит?..
Неизбежное приидет,
И грозящее сразит.

И спасу ль их, открывая
Близкий ужас их очам?
Лишь незнанье — жизнь прямая;
Знанье — смерть прямая нам
Феб, возьми твой дар опасной,
Очи мне спеши затмить:
Тяжко истины ужасной
Смертною скуделю быть.

Я забыла славить радость,
Став пророчицей твоей.
Слепоты погибшей сладость,
Мирный мрак минувших дней,
С вами скрылись наслажденья!
Он мне будущее дал,
Но веселье мгновенья
Настоящего отнял.

Никогда покров венчальный
Мне главы не осенит:
Вижу факел погребальный,
Вижу: ранний гроб открыт.
Я с родными скучну младость
Всю утратила в тоске,—
Ах, могла ль делить их радость,
Видя скорбь их вдалеке?

Их ласкает ожиданье;
Жизнь, любовь передо мной;
Все окрест очарованье —
Я одна мертвa душой.
Для меня весна напрасна,
Мир цветущий пуст и дик...
Ах, сколь жизнь тому ужасна,
Кто во глубь ее проник!

Сладкий жребий Поликсены!
С женихом рука с рукой,
Взор, любовью распаленный,
И, гордясь сама собой,
Благ своих не постигает:
В сновидениях златых
И бессмертья не желает
За один с Пелидом миг.

И моей любви открылся
Тот, кого мы ждем душой:
Милый взор ко мне стремился,
Полный страстною тоской...
Но — для нас перед богами
Брачный гимн не возгрешит;
Вижу: грозно между нами
Тень стигийская стоит.

Духи, бледною толпою
Покидая мрачный ад,
Вслед за мной и предо мною
Неотступные летят,

В резвы юношески лики
Бносят ужас за собой;
Внемля радостные клики,
Внемлю их надгробный вой.

Там сокрытый блеск кинжала,
Там убийцы взор горит;
Там невидимого жала
Яд погибелю грозит.
Все предчувствя и зная,
В страшный путь сама иду:
Ты падешь, страна родная,—
Я в чужбине гроб найду...»

И слова еще звучали...
Вдруг... шумит священный лес...
И зефиры глас примчали:
«Пал великий Ахиллес!»
Машут Фурии змиями,
Боги мчатся к небесам...
И карающий громами
Грозно смотрит на Пергам.

Т Э К Л А

Голос духа

Где теперь я, что теперь со мною,
Как тебе мелькает тень моя?
Яль не все покончила с землею,
Не любила, не жила ли я?

Спросишь ты о соловьях залетных,
Для тебя мелодии свои
Расточавших в песнях беззаботных?
Отлюбив, исчезли соловьи.

Я нашла ль потерянного снов?
Верь, я с ним соединилась там,
Где не разнят ничего родного,
Там, где места нет уже слезам.

Там и ты увидишь наши тени,
Если любишь, как любила я;
Там отец мой, чист от преступлений,
Зашщищен от бедствий бытия.

Там его не обманула вера
В роковые таинства светил,
Там всему по силе веры мера:
Тот, кто верил, к правде близок был.

Есть в пространствах оных бесконечных
Упованьям каждого ответ.
Ройся ты в своих сомненьях вечных:
Смысл глубокий в грезах детских лет.





ЮНОША У РУЧЬЯ

У ручья красавец юный
 Вил цветы, печали полн,
 И глядел, как, увлекая,
 Гнал их ветер в плеске волн.
 «Дни мои текут и мчатся,
 Словно волны в ручейке,
 И моя поблекла юность,
 Как цветы в моем венке!

Не спросите: почему я
 Грустен юною душой
 В дни, когда все улыбнулось
 С возрожденною весной.
 Эти тысячи созвучий,
 Пробуждаясь по весне,
 Пробуждают, грудь волнуя,
 Грусть тяжелую во мне.

Утешение и радость
 Мне не даст весна, пока
 Та, которую люблю я,
 И близка и далека...
 К ней простер, тоскуя, руки,—
 Но исчез мой сладкий бред:
 Ах, не здесь мое блаженство,
 И покоя в сердце нет!

О, покинь же, дорогая,
Гордый замок над городом!
Устелю твой путь цветами,
Подаренными весной.
При тебе ручей яснее,
Слышны песни в высоте —
В тесной хижине просторно
Очарованной чете».

ПУТЕШЕСТВЕННИК

Песня

Дней моих еще весною
Отчий дом покинул я:
Все забыто было мною —
И семейство и друзья.

В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой,
Я пошел путем-дорогой —
Вера был вожатый мой.

И в надежде, в уверенье
Путь казался недалек,
«Странник,— слышалось,— терпенье!
Прямо, прямо на восток.

Ты увидишь храм чудесной;
Ты в святилище войдешь;
Там в нетленности небесной
Все земное обретешь».

Утро вечером сменялось,
Вечер утру уступал;
Неизвестное скрывалось:
Я искал — не обретал.

Там встречались мне пучины;
Здесь высоких гор хребты,
Я взбирался на стремнины,
Чрез потоки стлал мосты.

Вдруг река передо мною —
Вод склоненье на восток;
Вижу зыблемый струею
Подле берега челнок.

Я в надежде, я в смятенье,
Предаю себя волнам;
Счастье вижу в отдаленье:
Все, что мило,— мнится — там!

Ах! в бревестном океане
Очутился мой челнок;
Даль попрежнему в тумане,
Брег невидим и далек.

И вовеки надо мною
Не сольется, как поднесь,
Небо светлое с землею...
Там не будет вечно здесь.

ПУНШЕВАЯ ПЕСНЯ

Внутренней связью
Сил четырех
Держится стройно
Мира чертог.

Звезды лимона
В чашу на дно!
Горько и жгуче
Жизни зерно.

Но растопите
Сахар в огне:
Где эта жгучесть
В горьком зерне?

Воду струями
Лейте сюда:
Все обтекает
Мирно вода.

Каплю по капле
Лейте вино:
Жизнь обновляет
Только оно!

Выпьем, покамест
Кубок наш жгуч:
Только кипучий
Сладостен ключ!

ПУНШЕВАЯ ПЕСНЯ

Для севера

На холмах, открытых свету
В мире вечного тепла,
Золотым вином природа
Гроздья туго налила.

И еще никто не понял,
Как творит природа-мать:
Этой силы не изведать,
Этой тайны не познать.

Как родное чадо солнца,
Пламя светлое струя,
Бьет из тесного бочонка
Огнехмельная струя.

И веселье в дом приносит,
Говорят: «Печаль забудь!»,
Наполняя новой верой
Исстрадавшуюся грудь.

Только бледным и усталым
Солнца луч доходит к нам:
Красит листья, но не может
Зрелость жизни дать плодам

Но и север жить желает,
А живым — дерзать дано!
Потому без винограда
Производим мы вино.

Пусть он беден и неярок
Алтарей домашних плод,—
Лишь бессмертная природа
Свет и ясность создает,

Но мы радостно из чаши
Темный черпаем нектар:
Ведь земной огонь искусства
Нам послало небо в дар!

Кто из старых сочетаний
Нечто новое сложил?
Кто, творцу равняясь, правит
Необъятным царством сил?

Кто единство элементов
Рвет велением своим,
Состязаясь с богом солнца
Буйным пламенем земным?

То искусство направляет
В край полдневный корабли
И плоды приносит с юга
Детям северной земли.

Стань же, огненный напиток,
Славным символом вовек,
Что всего достигнуть может,
Коль захочет, человек!

ГРАФ ГАБСБУРГСКИЙ

Торжественным Ахен весельем шумел;
В старинных чертогах, на пире,
Рудольф, император избранный, сидел
В сиянье венца и в порфире.

Там кушанья рейнский фальцграф разносил,
Богемец напитки в бокалы цедил;
И семь избирателей, чином
Устроенный древле свершая обряд,
Блистали, как звезды пред солнцем блестят,
Пред новым своим властелином.

Кругом возвышался богатый балкон,
Ликующим полный народом,
И клики, со всех прилетая сторон,
Под древним сливающимися сводом.
Был кончен раздор; перестала война;
Бесцарственны, грозны прошли времена:
Судья над землею был снова,
И воля губить у меча отнята;
Не брошены слабый, вдова, сирота
Могущим во власть без покрова.

И кесарь, наполнив бокал золотой,
С приветливым взором вещает:
«Прекрасен мой пир; все пирует со мной,
Все царский мой дух восхищает...
Но где же утешитель, пленитель сердец?
Придет ли мне душу растрогать певец
Игрой и благим поученьем?
Я песней был другом, как рыцарь простой;
Став кесарем, брошу ль обычай святой
Пиры услаждать песнопеньем?»

И вдруг из среды величавых гостей
Выходит, одетый таларом,
Певец в красоте поседелых кудрей,
Младым преисполненный жаром.

«В струнах золотых вдохновенье живет.
Певец о любви благодатной поет,

О всем, что святого есть в мире,
Что душу волнует, что сердце манит...
О чем же властитель воспеть повелит
Певцу на торжественном пире?»

«Не мне управлять песнопевца душой
(Певцу отвечает властитель),
Он высшую силу признал над собой:
Минута ему повелитель.

По воздуху вихорь свободно шумит:
Кто знает, откуда, куда он летит?

Из бездны поток выбегает:
Так песнь зарождает души глубина,
И темное чувство, из дивного сна
При звуках воспрянув, пылает».

И смело ударил певец по струнам,
И голос приятный раздался:
«На статном коне по горам, по полям
За серною рыцарь гонялся;
Он с ловчим одним выезжает сам-друг
Из чащи лесной на сияющий луг,
И едет он шагом кустами.
Вдруг слышат они: колокольчик гремит;
Идет из кустов пономарь и звонит,
И следом священник с дарами.

И набожный граф, умиленный душой,
Колена свои преклоняет
С сердечною верой с горячей мольбой
Пред тем, что живит и спасает.
Но лугом стремился кипучий ручей,
Свирепо надувшись от сильных дождей,
Он путь заграждал пешеходу;
И спутнику пастырь дары отдает,
И обувь снимает, и смело идет
С священною ношеною в воду.

«Куда?» — изумившийся граф вопросил.

«В село; умирающий нищий
Ждет в муках, чтоб пастырь его разрешил,
И алчет небесных пищи.

Недавно лежал через этот поток
Сплетенный из сучьев для пеших мосток —
Его разбросало водою;
Чтоб душу святой благодатью спасти,
Я здесь неглубокий поток перейти
Спешу обнаженной стопою».

И пастырю витязь коня уступил
И подал ноге его стремя,
Чтоб он облегчить покаяньем спешил
Страдальцу греховное бремя;
И к ловчemu сам на седло пересел
И весело в чашу на лов полетел;
Священник же, требу святую
Свершивши, при первом мерцании дня
Является к графу, смиренno коня
Ведя за узду золотую.

«Дерзну ли помыслить я,— граф возгласил,
Почтительно взоры склонивши,—
Чтоб конь мой ничтожной забаве служил,
Спасителю богу служивши?
Когда ты, отец, не приемлешь коня,
Пусть будет он даром благим от меня
Отныне тому, чье даянье
Все блага земные, и сила, и честь,
Кому не помедлю на жертву принесть
И силу, и честь, и дыханье».

«Да будет же вышний господь над тобой
Своей благодатью святою,
Тебя да почтит он в сей жизни и в той,
Как днесъ он почтен был тобою.
Гельвеция славой сияет твоей,
И шесть расцветают тебе дочерей,

Богатых дарами природы:
Да будут же (молвил пророчески он)
Уделом их шесть знаменитых корон,
Да славятся в роды и роды».

Задумавшись, голову кесарь склонил:
Минувшее в нем оживилось.
Вдруг быстрый он взор на певца устремил —
И таинство слов объяснилось:
Он пастыря видит в певце пред собой,—
И слезы свои от толпы золотой
Порфирай закрыл в умиленье...
Все смолкло, на кесаря очи подняв,—
И всяк догадался, кто набожный граф,
И сердцем почтил провиденье.

ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пал Приамов град священный,
Грудой пепла стал Пергам;
И, победой насыщены,
К острогрудым кораблям
Собрались эллены — тризну
В честь минувшего свершить
И в желанную отчизну,
К берегам Эллады плыть.

Пойте, пойте гимн согласной:
Корабли обращены
От враждебной стороны
К нашей Греции прекрасной.

Брегом шла толпа густая
Илионских дев и жен:
Из отеческого края
Их вели в далекий плен.
И с победной песнью дикой
Их сливался тихий стон
По тебе, святой, великой,
Невозвратный Илион.

Вы, родные холмы, нивы,
Нам вас боле не видать;
Будем в рабстве увядать...
О, сколь мертвые счастливы!

И с предвиденьем во взгляде
Жертву сам Калхас заклал:
Грады зиждущей Палладе
И губящей (он воззвал),
Буреносцу Посидону,
Воздымателю валов,
И носящему Горгону,
Богу смертных и богов!
Суд окончен, спор решился,
Прекратилася борьба;
Все исполнила Судьба:
Град великий сокрушился.

Царь народов, сын Аtreя,
Обозрел полков число:
Вслед за ним на берег Сигея
Много, много их пришло...
И незапный мрак печали
Отуманил царский взгляд:
Благороднейшие палят...
Мало с ним пойдет назад.
«Счастлив тот, кому сиянье
Бытия сохранено,
Тот, кому вкусить дано
С милой родиной свиданье!»

И не всякий насладится
Миром, в свой пришедши дом:
Часто злобы ком таится
За домашним алтарем;
Часто Марсом пощаженный
Погибает от друзей
(Рек, Палладой вдохновенный,
Хитроумный Одиссей).

Счастлив тот, чей дом украшен
Скромной верностью жены!
Жены алчут новизны:
Постоянный мир им страшен».

И стоящий близ Елены
Менелай тогда сказал:
«Плод губительной измены —
Ею сам изменник пал;
И погиб виной Парида
Отягченный Илион...
Неизбежен суд Кронида,
Все блудет с Олимпа он.

Злому злой конец бывает:
Гибнет жертвой Эвменид,
Кто безумно, как Парид,
Право гостя оскверняет».

«Пусть веселый взор счастливых
(Оилеев сын сказал)
Зрит в богах богов правдивых;
Суд их часто слеп бывал:
Скольких бодрых жизнь поблекла!
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла;
Жив презрительный Терсит.

Смертный, царь Зевес Фортуне
Своенравной предал нас:
Уловляй же быстрый час,
Не тревожа сердца втуне.

Лучших бой похитил ярый!
Вечно памятен нам будь
Ты, мой брат, ты, под удары
Подставлявший твердо грудь,
Ты, который нас, пожаром
Осажденных, защитил...
Но коварнейшему даром
Щит и меч Ахиллов был.

Мир тебе во тьме Эрева!
Жизнь твою не враг отнял:
Ты своею силой пал,
Жертва гибельного гнева».

«О Ахилл! О мой родитель!
(Возгласил Неоптолем)
Быстрый мира посетитель,
Жребий лучший взял ты в нем.
Жить в любви племен делами —
Благо верное земли;
Будем вечны именами
И сокрытые в пыли!

Слава дней твоих нетленна,
В песнях будет цвесь она:
Жизнь живущих не верна,
Жизнь отживших неизменна!»

«Смерть велит умолкнуть злобе
(Диомед провозгласил):
Слава Гектору во гробе!
Он краса Пергама был;
Он за край, где жили деды,
Веледушно пролил кровь;
Победившим — честь победы!
Охранявшему — любовь!

Кто, на суд явясь кровавый,
Славно пал за отчий дом:
Тот, почтенный и врагом,
Будет жить в преданьях славы».

Нестор, жизнью убеленный,
Нацедил вина фиал
И Гекубе сокрушенной
Дружелюбно выпить дал.
«Пей страданий утоленье:
Добрый Вакхов дар — вино;
И веселость, и забвенье
Проливает в нас оно.

Пей, страдалица! печали
Услаждаются вином:
Боги жалостные в нем
Подкрепленье сердцу дали.

Вспомни матерь Ниобею:
Что изведала она!
Сколь ужасная над нею
Казнь была совершена!
Но и с нею, безотрадной,
Добрый Вакх недаром был:
Он струею виноградной
Вмig тоску в ней усыпил.

Если грудь вином согрета
И в устах вино кипит:
Скорби наши быстро мчит
Их смывающая Лета».

И вперила взор Кассандра,
Вняв шепнувшим ей богам,
На пустынnyй брег Скамандра,
На дымящийся Пергам.
Все великое земное
Разлетается, как дым:
Ныне жребий выпал Тroe,
Завтра выпадет другим...

Смертный, Силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи;
Спящий в гробе, мирно спи;
Жизнью пользуйся, живущий.





ГОРНАЯ ДОРОГА

Над страшною бездной дорога бежит,
Меж жизнью и смертию мчится;
Толпа великанов ее сторожит;
Погибель над нею гнездится.
Страхись пробужденья лавины ужасной:
В молчанье пройди по дороге опасной.

Там мост через бездну отважной дугой
С скалы на скалу перегнулся;
Не смертною был он поставлен рукой —
Кто смертный к нему бы коснулся?
Поток под него разъяренный бежит,
Сразить его рвется и ввек не сразит.

Там, грозно раздавшись, стоят ворота:
Мнишь, область теней пред тобою;
Пройди их — долина, долин красота,
Там осень играет с весною.
Приют сокровенный! желанный предел!
Туда бы от жизни ушел, улетел.

Четыре потока оттуда шумят —
Не зреши их выхода очи.
Стремятся они на восток, на закат;
Стремятся к полудню, к полночи;

Рождаются вместе; родясь, расстаются;
Бегут без возврата и ввек не сольются.
Там в блеске небес два утеса стоят,
Превыше всего, что земное;
Кругом облака золотые кипят,
Эфира семейство младое;
Ведут хороводы в стране голубой;
Там не был, не будет свидетель земной.

Царица сидит высоко и светло
На вечно-незыблемом троне;
Чудесной красотой обвивает чело
И блещет в алмазной короне;
Напрасно там солнцу сиять и гореть:
Ее золотит, но не может согреть.

АЛЬПИЙСКИЙ СТРЕЛОК

«Хочешь ты пасти барашка?
Дам тебе ручного я;
Щиплет он цветные кашки
И играет у ручья».—
«Нет, родная! манит сына
На охоту гор вершина!»

«Хочешь с рогом иль свирелью
Стадо по лесу водить?
Там звонки певучей трелью
Будут слух твой веселить».—
«Нет, родная! манит сына
Гор суровая вершина!»

«Подожди, цветочки снова
Запестреют на грядах...
Сада нет в горах — сурово
На суровых высотах!» —
«Пусть цветочки тешат взоры,
Отпусти, родная, в горы!»

И пошел он на охоту —
Все к вершине, все вперед;
По скалистому оплоту
Он бестрепетно идет.
Перед ним, меж скал ущелий,
Промелькнула тень газели.

По обрывам, над скалами,
Через пропасти без дна
Легким скоком и прыжками
Переносится она;
Но стрелок, в упорстве смелом,
Мчится вслед ей с самострелом.

На утес с крутой вершиной
Перепрыгнула она
И повисла над стремниной,
Где застыла крутизна:
Там под ней утес громадный,
А за нею враг нещадный.

В страхе взор она подъемлет:
О пощаде молит он.
Но напрасно! Враг не внимает:
Самострел уж наведен.
Вдруг восстал из бездны черной
Дух ущелий — старец горный,

И, газель своей рукою
Оградивши, произнес:
«Для чего сюда с собою
Смерть и ужас ты занес?
Вам ли тесно, персти чада!
Что ж мое ты гонишь стадо?»



1 8 0 5



В А ЛЬБОМ ДРУГУ

Господину фон Мехельн из Базеля

Не иссякает вокруг очарованье природы,
Так же искусству дано не умирать никогда.
Мудрому старцу хвала! Ты сочетаешь к обоим
В сердце живую любовь, юности вечной залог.





ДРАМЫ В ПРОЗЕ



РАЗБОЙНИКИ



ДРАМА
В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

*Quae medicamenta non sanant,
ferrum sanat; quae ferrum non sanat,
ignis sanat!*

Hippokrates

Чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо; чего не исцеляет железо, исцеляет огонь.

Гиппократ

In tyrannos! — Против тиранов!

Д Е Й С Т В УЮЩИЕ ЛИЦА

Максимилиан, владетельный граф фон Моор.

Карл }
Франц } его сыновья.

Амалия фон Эдельрейх.

Шпигельберг }

Швейцер

Гримм

Рацман

Шуфтерле

Роллер

Косинский

Шварц

Герман, побочный сын дворянина.

Даниэль, дворецкий графа фон Моора.

Пастор Мозер.

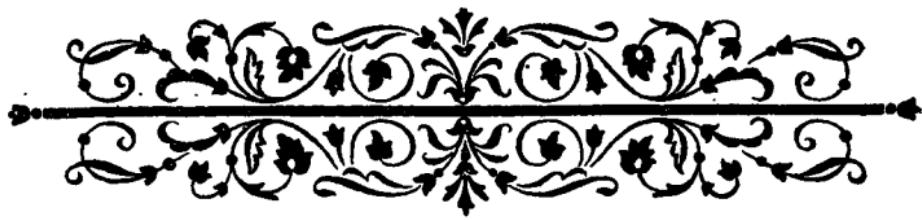
Патер.

Шайка разбойников.

Второстепенные действующие лица.

Место действия — Германия; время — около двух лет.

} распутные молодые люди,
потом разбойники.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Франкония. Зал в замке Мооров.

Франц, старик Моор.

Франц. Здоровы ли вы, отец? Вы так бледны.

Старик Моор. Здоров, мой сын. Ты что-то хотел мне сказать?

Франц. Почта пришла... Письмо из Лейпцига от нашего стряпчего...

Старик Моор (*взволнованно*). Вести о моем сыне Карле?

Франц. Гм, гм! Вы угадали! Но я опасаюсь... Право, не знаю... Ведь ваше здоровье... Точно ли вы себя хорошо чувствуете, отец?

Старик Моор. Как рыба в воде! Он пишет о моем сыне? Но что ты так забеспокоился обо мне? Второй раз спрашиваешь меня о здоровье.

Франц. Если вы больны, если чувствуете хоть легкое недомогание, увольте... Я дождусь более подходящей минуты. (*Вполголоса.*) Эта весть не для хилого старца.

Старик Моор. Боже! Боже! Что я услышу?

Франц. Дозвольте мне сперва отойти в сторонку и пролить слезу сострадания о моем заблудшем брате. Я бы должен был вечно молчать о нем,— ведь он ваш сын; должен был бы навеки скрыть его позор,—

ведь он мой брат. Но повиноваться вам — мой первый печальный долг. А потому не взыщите...

Старик Мoор. О Карл, Карл! Если бы ты знал, как своим поведением ты терзаешь отцовское сердце! Одна-единственная добрая весть о тебе прибавила бы мне десять лет жизни, превратила бы меня в юношу... Но — ах! — каждая новая весть еще на шаг приближает меня к могиле!

Франц. О, коли так, несчастный старик, прощайте! Не то мы еще сегодня будем рвать волосы над вашим гробом.

Старик Мoор (*опускаясь в кресло*). Не уходи! Мне осталось сделать лишь один шаг... А Карл... Вольному воля! Грехи отцов взыскиются в третьем и четвертом колене... Пусть добивает!

Франц (*вынимая письмо из кармана*). Вы знаете нашего стряпчего? О, я бы дал отсечь себе руку за право сказать: он лжец, низкий черный лжец! Соберитесь же с силами! Простите, что я не даю вам самому прочесть письмо. Всего знать вы еще не должны.

Старик Мoор. Все, все! Сын, ты избавишь меня от немощной старости.

Франц (*читает*). «Лейпциг, первого мая. Не будь я связан нерушимым словом сообщать тебе, любезный друг, все, что узнаю о похождениях твоего братца, мое скромное перо не стало бы так терзать тебя. Мне известно по множеству твоих писем, что подобные вести пронзают твое братское сердце. Я уже вижу, как ты льешь горючие слезы из-за этого гнусного, беспутного...»

Старик Мoор закрывает лицо.

Видите, батюшка, а ведь я читаю еще самое невинное... «...льешь горючие слезы...» Ах, они текли, они лились горячими ручьями по моим щекам! «Я уже вижу, как твой старый, почтенный отец, смертельно бледный...» Боже! Вы и впрямь побледнели, хотя не знаете еще и малой доли!..

Старик Мoор. Дальше! Дальше!

Франц. «... смертельно бледный, падает в кресло, кляня день, когда он впервые услышал лепет: «отец».

Всего разузнать мне не удалось, а потому сообщаю лишь то немногое, что мне стало известно. Твой брат, как видно, дошел до предела в своих бесчинствах; мне во всяком случае не придумать ничего, что уже не было бы совершено им, но, быть может, его ум окажется изобретательнее моего. Вчера ночью, сделав долгую на сорок тысяч дукатов...» Недурные карманные денежки, отец! «...а до того обесчестив дочь богатого банкира и смертельно ранив на дуэли ее вздыхателя, достойного молодого дворянина, Карл с семью другими товарищами, которых он вовлек в распутную жизнь, принял знаменательное решение — бежать от рук правосудия». Отец! Ради бога, отец! Что с вами?

Старик Моор. Довольно, перестань, сын мой!

Франц. Я пошажу вас. «Ему вдогонку послана беглая грамота... Оскорбленные вопиют об отомщении... Его голова оценена... Имя Мооров...» Нет! Мой злосчастный язык не станет отцеубийцей. (*Разрывает письмо.*) Не верьте письму, отец! Не верьте ни единому слову!

Старик Моор (*горько плачет*). Мое имя! Мое честное имя!

Франц (*падает ему на грудь*). Презренный, трижды презренный Карл! Разве я не предчувствовал этого еще в детстве, когда мы услаждали душу молитвами, а он, как преступник от темницы, отвращал свой взор от божьего храма, таскался за девками, гонял по лугам и горам с уличными мальчишками и всяким сбродом, выкляничивал у вас монеты и бросал их в шапку первого встречного нищего? Разве я не предчувствовал этого, видя, что он охотнее читает жизнеописания Юлия Цезаря, Александра Великого и прочих столь же нечестивых язычников, чем житие кающегося Товия? Сотни раз я предсказывал вам,— ибо любовь к брату всегда уживалась во мне с сыновним долгом,— что этот мальчик ввергнет нас в позор и гибель. О, если бы он не носил имени Мооров! Если б в моем сердце было меньше любви к нему! Безбожная любовь, которую я не в силах вырвать из своего сердца! Она еще будет свидетельствовать против меня перед престолом всевышнего.

Старик Мур. О мои надежды! Мои золотые
грезы!..

Франц. Вот именно. Про что же я вам и толкую. Этот пылкий дух, что бродит в мальчике, говоривали вы тогда, делающий его столь чутким ко всему великому и прекрасному, эта искренность, благодаря которой его душа, как в зеркале, отражается в его глазах, эта чувствительность, заставляющая его проливать горючие слезы при виде любого страдания, эта мужественная отвага, подстрекающая его залезать на вершины столетних дубов и вихрем переноситься через рвы, изгороди и стремительные потоки, это детское честолюбие, это непреклонное упорство и прочие блестательные добродетели, расцветающие в сердце вашего любимца, — о, со временем они сделают из него верного друга, примерного гражданина, героя, большого, великого человека! Вот и полюбуйтесь теперь, отец! Пылкий дух развился, окреп — и что за прекрасные плоды принес он! Полюбуйтесь-ка на эту искренность — как она быстро обернулась наглостью, а чувствительность — как она пригодилась для воркования с кокетками, как живо отзывается она на прелести какой-нибудь Фрины. Полюбуйтесь на этот пламенный дух: за каких-нибудь шесть годков он начисто выжег в нем все масло жизни, и Карл, еще не расставшись с плотью, призраком бродит по земле, а бесстыдники, глазея на него, приговаривают: «*C'est l'amour qui a fait ça!*»¹ Да, полюбуйтесь на этот смелый, предприимчивый ум, как он замышляет и осуществляет планы, перед которыми тускнеют геройские подвиги всех Картушей и Говардов. А то ли еще будет, когда великолепные ростки достигнут полной зрелости! Да и можно ли ждать совершенства в столь нежном возрасте? И, быть может, отец, вы еще доживете до радости видеть его во главе войска, что квартирует в священной тиши дремучих лесов и наполовину облегчает усталому путнику тяжесть его ноши! Может быть, вам еще доведется, прежде чем сойти в могилу, совершив паломничество к памятнику, который он воздвигнет себе

¹ Это любовь его покончала! (франц.)

между небом и землей! Может быть... О отец, отец, отец! Ищите себе другое имя, или все мальчишки и торговцы, видевшие на лейпцигском рынке портрет вашего сына, станут указывать на вас пальцами.

Старик Моор. И ты тоже, мой Франц? Ты тоже? О мои дети! Они разят меня прямо в сердце!

Франц. Видите, и я могу быть остроумным. Но мой юмор — жало скорпиона... И вот этот «сухой, заурядный человек», этот «холодный, деревянный Франц» или — не знаю, на какие там еще милые прозвища вдохновляло вас различие между мною и братом, когда он, сидя на отцовских коленях, теребил вас за щеки,— этот Франц умрет в родном углу, истлеет и будет позабыт, в то время как слава того всемирного гения пронесется от полюса к полюсу! О создатель! (*Молитвенно воздевая руки.*) Холодный, сухой, деревянный Франц благодарит тебя за то, что он не таков, как тот!

Старик Моор. Прости меня, сын мой! Не гневайся на отца, обманутого в своих надеждах! Господь, что заставил меня лить слезы из-за Карла, осушит их твоей рукой, мой милый Франц!

Франц. Да, отец, я осушу их. Франц готов пожертвовать своей жизнью, чтобы продлить вашу. Ваша жизнь — для меня оракул, которого я вопрошаю перед любым начинанием; зеркало, в котором я все созерцаю. Для меня нет долга, даже самого священного, которого бы я не нарушил, когда дело идет о вашей бесценной жизни. Верите ли вы мне?

Старик Моор. На тебя лягут еще и другие обязанности, сын мой. Господь да благословит тебя за то, чем ты был для меня и чем будешь.

Франц. Скажите, если бы вы того сына не должны были называть сыном, почли бы вы себя счастливым?

Старик Моор. Молчи! О, молчи! Когда повивальная бабка впервые подала мне его, я высоко его поднял и воскликнул: «Разве я не счастливый человек!»

Франц. Так вы сказали, да не так оно вышло. Теперь вы завидуете последнему из ваших крестьян, что он не отец такого сына. Нет, вам не избыть горя,

покуда у вас есть этот сын. Оно станет зреть вместе с Карлом. Оно подточит вашу жизнь.

Старик Моор. О, оно уже сделало меня восьмидесятилетним стариком!

Франц. Итак... А что, если вы отречетесь от этого сына?

Старик Моор (*вздрагивая*). Франц! Франц! Что ты говоришь?

Франц. Но разве не любовь к нему заставляет вас так страдать? Без этой любви он для вас не существует. Без этой преступной, проклятой любви он мертв для вас, никогда не рождался. Не плоть и кровь — сердце делает нас отцами и детьми. Если вы его не любите, этот выродок уже не сын вам, хоть бы он и был плотью от плоти вашей. Доныне он был для вас зеницею ока, но «аще соблазняет тебя око,— гласит писание,— вырви его вон». Лучше с одним глазом в раю, нежели с двумя в геенне огненной. Лучше бездетным предстать господу, нежели обоим, отцу и сыну, низринуться в ад. Так глаголет бог!

Старик Моор. Ты хочешь, чтобы я проклял моего сына?

Франц. Нет, нет! Вам незачем проклинать сына! Кого вы зовете своим сыном? Того, кому вы дали жизнь и кто делает все, чтобы сократить вашу?

Старик Моор. О, ты прав, ты прав! Это суд божий надо мною! Господь избрал его своим орудием.

Франц. Полюбуйтесь же на сыновние чувства вашего любимца! Он душит вас вашим же отеческим снисхождением, убивает вас вашей же любовью. Он подкупил ваше отчее сердце, чтобы оно отказалось служить вам. Не станет вас — и он хозяин ваших земель, властелин своих страстей! Плотина рухнула, и поток его вожделений мчится, не встречая препон. Поставьте себя на его место! Как часто должен он призывать смерть на своего отца, на своего брата, так безжалостно преграждающих дорогу его распутству. И это — любовь за любовь? И это — сыновняя благодарность за отцовскую кротость, когда мгновенному приливу похоти он жертвует десятью годами вашей

жизни, когда, обуреваемый сладострастием, он ставит на карту славу своих предков, незапятнанную на протяжении семи столетий? И его вы называете сыном? Отвечайте! Его — своим сыном?

Старик Моор. Безжалостное дитя! Ах, но все же мое дитя!

Франц. Мое дитя! Милое, очаровательное дитя, которое только о том и думает, как бы поскорее осиротеть. О, когда же вы это поймете! Когда спадет пелена с ваших глаз! Ведь ваша снисходительность позволит ему закоренеть в разврате, ваше потворство послужит ему оправданием. Правда, так вы отведете проклятие, тяготеющее над его головой, но на вас, на вас, отец, падет оно тогда.

Старик Моор. Да, ты прав! Мой грех, мой грех!

Франц. Сколько тысяч людей, жадно пивших из чаши наслаждений, искусили свои грехи страданием! И разве телесный недуг, спутник всяких излишеств,— не есть перст божий? Вправе ли человек своей жестокой мягкостью отвращать этот перст? Вправе ли отец навеки погубить залог, врученный ему небом? Подумайте, отец: если вы хоть на время отступитесь от Карла, не будет ли он вынужден обратиться на путь истины и исправиться? Если же он и в великой школе несчастья останется негодяем, тогда горе отцу, потворством и мягкосердечием разрушившему предначертания высшей мудрости! Ну, как, отец?

Старик Моор. Я напишу, что лишаю его отцовской поддержки.

Франц. Вы поступите правильно и разумно!

Старик Моор. И чтобы он мне и на глаза не показывался.

Франц. Это окажет спасительное действие.

Старик Моор (*нежно*). Покуда не исправится...

Франц. Хорошо, очень хорошо! А ну, как он вернется, прикрывшись лицемерной личиной, выплачет у вас сострадание, выклянчит прощение, а назавтра уйдет и в объятиях распутниц станет насмехаться над вашей слабостью?.. Но.. нет, нет, отец! Он вернется по

доброй воле, лишь когда совесть перестанет упрекать его.

Старик Мур. Так я ему и напишу.

Франц. Погодите! Еще одно, отец! Я боюсь, как бы в гневе у вас не сорвалось с пера слишком жестокое слово; оно разобьет ему сердце. И вдобавок не сочтет ли он прощением уже то, что вы удостоили его собственноручного письма? А потому, не лучше ли вам поручить это мне?

Старик Мур. Хорошо, сын мой! Ах! Это и вправду разбило бы мое сердце. Напиши ему.

Франц (*быстро*). Значит, так тому и быть?

Старик Мур. Напиши ему, что ручьи кровавых слез, что тысячи бессонных ночей... Но не доводи моего сына до отчаяния!

Франц. Не хотите ли прилечь, отец? Все это так потрясло вас.

Старик Мур. Напиши ему, что отцовское сердце... Но повторяю тебе: не доводи моего сына до отчаяния! (*Уходит опечаленный*.)

Франц (*со смехом глядя ему вслед*). Утешься, старик! Ты никогда уж не прижмешь его к своей груди! Путь туда ему прегражден, как аду путь к небесам. Он был вырван из твоих объятий прежде, чем ты успел подумать, что сам того пожелал. Жалким был бы я игроком, если б мне не удалось отторгнуть сына от отцовского сердца, будь он прикован к нему даже железными цепями. Я очертил тебя магическим кругом проклятий, которого ему не переступить! В добрый час, Франц! Нет больше любимого сынка — поле чисто! Надо, однако, подобрать эти клочки, а то кто-нибудь еще узнает мою руку. (*Собирает клочки разорванного письма*.) Теперь горе живо приберет старика. Да и у нее из сердца я вырву этого Карла, хотя бы вместе с ним пришлось вырвать половину ее жизни. У меня все права быть недовольным природой — и, клянусь честью, я воспользуюсь ими. Зачем не я первый вышел из материнского чрева? Зачем не единственный? Зачем природа взвалила на меня это бремя уродства? Именно на меня? Словно она обанкротилась перед моим рождением. Почему именно мне достался этот лапландский

нос? Этот рот, как у негра? Эти готтентотские глаза? В самом деле, мне кажется, что она у всех людских пород взяла самое мерзкое, смешала в кучу и испекла меня из такого теста. Ад и смерть! Кто дал ей право одарить его всем, все отняв у меня? Разве может кто-нибудь задобрить ее, еще не родившись, или разобидеть, еще не видев света? Нет, нет! Я несправедлив к ней. Высадив нас, нагих и жалких, на берегу этого безграничного океана — жизни, она дала нам изобретательный ум. Плыши, кто может плыть, а человкий —тони! Меня она ничем не снабдила в дорогу. Все, чем бы я ни стал, будет делом моих рук. У всех одинаковые права на большое и малое. Притязание разбивается о притязание, стремление о стремление, мощь о мощь. Право на стороне победителя, а закон для нас — лишь пределы наших сил.

Существуют, конечно, цекие общепринятые понятия, придуманные людьми, чтобы поддерживать пульс миропорядка. Честное имя — право же, ценная монета: можно не плохо поживиться, умело пуская ее в оборот. Совесть — о, это отличное пугало, чтобы отгонять воробьев от вишневых деревьев, или, вернее, ловко составленный вексель, который выпутает из беды и банкрота.

Что говорить, весьма похвальные понятия! Дураков они держат в решпекте, чернь под каблуком, а умникам развязывают руки. Шутки в сторону,— забавные понятия! Напоминают мне плетни, которыми наши крестьяне обносят свои поля, чтобы, сохрани боже, по ним не пробежал какой-нибудь заяц. Заяц — вот именно! Но барин пришпоривает коня и мягко скачет по блаженной памяти жатве. Бедный заяц! Жалкий удел быть зайцем на этом свете! Но зайцы-то и нужны господину.

Итак, скачи смелей! Кто ничего не боится — не менее силен, чем тот, кого боятся все. Нынче в моде пряжки на панталонах, позволяющие, по желанию, то стягивать, то распускать их. Мы велим сшить себе и совесть по новому фасону,— чтобы пошире растянуть ее, когда раздобреем! Наше дело сторона! Обратитесь к портному! Мне столько врали про так называемую

кровную любовь, что у иного честного дурака голова пошла бы кругом. «Это брат твой!» Переведем на язык рассудка: он вынут из той же печи, откуда вынули и тебя, а посему он для тебя... священен. Вдумайтесь в этот мудреннейший силлогизм, в этот смехотворный вывод: от соседства тел и гармонии душ, от общего места рождения к общности чувств, от одинаковой пищи к одинаковым склонностям. И дальше: «Это твой отец! Он дал тебе жизнь, ты его плоть и кровь, а посему он для тебя... священен». Опять хитрейший силлогизм! Но спрашивается, почему он произвел меня на свет? Ведь не из любви же ко мне, когда я еще только должен был стать *собою*. Да разве он меня знал до того, как меня смастерили? Или он хотел сделать меня таким, каким я стал? Или, желая сотворить именно меня, знал, что из меня получится? Надеюсь — нет: иначе мне пришлось бы наказать его за то, что он все-таки произвел меня на свет. Уж не возблагодарить ли мне его за то, что я родился мужчиной? Так же бессмысленно, как жаловаться, если бы я оказался женщиной! Могу ли я признавать любовь, которая не основана на уважении к моему «я»? А какое могло здесь быть уважение к моему «я», когда это «я» само возникло из того, чему бы должно было служить предпосылкой? Где же тут священное? Уж не в самом ли акте, благодаря которому я возник? Но он был не более как скотским удовлетворением скотских инстинктов. Или, быть может, священен результат этого акта? Но от него бы мы охотно избавились, не грози это опасностью нашей плоти и крови. Или я должен прославлять отца за то, что он меня любит? Но ведь и это — только тщеславие, первородный грех всех художников, кичающихся своим произведением, даже если оно безобразно. Вот вам и все колдовство, которое вы такочно окутали священным туманом, чтобы во зло употребить нашу трусость. Неужто же и мне, как ребенку, ходить на этих помощах?

Итак, живо! Смелее за дело! Я выкорчу все, что преграждает мне дорогу к власти. Я буду властелином и силой добьюсь того, чего мне не добиться располагающей внешностью. (Уходит.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Корчма на границе Саксонии.

Карл Мур, углубленный в чтение. Шпигельберг за столом пьет.

Карл Мур (*закрывает книгу*). О, как мне гадок становится этот век бездарных борзописцев, лишь стоит мне почитать в моем милом Плутархе о великих мужах древности.

Шпигельберг (*ставит перед ним стакан и продолжает пить*). Почтай-ка лучше Иосифа Флавия!

Карл Мур. Сверкающая искра Прометея погасла. Ее заменил плаунный порошок — театральный огонь, от которого не раскуришь и трубки. Вот они и бегают теперь, как крысы по палице Геркулеса, и ломают себе головы над загадкой: что за сок за такой содерялся в семенинике этого богатыря? Французский аббат утверждает, что Александр был жалким трусом; чахоточный профессор, при каждом слове подносящий к носу фланкончик с нашатырем, читает лекцию о силе; молодчики, которые, единожды сплутовав, готовы тут же упасть в обморок от страха, критикуют тактику Ганибала; желторотые мальчишки выуживают фразы о битве при Каннах и хнычат, переводя тексты, повествующие о победах Сципиона.

Шпигельберг. Это называется скучить по-александрийски.

Карл Мур. Недурная награда за пот, лившийся с вас в битвах: вы живете теперь в гимназиях, и школьники нехотя таскают в ранцах ваше бессмертие! Недурное вознаграждение за щедро пролитую кровь — пойти на обертку грошовых пряников в лавке нюрибергского торгаша или, в случае особой удачи, попасть в руки французскому драматургу, который поставит вас на ходули и начнет дергать за веревочки! Ха-ха-ха!

Шпигельберг (*пьет*). Почтай-ка Иосифа, прошу тебя.

Карл Мур. Пропади он пропадом, этот хилый век кастров, способный только пережевывать подвиги былых времен, поносить в комментариях героев

древности или корежить их в трагедиях. В его чреслах иссякла сила, и людей плодят теперь с помощью пивных дрожжей!

Шпигельберг. Нет! Чая, братец, чая!

Карл Моор. Они калечат свою природу пошлыми условностями, боятся осушить стакан вина: а вдруг не за того выпьешь, подхалимничают перед последним лаксем, чтобы тот замолвил за них словечко его светлости, и травят бедняка, потому что он им не страшен; они до небес превозносят друг друга за удачный обед и готовы друг друга отравить из-за подстилки, которую у них перехватили на аукционе. Они проклинают саддукея за то, что он неусердно посещает храм, а сами подсчитывают у алтаря свои ростовщические проценты; они преклоняют колена, чтобы попышнее распустить свой плащ, и не сводят глаз с проповедника, высматривая, как завит у него парик; они падают в обморок, увидев, как режут гуся, и рукоплещут, когда их конкурент обанкротится на бирже. Как горячо жал я им руку: «Один только день!» Тщетно: «В тюрьму, собаку!» Мольбы, клятвы, слезы!.. (*Топая ногой.*) О, силы ада!

Шпигельберг. И все из-за каких-то паршивых двух тысяч дукатов.

Карл Моор. Нет! Я не хочу больше об этом думать! Это мне-то сдавить свое тело шнурковой, а волю зашнуровать законами? Закон заставляет ползти улиткой и того, кто мог бы взлететь орлом! Закон не создал ни одного великого человека, лишь свобода порождает гигантов и высокие порывы. Проникши в брюхо тирана, они потворствуют капризам его желудка и задыхаются от его ветров! О, если бы дух Германа восстал из пепла! Поставьте меня во главе войска таких же молодцов, как я, и Германия станет республикой, рядом с которой и Рим и Спарта покажутся женскими монастырями. (*Бросает шпагу на стол и встает.*)

Шпигельберг (*вскакивая*). Браво, брависсимо! Вот ты и дошел до моей мысли! Я сейчас шепну тебе на ухо, Моор, то, что уже давно засело мне в голову. Ты для такого дела самый подходящий человек!

Пей, братец, пей! Что, если нам объявить себя иудеями и восстановить иудейское царство?

Карл Мюллер (*хочет во все горло*). А! Я вижу, ты собрался вывести из моды крайнюю плоть, потому что твоя уже сделалась добычей фельдшера!

Шпигельберг. Чтоб тебя, окаянный! Со мной и вправду случилась такая оказия. Но признайся, что это хитрый и отважный план. Мы издадим манифест, разошлем его на все четыре стороны света и призовем в Палестину всех, кто не жрет свиного мяса. Там я документально доказываю, что Ирод-тетрарх — мой предок, и так далее и так далее. То-то начнется ликование, братец, когда они опять почувствуют почву под ногами и примутся за отстройку Иерусалима. И тут, пока железо горячо, гони турок из Азии, руби ливанские кедры, строй корабли, сбывай кому попало старье и обноски! Тем временем...

Карл Мюллер (*улыбаясь, берет его за руку*). Полно, друг, пора бросить дурачества.

Шпигельберг (*озадаченно*). Тыфу пронастъ! Уж не хочешь ли ты разыграть из себя блудного сына? Ты, удалец, написавший шлагой на физиономиях больше, чем три писца в високосный год успеют написать в приказной книге?.. Уж не напомнить ли тебе о пышном собачьем погребении? Ладно же! Я воскрешу в твоей памяти твой собственный образ! Быть может, это вольет огонь в твои жилы, раз уж ничто другое тебя не вдохновляет. Помнишь еще, как господа из магистрата приказали отстреливать лапу твоей медвежьей суки, а ты в отместку предписал пост всему городу? Все гоготали над твоим реескриптом; но ты, не будь дурак, велишь скупить все мясо в городе, так что через восемь часов во всей округе не сыскать даже обглоданной кости, и рыба начинает подниматься в цене. Магистрат, бургеры алчут мести! Тысяча семьсот наших ребят выстроились мигом, ты во главе, а позади мясники и портные, разносчики, трактирщики, цирюльники и портные — словом, все цеха, готовые в щепы разнести город, если кого-нибудь из наших хоть пальцем тронут. Ну, тем, конечно, и пришлось повернуть оглобли. Ты немедленно созываешь

докторов — целый консилиум — и сулишь три дуката тому, кто пропишет собаке рецепт. Мы страшились, что у господ врачей хватит гордости заупрямиться и отказаться, и уж готовы были применить силу. Как бы не так! Почтенные медики передрались из-за трех дукатов и живо сбили цену до трех баценов; в минуту появилась добрая дюжина рецептов, так что сука тут же и околела.

Карл Мур. Подлецы!

Шпигельберг. Погребение совершается с отменным великолепием; надгробных речей, восхваляющих пса, не обобраться. И вот среди ночи мы, чуть ли не тысяча человек, выстраиваемся, каждый с фонарем в одной и рапирой в другой руке, да так, под колокольный звон, бряцая оружием, и проходим через весь город до места последнего упокоения собаки. Затем до самого рассвета идет жратва. Тут ты поднимаешься, благодаришь за участие и велишь пустить в продажу остатки мяса за полцены! *Mort de ma vie!*¹ Мы глядели на тебя с не меньшим почтением, чем гарнизон завоеванной крепости глядит на победителя.

Карл Мур. И тебе не стыдно этим похвальяться? У тебя хватает совести не стыдиться таких прощелок?

Шпигельберг. Молчи, молчи! Ты больше не Мур. Не ты ли за бутылкою вина тысячи раз насмеялся над старым скрягой, приговаривая: «Пусть себекопит да скряжничает, а я буду ить так, что небу станет жарко!» Ты это помнишь? Хе-хе! Помнишь? Эх ты, бессовестный, жалкий хвастунишка! Это было сказано по-молодецки, по-дворянски, а нынче...

Карл Мур. Будь проклят ты за то, что напоминаешь мне об этом! Будь проклят я, что говорил так! Но это я говорил в винном чаду: сердце не слышало, что болтал язык.

Шпигельберг (*качая головой*). Нет! Нет! Нет! Не может быть! Не верю, что ты говоришь серьезно. Скажи, братец, уж не нужда ли настроила тебя на подобный лад? Дай-ка я расскажу тебе один

¹ Клянусь честью! (*франц.*)

случай из моего детства. Возле нашего дома находился ров шириной ни много ни мало футов в восемь, и мы, ребята, бывало, взапуски стараемся через него перескочить. Да все напрасно. Хлоп! — и ты лежишь на дне, а вокруг крик, хохот, всего тебя закидают снежками. У соседнего дома сидела на цепи собака, такая злющая тварь, что девкам просто прохода не было: чуть зазеваются, она и хватать за юбку! Лучшей моей утешой было чем ни попадя дразнить собаку. Я прямо подыхал со смеху, когда эта бестия уставится на меня и, кажется, вот-вот так и ринулась бы, кабы не цепь. И что же случилось? Раз как-то я опять взялся за свои проделки и угодил ей камнем в ребро; она в бешенстве сорвалась с цепи и прямо на меня. Черт подери! Я помчался сломя голову, но вот беда — проклятый ров как раз передо мной. Что делать? Собака гонится по пятам. Размышлять тут некогда. Я разбежался — скок! — и перемахнул через ров. Этому прыжку я обязан жизнью. Пес разорвал бы меня в куски.

Карл Мур. К чему ты клонишь?

Шпигельберг. К тому, что силы растут с нуждой... Вот почему я никогда не трушу, когда доходит до крайности. Мужество растет с опасностью: чем туже приходится, тем больше сил. Судьба, верно, хочет сделать из меня великого человека, раз так упорно ставит мне преграды.

Карл Мур (*досадливо*). Право, не знаю, на что нам еще мужества и когда нам его не хватало?

Шпигельберг. Ах, так? Значит, ты хочешь, чтобы твои способности пошли прахом? Хочешь зарыть свой талант в землю? Может, ты воображаешь, что твои лейпцигские шалости — предел человеческого остроумия? Нет, голубчик, пустимся-ка в свет: в Париж и в Лондон, где можно живо заработать оплеуху, навав кого-нибудь честным человеком. Душа радуется, как там поставлено дело! Ты, брат, рот разинешь, глаза вытарашишь! А как там подделывают подписи, пердергивают карты, взламывают замки и вытряхивают требуху из сундуков! Этому, брат, поучись у Шпигельберга! На виселицу того каналью, который согласен голодать, имея ловкие руки!

К а р л М о о р (*рассеянно*). Как! Ты уже и на это пошел?

Ш п и г е л ь б е р г. Чего доброго, ты мне не веришь? Постой, дай мне только развернуться! Ты увидишь чудеса! У тебя голова пойдет кругом, когда мой юмор с воем разрешится от бремени! (*Встает, с жаром.*) Как все во мне проясняется! Великие мысли занимаются в душе моей! Гигантские планы бродят в моем творческом мозгу! (*Ударяет себя по лбу.*) Будь проклята сонная одурь, которая до сей поры сковывала мои силы, преграждала мне путь, мешала моим начинаниям! Но вот я просыпаюсь, я сознаю, кто я такой и кем должен стать.

К а р л М о о р. Ты дурак! Это вино в тебе колобродит.

Ш п и г е л ь б е р г (*все более разгорячаясь*). Шпигельберг, будут говорить, ты чародей, Шпигельберг! Жаль, что ты не сделался генералом, Шпигельберг, скажет король. Ты бы сквозь игольное ушко прогнал всю австрийскую армию! Ах, сетуют доктора, ужасно, непростительно, что этот человек не занялся медициной! Он изобрел бы новый порошок против зоба! Ах, как жаль, что он не захотел быть министром финансов, вздыхают новые Сюлли и их кабинеты, он бы камни превратил в луидоры! «Шпигельберг! Шпигельберг!»— будут говорить на востоке и западе. Пресмыкайтесь же в грязи, вы, бабье, гадины! А Шпигельберг, расправив крылья, полетит в храм бессмертия.

К а р л М о о р. Счастливого пути! Карабкайся по позорному столбу на вершину славы. В тени дедовских рощ, в объятиях моей Амалии меня ждут иные радости. Еще на прошлой неделе в письме к отцу я умолял его о прощении; я не скрыл ни одного своего проступка. А где чистосердечие, там сострадание и помошь. Простимся, Мориц! Мы видимся сегодня в последний раз. Почта пришла. Отцовское прощение уже здесь, в стенах города.

Входят Ш в е й ц е р, Г р и м м, Р о л л е р, Ш у ф т е р л е, Рацман.

Р о л л е р. Знаете ли вы, что нас выслеживают?
Г р и м м. Что нас могут схватить каждую минуту?

Карл Моор. Меня это не удивляет. Будь что будет! Не встречался ли вам Шварц? Не говорил ли, что у него есть письмо для меня?

Роллер. Что-то такое говорил. Он давно тебя ищет.

Карл Моор. Где он? Где, где? (*Порывается бежать.*)

Роллер. Постой! Мы велели ему прийти сюда. Ты дрожишь?

Карл Моор. Нет! Отчего бы мне дрожать? Друзья, это письмо... Радуйтесь вместе со мной! Счастливее меня нет человека под солнцем! Отчего мне дрожать?

Входит Шварц.

(*Бежит ему навстречу.*) Брат! Брат! Письмо, письмо!

Шварц (*подает ему письмо. Моор поспешило его распечатывает.*). Что с тобою? Ты белее мела.

Карл Моор. Рука моего брата?

Шварц. Да что это со Шпигельбергом?

Гrimm. Малый рехнулся! Дергается, как в пляске святого Витта.

Шутерле. У него ум за разум запшел! Похоже, что он сочиняет стихи.

Рачман. Шпигельберг! Эй, Шпигельберг! Не слышит, скотина!

Гrimm (*трясет его*). Эй, парень, ты бредишь, что ли?

Шпигельберг, в продолжение всего разговора сидевший в углу и жестикулировавший, как человек, занятый разработкой сложного плана действий, стремительно вскакивает, кричит: «La bourse ou la vie!»¹, и хватает за горло Швейцера, который беспокойно отбрасывает его к стене. Моор роняет письмо и выбегает как безумный. Все вскакивают.

Роллер (*вслед ему*). Моор! Куда ты, Моор? Что с тобой?

Гrimm. Что с ним? Что с ним? Он бледен как смерть.

Швейцер. Хорошие, должно быть, вести. Посмотрим!

¹ Кошелек или жизнь! (франц.)

Р о л л е р (*поднимает с пола письмо и читает*). «Несчастный брат!» Веселое начало! «Я должен вкратце уведомить тебя, что твои надежды не оправдались. Ступай, велит тебе сказать отец, туда, куда тебя ведут твои постыдные деяния. Далее он велит передать, чтобы ты не надеялся на коленях вымолить у него прощение, если не хочешь лакомиться хлебом и водой в подвалах его башен до тех пор, пока волосы не вырастут у тебя с орлиные перья и ногти не уподобятся птичьим когтям. Это его собственные слова. Он приказывает мне кончить письмо. Прощай навеки. Мне жаль тебя! Франц фон Моор».

Ш в е й ц е р. Милейший братишка! Что и говорить! Францем зовут этого пройдоху.

Ш п и г е л ь б е р г (*тихонько подходит к ним*). Вы говорите о хлебе и воде? Хорошая жизнь! Я для вас припас кое-что получше. Разве я всегда не говорил вам, что мне еще в конце концов за всех вас придется думать.

Ш в е й ц е р. Что там брешет эта баранья голова? Осел хочет думать за всех остальных?

Ш п и г е л ь б е р г. Зайцы вы, калеки, хромоногие собаки, если у вас не хватает духу отважиться на что-нибудь великое!

Р о л л е р. Ну, ладно! Пусть так! Но твоя-то выдумка поможет нам выбраться из этого проклятого положения? А?

Ш п и г е л ь б е р г (*с надменным хохотом*). Несчастные! Выбраться из этого проклятого положения? Ха-ха-ха!.. Из проклятого положения? На что-нибудь более тонкое твой жалкий умишко не способен? С прежним грузом по старым лузам? Сукин сын был бы Шпигельберг, если бы он на это только и был еще способен! Героями, говорю я тебе, баронами, князьями, богами сделает вас моя затея.

Р а ц м а н. Не много ли с одного-то маxу? Но на такой работе, верно, можно и шею сломать?

Ш п и г е л ь б е р г. Ничуть! Здесь требуется только смелость, так как по части ума и изобретательности я все беру на себя. Смелее! Говорю я, Швейцер! Роллер, Гримм, Рацман, Шуфтерле! Смелее!

Швейцер. Смелее? Если дело только за этим, у меня хватит смелости босиком пройти через ад.

Шутерле. А у меня — под самой виселицей податься с чертом за душу бедного грешника.

Шпигельберг. Вот это по мне! Если в вас точно есть мужество, пускай кто-нибудь из вас выйдет и скажет: есть у него еще что терять или он может только выиграть?

Шварц. У меня нашлось бы немало что потерять, если б можно было терять то, что еще предстоит приобрести.

Радман. Да, черт возьми, и немало приобрести, если бы хотелось приобретать то, чего уже нельзя потерять.

Шутерле. Случись мне потерять что на мне надето, да и то с чужого плеча, — завтра мне и впрямь нечего будет терять.

Шпигельберг (*становится посреди них и говорит голосом заклинателя*). Итак, если в вас есть еще хоть капля крови германских героев, — за мной! Мы поселимся в богемских лесах, соберем шайку разбойников и... Что вы на меня уставились? Смелость-то уже испарилась?

Роллер. Ты не первый мошенник, который смотрит поверх виселицы и не видит ее. А впрочем, твоя правда — выбора у нас нет.

Шпигельберг. Выбора? У вас нет выбора? А не хотите ли сидеть в долговой яме и забавлять друг дружку веселыми анекдотами, покуда не протрутят к страшному суду? А не то можете потеть с мотыгой и заступом в руках из-за куска черствого хлеба! Или с жалостной песней вымаливать под чужими окнами тощую милостыню! Можно также облечься в серое сукно; но тут возникает вопрос: доверяется ли вашим рожам? А там, повинуясь самодуру капралу, пройти все муки чистилища или в такт барабану прогуляться под свист шпицрутенов! Или в галерном раю таскать на себе весь железный склад Вулкана! А вы говорите выбора нет. Да выбирайте любое!

Роллер. Шпигельберг не так уж не прав. Я тоже состряпал кое-какие планы, но все они в конце концов

свелись к одному: что, думал я, если нам засесть да скропать альманах — карманныю книжонку или что-нибудь в этом роде,— да начать пописывать грошевые рецензии, как это нынче в моде?

Ш у ф т е р л е. Черт возьми! Ну, это недалеко ушло от моих проектов. Я тоже втихомолку подумывал: сделаюсь-ка я пиетистом, да и начну еженедельно проводить назидательные беседы.

Г р и м м. Отлично! А не получится — безбожником: можно всыпать хорошенько четырем евангелистам, так чтобы книгу предали потом сожжению,— вот и сделали бы дельце!

Ш в е й ц е р (*встает и протягивает Шпигельбергу руку*): Мориц, либо ты великий человек, либо желудь найден слепою свиньей.

Ш в а р д. Прекрасные планы! Честные занятия! Как, однако, тяготеют друг к другу великие души. Нам недостает только превратиться в девок и своден или торговать своей невинностью.

Ш п и г е л ь б е р г. Чепуха! Чепуха! А что вам мешает соединить все это в одно? Мой план вас живо выведет в люди, а бессмертие и слава приложатся. Эх вы голоштаники! Надо ведь и об этом подумать — о посмертной славе, о сладостном сознании своей невинности!

Р о л л е р. И о первом месте в списке честных людей. Ты славный оратор, Шпигельберг, когда дело идет о том, чтобы сделать из честного человека мошенника. Но куда же это запропастился Моор?

Ш п и г е л ь б е р г. Из честного? Неужели ты думаешь, что тогда ты будешь менее честен, чем теперь? И что ты называешь «честностью»? Помогать богатым скрягам сбыть с шеи хотя бы третью заботу, лишающих их золотого сна; пускать в оборот залежавшиеся капиталы; восстанавливать имущественное равновесие — одним словом, воскресить золотой век на земле, освободить господа бога от кое-каких обременительных нахлебников, сократить потребность в войнах, в море, голоде и докторах — вот что, по-моему, значит быть честным, быть достойным орудием в руках провидения! Ведь тогда при каждом куске жаркого, отправляемого

в рот, ты можешь тешить себя лестным сознанием, что этим куском ты обязан своей хитрости, своему льви-ному мужеству, своим бессонным ночам. Быть в почете у всех от мала до велика...

Р о л л е р. И, наконец, заживо вознесстись поближе к небу и, несмотря на бурю и ветер, несмотря на про-жорливый желудок прадедушки-времени, качаться под солнцем, луной и мерцающими звездами — там, где неразумные птицы небесные, привлеченные благородной жадностью, поют сладостные песни, а хвостатые ангелы собираются на свой синедрион! Не так ли? И пускай, в то время как монархов и владетельных князей пожирают черви, на твою долю выпадет честь принимать визиты Юпитерова орла! Мориц! Мориц! Берегись трехногого зверя!

Ш п и г е л ь б е р г. И тебя это пугает, заячья душа? Разве мало великих гениев, способных преобразить мир, сгнило на живодерне? И разве память о них не сохраняется века, тысячелетия, тогда как множество королей и курфюрстов были бы позабыты, если б историки не страшились пробелов в преемственности или не стремились удлинить на несколько страниц свои книги, за которые им платит издатель? А если прохожий увидит, как ты раскачиваешься на ветру, он проворчит себе под нос: «Должно быть, малый не промах!» — и посетует на худые времена.

Ш в е й ц е р (*треплет него по плечу*). Славно, Шпигельберг, славно! Что же, черт возьми, вы стоите там и медлите?

Ш в а р ц. Пусть это называется проституцией — невелика беда! И потом, разве нельзя на всякий случай носить с собой порошок, который тихонько спровадит тебя на Ахерон, где уж ни один черт не узнает, кто ты таков? Да, брат Мориц! Твой план не плох. Таков и мой катехизис!

Ш у ф т е р л е. Гром и молния! И мой также! Шпигельберг, ты меня завербовал!

Р а ц м а н. Ты, как новый Орфей, усыпал своею музыкой рыкающего зверя — мою совесть. Бери меня со всеми потрохами!

Г р и м м . *Si omnes consentiunt, ego non dissen-tio*¹ — и точка! В моей голове целый аукцион: и пи-тисты, и шарлатаны, и рецензенты, и мошенники! Кто больше даст, за тем и пойду. Вот моя рука, Мориц!

Р о л л е р . Ты тоже, Швейцер? (*Подает Шпигель-бергу правую руку.*) Ну что ж, и я закладываю душу дьяволу.

Ш п и г е л ь б е р г . А свое имя — звездам. Не все ли равно куда отправятся наши души? Когда сонмы курьеров возвестят о нашем сопствии, черти выря-дятся по-праздничному, сотрут с ресниц тысячелетнюю сажу и высунут мириады рогатых голов из дымящихся жерл серных печей, чтобы посмотреть на наш въезд! (*Вскакивает.*) Други! Живее, други! Что сравнится с этим пьянящим восторгом? Вперед!

Р о л л е р . Потише, потише! Куда? И зверю нужна голова, ребятки.

Ш п и г е л ь б е р г (*язвительно*). Что он там про-поведует, этот кунктор? Разве голова не варила, когда тело еще бездействовало? За мной, друзья!

Р о л л е р . Спокойно, говорю я! Свобода тоже должна иметь господина. Без головы погибли Рим и Спарта.

Ш п и г е л ь б е р г (*льстиво*). Да, погодите, Ролл-лер прав. И это должна быть светлая голова! Пони-маете? Тонкий политический ум. Подумать только, чем были вы час назад и чем стали теперь? От одной удачной мысли! Да, конечно, у вас должен быть начальник. Ну, а тот, кому пришла в голову такая мысль, — скажите, разве это не тонкий полити-ческий ум?

Р о л л е р . О, если б можно было надеяться, меч-тать... Но нет, боюсь, он никогда не согласится.

Ш п и г е л ь б е р г . Почему? Говори напрямик, друг! Как ни трудно вести корабль против ветра, как ни тяжко бремя короны... Говори смелее, Роллер! Может быть, он и согласится...

Р о л л е р . Все пойдет ко дну, если он откажется. Без Моора мы тело без души.

¹ Если все согласны, то и я не перечу (лат.).

Ш п и г е л ь б е р г (недовольный отходит от него).

Остолоп!

М о о р (*входит в сильном волнении и мечется по комнате, разговаривая сам с собою*). Люди! Люди! Лживые, коварные ехидны! Их слезы — вода! Их сердца — железо! Поцелуй на устах — и кинжал в сердце! Львы и леопарды кормят своих детенышей, вороны носят падаль своим птенцам, а он, он... Черную злобу научился я сносить. Я могу улыбаться, глядя, как мой заклятый враг поднимает бокал, наполненный кровью моего сердца... Но если кровная любовь предает меня, если любовь отда превращается в мегеру,— о, тогда возгорись пламенем, долготерпение мужа, обернись тигром, кроткий ягненок, каждая жилка наливайся злобой и гибелю!

Р о л л е р. Послушай, Моор! Как ты думаешь, ведь разбойничать лучше, чем сидеть на хлебе и воде в подземелье?

М о о р. Зачем такая душа не поселилась в теле тигра, яростно терзающего человеческую плоть? И это — отцовские чувства? И это — любовь за любовь? Я хотел бы превратиться в медведя, чтобы заставить всех полярных медведей двинуться на подлый род человеческий! Раскаянье — и нет прощенья! О, я хотел бы отравить океан, чтобы из всех источников люди впивали смерть! Такая доверчивость, такая непреклонная уверенность — и нет милосердия!

Р о л л е р. Да послушай же, Моор, что я тебе скажу!

М о о р. Нет, этому нельзя поверить! Это сон! Бред! Такая смиренная мольба, такое живое изображение горя и слезного раскаяния... Сердце дикого зверя растаяло бы от состраданья, камни бы расплакались... И что же? О, если рассказать, это покажется злобным пасквилем на род человеческий. И что же, что? О, если б я мог протрубить на весь мир в рог восстания и воздух, моря и землю поднять против этой стаи гиен!

Р о л л е р. Да послушай же, Моор! Ты от бешенства ничего не слышишь.

М о о р. Прочь! Прочь от меня! Разве имя твое не человек? Разве не женщина родила тебя? Прочь с глаз

моих — ты, что имеешь обличье человека! Я так не-сказанно любил его! Ни один сын не любил так своего отца! Тысячу жизней положил бы я за него! (*Топает ногой.*) О, кто даст мне в руки меч, чтобы нанести жгучую рану людскому племени, этому порождению ехидны! Кто скажет мне, как поразить самое сердце его жизни, раздавить, растерзать его, тот станет мне другом, ангелом, богом! Я буду молиться на него!

Р о л л е р. Такими друзьями мы и хотим стать. Выслушай же нас!

Ш в а р ц. Пойдем с нами в богемские леса! Мы наберем шайку разбойников, а ты...

Моор дико смотрит на него.

Ш в е й ц е р. Ты будешь нашим атаманом! Ты должен быть нашим атаманом!

Ш п и г е ль б е р г (*со злостью бросается в кресла.*). Холопы! Трусы!

М о о р. Кто нашептал тебе эти слова? Послушай, брат! (*Хватает Шварца за руку.*) Ты извлёк их не со дна твоей души — души человека. Кто нашептал тебе эту мысль? Да, клянусь тысячерукой смертью, мы это сделаем! Мы должны это сделать! Мысль, достойная преклоненья! Разбойники и убийцы! Клянусь спасением души моей — я ваш атаман!

В с е (*с шумом и криками*). Да здравствует атаман!

Ш п и г е ль б е р г (*вскакивая, про себя*). Атаман, покуда я его не спроважу!

М о о р. Точно бельмо спало с глаз моих! Каким глупцом я был, стремясь назад в клетку! Дух мой жаждет подвигов, дыханье — свободы! Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон. Люди заслонили от меня человечество, когда я взывал к человечеству... Прочь от меня, сострадание и человеческое милосердие! У меня нет больше отца, нет больше любви!.. Так пусть же кровь и смерть научат меня позабыть все, что было мне дорого когда-то! Идем! Идем! О, я найду для себя ужасное забвение! Решено — я ваш атаман! И благо тому из нас, кто будет всех неукротимее жечь, всех ужаснее убивать: ибо, истинно говорю вам, он будет награжден по-царски! Становитесь

все вокруг меня, и каждый да поклянется мне в верности и послушании до гроба! Пожмем друг другу руки!

В с е (*протягивая ему руки*). Клянемся тебе в верности и послушании до гроба.

М о о р. А моя десница будет порукой, что я преданно и неизменно, до самой смерти, останусь вашим атаманом! Да умретвят эта рука без промедления того, кто когда-нибудь струсит, или усомнится, или отречется! И пусть так же поступит со мною любой из вас, если я когда-либо нарушу свою клятву. Довольны вы?

Шпигельберг в бешенстве бегает взад и вперед.

В с е (*бросая вверх шляпы*). Довольны! Довольны!

М о о р. Итак, в путь! Не страшитесь ни смерти, ни опасностей! Ведь нами правит неумолимый рок: каждого настигнет конец — будь то на мягкой постели, в чаду кровавой битвы, на виселице или на колесе. Другого удела нет.

Ш п и г е л ь б е р г (*глядя им вслед, после некоторого молчания*). В твоем перечне остался пробел. Ты не назвал яда. (*Уходит.*)

С П Е Н А Т Р Е Т Ъ Я

В замке Моора. Комната Амалии.

Ф р а н ц, А м а л и я.

Ф р а н ц. Ты отворачиваешься, Амалия? Разве я не стою того, чего стоит проклятый отцом?

А м а л и я. Прочь! О этот чадолюбивый, милосердный отец, отдавший сына на съеденье волкам и чудовищам! Сидя дома, он услаждает себя дорогими винами и покоит свое дряхлое тело на пуховых подушках, в то время как его великий, прекрасный сын — в тисках нужды! Стыдитесь вы, чудовища! Стыдитесь, драконовы сердца! Вы — позор человечества! Своего единственного сына...

Ф р а н ц. Я считал, что у него их двое.

А м а л и я. Да, он заслуживает таких сыновей, как ты. На смертном одре он будет тщетно протягивать

иссохшие руки к своему Карлу и с ужасом отдернет их, коснувшись ледяной руки Франца. О, как сладостно, как бесконечно сладостно быть проклятым твоим отцом! Скажи, Франц, любящая братская душа, что нужно сделать, чтобы заслужить его проклятье?

Франц. Ты в бреду, моя милая. Мне жаль тебя.

Амалия. Оставь! Жалеешь ты своего брата? Нет, чудовище! Ты ненавидишь его! Ты и меня ненавидишь!

Франц. Я люблю тебя, как самого себя, Амалия!

Амалия. Если ты меня любишь, то, верно, не откажешь мне в просьбе?

Франц. Никогда, никогда, если ты не потребуешь большего, чем моя жизнь.

Амалия. О, если так, то эту просьбу ты очень легко, очень охотно исполнишь... (*Гордо.*) Ненавидь меня! Я сейчас сгорела от стыда, когда, думая о Карле, представила себе, что ты не питаешь ко мне ненависти. Ты обещаешь мне это? Теперь ступай! Оставь меня! Я люблю быть одна.

Франц. Прелестная мечтательница! Как восхищаюсь я твоим нежным, любящим сердцем! Здесь (*касаясь ее груди*), здесь царил Карл, как божество в своем храме! Карл стоял перед тобой наяву, Карл являлся тебе в сновидениях. Вся вселенная сливалась для тебя в Карле, все отражало *его*, все твердило о *нем*.

Амалия (*взволнованная*). Да, правда! Признаюсь! Назло вам, извергам, признаюсь перед целым светом: я люблю *его*!

Франц. Бесчеловечно! Жестоко! Так заплатить за эту любовь! Позабыть ту...

Амалия (*вспылив*). Что? Позабыть меня?

Франц. Разве ты не надела ему на прощанье брильянтового кольца в залог твоей верности?.. Но, впрочем, как устоять юноше перед прелестями какой-нибудь блудницы! Кто осудит его, если ему нечего было ей отдать? И к тому же — разве она не заплатила ему с лихвой ласками и объятиями?

Амалия (*возмущенная*). Мое кольцо — блуднице?

Франц. Фу, как это подло! Но если б это было

все!.. Перстень, как бы он ни был дорог, можно достать у любого жида. Может быть, Карлу не понравилась работа и он выменял его на лучший?

Амалия. Но мой перстень, говорю я, мой перстень!

Франц. Да, твой, Амалия! Такое бы сокровище — и на моем пальце! И от кого? От Амалии! Сама смерть не вырвала бы его у меня, Амалия! Ведь не чистота бриллианта, не искусственная работа — любовь придает ему цену! Милое дитя, ты плачешь? Горе тому, кто исторг драгоценные капли из твоих божественных глаз! Ах, если бы ты знала все, если бы ты видела его самого... и в таком обличье!

Амалия. Чудовище! Как? В каком обличье?

Франц. Нет, нет, ангел души моей, не расспрашивай меня! (*Как будто про себя, но достаточно громко.*) О, если бы существовала завеса, чтобы скрыть от глаз света этот гнусный порок! Но нет! Он глядит из пожелтевших глаз, обведенных свинцовыми кругами, он выдает себя мертвенно-бледным, осунувшимся лицом, уродливо заостренными скулами. Вот он бормочет глухим, охрипшим голосом, вот он вопит о себе, дрожащий, качающийся скелет, он пробирается до мозга костей и сокращает мужественную силу юности, вот, вот брызжет он со лба, со щек, изо рта, со всего тела гнойной, разъедающей пеной, мерзостно гнездится в постыдных скотских язвах. Тыфу, тыфу! Мне тошно! Нос, глаза, уши — все ходят ходуном... Ты помнишь, Амалия, несчастного, который умер, задохнувшись от кашля, в нашей больнице? Казалось, стыд отворачивает от него свои взоры! Ты вскрикнула в ужасе, увидав его. Воскреси этот образ в своей душе — и перед тобой возникнет Карл. Его поцелуй — чума, его губы дышат отравой.

Амалия (*дает ему пощечину*). Бесстыжий клеветник!

Франц. Тебя ужасает такой Карл? Даже этот бледный образ вызывает в тебе отвращение? Поди полюбуйся на него сама, на твоего прекрасного, ангелоподобного, божественного Карла. Поди упейся бальзамом его дыхания, дай умертвить себя запаху

амброзии, вырывающемся из его пасти. Один его вздох вдохнет в тебя ту губительную, смертоносную дурноту, такую вызывает вонь разлагающейся падали, усеянное трупами поле битвы.

Амалия отворачивается.

Какой вихрь любви! Какое сладострастие в объятиях! Но справедливо ли осуждать человека за его непривлекательность? Ведь и в жалком теле калеки Эзопа, как рубин в грязи, блестала великая, достойная душа! (*Злобно улыбаясь.*) Даже из уст, покрытых язвами, любовь может... Конечно, если порок не расшатает силы характера, если вместе с целомудрием не улетучится и добродетель, как запах изувядшей розы, если вместе с телом не станет калекой дух...

Амалия (*радостно вскакивает*). О Карл! Я снова узнаю тебя! Ты все тот же, тот же! Все это ложь! Ужели ты не знаешь, злодей, что Карл не может стать иным?

Франц некоторое время стоит в глубоком раздумье, затем внезапно поворачивается, собираясь уйти.

Куда так поспешно? Бежишь от собственной совести?

Франц (*закрывает лицо руками*). Отпусти меня! Отпусти! Дать волю слезам! Тиран отец! Лучшего из своих сыновей предать во власть нужды, публичного позора! Пусти меня, Амалия! Я паду к его ногам, я на коленях буду молить его переложить на меня тяжесть отцовского проклятия — лишить меня наследства, меня... Моя кровь... моя жизнь... все...

Амалия (*бросается ему на шею*). Брат моего Карла! Добрый, милый Франц!

Франц. О Амалия! Как я люблю тебя за эту непоколебимую верность моему брату! Прости, что я посмел так жестоко искушать твою любовь!.. Как прекрасно ты оправдала мои надежды! Эти слезы, вздохи, этот гнев... как дороги, как близки они мне!.. Наши братские сердца бились так согласно!

Амалия. О нет, этого не было никогда!

Франц. Ах, они пребывали в такой гармонии! Мне всегда казалось, будто мы родились близнецами! Если бы это досадное внешнее несходство, не будь

которого, Карл, к сожалению, утратил бы свои преимущества, нас бы путали десять раз на дню. Ты, часто говорю я себе, ты вылитый Карл, его эхо, его подобие.

Амалия (*качая головой*). Нет, нет! Клянусь непорочным небом — ни одной его черточки, ни искорки его чувства!

Франц. Мы так схожи и в склонностях! Роза была его любимым цветком. Какой цветок мне милее розы? Он нескованно любил музыку! Звезды небесные, вас призываю в свидетели, в мертвой тишине ночи, когда все вокруг погружалось во мрак и дремоту, вы подслушивали мою игру на клавесинах! Как можешь ты еще сомневаться, Амалия? Ведь наша любовь сходилась в одной точке совершенства; а если любовь одна, как могут быть несхожими те, в чьих сердцах она гнездится?

Амалия удивленно смотрит на него.

Был тихий, ясный вечер, последний перед его отъездом в Лейпциг, когда он привел меня в беседку, где мы так часто предавались любовным грезам. Мы долго сидели молча. Потом он схватил мою руку и тихо, со слезами в голосе, сказал: «Я покидаю Амалию... Не знаю почему, но мне чудится, что это навеки. Не оставляй ее, брат! Будь ее другом — ее Карлом, если Карлу не суждено возвратиться! (*Бросается перед ней на колени и с жаром целует ей руки.*) Никогда, никогда, никогда не возвратится он, а я дал ему священную клятву!

Амалия (*отпрянув от него*). Предатель! Вот когда я уличила тебя! В этой самой беседке он заклинал меня не любить никого, если ему суждено умереть. Слышишь ты, безбожный, мерзкий человек! Прочь с глаз моих!

Франц. Ты не знаешь меня, Амалия, совсем не знаешь!

Амалия. Нет! Я знаю тебя! Теперь-то я знаю тебя... И ты хотел быть похожим на него? И это перед тобой он плакал обо мне? Скорее он написал бы мое имя на позорном столбе! Вон, сейчас же вон!

Франц. Ты оскорбляешь меня!

А м а л и я. Вон, говорю я! Ты украл у меня драгоценный час. Пусть вычтется он из твоей жизни!

Франц. Ты ненавидишь меня!

А м а л и я. Я тебя презираю. Уходи!

Франц (*топая ногами*). Постой же! Ты затрепещешь передо мной! Мне предпочтеть нищего?! (*Уходит.*)

А м а л и я. Иди, негодяй! Теперь я снова с Карлом. «Нищего», сказал он? Все перевернулось в этом мире! Нищие стали королями, а короли нищими. Лохмотья, надетые на нем, я не променяю на пурпур помазанников божьих! Взгляд его, когда он просит подаяния,— о, это гордый, царственный взгляд, обращающий в пепел пышность, великолепие, торжество богатых и сильных! Валяйся в пыли; блестящее ожерелье! (*Срывает с шеи жемчуг.*) Носите его, богатые, знатные! Носите это проклятое золото и серебро, эти проклятые алмазы! Пресыщайтесь роскошными яствами, нежьте свои тела на мягком ложе сладострастья! Карл! Карл! Вот теперь я достойна тебя! (*Уходит.*)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Франц фон Мор сидит, задумавшись, в своей комнате.

Франц. Нет, это тянется слишком долго... Врач говорит, что дело идет на поправку. Старики живучи! А ведь передо мною открылась бы ровная, свободная дорога, если бы не этот постылый, жилистый кусок мяса, который, как та подземная собака из волшебной сказки, препрятывает мне доступ к моим сокровищам.

Неужто моим замыслам склониться под железное ярмо естества? Неужто мне приковать свой парящий дух к медленному, черепашьему шагу материи? Задуть огонь, который и без того чуть тлеет на выгорающем масле — не более! И все же, я не хотел бы это сделать сам... Из-за людской молвы. Я хотел бы не убить его, но сжечь со свету. Я хотел бы поступать, как мудрый врач, только наоборот: не ставить преград на пути

природы, а торопить ее шаг. Ведь удается же нам удлинять жизнь; так почему бы однажды не попытаться укоротить ее?

Философы и медики утверждают, что состояние духа и работа всего человеческого организма находятся в тесной взаимосвязи. Подагрические ощущения всякий раз сопровождаются расстройством механических направлений; страсти подрывают жизненную силу; не в меру отягощенный дух клонит к земле свою оболочку — тело. Так как же быть? Кто сумеет смерти расчистить дорогу в замок жизни; поразив дух, разрушить тело? Ах! Неглупая мысль! Но кто ее осуществит? А мысль-то бесподобная! Пораскинь мозгами, Моор! Вот это был бы эксперимент! Право же, лестно впервые произвести его! Ведь довели же смешение ядов до степени чуть ли не подлинной науки и путем опытов вынудили природу указать, где ее границы. Так что теперь на несколько лет вперед высчитывают биение сердца и говорят пульсу: доселе и не дальше. Отчего же и нам не испробовать силу своих крыльев?

Но с чего начать? Как нарушить это сладостное, мирное единение души и тела? Какую категорию чувств избрать мне? Какая из них злее поразит цвет жизни? Гнев — этот изголодавшийся волк слишком скоро насыщается. Забота — для меня этот червь точит слишком медленно; тоска — эта ехидна ползет так лениво; страх — надежда не дает ему воли. Как? И это все палачи человека? Ужели так быстро истощился арсенал смерти? (Задумывается.) Как? Ну же! Нет! А! (Вскакивая.) Испуг! Какие пути заказаны испугу? Что разум, религия против ледяных объятий этого исполина? И все же... Если старик устоит и против этой бури? Если он... О, тогда придите ко мне на помощь, ты, жалость, и ты, раскаяние — адская Эвменида, подколодная змея, вечно жующая свою жвачку и пожирающая собственные нечистоты, вечная разрушительница, без устали обновляющая свой яд! Явись и ты, вопиющее самообвинение,— ты, что опустошаешь собственное жилище и терзаешь родную матерь! Придите и вы ко мне на помощь, благодетельные грации: прошлое, с кроткой улыбкой на устах, и ты,

цветущая будущность, со своим неисчерпаемым рогом изобилия! Легкокрылыми стопами ускользая из его жадных объятий, покажите ему в своем зеркале все наслаждения рая. Так, удар за ударом, ураган за ураганом, обрушусь я на непрочную жизнь, покуда все это полчище фурий не замкнет собою отчаяние. Славно! Славно! План готов, небывало трудный, искусный, надежный, верный, ибо (*насмешливо*) нож анатома здесь не найдет ни следов ранений, ни разъедающего яда. (*Решительно.*) Итак, за дело!

Входит Г е р м а н .

А! Deus ex machina!¹ Герман!

Г е р м а н . К . вашим услугам, сударь.

Франц (*подает ему руку*). И ты будешь щедро вознагражден за них, Герман!

Г е р м а н . Вы уже не раз награждали меня,

Франц. Вскоре я стану еще щедрее, куда щедрее, Герман! Мне надо поговорить с тобой.

Г е р м а н . Я весь обратился в слух.

Франц. Я знаю тебя, ты решительный малый, солдатское сердце. А мой отец ведь очень обидел тебя, Герман.

Г е р м а н . Будь я проклят, если я это забуду!

Франц. Вот это голос мужа! Месть подобает мужественному сердцу. Ты мне нравишься, Герман! Возьми этот кошелек. Он весил бы больше, будь я здесь господином.

Г е р м а н . Это мое всегдашнее желание, ваша милость! Благодарю вас!

Франц. В самом деле, Герман? Ты хочешь, чтобы я был здесь господином? Но у моего отца львиные силы, и к тому же я младший сын.

Г е р м а н . Я хотел бы, чтоб вы были старшим сыном, а у вашего отца было не больше сил, чем у чахоточной девушки.

Франц. О! Как бы награждал тебя этот старший

¹ Буквально: бог с машины (*лат.*); так говорят о неожиданной развязке, намекая на вмешательство богов в греческой трагедии; боги спускались на сцену при помощи особой машины.

сын! Он бы сделал все, чтобы поднять тебя из грязи к блеску, достойному твоего ума и высокого происхождения. Он осыпал бы тебя золотом с ног до головы! Ты проносился бы по улицам в карете, запряженной четверней! Да, правда, так бы оно и было! Но что я хотел сказать тебе? Ты еще не забыл фрейлейн фон Эдельрейх, Герман?

Г е р м а н . Гром и молния! Зачем вы напомнили мне о ней?

Ф р а н ц . Мой брат отбил ее у тебя.

Г е р м а н . Он за это поплатится.

Ф р а н ц . Она тебе отказалась, а он чуть ли не спустил тебя с лестницы.

Г е р м а н . За это он полетит у меня в ад!

Ф р а н ц . Он говорил, будто все шепчутся, что ты зачат под забором и что твой отец не может глядеть на тебя без того, чтобы не бить себя в грудь и не стонать: «Господи, прости меня, грешного!»

Г е р м а н . Тысяча чертей! Да замолчите ли вы?

Ф р а н ц . Он советовал тебе продать дворянскую грамоту с аукциона, а на вырученные деньги заплатить себе чулки!

Г е р м а н . Проклятие! Я выщарапаю ему глаза собственными руками!

Ф р а н ц . Что? Ты сердишься? Как можешь ты сердиться на него? Что ты можешь с ним поделать? Что может крыса против льва? Твой гнев лишь подстаслит его торжество. Тебе только и остается, что скрежетать зубами да вымешивать свою злобу на черством хлебе.

Г е р м а н (*топая ногами*). Я его в порошок сотру!

Ф р а н ц (*треплет его по плечу*). Фу, Герман, ведь ты же дворянин, ты не можешь стерпеть такой обиды. Ты не можешь позволить, чтобы у тебя из-под носа выхватили возлюбленную. Ни за что на свете, Герман! Черт побери! Я пошел бы на все, будь я на твоем месте.

Г е р м а н . Я не успокоюсь, покуда и тот и другой не будут лежать в могиле.

Ф р а н ц . Не горячись, Герман! Подойди ближе... Амалия будет твоей.

Г е р м а н . Будет! Назло всем чертям — будет!

Франц. Ты получишь ее, клянусь тебе! И получишь из моих рук. Подойди ближе, говорят тебе. Ты, верно, не знаешь, что Карл, можно сказать, уже лишен наследства?

Г е р м а н (*приближаясь к нему*). Неужели? В первый раз слышу!

Франц. Успокойся и слушай дальше,— подробнее я расскажу в другой раз. Да, говорю тебе, скоро год, как отец, можно сказать, выгнал его из дома. Но старик уже раскаивается в столь поспешном шаге, на который (*со смехом*) он, можешь быть уверен, решился не по своей воле. К тому же и Амалия с утра до ночи донимает его жалобами и упреками. Рано или поздно, он начнет искать Карла по всему свету, а отыщет — так пиши пропало! Тебе останется только подсадить его в карету, когда он поедет с ней к венцу.

Г е р м а н . Я удавлю его у алтаря!

Франц. Отец передаст ему графскую власть, а сам будет жить на покое в своих замках. И вот вожжи в руках у надменного вертопраха, вот он смеется над своими врагами и завистниками, а я, кто хотел сделать тебя богатым, знатным,— я сам, Герман, буду, низко склонившись, стоять у его дверей...

Г е р м а н (*с жаром*). Нет, как правда то, что меня зовут Германом,— этого не будет! Если хоть искра разума еще тлеет в моем мозгу — с вами этого не случится!

Франц. Уж не ты ли тому воспрепятствуешь? Он и тебя, мой милый Герман, заставит отведать кнута; он будет плевать тебе в лицо при встрече на улице,— и горе тебе, если ты посмеешь хотя бы вздрогнуть или скривить рот. Вот как обстоит дело с твоим сватовством к Амалии, с твоими планами, с твоей будущностью.

Г е р м а н . Скажите, что мне делать?

Франц. Слушай же, Герман! И ты увидишь, какой я тебе преданный друг и как близко принимаю к сердцу твою судьбу! Ступай переоденься, чтобы никто не мог узнать тебя. Вели доложить о себе старику, скажи, что ты прямо из Богемии, что ты вместе

с моим братом участвовал в сражении под Прагой и видел, как он пал на поле битвы.

Герман. Но поверят ли мне?

Франц. Хо-хо! Об этом уж я позабочусь! Вот тебе пакет: тут подробная инструкция и, кроме того, бумаги, которые убедят и олицетворенное сомнение. А теперь постарайся незаметно выйти отсюда. Беги через черный ход на двор, там перелезай через садовую стену. Развязку же этой трагикомедии предоставь мне!

Герман. Она не замедлит свершиться! Виват новому владетельному графу, Франциску фон Моору!

Франц (*треплет его по щеке*). Хитрец! Этим способом мы живо достигнем всех наших целей: Амалия утратит надежду на него; старик обвинит себя в смерти сына и тяжко захворает,— а ветхому зданию не нужно землетрясения, чтобы обвалиться. Он не переживет этой вести. И тогда я — единственный сын. Амалия, лишившись опоры, станет игрушкой в моих руках. Остальное легко можешь себе представить. Короче говоря, все примет желательный оборот. Но и ты не должен отступаться от своего слова.

Герман. Что вы? (*Радостно.*) Скорее пуля полетит назад и разворотит внутренности стрелка! Положитесь на меня! Предоставьте мне действовать! Прощайте!

Франц (*кричит ему вслед*). Жатва твоя, любезный Герман! (*Один.*) Когда вол свез в амбар весь хлеб, ему приходится довольствоваться сеном. Скотнице тебе, а не Амалию! (*Уходит.*)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Спальня старика Моора.

Старик Моор спит в креслах. Амалия.

Амалия (*тихонько подходит к нему*). Тише, тише! Он задремал! (*Останавливается перед ним.*) Как он прекрасен, как благостен! Такими пишут святых. Нет, я не могу на тебя сердиться! Седовласый старец, я не могу на тебя сердиться! Спи спокойно, пробудись радостно. Я одна приму на себя страдания.

Старик Моор (во сне). Сын мой! Сын мой!
Сын мой!

Амалия (берет его за руку). Тсс! Тсс! Ему снится сын.

Старик Моор. Ты ли это? Ты здесь? Ах, какой у тебя жалкий вид. Не смотри на меня таким горестным взором! Мне тяжко и без того.

Амалия (будит его). Проснитесь! Это только сон! Придите в себя!

Старик Моор (спросонок). Разве он не был здесь? Разве я не сжимал его руку? Жестокий Франц! Ты и во сне хочешь отнять у меня сына?

Амалия. Так вот оно что!

Старик Моор (проснувшись). Где он? Где? Где я? Это ты, Амалия?

Амалия. Лучше ли вам? Вы так сладко спали.

Старик Моор. Мне снился сын. Зачем я проснулся? Быть может, я услышал бы из его уст слова прощения.

Амалия. Ангелы не помнят зла! Он вас прощает.
(С чувством берет его за руку.) Отец моего Карла, я прощаю вас!

Старик Моор. Нет, дочь моя! Мертвенная бледность твоего лица меня обвиняет. Бедная девочка! Я лишил тебя всех наслаждений юности! О, не проклиной меня!

Амалия (с неожиданностью целует его руку). Вас?

Старик Моор. Знаком ли тебе этот портрет, дочь моя?

Амалия. Карл!

Старик Моор. Таков он был, когда ему пошел шестнадцатый год. Теперь он другой. Мое сердце истерзано! Кротость сменилась озлоблением, улыбка гrimасой отчаяния. Не правда ли, Амалия? Это было в жасминной беседке, в день его рождения, когда ты писала с него этот портрет? О дочь моя! Ваша любовь делала счастливым и меня.

Амалия (не сводя глаз с портрета). Нет! Нет! Это не он! Клянусь богом, это не Карл! Здесь, здесь *(указывая на свое сердце и голову)* он совсем другой... Блеклые краски не могут повторить высокий дух, бли-

ставший в его огненных глазах! Ничуть не похож. На портрете он только человек. Какая же я жалкая художница!

Старик Моор. Этот приветный, ласковый взор... О, если бы он стоял у моей постели, я жил бы и мертвый... Никогда, никогда бы я не умер!

Амалия. Никогда, никогда! Смерть была бы как переход от одной мысли к другой — к лучшей. Его взор светил бы вам и за гробом, его взор вознес бы вас превыше звезд.

Старик Моор. Как тяжко, как печально! Я умираю, а моего сына Карла нет при мне, меня снесут на кладбище, а он не будет плакать на моей могиле. Как сладостно засыпать вечным сном, когда тебя баюкает молитва сына: это — колыбельная песнь.

Амалия (*мечтательно*). Да, сладостно, нескончанно сладостно засыпать вечным сном, когда тебя баюкает песня любимого. Кто знает, может быть этот сон продолжает видеть и в могиле! Долгий, вечный, нескончаемый сон о Карле, пока не прозвучит колокол воскресения. (*Восторженно.*) И тогда — в его объятия навеки!

Пауза. Она идет к клавесину и играет.

Милый Гектор! Не спеши в сраженье,
Где Ахиллов меч без сожаленья
Тень Патрокла жертвами дарит!
Кто ж малютку твоего наставит
Чтить богов, кто лук его направит,
Если дикий Ксанф тебя умчит?

Старик Моор. Что за чудная песнь, дочь моя?
Ты споешь мне ее перед смертью.

Амалия. Это прощание Гектора с Андромахой.
Мы с Карлом часто певали ее под звуки лютни.

Милый друг, копье и щит скорее!
Там, в кровавой сече, веселее...
Эта длань отечество спасет.
Власть богов да будет над тобою!
Я погибну, но избавлю Трою.
Но с тобой Элизиум цветет.

Входит Даниэль.

Даниэль. Вас спрашивает какой-то человек. Он просит принять его; говорит, что пришел с важными вестями.

Старик Мур. Мне в целом свете важно только одно... И ты знаешь что, Амалия. Если это несчастный, нуждающийся в помощи, он не уйдет отсюда без утешения.

Амалия. Если это нищий, впусти его поскорей.

Даниэль уходит.

Старик Мур. Амалия! Амалия! Пожалей меня!

Амалия (*поет*).

Смолкнет звук брони твоей, о боги!
Меч твой праздно пролежит в чертоге,
И Приамов вымрет славный род.
Ты сойдешь в места, где день не блещет,
Где Коцит волною сонной плещет:
В Лете злой любовь твоя умрет.

Все мечты, желанья, помышленья
Потоцлю я в ней без сожаленья,
Только не свою любовь.

Чу! Дикарь опять уж под стенами!
Дай мне меч, простимся со слезами!
В Лете не умрет. моя любовь!

Франц, переодетый Герман, Даниэль.

Франц. Вот этот человек. Он говорит, что привез вам страшные вести. В состоянии ли вы его выслушать?

Старик Мур. Для меня существует только одна весть. Подойди ближе, любезный, и не щади меня. Дайте ему вина.

Герман (*измененным голосом*). Сударь, не лишайте бедняка ваших милостей, если он против воли пронзит вам сердце. Я чужой в этих краях, но вас знаю хорошо. Вы отец Карла фон Мура.

Старик Мур. Откуда ты это знаешь?

Герман. Я знал вашего сына.

Амалия (*вскакивая*). Он жив? Жив? Ты знаешь его? Где он? Где? Где? (*Срываются с места*.)

Старик Моор. Ты знаешь что-нибудь о моем сыне?

Герман. Он учился в Лейпциге и оттуда исчез неизвестно куда. По его словам, он босиком и с непокрытой головой исходил вдоль и поперек всю Германию, вымаливая подаяние под окнами. Пять месяцев спустя снова вспыхнула эта злополучная война между Пруссией и Австрией, и так как ему не на что было падеяться в этом мире, то он дал увлечь себя в Богемию барабанному грому победоносного Фридриха. «Дозвольте мне,— сказал он великому Шверину,— пасть смертью храбрых: у меня нет более отца!»

Старик Моор. Не смотри на меня, Амалия!

Герман. Ему вручили знамя. И он помчался вперед по пути прусской славы. Как-то раз мы спали с ним в одной палатке. Он много говорил о своем престарелом отце, о счастливых днях, канувших в прошлое, о несбывшихся надеждах. Слезы текли из наших глаз!

Старик Моор (*прячет лицо в подушки*). Молчи! О, молчи!

Герман. Восемь дней спустя произошла жаркая битва под Прагой. Смею вас уверить, ваш сын вел себя, как подобает храброму воину. Он совершал чудеса на глазах у всей армии. Пять полков полегло вокруг него — он все стоял. Раскаленные ядра сыпались частым градом — ваш сын стоял. Пуля раздробила ему правую руку — он взял знамя в левую и продолжал стоять!

Амалия (*с восторгом*). Гектор! Гектор! Слышиште? Он не дрогнул.

Герман. Тем же вечером я снова натолкнулся на него. Вокруг свистали пули, он лежал на земле, левой рукой стараясь унять льющуюся кровь, правой впиваясь в землю. «Брат,— крикнул он мне,— по рядам прошел слух, что наш генерал уже час как убит». — «Да, он пал,— ответил я.— Ты ранен?» — «Как храбрый солдат,— вскричал он, отнимая левую

руку от раны,— я иду за своим генералом». И его великая душа отлетела вслед герою.

Франц (*громко Герману*). Да прилипнет твой проклятый язык к горлани! Или ты явился сюда, чтобы нанести смертельный удар нашему отцу? Отец! Амалия! Отец!

Герман. Вот последняя воля моего покойного товарища: «Возьми этот меч,— прохрипел он,— и отдай моему старому отцу; кровь его сына запеклась на нем. Отец может радоваться: он отомщен. Скажи ему, что его проклятье погнало меня в битву, навстречу смерти. Скажи, что я умер в отчаянии!» Последний вздох его был: «Амалия!»

Амалия (*словно пробудившись от мертвого сна*). Его последний вздох был: «Амалия!»

Старик Мoор (*с воплем рвет на себе волосы*). Мое проклятие убило его! Он умер в отчаянии!

Франц (*бегает назад и вперед по комнате*). О! Что вы сделали, отец! Карл! Брат мой!

Герман. Вот меч и портрет, который он снял со своей груди. Точь-в-точь эта барышня. «Это моему брату Францу!» — прошептал Мoор. Что он хотел этим сказать, я не знаю.

Франц (*с удивлением*). Мне — портрет Амалии? Мне... Карл... Амалию? Мне?

Амалия (*в гневе подбегает к Герману*). Низкий, подкупленный обманщик! (*Пристально смотрит на него*.)

Герман. Вы ошибаетесь, сударыня! Взгляните, разве это не ваш портрет? Вы, верно, сами его дали ему?

Франц. Клянусь богом, Амалия, это твой портрет! Право же, твой!

Амалия (*отдавая портрет*). Мой, мой! О боже!

Старик Мoор (*с воплем раздирает себе лицо*). Горе, горе мне! Мое проклятие убило его, он умер в отчаянии!

Франц. И он вспомнил обо мне в последний трудный час кончины! Обо мне — ангельская душа! Когда черное знамя смерти уже реяло над ним — обо мне!

Старик Мoор (*тихо бормочет*). Мое проклятие убило его! Он умер в отчаянии!

Г е р м а н. Я не в силах больше смотреть на эти страдания! Прощайте, сударь! (*Тихо Францу.*) К чему вы все это затеяли? (*Хочет уйти.*)

А м а л и я (*бежит за ним*). Стой! Стой! Что было его последним словом?

Г е р м а н. Его последний вздох был: «Амалия!» (*Уходит.*)

А м а л и я. Его последний вздох был: «Амалия!» Нет, ты не обманщик! Так это правда! Правда! Он умер! Умер! (*Шатается и падает.*) Умер! Умер! Карл умер!

Ф р а н ц. Что я вижу? Что это кровью написано на мече? Амалия!

А м а л и я. Его рукой?

Ф р а н ц. Наяву это или во сне? Посмотри, кровью выведено: «Франц, не оставляй моей Амалии!» Смотри же, смотри! А на другой стороне: «Амалия, твою клятву разрешила всемогущая смерть!» Видишь! Видишь! Он писал это костенеющей рукой, писал горячей кровью своего сердца на торжественном рубеже вечности. Его душа, готовая отлететь, помедлила, чтобы соединить Франца и Амалию.

А м а л и я. Боже милосердный! Это его рука! Он никогда не любил меня! (*Поспешно уходит.*)

Ф р а н ц (*топая ногой*). Проклятье! Все мое искусство бессильно перед этой строптивицей!

С т а р и к М о о р. Горе, горе мне! Не оставляй меня, Амалия! Франц, Франц, верни мне моего сына!

Ф р а н ц. А кто проклял его? Кто погнал своего сына на поле смерти? Кто вверг его в отчаяние? О, это был ангел, жемчужина в венце всевышнего! Да будут прокляты его палачи! Будьте и вы прокляты!

С т а р и к М о о р (*ударяя себя кулаком в грудь*). Он был ангел! Он был жемчужиной в венце всевышнего! Проклятие, проклятие, гибель и проклятие на мою голову! Я отец, убивший своего доблестного сына! Он любил меня до последней минуты и мне в угоду ринулся в бой, навстречу смерти! О, я чудовище, чудовище! (*В неистовстве рвет на себе волосы.*)

Ф р а н ц. Его уже нет, к чему запоздалые страдания? (*Злобно улыбаясь.*) Убить легче, чем воскресить. Вам не вернуть его из могилы.

Старик Моор. Никогда, никогда, никогда не вернуть из могилы! Нет его! Потерян навеки! Ты своими наговорами вырвал проклятье из моего сердца!.. Ты... ты!.. Верни мне сына!

Франц. Не доводите меня до бешенства! Я оста-
вляю вас наедине со смертью.

Старик Моор. Чудовище! Чудовище! Отдай
меня моего сына! (*Вскакивает с кресел и хочет схватить
Франца за горло, но тот с силой отбрасывает его.*)

Франц. Немощный скелет... Вы еще смеете?..
Умирайте! Казнитесь!..

Старик Моор. Тысячи проклятий да грянут
над тобою! Ты украл у меня сына! (*Мечется в креслах.*)
Горе, горе мне! Так отчаяваться и — жить!.. Они бе-
гут, оставляют меня наедине со смертью... Ангел-хра-
нитель покинул меня! Святые отступились от седовла-
сого убийцы! Горе, горе мне! Никто не хочет поддер-
жать мою голову, освободить мою томящуюся душу! Ни
сыновей, ни дочери, ни друга! Только чужие! Никто
не хочет... Один, всеми покинут! Горе, горе мне! Так
отчаяваться и — жить!..

Амалия входит с заплаканными глазами.

Амалия, посланница небес! Ты пришла освободить
мою душу?

Амалия (*ласково*). Вы потеряли доблестного
сына.

Старик Моор. Убил, хочешь ты сказать.
Виновный в убийстве сына я предстану перед престо-
лом всевышнего...

Амалия. Нет, нет, многострадальный старец!
Небесный отец призвал его к себе. Иначе мы были бы
слишком счастливы здесь, на земле... Там, там, пре-
выше светил небесных, мы свидимся вновь.

Старик Моор. Свидимся, свидимся! Нет! Меч
пронзит мою душу, если я, блаженный, в сонме блажен-
ных увижу его. И на небесах ужаснут меня ужасы ада,
и перед лицом вечности меня будет душить сознание:
я убил своего сына.

Амалия. О, он с улыбкой прогонит из вашего
сердца страшные воспоминания! Ободритесь же, милый

отец: ведь я бодра. Разве он не пропел небесным силам на арфе серафимов имя Амалии и разве небесные силы не вторили ему? Ведь его последний вздох был: «Амалия!» Так разве же не будет и его первый крик восторга: «Амалия!»

Старик Мур. Сладостное утешение источают уста твои! Он улыбнется мне, говоришь ты? Простит? Останься же при мне, возлюбленная моего Карла, и в час моей кончины.

Амалия. Умереть — значит ринуться в его объятия! Благо вам! Я вам завидую. Почему мое тело не дряхло, мои волосы не седы? Горе молодости! Благо тебе, немощная старость: ты ближе к небу, ближе к моему Карлу!

Входит Франц.

Старик Мур. Подойди ко мне, сын мой! Прости, если я был слишком суров к тебе! Я прощаю тебя. Я хочу с миром испустить дух свой.

Франц. Ну что? Досыта наплакались о вашем сыне? Можно подумать, что он у вас один.

Старик Мур. У Иакова было двенадцать сыновей, но о своем Иосифе он проливал кровавые слезы.

Франц. Гм!

Старик Мур. Возьми библию, дочь моя, и прочти историю об Иакове и Иосифе: она и прежде всегда меня трогала, а я не был еще Иаковом.

Амалия. Какое же место прочесть вам? (Берет библию.)

Старик Мур. Читай мне о горести осиротевшего отца, когда он меж своих детей не нашел Иосифа и тщетно ждал его в кругу одиннадцати; и о его стенах, когда он узнал, что Иосиф отнят у него навеки.

Амалия (читает). «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью; и послали разноцветную одежду, и доставили отцу своему, и сказали: «Мы это нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет?»

Франц внезапно уходит.

Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф».

Старик Моор (*откинувшись на подушку*). «Хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф».

Амалия (*читает дальше*). «И разорвал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья и все дочери его, чтобы утешить его; он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему во гроб...»

Старик Моор. Перестань, перестань! Мне худо!

Амалия (*роняет книгу и побегает к нему*). Боже мой! Что с вами?

Старик Моор. Это смерть!.. Чернота... плывет... перед моими глазами... Прошу тебя... позови священника... Пусть принесет... святые дары... Где мой сын Франц?

Амалия. Он бежал! Боже, смилийся над нами!

Старик Моор. Бежал... бежал... от смертного одра! И это все... все... от двух сыновей, с которыми связывалось столько надежд... Ты их дал... ты их отнял... Да святится имя твое!.. (*Падает*.)

Амалия (*вдруг вскрикивает*). Умер! Не бьется сердце! (*Убегает в отчаянии*.)

Франц (*входит радостный*). «Умер!» — кричат они. Умер! Теперь я господин. По всему замку вопят: «Умер!» А что, если он только спит? Да, конечно, конечно, это сон. Но уснувший таким сном уже никогда не услышит «доброго утра». Сон и смерть — близнецы. Только переменим названия. Добрый, желанный сон! Мы назовем тебя смертью. (*Закрывает лицо*) Кто же теперь осмелится прийти и потянуть меня к ответу или сказать мне в глаза: «Ты подлец!» Теперь долой тягостную личину кротости и добродетели! Смотрите на неприкрытого Франца и ужасайтесь! Мой отец не в меру подслащал свою власть. Подданных он превратил в домочадцев; ласково улыбаясь, он сидел у ворот и приветствовал их, как братьев и детей. Мои брови нависнут над вами, подобно грозовым тучам; имя господина, как зловещая комета, воз-

несется над этими холмами; мое чело станет вашим барометром. Он гладил и ласкал строптивую выю. Гладить и ласкать — не в моих обычаях. Я вонжу в ваше тело зубчатые шпоры и заставлю вас отведать кнута. Скоро в моих владениях картофель и жидкое пиво станут праздничным угощением. И горе тому, кто попадется мне на глаза с пухлыми, румяными щеками! Бледность нищеты и рабского страха — вот цвет моей ливреи. И я одену вас в эту ливрею! (Уходит.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Богемские леса.

Шпигельберг. Рацман. Развойники.

Рацман. Ты здесь? Тебя ли вижу? Дай задушить тебя в объятиях, дружище Мориц! Привет тебе в богемских лесах! Эк ты раздобрел и окреп! Черт подери, да ты никак и рекрутов привел с собой целую ватагу? Ай да вербовщик!

Шпигельберг. А ведь, правда, здорово, братец, здорово? Молодчики-то как на подбор! Ты не поверишь! Надо мной прямо-таки божья благодать! Был я голодным бедняком, ничего не имел, кроме этого посоха, когда перешел Иордан, а теперь нас семьдесят восемь молодцов, все больше разорившиеся купцы, выгнанные чиновники да писари из швабских провинций. Это, братец, доложу я тебе, отряд таких молодцов, таких славных ребят, что каждый у другого на ходу подметки режет и чувствует себя спокойно рядом с соседом, лишь держа в руках заряженное ружье. Ни в чем им нет отказа, а слава о них такая на сорок миль в округе, что диву даешься. Нынче, брат, не сыщешь ни одной газеты, в которой не было бы статейки о ловкаче Шпигельберге. Только потому я их и читаю. С ног до головы так меня описали, что как живой стою. Пуговиц на моем кафтане и тех не позабыли. А мы только и знаем, что водить за нос этих дуралеев. Как-то недавно захожу в типографию, заявляю, что видел пресловутого Шпигельберга, и диктую тамошнему щелкоперу живой портрет одного докторишке из их округи. Все пошло как по-писаному, притянули

голубчика к ответу, допросили с пристрастием, а этот дурак со страха возьми да и признайся — провалиться мне на этом месте,— что он-де и есть Шпигельберг! Гром и молния! Меня так и подмывало пойти с повинной в магистрат, чтобы этот каналья не бесчестил моего имени. Что ж ты думаешь? Три месяца спустя повесили-таки моего доктора. Мне пришлось заложить в нос изрядную понюшку табаку, когда я потом, прогуливаясь около виселицы, увидал, как этот лже-Шпигельберг качается на ней во всей своей красе. И вот, в то время как Шпигельберг болтается в петле, истинный Шпигельберг осторожненько из петли выпутывается и натягивает премудрой юстиции такой длинный нос, что даже жаль становится ее, бедняжку.

Рацман (со смехом). А ты, дружище, нимало не переменился!

Шпигельберг. Да, как видишь, я все тот же душой и телом! Послушай-ка, дуралей, какую я штуку выкинул намедни в обители святой Цецилии. Попадается мне, значит, на пути этот монастырек. Уж вечерело, а я в тот день еще не издержал ни одного патрона. Ты же знаешь, я до смерти не люблю *diem perdidi*¹, но коли день пропал, надо хоть ночью заварить такую кашу, чтоб чертям тошно стало. Ну так вот. Мы ведем себя смирно до наступления темноты. Воцаряется тишина. Огни гаснут. Эге, думаем мы, видно монашенки-то улеглись. Я беру с собой приятеля Гримма, а другим велю дожидаться у ворот, покуда не свистну, сковариваюсь с привратником и, получив от него ключи, прокрадываюсь в помещение, где спят послушницы. Я живо стибрил ихние платья, связал в узел и вынес за ворота. Потом мы прошлись по кельям и забрали одежду у всех сестер, а под конец и у самой настоятельницы. Тут я свистнул, и мои молодцы, что остались за воротами, подняли такой шум и гам, точно настал день страшного суда, и затем с криком и гиканьем рассыпались по всей обители. Ха-ха-ха! По-

¹ Потерять день (*лат.*). Так говорил римский император Тит (I в. до н. э.), когда ему за день не удавалось совершить доброго дела.

смотрел бы ты, какая там началась кутерьма. Как бедняжки искали в потьмах свою одежонку, метались, охали, словно в когтях у черта, а мы — ну их лапать! С перепугу одни стали заворачиваться в простыни, залезать под печку, как кошки, а другие так напрудили в кельях, хоть плавать пускайся! Бизгу! Крику!.. Вылезла и старая карга настоятельница в костюме Евы до грехопадения. Ты ведь знаешь, братец, что для меня нет на свете создания мерзее паука и старой бабы, а тут эта почернелая, морщинистая, косматая старуха так и вьется вокруг, заклиная меня пощадить ее девическое целомудрие. Тыфу! Я уже поднял было кулак, чтобы вышибить ей последние зубы, да воздержался и предложил на выбор: либо подавай нам монастырское серебро, драгоценную утварь и всю звонкую монету, либо... Мои ребята живо поняли меня! Словом, я унес оттуда не меньше чем на тысячу талеров всякого добра да еще воспоминанье о веселой ночки. А ребята оставили монашенкам памятки, от которых им раньше, как через девять месяцев, не избавиться.

Рацман (*топнув ногой*). Черт побери, почему меня там не было!

Шпигельберг. Вот видишь! Попробуй-ка сказать после этого, что плоха беспутная жизнь! Вдобавок ты остаешься свеж, бодр да еще в тело входишь не хуже римского прелата. Верно, есть во мне что-то такое магнетическое, что все бояки, весь сброд так ко мне и липнут.

Рацман. Да ты впрямь магнит! Хотел бы я попять, каким колдовством ты этого добиваешься...

Шпигельберг. Колдовством? Колдовство тут ни при чем. Тут, брат, нужна голова да немного практической сметки, которую, конечно, из пальца не высосешь. Видишь ли, я всегда говорю: честного человека можно сделать из любого пия. Но мошенника — это дело посложнее! Тут необходим подлинный национальный гений и известный, как бы это сказать, мошеннический климат. Поэтому я советую тебе, съезди-ка в Граубюнден. Это Афины нынешних плотов.

Рацман. А мне, брат, особенно расхваливали Италию.

Шпигельберг. Да, да! Надо быть справедливым. В Италии тоже имеются доблестные мужи. Но если Германия будет продолжать в том же духе и окончательно порвет с библией, на что можно уже твердо надеяться, то со временем и из нее выйдет что-нибудь путное. Вообще, должен тебе сказать, особого значения климат не имеет; гений принимается на любой почве, а все остальное, братец... Сам знаешь — из дикого яблока и в райском саду не получится ананаса. Но что я хотел сказать? На чем бишь я остановился?

Рациман. На мошеннической споровке.

Шпигельберг. Да, верно, на мошеннической споровке. Итак, приехав в какой-нибудь город, ты первым делом разузнаешь у надзирателей за нищими, у приставов и дозорных, кого чаще всего к ним приводят, и затем отыскиваешь этих голубчиков. Далее ты становишься завсегдатаем кофеен, публичных домов, трактиров и там вынюхиваешь, кто больше всех ругает дешевизну, низкую процентную ставку, губительную чуму полицейских постановлений, кто всех злобнее поносит правительство или разъяряется на физиогномику и тому подобное... Вот ты, братец, и у цели! Честность шатается, как гнилой зуб, остается только подцепить его козьей ножкой... Или, и того лучше, ты бросаешь полный кошелек прямо на мостовую, а сам где-нибудь прячешься и смотришь, кто его поднимет. Немного погодя ты уже бежишь вслед за ним, охаешь и, догнав, спрашиваешь: «Не поднимали ли вы, сударь, кошелька с деньгами?» Скажет: «Да», — черт с ним, ступай своей дорогой; начнет отпираться: «Нет, извините, сударь... не припомню... очень сожалею...» — тогда победа, братец, победа! Гаси фонарь, хитроумный Диоген! Ты нашел своего человека.

Рациман. Да ты малый не промах!

Шпигельберг. Бог мой! Как будто я когда-нибудь в этом сомневался! Когда же молодец попался в твой сачок, действуй расторопно, чтобы не упустить его. Я, братец, проделывал это следующим образом: стоило мне только напасть на след, я прицеплялся

к намеченной жертве, как репейник... Nota bene !¹
Угощай его на свой счет. Конечно, накладно, но ничего не поделаешь! Далее ты вводишь его в игорные дома, знакомишь со всякой швалью, вовлекаешь в драки, запутываешь в мошеннические проделки, покуда он не промотает свои силы, деньги, совесть и добре имя. Потому что, incidenter², ничего не выйдет, должен тебе сказать, если с самого начала ты не погубишь его души и тела. Верь мне, братец! Я раз пятьдесят убеждался на собственном опыте. Если сгонишь честного человека с насиженного места — быть ему у черта под началом. Переход этот так легок, так легок, как скачок от шлюхи к святоше. Но чу! Что за грохот?

Рацман. Гром гремит! Ну, продолжай!

Шпигельберг. Есть путь еще лучше и короче: обери молодчика, да так, чтоб у него ни кола, ни двора не осталось. Будет без рубахи, так и сам прибежит к тебе. Впрочем, ученого учить — только портить! Спроси-ка лучше вон того меднорожего... Черт возьми, его я здорово поддел: помахал у него перед носом сорока дукатами, посулил ему эти денежки за восковой слепок с хозяйствского ключа... Что ж ты думаешь, эта бестия все исполнил: принес, черт его побери, ключ и требует денег. «Мусье, — говорю я ему, — а знаешь ли ты, что я с этим ключом прямехонько отправлюсь в полицию и найду тебе квартиру на виселице?» Тысяча дьяволов! Посмотрел бы ты, как малый выпучил глаза и задрожал, словно мокрый пудель. «Ради бога, смируйтесь, сударь! Я хочу... я хочу...» — «Чего ты хочешь? Хочешь собрать свои манатки и вместе со мной пойти к черту?» — «О, от всего сердца, с превеликим удовольствием!» Ха-ха-ха! Любезный! Мышей на сало ловят. Да смейся же над ним, Рацман! Ха-ха-ха!

Рацман. Ха-ха-ха! Ну разодолжил! Золотыми буквами напишу я у себя на лбу твою лекцию. Видно,

¹ Заметь себе (лат.).

² Кстати (лат.).

сатана не плохо знает людей, если сделал тебя своим маклером.

Шпигельберг. Право, дружище? Я думаю, что, если навербую ему еще с десяток таких молодчиков, он отпустит меня на все четыре стороны. Ведь дает же издатель комиссионеру каждый десятый экземпляр бесплатно. Так неужто же черт станет скряжничать? Рацман! Что-то порохом потянуло.

Рацман. Черт возьми! Я сам уже давно слышу. Берегись, здесь неподалеку что-нибудь да не так. Ей-ей! Говорю тебе, Мориц, что ты со своими рекрутами прямо находка для атамана. Он тоже залучил бравых молодцов.

Шпигельберг. Но мои, мои...

Рацман. Что правда то правда! Может, и у твоих золотые руки, но, говорю тебе, слава нашего атамана ввела в соблазн многих даже честных людей.

Шпигельберг. Ты уж чего не наскажешь.

Рацман. Кроме шуток! И они не стыдятся служить под его началом. Он убивает не для грабежа, как мы. О деньгах он, видно, и думать перестал с тех пор, как может иметь их вволю; даже ту треть добычи, которая причитается ему по праву, он раздает сиротам или жертвует на учение талантливым, но бедным юношам. Но если представляется случай пустить кровь помещику, дерущему шкуру со своих крестьян, или проучить бездельника в золотых галунах, который криво толкует законы и серебром отводит глаза правосудию, или другого какого господчика того же разбора, тут, братец ты мой, он в своей стихии. Тут словно черт вселяется в него, каждая жилка в нем становится фурией.

Шпигельберг. Гм, гм!

Рацман. Недавно в корчме мы узнали, что по большой дороге будет проезжать богатый граф Регенсбург, выигравший миллионную тяжбу благодаря плутням своего адвоката. Он сидел за столом и играл в шахматы. «Сколько нас?» — спросил он меня, поспешно вставая. Я видел, как он закусил нижнюю губу — верный признак того, что он в ярости. «Всего пятеро!» — отвечал я. «Справимся!» — сказал он, бросил хозяйке деньги на стол, оставил вино нетронутым, и мы пусти-

лись в путь. Во всю дорогу он не вымолвил ни слова, ехал в сторонке один и только по временам спрашивал, не видать ли чего, да приказывал нам прикладывать ухо к земле. Наконец, видим: едет граф. Карета нагружена до отказа. Рядом с ним сидит адвокат, впереди скакет форейтор, по бокам двое слуг верхами. Вот тут бы ты посмотрел на него, как он с двумя пистолетами в руках подскакал к карете! А голос, которым он крикнул: «Стой!» Кучер, не пожелавший остановиться, полетел с козел вверх тормашками. Граф выстрелил в воздух. Всадники — наутек. «Деньги, каналья! — заорал он громовым голосом. Граф свалился, как под обухом.— А! Это ты, прохвост, правосудие делаешь продажной девкой?» У адвоката зубы застучали от страха. И вот кинжал уже торчит у него в брюхе, как жердь в винограднике. «Я свое совершил! — воскликнул атаман и гордо отворотился от нас: — Грабеж — ваше дело!» С этими словами он умчался в лес.

Шпигельберг. Гм, гм! Послушай-ка, другице! То, что я тебе сейчас рассказывал, пусть останется между нами; ему незачем это знать. Понимаешь?

Рачман. Понимаю, понимаю.

Шпигельберг. Ты ведь знаешь его. У него есть свои странности. Понимаешь?

Рачман. Понимаю, понимаю.

Шварц вбегает запыхавшись.

Кто там? Что там такое? Проезжие в лесу?

Шварц. Живо! Живо! Где остальные? Тысяча чертей! Вы стоите здесь и языки чешете! Не знаете, что ли?.. Так вы ничего не знаете? Ведь Роллер...

Рачман. Что с ним, что с ним?

Шварц. Роллер повешен и с ним еще четверо.

Рачман. Роллер? Проклятье! Когда? Откуда ты знаешь?

Шварц. Уже три недели, как он в тюрьме, а мы ничего не знаем; три раза его водили к допросу, а мы ничего не слышали! Его под пыткой допрашивали, где атаман. Молодчага ничего не выдал! Вчера вынесли приговор, а сегодня он на курьерских отправился к дьяволу.

Рацман. Проклятье! Атаман знает?

Шварц. Только вчера узнал. Он беснуется, как дикий зверь. Ты ведь знаешь, он всегда отличал Роллера... И еще эта пытка... Веревки и лестница были уже принесены к башне. Ничего не помогло. Он сам, переодевшись капуцином, проник к Роллеру и хотел поменяться с ним платьем. Роллер наотрез отказался. И вот он дал клятву,— да так, что у нас кровь застыла в жилах,— зажечь ему погребальный факел, какого не зажигали еще ни одному королю; такой, чтобы у них от жара шкура скорежилась. Мне страшно за город. Он уже давно зол на него за позорное ханжество; а ты знаешь, если он скажет: «Я сделаю»,— то это все равно, что мы, грешные, уже сделали.

Рацман. Это правда, я знаю атамана. Если он дьяволу даст слово отправиться в ад, то уж молиться не станет, даже если бы одно «Отче наш» могло спасти его. Ах, боже мой, Роллер!

Шпигельберг. Memento mori!¹ Впрочем, меня это не волнует. (*Поэт.*)

Я мыслю, если ненароком
Наткнусь на виселицу я:
Ты, брат, висишь здесь одиноко,—
Кто ж в дураках, ты или я?

Выстрелы и шум.

Рацман (*вскакивая*). Слышишь? Выстрел!

Шпигельберг. Еще один!

Рацман. Третий! Атаман!

За сценой слышна песня:
«Нюренбергцам вас повесить
Не придется никогда!»

Швейцер и Роллер (*за сценой*). Эй, вы!
Го-го!

Рацман. Роллер! Роллер! Черт меня подери!

Швейцер и Роллер (*за сценой*). Рацман!
Шварц! Шпигельберг! Рацман!

¹ Помни о смерти (*лат.*).

Р а ц м а н. Роллер! Швейцер! Гром и молния!
Град и непогода! (*Бежит им навстречу.*)

Разбойник М о о р верхом, за ним Ш в е й ц е р, Р о л л е р,
Г р и м м, Ш у ф т е р л е и т о л п а разбойников,
покрытых грязью и пылью.

М о о р (*спешившись*). Свобода! Свобода! Ты в бе-
зопасности, Роллер! Отведи моего коня, Швейцер, да
вымой его вином. (*Бросается на землю.*) Ох, жарко
пришлось!

Р а ц м а н (*Роллеру*). Клянусь горнилом Плутона,
уж не восстал ли ты с колеса?

Ш в а р ц. Ты его дух? Я круглый дурак... или ты
в самом деле?..

Р о л л е р (*запыхавшись*). Это я. Собственной пер-
соной. Цел и невредим. Откуда, ты думаешь, я явился?

Ш в а р ц. Ведьмы, что ли, над тобой колдовали?
Приговор ведь уже произнесен.

Р о л л е р. Еще бы, даже больше! Я явился прямехонько с виселицы. Ох, дай дух перевести. Пусть Швей-
цер расскажет. Налейте мне стакан водки. И ты опять
здесь, Мориц? Я думал было увидеться с тобой совсем
в другом месте. Да налейте же мне водки! У меня все
кости ломит. О мой атаман! Где мой атаман?

Ш в а р ц. Сейчас! Сейчас! Да говори же, рассказы-
вай, как ты улизнул оттуда? Каким чудом ты опять
с нами? У меня голова идет кругом. Прямо с виселицы,
говоришь ты?

Р о л л е р (*залпом выпивает бутылку водки*). Ох,
славно! Вот жжет-то! Я был всего в трех шагах от
лестницы, по которой всходят в лоно Авраамово...
До того близко, до того близко... Моя шкура была
уже запродана в анатомический кабинет,— ты мог бы
сторговать мою жизнь за понюшку табаку. Атаману
я обязан воздухом, свободой и жизнью!

Ш в е й ц е р. Это была такая штука, братцы, о
которой стоит порассказать! За день до того мы проню-
хали через наших лазутчиков, что Роллеру каюк и
что завтра, то есть сегодня, если только небо не обва-
литя, он разделит судьбу всего смертного. «Ребята,—
сказал атаман,— чего не сделаешь для друга? Спасем

ли мы его, или нет, во всяком случае зажжем ему такой погребальный факел, какой еще не возжигали ни одному королю и от которого у них вся шкура скрежится». Мы шлем к нему нарочного, и тот подбрасывает ему в похлебку записочку.

Р олл ер. Я отчаялся в успехе.

Ш вей ц ер. Мы ждали, пока опустеют улицы. Весь город валом валил на интересное зрелище; всадники, пешеходы, экипажи смешались в кучу, на всю округу слышались шум и пение погребальных псалмов. «Теперь,— сказал атаман,— зажигай! Зажигай!» Наши ребята помчались стрелой, зажгли город разом с тридцати трех концов, разбросали зажженные фитили у пороховых погребов, церквей и амбаров... Morbleu!¹ Не прошло и четверти часа, как северо-восточный ветер, у которого, видимо, тоже был зуб на этот город, подоспел нам на помощь и взметнул пламя до самых крыш. Между тем мы как фурии носимся по улицам и вопим на весь город: «Пожар, пожар!» Вой, крик, треск! Гудит набат! Пороховой погреб взлетает на воздух! Точно земля раскололась надвое, небо лопнуло и ad ушел еще на десять тысяч сажен глубже!

Р олл ер. Мой конвой оглянулся. Город что твои Содом и Гоморра! Весь горизонт в огне, в дыму и сере. Кажется, все окрестные горы взревели, вторя этой сатанинской шутке. Панический страх пригибает всех к земле. Тут я пользуюсь минутой — р-раз, и с быстрой ветра освобождаюсь от уз под самым носом стражников, окаменевших, как Лотова жена. Рывок! Я рассекаю толпу и давай бог ноги! Отбежав этак шагов пятьдесят, сбрасываю с себя платье, кидаюсь в реку и плыву под водой до тех пор, пока мне не кажется, что я в безопасности. Мой атаман уже тут как тут с лошадьми и платьем. Так я удрали. Моор! Моор! Попал бы ты поскорей в такую же переделку, чтобы я мог отплатить тебе тем же!

Р ац м а н. Гнусное пожеланье, за которое тебя следовало бы вздернуть. Но штука такая, что лопнуть можно!

¹ Черт возьми! (франц.)

Р олл ер. Да, то была истинная помощь в нужде! Чтобы понять это, надо, как я, с веревкой на шее заживо прогуляться к могиле. А эти страшные приготовления, эти живодерские церемонии! Ты ступаешь дрожащими ногами, и с каждым шагом все ближе — до ужаса близко! — встает перед тобой в лучах страшного утреннего солнца проклятая квартира, уготованная для нового жильца! А поджидающие тебя живодеры! А мерзостная музыка — она еще и теперь гремит у меня в ушах! А карканье голодного воронья, которое обсело моего полусгнившего предшественника!.. Это все... все... И сверх того еще предвкушение блаженства, тебя ожидающего. Братья! Братья! И вдруг — призыв к свободе! То-то был треск, словно обруч лопнул на небесной бочке. Верьте мне, канальи! Прыгнув из раскаленной печи в ледяную воду, не ощутишь такого контраста, какой почувствовал я, оказавшись на том берегу.

Ш п и г е л ь б е р г (*громко хохочет*). Бедняга! Ну, да все это уже ветром сдуло! (*Пьет.*) Со счастливым воскресеньем из мертвых!

Р олл ер (*бросает наземь свой стакан*). Нет, клянусь всеми сокровищами Маммона, не хотел бы я еще раз пережить такое! Смерть, пожалуй, посерезнее, чем прыжок арлекина; но страх смерти еще страшней, чем она сама.

Ш п и г е л ь б е р г. А вспыхнувшая на воздух пороховая башня! Смекаешь теперь, Рацман? Оттого-то и воняло серой на всю окружу, словно Молох проветривал на свежем воздухе свой гардероб. Это была великолепная шутка, атаман! Завидую тебе!

Ш в е й ц е р. Если весь город потешается над тем, что нашего товарища прирезывают, как затравленного кабана, то нам ли, черт побери, корить себя за то, что мы разорили город из любви к другу. Вдобавок наши ребята сумели там не плохо поживиться. Ну, показывайте свою добычу!

О д и н и з ш а й к и. Во время суматохи я проbralся в церковь святого Стефана и спорол бахрому с алтарного покрова. «Господь бог богат,— подумал я,— и может сделать золото из простой веревки».

Швейцер. И правильно поступил! Кому этот хлам нужен в церкви? Они жертвуют его господу богу, которому, право же, ни к чему такое баражло, а между тем божьи создания голодают. Ну, а ты, Шпангелер? Куда ты закинул сети?

Второй. Мы с Бюгелем обобрали лавку и притащили разных материй — человек на пятьдесят хватит.

Третий. Я стянул двое золотых часов да дюжину серебряных ложек.

Швейцер. Хорошо! А мы им спроворили такой пожар, что его и за две недели не потушить. Чтобы унять огонь, придется затопить водою весь город. Не знаешь, Шуфтерле, сколько там погибло народу?

Шуфтерле. Говорят, восемьдесят три человека. Одна башня разнесла на куски человек шестьдесят.

Моор. Ты дорого обошелся, Роллер!

Шуфтерле. Подумаешь, важность! Добро бы это еще были мужчины, а то все грудные младенцы, которые только и знают, что золотить свои пеленки, да сгорбленные старухи, которые от них мух отгоняли, да еще иссохшие старики, что повсюдно с лежанок и с перепугу дверей не нашли. Эти пациенты жалобным визгом призывали доктора, торжественно следовавшего за процессией. Ведь все, кто легок на подъем, выскочили поглазеть на комедию. Стеречь дома остались подонки населения.

Моор. О бедные создания! Больные, говоришь ты? Старики и дети?

Шуфтерле. Да, черт возьми! Вдобавок еще роженицы да женщины на сносях, страшившиеся выкинуть под самой виселицей, или брюхатые бабенки, убоявшиеся, как бы эти три перекладины не отпечатались на горбах их ребят, да еще нищие поэты, которым не во что было обуться, так как единственную пару сапог они отдали в починку, и прочая шушера, о которой и говорить не стоит. Так вот, иду я мимо одной лачуги и слышу какой-то писк, заглядываю — и что же вижу? Младенец, пухлый такой и здоровый, лежит под столом, а стол уже вот-вот вспыхнет! «Эх ты, горемыка, — сказал я, — да ты тут замерзнешь!» — и швырнул его в огонь.

Моор. Ты правду говоришь, Шуфтерле? Так пусть же это пламя пылает в твоей груди, покуда не поседеет сама вечность. Прочь, негодяй! Чтоб я больше не видел тебя в моей шайке! Вы, кажется, ропщете, сомневаетесь? Кто смеет сомневаться, когда я приказываю? Гоните его! Слыхали?! Среди вас уже многие созрели для кары! Я знаю тебя, Шпигельберг! И не далек день, когда я произведу вам жестокий смотр.

Все уходят в трепете

(Один, ходит взад и вперед.) Не слушай их, мститель небесный! Чем виноват я, да и ты, если ниспосланные тобою мор, голод, потопы равно губят и праведника и злодея? Кто запретит пламени, которому назначено жечь осинные гнезда, перекинуться на благословенные нивы? Но детоубийство? Убийство женщин? Убийство больных? О, как тяжко гнетут меня эти злодеяния! Ими отравлено лучшее из того, что я сделал. И вот перед всевидящим оком творца стоит мальчик, осмеянный, красный от стыда. Он дерзнул играть палицей Юпитера и поборол пигмея, тогда как хотел низвергнуть титанов. Уймись! Уймись! Не тебе править мстительным мечом верховного судии. Ты изнемог от первой же схватки. Я отрекаюсь от дерзостных притязаний. Уйду, забьюсь в какую-нибудь берлогу, где дневной свет не озарит моего позора. (Хочет идти.)

Несколько разбойников (поспешно вбегают). Берегись, атаман! Тут что-то нечисто! Отряды богемских всадников рыщут по лесу! Видно, сам дьявол навел их на след!

Другие разбойники. Атаман, атаман! Нас выследили. Несколько тысяч солдат оцепили лесную чащу.

Еще несколько разбойников. Беда, беда! Мы пойманы! Мы погибнем на колесе, на виселице! Тысячи гусаров, драгун и егерей носятся по холмам и отрезают все тропинки.

Моор уходит.

Швейцер, Гримм, Роллер, Шварц, Шуфтерле, Шпигельберг, Рацман. Толпа разбойников.

Швейцер. Так мы вытряхнули их, наконец, из мягких постелей? Радуйся же, Роллер! Давно меня разбирала охота схватиться с этими дармоедами. Где атаман? Вся ли шайка в сборе? Пороху довольно?

Рацман. Пороху хоть отбавляй, да нас-то всего восемьдесят душ. Стало быть — один против двадцати.

Швейцер. Тем лучше! Пускай хоть пятьдесят против одного моего большого пальца! Ведь дождались же черти, что мы подожгли у них тюфяки под задницей. Братцы, братцы! Не велика беда! Они продают свою жизнь за десять крейцеров, а мы деремся разве не за свою голову, не за свою свободу? Мы обрушимся на них, как всемирный потоп! Молнией грянем на их головы! Но где же, черт возьми, атаман?

Шпигельберг. Он бросил нас в беде, так не дать ли и нам тягу?

Швейцер. Дать тягу?

Шпигельберг. Ох, зачем я не остался в Иерусалиме?

Швейцер. Чтоб тебе задохнуться в сточной яме, грязная душонка! Против голых монахинь ты храбрец, а увидел кулак, так и труса празднует? А ну, покажи свою удасть, не то мы зашьем тебя в свинью шкуру и затравим собаками.

Рацман. Атаман, атаман!

Моор (*медленно входит*). Я довел до того, что их окружили со всех сторон! Теперь они должны драться как безумные! (*Громко.*) Ребята! Шутки плохи! Мы должны или погибнуть, или биться не хуже разъяренных вепрей.

Швейцер. Я клыками распорю им брюхо, так что у них кишki повылезут! Веди нас, атаман! Мы пойдем за тобой хоть в пасть самой смерти.

Моор. Зарядить все ружья! Пороху достаточно?

Швейцер (*вскакивая*). Пороху хватит! Захотим, так земля до луны взлетит.

Рацман. У нас по пяти заряженных пистолетов на брата да по три ружья впридачу.

Моор. Хорошо, хорошо! Теперь пусть один отряд залезет на деревья или спрячется в чащу, чтобы открыть по ним огонь из засады.

Швейцер. Это по твоей части, Шпигельберг.

Моор. А мы между тем, точно фурии, накинемся на их фланги!

Швейцер. А вот это уж по моей!

Моор. А затем рыскайте по лесу и дудите в свои рожки! Мы напугаем их нашей мнимой численностью. Спустите всех собак! Они рассеют этих молодцов и пригонят под наши выстрелы. Мы трое — Роллер, Швейцер и я — будем драться в самой гуще.

Швейцер. Славно, отлично! Мы так на них набросимся, что они и понять не успеют, откуда сыплются оплеухи. Я, бывало, попадал в вишню, торчавшую изо рта. Пусть только приходят!

Шуфтерле держит Швейцера за полу, тот отводит атамана и тихо говорит с ним.

Моор. Молчи!

Швейцер. Прошу тебя...

Моор. Прочь! Его позор сохранит ему жизнь: он не должен умереть там, где я, и мой Швейцер, и мой Роллер умираем! Клянусь тебе, Швейцер, он не уйдет от виселицы.

Входит патер.

Патер (*про себя, озираясь*). Так вот оно — драконово логовище! С вашего позволения, государи мои, я — служитель церкви, а там вон стоит тысяча семьсот человек, оберегающих каждый волос на моей голове.

Швейцер. Браво, браво! Вот это внушительно сказано. Береженого и бог бережет.

Моор. Молчи, дружище! Скажите коротко, господин патер, что вам здесь надобно?

Патер. Я говорю от лица правительства, властного над жизнью и смертью. Эй вы, воры, грабители, шельмы, ядовитые ехидны, пресмыкающиеся во тьме и жалящие исподтишка, проказа рода человеческого, адово отродье, снедь для воронов и гадов, пожива для виселицы и колеса...

Швейцер. Собака! Перестань ругаться! Или...
(Приставляет ему к носу приклад.)

Моо р. Стыдись, Швейцер! Ты собьешь его с толку. Он так славно зазубрил свою проповедь. Продолжайте, господин патер! Итак, «для виселицы и колеса»...

Патер. А ты славный атаман, князь карманников, король жуликов, великий магол всех мошенников под солнцем, сходный с тем первым возмутителем, который распалил пламенем бунта тысячи легионов невинных ангелов и увлек их за собой в бездонный омут проклятия! Вопли осиротевших матерей несутся за тобой по пятам! Кровь ты лакаешь, точно воду. Люди для твоего смертоносного кинжала — все равно что мыльные пузыри!

Моо р. Правда, сущая правда! Что же дальше?

Патер. Как? Правда, сущая правда? Разве это ответ?

Моо р. Видно, вы к нему не приготовились, господин патер? Продолжайте, продолжайте! Что еще вы хотели сказать?

Патер (*разгорячившись*). Ужасный человек, отыди от меня! Не запеклась ли кровь убитого имперского графа на твоих проклятых пальцах? Не ты ли воровскими руками взломал святилище господне и похитил священные сосуды? Что? Не ты ли разбросал горящие головни в нашем богоизненном граде и обрушил пороховую башню на головы добрых христиан? (*Всплеснув руками.*) Гнусные, гнусные злодеяния! Смрад их возносится к небесам, торопя страшный суд, который грозно разразится над вами. Ваши злодейства вопиют об отмщении. Скоро, скоро зазвучит труба, возвещающая день последний!

Моо р. До сих пор речь построена великолепно. Но к делу! Что же возвещает мне через вас достопочтенный магистрат?

Патер. То, чего ты вовсе не достоин. Осмотрись, убийца и поджигатель! Куда ни обратится твой взор, всюду ты окружен нашими всадниками! Бежать некуда. Как на этих дубах не вырасти вишням, а на елях не созреть персикам, так не выбраться и вам целыми и невредимыми из этого леса.

Моо р. Ты слышишь, Швейцер? Ну, что же дальше?

Патер. Слушай же, злодей, как милосердно, как

великодушно обходится с тобою суд! Если ты тотчас же смиришься и станешь молить о милосердии и пощаде, строгость в отношении тебя обернется состраданием, правосудие станет тебе любящей матерью. Оно закроет глаза на половину твоих преступлений и ограничится — подумай только! — ограничится одним колесованием!

Швейцер. Ты слышишь, атаман? Не сдавить ли мне горло этому облезлому псу, чтобы красный сок брызнул у него изо всех пор?

Роллер. Атаман! Ад, гром и молния! Атаман! Ишь как он закусил губу! Не вздернуть ли мне этого молодчика вверх тормашками?

Швейцер. Мне! Мне! На коленях прошу тебя: мне подари счастье растереть его в порошок!

Патер кричит.

Моор. Прочь от него! Не смейте его и пальцем тронуть! (*Вынимает саблю и обращается к патеру.*) Видите ли, господин патер, здесь семьдесят девять человек. Я их атаман. И ни один из них не умеет обращаться в бегство по команде или плясать под пушечную музыку. А там стоят тысяча семьсот человек, поседевших под ружьем. Но слушайте! Так говорит Моор, атаман убийц и поджигателей: да, я убил имперского графа, я поджег и разграбил доминиканскую церковь, я забросал пылающими головнями ваш ханжеский город, я обрушил пороховую башню на головы добрых христиан... И это еще не все. Я сделал больше. (*Вытягивает правую руку.*) Видите эти четыре драгоценных перстня у меня на руке? Ступайте же и пункт за пунктом изложите высокочтимому судилищу, частному над жизнью и смертью, все, что вы увидите и услышите! Этот рубин снят с пальца одного министра, которого я на охоте мертвым бросил к ногам его государя. Выходец из черни, он лестью добился положения первого любимца; падение предшественника послужило ему ступенью к высоким почестям, он всплыл на слезах обобранных сирот. Этот алмаз я снял с одного советника, который продавал почетные чины и должности тому, кто больше даст, и прогонял от своих дверей

скорбящего о родине патриота. Этот агат я ношу в память гнусного попа, которого я придушил собственными руками за то, что он в своей проповеди плакался на упадок инквизиции. Я мог бы рассказать еще множество историй о перстнях на моей руке, если б не сожалел и о тех немногих словах, которые на вас потратил.

Патер Ирод! Ирод!

Моэр. Слышали? Заметили, как он вздохнул? Взгляните, он стоит так, словно призывает весь огонь небесный на шайку нечестивых; он судит нас пожатием плеч, проклинает христианнейшим «ах». Неужели человек может быть так слеп? Он, сотнею аргусовых глаз высматривающий малейшее пятно на своем ближнем, так слеп к самому себе? Грозным голосом проповедуют они смиление и кротость и богу любви, словно огнек руку Молоху, приносят человеческие жертвы. Они поучают любви к ближнему — и с проклятиями отгоняют восьмидесятилетнего слепца от своего порога; они поносят склонность, — и они же в погоне за золотыми слитками опустошили страну Перу и, словно тягловый скот, впряженные язычников в свои повозки. Они ломают себе голову, как могла природа произвести на свет Иуду Искариота, но — и это еще не худшие из них! — с радостью продали бы триединого бога за десять сребреников! О вы, фарисеи, лжетолкователи правды, обезьяны божества! Вы не страшитесь преклонять колена перед крестом и алтарями, вы бичуете и изнуряете постом свою плоть, надеясь этим жалким фиглярством затуманить глаза того, кого сами же — о глупцы! — называете всеведущим и вездесущим. Так всех злее насмехаются над великим мира сего те, что льстиво уверяют, будто им ненавистны льстецы. Вы кичитесь примерной жизнью и честностью, но господь, насквозь видящий ваши сердца, обрушил бы свой гнев на тех, кто вас создал такими, если бы сам не сотворил нильского чудовища! Уберите его с глаз моих!

Патер Злодей, а сколько гордыни!

Моэр. Нет! Гордо я еще только сейчас заговорю с тобой! Ступай и скажи досточтимому судилищу, властному над жизнью и смертью: я не вор, что, стакнувшись с полуночным мраком и сном, геройствует на веревоч-

ной лестнице. Без сомнения, я прочту когда-нибудь в долговой книге божьего промысла о содеянном мною, но с жалкими его наместниками я слов терять не намерен. Скажи им, что мое ремесло — возмездие, мой промысел — месть. (*Отворачивается от него.*)

Патер. Так ты отказываешься от милосердия и пощады. Ладно! С тобой я покончил. (*Обращается к шайке.*) Слушайте же, что моими устами возвещает вам правосудие. Если вы сейчас же свяжете и выдастите этого и без того обреченного злодея, вам навеки простятся все ваши злодеяния! Святая церковь с обновленной любовью примет заблудших овец в свое материнское лоно, и каждому из вас будет открыта дорога к любой почетной должности. (*С торжествующей улыбкой.*) Ну что? Как это пришлось по вкусу вашему величеству? Живо! Вяжите его — и вы свободны!

Моор. Вы слышали? Поняли? Чего же вы медлите? О чем задумались? Церковь предлагает вам свободу, а ведь вы ее пленники! Она дарует вам жизнь,— и это не пустое бахвальство, ибо вы осуждены на смерть. Она обещает вам чины и почести, а вашим уделом,— если вам даже удастся вырваться из кольца,— все равно будет позор, преследования и проклятия. Она возвещает вам примиренье с небом, а вы ведь давно прокляты. Ни на одном из вас нет и волоска, не обреченного аду. И вы еще медлите, еще колеблетесь? Разве так труден выбор между небом и адом? Да помогите же им, господин патер!

Патер. Не спятил ли этот малый? (*Громко.*) Уж не боитесь ли вы, что это ловушка, поставленная для того, чтобы поймать вас живьем? Читайте сами: вот подписанная амнистия. (*Дает Швейцеру бумагу.*) Ну что? Все еще сомневаетесь?

Моор. Вот видите! Чего ж вы еще хотите? Собственноручная подпись — это ли не безграничная милость! Или вы, памятуя о том, что слово, данное изменникам, не держат, боитесь, что обещание будет нарушено? Откиньте страх! Политика принудит их держать слово, будь оно дано хоть сатане. Иначе кто поверит им впредь? Как воспользуются они им вторично? Я голову дам на отсечение, что они искренни. Они

знают, что я один вас возмутил и озлобил. Вас они считают невинными, ваши преступления они готовы истолковать как ошибки, как опрометчивость юности. Одного меня им нужно. Один я понесу наказание. Так, господин патер?

Патер. Какой дьявол говорит его устами? Так, конечно, так! Нет, этот малый сведет меня с ума!

Моор. Как? Все нет ответа? Уж не думаете ли вы оружием проложить себе дорогу? Оглядитесь же вокруг! Оглядитесь! Нет, вы не можете думать так! Это было бы ребячеством! Или, увидев, как я радуюсь схватке, вы и себя тешите мыслью — геройски погибнуть? О, выбросьте это из головы! Вы не Мооры! Вы безбожные негодия, жалкие орудия моих великих планов, презренные, как веревка в руках палача! Воры не могут пасть смертью героев. Жизнь — выигрыш для вора. Вслед за ней наступает ужас: воры вправе трепетать перед смертью. Слышите, как трубит их рог? Видите, как грозно блещут их сабли? Как? Вы еще не решаетесь? Вы сошли с ума или одурели? Это непростительно! Я не скажу вам спасибо за жизнь! Я стыжусь вашей жертвы!

Патер (*в чрезвычайном удивлении*). Я с ума сойду! Лучше убежать отсюда! Слыханное ли это дело?

Моор. Или вы боитесь, что я лишу себя жизни и самоубийством уничтожу договор, предусматривающий лишь поимку живого? Нет,, ребята, ваш страх напрасен! Вот, смотрите, я бросаю кинжал, и пистолеты, и этот пузырек с ядом, который мог бы мне еще пригодиться. Я теперь так бессилен, что не имею власти даже над собственной жизнью. Как? Все еще не решаетесь? Уж не думаете ли вы, что я начну защищаться, когда вы приметесь вязать меня? Смотрите, я привязываю свою правую руку к этому дубу — теперь я вовсе беззащитен, ребенок может сладить со мной. Ну! Кто из вас первый покинет в беде своего атамана?

Роллер (*в диком волнении*). Никто! Хотя бы весь ад десятикратно обступил нас! (*Машет саблею.*) Кто не собака, спасай атамана!

Швейцер (*разрывает амнистию и бросает клочки ее в лицо патеру*). Амнистия — в наших пулях!

Убирайся, каналья! Скажи сенату, что послал тебя:
в шайке Моора не нашлось ни одного изменника. Спасайте, спасайте атамана!

В с е (*шумно*). Спасайте, спасайте атамана!

М о о р (*вырываюсь, радостно*). Теперь мы свободны, друзья! Теперь я чувствую у себя в кулаке целую армию! Смерть или свобода! Живыми не дадимся!

Трубят наступление, шум и грохот. Все уходят с обнаженными саблями.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

А м а л и я в саду, играет на лютне..

А м а л и я

Добр, как ангел, молод и прекрасен,
Он всех юношей прекрасней и милей;
Взгляд его так кроток был и ясен,
Как сиянье солнца средь зыбей.

От его объятий кровь кипела,
Сильно, жарко билась грудь о грудь,
Губы губ искали... все темнело,
И душе хотелось к небу льнуть.

В поцелуях счаствие и мука!
Будто пламя с пламенем шло в бой,
Как два с арфы сорванные звука
В звук один сливаются порой —

Так текли, текли и рвались;
Губы, щеки рдели, как заря...
Небеса с землею расплывались,
Мимо нас неслися, как моря.

Нет его! Напрасно, ах, напрасно
Звать его слезами и тоской!
Нет его — и все, что здесь прекрасно,
Вторит мне и вздохом и слезой.

Входит Франц.

Франц. Опять ты здесь, строптивая мечтательница? Ты украдкой покинула веселый пир и омрачила радость гостей.

Амалия. Сожалею об утрате этих невинных радостей. В твоих ушах еще должен был бы звучать погребальный напев, раздававшийся над могилой отца.

Франц. Неужели ты вечно будешь сетовать? Предоставь мертвых мирному сну и осчастливь живущих! Я пришел...

Амалия. А скоро ты уйдешь?

Франц. О боже! Не напускай на себя столько холода и мрака. Ты огорчаешь меня, Амалия! Я пришел сказать тебе...

Амалия. Верно, мне придется услышать, что Франц фон Моор стал владетельным графом?

Франц. Да, ты права. Об этом я и пришел сообщить тебе. Максимилиан покоится в склепе своих предков. Я — господин. Но я хотел бы стать им в полной мере, Амалия. Ты знаешь, кем ты была в нашем доме? Ты воспитывалась как дочь Моора, его любовь к тебе пережила даже смерть. Ты ведь никогда не позабудешь об этом?

Амалия. Никогда, никогда! Да и кто мог бы забыть об этом среди веселых пиршеств?

Франц. За любовь отца ты должна воздать сыновьям. Но Карл мертв... Ты поражена? Смущена? Да, конечно, в этой мысли столько лестного, что она должна ошеломить даже женскую гордость. Франц пощирает упования знатнейших девиц. Франц приходит и предлагает бедной, беспомощной сироте свое сердце, свою руку и вместе с нею все свое золото, все свои дворцы и лесные угодья. Франц — кому все завидуют, кого все боятся — добровольно объявляет себя рабом Амалии.

Амалия. Как молния не расщепит нечестивый язык, посмевший выговорить злодейские слова! Ты убил моего возлюбленного, и тебя Амалия назовет супругом? Ты...

Франц. Не гневайтесь так, всемилостивейшая принцесса! Да, Франц, не изгибается перед тобой, как

воркующий селадон. Франц не умеет, подобно томному аркадскому пастушку, заставлять эхо гrotов и скал вторить его любовным сетованиям. Франц говорит, а если ему не отвечают, то будет... повелевать!

А м а л и я. Ты, червь, повелевать? Повелевать мне? А если ответом на эти повеления будет только презрительный смех?

Ф р а н ц. На это ты не осмелишься. Я знаю средство, которое живо сломит гордость строптивой упрямицы,— монастырские стены!

А м а л и я. Браво! Чудесно! Монастырские стены навеки укроют меня от этого взгляда василиска. Там будет у меня довольно досуга думать, мечтать о Карле. Привет тебе, монастырь! Скорее, скорее прими меня!

Ф р а н ц. Ха-ха! Ну, берегись! Ты научила меня искусству мучить. Нет, моя близость, подобно огневолосой фурии, изгонит из твоей головы твоего любимчика Карла. Страшный облик Франца притается за образом возлюбленного, будет караулить его, как пес из волшебной сказки, стерегущий подземные сокровища. За волосы поволоку я тебя к венцу! С мечом в руке исторгну у тебя брачный обет! Приступом возьму твоё девственное ложе! Твою горделивую стыдливость сломлю своею, большей гордостью.

А м а л и я (*дает ему пощечину*). Сперва получи вот это в приданое!

Ф р а н ц (*яростно*). О, теперь я воздам тебе стоприцей. Не супругой — нет, много чести! — моей наложницей будешь ты! Честные крестьянки станут показывать на тебя пальцами, когда ты отважишься выйти на улицу. Что ж! Скрежещи зубами! Испепеляй меня огнем и злобой твоих глаз! Меня веселит гнев женщины. Он делает тебя еще прекраснее, еще желаннее! Идем — твоя строптивость украсит мое торжество, придаст остроту насильственным объятиям. Идем — я горю желанием! Теперь, сейчас же ты пойдешь за мной. (*Тащит ее за собою.*)

А м а л и я (*бросается ему на шею*). Прости меня, Франц! (*Он хочет обнять ее, она выхватывает из ножон шпагу и быстро отходит.*) Смотри, негодяй, теперь я расправлюсь с тобой. Да, я женщина, но разъярен-

ная женщина! Осмелься только нечестивым прикосновением осквернить мое тело — эта сталь пронзит твое похотливое сердце! Дух дяди направил мою руку. Спасайся скорее! (*Прогоняет его.*) Ах, как мне хорошо! Наконец, я могу вздохнуть свободно,— я почувствовала себя сильной, как огнедышащий конь, злобной, как тигрица, преследующая того, кто похитил ее детенышней. «В монастырь», сказал он? Спасибо за счастливую мысль! Обманутая любовь нашла себе пристанище! Монастырь, святое распятье — вот оплот обманутой любви. (*Хочет уйти.*)

Герман входит нерешительными шагами.

Герман. Фрейлейн Амалия! Фрейлейн Амалия!

Амалия. Несчастный! Зачем ты меня беспокоишь?

Герман. Эту тяжесть я должен снять с сердца, прежде чем она увлечет меня в ад. (*Бросается перед ней на колени.*) Простите! Простите! Я жестоко обидел вас, фрейлейн Амалия!

Амалия. Встань! Уходи! Я ничего не хочу слушать. (*Хочет уйти.*)

Герман (*удерживая ее*). Нет! Останьтесь! Ради бога! Ради предвечного бога! Вы должны все узнать!

Амалия. Ни слова больше! Я прощаю тебя. Иди с миром!

Герман. Выслушайте хоть одно слово! Оно вернет вам покой.

Амалия (*возвращается и удивленно смотрит на него*). Как, друг мой? Кто на земле или на небе может вернуть мне покой?

Герман. Одно-единственное слово из уст моих. Выслушайте меня!

Амалия (*сострадательно берет его руку*). Добрый человек, как может слово из твоих уст сорвать засовы вечности?

Герман (*поднимается*). Карл жив!

Амалия (*кричит*). Несчастный!

Герман. Да, это так. И еще одно... Ваш дядя...

Амалия (*бросаясь к нему*). Ты лжешь!

Г е р м а н . Ваш дядя...

А м а л и я . Карл жив еще?

Г е р м а н . И ваш дядя тоже. Не выдавайте меня!
(Поспешно уходит.)

А м а л и я (долго стоит в оцепенении, потом бросается вслед за ним). Карл жив!

С Ц Е Н А В Т О Р А Я

Местность близ Дуная. Разбойники расположились на пригорке под деревьями. Лошади пасутся внизу.

М о о р . Здесь я прилягу. (Бросается на землю.) Я весь разбит. Во рту пересохло.

Швейцер незаметно исчезает.

Я хотел попросить принести мне пригоршню воды из этой реки, но и вы все до смерти устали.

Ш в а р ц . И вино в наших бурдюках все вышло.

М о о р . Смотрите, какие прекрасные хлеба! Деревья гнутся под тяжестью плодов. Полны надежд виноградные лозы.

Г р и м м . Год выдастся урожайный.

М о о р . Ты думаешь? Итак, хоть одна капля пота вознаградится на этом свете. Одна... Но ведь ночью может выпасть град и побить урожай.

Ш в а р ц . Вполне возможно. И все погибнет перед самой жатвой.

М о о р . Вот и я говорю — все погибнет. Да и почему должно удаваться человеку то, что роднит его с муравьями, когда то, в чем он равен богу, ему не дается? Или такова уж людская доля?

Ш в а р ц . Вот чего не знаю.

М о о р . Хорошо сказано и еще лучше сделано, если ты и вправду не стремишься проникнуть в суть вещей. Брат! Я видел людей, и их пчелиные заботы и гигантские замыслы, их божественные устремления и мышью суэтню, их диковинно-странные погони за счастьем! Один доверяет себя бегу лошади, другой нюху осла, третий собственным ногам. Такова пестрая лотерея жизни! В погоне за выигрышем многие прославляют

чистоту и спасение души своей, а вытаскивают одни лишь пустышки: выигрышных билетов, как оказалось, и не было вовсе. От этого зрелища, брат мой, глотку щекочет смех, а на глаза навертываются слезы!

Шварц. Как величественно заходит солнце!

Моор (*погруженный в созерцание*). Так умирает герой! Хочется склонить перед ним колена.

Гrimm. Ты, кажется, очень растроган?

Моор. Еще в детстве моей любимой мечтой было так жить и так умереть. (*Со сдержанной горечью.*) Ребяческая мысль!

Grimm. Что и говорить!

Моор (*надвигает шляпу на глаза*). В то время... Оставьте меня одного, друзья!

Шварц. Моор! Моор! Что за дьявольщина! Как он изменился в лице.

Grimm. Тысяча чертей! Что с ним? Ему дурно?

Моор. В то время я не мог уснуть, если с вечера забывал помолиться.

Grimm. Да ты рехнулся? Что за ребячество?

Моор (*кладет голову на грудь Гrimма*). Брат! Брат!

Grimm. Что ты? Не будь ребенком, прошу тебя!

Моор. О, если бы я стал им снова!

Grimm. Тьфу, тьфу!

Шварц. Ободрись! Взгляни, какой живописный вид, какой тихий вечер.

Моор. Да, друзья мои, мир прекрасен!

Шварц. Вот это правильно замечено!

Моор. Земля так обильна!

Grimm. Верно, верно! Вот за это люблю!

Моор (*поникнув*). А я так гадок среди этого дивного мира, а я чудовище на этой прекрасной земле!

Grimm. Вот напасть-то!

Моор. Моя невинность! О моя невинность! Смотрите! Все вокруг греется в мирных лучах весеннего солнца! Почему лишь мне одному впивать ад из всех радостей, даруемых небом? Все счастливо кругом, все сроднил этот мирный дух! Вселенная — одна семья, и один отец там, наверху! Отец, но не мне отец! Я один отвержен, один изгнан из среды праведных! Сладост-

ное имя «дитя» — мне его не услышать! Никогда, никогда не почувствовать томного взгляда любимой, объятий верного друга! Никогда! Никогда! (*С ужасом отшатывается.*) Среди убийц, среди шипенья гадов, железными цепями прикованный к греху, по шаткой жерди порока бреду я к гибели — Абадонна, рыдающий среди цветения счастливого мира!

Шварц (*к другим разбойникам*). Непонятно! Никогда его таким не видывал!

Моор (*горестно*). О, если бы я мог возвратиться в чрево матери! Если бы мог родиться нищим! Нет, ничего не хотел бы я больше, о небо, как сделаться таким вот поденщиком! О, я хотел бы трудиться так, чтобы со лба у меня лился кровавый пот! Этой ценой купить себе уладу послеобеденного сна... блаженство единой слезы!

Гrimm. Ну вот! Припадок пошел на убыль.

Моор. Было время, когда слезы лились так легко! О безмятежные дни! Отчий замок и вы, зеленые задумчивые долы! Блаженные дни моего детства! Никогда, никогда они не возвратятся! Никогда ласковым дуновением не освежат мою пылающую грудь! Все ушло, ушло невозвратно!

Появляется Швейцер со шляпой, наполненной водой.

Швейцер. Пей, атаман! Воды тут вволю, холдной, как лед.

Шварц. Ты в крови? Что ты сделал?

Швейцер. Дурак я! Такое, что чуть было не стоило мне обеих ног и головы. Спускаюсь с песчаного холма к реке... вдруг вся эта дрянь поползла подо мной и я полетел вниз на добрый десяток рейнских футов. Лежу это я и, чуть придя в чувство, вижу: в гравии течет самая что ни на есть прозрачная вода. Ладно, подумал я, хоть я и накувыркался, да атаману вода придется по вкусу.

Моор (*возвращает шапку и отирает ему лицо*). А то не видно шрамов, которыми переметили твой лоб богемские уланы. Вода превосходная! Эти шрамы тебе к лицу.

Швейцер. Ба, места хватит еще для добрых тридцати.

Моор. Да, ребята, денек выдался жаркий! А потеряли мы только одного человека. Мой Роллер погиб геройской смертью. Над его прахом воздвигли бы мраморный монумент, если б он умер не за меня. Довольствуйтесь хоть этим! (*Вытирает глаза.*) А сколько человек полегло с неприятельской стороны?

Швейцер. Сто шестьдесят гусаров, девяносто три драгуна и сорок егерей — всего триста человек.

Моор. Триста за одного! Каждый из вас имеет право на эту голову. (*Снимает шляпу.*) Вот я подымаю кинжал. Клянусь спасением моей души, я никогда не оставлю вас.

Швейцер. Не клянись! Может быть, тебе еще суждено счастье и ты будешь раскаиваться.

Моор. Клянусь прахом моего Роллера! Я никогда не оставлю вас!

Входит Косинский.

Косинский (*в сторону*). Мне сказали, что где-нибудь здесь поблизости я найду их. Ого! Это что за люди? Уж не они ли? Что, если они? Да, да, так оно и есть. Попробую с ними заговорить.

Шварц. Стой? Кто идет?

Косинский. Господа, прошу прощения! Боюсь, не ошибся ли я?

Моор. Ну, а кто ж мы такие, если ты не ошибся?!

Косинский. Мужи!

Швейцер. Разве мы не доказали этого, атаман?

Косинский. Мужей ищу я, которые прямо смотрят в лицо смерти, опасность превращают в прирученную змею, а свободу ценят выше чести и жизни. Мужей, одно имя которых, бесценное для бедных и угнетенных, храбрейших заставляет содрогаться и тиранов бледнеть.

Швейцер (*обращаясь к атаману*). Этот малый мне нравится. Послушай, дружище! Ты нашел тех, кого искал.

Косинский. Похоже на то! И вскоре надеюсь сказать, что нашел братьев. Но тогда укажите мне

того великого мужа, которого я ищу, вашего атамана, славного графа фон Моора.

Швейцер (*жмет ему руку, горячо*). Милый юноша, мы — друзья!

Моор (*приближаясь*). А знаком ли вам атаман?

Косинский. Это ты! Какое лицо! Увидя тебя, кто станет искать другого? (*Долго всматривается в него*.) Я всегда мечтал увидеть того человека с прозрительным взглядом, который сидел на развалинах Карфагена. Теперь не буду мечтать об этом.

Швейцер. Вот это хват!

Моор. А что привело вас ко мне?

Косинский. О атаман, моя горькая судьбина. Я потерпел кораблекрушение в бурных волнах жителейского моря; я видел, как пошли ко дну упования всей моей жизни,— и мне не осталось ничего, кроме мучительных воспоминаний об их гибели, воспоминаний, которые свели бы меня с ума, если б я не старался заглушить их беспрерывной деятельностью.

Моор. Еще один жалобщик на господа бога! Продолжай!

Косинский. Я сделался солдатом. Несчастье и тут преследовало меня. Я стал участником экспедиции в Ост-Индию, мой корабль разбился о скалы — опять только несбывшиеся планы! Наконец, слышу, везде и всюду толкуют о твоих делах — «злодействах», как их называли,— и вот я отправился сюда, за тридцать миль, с твердым решением служить под твоим началом, если ты захочешь принять меня.

Швейцер (*вскакивая*). Здорово! Здорово! Значит, Роллер тысячуекратно возмешен нам! Вот это так собрат для нашей шайки!

Моор. Как твое имя?

Косинский. Косинский.

Моор. Косинский? А знаешь ли ты, что ты ветреный мальчик и шутишь, как неразумная девчонка, таким важным поступком? Здесь тебе не придется играть в мяч или в кегли, как ты воображаешь.

Косинский. Я знаю, что ты хочешь сказать. Мне двадцать четыре года, но я видел, как сверкают шпаги, и слышал, как жужжат пули над головой.

Мо о р. Вот как, молодой человек? Значит, ты затем научился фехтованию, чтобы ради одного какого-нибудь талера убивать бедных путников или вонзать нож в спину женщинам? Ступай, ступай отсюда! Ты сбежал от няньки, которая припугнула тебя розгой!

Швейцер. Что за черт, атаман? О чём ты думаешь? Уж не хочешь ли ты отослать назад этого Геркулеса? Да он выглядит так, будто может половником оттеснить за Ганг самого маршала Саксонского.

Мо о р. Тебе не удались твои ребячие затеи, и вот ты приходишь сюда, чтобы стать мошенником, убийцей? Убийство! Мальчик, да понимаешь ли ты это слово? Когда сбиваешь маковые головки, можно заснуть спокойно. Но имея на совести убийство...

Косинский. Я готов держать ответ за любое убийство, на которое ты пошлешь меня.

Мо о р. Что? Ты так умен? У тебя хватает дерзости ловить меня на удочку лести? Откуда ты знаешь, что я не вижу по ночам страшных снов, что я не покроюсь бледностью на смертном одре? Много ли тебе приходилось делать такого, за что бы ты нес ответственность?

Косинский. Правда, пока еще мало! Но все же... Хотя бы мой приход к вам, благородный граф.

Мо о р. Не подсунул ли тебе твой гувернер историю Робина Гуда,— таких неосмотрительных мерзавцев следовало бы ссылать на галеры! — и не она ли распалила твое детское воображение, заразила тебя безумным стремлением к величию? Ты, верно, льстишься на громкие титулы и почести? Хочешь купить бессмертие поджогами и разбоем? Знай, честолюбивый юноша: не для убийц и поджигателей зеленеют лавры! Не слава встречает разбойничьи победы, но проклятия, опасности, смерть, позор! Видишь виселицу там, на холме?

Шпигельберг (*сердито шагает взад и вперед*). Ох, как глупо! Как противно! Непростительно глупое обхожденье! Нет, я поступал по-другому.

Косинский. Чего бояться тому, кто не боится смерти?

Мо о р. Браво! Бесподобно! Ты, видно, здорово учился в школе и назубок знаешь своего Сенеку! Но, милый друг, такими сентенциями ты не обманешь

страдающую природу, не притупишь стрелы горя. Подумай хорошенько, сын мой! (*Берет его за руку.*) Подумай, я советую тебе, как отец: измерь глубину, прежде чем броситься в пропасть, если ты еще можешь испытать хоть единый миг радости... Настанет минута, когда ты очнешься, и тогда... будет слишком поздно. Здесь ты выходишь из круга людского и должен стать либо существом высшего порядка, либо дьяволом. Еще раз, сын мой; если где-нибудь теплится для тебя искра надежды, оставь это страшное братство. В него вступают только с отчаяния, если не видят в нем высшей премудрости! Можно обмануться, верь мне, можно принять за твердость духа то, что в конце концов только отчаяние. Верь мне и поспеши отсюда!

Косинский. Нет! Теперь уж я не побегу. Если мои просьбы не трогают тебя, то выслушай историю моих злоключений: Ты тогда сам вложишь кинжал в мои руки. Садитесь все вокруг и слушайте внимательно.

Моор. Я тебя слушаю.

Косинский. Итак, знайте, я богемский дворянин. Ранняя смерть отца сделала меня владельцем немалой дворянской вотчины. Места это были райские, ибо там обитал ангел — девушка, украшенная всеми прелестями цветущей юности и целомудренная, как свет небесный. Но кому я это говорю? Для вас это пустой звук! Вы никогда не любили, никогда не были любимы.

Швейцер. Полегче, полегче! Наш атаман всыхнул, как огонь.

Моор. Перестань! Я выслушаю тебя в другой раз — завтра, на днях или насмотревшись крови!

Косинский. Кровь! Кровь! Слушай же дальше! И сердце твое обольется кровью. Она была немка из мещанок, но один вид ее рассеивал все дворянские предрассудки. Робко и скромно приняла она из моих рук обручальное кольцо,— послезавтра я должен был вести мою Амалию к алтарю.

Моор стремительно поднимается.

В чаду ожидающего меня блаженства, среди приготовлений к свадьбе нарочный привозит мне вызов ко двору.

Являюсь. Мне показывают письма, дышащие изменой и будто бы написанные мною. Кровь бросилась мне в лицо от такого коварства! У меня отняли шпагу, меня заточили в тюрьму, все мои чувства отмерли.

Швейцер. А тем временем... Ну, продолжай, я уже чую, чем тут пахнет.

Косинский. Я пробыл там целый месяц, не понимая, как все это произошло. Я трепетал за Амалию, которая из-за меня переживала смертельный ужас. Но вот является первый министр двора и в притворно-сладких выражениях поздравляет меня с уставновлением моей невиновности, читает мне указ об освобождении и возвращает шпагу. Теперь остается, торжествуя, лететь в объятия Амалии... Но что же? Она исчезла. Ее увезли темной ночью, никто не знал куда. С тех пор она словно в воду канула. Меня молнией осенила мысль! Я спешу в город, пытаюсь что-нибудь узнать. Все таращат на меня глаза, никто ничего не разъясняет. Наконец, во дворце, за потаенной решеткой, я ее обнаруживаю. Она бросила мне записку.

Швейцер. Ну что, разве я не говорил?

Косинский. Ад, смерть и ад! Вот что я прочел! Ее поставили перед выбором: допустить мою смерть или стать любовницей князя. В борьбе между честью и любовью она избрала последнюю... и (*хочет*) я был спасен.

Швейцер. И что же ты сделал?

Косинский. Я стоял словно ошеломленный тысячью громов. «Кровь!» — была моя первая мысль; «кровь!» — последняя. С пеной у рта мчусь я домой, хватаю трехгранную шпагу и вне себя врываюсь в дом министра, — ибо он, только он мог быть адским сводником. Меня, видимо, заметили еще на улице. Когда я поднялся наверх, все двери были заперты. Я мчусь, расспрашиваю. Ответ один: он уехал к государю. Я устремляюсь туда, но там его и в глаза не видели. Возвращаюсь к нему, взламываю двери, нахожу его... Но человек пять служителей выскаивают из засады и обезоруживают меня.

Швейцер (*топая ногой*). И он остался цел, а ты ушел ни с чем?

Косинский. Меня схватили, предали суду, обесчестили и... заметьте — в виде особой милости,— выслали за границу. Мои поместья достались министру; моя Амалия в когтях тигра, она гаснет, стена и рыдая, а моя месть бессильно сгибается под ярмом деспотизма.

Швейцер (*вскакивая и размахивая шпагой*). Это льет воду на нашу мельницу, атаман! Тут найдется, что поджечь.

Моор (*доселе ходивший взад и вперед в сильном волнении, резко останавливается. К разбойникам*). Я должен видеть ее. Живо! Стройтесь! Ты остаешься с нами, Косинский! Торопитесь!

Разбойники. Куда? Что?

Моор. Куда? Кто спросил, куда? (*Гневно Швейцеру*.) Предатель, ты хочешь задержать меня? Но, клянусь небом...

Швейцер. Предатель? Я? Отправляйся хоть в ад, я пойду с тобою!

Моор (*бросается ему на шею*). Брат! Ты идешь со мной! Она плачет, угасает! Поднимайтесь! Живо! Все! Во Франконию! Мы должны быть там через неделю...

Все уходят.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Сельская местность вблизи замка Мооров.

Разбойник **Моор.** В отдалении **Косинский**.

Моор. Ступай и доложи обо мне. Помнишь, что тебе надо сказать?

Косинский. Вы — граф фон Бранд, едете из Мекленбурга; я ваш стремянный. Не беспокойтесь, я хорошо сыграю свою роль. Прощайте. (*Уходит*.)

Моор. Привет тебе, родная земля! (*Целует землю*.) Родное небо, родное солнце! Холмы и долы! Леса и потоки! Всем сердцем приветствую вас! Какой целительный воздух веет с гор моей родины! Какое

блаженство струится в грудь несчастного изгнанника! Элизиум! Поэтический мир! Остановись, Моор! Ты вступаешь в священный храм! (*Подходит ближе.*) А вот и ласточкины гнезда во дворе замка! И садовая калитка! И тот уголок у забора, где ты так часто подстерегал и дразнил ловчего филина. Вот лужайка, где ты, отважный Александр, вел своих македонян в атаку при Арбеллах, и поросший травою холм, откуда ты прогнал персидского сатрата; на этой вершине победно реяло твое знамя! (*Улыбается.*) Золотые майские годы детства вновь оживают в душе несчастного. Здесь был ты так счастлив, так бесконечно, безоблачно весел!.. А ныне в обломках лежат твои замыслы! По этой земле ты должен был ступить славным, достойным, всеми почитаемым мужем; здесь в цветущих детях Амалии тебе предстояло вторично пережить свои детские годы; здесь, здесь быть кумиром своих подданных! Но враг человеческий злобно насмеялся надо мною! (*Вздрагивает.*) Зачем я пришел сюда? Чтобы почувствовать себя узником, которого звон цепей пробуждает от снов о свободе? Нет, я вернусь к своей юдоли. Узник позабыл свет солнца, но сон о свободе, как молния, прорезал ночь вокруг него, чтобы сделать ее еще темнее. Прощайте, родные долины! Когда-то вы видели мальчика Карла, и этот мальчик был счастлив; теперь вы увидели мужчину, и он полон отчаяния. (*Быстро оборачивается и идет в дальний угол сцены, останавливается и с тоской смотрит на замок.*) Не увидеть ее, не бросить на нее ни единого взгляда, когда только стена разделяет меня и Амалию? Нет! Я увижу ее. Я увижу его, чего бы то ни стоило! Отец, отец, твой сын идет к тебе! С дороги, черная дымящаяся кровь! С дороги, пустой, недвижный, леденящий взгляд смерти! Дай мне свободу только на этот час! Амалия! Отец! Ваш Карл идет к вам. (*Быстрыми шагами направляется к замку.*) Пытай меня, когда забрезжит день, неотступно преследуй меня в ночном мраке, мучь ужасными снами! Не отрави мне лишь этот единый миг наслаждения! (*Останавливается у ворот.*) Что со мной? Что это значит, Моор? Мужайся! Смертный ужас!.. Страшное предчувствие!.. (*Входит в замок.*)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Галерея в замке

Разбойник Моор. Амалия входит.

Амалия. И вы думаете узнать его портрет среди всех других?

Моор. О, безусловно. Его образ всегда стоял перед моими глазами. (*Осматривает картины.*) Это не он.

Амалия. Вы угадали! Это родоначальник графов. Барбаросса возвел его в дворянство за расправу над морскими разбойниками.

Моор (*продолжая взглядываться в картины.*). И это не он, и этот, и тот. Его нет среди них.

Амалия. Как? Вглядитесь получше! Я думала, вы знаете его.

Моор. Знаю, как родного отца! Вот этому недостает мягкой улыбки, отличавшей его среди тысяч... Это не он.

Амалия. Я поражена. Как? Не видеть восемнадцать лет, и все еще...

Моор (*быстро, вспыхнув.*). Вот он! (*Стоит как пораженный молнией.*)

Амалия. Прекраснейший человек!

Моор (*не отрываясь, глядит на портрет.*). Отец, отец, прости меня! Да, прекраснейший человек! (*Вытирает глаза.*) Святой человек!

Амалия. Вы, кажется, очень почитали его?

Моор. О, превосходный человек! И его уже нет в живых?

Амалия. Нет! Он ушел, как уходят лучшие радости жизни. (*Дотрагивается до его руки.*) Милый граф, счастье не успевает расцвести в подлунном мире!

Моор. Да, правда, правда... Но когда вы успели убедиться в этом? Вам ведь не больше двадцати трех лет.

Амалия. И все-таки я успела. Все живет для того, чтобы умереть в печали. Мы стремимся к счастью и обретаем его, чтобы снова с болью утратить.

Моор. Вы уже утратили что-то?

Амалия. Ничего... Все! Ничего... Не пройти ли нам дальше, граф?

Моор. Вы так спешите? Чей это портрет там, направо? Такое скорбное лицо.

Амалия. Налево портрет его сына, нынешнего владетельного графа... Идемте же? Идемте!

Моор. Но этот портрет направо?

Амалия. Не угодно ли вам пройти в сад?

Моор. Но этот портрет направо? Ты плачешь, Амалия?

Амалия быстро уходит.

Она любит меня! Любит! Все ее существо встрепенулось, предательские слезы полились из глаз. Она любит меня! Несчастный, разве ты это заслужил? Разве я не стою здесь, как преступник перед плахой? Не это ли софа, на которой я утопал в блаженстве, обнимая ее? Не это ли покой отчего дома? (*Растроганный портретом отца.*) Ты, ты! Глаза твои извергают огоны! Проклятье, проклятье! Отреченье! Где я? Ночь перед моими глазами. Кары господни! Я, я убил его! (*Убегает.*)

Франц Моор (*входит, погруженный в раздумье*). Прочь, этот образ! Жалкий трус! Чего ты робеешь? И перед кем? С тех пор как этот граф в моем замке, мне все мерещится, что какой-то шпион, подосланный адом, по пятам крадется за мной. Я когда-то видел его! Что-то величественное и знакомое есть в его страстном загорелом лице. Да и Амалия неравнодушна к нему! Она то и дело бросает на этого молодчика тоскующие, томные взгляды, а на них она обычно скучится! Разве я не видел, как ее слеза украдкой скатилась в вино, которое он пил за моей спиной так жадно, точно хотел проглотить и бокал. Да, я видел это в зеркале, видел собственными глазами. Берегись, Франц! За всем этим кроется какое-то гибельное чудовище! (*Пытливо взглядываетя в портрет Карла.*) Его длинная, гусиная шея, его черные огненные глаза, гм-гм-гм, темные нависшие густые брови. (*Вздрагивая.*) Злорадствующий ад, не ты ли насылаешь на меня это предчувствие? Да, это Карл. Теперь все его черты ожили передо мною. Это он! Он! Личина его не скроет! Это он! Смерть и проклятие! (*В ярости ходит большими шагами по сцене.*) Разве для того я бодрствовал по ночам, для того срывал скалы и засыпал пропасти?

Разве для того я восстал против всех человеческих инстинктов, чтобы этот беспокойный бродяга обратил в ничто все мои хитросплетения? Спокойствие! Главное, спокойствие! Осталась пустячная работа! Я и без того по уши погряз в смертных грехах. Глупо плыть обратно, когда берег далеко позади. О возвращении нечего и думать. Милосердие пошло бы по миру, отпустив мои грехи, и вечное сострадание стало бы банкротом! Итак, вперед, как подобает мужу! (*Звонит.*) Пусть соединится с духом отца и тогда приходит. Мертвцы мне не страшны. Даниэль! Эй! Даниэль! Бьюсь об заклад, они и его вовлекли в заговор! У старика загадочный вид.

Даниэль входит.

Даниэль. Что прикажете, сударь?

Франц. Ничего. Иди налей вина в этот кубок, да живей поворачивайся!

Даниэль уходит.

Погоди, стариk, я поймаю тебя! Я так посмотрю тебе в глаза, что уличенная совесть заставит тебя побледнеть, и эта бледность будет видна и сквозь маску. Он должен умереть! Разиня тот, кто бросает дело на полдороге и, отойдя в сторону, глазеет: что-то будет дальше?

Даниэль с вином.

Поставь сюда! Смотри мне прямо в глаза! Да у тебя колени трясутся? Как ты дрожишь! Признавайся, стариk! Что ты сделал?

Даниэль. Ничего, ваша милость! Клянусь богом и спасением бедной души моей!

Франц. Выпей это вино! Что? Ты медлишь? Ну, говори, живо! Чего ты подсыпал в кубок?

Даниэль. Господи, спаси и помилуй! Как? Я — в вино?

Франц. Яду подсыпал ты в вино! Ты бледен как смерть! Признавайся же, признавайся! Кто дал тебе яд? Не правда ли, граф? Граф дал тебе его?

Даниэль. Граф? Пресвятая дева! Граф ничего мне не давал.

Франц (*хватает его*). Я буду душить тебя, покуда ты не посинеешь, седой обманщик! Ничего? А почему вы все время торчите вместе? Он, ты и Амалия? О чем перешептываетесь? Выкладывай! Какие тайны, какие тайны он поверял тебе?

Даниэль. Бог свидетель, он никаких тайн не поверял мне.

Франц. Так ты запираешься? Какие козни вы замышляете, чтобы убрать меня с дороги? А? Собираетесь задушить меня во сне? Зарезать бритвой? Попотчевать отравой в вине или шоколаде? Говори! Говори! Или в тарелке супа поднести мне вечное упокоение? Говори! Мне все известно.

Даниэль. Разрази меня бог, если я не говорю вам чистейшей правды!

Франц. На этот раз я прощу тебя. Но он, наверно, совал деньги тебе в кошелек? Пожимал руку крепче, чем это принято? Как жмут руку старым знакомым?

Даниэль. Никогда, ваша милость.

Франц. Говорил он тебе, к примеру, что знал тебя? Что и ты должен был знать его? Что с твоих глаз когда-нибудь спадет пелена? Что? Как? Он никогда не говорил ничего подобного?

Даниэль. Ни словечка.

Франц. Что известные обстоятельства удерживали его... Что часто приходится надевать личину, чтобы проникнуть к врагу, что он хочет отомстить за себя, жестоко отомстить?

Даниэль. Ни о чем таком он и не заикался.

Франц. Как? Решительно ни о чем? Подумай хорошенько... Что он близко, очень близко знал старого графа? Что любит его, бесконечно любит, любит, как родной сын?..

Даниэль. Что-то в этом роде я и вправду слыхал от него.

Франц (*бледнея*). Так он говорил это? В самом деле говорил? Но что? Скажи? Говорил, что он брат мне?

Даниэль (*озадаченный*). Что, ваша милость? Нет! Этого он не говорил! Но когда фрейлейн Амалия водила его по галерее,— я как раз вытирал пыль с кар-

тин,—он вдруг остановился перед портретом покойного графа как громом пораженный. Фрейлейн Амалия, указав на портрет, сказала: «Прекраснейший человек!» — «Да, да! Прекраснейший человек», — подтвердил и он, утирая слезы.

Франц. Слушай, Даниэль! Ты знаешь, я всегда был тебе добрым господином; я кормил, одевал тебя и неизменно щадил твою старость.

Даниэль. Да вознаградит вас господь! И я всегда служил вам верой и правдой.

Франц. Об этом я и говорю. Ты никогда в жизни не перечил мне, так как отлично знаешь, что обязан исполнять мою волю, что бы я ни приказывал!

Даниэль. От всего сердца, господин граф, если только это не идет против господа и моей совести!

Франц. Вздор, вздор! Как тебе не стыдно? Стариk, а веришь бабьим рассказням. Брось, Даниэль, эти глупости! Ведь я господин, меня покарают бог и совесть, если бог и совесть существуют.

Даниэль (*всплескивая руками*). Боже милосердный!

Франц. Вспомни о долгे повиновения! Понимаешь ты это слово? Во имя этого долга я приказываю тебе, уже завтра графа не должно быть среди живущих.

Даниэль. Господи, спаси и помилуй! Да за что же?

Франц. Помни о слепом повиновении! Ты мне за все ответишь!

Даниэль. Я? Пресвятая матерь! Спаси и помилуй! Я? В чем я, старик, провинился?

Франц. Здесь некогда раздумывать! Твоя судьба в моих руках. Выбирай — либо томиться всю жизнь в самом глубоком из моих подвалов, где голод заставит тебя гладить собственные кости, а жгучая жажда лакать собственную воду, либо до конца дней в мире и покое есть хлеб свой.

Даниэль. Как, сударь? Мир, покой — и убийство?

Франц. Отвечай на мой вопрос!

Даниэль. О мои седины, мои седины!

Франц. Да или нет?

Даниэль. Нет! Боже, смилийся надо мною!

Франц (*делая вид, что уходит*). Ладно! Скоро божья милость тебе пригодится.

Даниэль (*удерживая его, падает перед ним на колени*). Смилийтесь, сударь, смилийтесь!

Франц. Да или нет?

Даниэль. Ваша милость! Мне уже семьдесят второй год. Я всегда почитал своих родителей. Я, сколько помню, ни у кого гроша не взял обманом. Я честно держался своей веры. Я сорок четыре года прослужил в вашем доме и жду теперь спокойной, мирной кончины. Ах, сударь, сударь! (*С жаром обнимает его колени.*) А вы хотите отнять у меня последнее утешение перед смертью! Хотите, чтобы совесть, как червь, подточила мою последнюю молитву и чтоб я заснул навеки, став чудовищем перед богом и людьми. Нет, нет, мой дорогой, мой бесценный, мой любимый граф! Вы этого не хотите! Этого вы не можете хотеть от семидесятилетнего старика!

Франц. Да или нет! Что за болтовня?

Даниэль. Я буду отныне еще усерднее служить вам! Не покладая старых рук буду, как поденщик, работать на вас, буду еще раньше вставать и еще позже ложиться, денно и нощно молить за вас бога,— и господь не отринет молитвы старика.

Франц. Повинование лучше жертвы. Статочное ли дело, чтобы палач жеманился перед казнью!

Даниэль. Да, да, верно. Но удавить невинного...

Франц. Может быть, я обязан тебе отчетом? Разве топор спрашивает палача, зачем рубить эту голову, а не другую? Но видишь, как я милостив; я предлагаю тебе награду за то, к чему тебя обязует служба.

Даниэль. Но я надеялся остатся христианином на вашей службе.

Франц. Хватит болтать! Даю тебе день на размышление. Так взвесь же: счастье или беда? Слышишь? Понял? Величайшее счастье или ужаснейшая беда! Я превзойду себя в пытках!

Даниэль (*после некоторого раздумья*). Я все сделаю, завтра сделаю. (*Уходит.*)

Франц. Искушение сильно, а стариk не рожден мучеником за веру. Что ж!.. На здоровье, любезный граф! Похоже, что нынче вечером состоится ваша последняя трапеза. Все зависит от того, как смотреть на вещи; и дурак тот, кто не блюдет своей выгоды. Отец, быть может выпивший лишнюю бутылку вина, загорается желанием — и в результате возникает человек: а ведь о человеке вряд ли много думают за этой геркулесовой работой. Вот и на меня теперь нашло желание,— и человека не станет. И уж, конечно, в этом больше ума и преднамеренности, чем при его зачатии. Бытие большинства людей стоит в прямой зависимости от жаркого июльского полдня, от красивого покрывала на постели, от горизонтального положения задремавшей кухонной грации или от потухшей свечи. Если рождение человека — дело скотской похоти, пустой случайности, то зачем так ужасаться отрицанию его рождения? Будь проклята глупость кормилиц и няньек, пичкающих наше воображение страшными сказками и начиняющих наш слабый мозг мерзостными картинами страшного суда! Они сажают наш пробудившийся разум на цепь темного суеверия, так что кровь ледeneет в жилах и приходит в смятение самая смелая решимость! Убийство! Сонмище фурий вьется вокруг этого слова! Природа позабыла сделать еще одного человека: не перевязали пуповины, отец во время брачной ночи оказался не на высоте — и всей игры теней как не бывало! *Было что-то — и не осталось ничего...* Разве это не то же самое, что: *ничего не было, ничего и не будет!* А нет ничего, так и говорить не о чем. Человек возникает из грязи, шлепает некоторое время по грязи, порождает грязь, в грязь превращается, пока, наконец, грязью не налипнет на подошвы своих правнукув! Вот и вся песня, весь грязный круг человеческого предназначения. Итак, счастливого пути, любезный братец! Пусть совесть, этот желчный подагрический моралист, гонит морщинистых старух из публичных домов и терзает на смертном одре старых ростовщиков! У меня ей никогда не добиться аудиенции! (Уходит.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Другая комната в замке.

Разбойник М о о р входит с одной стороны. Д а н и э ль с другой.

М о о р (*поспешно*). Где фрейлейн Амалия?

Д а н и э ль. Ваша милость! Дозвольте бедному человеку обратиться к вам с просьбой.

М о о р. Говори! Чего тебе надобно?

Д а н и э ль. Немного и всего, очень малого и вместе с тем очень многоего. Дозвольте мне поцеловать вашу руку!

М о о р. Нет, добрый старик. (*Обнимает его*.) Ты мне годишься в отцы.

Д а н и э ль. Вашу руку, вашу руку! Прошу вас.

М о о р. Нет, нет!

Д а н и э ль. Я должен! (*Берет его руку, смотрит на нее и падает перед ним на колени*.) Милый, бесценный Карл!

М о о р (*пугается, овладевает собою, сухо*). Что ты говоришь, друг мой? Я тебя не понимаю.

Д а н и э ль. Что ж, отпирайтесь, притворяйтесь! Ладно, ладно! Вы все же мой дорогой, бесценный Карл! Боже милостивый! Я, старик, сподобился такой радости. Дурак я, что не сразу... Отец небесный! Вот вы вернулись, а старый-то граф в земле... А вы опять здесь. Что я за слепой осел (*ударяет себя по лбу*), что не сразу... Господи, боже ты мой! Кто бы мог подумать! О чем я слезно молился... Иисусе Христе!.. Вот он стоит собственной персоной в своей прежней комнате!

М о о р. Что за странные речи? Да что вы, в белой горячке, что ли? Или хотите на мне испробовать, как вам удается роль из какой-то комедии?

Д а н и э ль. Тьфу ты! Господи, и не грех вам потешаться над старым слугой? Этот шрам... Да помните ли... Великий боже! То-то страху нагнали вы на меня в ту пору! Я вас так любил всегда, а вы... То-то было бы горе!.. Вы сидели у меня на руках... Помните, там, в круглом зале... Бьюсь об заклад, вы, верно, уж позабыли и кукушку, что так любили слушать! Подумать только, кукушка разбилась вдребезги. Старая Су-

санна уронила ее, когда мела комнату... Да, так вот вы сидели у меня на руках да вдруг как закричите: «Но-но!» Я и побежал за вашей лошадкой. Господи Иисусе, и куда только я, старый осел, понесся? Меня как варом обдало, когда я еще в сенях услышал ваш крик. Вбегаю, вы лежите на полу, а кровь так и хлещет. Матерь божья! Меня словно ледяной водой окалили! И всегда ведь так, чуть не доглядишь за ребенком! Боже милосердный, а что, если бы в глазок попало? Ведь и то, как нарочно, в правую руку. До конца дней моих, сказал я себе тогда, не дам ребенку ножа или ножниц или чего другого острого! Так и сказал... Слава богу, еще господин и госпожа были в отъезде. Да, да, это был мне урок на всю жизнь! Иисусе Христе, ведь меня могли со двора согнать! Господи, прости вас, упрямое дитя!.. Но, слава богу, рана зажила, только вот рубец остался.

Моор. Не понимаю ни слова из всего, что ты говоришь!

Даниэль. Будто бы? То-то было времечко! Сколько раз, бывало, потихоньку подсунешь вам пряничек, или бисквит, или лепешку... А помните, что вы мне сулили в конюшне, когда я вас сажал на чалого коня старого графа и пускал кататься по большому лугу? «Даниэль,—бывало, скажете вы,— Даниэль, подожди, я вырасту большой, сделаю тебя управляющим, и ты будешь разъезжать со мной в карете». —«Да,— говорю я и смеюсь,— если пошлет нам бог дней и здоровья и вы не будете стыдиться старика, я у вас попрошу тот домик внизу в деревне, что уж давно стоит пустой, заведу там погребок ведер на двадцать вина, да и стану хозяйствовать на старости лет». Ладно, смейтесь, смейтесь! У вас небось все вылетело из головы! Старики и знать не желаете! Так говорите с ним — холодно, гордо... А все-таки вы мой золотой Карл! Правда, вы всегда были ветренник, не в обиду вам будь сказано! Ну, да вся молодежь такова... А потом, глядишь, все и образуется!

Моор (*бросается ему на шею*). Да, Даниэль, не буду больше запираться. Я твой Карл, твой заблудший Карл. Что моя Амалия?

Даниэль (*плачут*). Это мне-то, старому грешнику, такая радость! Значит, и покойный граф понапрасну проливал слезы! Ну, теперь отыдите с миром, седая голова, дряхлые кости! Мой господин и повелитель жив! Довелось-таки свидеться!

Моор. И он сдержит свое обещание! Возьми это, честный старец, за чалого. (*Сует ему в руки тяжелый кошелек.*) Я не забыл тебя, старина!

Даниэль. Что? Что вы делаете? Куда так много? Вы ошиблись.

Моор. Не ошибся, Даниэль. Встань! Скажи, что моя Амалия?

Даниэль. Господь да наградит вас! Боже ты мой! Ваша Амалия? Ох, да она не переживет этого, она умрет от счастья.

Моор (*живо*). Она не позабыла меня?

Даниэль. Позабыла? Что вы такое говорите? Забыть вас? Надо было вам видеть своими глазами, как она убивалась, когда до нас дошел слух, который распустил теперешний господин, будто вы умерли.

Моор. Что ты говоришь? Мой брат...

Даниэль. Да, ваш брат, наш господин, ваш брат... В другой раз, на досуге, я вам расскажу побольше... А как она отгоняла его, когда он каждый божий день приставал к ней с предложением стать его супругой. О, мне надо бежать, сказать ей... (*Хочет уйти.*)

Моор. Постой, постой! Она не должна знать! Никто не должен знать. Мой брат тоже.

Даниэль. Ваш брат? Ваш брат? Нет, боже упаси! Он ничего не должен знать! Не должен! Если только он уже не знает больше, чем следует. Ох, поверьте, есть на свете дурные люди, дурные братья, дурные господа... Но я и за все господское золото не стану дурным слугой... Ваш брат считал вас умершим!

Моор. Что ты там бормочешь?

Даниэль (*еще тише*). И правда, когда так непрошенно воскресают... Ваш брат был единственным наследником покойного графа...

Моор. Стариk! Что ты там бормочешь сквозь зубы, словно чудовищная тайна вертится у тебя на языке и не смеет, не может с него сорваться? Говори яснее!

Даниэль. Нет, лучше я соглашусь гладить собственные кости и пить собственную воду, чем убийством заслужить богатство и благополучие. (*Быстро уходит.*)

Моор (*выходя из ужасного оцепенения*). Обманут! Обманут! Как молнией осенило меня... Злодейские козни! Ад и небо! Не ты, отец! Злодейские козни!.. Убийца, разбойник — и все из-за... черных козней! Он очернил меня! Подделал, перехватил мои письма. Сердце исполнено любви! О, я глупейший из глупцов! Отцовское сердце полно любви... О подлость, подлость! Мне стоило только упасть к его ногам... одной моей слезы было бы достаточно. О, я слепой, слепой глупец! (*Бьется головой об стену.*) Я мог быть счастлив!.. О, коварство, коварство! Счастье моей жизни разрушено подлыми плутнями! (*В ярости мечется по сцене.*) Убийца, разбойник! Из-за его черных козней! Он даже не сердился на меня! Даже мысль о проклятии не закрадывалась в его сердце!.. О, злодей! Непостижимый, коварный, гнусный злодей.

Входит Косинский.

Косинский. Куда это ты запропастился, атаман? В чем дело? Я вижу, ты не прочь и еще задержаться здесь.

Моор. Быстрее! Седлай коней! Еще до захода солнца мы должны быть за пределами графства!

Косинский. Ты шутишь?

Моор (*повелительно*). Живо! Живо! Не медли ни минуты! Бросай все! Чтоб никто тебя не видел!

Косинский уходит.

Я бегу из этих стен. Малейшее промедление доведет меня до бешенства, а он все же сын моего отца. Брат! Брат! Ты сделал меня несчастнейшим из людей! Я никогда не обижал тебя. Ты поступил не по-братьски. Пожинай спокойно плоды своего злодейства, мое присутствие не отравит твоего счастья!.. Но это не по-братьски! Мрак да покроет твои деяния и смерть да не обличит их!

Косинский. Кони оседланы. Можете ехать, если угодно.

Моор. Как ты скор! Зачем так поспешно? Значит, никогда не увидеть ее?

Косинский. Расседлаю, если прикажете. Вы же сами велели в минуту обернуться.

Моор. Еще раз! Еще только одно «прости»! Я должен выпить до дна яд этого блаженства и тогда... Повремени, Косинский! Еще десять минут... Жди меня за стенами замка, и мы умчимся!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

В саду.

Амалия. «Ты плачешь, Амалия?» — это он сказал таким голосом, таким голосом! Казалось, вся природа помолодела. Былая весна любви вновь забрезжила передо мною! Соловей щелкал, как тогда, цветы благоухали, и я, опьяненная счастьем, склонилась к нему на грудь. О лживое, вероломное сердце! Ты хочешь приукрасить измену! Нет, нет! Прочь из души моей святотатственный образ! Я не нарушила клятвы, о мой единственный! Прочь из моей души, коварные, безбожные желания! В сердце, где царил Карл, нет места для смертного. Но почему моя душа все время против воли тянется к этому пришельцу? Он так неразрывно слился с образом моего Карла! Он стал вечным спутником того, единственного! «Ты плачешь, Амалия?» О, я скроюсь, убегу от него! Никогда глаза мои не увидят этого человека!

Разбойник Моор отворяет калитку.

(Вздрогнув.) Чу! Скрипнула калитка? (Завидя Карла, вскакивает.) Он? Куда? Зачем? Я словно приросла к земле и не могу бежать... Отец небесный, не оставляй меня! Нет, ты не вырвешь у меня моего Карла! В моей душе нет места для двух божеств! Я простая смертная девушка! (Вынимает портрет Карла.) Ты, Карл, будь моим ангелом-хранителем! Оборони меня от этого незнакомца, этого похитителя любви! На тебя, на тебя

смотреть не отрываясь! Ни одного нечестивого взгляда на того! (*Сидит, молча уставившись на портрет.*)

Моор. Вы здесь, сударыня? И так печальны? Слезы блестят на этом медальоне!

Амалия не отвечает ему.

Кто тот счастливец, из-за которого слезы серебрятся в глазах ангела? Дозвольте и мне взглянуть. (*Хочет взглянуть на медальон.*)

Амалия. Нет! Да!.. Нет!..

Моор (*отпрянув*). О! И он заслуживает такого обожания? Заслуживает? Он?

Амалия. О, если бы вы знали его.

Моор. Я завидовал бы ему.

Амалия. Преклонялись бы, хотели вы сказать.

Моор. Гм!

Амалия. О! Вы бы полюбили его... В нем было так много... В его чертах, в его взоре, в звуке его голоса было так много сходного с вами, того, что я так люблю.

Моор стоит потупившись.

Здесь, где вы стоите, тысячи раз стоял и он! А возле него та, что в его близости забывала и небо и землю. Здесь его взор блуждал по цветущей природе. И она, казалось, чувствовала его награждающий взгляд, хорошела от восхищения своего любимого. Здесь, зачарованные небесной музыкой, ему внимали пернатые слушатели. Вот с этого куста он срывал розы, срывал для меня. Здесь, здесь он обнимал меня. Его уста пылали на моих устах, и цветы радостно умирали под ногами влюбленных.

Моор. Его нет больше?

Амалия. Вихри носят его по бурным морям, но любовь Амалии сопутствует ему. Он бродит по дальним песчаным пустыням, но любовь Амалии для него превращает раскаленную почву в зеленеющий луг, заставляет цвети дикий кустарник. Полуденное солнце жжет его непокрытую голову, его ноги леденеют в северных снегах, град бурно хлещет ему в лицо, но любовь Амалии убаюкивает его и в бурях. Моря, горы, целые страны разделяют любящих, но их души, вырвавшись из пыльных темниц, соединяются в райских кущах любви. Вы, кажется, опечалены, граф?

Моор. Слова любви воскрешают и мою любовь.

Амалия (*побледнев*). Что? Вы любите другую?

Горе мне! Что я сказала?

Моор. Она считала меня мертвым и сохранила верность мнимоумершему. Она услыхала, что я жив, и пожертвовала мне венцом праведницы. Она знает, что я скитаюсь в пустынях и в горе влачу свою жизнь,— и ее любовь в скитаниях и горестях сопутствует мне. Ее зовут Амалия, как и вас, сударыня.

Амалия. Как я завидую вашей Амалии!

Моор. О, она несчастная девушка! Ее любовь принадлежит погившему человеку и никогда не вознаградится!

Амалия. Нет! Она вознаградится на небе. Ведь есть же, говорят, лучший мир, где печальные возрастаются и любящие соединятся.

Моор. Да! Мир, где спадают завесы и где любящим уготована страшная встреча... Вечностью зовется она... Моя Амалия — несчастная девушка!

Амалия. Несчастная? Но ведь вы любите ее?

Моор. Несчастная, потому что она любит меня! А что, если я убийца? Что бы вы сказали, сударыня, если б на каждый поцелуй вашего возлюбленного приходилось по убийству? Горе моей Амалии! Она несчастная девушка!

Амалия (*весело и быстро поднимаясь*). О! Зато какая же я счастливая! Мой возлюбленный — отблеск божества, а божество — это милосердие и жалость! Он и муки не обидит! Его душа далека от кровавых помыслов, как полдень от полуночи.

Моор быстро отходит в сторону и неподвижно смотрит вдаль.
Амалия берет лютню и играет.

Милый Гектор! Не спеши в сраженье,
Где Ахиллов меч без сожаленья
Тень Патрокла жертвами дарит!
Кто ж малютку твоего наставит
Чтить богов, копье и лук направит,
Если дикий Ксанф тебя умчит?

М о о р (*молча берет лютню и играет*).

Милый друг, копье и щит скорее!

Там, в кровавой сече, веселее.

(*Бросает лютню и убегает.*)

СЦЕНА ПЯТАЯ

Лес близ замка Мооров. Ночь. В середине развалины башни.

Р а з б о й н и к и расположились на земле.

Р а з б о й н и к и (*поют*).

Резать, грабить, куролесить

Нам уж не учиться стать!

Завтра могут нас повесить,

Нынче будем пировать!

Мы жизнь разгульную велем,

Жизнь, полную веселья,

Мы ночью спим в лесу густом,

Нам бури, ветер ни почем.

Что ночь — то новоселье.

Меркурий, наш веселый бог,

Нас научил всему, как мог.

Мы нынче у попов кутим,

А завтра — в путь-дорогу.

Что нам не надобно самим,

То жертвуем мы богу.

И только сочный виноград

У нас в башках забродит —

Мы поднимаем целый ад,

И нам тогда сам черт не брат

И все вверх дном заходит.

И стон зарезанных отцов,

И матерей напрасный зов,

И вой детей, и женщин крики

Для нас приятнее музыки.

О, как они страшно визжат под ножом,

Как кровь у них льется из горла
ручьем!..

А нас веселят их кривлянья и муки;

В глазах у нас красно, в крови наши
руки.

Когда ж придет мой смертный час,
Палач, кончай скорее!
Друзья! Всех петля вздернет нас:
Кутите ж веселее!
Ура! Ай люли! Смерть на людях красна!
Глоток на дорогу скорее вина!

Швейцер. Уж ночь, а нашего атамана все нет.
Рацман. А обещал ровно в восемь вернуться!

Швейцер. Если с ним случилась беда, мы всё
сожжем, ребята! Не пощадим и грудных мла-
денцев!

Шпигельберг (*отводя Рацмана в сторону*).
Два слова, Рацман.

Шварц (*Гrimmu*). Не выслать ли нам лазут-
чиков?

Гrimm. Брось! Он вернется с таким уловом, что
мы со стыда сгорим.

Швейцер. Ну, это едва ли, черт тебя подери!
Когда он уходил, было непохоже, что он собирается
выкинуть какую-нибудь штуку. Помнишь, что он го-
ворил, когда вел нас полем? «Если кто стащит здесь
хоть одну репу, не сносить тому головы, не будь я
Моором». Здесь нам нельзя разбойничать.

Рацман (*тихо Шпигельбергу*). Куда ты кло-
нишь? Говори яснее!

Шпигельберг. Шш-шш! Не знаю, что у нас
с тобой за понятия о свободе! Тянем этот воз, как волы,
хотя день и ночь разлагольствуем о привольной
жизни. Мне это не по нутру.

Швейцер (*Гrimmu*). Что еще затевает эта про-
дунвая бестия?

Рацман (*тихо Шпигельбергу*). Ты говоришь об
атамане?

Шпигельберг. Да тише ты! У него везде
уши... Атаман, сказал ты? А кто его поставил над нами
атаманом? Не присвоил ли он себе титул, по праву
принадлежащий мне? Как? Мы ставим свою жизнь
на карту, переносим все превратности судьбы за счастье
быть его крепостными, когда могли бы жить по-княже-
ски! Клянусь богом, Рацман! Мне это не по нутру!

Ш в е й ц е р (*обращаясь к другим*). В лягушек камнями бросать, на это ты герой! А стоит ему только чихнуть, как ты давай бог ноги.

Ш п и г е л ь бер г. Я уже годами мечтаю, Рацман, как бы все это изменить. Рацман, если ты тот, за кого я тебя считаю.... Рацман! Он не идет, его уже считают погибшим.... Рацман! Сдается мне, его час пробил! Как? Ты и бровью не ведешь, когда колокол возвещает тебе свободу? У тебя даже не хватает мужества понять мой смелый намек?

Р а ц м а н. Ах сатана, ты хочешь оплести мою душу?

Ш п и г е л ь бер г. Что, клонуло? Хорошо! Так следуй же за мной! Я заметил, куда он улизнул. Идем! Два пистолета редко дают осечку, а там мы первые бросимся душить сосунков! (*Хочет увлечь его за собой.*)

Ш в е й ц е р (*в ярости хватается за нож*). Аа! Скотина! Ты мне кстати напомнил про богемские леса! Не ты ли, трус, первый защелкал зубами, когда крикнули: «Враг повсюду!» О, я тогда же поклялся!.. Умри, подлый убийца! (*Закалывает его.*)

Р а з б о й н и к и (*в смятении*). Убийство! Убийство! Швейцер! Шпигельберг! Разве имите их!

Ш в е й ц е р (*еще раз ударяет его ножом*). Вот тебе!.. Подыхай! Спокойствие, друзья! Нечего шуметь по пустякам! Он, изверг, вечно злобствовал на атамана, а на собственной шкуре — ни единого рубца. Да уgomонитесь же, говорю вам! Гнусный живодер! Исподтишка вздумал напасть на такого человека! Исподтишка! Хорош! Разве мы затем проливали пот, чтобы подохнуть, как собаки, сволочь ты эдакая? Для того прошли огонь и воду, чтобы околовать, как крысы?

Г р и м м. Но, черт возьми, дружище! Что у вас там вышло? Атаман придет в бешенство.

Ш в е й ц е р. Это уж моя забота. (*Рацману.*) А ты, безбожная твоя душа, ты был с ним заодно! Убирайся с глаз моих! Шуфтерле недалеко от тебя ушел и висит теперь в Швейцарии, как ему предрекал атаман.

Выстрел.

Шварц (*вскакивая*). Слушай! Выстрел.

Снова выстрел.

Еще один! Ура! Атаман!

Гrimm. Погоди! Он должен выстрелить три раза!

Еще один выстрел.

Шварц. Это он, он, он! Стреляй, Швейцер! Надо ему ответить. (*Стреляет.*)

Moor и Kosinsky входят.

Швейцер (*идет им навстречу*). Добро пожаловать, атаман!.. Я без тебя немного погорячился. (*Подводит его к трупу Шпигельберга.*) Будь ты судьей между мною и этим. Он хотел из-за угла убить тебя.

Razboyniki (*изумленно*). Как? Атамана?

Moor (*погруженный в созерцание, потом горячо*). Непостижимо! Перст карающей Немезиды! Не он ли первый пропел мне в уши песнь сирены? Посвяти свой нож мрачной мстительнице! Не ты это сделал, Швейцер!

Швейцер. Клянусь богом, это сделал я. И это не худшее из того, что я сделал в жизни. (*Раздасадованный уходит.*)

Moor (*в раздумье*). Понимаю, небесный кормчий!.. Понимаю... Листья падают с дерев... Пришла и моя осень. Уберите его!

Труп Шпигельберга уносят.

Grimm. Приказывай, атаман! Что делать дальше?

Moor. Скоро, скоро свершится все. Подайте мне лютню! Я потерял самого себя, побывав там! Лютню, говорю я! Пением я восстановлю свои силы... Оставьте меня!

Razboyniki. Уж полночь, атаман.

Moor. Все это лишь театральные слезы. Нужна римская песнь, чтобы мой уснувший дух встрепенулся. Дайте же лютню! Полночь, говорите вы?

Шварц. Дело к утру, сон свинцом ложится на наши веки. Тroe суток мы не смыкали глаз.

Moor. Как? Целительный сон смежает и глаза мошенников? Зачем же он бежит меня? Я никогда не

был ни трусом, ни подлецом. Ложитесь спать! Завтра
чуть свет мы двинемся дальше.

Р а з б о й н и к и . Доброй ночи, атаман! (*Ложатся на землю и засыпают.*)

Глубокая тишина.

Моор (*берет лютню и играет*).

Б р у т

Привет мой вам, вы, мирные долины!
Последнего примите из римлян.
С Филиппы, где сражались исполины,
Душа взвилась к вам из отверстых ран.
Мой Кассий, где ты? Рим наш издается!
Мои полки заснули — спят во мгле.
Твой Брут к теням покойников взывает:
Для Брута нет уж места на земле!

Ц е з а р ь

Чья это тень с печатью отверженья
Задумчиво блуждает по горам?
О! Если мне не изменяет зренье,
Походка римлянина видится мне там.
Давно ль простился Тибра сын с землею?
Стоит иль пал наш семихолмный Рим?
Как часто плакал я над сиротою,
Что больше нету Цезаря над ним!

Б р у т

А! Грозный призрак, ранами покрытый!
Кто потревожил тень твою, мертвец?
Ступай к брегам печального Коцита!
Кто прав из нас — покажет то конец.
На алтаре Филиппы угасает
Святой свободы жертвенная кровь.
Да, Рим над трупом Брута издается,
И Брут его не оживит уж вновь!

Ц е з а р ь

И умереть от твоего кинжала!..
И ты — и ты поднять мог руку, Брут?

О сын, то был отец твой! Сын, подпала
Земля бы вся под царский твой трибут!
Ступай! И пусть услышат мертвых лики,
Что Брут мой стал великим из великих,
Когда меня кинжалом поражал.
Ступай! И знай, что мне в реке забвенья
От лютой скорби нету исцеленья.
Харон, скорей от этих диких скал!

Б р у т

Постой, отец! Среди земных творений
Я одного лишь только в мире знал,
Кто с Цезарем бы выдержал сравненье:
Его своим ты сыном называл.
Лишь Цезарь Рим был в силах уничтожить,
Один лишь Брут мог Цезаря столкнуть:
Где Брут живет, там Цезарь жить не может.
Иди, отец! И здесь наш ровен путь.

(*Опускает лютню на землю и задумчиво ходит взад и вперед.*) Кто просветит меня?.. Все так сумрачно! Запутанные лабиринты... Нет выхода, нет путеводной звезды. Если б все кончилось вместе с этим последним вздохом! Кончилось, как пошлая игра марионеток... Но к чему эта страстная жажда райского счастья? К чему этот идеал недостижимого совершенства? Откладыванье недовершенных замыслов? Ведь ничтожный нажим на эту ничтожную пружинку (*подносит ко лбу пистолет*) равняет мудреца с дураком, труса с отважным, честного с мошенником! Божественная гармония царит в бездушной природе,— так откуда же этот разлад в разумном существе? Нет! Нет! Тут что-то большее, ведь я еще не был счастлив!

Души, загубленные мною, вы думаете, я содрогнулся? Нет, я не содрогнусь! (*Дрожит, как в лихорадке.*) Ваш дикий предсмертный визг, посинелые лица удавленников, ваши страшные зияющие раны — только звенья единой неразрывной цепи рока. Цепь эту выковали мои досуги, причуды моих мамок и воспитателей, темперамент моего отца, кровь моей матери! (*Содрогаясь от ужаса.*) О, зачем новый Перилл не сделал из меня

быка, в пылающем чреве которого сгорает человечество? (*Приставляет пистолет к виску.*)

Время и вечность, слитые в одном мгновении! Страшный ключ! Он запрет за мною темницу жизни и отомкнет обиталище вечной ночи! Скажи, о, скажи: куда, куда ты влечешь меня? В чужую страну, которую не огибал еще ни один корабль? Смотри! При виде ее изнемогает человечество, ослабевают земные силы и фантазия, эта дерзкая обезьяна чувств, морочит странными ужимками наше легковерие. Нет, нет! Мужчина не должен спотыкаться! Чем бы ты ни было, безыменное «там», лишь бы мое «я» не покинуло меня; будь чем угодно, лишь бы оно перешло со мною в тот мир... Все внешнее — только тонкий слой краски на человеке... Я сам свое небо, сам свой ад. А вдруг ты мне там предложишь лишь испепеленный клочок мироздания, от которого ты давно отвратил свои взоры, и одинокая ночь да вечная пустыня будут всем, что ждет меня за чертою жизни? Я населю тогда немую пустыню своими фантазиями, а вечность даст мне желанный досуг распутать запутанный клубок людских страданий. Или ты хочешь чрез лабиринт вечно новых рождений, чрез вечно новые арены бедствий, ступень за ступенью, привести меня к гибели? Но разве я не смогу разорвать нить существования, сплетенную для меня в потустороннем мире, так же легко, как эту, земную? Ты можешь превратить меня в ничто,— этой свободы тебе у меня не отнять! (*Заряжает пистолет. Внезапно останавливается.*) Так, значит, умереть от страха перед мучительной жизнью? Дать себя победить несчастьям? Нет! Я все стерплю. (*Швыряет пистолет в сторону.*) Муки отступят перед моей гордыней! Пройду весь путь.

Сцена постепенно темнеет.

Герман (*пробирается лесом*). Чу, как страшно ухает сова! В деревне пробило полночь. Да, да! Злодейство сплит! В этой глухи нет соглядатаев! (*Подходит к башне и стучится.*) Поднимись сюда, злосчастный узник! Вот твой ужин.

Моор (*тихо отступая*). Что это значит?

Голос (*из башни*). Кто там стучит? А? Это ты, Герман, мой ворон?

Герман. Да, я, Герман, твой ворон. Подойди к решетке и ешь.

Ухает сова.

Страшно поют твои ночные товарищи, старики. Что? Вкусно?

Голос. Я очень проголодался. Благодарю тебя, господи, посылающий мне врана в пустыне! А как живает мой сынок, Герман?

Герман. Тише! Слушай! Какой-то шум, похожий на храп. Слышишь?

Голос. Как? И ты слышишь что-то?

Герман. Это ветер стонет в расселинах башни — ночная музыка, от которой зубы стучат и синеют ногти. Нет, послушай! Мне все чудится храп. Ты здесь не один, старики. Ой, ой, ой!

Голос. Ты видишь что-нибудь?

Герман. Прощай, прощай! Страшные это места. Полезай обратно в яму. Твой мститель там, в небесах. Проклятый сын! (*Хочет бежать.*)

Моор (*объятый ужасом, приближается к нему*). Стой!

Герман (*кричит*). Горе мне!

Моор. Стой, говорят тебе!

Герман. Горе, горе, горе! Все раскрыто!

Моор. Стой! Говори! Кто ты? Что ты делаешь здесь? Отвечай!

Герман. Сжальтесь, сжальтесь, мой грозный повелитель! Выслушайте хоть одно слово, прежде чем прикончить меня!

Моор (*вытаскивает шпагу*). Что я услышу?

Герман. Вы под страхом смерти запретили мне... Я не мог иначе, не смел... Есть господь на небесах! Ваш родной отец — там... Я пожалел его — убейте меня!

Моор. Здесь какая-то тайна. Говори! Не медли! Я должен все узнать.

Голос. Горе! Горе! Это ты, Герман, там разговариваешь? С кем ты разговариваешь, Герман?

Моор. Еще кто-то там, внизу... Что здесь происходит? (*Бежит к башне.*) Здесь узник, отверженный людьми? Я разобью его цепи! Подай голос еще раз! Где дверь?

Герман. Помилосердствуйте, сударь! Не ходите дальше. Из состраданья покиньте это место! (*Заступает ему дорогу.*)

Моор. Четыре замка! Прочь с дороги! Я должен узнать... Теперь впервые зову тебя на помощь, воровское искусство. (*Вынимает отмычки и отворяет решетчатую дверь.*)

Из глубины появляется старик, иссохший, как скелет.

Старик Моор. Сжальтесь над несчастным! Сжальтесь!

Моор (*в ужасе отпрянув*). Голос моего отца.

Старик Моор. Благодарю тебя, господи! Настал час избавления.

Моор. Дух старого Моора! Что потревожило тебя в могиле? Или ты сошел в новый мир с грехом на душе, который преграждает тебе путь к вратам рая? Я стану служить обедни, чтобы вернуть блуждающий дух в место вечного упокоения. Или ты зарыл в землю золото вдов и сирот и в этот полночный час с воем бродишь вокруг него? Я вырву подземные сокровища из когтей дракона, даже если он изрыгнет на меня адское пламя и воьется зубами в мою шпагу. Или ты явился на мой призыв — разгадать мне загадку вечности? Говори! Говори! Я не из тех, что бледнеют от страха.

Старик Моор. Я не призрак. Дотронься до меня! Я живу... Но какой ужасной, жалкой жизнью!

Моор. Что? Так ты не был похоронен?

Старик Моор. Был. Но в склепе моих предков лежит дохлая собака, а я три месяца как томлюсь в этом мрачном подземелье. Сюда не проник ни один солнечный луч. Ни разу не повеял теплый ветерок. И ни один друг не посетил меня здесь, где только дико каркают вороны да ухают совы.

Моор. Боже праведный! Кто смел это сделать?

Старик Моор. Не проклинай его! Это сделал мой сын — Франц.

Моор. Франц? Франц? О вечный хаос!

Старик Моор. Если ты человек, мой неведомый избавитель, если у тебя человеческое сердце, так выслушай, какие муки уготовили отцу его сыновья. Уже три месяца кричу я об этом каменным стенам, но лишь глухое эхо вторит моим стенаниям. А потому, если ты человек, если в тебе бьется человеческое сердце...

Моор. На этот призыв и дикие звери вышли бы из своих логовищ.

Старик Моор. Я лежал на одре болезни и едва стал оживать после тяжкого недуга, как ко мне привели человека, объявившего, что мой первенец погиб на поле битвы. Он передал мне меч, обагренный его кровью, и его последнее *прости*; сказал, что мое проклятие довело его до отчаяния и погнало в бой, навстречу смерти.

Моор (*резко отворачиваясь от него*). Все раскрылось!

Старик Моор. Слушай дальше! При этой вести я потерял сознание. Меня, верно, сочли мертвым. Когда я очнулся, я лежал в гробу, одетый в саван, как мертвец. Я стал скрести крышку гроба. Ее подняли. Кругом была темная ночь... Мой сын Франц стоял передо мною. «Как,— ужасным голосом вскричал он,— ужели ты будешь жить вечно?» И крышка тотчас же захлопнулась. От этих страшных слов я лишился сознания. Очнувшись снова, я почувствовал, что мой гроб ставят на телегу. Меня везли с полчаса. Наконец, гроб открыли. Я стоял у входа в это подземелье. Мой сын передо мной и человек, передавший мне окровавленный меч Карла. Я обнимал колени сына, молил, заклинал и снова молил. Мольбы отца не тронули его сердца. «В яму это чучело!— загремел он.— Пожил и хватит». И меня безжалостно столкнули вниз, а мой сын Франц запер дверь темницы.

Моор. Этого не может быть, не может быть! Вы ошиблись.

Старик Моор. Быть может, я ошибся. Слушай дальше, но сдержи свой гнев. Так пролежал я целые сутки; и ни один человек не вспомнил обо мне в моем несчастье. Нога человеческая уже давно не сту-

пала по этим пустынным местам, ибо, по народному поверию, в полночный час тени моих предков бродят в этих развалинах, волоча за собой гремящие цепи и хрипло распевая похоронные песни. Наконец, я снова услышал скрип двери; этот человек принес мне хлеба и воды и поведал, что я осужден на голодную смерть и ему может стоить жизни, если откроется, что он носит мне пищу. Эти крохи поддерживали меня довольно долгое время, но непрестанный холод, вонь от моих нечистот, безмерное горе!.. Силы мои подорвались, тело исчахло. Тысячи раз со слезами молил я господа ниспослать мне смерть, но, видно, мера моего наказания не преисполнилась. Или, быть может, еще ждет меня нечаянная радость, раз я чудом уцелел доселе? Но я по заслугам терплю эти мучения. Мой Карл! Мой Карл! И ведь он еще не дожил до седин...

Моэр. Довольно! Поднимайтесь! Эй вы, чурбаны, тюфяки, ленивые, бесчувственные сонливцы! Вставайте! Ни один не проснулся? (*Стреляет в воздух из пистолета.*)

Разбойники (*всполошившись*). Гей, гей! Что там случилось?

Моэр. Так этот рассказ не стряхнул с вас дремоты? Он мог бы пробудить человека и от вечного сна! Смотрите сюда! Смотрите! Законы вселенной превращены в игральные кости! Связь природы распалась, древняя распра вырвалась на волю! Сын убил своего отца.

Разбойники. О чём ты, атаман?

Моэр. Нет, не убил! Это слишком мягко! Сын тысячуекратно колесовал отца, жег его на медленном огне, пытал, мучил. Нет, и эти слова слишком человечны! Грех покраснеет от его деяний, каннибалы содрогнутся! Мозг дьявола не измыслит подобного! Сын — своего родного отца! О, смотрите, смотрите, люди! Он лишился чувств. В это подземелье сын заточил отца! Страх, сырье стены, муки голода, жажда! О, смотрите, смотрите! Это мой отец! Я больше не таюсь от вас.

Разбойники (*вскакивают и окружают старика*). Твой отец? Твой отец?

Ш в е й ц е р (*благоговейно приближается к нему*).
Отец моего атамана, земно кланяюсь тебе! Мой кинжал
ждет твоих приказаний.

М о о р. Мстить, мстить, мстить за тебя, жестоко
оскорбленный, поруганный старец! Я навеки разры-
ваю братские узы! (*Разрывает сверху донизу свою
одежду.*) Каждую каплю братской крови проклинаю
перед лицом небес! Внемлите мне, месяц и звезды!
Внемли, полночное небо, взиравшее на это позорное
злодеяние! Внемли мне, трижды грозный бог, царящий
в надзвездном мире, казнящий и осуждающий! Ты,
что пронзаешь пламенем сумрак ночи! Здесь преклоняю
я колена. Здесь простираю десницу в страшный мрак,
здесь клянусь я — и да изрыгнет меня природа из сво-
его царства, как последнюю тварь, если я нарушу эту
клятву! — клянусь не встретить дневного света, прежде
чем кровь отцеубийцы, пролитая у этого камня, не воз-
дымится к солнцу!

Р а з б о й н и к и. Это сатанинское дело! А гово-
рят, мы негодяи! Нет, черт возьми, такого нам не вы-
думать!

М о о р. Да, клянусь страшным хрипом тех, кто
погиб от наших кинжалов, тех, кого пожрал зажжен-
ный мною огонь, раздавила взорванная мною башня!
Даже мысль об убийстве или грабеже не должна за-
родиться в вашем мозгу, покуда ваши одежды не ста-
нут багряными от крови этого злодея! Вам, верно, и
не снилось, что вы станете карающей десницей все-
вышнего? Запутанный узел рока развязан! Нынче,
нынче незримая сила облагородила наше ремесло!
Молитесь тому, кто судил вам высокий жребий, кто
привел вас в этот лес, кто призвал вас быть страшными
ангелами его грозного суда! Обнажите головы! Падите
ниц, во прах, и встаньте очистившимися от скверны!

Они преклоняют колена.

Ш в е й ц е р. Приказывай, атаман! Что делать?

М о о р. Встань, Швейцер! Коснись этих священных
седин! (*Подводит его к своему отцу и дает ему отро-
нуться до волос старика.*) Помнишь, как ты раскроил
череп богемскому драгуну, когда он занес надо мною

саблю, а я, едва дыша, измученный жарким боем, упал на колени? Я обещал тогда отблагодарить тебя по-царски, но и посейчас не мог уплатить этот долг.

Швейцер. Да, ты поклялся! Это правда, но дозволь мне считать тебя моим вечным должником!

Моор. Нет, теперь я расплачусь с тобой! Швейцер, ни один смертный еще не сподобился такой чести! Отомсти за моего отца!

Швейцер (*встает*). Великий атаман! Сейчас впервые я почувствовал гордость. Повелевай: где, когда, как мне убить его?

Моор. Каждая минута на счету, ты должен торопиться; выбери достойнейших из шайки и веди их прямо к графскому замку! Вытащи его из постели, если он спит или предается сладострастию, выволоки его из-за стола, если он пьян, оторви от распятия, если он на коленях молится перед ним! Но, говорю тебе, приказываю: доставь мне его живым! Я разорву в клочья и отдам на съеденье коршунам тело того, кто нанесет ему хоть царапину, кто даст хоть волосу упасть с его головы! Живьем нужен он мне! И если ты доставишь его целым и невредимым, то получишь в награду миллион. С опасностью для жизни я выкраду его у любого из королей, ты же будешь свободен, как ветер в поле. Понял? Торопись!

Швейцер. Довольно, атаман! Вот моя рука. Ты либо увидишь нас обоих, либо ни одного. Кающие ангелы Швейцера, за мной! (*Уходит с отрядом.*)

Моор. Остальным рассыпаться по лесу. Я остаюсь.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Анфилада комнат. Темная ночь.

Даниэль (*входит с фонарем и вещами, завязанными в узелок*). Прощай, мой милый, родимый дом! Много насмотрелся я здесь доброго и хорошего, когда был жив покойный граф. Много пролил я слез по нему, давно истлевшему в сырой могиле! Но такого потре-

бовать от старого слуги! Сей дом был приютом сирых, пристанищем скорбящих, а этот сын превратил его в разбойничий вертеп! Прощай и ты, милый пол графских покоев! Как часто подметал тебя старый Даниэль. Прощай, милая печка! Старику не легко расстаться с тобой. Со всем этим я так свыкся! Трудно тебе, старый Елеазар! Но господь в своем милосердии избавит меня от лукавого, не введет во искушение. Сир пришел я сюда, сир и уйду. Зато душа моя спасется. (*Хочет уйти.*)

В комнату врывается Франц, одетый в шафрок.

Господи, спаси и помилуй! Мой господин. (*Задувает фонарь.*)

Франц. Измена! Измена! Духи поднимаются из могил! Царство мертвых восстало от вечного сна и вопиет: «Убийца! Убийца!» Кто там копошится?

Даниэль. Пресвятая матерь божия, заступись за меня. Это вы, сударь, так страшно кричите на весь замок, что спящие вскакивают с постелей?

Франц. Спящие? А кто велит вам спать? Поди зажги свет!

Даниэль уходит, входит другой слуга.

Никто не должен спать в этот час! Слышите? Пусть все будут на ногах, при оружии. Зарядить карабины! Видел ты, как они неслись по сводчатой галерее?

Слуга. Кто, ваша милость?

Франц. Кто, болван? Кто? Так хладнокровно, так равнодушно ты спрашиваешь: кто? Меня это потрясло до дурноты! Кто? Осел! Кто? Духи и черти! Который час?

Слуга. Сторож прокричал два!

Франц. Что? Эта ночь хочет продлиться до страшного суда! Ты не слыхал шума вблизи, победных криков, топота скачущих коней? Где Карл... граф, хочу я сказать?

Слуга. Не знаю, ваша милость.

Франц. Ты не знаешь? Ты тоже в этой шайке? Я вырву у тебя сердце из груди за твое проклятое «не знаю»! Живо приведи пастора!

Слуга. Ваша милость!

Франц. Ты что-то бормочешь? Ты медлишь?

Слуга поспешно уходит.

Как? Эти низшие тоже в заговоре против меня? Небо, ад, все в заговоре?

Даниэль (*входит со свечой*). Ваша милость...

Франц. Нет, я не дрожу! Это был всего-навсего сон. Мертвые еще не восстали. Кто сказал, что я дрожу и бледнею? Мне так легко, так хорошо...

Даниэль. Вы бледны как смерть. Ваш голос дрожит от испуга.

Франц. У меня лихорадка! Скажи пастору, когда он придет, что у меня лихорадка. Завтра я велю пустить себе кровь. Скажи это пастору.

Даниэль. Не прикажете ли накапать немного бальзаму на сахар?

Франц. Хорошо. Накапай бальзаму! Пастор придет не так скоро. Мой голос дрожит, словно от страха. Дай мне бальзаму на сахаре!

Даниэль. Позвольте мне ключи, я схожу вниз, возьму из шкафа...

Франц. Нет! Нет! Останься! Или мне пойти с тобой? Ты видишь, я не могу быть один! Ты же видишь, я могу лишиться чувств, если останусь один... Погоди! Погоди! Сейчас пройдет. Останься.

Даниэль. О, да вы серьезно больны!

Франц. Ну да, да! В том-то и дело... А болезнь расстраивает мозг, насыщает безумные, нелепые сны. Сны ничего не значат. Правда, Даниэль? Сны — это от желудка; они ничего не значат. Я видел сейчас забавный сон. (*Падает без чувств.*)

Даниэль. Господи Иисусе! Что ж это такое? Георг! Конрад! Бестиан! Мартин! Да откликнитесь же! (*Трясет его.*) Пресвятая дева Мария! Магдалина! Иосиф! Очнитесь! Еще скажут, что я его убил. Боже, смируйся надо мною!

Франц (*в смятении*). Прочь! Прочь! Что ты так трясешь меня, мерзкий скелет? Мертвые еще не восстали.

Даниэль. Боже милостивый! Он потерял рас-
судок!

Франц (*с трудом приподнимаясь*). Где я? Ты, Даниэль? Что я тут говорил? Не обращай внимания! Я все вру... Что бы ни сказал, подойди! Помоги мне!.. Это просто головокружение! Оттого... оттого, что я не выспался...

Даниэль. Хоть бы Иоганн пришел! Я сейчас кликну на помощь, позову врачей.

Франц. Стой! Сядь рядом со мной на софу. Так! Ты же смысленный, хороший человек. Я все расскажу тебе.

Даниэль. Не теперь, в другой раз! Я отведу вас в постель, покой вам нужнее.

Франц. Нет, прошу тебя, я все расскажу. А ты хорошенько высмей меня! Слушай же, мне привиделось, будто я задал царский пир, и на сердце у меня было легко, и я, опьяненный, лежал на траве в нашем саду, как вдруг — это было в полуденный час — вдруг... но смейся, смейся же надо мной!

Даниэль. Что вдруг?

Франц. Вдруг неистовый удар грома поразил мой дремлющий слух... Трепеща от страха, я поднялся на ноги, и вот... мне почудилось, что весь горизонт пылает огнем! Горы, леса и города расплываются, как воск в печи! И ураган, воя, сметает прочь моря, небо и землю... Тут, точно из медной трубы, загремело: «Земля, отдай своих мертвцевов, отдай мертвцевов своих, море!» И голая степь стала трескаться и выбрасывать черепа и ребра, челюсти и кости. Они срастались в человеческие тела и неслись необозримым потоком — живой ураган! Тогда я поднял взор, и вот — я уже стою у подножья громоносного Синая, и подо мной и надо мной кишат толпы, а там, на вершине горы, на трех дымящихся престолах, три старца, взгляда которых бежит все живое.

Даниэль. Да ведь это совсем как на страшном суде!

Франц. Не правда ли, какой дикий вздор? Тут один из них, лицом как звездная ночь, выступил вперед, в руке у него было железное кольцо с печатью;

он поднял его между востоком и западом и рек: «Вечно, свято, справедливо, непреложно! Есть только одна истина, только одна добродетель! Горе, горе усомнившемуся червю!» И выступил второй, у него в руке было блестящее зерцало; он поднял его между востоком и западом и рек: «Это зерцало — истина. Лицемерие и притворство не устоят перед ним». Тут я и весь народ затрепетали, ибо увидели морды тигров, леопардов и змей, отраженными в этом ужасном зерцале. Но вот выступил третий, у него в руке были железные весы; он поднял их между востоком и западом и рек: «Приблизьтесь, дети Адама! Я взвешиваю ваши помыслы на чаше гнева моего, дела ваши — гилями злобы моей».

Д а н и э ль. Господи помилуй!

Ф р а н ц. Белее снега стояли все вокруг, и в ожидании сердце робко билось в каждой груди. И вдруг мне послышалось, словно имя мое было первым произнесено горными вихрями; и мозг закоченел в моих костях, и мои зубы громко застучали. Часто, часто зазвенели весы, загрохотала скала, и часы потекли один за другим вокруг левой чаши весов, и каждый час, один за другим, бросал в эту чашу смертный грех.

Д а н и э ль. Да будет над вами милость господня!

Ф р а н ц. Ее не было! Чаша выросла с гору, хотя другая, полная крови искупления, еще удерживала ее высоко в воздухе... Но вот появился старик, в три погибели согбенный горестями; он грыз свою руку от лютого голода. При виде его все глаза робко потупились. Я узнал старика. Он отрезал прядь своих седых волос, бросил ее на чашу грехов. И она опустилась... вдруг опустилась до самого ада, а чаша искупления взвилась высоко в поднебесье. И я услышал голос, ве-щавший из дыма, заставшего скалу: «Прощение, прощение всем грешникам земли и преисподней! Ты один отвержен!»

Долгая пауза.

Ну? Почему же ты не смеешься?

Д а н и э ль. До смеха ли, когда мороз подирает по коже? Сны ниспосыпаются небом.

Ф р а н ц. Чур, чур! Не говори так! Назови меня

глупцом, суеверным, вздорным глупцом! Сделай это, добрый Даниэль! Прошу тебя, как следует поиздевайся надо мной!

Даниэль. Сны ниспосыпаются небом. Я помолюсь за вас!

Франц. Ты лжешь, говорю я! Иди сейчас же, беги, лети, узнай, куда запропастился пастор, вели ему торопиться! Но повторяю: ты лжешь!

Даниэль. Господь да смилиостивится над вами!

Франц. Мудрость черни! Трусость черни! Еще не доказано, что прошедшее не прошло, что в надзвездном мире есть всевидящее око. Гм! Гм! Кто внушил мне это? Мститель там, в небесах? Нет! Нет! Да! Да! Страшный шепот вокруг: «Есть судья на небесах!» И ты предстанешь надзвездному судии еще этой ночью! Нет, говорю вам! Жалкая нора, в которой хочет укрыться твоя трусость!.. Пустынно, безжизненно, глухо там, над звездами! Ну, а если там, за ними, все же есть нечто большее? Нет, нет, там пустота! Я приказываю!.. Там ничего нет!.. А если? А если?.. Горе, если все тебе зачтется! Зачтется еще этой ночью! Отчего ужас пробегает по моим жилам? Умереть!.. Отчего это слово так леденит меня? Дать отчет надзвездному мстителю... А что, если он судит праведно? Все сироты, вдовы, все угнетенные, замученные мною возопиют к нему! Но если он судит праведно, почему они страдали? Почему я торжествовал над ними?

Пастор Мозер входит.

Мозер. Вы посылали за мной, сударь? Я удивлен. Первый раз в жизни! Угодно вам насмехаться над религией? Или вы начинаете трепетать перед нею?

Франц. Насмехаться или трепетать — смотря по твоим ответам. Слушай, Мозер, я докажу тебе, что ты либо сам дурак, либо дурачишь других. А ты будешь отвечать. Слышишь? Если тебе дорога жизнь, ты будешь мне отвечать.

Мозер. Вы хотите судить всевышнего, и всевышний вам однажды ответит...

Франц. Сейчас я хочу узнать! Сейчас, сию же минуту! Чтоб не натворить постыдных безумств и в

етрахе не возвратить к идолу черни! За бутылкой бургундского я часто спьяна говорил тебе: «Бога нет». Теперь я говорю серьезно. Я заявляю: его нет! Ты можешь опровергать меня любыми доводами, имеющимися в твоем распоряжении. Они сгинут, стоит мне на них только дунуть.

Мозер. О, если б ты с такою легкостью мог отвести гром, что с непомерной силой грянет над твоей надменной душой! Всемогущему богу, которого ты, глупец и злодей, изгоняешь из его же творения, нет нужды оправдывать себя устами праха. Он так же велик в твоих жестокостях, как и в улыбке всепобеждающей добродетели.

Франц. Хорошо, поп! Отменно! Молодчина!

Мозер. Я служитель высшего владыки и говорю с червем, подобным мне, угодить которому не намерен! Я, конечно, счел бы себя чудотворцем, если бы мне удалось исторгнуть раскаяние у тебя, закоренелого злодея. Но если твоя уверенность так непреклонна, то зачем ты послал за мной? Скажи, зачем призвал меня среди ночи?

Франц. Потому что мне скучно. Даже шахматы сегодня не веселят меня. Вот мне и вздумалось шутки ради полаяться с попом. Этим вздором меня не застращаешь! Я знаю отлично: на вечность уповают лишь тот, кому не повезло здесь, на земле. Но он жестоко заблуждается. Мне довелось читать, что вся наша сущность сводится к кровообращению. С последней каплей крови исчезают и дух и мысль. Дух разделяет все слабости тела, так разве он может пережить его, не испариться при его распаде? Если к тебе в мозг проникнет хоть капля воды, твоя жизнь на мгновенье прервется, она будет граничить с небытием, а затем наступит и смерть. Чувства — не более как колебания струн, а разбитый клавесин звучать не может. Если я сравню с землей семь моих замков, если разобью вон ту Венеру, это будет значить, что нет больше ни симметрии, ни красоты. То же и с вашей бессмертной душой!

Мозер. Такова философия вашего отчаяния. Но при этих словах ваше собственное сердце пугливо бьется в груди, изобличая вашу гнусную ложь. Все

хитросплетения подобной философской системы разрывает одна-единственная мысль: «Ты должен умереть!» Что ж, я вызываю вас,— и да послужит вам это испытанием! — если и в смертный час вы не поколеблетесь, если ваши убеждения не предадут вас и тогда — победа за вами. Но если в этот час хоть малый страх посетит вас, тогда — горе вам. Вы обманулись!

Франц (*смузенно*). Если в час смерти меня охватит страх?

Мозер. Немало довелось мне видеть таких несчастных, которые всю жизнь с чудовищной настойчивостью противоборствовали истине, но в час смерти их заблуждения сами собой исчезали. Я буду стоять у вашего смертного одра. Мне даже хочется видеть, как тиран расстается с жизнью... Я не сведу глаз с вашего лица; и когда врач возьмет вашу холодную влажную руку, с трудом различая слабый, чуть слышный пульс, взглянет на вас и, холодно пожав плечами, заявит: «Человек тут бессилен», — о, тогда берегитесь! Берегитесь походить на Ричарда или Нерона.

Франц. Нет! Нет!

Мозер. И ваше «нет» прозвучит тогда, как приглушенное «да». Внутренний судья, которого не подкупишь скептическими доводами, пробудится и начнет свой суд над вами. И это будет как пробуждение за живо погребенного во чреве могилы, это будет как возмущение самоубийцы, уже нанесшего себе смертельный удар и раскаивающегося! Это будет как молния, внезапно прорезавшая полночь вашей жизни, как озарение! И если вы и тогда не поколеблетесь — победа за вами.

Франц (*в беспокойстве ходит из угла в угол*). Поповские бредни! Поповские бредни!

Мозер. Тогда мечи вечности впервые рассекут мрак вашей души, впервые, — но слишком поздно! Мысль о боже пробуждает страшного соседа, и его имя — судия! Подумайте, Моор, жизнь тысяч людей подчинена одному мановению вашей руки, из каждой тысячи девятьсот девяносто девять вы сделали несчастными. Вам недостает только Римской империи, чтобы стать Нероном, или Перу, чтобы стяжать себе славу

Пизарро. Неужто, вы думаете, господь дозволит, чтобы один человек неистово хозяйничал в его мире и все переворачивал вверх дном? Неужто вы думаете, что эти девятьсот девяносто девять рождены для гибели, для того чтобы быть куклами в вашей катаринской игре? Не думайте так! Он взыщет с вас за каждое мгновение, которое вы украдли у них, за каждую радость, которую вы им отравили, за каждый шаг к совершенству, который вы преградили им. И если вы и тут найдете ответ, то, Моор,— победа за вами.

Франц. Довольно! Ни слова больше! Уж не хочешь ли ты, чтоб я подчинился твоим желчным размышлениям?

Мозер. Помни, что людские судьбы пребывают меж собой в прекрасном и страшном равновесии. Чаша весов, опустившись в этой жизни, возвысится в той; возвысившись в этой, в той опустится до земли. И то, что было здесь преходящим страданием, там станет вечным торжеством, а то, что здесь было преходящим торжеством, там станет вечным, безграничным отчаянием.

Франц (*яростно наступает на него*). Пусть гром поразит тебя немотою, низкий лжец! Я вырву у тебя из глотки твой проклятый язык.

Мозер. А! Так вы уже ощутили бремя истины? А я ведь еще не привел доказательств. Что ж, приступим к ним!

Франц. Молчи, проваливай к черту со своими доказательствами! Душа наша сгниет вместе с телом, говорю тебе! И ты не смеешь мне возражать.

Мозер. Вот почему визжат духи ада и качает головой вездесущий. Ужели вы думаете в пустынном царстве вечного «ничто» ускользнуть от карающей десницы мстителя? Взнесетесь ли вы на небо — он там! Спуститесь ли в преисподнюю — он опять там! Вы крикнете ночи: «Обволоки меня!», крикнете тьме: «Укрой меня!» И тьма возблещет вокруг вас, и полночь озарит светом отверженного. Нет! Ваш бессмертный дух противится этим словам, побеждает ослепшую мысль!

Франц. Но я не хочу быть бессмертным... Кто

хочет, пусть будет им, мое дело сторона. Я заставлю его меня уничтожить! Я доведу его до ярости, чтобы он в ярости уничтожил меня. Назови мне тягчайший грех, который всех больше прогневит его.

Мозер. Мне ведомы только два таких греха. Но не люди их совершают, и не люди судят за них.

Франц. Два греха?

Мозер (*сухово*). Отцеубийством зовется один, братоубийством другой! Почему вы вдруг так побледнели?

Франц. Как, старик? Ты в заговоре с адом или с небом? Кто тебе это сказал?

Мозер. Горе тому, у кого на душе они оба! Лучше бы ему не родиться! Но успокойтесь! У вас нет больше ни отца, ни брата.

Франц. Как? И страшнее ты грехов не знаешь? Подумай еще: смерть, небо, вечность, проклятие витают на твоих устах. Не знаешь страшнее?

Мозер. Не знаю.

Франц (*падает на стул*). Конец! Конец!

Мозер. Радуйтесь же, радитесь! Почитайте себя счастливым! При всех ваших злодеяниях вы праведник по сравнению с отцеубийцей. Проклятие, готовое поразить вас,— песнь любви рядом с проклятием, тяготеющим над его головой... Возмездие...

Франц (*вскакивая*). Тысячу смертей на тебя, ворон! Кто звал тебя сюда? Пошел вон, или я проколю тебя шпагой!

Мозер. Как? Поповские бредни довели до бешенства такого философа? Ведь они сгинут, стоит вам только дунуть на них. (*Уходит*.)

Франц бросается в кресла и мечется в нестерпимом волнении.
Глубокое молчание. Вбегает слуга.

Слуга. Амалия бежала! Граф внезапно исчез!

Даниэль (*боязливо входит*). Ваша милость, отряд неистовых всадников скачет к замку. Они кричат: «Смерть, смерть!» Вся деревня в смятении!

Франц. Иди! Вели звонить во все колокола! Всех сгоняй в церковь! Пусть падут на колени!.. Пусть молятся за меня! Отпустить заключенных!

Беднякам я все возмешу — вдвое, втрое! Я... Да иди же, зови духовника! Пусть он отпустит мне мои прегрешения! Что ж ты стоишь?

Шум и топот становятся слышнее.

Даниэль. Господи, прости меня и помилуй! Как мне это понять? Ведь вы отовсюду изгоняли религию, швыряли мне в голову библию и требник, когда заставали меня на молитве...

Франц. Ни слова больше! Смерть! Ты видишь! Смерть! Будет поздно!

Слышно, как неистовствует Швейцер.

Молись же! Молись!

Даниэль. Я всегда говорил вам: вы издеваетесь над святой молитвой, но берегитесь, берегитесь! Когда гром грянет, когда поток захлестнет вас, вы отпадите все сокровища мира за одну христианскую молитву. Вот видите, вы поносите меня! И теперь дождались! Видите!

Франц. Прости, милый, добрый, хороший мой Даниэль! Прости, я озолочу тебя! Но молись же! Я сыщу тебе невесту, я... Молись же, заклинаю тебя, на коленях заклинаю! Во имя дьявола, молись!

Шум на улице, крик, стук.

Швейцер (*на улице*). На приступ! Бей! Ломай! Я вижу свет, он должен быть там.

Франц (*коленопреклоненно*). Услыши мою молитву, господи! В первый раз!.. Никогда больше не обращусь к тебе! Услыши меня, господи!

Даниэль. Иисус Христос! Что вы делаете? Это безбожная молитва.

Сбегается народ.

Народ. Воры! Убийцы! Кто поднял такой ужасный шум среди ночи?

Швейцер (*все еще на улице*). Отгоните их, ребята! Это черт явился, чтоб утащить вашего господина! Где Шварц со своими людьми? Окружай замок! Гримм! Бери приступом стены!

Г р и м м . Тащите сюда горящие головни! Либо мы вломимся к нему, либо он спустится вниз! Я подожгу его хоромы!

Ф р а н ц (*молится*). Я был не простым убийцей, господи!.. Никогда не грешил по пустякам...

Д а н и э ль . Господи! Будь к нам милостив! У него и молитвы-то греховные!

Летят камни и головни, стекла разбиваются. Замок пылает.

Ф р а н ц . Не могу молиться!.. Здесь, здесь (*бьет себя в грудь и в лоб*) все пусто... Все выжжено! (*Поднимается*.) Нет, я не стану молиться, не доставлю небу этого торжества! Не позволю аду посмеяться надо мною!

Д а н и э ль . Господи! Пресвятая матерь божья! На помощь, спасите! Весь замок в огне!

Ф р а н ц . Возьми шпагу! Живо! Всади мне ее в живот! Не то эти молодцы надругаются надо мной.

Пожар усиливается.

Д а н и э ль . Увольте! Увольте! Я никого не хочу прежде времени отправлять на небо, тем более... (*Убегает*.)

Ф р а н ц (*неподвижно смотрит ему вслед; после паузы*). ... в ад, хотел ты сказать! И вправду! Я уже чую его! (*Охваченный безумием*.) Так это вы заливаитесь звонким смехом?.. Я слышу, как шипят гады преисподней!.. Они взбегают по лестнице, осаждают дверь!.. Почему я робею перед этим острием? Дверь трещит, подается!.. Бежать некуда! Так смируйся ты надо мной!

Срывает золотой шнурок со шляпы и удавливается.

Ш в е й ц е р со своими людьми.

Ш в е й ц е р . Где ты, каналья? Вы видели, как все разбежались? Не много же у него друзей! Куда он забился, этот негодяй?

Г р и м м (*спотыкается о труп*). Стой! Что здесь лежит на дороге? Посвети мне!..

Ш в а р ц . Он нас опередил. Вложите мечи в ножны! Вот он валяется, как дохлая кошка.

Швейцер. Мертв? Как? Не дождавшись нас? Лжете, говорю вам!.. Полюбуйтесь, как он живо вскочит на ноги. (*Толкает его.*) Эй, ты! Представляется случай убить отца!

Гrimm. Не трудись понапрасну: он мертвеценек.

Швейцер (*отходит от трупа*). Да, он не обращался этому слушаю! Он и вправду подох! Подите скажите атаману: он мертв! Меня Моор больше не увидит. (*Стреляет себе в висок.*)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Декорация последней сцены четвертого действия.

Старик Моор сидит на камне. Напротив него разбойник Моор. Разбойники шныряют по лесу.

Разбойник Моор. Его все нет! (*Ударяет кинжалом по камню так, что сыплются искры.*)

Старик Моор. Прощение да будет ему карой; удвоенная любовь — моей местью.

Разбойник Моор. Нет! Клянусь любой души моей! Этого не будет! Я этого не потерплю! Пусть тащит за собой в вечность великий позор своего злодеяния! Иначе зачем бы я стал убивать его?

Старик Моор (*разражаясь рыданиями*). О мое дитя!

Разбойник Моор. Что? Ты плачешь о нем?.. Возле этой башни?..

Старик Моор. Помилосердствуй! О, помилосердствуй! (*Страстно ломая руки.*) Сейчас, сейчас вершится суд над моим сыном.

Разбойник Моор (*испуганно*). Над кото-
рым?

Старик Моор. Что значит твой вопрос?

Разбойник Моор. Ничего! Ничего!

Старик Моор. Ты пришел глумиться над моим несчастьем?

Разбойник Моор. Предательская совесть! Не обращайте внимания на мои слова.

Старик Моор. Да, я замучил одного сына, и теперь другой мучает меня. Это перст божий!..

О Карл! Карл! Если ты витаешь надо мной в ангельском обличье, прости, прости меня!

Разбойник Моор. Он вас прощает. (*В смущении.*) Если он достоин называться вашим сыном, он должен простить вас.

Старик Моор. О, он был слишком хорош для меня! Но я поспешу к нему навстречу — с моими слезами, с моей бессонницей, со страшными видениями! Я обниму его колена, громко крича: «Я согрешил перед собою и тобой! Я недостоин называться отцом твоим!»

Разбойник Моор (*растягиваясь*). Он был вам дорог, ваш второй сын?

Старик Моор. Господь тому свидетель! Зачем я поддался коварству злого сына? Среди смертных не было отца счастливее! Рядом со мной цвели мои дети и тешили меня надеждами. Но, о горестный час! Злой дух вселился в сердце младшего! Я доверился змею! И потерял обоих детей. (*Закрывает лицо руками.*)

Разбойник Моор (*отходит от него*). Потерял навеки!

Старик Моор. О, я всем сердцем чувствую то, что сказала мне Амалия! Дух мщения говорил ее устами: «Напрасно будешь ты простираять холодающие руки к сыну! Напрасно искать теплую руку твоего Карла! Он никогда не будет стоять у твоего смертного одра».

Разбойник Моор, отворачиваясь, подает ему руку.

О, если бы это была рука моего Карла! Но он лежит далеко в тесном доме, спит свинцовым сном и никогда не услышит гласа моего горя. Горе мне! Умереть на чужих руках... Нет больше сына!.. Сына, который бы закрыл мне глаза...

Разбойник Моор. Теперь пора! Теперь! (*К разбойникам.*) Оставьте меня! Я... не могу возвратить ему сына! Нет! Возвратить ему сына я не могу!.. Этого я не сделаю!..

Старик Моор. Что, друг мой? Что ты там бормочешь?

Разбойник Моор. Твой сын... Да, старик... (Чуть взято.) Твой сын... Он... навеки потеряна.

Старик Моор. Навеки?

Разбойник Моор (в ужасном смятении обращает взоры к небу). О, только на этот раз не дай ослабеть моей душе!.. Только на этот раз поддержи меня!

Старик Моор. Навеки, сказал ты?

Разбойник Моор. Не расспрашивай больше! Навеки, сказал я.

Старик Моор. Незнакомец! Незнакомец! Зачем ты освободил меня из этой башни?..

Разбойник Моор. А что, если мне похитить его благословение? Похитить и, как вору, ускользнуть с этой священной добычей... Говорят, отцовское благословение никогда не пропадает...

Старик Моор. И мой Франц тоже погиб?

Разбойник Моор (падая перед ним на колени). Я сломал затворы твоей темницы. Благослови меня!

Старик Моор (с болью). О, зачем ты хоронишь сына, спаситель отца? Ты видел сам: милосердие господне не оскудевает. А мы, жалкие черви, отходим ко сну, унося с собой свою злобу. (Кладет руку на голову разбойника.) Будь столь же счастлив, сколь и милосерден.

Разбойник Моор (поднимается, растроганный). О, где ты, мое былое мужество? Мои мускулы ослабели; кинжал валится у меня из рук.

Старик Моор. Хорошо, когда братья льнут друг к другу, как роса германских вершин к горе Сиону. Научись понимать эту радость, юноша, и ангелы господни станут греться в лучах твоей славы. Твоя мудрость да будет мудростью старца. Но сердце... пусть останется сердцем невинного дитяти.

Разбойник Моор. О предвкушение счастья! Попцелуй меня, святой старец!

Старик Моор. Пусть тебе кажется, что это попцелуй отца, я же буду думать, что целую сына. Как? Ты умеешь плакать?

Разбойник Моор. Мне почудилось, что это поцелуй отца! Горе мне, если они сейчас приведут его. Появляется траурное шествие. Спутники Швейцера идут опустив головы и закрыв лица.

Боже! (*Робко отступает, пытаясь скрыться.*)

Они проходят мимо него. Он смотрит в сторону. Долгая пауза. Они останавливаются.

Гrimm (*тихо*). Атаман!

Разбойник Моор не отвечает и отходит еще дальше.

Шварц. Дорогой атаман!

Разбойник Моор отступает еще.

Grimm. Мы не виновны, атаман!

Разбойник Моор (*не глядя на них*). Кто вы такие?

Grimm. Ты даже не смотришь на нас! Мы — твои верные слуги.

Разбойник Моор. Горе вам, если вы были мне верны!

Grimm. Прими последний привет от твоего слуги Швейцера! Никогда не возвратится твой слуга Швейцер.

Разбойник Моор (*ескакивает*). Так вы не нашли его?

Шварц. Нашли мертвым.

Разбойник Моор. Благодарю тебя, вседержитель! Обнимите меня, дети мои! Милосердие — отныне наш лозунг! Значит и это преодолено, все преодолено.

Еще разбойники и Амалия.

Разбойники. Хо, хо! Добыча! Славная добыча!

Амалия (*с развевающимися волосами*). «Мертвые, — кричат они, — встают из гроба на его голос...» Мой дядя жив... Он в этом лесу... Где он? Карл! Дядя! О! (*Бросается в объятия старика.*)

Старик Моор. Амалия! Дочь моя! Амалия! (*Сжимает ее в объятиях.*)

Разбойник Моор (*отпрянув*). Кто воскресил предо мною этот образ?

Амалия (*вырываются из объятий старика Моора, бежит к разбойнику и в упоении обнимает его*). Он опять со мной, о небо! Опять со мной!

Разбойник Моор (*вырываясь, разбойникам*). Подымайтесь! Сатана предал меня!

Амалия. Жених мой! Жених мой! Ты обезумел! Или это от счастья? Но почему же я так бесчувственна в этом вихре блаженства? Так холодна?

Старик Моор (*поднимаясь*). Жених? Дочь моя? Дочь! Твой жених?

Амалия. Навеки твоя! Навеки, навеки, навеки мой! О силы небесные! Разрешите меня от этого смертельного блаженства — или я паду под его бременем!

Разбойник Моор. Оторвите ее от меня! Убейте ее! Убейте его! Меня! Себя! Убейте все! Весь мир да погибнет! (*Порывается бежать*.)

Амалия. Куда? Зачем? Любовь! Вечное, бескрайнее блаженство! А ты бежишь?

Разбойник Моор. Прочь! Прочь! Несчастнейшая из невест! Смотри сам, спрашивай, слушай, несчастнейший из отцов! Боже, дай мне силы навсегда, навеки покинуть их!

Амалия. Поддержите меня! Ради бога, поддержите! Ночь перед моими глазами!.. Он покидает меня!

Разбойник Моор. Слишком поздно! Напрасно!.. Твое проклятие, отец!.. Не спрашивай более! Я... мне... Твое проклятье!.. Твое мнимое проклятье!.. Кто заманил меня сюда? (*Обнажает шпагу и бросается на разбойников*.) Кто из вас заманил меня сюда, исчадия ада? Так погибни же, Амалия!.. Умри, отец! Умри в третий раз — из-за меня!.. Твои спасители — разбойники и убийцы! А твой Карл — их атаман!

Старик Моор умирает. Амалия стоит недвижно, как статуя. Вся шайка хранит страшное молчание.

(*Ударяясь головой о дуб*.) Души тех, кого я придушил во время любовных ласк, кого я поразил во время мирного сна, души тех... Ха-ха-ха! Слышите этот взрыв

пороховой башни над постелями рожениц? Видите, как пламя лижет колыбели младенцев? Вот он, твой венчальный факел! Вот она, твоя свадебная музыка! О, господь ничего не забывает, он умеет все связать воедино. А потому прочь от меня блаженство любви! А потому любовь для меня пытка! Вот оно, возмездие!

Амалия. О господи! Так это правда? Чем я согрешила, безвинная? И его я любила!

Разбойник Мур. Нет! Это выше сил человеческих! Я слышал, как смерть свистела мне навстречу из тысяч ружейных стволов, и ни на шаг не отступил перед ней! Так неужели я буду теперь дрожать, как женщина? Дрожать перед женщиной? Нет, женщине не поколебать моего мужества... Крови, крови! Все это лишь минутная бабья слабость. Я должен упиться кровью... и все пройдет. (*Хочет бежать.*)

Амалия (*падает в его объятия*). Убийца! Дьявол! Я не отпущу тебя! Ангел!

Разбойник Мур (*отталкивает ее*). Прочь, коварная змея! Ты глумишься над одержимым! Но я померюсь силами с судьбой! Что? Ты плачешь? О вы, злобные, изменчивые звезды! Она притворяется плачущей! Будто хоть одна душа еще может плакать обо мне!

Амалия падает ему на грудь.

Что это?.. Она не плюет мне в лицо? Не отталкивает меня?.. Или ты забыла? Или не знаешь, кого держишь в объятиях? Амалия!

Амалия. Единственный! Навеки!

Разбойник Мур (*просветлев, в экстатическом упоении*). Она прощает меня! Она меня любит!.. Я чист, как эфир небесный! Она меня любит!.. Слезно благодарю тебя, всемилосердный! (*Падает на колени и рыдает.*) Мир снова воцарился в душе моей! Мука унялась! Нет больше ада! О, посмотри, посмотри! Дети света плачут на груди рыдающих дьяволов. (*Поднимаясь, к разбойникам.*) Плачете же и вы! Плачьте, плачьте! И вы сподобились счастья! О Амалия, Амалия! (*Приникает к ее устам; они замирают в молчаливом объятии.*)

Один из разбойников (*злобно выступает вперед*). Остановись, предатель!.. Отними-ка руки! Или я скажу такое словечко, от которого звон пойдет у тебя в ушах и зубы застучат от ужаса. (*Разделяет их мечом.*)

Старый разбойник. Вспомни богемские леса! Слышишь? Ты дрожишь? Вспомни-ка о богемских лесах! Отступник, где твои клятвы? Или так скоро забываются раны? Когда мы для тебя поставили на карту счастье, честь, жизнь, когда мы стеной окружили тебя, как щиты, принимали удары, грозившие твоей жизни... разве ты не поднял тогда руки для нерушимой клятвы, не поклялся никогда не покидать нас, как и мы тебя не покинули? Бесчестный! Клятво-преступник! И ты хочешь уйти от нас? В угоду плачущей шлюхе?

Третий разбойник. Позор клятвопреступнику! Дух принесшего себя в жертву. Роллера, который ты призывал в свидетели из загробного мира, покраснеет за твое малодушие и во всеоружии подымется из гроба, чтобы покарать тебя.

Разбойники (*кричат наперебой и рвут на себе одежды*). Смотри сюда! Смотри! Узнаешь эти рубцы? Ты наш! Мы поработили тебя кровью наших сердец! Ты наш, хотя бы сам архангел Михаил вступил за тебя в единоборство с Молохом! Иди с нами! Жертва за жертву! Амалию за нашу шайку!

Разбойник Моор (*выпускает ее руку*). Все кончено! Я хотел повернуть вспять и пойти по следам отца, но тот, в небесах, судил иначе. (*Сдержанно.*) Слепой глупец, как мог я этого хотеть? Разве великий грешник еще может вернуться на путь истины? Нет, великому грешнику не обратиться. Это мне давно следовало знать. Спокойствие! Слышишь, спокойствие! Так должно быть! Я не откликался, когда господь призывал меня! И вот теперь, когда я ищу его, он отвратился от меня. Что может быть справедливее? Не ищи его! Ты ему не нужен! Разве нет у него великого множества других созданий? Ему легко обойтись без одного из них. И этот один — я. В путь, други!

А м а л и я (*с силой удерживает его*). Остановись! Остановись! Один удар! Один смертельный удар! Быть снова покинутой! Обнажи свой меч и сжался надо мной!

Р а з б о й н и к М о о р. Жалость полетела ко всем чертям! Я не убью тебя!

А м а л и я (*обнимая его колени*). О, ради бога! Ради божественного милосердия! Я ведь больше не прошу любви! Я знаю, там, в вышине, наши созвездия враждебно бегут друг друга... Я прошу лишь смерти! Оставлена, оставлена!.. Пойми весь ужас этого слова! Оставлена! Мне не пережить! Ты же знаешь, ни одной женщине этого не пережить. Смерть — вот вся моя мольба! Взгляни! Мои руки дрожат! У меня нет сил нанести себе удар. Я боюсь этого блестящего острия!.. А тебе это так легко, так легко! Ты ведь мастер убивать! Обнажи свой меч — и я счастлива...

Р а з б о й н и к М о о р. Ты хочешь одна быть счастливой? Прочь! Я не убиваю женщин!

А м а л и я. Ах, душегуб! Ты умеешь убивать только счастливых! А тех, кто пресытился жизнью, не убиваешь! (*На коленях подползает к разбойникам.*) Так сжальтесь хоть вы надо мною, подручные палача! В ваших взорах столько кровожадного сострадания, что надежда брезжит в сердце несчастной. Ваш правитель — пустой, малодушный хвастун!

Р а з б о й н и к М о о р. Женщина, что ты говоришь?

Разбойники отворачиваются.

А м а л и я. Ни одного друга? И среди этих. (*Поднимается.*) Ну, тогда ты, Дион, научи меня умереть! (*Хочет уйти.*)

Один из разбойников прицеливается.

Р а з б о й н и к М о о р. Стой! Посмей только!.. Возлюбленная Моора умрет лишь от его руки. (*Закаливает ее.*)

Р а з б о й н и к и. Атаман! Атаман! Что ты сделал? Ты с ума сошел!

Разбойник Моор (*не сводя глаз с трупа*). Она сражена! Еще одно содрогание, и все кончено. Вот — видите?! Чего еще вы потребуете от меня? Вы пожертвовали мне жизнью — жизнью, которая вам уже не принадлежала, жизнью, полной мерзости и позора... Я ради вас убил ангела. Смотрите же сюда! Теперь вы довольны?

Гримм. Ты с лихвой заплатил свой долг. Ты совершил то, чего не совершил бы во имя чести ни один человек. Теперь в путь!

Разбойник Моор. Что ты сказал? Согласись, жизнь праведницы за жизнь мошенника — неравная мена. О, говорю вам, если каждый из вас взойдет на кровавую плаху, и ему будут раскаленными щипцами рвать тело кусок за куском, и мученье продлится одиннадцать долгих летних дней,— это не перетянет одной ее слезы! (*С горьким смехом.*) Рубцы! Богемские леса! Да, за это надо платить!

Шварц.. Успокойся, атаман! Идем с нами! Тебе нечего здесь делать. Веди нас дальше!

Разбойник Моор. Стой! Еще одно слово, прежде чем двинуться в путь. Запомните вы, злорадные исполнители моих варварских велений! С этого часа я перестаю быть вашим атаманом. С ужасом и стыдом бросаю я здесь мой кровавый жезл, повинуясь которому, вы мнили себя вправе совершать преступления, осквернять божий мир. Идите на все четыре стороны. Одни! Пусть нас ничто больше не связывает.

Разбойники. А, малодушный! Где твои великие планы? Или они — только мыльные пузыри, лопнувшие от одного вздоха женщины?

Разбойник Моор. О, я глупец, мечтавший исправить свет злодеяниями и блести законы беззаконием! Я называл это мщением и правом! Я дерзал, о провидение, стачивать зазубрины твоего меча, сглаживать твои пристрастия! Но... О жалкое ребячество! Вот я стою у края ужасной бездны и с воем и скрежетом зубовным признаю, что два человека, мне подобных, могли бы разрушить все здание нравственного миропорядка! Умилосердись, умилосердись над мальчишкой, вздумавшим предупредить твой суд! Тебе отмщение, и ты

воздашь! Нет нужды тебе в руке человеческой. Правда, я уже не властен воротить прошедшее. Загубленное мною — загублено. Никогда не восстановить певерженного! Но я еще могу умиротворить поруганные законы, уврачевать израненный мир. Ты требуешь жертвы, жертвы, которая всему человечеству покажет нерушимое величие твоей правды. И эта жертва — я! Я сам должен принять смерть за нее.

Разбойники. Отнимите у него кинжал!.. Он заколет себя!

Разбойник Моор. Дурачье, обреченное на вечную слепоту! Уж не думаете ли вы, что смертный грех искупают смертным грехом? Или, по-вашему, гармония мира выиграет от нового богопротивного диссонанса? (*С презрением швыряет оружие к их ногам.*) Они получат меня живым! Я сам отдамся в руки правосудия!

Разбойники. В оковы его! Он сошел с ума!

Разбойник Моор. Нет! Я не сомневаюсь, рано или поздно правосудие настигнет меня, если так угодно провидению. Но оно может врасплох напасть на меня спящего, настигнуть, когда я обращусь в бегство, силой и мечом вернуть меня в свое лоно. А тогда исчезнет и последняя моя заслуга — по доброй воле умереть во имя правды. Зачем же я, как вор, стану укрывать жизнь, давно отнятую у меня по приговору божьих мстителей?

Разбойники. Пусть идет! Он высокопарный хвастун! Он меняет жизнь на изумление толпы.

Разбойник Моор. Да, я и вправду могу вызвать изумление. (*После короткого раздумья.*) По дороге сюда я, помнится, разговорился с бедняком. Он работает поденщиком и кормит одиннадцать ртов... Тысяча луидоров обещана тому, кто живым доставит знаменитого разбойника. Что ж, бедному человеку они пригодятся!

Конец



ЗАГОВОР ФИЕСКО В ГЕНУЕ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

*Nam id facinus imprimis ego
memorabile existimo, sceleris atque
pariculi novitate.*

*Сие злодейство почитаю из ряда
вон выходящим по необычности
и опасности преступления.*

Саллюстий о Катилине

Д Е Й С Т В УЮЩИЕ ЛИЦА

Андреа Дория, дож Генуи. Почтенный старец восьмидесяти лет. Следы былого огня. Главная черта: величавость, в речах — строгая, повелительная краткость.

Джанеттино Дория, его племянник и наследник. Двадцати шести лет. Речь и манеры вызывающие. Груб и неотесан. Спесь высокочки.

(Оба Дория носят пурпур.)

Фиеско, граф ди Лаванья, глава заговора. Стройный, поразительно красивый молодой человек двадцати трех лет. Горд, но без заносчивости. Величественно приветлив. Светски ловок и столь же коварен.

(Все дворяне в черном. Костюмы средневековые.)

Веррина, республиканец, заговорщик. Шестидесяти лет. Суров, строг и мрачен. Резкие черты лица.

Бургоньино, заговорщик. Юноша двадцати лет. Внешность благородная и располагающая. Горд, пылок и непосредственен.

Кальканьо, заговорщик. Тощий сластолюбец. Тридцати лет. Манеры любезные и вкрадчивые.

Сакко, заговорщик. Сорока пяти лет. Ничем не примечателен.

Ломеллино, доверенный Джанеттино. Иссохший царедворец.

Центурионе, Цибо, Ассерато — недовольные.

Романо, художник, в обращении прост, свободен и горд.

Мулей Гассан, тунисский мавр. Продувная шельма. Физиономия: оригинальная смесь плута и озорника.

Немец из телохранителей герцога. Честен и простодушен, отважен и стоек.

Тroe мяteжныx гraждan.

Леонора, супруга Фиеско. Восемнадцати лет. Бледная и хрупкая. Чувствительна и нежна. Очаровывает, но не ослепляет. Выражение меланхолической мечтательности. Одета в черное.

Джулия, вдовствующая графиня Империали. Сестра Дория. Дама двадцати пяти лет. Высокая и пышная. Гордая кокетка. Красоте ее вредит манерничание. Ослепляет, но не привлекает. На лице — выражение злой насмешки. Одета в черное.

Берта — дочь Веррины. Невинная девушка.

Роза, Арабелла, камеристки Леоноры.

Дворяне, граждане, пемцы, солдаты, слуги, воры.

Место действия — Генуя. Время — 1547 год.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Зал во дворце Фиеско. Издали доносится музыка и шум бала.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Леонора в маске. Роза, Арабелла в смятении выбегают на сцену.

Леонора (*срывая с себя маску*). Довольно! Ни слова! Сомнений быть не может. (*Бросается в кресла.*) Это меня убивает.

Арабелла. Графиня...

Леонора (*вскочив*). На моих глазах! С кокеткой, ославленной на всю Геную! На виду у всего дворянства! (*Скорбно.*) Роза! Белла! И мои слезы не остановили его.

Роза. Да не принимайте вы этого так близко к сердцу — обычная светская любезность...

Леонора. Любезность? А как трепетно он ловил ее взор! Как неотступно следовал за нею! Каким бесконечно долгим поцелуем припал к ее обнаженной руке! Какой пламенный след на ней оставили его зубы! Ax! А это упоение, в которое он погрузился, недвижный, как *олицетворенный восторг!* Он сидел, словно забыв обо всем, словно весь мир испарился и в извечной пустоте — только он и эта Джулilia. Любезность? Милочка, тебе ли, никогда не любившей, толковать о любви и о любезностях?

Роза. Тем лучше, мадонна! Говорят: потерять супруга — значит, приобрести десять поклонников.

Леонора. Потерять? Лишь мгновение наши сердца бились не в лад — и Фиеско потерян? Прочь,

ядовитая болтунья! Прочь с глаз моих, и навеки! То была просто невинная шалость, быть может пустая любезность! Не так ли, Белла, доброе ты мое сердечко?

Арабелла. Да конечно же, конечно же так!

Леонора (*в глубоком раздумье*). Ужели она вправду воцарилась в его сердце? Ужели все его помыслы только о ней? Ужель во всей природе он видит ее одну? Что это? Что я говорю? Где я? Ужели все величавое мироздание для него лишь алмаз, на котором запечатлены ее черты, *черты Джуллии*? Ужели он любит ее? О, дай мне руку, Белла! Я падаю.

Пауза. Снова слышится музыка.

(*Присоединившись*.) Чу! Мне послышался голос Фиеско. И он способен смеяться, когда его Леонора плачет в одиночестве? Нет, нет, дитя мое! То мужицкий голос Джанеттино Дория!

Арабелла. Да, да, синьора! Перейдемте скорее в другую комнату.

Леонора. Ты побледнела, Белла! Ты лжешь! В ваших глазах, в глазах всех генуэзцев я вижу что-то... вижу... (*Закрывает лицо руками*.) Сомнения нет! Генуэзцы знают больше, чем подобает слышать ушам супруги.

Роза. О, ревность, как она сразу все преувеличивает!

Леонора (*грустно, задумчиво*). Когда он был еще просто Фиеско... в померанцевой роще, куда мы, девушки, ходили гулять... Там он явился нам... Прелесть Аполлона сочеталась в нем с мужественной красотой Антиона. Гордо и величественно выступал он, словно все благородство Генуи покоилось на его юных плечах, а наши взоры воровски крались за ним и, как застигнутые врасплох святотатцы, устремлялись в бегство, встречаясь с зарницами его очей. Ах, Белла! Как ловили мы каждый его взгляд, как пристрастно; с трепетной завистью следили, не взглянул ли он на соперницу! Подобно золотому яблоку раздора падал его взор между нами: нежные глаза загорались огнем, юные перси вздымались волной, ревность разрывала узы нашей дружбы...

Арабелла. Да, помню. Все дамы Генуи всполошились, узнав о вашей дивной победе.

Леонора (*с воодушевлением*). И вот, наконец, назвать его моим! О головокружительное, дерзкое счастье! Первый рыцарь Генуи — мой! (*С грацией*.) Он мой, во всем совершенстве, каким наделил его резец величайшей из художниц, он, в ком слились воедино все доблести сильного пола! Девушки, слушайте! Больше я не в силах об этом молчать! Слушайте, девушки! Я доверю вам (*таинственно*) одну тайную мысль. Когда я стояла перед алтарем рядом с Фиеско — его рука в моей,— я думала о том, о чем нам, женщинам, *не дозволено и помышлять*: этот Фиеско, чья рука сейчас лежит в твоей,— этот Фиеско... Но тише! чтобы ни один мужчина не подслушал, как мы гордимся даже крохами их достоинств. Этот твой Фиеско... О, горе вам, если это чувство не увлечет вас ввысь! Этот твой Фиеско *освободит нам Геную от тирана!*

Арабелла (*с удивлением*). И такая мысль пришла девице в день ее свадьбы!

Леонора. Да, дивись, Белла! Невесте, в день ее торжества! (*С жаром*.) Я женщина, но я не забываю, чья кровь течет в моих жилах. Мне несносно, что эти *Дории* хотят возвыситься над нашим родом! Андреа кроток духом — сладостно ему повиноваться. Пусть он всегда зовется герцогом Генуи. Но Джанеттино — его племянник, его наследник — сердцем нагл и высокомерен. Генуя трепещет перед ним, а Фиеско (*снова скорбно*)... Фиеско — плачьте обо мне! — любит его сестру.

Белла. Бедняжка вы наша...

Леонора. Идите же полюбуйтесь этим идолом генуэзцев! Взгляните, как он восседает в постыдном обществе кутил и потаскух, забавляет их непристойными шутками, рассказывает им небылицы о зачарованных принцессах. И это Фиеско!.. Ах, девушки! Не только Генуя утратила своего героя — и я лишилась супруга!

Роза. Говорите тише! Кто-то идет сюда по галерее.

Леонора (*вздрогнув*). Это Фиеско. Бежим! Я боюсь опечалить его своим видом. (*Выбегает в соседнюю комнату. Девушки за ней*.)

Я В Л Е Н И Е В Т О Р О Е

Джанеттино Дория в маске, на нем зеленый плащ.
Мавр входит, разговаривая.

Джанеттино. Ты меня понял?

Мавр. Да, вполне.

Джанеттино. Белая маска.

Мавр. Да, да.

Джанеттино. Запомни: белая маска!

Мавр. Да, да, да!

Джанеттино. Слышишь? Можешь промахнуться, но только (*указывая себе на грудь*) сюда!

Мавр. Не беспокойтесь.

Джанеттино. И ударь как следует!

Мавр. Останется доволен.

Джанеттино (*ядовито*). Чтоб бедный граф не долго мучился!

Мавр. Виноват, а сколько примерно потянет его голова?

Джанеттино. Сто цехинов.

Мавр (*дует себе на пальцы*). Пуф! Легче пуха!

Джанеттино. Что ты там бормочешь?

Мавр. Да так; говорю: работа легкая.

Джанеттино. Дело твое. Этот человек — магнит! Все беспокойные умы устремляются к его полюсам! Гляди, малый, не промахнись!

Мавр. Да, вот что, хозяин! Ведь как сделаю дело, мне надо сразу же в Венецию...

Джанеттино. Возьми награду вперед! (*Бросает ему вексель*.) Чтоб через три дня, не позже, он был на погосте! (*Уходит*.)

Мавр (*поднимая вексель с полу*). Вот это называется кредит! Принц верит моему воровскому слову без расписки! (*Уходит*.)

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Й Е

Кальканьо, за ним Сакко. Оба в черных плащах.

Кальканьо. Я замечаю, что ты следишь за каждым моим шагом.

Сакко. А я — что ты каждый свой шаг от меня скрываешь. Послушай, Кальканьо! Вот уже не первую

неделю я вижу по твоей физиономии, что ты не пе-
чешься о благе отечества. По-моему, дружище, мы
могли бы сменять тайну на тайну. Сделка не плохая,—
пожалуй, ни один из нас в накладе не будет. Хочешь
мне открыться?

Кальканьо. Так хочу этого, что ежели твоим
ушам нет охоты склониться к моей груди, то мое сердце
пойдет тебе навстречу и решится на признание: я
люблю графиню Фиеско.

Сакко (*отступает в удивлении*). Вот этого я бы
не угадал, перебери я хоть все на свете! Ты сыграл
дурную шутку с моей проницательностью: если тебе
повезет — я погиб!

Кальканьо. Да! Говорят, графиня образец
строжайшей добродетели.

Сакко. Лгут. Она целый фолиант, наполненный
этой дребеденью! Одно из двух, Кальканьо: или махни
рукой на эту затею, или на самого себя...

Кальканьо. Граф ей изменяет. А ревность —
ловкая сводня! Заговор против Дория должен завла-
дать всеми помыслами Фиеско, а тем временем я славно
потружусь в его дворце. Пока он будет выгонять волка
из овчарни, ласка заберется в его курятник!

Сакко. Ты бесподобен, братец! Вот удрожил!
Теперь мне нечего краснеть. Открою тебе то, о чем
я и думать стыдился. Если нынешний порядок в рес-
публике не полетит к чертям, я — нищий.

Кальканьо. У тебя так много долгов?

Сакко. Десятая доля их оборвет нить моей
жизни, будь она в восемь раз длиннее! Вся моя на-
дежда — государственный переворот. Тогда только
я вздохну свободно. Пусть переворот не поможет
мне расплатиться с долгами, но он отучит моих кредиторов
требовать уплаты!

Кальканьо. Понимаю. И если сверх того Генуя
обретет свободу, Сакко примет титул отца оте-
чества! Вот и повторяй избитые басни о высокой добро-
детели, когда судьба республики зависит от пустого
кармана вертопраха и от прихоти сладострастника!
Ей-богу, Сакко, мы с тобой восхитительный пример
тонкости замыслов провидения: покрывая тело зло-

качественными гнойниками, оно спасает сердце организма. Веррина знает о твоих планах?

Сакко. Столько, сколько об этом полагается знать такому патриоту. Ты же сам знаешь: Генуя — ось, вокруг которой с железным упорством вертятся все его помыслы. Теперь его соколиный взор впился в Фиеско. Да и на тебя он словно бы рассчитывает, как на будущего заговорщика.

Кальканьо. Нюх у него превосходный. Навестим-ка Веррину и подогреем его свободолюбивые замыслы своими.

Уходят.

Я В Л Е И Н Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Джулия, разгоряченная. Фиеско в белом плаще спешит за нею.

Джулия. Слуги! Скороходы!

Фиеско. Куда вы, графиня? Что вы делаете?

Джулия. Ничего, ровным счетом ничего. (*Слугам.*) Подать мне карету!

Фиеско. Молю вас, останьтесь! Вас оскорбили?

Джулия. Этого еще недоставало! Прочь! Вы разорвете мне кружева. Оскорбили? Кто может меня оскорбить? Ступайте же!

Фиеско (*опустившись на колено*). Нет, пока вы не назовете наглеца!

Джулия (*подбоченившись*). Чудно! Чудно! Бесподобное зрелище! Пригласить бы графиню Лаванью на этот прелестный спектакль! Как, граф? К лицу ли это супругу? Такая поза была бы уместна только в спальне вашей жены, когда она, перелистывая запись ваших ласк, обнаружит недочет. Встаньте же! Идите к дамам, с которыми вам легче сторговаться. Ах, встаньте же! Или вы хотите своими любезностями искупить дерзости вашей супруги?

Фиеско (*вскочив*). Дерзости? По отношению к вам?

Джулия. Вдруг подняться, оттолкнуть кресло, встать спиной к столу — к тому, граф, за которым сижу я!

Фиеско. Это непростительно.

Джулия. Только-то? Какая наглость! Разве я виновата (*самодовольно улыбаясь*), что у графа есть глаза!

Фиеско. Преступление перед вашей красотой, мадонна, что у него их только одна пара.

Джулия. Оставьте любезности, граф! Здесь речь идет о моей чести. Я требую удовлетворения. Найду ли я его у вас? Или мне прибегнуть к власти герцога?

Фиеско. В объятиях любви, которая умолит вас простить выходку, продиктованную ревностью.

Джулия. Ревностью? Ревностью? Что еще взбрело на ум этой дурочке? (*Позируя перед зеркалом.*) Разве не похвала ее вкусу, если его разделяю я? (*Гордо.*) Дория и Фиеско? Неужели графиня Лаванья не должна чувствовать себя польщенной, если бы племянница герцога нашла ее выбор завидным? (*Кокетливо протягивая графу руку для поцелуя.*) Заметьте, граф, я сказала: «если бы».

Фиеско (*пылко.*) Жестокая! Вам все бы мучить меня! Я знаю, божественная Джгулия, что должен чувствовать к вам одну лишь почтительность. Рассудок приказывает мне верноподданнически склонять колена перед кровью Дориев, но мое сердце боготворит красоту Джгулии! Моя любовь — преступница, но также и героиня, у которой достанет отваги пробить брешь в стене высокого сана и устремить свой полет к всеожигающему солнцу величия.

Джулия. Большая, большая сиятельная ложь проковыляла на ходулях! Ваши уста боготворят меня, а сердце бьется под медальоном с силуэтом другой.

Фиеско. Скажите лучше, сеньора, оно бьется, силясь сбросить его. (*Снимает медальон на голубой ленте с силуэтом Леоноры и передает его Джгулии.*) Воздвигните свой образ на этом алтаре, и прежний кумир повержен!

Джулия (*поспешино прячет медальон; довольным тоном*). Великая жертва! Клянусь честью, она заслуживает награды. (*Вешает ему на шею свой медальон.*) Вот, раб! Носи цвета своей владычицы. (*Уходит.*)

Ф и е с к о (с жаром). Джуллия любит меня! Джуллия! Я не завидую богам! (*Ликующим голосом, в зал.*) Да будет эта ночь праздником, достойным богов! Да не знает веселье пределов! Эй, люди!

Множество слуг.

Пусть нектар Кипра льется в этих чертогах и музыка разгонит свинцовый сон полуночи! Свечей! Да посрамят они сияние утренней зари! Пусть веселятся все! Пусть от вакхической пляски с грохотом обрушатся своды преисподней! (*Поспешно уходит.*)

Под звуки шумного аллегро поднимается средний занавес, открывая большой, ярко освещенный зал, где танцует много масок. Вдоль стен столы с угощением, а также игорные столы, вокруг которых толпятся гости.

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

Д ж а н е т т и н о (полупьяный). Ломеллино, Цибо, Центурионе, Веррина, Сакко, Кальканьо — все в масках. Несколько дам и дворян.

Д ж а н е т т и н о (шумливо). Браво! Браво! Вино так и льется в глотку. Наши плясуньи скачут а *тег-veille!*¹ Эй! кто-нибудь там! Дай знать всей Генуе, что я сегодня весел! Пусть радуются вместе со мной! Не будь я Дория, они отметят красным этот день в календаре и напишут под числом: «Сегодня принц веселился».

Гости (чокаясь). За нашу республику!

Гремят трубы.

Д ж а н е т т и н о (с размаху разбивает стакан об пол). Так ее!

Три черные маски вскакивают и окружают его.

Л о м е л л и н о (отводит Джанеттино в сторону). Ваша светлость, вы недавно изволили мне говорить об одной особе женского пола, повстречавшейся вам в церкви святого Лоренцо...

¹ Превосходно! (*франц.*)

Джанеттино. Да, да! Говорил! И непременно
хочу свести с ней знакомство.

Ломеллино. Сочту за честь услужить вашей
светлости.

Джанеттино (*живо*). Не врешь? Ломеллино,
ты на днях просил о месте прокуратора? Ты его по-
лучишь.

Ломеллино. Всемилостивейший принц! Место
это — второе в государстве. Его ищут более шестиде-
сяти дворян, и все богаче и знатнее покорного раба
вашей светлости.

Джанеттино (*надменно обрывает его*). Гром
и Дория! Ты будешь прокуратором!

Три маски приближаются.

Генуэзские дворяне? Седой волос из бороды моего
дяди перевесит на чаше весов всех дворян с их пред-
ками и гербами. Ты будешь прокуратором! Я так
сказал! Мое слово стоит всех голосов сената.

Ломеллино (*понизив голос*). Девица — един-
ственная дочь известного Веррины.

Джанеттино. Девица хороша! И, всем чер-
тям назло, я ею попользуюсь!

Ломеллино. Ваша милость! Она единственная
дочь самого закоснелого из республиканцев.

Джанеттино. Пошел ты к черту со своими
республиканцами! Моя страсть — и гнев какого-то
вассалишки! Башня маяка не рухнет оттого, что маль-
чишки кидают в нее ракушками.

Три черные маски подходят ближе.

Не для того ли герцог Андреа сражался за этих подлых
республиканцев, не для того ли он весь изрублен,
чтобы его родной племянник вымаливал благосклон-
ность генуэзских дочерей и невест? Гром и Дория!
Ничего! Проглотят! Я так хочу! Не то я велю воздвиг-
нуть над костями дяди виселицу, на которой вольность
Генуи лишь ногами подрыгает перед смертью.

Три маски отступают.

Ломеллино. Девица сейчас как раз одна.
Отец ее здесь — одна из тех трех масок.

Джанеттино. Тем лучше, Ломеллино! Веди меня немедля к ней!

Ломеллино. Но, боюсь, вы надеетесь найти в ней распутницу, а найдете чувствительную дурочку.

Джанеттино. Сила — лучший вид красноречия! Веди меня сию же минуту! Посмотрел бы я на ту республиканскую собаку, которая посмеет кинуться на медведя Дория! (*Сталкивается в дверях с Фиеско.*) Где графиня?

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Те же и Фиеско.

Фиеско. Я усадил ее в карету. (*Хватает руку Джанеттино и прижимает к своей груди.*) Принц, теперь я привязан к вам двойными узами. Джанеттино властвует над моей головой и Генуей, а его очаровательная сестра — над моим сердцем!

Ломеллино. Фиеско стал сущим эпикурейцем. Отечество в вас много потеряло.

Фиеско. Но я в нем ничего не утратил. Что мне отечество? Жить — значит грезить, Ломеллино. Быть мудрым — значит предаваться светлым грезам. А где грезится лучше: под перунами ли власти, под неумолчный грохот колес государственной машины или в томных объятиях возлюбленной? Пусть Джанеттино Дория властвует над Генуей. Фиеско будет любить.

Джанеттино. Ломеллино, пора! Скоро полночь. Уже поздно, Лаванья! Благодарю за гостеприимство. Я доволен.

Фиеско. Принц, это все, что я могу желать.

Джанеттино. Доброй ночи. Завтра игра во дворце Дория. Ты приглашен. Идем, прокуратор!

Фиеско. Музыку! Свечей!

Джанеттино (*надменно идет прямо навстречу трем маскам.*). Место наследнику герцога!

Одна из трех масок (*негодующе, сквозь зубы*). В преисподней, но в Генуе — никогда!

Гости (*в движении*). Принц уезжает. Доброй ночи, Лаванья! (*Шумно расходятся.*)

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬ М О Е

Три черные маски. Фиеско. Пауза.

Фиеско. Я замечаю на моем празднике гостей, которые не разделяют общего веселья.

Маски (*досадливо бормочут*). Таких не мало.

Фиеско. Совесть не простит мне, если хоть один генуэзец уйдет отсюда недовольным. Слуги, живо! Пусть снова шумит наш праздник! Наполним кубки! Я не хочу, чтоб кто-нибудь скучал. Чем развлечь вас: фейерверком? искусством моего шута? или, быть может, милым женским обществом? А не то сядем за фараон и убьем время игрою?

Одна из масок. Мы привыкли *тратить его на дело*.

Фиеско. Ответ, достойный мужа! И это — Веррина!

Веррина (*снимает маску*). Ты легче узнаешь друзей под их масками, чем мы тебя под твоей, Фиеско.

Фиеско. Я тебя не понимаю. Но что означает черная повязка у тебя на руке, Веррина? Неужели ты похоронил кого-нибудь, а я ничего не слыхал об этом?

Веррина. Печальные вести неуместны на твоих веселых пирах, Фиеско.

Фиеско. Но если друг хочет разделить твое горе? (*С жаром жмет ему руку*.) Друг души моей! Кто умер *у нас с тобой*?

Веррина. У нас с тобой? Ты более чем прав! Но не все сыны скорбят о смерти матери.

Фиеско. Прах твоей матери давно истлел?

Веррина (*значительно*). Помнится, Фиеско называл меня братом лишь потому, что я был сыном его родины...

Фиеско (*шутливо*). А, вот оно что! Ты решил пошутировать, надев траур по Генуе? Ты прав: Генуя и в самом деле при последнем издыхании. Идея нова и оригинальна. Кузен, ты с годами становишься остряком!

Кальканьо. Он не шутит, Фиеско!

Фиеско. О, конечно, конечно! Взгляните только на его физиономию! В этом вся соль его шутки! Ни

тени улыбки, плаксивый тон. Еще бы! Когда шутник смеется своей остроте, она теряет цену. Никогда не думал, что угрюмый Веррина на старости лет станет таким весельчаком.

Сакко. Пойдем, Веррина! Он никогда не будет наш.

Фиеско. Веселей, дружище! Возьмем пример с лукавых наследников: шагая за катафалком, они прячут лицо в платок, будто рыдая, а сами давятся от смеха. За это нам, пожалуй, достанется злая мачеха. Не беда, пусть ворчит, а мы будем пить, есть и веселиться!

Веррина. И ничего не делать? Проклятье! До чего ты дошел, Фиеско! Где он, великий тираноборец? Я помню времена, когда при одном виде короны ты содрогался от ярости. Ломаного гроша я не дам за бессмертие моей души, раз время могло так износить твою, падший сын республики!

Фиеско. Ты вечно брюзжишь. Пусть он всю Геную засунет себе в карман и продаст тунисскому корсару, нам-то что? Мы будем пить кипрское вино и целовать хорошеньких женщин.

Веррина (*сурьово глядит на него*). Ты серьезно, Фиеско? Это твое искреннее убеждение?

Фиеско. Почему бы и нет, друг мой? Велико ли удовольствие быть ногой этой ленивой многоногой твари, именуемой республикой? Поблагодарим того, кто дает ей крылья и освободит ноги от их обязанностей. Пусть Джанеттино Дория станет герцогом. По крайней мере у нас от государственных дел больше голова болеть не будет.

Веррина. Ты серьезно, Фиеско? Это твое искреннее убеждение?

Фиеско. Андреа усыновляет племянника и объявляет его наследником своих владений. Кто будет так глуп, чтобы оспаривать у него унаследованную власть?

Веррина (*в крайнем негодовании*). Пойдемте отсюда, генуэзцы! (*Быстро уходит, остальные следуют за ним.*)

Фиеско. Веррина! Веррина! Этот республиканец тверд, как сталь.

Я В Л Е Н И Е В О С Ъ М О Е

Фиеско. Неизвестный в маске.

Маска. Лаванья, найдется ли у вас свободная минута?

Фиеско (*любезно*). Хоть целый час, коли вам угодно.

Маска. Не откажите в любезности пройтись со мною за город.

Фиеско. Через десять минут — полночь.

Маска. Вы не откажете мне, граф.

Фиеско. Я велю заложить карету.

Маска. Нужды нет. Я вышлю вперед верховую лошадь. Этого достанет. Я надеюсь, что назад вернется только один из нас.

Фиеско (*пораженный*). Как?

Маска. От вас потребуют ответа кровью за пролитые слезы.

Фиеско. Слезы? Чьи?

Маска. Некоей графини Лаванья. Я хорошо знаком с этой дамой и желал бы знать, чем она заслужила участь быть принесенной в жертву пошлой дуре?

Фиеско. Теперь я вас понял. Могу ли я узнать имя того, кто сделал мне столь странный вызов?

Маска. Он — тот, кто некогда богословил девицу Цибо и отступил перед сватовством Фиеско.

Фиеско. Сципион Бургоньино?

Бургоньино (*сняв маску*). Он явился отомстить за свою честь, поруганную соперником, который оказался столь низок, что терзает самое кротость.

Фиеско (*горячо обнимает его*). Благородный юноша! Я готов благословить страдания моей супруги, которым я обязан столь драгоценным знакомством. Ваше негодование прекрасно, но драться я не стану.

Бургоньино (*отступая на шаг*). Неужели граф Лаванья такой трус, что его страшит первая проба моей шпаги?

Фиеско. Бургоньино! Меня не устрешит вся французская армия, но с вами я драться не стану. Я чту ваш пыл, а еще более — предмет, его вызвавший.

Ваш порыв достоин лавров, но наш поединок был бы ребячеством.

Бургоньино (*взволнованно*). Ребячеством, граф? Женщина может ответить на оскорбление только слезами. Для чего же создан мужчина?

Фиеско. Прекрасно сказано. Но драться я не стану.

Бургоньино (*поворачивается к нему спиной, собираясь уйти*). Я буду презирать вас!

Фиеско (*с жаром*). Нет, юноша! Видит бог, никогда, хотя бы сама добродетель потеряла цену! (*Спокойно берет его за руку*.) Разве в свое время я не внушал вам, как бы это сказать... глубокого уважения?

Бургоньино. Отступил бы я перед кем-нибудь, если бы не почитал его первейшим из людей?

Фиеско. Так вот, друг мой! Я бы не спешил выражать презрение к человеку, которого когда-то уважал. Узор, выведенный рукою мастера, слишком тонок,— новичку не понять его с первого взгляда. Идите домой, Бургоньино, и *поразмыслите* хорошенько, почему Фиеско поступает так, а не иначе.

Бургоньино молча удаляется.

Прощай, благородный юноша! Не устоять дому Дория, если такое пламя разгорится во имя отчизны!

Я В Л Е Н И Е Д Е В Я Т О Е

Фиеско. Мавр осторожно входит, опасливо оглядывается по сторонам.

Фиеско (*смерив его пронзительным и пытливым взглядом*). Чего тебе? Кто ты?

Мавр (*с той же опаской*). Раб республики.

Фиеско. Рабство — ремесло низкое. (*Не сводя с него настороженного взгляда*.) Чего тебе надо?

Мавр. Сударь, я честный человек.

Фиеско. Твоя физиономия нуждается в таком заверении. Но чего тебе надобно?

Мавр (*пытается подойти ближе; Фиеско отступает*), Сударь, я не злоумышленник.

Фиеско. Хорошо, что ты и это добавил; впрочем, не так-то хорошо. (*Нетерпеливо.*) Так чего тебе надо?

Мавр (*подходя*). Вы будете граф Лаванья?

Фиеско (*гордо*). В Генуе даже слепые узнают мою поступь. На что тебе граф?

Мавр (*рядом с ним*). Будьте начеку, Лаванья!

Фиеско (*отпрянув*). И впрямь!

Мавр (*та же игра*). Против вас замышляют худое, Лаванья.

Фиеско (*снова отступив*). Вижу.

Мавр. Берегитесь Дория.

Фиеско (*доверчиво подходит к нему*). Друг мой! Ужели я тебя напрасно обидел? Я в самом деле страшусь этого имени.

Мавр. Так бегите от этого человека. Вы умеете читать?

Фиеско Смешной вопрос! Сразу видно — ты человек светский! Что у тебя? Письмо?

Мавр. Черный список, и в нем ваше имя. (*Подав записку, подбирается вплотную к нему*.)

Фиеско отходит к зеркалу, продолжая следить за мавром поверх бумаги. Мавр, крадучись, обходит его, потом вдруг вынимает кинжал и замахивается.

Фиеско (*проводя рукой по зеркалу, ловит его руку*). Легче, мерзавец! (*Вырывает у него кинжал*.)

Мавр (*яростно топнув ногой*). Черт! Простите! (*Пытается улизнуть*.)

Фиеско (*хватает его; громко*). Стефано! Друло! Антонио! (*Берет мавра за горло*.) Постой, дружок! Дьявольская затея!

Вбегают слуги.

Ни с места! Однако плохо ты работаешь. Кто ж тебе заплатит за это? Отвечай!

Мавр (*после многих тщетных попыток освободиться, решительно*). Выше виселицы меня не вздернут!

Фиеско. На этот счет не беспокойся. Выше луны тебя не вздернут, а все ж небо тебе с овчинку покажется. Но ты выбрал жертву слишком разумно для твоих простецких мозгов; тут действовал государственный ум. Говори, кто тебя подрядил?

М а в р. Сударь, зовите меня мерзавцем — стерплю,
но дураком ругать не позволю!

Ф и е ск о. Вот гордая бестия! Говори, тварь, кто
тебя подрядил?

М а в р (*в раздумье*). Гм, не одному же мне оста-
ваться в дураках! Кто подрядил? И дал-то всего одну
сотню цехинов! Принц Джанеттино.

Ф и е ск о (*в негодовании расхаживает взад и впе-
ред*). Сто цехинов за голову Фиеско! (*Язвительно*)
Стыдись, наследный принц Генуи! (*Спешит к шка-
тульке*.) На, молодчик, вот тебе тысяча! И скажи своему
господину, что он слишком скуп для убийцы!

М авр меряет его взглядом.

Чего ты раздумываешь?

М авр берет деньги, кладет их на место, снова берет, глядя на
Фиеско со все возрастающим удивлением.

Ты что?

М а в р (*решительно бросает деньги на стол*).
Сударь, я их не заслужил!

Ф и е ск о. Безмозглый негодяй! Виселицу ты за-
служил! Разъяренный слон топчет человека, а не
червяка! Мне достаточно сказать слово, чтобы тебя
вздернули, но я и этим словом себя утруждать не
желаю.

М а в р (*радостно кланяясь*). Вы чересчур добры
ко мне, сударь.

Ф и е ск о. Не к тебе! Сохрани боже! Просто мне
нравится, что от моей прихоти зависит жизнь и смерть
такой твари, а потому — ступай! Пойми: твой промах —
мне знамение свыше. Я спасен для великого дела,
а потому и милостив. Ты свободен.

М а в р (*простодушно*). По рукам, Лаванья! Честь
за честь! Мешает тебе на этом полуострове чья-нибудь
голова, вели — отрежу. *Безвозмездно*.

Ф и е ск о. Любезный мерзавец! Расплачивается
чужими головами!

М а в р. Мы подарков не принимаем, сударь. И наш
брать честь знает.

Ф и е ск о. Честь головорезов?

М а в р. Она закалкой покрепче, чем у ваших

честных людей. Они нарушают клятвы, данные господу богу, а мы блюдем верность дьяволу.

Фиеско. Занятный негодяй!

Мавр. Рад, что пришелся вам по вкусу. Хотите — любой экзамен сдам не готовясь. Идет? Хоть сейчас представлю вам аттестат за все воровские гильдии, от первой до последней!

Фиеско. Что я слышу! (*Усаживается.*) У мошенников свои законы, свои гильдии? А ну, начни с самой низшей.

Мавр. Фу, сударь! Это воинство *длинной руки* — так, шушера! Жалкое ремесло: в большие люди им не выбиться. Плеть да колодки — вот и вся их награда. До виселицы редко кто дотянет.

Фиеско. Достойная цель! Любопытно, кто же над ними?

Мавр. *Лазутчики и соглядатаи*. Это господа поважнее, к ним и вельможи обращаются, чтоб знать все на свете. Такой народ: вонзываются в душу, как пиявки, весь яд из сердца высосут и отрыгнут властям.

Фиеско. Знаю. Дальше!

Мавр. Еще повыше чином — *убийцы и отравители*, те, что долго выслеживают свою жертву и потом нападают на нее из-за угла. Трусоватый народец, а все ж черту за науку платят своими душонками. От правосудия им особый почет: косточки их распяливают на колесе, а хитроумные головушки насаживают на колья. Это третья гильдия.

Фиеско. Ну, а скоро ты доберешься до своей?

Мавр. Сию минуту, сударь! В ней-то все и дело! Я побывал во всех. Мои таланты еще смолоду все мерки переросли. Вчера вечером я сдал пробу на третью гильдию, а вот час назад — опростоволосился в четвертой.

Фиеско. Что ж это за четвертая?

Мавр (*живо*). О, вот это люди! (*С жаром.*) Ни перед чем не отступаются! Кого им надо, и за каменными стенами найдут: нагрянут — он и ахнуть не успеет. Мы их так и называем: *чертовы курьеры*. Разыграется аппетит у сатаны, только он мигнет — жаркое уж тут как тут, еще тепленькое!

Фиеско. Ну, ты прокаженный грешник. Такого я давно искал. Давай руку. Беру тебя к себе.

Мавр. Вы шутите?

Фиеско. И не думаю. Тысяча цехинов в год.

Мавр. Идет, Лаванья. Я ваш. Черт с ней, свольной жизнью! Я буду для вас всем, чем только пожелаете: ищейкой, волкодавом, лисицей, змеей, хоть сводней, а не то и палачом! На любое дело, лишь бы не на честное,— тут я чурбан чурбаном!

Фиеско. Не беспокойся. Волку пасти овечку я не поручу. Итак, завтра же пройдись по Генуе и разнюхай, куда в нашей республике ветер дует. Поговори с людьми, узнай, что они думают о правительстве, что шепчут о доме Дория, а кстати примечай, как нашим согражданам нравятся мои кутежи и мой новый роман. Заливай им мозги вином, пока не всплынет, что таится у них на душе! Вот деньги. Пощедрее угощай молодцов из шелкопрядилен.

Мавр (*смотрит на него в недоумении*). Сударь...

Фиеско. Не пугайся. Тут ничего честного нет. Иди созывай всю свою шайку на подмогу. Завтра доложишь мне новости. (*Уходит*.)

Мавр (*ему вслед*). Положитесь на меня. Сейчас четыре часа утра. Завтра в восемь вы узнаете столько нового, сколько способны подслушать семьдесят парушей. (*Уходит*.)

Я В Л Е Н И Е Д Е С Я Т О Е

Покои в доме Веррины. Берта, уронив голову на руки, лежит на софе. Входит Веррина, он мрачен.

Берта (*в ужасе вскакивает*). Боже! Это он!

Веррина (*останавливается, удивленно смотрит на нее*). Дочь испугалась своего отца?

Берта. Бегите меня! Нет, мне должно бежать вас! Я боюсь вас, отец.

Веррина. Ты? Мое единственное дитя?

Берта (*в отчаянии смотрит на него*). Нет, другая, другая дочь нужна вам!

Веррина. Ужель тебя так тяготит моя любовь?

Берта. Она пригибает меня к земле, отец!

Веррина. Как? Что за встреча? Я привык, чтобы Берта летела ко мне навстречу, когда я возвращаюсь домой. Пусть горы невзгод теснят мою грудь — Берта засмеется, и нет их! Подойди, обними меня. дочь моя! На твоей жаркой груди отогреется мое сердце, заледеневшее у смертного ложа отчизны. О дитя мое! Сегодня я простился со всеми радостями жизни, только ты (*с надрывом*) у меня осталась.

Берта (*долго молча смотрит на него*). Бедный отец!

Веррина (*подавленный, обнимает ее*). Берта! Дитя мое единственное! Берта! Последняя моя надежда! Свобода Генуи пала — Фиеско погибший человек! (*Сжав ее в объятиях, сквозь зубы.*) Остается лишь тебе стать девкой!

Берта (*вырывааясь*). Боже правый! Вы знаете?

Веррина (*дрожит*). Что?

Берта. Моя девичья честь...

Веррина (*в бешенстве*). Что?

Берта. Этой ночью...

Веррина (*в исступлении*). Что?

Берта. Насилие! (*Падает на софу.*)

Веррина (*после долгой, страшной паузы, глухо*). Берта! Это мой последний вздох! (*Чуть слышно, задыхаясь.*) Кто?

Берта. Он бледен, как мертвец! Боже, помоги мне! Гнев убьет его. Он задыхается, дрожит!

Веррина. Я должен знать, дочь моя, кто?

Берта. Успокойтесь, успокойтесь, отец! Дорогой, любимый!

Веррина. Ради всего святого! Кто? (*Собирается упасть перед ней на колени.*)

Берта. Он был в маске.

Веррина (*отступает, мечется, обуреваемый мыслями*). Нет, не может быть! Не от бога эта мысль! (*Дико хохочет.*) Старый дурень! Будто на целом свете только одна ядовитая жаба! (*Берте, спокойнее.*) Ростом с меня или ниже?

Берта. Выше.

Веррина (*торопливо*). Волосы чёрные? Курчавые?

Б е р т а . Ч е р н ы е , к а к с а ж а , и к у р ч а в ы е .

В е р р и н а (н е в е р н ы ми ш а г а ми отсту пает от нее). Боже, ум мутится! Голос?

Б е р т а . Г р у б ы й , н и з к и й .

В е р р и н а (п о с п e ш н o). К а к о г о ц в е т а ... Н е т , н и с л о в а боле e... П лащ какого цвета?

Б е р т а . П лащ? К ажется , зеленый.

В е р р и н а (закрыв лицо руками, падает на софу). С ейч ас пройдет, дочь моя. Э то так, просто голова кружится. (Руки его бессильно опускаются. Лицо как у мертв еца.)

Б е р т а (ломая руки). Боже милосердный! Нет у меня больше отца!

В е р р и н а (п о сл е паузы , с сардоническим хохотом). Поделом! Поделом тебе, Веррина, жалкий трус! Мало тебе было, что этот негодяй осквернил святыни закона, ты ждал, пока он осквернит святыню твоей крови? (Вскакивает.) Живей! Зови Николо! Мою пороховницу! Нет, стой, стой! Я передумал. Лучше... подай мой меч! Читай «Отче наш»! (Хватается за голову.) Что я делаю?

Б е р т а . Отец, мне страшно!

В е р р и н а . Подойди ко мне, сядь. (Значительно.) Скажи мне, Берта, как поступил тот седовласый римлянин, когда его дочь тоже.... как это сказать... тоже удостоилась милостивого внимания? Вспомни, Берта, что сказал Виргиний своей падшей дочери?

Б е р т а (содрогаясь). Я не знаю, что он сказал.

В е р р и н а . Глупый ребенок. Ничего он не сказал. (Вскочив, хватается за меч.) Он схватил тесак...

Б е р т а (в ужасе бросается к нему). Великий боже! Что вы хотите делать?

В е р р и н а (отшвырнув меч). Нет! Есть еще правосудие в Генуе!

Я В Л Е Н И Е О ДИ Н Н А Д ЦА Т О Е

Те же. Сакко. Кальканьо.

К альканьо . Скорей, Веррина! Собирайся! Сегодня мы выбираем новых сенаторов, надо пораньше прийти в синьорию. Улицы кишат народом. Все дво-

рянство устремилось к ратуше. Ты, конечно, пойдешь с нами (*с насмешкой*), чтобы посмотреть на торжество нашей свободы?

Сакко. В зале на полу — меч? Веррина в ярости. У Берты красные глаза...

Кальканьо. Клянусь богом, верно! Теперь и я вижу... Сакко, здесь случилось несчастье!

Веррина (*пододвигая два кресла*). Садитесь.

Сакко. Друг, ты нас пугаешь.

Кальканьо. Таким я тебя никогда не видел, друг. Не будь Берта в слезах, я бы подумал, что гибнет Генуя.

Веррина (*трагически*). Да, гибнет. Садитесь.

Оба садятся.

Кальканьо (*с испугом*). Веррина, заклинаю тебя!

Веррина. Слушайте.

Кальканьо. Я предчувствую... Сакко!

Веррина. Генуэзцы! Вы знаете, сколь древен мой род. Ваши предки поддерживали край мантии моих предков. Мужи в нашем роду бились за республику. Жены ставились в пример генуэзкам. Честь была единственным нашим достоянием, наследием, переходившим от отца к сыну. Посмеет ли кто утверждать противное?

Сакко. Никто.

Кальканьо. Как бог свят, никто.

Веррина. Я последний в роду. Моя жена в могиле. Дочь — вот все, что она мне завещала. Генуэзцы, вы свидетели того, как я ее растил. Кто упрекнет меня, что я оставил Берту в небрежении?

Кальканьо. Твоя дочь — образец для всей страны.

Веррина. Други, я стар. Если я потеряю эту дочь, другой у меня не будет. Память обо мне угаснет. (*В отчаянии.*) Я потерял ее. Мой род обесчен!

Оба (*потрясенные*). Господь не попустит этого!

Берта, рыдая, мечется на софе.

Веррина. Нет. Не отчайтайся, дочь моя. Мужи эти отважны и добры. Если они прольют над

тобой слезу, значит вскоре прольется чья-то кровь. Вы в недоумении, генуэзцы? (Медленно, значительно.) Пощадит ли девичью честь тот, кто поработил Геную?

О ба (вскакивают, оттолкнув кресла). Джанеттино Дория!

Берта (с воплем). Стены, обрушьтесь на меня! Мой Сципион!

Входит Бургоньино.

Я В Л Е Н И Е Д В Е Н А Д Ц А Т О Е

Те же. Бургоньино.

Бургоньино (с жаром). Радуйся, Берта! Счастливая весть! Благородный Веррина, от вашего слова я жду небесного блаженства! Давно я уже люблю вашу дочь, но не осмеливался просить ее руки, ибо все мое состояние было вверено утлым судам, плывущим из Кормандоля. И вот сейчас я узнал, что они благополучно вошли в гавань и принесли мне несметные сокровища. Теперь я богат. Отдайте мне Берту, я сделаю ее счастливой.

Берта закрывает лицо. Долгая пауза.

Веррина (с трудом). Молодой человек! Ужели вам пришла охота бросить в грязь свое сердце?

Бургоньино (хватается за шпагу, но сразу же отдергивает руку). И это сказал отец?..

Веррина. Это скажет всякий проходимец в Италии. Иль вам по вкусу обедки с чужого стола?

Бургоньино. Старик, ты сведешь меня с ума!

Кальканьо. Бургоньино, старик говорит правду.

Бургоньино (вскипев, бросается к Берте). Правду? Так меня одурачила распутница?

Кальканьо. Ошибаешься, Бургоньино. Девушка чиста, как ангел.

Бургоньино (в изумлении). Клянусь спасением моей души! Чиста — и обесчещена! Я ничего не понимаю! Вы смотрите друг на друга и молчите. Какое же чудовищное злодеяние сковало вам языки? Закли-

наю вас, пощадите мой бедный рассудок! Она чиста? Кто сказал — чиста?

Веррина. Дочь моя не виновна.

Бургоньино. Насилие? (*Хватает меч с пола.*) Генуэзцы! Всеми грехами в подлунном мире заклинаю вас! Где, где мне найти злодея?

Веррина. Там, где ты найдешь похитителя Генуи.

Бургоньино цепнеет. Веррина в раздумье расхаживает по комнате, потом останавливается.

О вечный промысел, я понял твой знак! Ты избрал мою дочь орудием освобождения Генуи! (*Подходит к ней и, медленно снимая креп со своей руки, торжественно говорит.*) Прежде чем кровь из сердца Дория не смоет позорного пятна с твоей чести, да не упадет луч солнца на твои щеки! До тех пор (*набрасывая на нее креп*) ослепни!

Пауза. Потрясенные присутствующие молча смотрят на него. (*Торжественно кладет руку на голову Берты.*) Будь проклят воздух, что овеивает тебя! Будь проклят сон, который тебя освежает! Будь проклята тень сострадания, что смягчила бы твои муки! Сойди в подземелье под моим домом. Визжи, кричи, останови ход времени своею скорбью! (*Содрогание прерывает его речь.*) Пусть жизнь твоя уподобится корчам изыхающего червя, упорной мучительной борьбе бытия с небытием! И да пребудет над тобой это проклятье, пока Джанеттино Дория не испустит свой последний вздох! Если же нет — неси это проклятье в вечность, покуда люди не доищутся, где она смыкает свои звенья!

Долгое молчание. На лицах присутствующих ужас. Веррина обводит всех твердым, пронизывающим взглядом.

Бургоньино. Детоубийца! Что ты сделал? Как мог отец столь чудовищно проклясть свое несчастное, ни в чем не повинное дитя?

Веррина. Не правда ли, это чудовищно, о нежный жених? (*Очень торжественно.*) Кто из вас отныне посмеет разглагольствовать о хладнокровии и

отсрочке? Судьба Генуи стала судьбою Берты, мое отцовское сердце в ответе перед моим гражданским долгом. Найдется ли среди нас малодушный, кто станет медлить с освобождением Генуи, зная, что за его трусость бесконечной мукой расплачивается этот невинный агнец? Клянусь богом, я в здравом уме и твердой памяти! Я дал клятву и не пощажу свое дитя, покуда Дория не будет повержен во прах, хотя бы мне пришлось самому изобретать для дочери все новые пытки, хотя бы мне пришлось, как палачу, своими руками растерзать на дыбе этого ангела! Вы содрогаетесь... вы бледны, как мертвецы... Ты слышал, Сципион? Она заложница, доколе ты не убьешь тирана! Этой драгоценной нитью связал я твой, и мой, и наш общий долг. Деспот должен пасть,— или дочь моя погибнет в муках! Я не отступлюсь от слов моих.

Бургоньино (бросаясь к ногам Берты). Он падет! Падет, как жертвенный бык на алтаре Генуи! Я поверну меч в сердце Дория — это так же верно, как то, что я запечатлею поцелуй нареченного на твоих устах. (*Встает.*)

Веррина. Вот первая чета, благословенная фуриями! Подайте друг другу руки. Ты повернешь меч в сердце Дория? Тогда — возьми ее, она твоя!

Кальканьо (опускаясь на колено). Еще один генуэзец преклоняет колена и кладет грозную сталь к стопам невинности. И да найдет Кальканьо путь к небу, как эта его шпага — путь к груди Дория. (*Поднимается.*)

Сакко. Последним, но с неменьшей решимостью, преклоняет колена Рафаэль Сакко. Если этот мой клинок не отомкнет темницу Берты, то да замкнется слух всевышнего для моей последней молитвы! (*Встает.*)

Веррина (просветлев). Генуя благодарит вас моими устами, друзья! Теперь иди, дочь моя! Радуйся: ты приносишь себя в жертву отечеству!

Бургоньино (обнимая ее). Иди! Уповай на бога и Бургоньино! Один и тот же день принесет свободу тебе и Генуе!

Берта удаляется.

Я В Л Е Н И Е Т Р И Н А Д Ц А Т О Е

Те же, без Берты.

Кальканьо. Прежде чем приступить к делу, еще одно слово, генуэзцы!

Веррина. Я догадываюсь.

Кальканьо. Достанет ли сил у четверых патриотов низвергнуть могучую гидру тирании? Не следует ли нам взбунтовать чернь, привлечь на нашу сторону дворянство?

Веррина. Понимаю. Слушайте же. Я давно покровительствую одному живописцу, который вложил все свое искусство в картину, изображающую историю низвержения Апдия Клавдия. Фиеско — поклонник искусств, возвышенные сюжеты пробуждают жар в его сердце. Мы отправим полотно к нему и прилем, когда он будет им любоваться. Быть может, это зрелище разбудит его дух. Быть может...

Бургоньино. На что он нам! Девиз героя: удвойте опасность, но не число помощников! Давно уже что-то терзало, точило мою грудь, и лишь теперь я понял (*с героическим жестом*): это тиран!

З а на в е с

Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е

Авазала во дворце Фиеско

Я В Л Е Н И Е П ЕР В О Е

Леонора, Арабелла.

Арабелла. Да нет же! Вы ошиблись. Глаза ревности видят все в черном свете.

Леонора. Это Джуллия. Джуллия и никто иная. Тебе меня не разуверить. Мой медальон на голубой ленте, а у этого лента красная, красная, как огонь! Судьба моя решена.

Я В Л Е И Н Е В Т О Р О Е

Те же. Джулия.

Джулия (*входя, высокомерно*). Граф предложил мне полюбоваться из окон его дворца шествием к ратуше. Боюсь, мне придется поскушать. Пока принесут шоколад, займите меня, мадам!

Арабелла выходит и сразу же возвращается.

Леонора. Прикажете позвать сюда собравшихся гостей?

Джулия. Какая нелепость! Неужели вы думаете, что я ищу их общества? Развлекайте меня сами, мадам (*прохаживается, охорашиваясь*)... если сумеете. Впрочем, я и так ничего не потеряю.

Арабелла (*язвительно*). Но тем больше потеряет эта бесценная парча, синьора. Подумайте только, как жестоко лишить лорнеты молодых повес такой прекрасной мишени! Ах, как дивно переливается жемчуг — глазам больно! Господи боже мой! Вы, верно, опустошили весь океан?

Джулия (*перед зеркалом*). Тебе это в диковинку? Но ты, я вижу, милочка, и язычок свой отдала господам в услужение? Charmant¹, графиня! В вашем доме челядь потчуя гостей комплиментами!

Леонора. Я очень огорчена, синьора, но дурное расположение духа омрачает мне радость вашего посещения.

Джулия. Скорее дурное воспитание, которое делает вас смешной и нелепой. Больше огня, остротумия, иначе вам мужа не удержать!

Леонора. Мне известен только один способ, графиня. А все ваши не более как симпатические средства.

Джулия (*делая вид, что не слышит*). И потом вы совершенно не следите за собой, синьора! Фи! Больше внимания своей внешности! Прибегайте к помощи искусства, если уж природа была вам мачехой! Бедняжечка! Подкрасьте щечки, побледневшие от

¹ Очаровательно (франц.).

страсти,— иначе такое лицо не привлечет покупателей!

Леонора (*весело Арабелле*). Поздравь меня, девочка. Не может быть, чтобы я потеряла Фиеско, или я в нем ничего не потеряла!

Приносят шоколад. Арабелла наливаает.

Джулия Вы что-то лепечете о *потере*? Но боже мой! Как только могла вам прийти в голову несчастная мысль выйти за Фиеско?.. Дитя мое, зачем было забираться на такую высоту, где вас непременно заметят, где начнут вас сравнивать? Ей-богу, милочка, вас свел с Фиеско дурак или плут. (*Покровительно беря ее за руку*.) Кошечка моя, мужчина, принятый в высшем свете, тебе не пара. (*Берет чашку*.)

Леонора (*улыбаясь, Арабелле*). А зачем ему высший свет?

Джулия. Граф — человек представительный, вполне светский, со вкусом. Графу посчастливилось завязать высокие знакомства. В графе столько страсти, огня! И вот он, еще разгоряченный, покидает изысканное общество. Приходит домой. Супруга встречает его будничными нежностями, гасит его пыл мокрым, холодным поцелуем — скучо, словно суп нахлебнику, отпускает ему свои ласки. Несчастный муж! Там ему улыбается чарующий идеал, здесь — жалкая чувствительность, которая ему претит. Ради бога, синьора, скажите: на кого падет его выбор, если, конечно, он не лишился рассудка?

Леонора (*подавая ей чашку*). На вас, мадам, если он его лишился.

Джулия. Хорошо. Пусть это жало вонзится в твое собственное сердце. Дрожи, насмешница,— но прежде ты покраснеешь!

Леонора. А вам известно, что значит краснеть, синьора? Но что это я, вы же пользуетесь румянами.

Джулия. Смотрите, пожалуйста! Оказывается, надо было разгневать эту букашку, чтобы вызвать в ней искорку остроумия. Ну, довольно! Это была шутка, мадам. Дайте руку в знак примирения!

Леонора (*подавая ей руку, с многозначительным взглядом*). Империали! Гнева моего вам нечего опасаться.

Джулия. Какое великодушие! Но ведь и я способна быть великодушной, графиня! (*Медленно, следя за действием своих слов.*) Если я ношу при себе медальон с силуэтом некоей особы, разве это не значит, что мне мил и оригинал? Как по-вашему?

Леонора (*покраснев, растерянно*). Что вы сказали? Нет, ваше заключение, должно быть, чересчур поспешно.

Джулия. Я и сама так думаю. Сердце никогда не призывает на помощь разума. *Истинное чувство не прячется за побрякушками.*

Леонора. Боже милостивый! Как пришли вы к этой истине?

Джулия. Из сострадания, только из сострадания. Видите, синьора, ведь, верно, может быть и обратное: стоит мне вернуть вам эту побрякушку — и Фиеско снова ваш. (*Подает ей медальон и злобно смеется.*)

Леонора (*с прорвавшейся горечью*). Мой медальон? У вас? (*В отчаянии бросается в кресла.*) О! Безбожный человек!

Джулия (*торжествующе*). Ну что? Отплатила я вам? Больше нет в запасе булавочных уколов, мадам? (*Громко, за сцену.*) Карету! Дело сделано. (*Леоноре, потрепав ее по подбородку.*) Утешьтесь, дитя мое! Он дал мне медальон, лишившись рассудка! (*Уходит.*)

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ь Е

Входит Кальканьо.

Кальканьо. Империали ушла в таком возбуждении, и вы расстроены, мадонна?

Леонора (*с мучительной болью*). Нет! Это неслыханно!

Кальканьо. Праведный боже! Ужели вы плачете?

Леонора. Прочь с глаз моих! Вы друг этого чудовища!

Кальканьо. Какого чудовища? Вы пугаете меня!

Леонора. Моего мужа. Нет! Не мужа — Фиско!

Кальканьо. Что я слышу?

Леонора. Вы слышите о подлости, столь свойственной вам, мужчинам!

Кальканьо (*порывисто хватает ее за руку*). Мадонна, слезы добродетели всегда найдут отклик в моем сердце.

Леонора (*строго*). Вы — мужчина. Да и не нуждаю мне сострадания.

Кальканьо. Я весь ваш, полон вами... О, если бы вы знали, как сильно, как бесконечно сильно...

Леонора. Ты мужчина — ты лжешь! Все это пустые заверения!

Кальканьо. Клянусь вам!..

Леонора. Лживой клятвой! Замолчи! Перо господне устало записывать ваши клятвы! Мужчины, мужчины! Если бы все ваши клятвы обратились в демонов, они заполонили бы небеса и ангелов увели бы в ад!

Кальканьо. Графиня, вы вне себя! Ожесточение делает вас несправедливой. Ужели весь род мужчин должен быть в ответе за грех одного из нас?

Леонора (*смерив его взглядом*). Несчастный! В нем одном я боготворила весь ваш род, как же мне не презирать его в нем одном?

Кальканьо. Графиня, попытайтесь в другой раз. Пусть однажды вы напрасно доверили ваше сердце,— я знаю для него более надежное убежище.

Леонора. О, вы способны оболгать самого творца! Я тебя и слушать не хочу.

Кальканьо. Вы сегодня же взяли бы назад эти слова в *моих объятиях*!

Леонора (*настороженно*). Как? *Повтори!*

Кальканьо. В *моих объятиях*! Они откроются, чтобы принять покинутую и вознаградить ее за утерянную любовь.

Леонора (*проницательно взглянув на него*). Любовь?

Кальканьо (*бросается перед ней на колени, с жаром*). Да! Слово сказано! Любовь, мадонна! Жизнь и смерть моя — в едином вашем слове! И если моя страсть — грех, то нет различия между пороком и добродетелью, одному проклятю преданы и ад и вебо!

Леонора (*отступив, в величавом негодовании*). Так вот к чему клонилось твое участие, коварный льстец! Одним коленопреклонением ты предал и любовь и дружбу! Прочь с глаз моих навеки! О, мерзкий род! Доныне я думала, что вы обманываете лишь женщин! Я не знала, что вы предаете и самих себя!

Кальканьо (*вставая, пораженный*). Синьора...

Леонора. Ему мало, что он сломил священную печать доверия! На чистое зеркало добродетели этот лицемер дышит своим чумным дыханием и толкает меня на путь измены!

Кальканьо (*поспешно*). Вы не одна вступили бы на этот путь, синьора.

Леонора. Ах, вот что! Ты думал, мое оскорбленное чувство пойдет навстречу твоим чувственным вожделениям? Ничего ты не понимаешь! (*Величественно.*) Пусть Фиеско разобьет сердце женщины — столь возвышенное горе лишь облагородит ее. Ступай! Позор Фиеско же не возвысит в моих глазах Кальканьо, а уронит все человечество. (*Быстро уходит.*)

Кальканьо (*ошеломленный, смотрит ей вслед; ударив себе по лбу*). Болван!

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Мавр, Фиеско.

Фиеско. Кто это вышел отсюда?

Мавр. Маркиз Кальканьо.

Фиеско. Что это — на софе лежит платок? Здесь была моя жена?

Мавр. Я только что встретил ее; она очень взволнована.

Фиеско. Платок мокрый? (*Прячет его.*) Кальканьо был здесь. Леонора взволнована... (*Подумав, мавру.*) Вечером я спрошу тебя, что здесь произошло.

М а в р. Мамзель Белла любит, когда ей говорят, что она блондинка. Ответ вам будет.

Ф и е с к о. Итак, прошло уже тридцать часов. Выполнил ты мое поручение?

М а в р. В точности, мой повелитель.

Ф и е с к о (*усаживаясь*). Так скажи, что судачат о Дориях и о нынешнем правительстве?

М а в р. Тьфу! И слушать противно! При одном имени Дория людей трясет, как в лихорадке. Джанеттино ненавидят смертельно. Все ропщут. В народе говорят: французы были для Генуи что крысы; кот Дория их пожрал и теперь подбирается к мышам.

Ф и е с к о. Похоже на правду... А собаки на этого кота они не подыскали?

М а в р (*лукаво*). Весь город на все лады толкует о некоем... о некоем... Вот тебе и раз! Неужели я запамятали имя?

Ф и е с к о (*вставая*). Дурак! Его так же легко зацомнить, как трудно было создать. Есть ли в Генуе другое такое имя?

М а в р. Нет, если нет другого графа Лаванья.

Ф и е с к о (*садится*). Это уже нечто. А что толкуют о моей веселой жизни?

М а в р (*глядя ему прямо в лицо*). Слушайте, граф Лаванья! Генуя, видно, высоко чтит вас. Не по нутру людям, чтобы первый рыцарь Генуи, богатый умом и талантом, в расцвете сил, с княжеской кровью в жилах, обладатель четырех миллионов ливров,— чтобы такой рыцарь, как Фиеско, к которому по первому знаку полетели бы все сердца...

Ф и е с к о (*с презрением отвернувшись*). Слушать такие речи от негодяя...

М а в р. Чтобы великий сын Генуи проспал великий миг в судьбе Генуи. Многие сожалеют о вас, очень многие над вами насмехаются, большинство — вас проклинает. Все оплакивают государство, утратившее вас. А один иезуит будто бы даже пронюхал, что в шляфрок-то рядится лис.

Ф и е с к о. *Лис лиса чует издалека...* Что говорят о моем новом романе с графиней Империали?

М а в р. То, о чем я предпочту умолчать.

Фиеско. Выкладывай, не бойся! Чем наглее, тем лучше! О чём же они шепчутся?

Мавр. Какое там шепчутся! Орут во всю глотку по всем кофейням, бильярдным, гостиницам, на бирже, на базаре.

Фиеско. Что? Я приказываю, говори!

Мавр (*отступив*). Что вы дурак.

Фиеско. Отлично. Вот тебе цехин за эту весть. Я нацепил на себя дурацкий колпак, чтобы потешить генуэзцев. Скоро я себе и голову обрею, пусть считают меня шутом! Как приняли в шелкопрядильнях мои подарки?

Мавр (*кривляясь*). Дурак, они вели себя словно приговоренные к смертной казни...

Фиеско. Дурак?.. Ты спятил, малый!

Мавр. Виноват! Я думал сорвать еще один цехин.

Фиеско (*смеясь, дает ему цехин*). Так, говоришь, словно приговоренные к смертной казни?

Мавр. Которые лежат уже на плахе — и вдруг слышат указ о помиловании. Они ваши душой и телом.

Фиеско. Рад слышать. Они вожаки генуэзской черни.

Мавр. Вот дело-то было! Немногого недоставало, черт побери, чтоб мне самому захотелось так швыряться деньгами! Они как сумасшедшие бросались мне на шею. Девки, казалось, всю жизнь мечтали о потомке черномазых родителей, так им приглянулась моя черная ряшка. Что ни говори, подумал я, деньги все могут, даже выбелить мавра!

Фиеско. Твоя мысль была лучше, чем навозная куча, на которой она произросла! Что ж, твои *вести* хороши, да вот обернутся ли они *делами*?

Мавр. Небеса заворчали, так жди грозы. Люди сбиваются в кучки, что-то шепчут друг другу; а чуть появится кто чужой, сразу — молчок! Душно, душно в Генуе. Недовольство, словно черная туча, нависло над республикой. Порыв ветра — и грянет гром.

Фиеско. Тсс! Слушай! Что это за странный шум?

Мавр (*подбежав к окну*). Это толпа идет от ратуши.

Фиеско. Сегодня выборы прокуратора. Вели

подать мне коляску. Не может быть, чтобы заседание уже кончилось. Там, видно, что-то нечисто. Я должен туда поспеть. Плащ и шпагу! Где мой орден?

Мавр. Сударь я его украл и заложил.

Фиеско. Приятная новость.

Мавр. Как же теперь? Скоро мне награда выйдет?

Фиеско. За то, что ты и плаща не украл?

Мавр. За то, что я вора указал.

Фиеско. Шум приближается. Слушай! Это не похоже на клики одобрения! (*Торопливо.*) Живо, открой ворота! Я догадываюсь. Дория дерзок до безумия. Республика висит на волоске. Бьюсь об заклад, в синьории вышел скандал.

Мавр (*у окна, кричит*). Что это? Вся улица Бальби полна народу, тысячи людей... Сверкают алебарды, мечи! Сенаторы... все бегут сюда...

Фиеско. Это мятеж. Нырни в толпу! Выклей мое имя! Сделай так, чтобы все они кинулись сюда.

Мавр поспешно выбегает.

Что муравей-рассудок трудолюбиво собирает по крохе, то ветер случая вмиг сметает воедино.

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

Фиеско, Центурионе, Цибо, Ассерато врываются в комнату.

Цибо. Простите, граф! Гнев заставил нас вторгнуться к вам без доклада.

Центурионе. Я оскорблен, смертельно оскорблен племянником герцога перед лицом всей синьории!

Ассерато. Дория осквернил золотую книгу, чьи листы — все мы, дворяне Генуи.

Центурионе. Вот почему мы здесь. Всему дворянству брошен вызов в моем лице. Все дворянство должно мстить заодно со мной. Будь речь лишь о моей чести, я обошелся бы без помощников.

Цибо. В его лице оскорблено все дворянство. Все дворянство должно метать гром и молнии.

Ассерато. Права нации попраны. Республиканской вольности нанесен смертельный удар.

Фиеско. Я весь внимание.

Цибо. Он был двадцать девятым выборщиком и вынул золотой шар для выборов прокуратора. Двадцать восемь голосов было уже подано. Четырнадцать за меня, столько же за Ломеллино. Лишь Дория и он еще не положили своих шаров.

Центрione (перебивая). Еще не положили. Я подал голос за Цибо. А Дория... Подумайте, какой удар для моей чести!.. Дория...

Ассерато (перебивая). С того дня, как океан омывает берега Генуи, не было подобного...

Центрione (с еще большим жаром). Дория выхватывает шпагу, спрятанную под его пурпурным плащом, прокалывает мой шар и кричит собранию...

Цибо. «Сенаторы! Шар недействителен! Он с дырой! Ломеллино — прокуратор!»

Центрione. «Ломеллино — прокуратор», и бросил шпагу на стол.

Ассерато. Так и крикнул: «Шар недействителен», и бросил шпагу на стол.

Фиеско (помолчав). На что вы решились?

Центрione. Республике нанесен удар в самое сердце. На что мы решились?

Фиеско. Центурионе! Тростинку сломит и дыхание, но дуб повалит только буря. Я спрашиваю: на что вы решились?

Цибо. По-моему, надо спросить, что решит Генуя?!

Фиеско. Генуя? Генуя? Будет вам! Она прогнила насеквозд и рассыпается в прах где ни притронься! Вы рассчитываете на патрициев? Не потому ли, что они строят кислые мины и пожимают плечами, когда речь заходит о государственных делах? Будет вам! Их геройство запаковано в тюки левантинских товаров, а душонки боязливо трепещут за благополучие кораблей, плывущих в Ост-Индию.

Центрione. Напрасно вы так низко ставите наших патрициев. Едва Дория совершил свою наглую выходку, как несколько сот человек, разорвав на себе одежды, ринулись на торговую площадь. Синьория разлетелась...

Фиеско (*с насмешкой*) Как разлетаются голуби,
когда коршун нападает на стаю...

Центурионе. Нет, как пороховая бочка, когда
в нее попадает горящий фитиль.

Цибо. И народ разъярен. А на что только не спо-
собен раненый вепрь!

Фиеско (*смеется*). Народ — слепой, неуклю-
жий колосс. Сперва он шумит, грозясь поглотить зия-
ющей пастью все низкое и высокое, все ничтожное и
благородное, а под конец падает, споткнувшись о про-
тянутую нитку! Полно, генуэзцы! Генуя уже не преж-
няя владычица морей. Прежним осталось только имя.
Генуя сейчас подобна Риму, некогда непобедимому и,
словно мяч, упавшему в руки отрока Октавиана. Генуя
больше не может быть свободной. Генуе нужен монарх,
который ее оживит. Ей нужен самодержец! Так что
идите лучше на поклон к самодуру Джанеттино!

Центурионе (*вскривев*). Скорее примирятся
краждующие стихии и Северный полюс сойдется с Юж-
ным! Уйдемте, друзья!

Фиеско. Останьтесь, останьтесь! О чём вы заду-
мались, Цибо?

Цибо. Ни о чём, а если хотите — о некоем ско-
морошьем действе под названием «землетрясение».

Фиеско (*подводя его к статуе*). Взгляните на
этую статую.

Центурионе. Венера флорентийская. Пр
чём тут она?

Фиеско. Она вам нравится?

Цибо. Еще бы! Иначе плохие бы мы были италь-
янцы. Но почему вы сейчас спрашиваете об этом?

Фиеско. В путь! Побывайте во всех частях света
и выберите лучшую из живых копий этого произведе-
ния искусства, в котором сплелись бы воедино все
прелести этой вымышенной Венеры.

Цибо. И что же будет наградой за наши старания?

Фиеско. Вы потеряете вкус к фантазиям пло-
щадных крикунов...

Центурионе (*нетерпеливо*). А что выиграем?

Фиеско. Выиграем затянувшуюся тяжбу между
природой и искусством.

Центурионе (резко). А затем?

Фиеско. Затем? Затем? (Расхохотавшись.) Затем вы не захотите и взглянуть на то, как вольность Генуи рассыпается в прах.

Центурионе, Цибо, Ассерато уходят.

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Шум за сценой усиливается.

Фиеско. Отлично! Отлично! Солома республики уже запылала! Огонь перекинулся на дома и башни. Разгорайся, пожар, разгорайся! Раздувай погибельное пламя, свирепый ветер, и пусть оно бушует, все превращая в хаос!

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬ М О Е

Мавр вбегает в попыхах. Фиеско.

Мавр. Толпа валит сюда.

Фиеско. Шире раствори ворота! Впусти всю улицу.

Мавр. Эх, республиканцы, республиканцы! Впряглись в ярмо свободы и кряхтят, как волы, под тяжестью ее аристократического великолепия.

Фиеско. Дурачье. Воображают, что Фиеско ди Лаванья будет продолжать то, чего Фиеско ди Лаванья и не начал. Бунт пришелся кстати! Но заговор будет делом моих рук. Они уже на лестнице.

Мавр (выбегая). Эй! Эй! Да вы дом в щепы разнесете!

Народ врывается, выломив двери.

Я В Л Е Н И Е В О СЬ М О Е

Фиеско, двенадцать ремесленников.

Все. Месть Дориям! Месть Джанеттино!

Фиеско. Тише,тише, сограждане! Я ценю, что вы явились засвидетельствовать мне свое почтение,— это говорит о чистоте ваших сердец. Но пощадите мой слух!

Все (еще неистовей). Долой Дория! Долой и дядю и племянника!

Фиеско (улыбаясь, пересчитывает их). Дюжина? Внушительное войско!

Несколько человек. Надо выгнать Дориев! Заведем другие порядки в государстве!

Первый. Наших мировых судей сбросили с лестницы! Судей с лестницы спустили!

Второй. Подумайте только, Лаванья, он спустил их с лестницы, когда они стали ему перечить на выборах.

Все. Не потерпим этого! Не потерпим!

Третий. С мечом прийти в ратушу!

Первый. Меч! Знак войны! В доме мира!

Второй. В пурпуре явиться в сенат! Не в черных одеждах, как другие сенаторы!

Первый. Вздумал разъезжать по нашей столице в карете, запряженной восьмеркой лошадей!

Все. Тиран! Он изменил родине и правительству!

Второй. Купил себе у императора двести немцев-телохранителей!

Первый. Он с иностранцами против сынов отечества! С немцами против итальянцев! С солдатами против законов!

Все. Измена! Крамола! Генуя в опасности!

Первый. Намалевал герб республики на своей карете.

Второй. Поставил статую Андреа посреди двора синьории.

Все. В куски его! В мелкие куски! И каменного и живого!

Фиеско. Генуэзцы! Зачем вы все это говорите мне?

Первый. Вы не должны этого терпеть! Обуздайте его!

Второй. Вы этого не должны терпеть! Вы умный человек. Вам за нас и думать!

Первый. Вы дворянин почище его! Вы на него управу найдете! Вам нельзя этого терпеть!

Фиеско. Ваше доверие мне лестно. Но сумею ли я его оправдать делами?

Все (перебивая друг друга). Круши! Бей! Освободи нас!

Ф и е с к о. Сначала согласитесь выслушать добрый совет.

Несколько человек. Говорите, Лаванья!

Фиеско (садится). Генуэзцы! Однажды поднялась в зверином царстве смута. Все пришло в брожение, партия встала на партию, в конце концов троном завладел большой *меделянский пес*. Пес тот, привыкнув на бойне загонять скотину под нож, на троне совсем озверел и стал рвать и кусать своих подданных, перегрызать им кости. Народ возмутился, смельчаки сговорились и придушили *княжившего пса*. Потом собрались на совет и стали судить и рядить, какое правление лучше. Голоса разделились натрое. Генуэзцы, за кого бы вы стояли?

Первый. За народ! Все за народ!

Фиеско. Народ и победил. Установили демократию. Каждый гражданин подавал свой голос. Все решалось *большинством* голосов. Спустя несколько недель человек объявил войну новоиспеченному свободному государству. Собралось все звериное царство. Конь, Лев, Тигр, Медведь, Слон, Носорог вышли и заревели: «К оружию!» Настал черед остальных, Овца, Заяц, Олень, Осел, все царство насекомых, птицы, трусивое рыбье племя — все вылезли и заскутили: «Мир!» Понятно, генуэзцы? Трусов было *больше*, чем борцов; глупых — больше, чем умных. А дела решались *большинством*. Звери сдались, и человек обложил их царство данью. Пришло и эту форму правления признать негодной. Генуэзцы, что бы вы теперь предложили?

Первый и второй. Назначить выборных! Выборных! Ясное дело!

Фиеско. На том и порешили! Все государственные дела были разделены между палатами. *Волки* занялись финансами. *Лисиц* взяли к себе в секретари. *Голуби* заседали в уголовном суде. *Тигры* узаконивали полюбовные сделки. *Козлы* ведали бракоразводными делами. Солдатами были *Зайцы*. *Львов* и *Слона* отправили в обоз. Государственным советником стал *Осел*. А *Кром* — верховным смотрителем по делам управления. Как, по-вашему, генуэзцы, к чему привело

такое мудрое решение? Кого *Волк* не зарежет, того *Лиса* надует. Кто от *Лисы* уйдет, того лягнет *Осел*. *Тигр* душил невинных. *Голубь* миловал воров и убийц. А когда один сдавал должность другому, смотритель *Кром* заявлял, что все в полном порядке, ни подо что не подкопаешься! Звери возмущались. «Изберем себе монарха! — в один голос закричали они. — Монарха зубастого, с головой, и брюхом у него только одно будет!» И все присягнули *одному* владыке, — заметьте, *одному*, генуэзцы! Но (*величаво поднимается и встает в их круг*). это был *Лев*!

Все (хлопают в ладоши, бросая вверх шапки).
Браво! Браво! Это они ловко придумали!

Первый. Пусть и в Генуе будет так! В Генуе есть кого выбрать!

Фиеско. О нем не будем говорить. Ступайте по домам. Но помните о *Льве*!

Граждане с шумом выходят.

Все идет отлично. Народ и сенат против Дория! Народ и сенат за Фиеско!.. Гассан! Гассан!.. Поставим паруса! Ветер благоприятен. Гассан! Гассан!.. Надо разжечь их ненависть. Подогреть их пыл. Сюда, Гассан! Исчадие преисподней! Гассан! Гассан!

Я В Л Е Н И Е Д Е В Я Т О Е

Мавр входит. Фиеско.

Мавр (грубо). У меня еще подошвы горят. Что там опять?

Фиеско. То, что я прикажу.

Мавр (вкрадчиво). Куда мне бежать сперва? Куда потом?

Фиеско. На этот раз бегать тебе не придется. Тебя поволокут. Соберись-ка с духом. Я сейчас объявлю о твоем покушении на меня и передам тебя, связанного, заплечным мастерам.

Мавр (отступив на шесть шагов). Сударь, это против уговора!

Фиеско. Будь покоен. Все это комедия. Сейчас самое главное, чтобы получило огласку покушение *Джако-*

неттино на мою жизнь. Тебя будут допрашивать с пристрастием.

Мавр. А мне признаваться или отрицать?

Фиеско. Отрицать. Тебя подвергнут пытке. Первую степень ты выдержишь. Считай это расплатой за то, что ты поднял на меня руку. Во время второй — признаешься.

Мавр (*качая головой, недоверчиво*). Дьявол хитер! А что если этим господам вздумается продлить развлечение и они меня так, шутки ради, колесуют?

Фиеско. Уйдешь живой и здоровый. Моя графская честь тому залогом. Я потребую, чтобы мне в удовлетворение дали самому определить тебе казнь, и на глазах у всей республики помилую тебя.

Мавр. Делать нечего. Разомнут они мне косточки. Ну, не беда! Увертливей стану.

Фиеско. Так живей оцарапай мне руку кинжалом, чтобы видна была кровь. Я притворюсь, будто только что схватил тебя на месте преступления. Так. (*Неистово кричит.*) Убийца! Убийца! Держи его! Заприте ворота! (*Хватает мавра за горло и волочит прочь*).

На сцене пробегают слуги.

Я В Л Е Н И Е Д Е С Я Т О Е

Леонора и Роза вбегают испуганные.

Леонора. Убийство! Кто-то кричал здесь: «Убийство!»

Роза. Наверно, какая-нибудь уличная драка. В Генуе дня без нее не обходится.

Леонора. Кричали: «Убийство!» И народ называл имя Фиеско! Жалкие обманщики! Они хотели пощадить мои глаза, но мое сердце их перехитрило! Скорей беги за ними! Узнай, куда они потащили его.

Роза. Успокойтесь! Белла уже побежала.

Леонора. Его угасающий взгляд падет на Беллу! Счастливица! Горе мне — я его убийца! Если бы я сумела сохранить любовь Фиеско, он никогда бы не покинул домашнего очага, не бросился бы навстречу кинжалам завистников. Вот Белла! Прочь! Ни слова, Белла!

Я В Л Е Н И Е О Д И Н Н А Д ЦА Т О Е

Те же. Арабелла.

Арабелла. Граф цел и невредим. Я видела, как он проскасал по городу. Никогда еще наш господин не был так красив! Вороной конь играл под ним и, гордясь своим сиятельныйным седоком, разгонял теснящийся народ. Граф заметил меня, пролетая мимо, милостиво мне улыбнулся, кивнул и послал три воздушных поцелуя. (*Лукаво.*) Что мне с ними делать, синьора?

Леонора (*в восторге*). Ветреная болтунья! Верни их ему!

Роза. Ну, видите! Вот вы и снова как маков цвет!

Леонора. Он бросает свое сердце под ноги по-таскухам, а я ловлю каждый его взгляд! О женщины, женщины!

Уходят.

Я В Л Е Н И Е Д В Е Н А Д ЦА Т О Е

Во дворце Андрея.

Джанеттино и Ломеллино быстро входят.

Джанеттино. Пусть их воют по своей свободе, как львица по львенку! Я не отступлюсь!

Ломеллино. Ваша милость, но...

Джанеттино. К дьяволу твои «но», прокуратор без году неделя! Не отступлюсь ни на волосок, хотя бы все башни Генуи трясли головами, а бушующее море ревело «нет!» Мне этот сброд не страшен!

Ломеллино. Чернь — всего лишь поленья, объятые пламенем; раздувает огонь дворянство. Вся республика в брожении. И народ и патриции.

Джанеттино. Что ж, я, как Нерон, буду любоваться с горы потешным пожаром.

Ломеллино. Покуда все мятежники не перекинутся к какому-нибудь вожаку, к честолюбцу, который только и мечтает пожать плоды смуты!

Джанеттино. Пустое! Пустое! Я знаю только одного, кто мог бы стать опасен, но о нем уже позабылись.

Ломеллино. Его светлость.

Входит Андрея. Оба низко кланяются.

Андреа. Синьор Ломеллино! Моя племянница собирается выезжать.

Ломеллино. Я буду иметь честь сопровождать ее. (*Уходит.*)

Я В Л Е Н И Е Т Р И Н А Д Ц А Т О Е

Андреа, Джанеттино.

Андреа. Слушай, племянник! Я тобою очень недоволен.

Джанеттино. Выслушайте меня, государь!

Андреа. Готов выслушать последнего нищего в Генуе, если он того заслуживает. Негодяя — никогда, будь он даже мой племянник. Большая милость и то, что я разговариваю с тобой как дядя: герцогу следовало бы призвать тебя к ответу в синьории.

Джанеттино. Одно слово, ваша светлость...

Андреа. Выслушай, что ты натворил, и потом держи ответ... Ты опрокинул здание, которое я полвека возводил вот этими руками.— мавзолей твоего дяди, его единственную пирамиду — любовь генуэзцев. Андреа прощает тебе это легкомыслие.

Джанеттино. Мой дядя и герцог...

Андреа. Не прерывай меня. Ты сломал мудрый механизм правления, который я, вдохновляемый свыше, подарил Генуе,— механизм, создание которого стоило мне стольких бессонных ночей, стольких опасностей, столько крови. Перед лицом всей Генуи ты запятнал мою княжескую честь, не воздав должного *моим* учреждениям. Для кого же они будут святыней, если *моя собственная кровь* презирает их?.. Твой дядя прощает тебе эту глупость.

Джанеттино (*обиженно*). Ваша светлость, вы воспитали меня как герцога Генуи.

Андреа. Молчи!.. Ты государственный изменник. Ты поразил государство в самую душу! А душа его — запомни, молокосос! — зовется *повиновением!* Если на закате дней своих пастырь решил отойти от трудов, ты вообразил, что стадо покинуто? Если Андреа сед как лунь, это еще не значит, что ты можешь вести себя, как уличный мальчишка, и попирать законы.

Джанеттино (*строптиво*). Довольно, герцог! И в моих жилах течет кровь Андреа, перед которым трепетала Франция!

Андреа. Молчать! Приказываю тебе! Я привык, чтоб море стихало, когда я говорю! Ты оплевал монаршью справедливость в самом ее храме. Знаешь ли ты, какова кара за это, бунтовщик? Теперь отвечай!

Джанеттино молчит, потупив взгляд.

Несчастный Андреа! Кровью сердца своего вскормил ты червя, что точит плоды твоих трудов!.. Я воздвиг для генуэзцев здание, способное посрамить все бренное, и сам же впустил туда поджигателя! Вот он! Безрассудный человек, благодаря мои старые кости, которые хотят, чтобы родные руки отнесли их в фамильный склеп. Благодари мою кощунственную любовь за то, что я не брошу с эшафота к стопам оскорбленного государства окровавленную голову бунтовщика. (*Быстро уходит.*)

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т О Е

Ломеллино, задыхаясь, перепуганный, Джанеттино молча, горящими глазами глядят вслед герцогу.

Ломеллино. Что я видел! Что слышал! Сейчас, сейчас бегите, принц! Все погибло!

Джанеттино. Что там такое погибло?

Ломеллино. Генуя, принц! Я прямо с базарной площади. Толпа народа окружила какого-то мавра, скрутила ему руки и поволокла в суд на пытку; граф Лаванья и более трехсот дворян следовали за ней. Мавра схватили, когда он покушался на жизнь графа Фиеско.

Джанеттино (*топая ногой*). Что? Никак все черти нынче вырвались на волю?

Ломеллино. Мавра допрашивали, хотели узнать, кто его подослал. Он не признался. Его подвергли пыткам первой степени. Он молчал. Применили вторую степень. Мавр заговорил и показал... Ваша милость, о чём вы думали? Как могли вы доверить вашу честь такой твари?

Джанеттино (*в неистовстве*). Не задавай мне вопросов!

Ломеллино. Слушайте дальше. Едва было названо имя Дория — ах, я предпочел бы прочесть свое имя в списке грешников, обреченных аду, чем услышать ваше там, на базарной площади! — Фиеско явился народу. Вы знаете его, этого человека, в устах которого приказание звучит, как просьба, знаете, как он умеет играть на чувствах толпы. Все слушали его затаив дыхание, замерев от ужаса. Он был немногословен, он только протянул руку, с которой капала кровь, — и народ дрался за эти капли, как за священные реликвии. Мавра выдали ему головой, и Фиеско — это тяжкий удар для нас,— Фиеско его помиловал. Тут безмолвие народа превратилось в бешеный рев, каждый возглас грозил вам смертью, а Фиеско при тысячеголосых криках «виват!» был отнесен на руках во дворец.

Джанеттино (*с зловещим смехом*). Пусть волны мятежа дохлестнут до моего горла! Император Карл! Этим словом я усмирию их, и все колокола Генуи умолкнут!

Ломеллино. Богемия далека от Италии. Если Карл поторопится, он как раз поспеет на ваши поминки.

Джанеттино (*достает письмо с большой печатью*). Стало быть, хорошо, что он уже здесь!.. Ты поражен, Ломеллино? Неужели ты думал, что у меня достанет безрассудства дразнить бешеных республиканцев, не будь они все у меня в руках?

Ломеллино (*смузично*). Не знаю, что и думать.

Джанеттино. Зато я знаю кое-что, о чем ты и не подозреваешь. Решение принято. Послезавтра слетят головы у двенадцати сенаторов. Дория — монарх, а император Карл — его покровитель. Ты пятишься от меня?

Ломеллино. Двенадцать сенаторов! Мое сердце не в силах объять двенадцатикратную кровавую вину!..

Джанеттино. Чудак! Мы ее сбросим у ступней моего трона! Видишь ли, мы с министрами императора Карла пришли к заключению, что у французов

есть еще сильные приверженцы в Генуе, они могут снова предать ее Франции, если мы их не выкорчуем. Старого императора эта мысль точит, как червяк. Он скрепил мой замысел своей подписью, а ты будешь писать то, что я тебе продиктую.

Ломеллино. Но я не знаю...

Джанеттино. Садись пиши!

Ломеллино. Что же мне писать? (*Садится.*)

Джанеттино. Имена двенадцати приговоренных: Франческо Центурионе.

Ломеллино (*пишет*). В награду за голосование он возглавит похоронную процессию.

Джанеттино. Корнелио Кальва.

Ломеллино. Кальва.

Джанеттино. Микаэле Цибо.

Ломеллино. Дабы охладить его желание стать прокуратором.

Джанеттино. Томазо Ассерато с тремя братьями.

Ломеллино перестает писать.

(Твердым голосом.) С тремя братьями.

Ломеллино (*пишет*). Да...ше.

Джанеттино. Фиеско ди Лаванья.

Ломеллино. Берегитесь! Берегитесь! Об этот черный камень¹ вы можете споткнуться и сломать себе шею.

Джанеттино. Сципион Бургоньино.

Ломеллино. Придется ему справлять свадьбу в другом месте.

Джанеттино. А я буду шафером. Рафаэль Сакко.

Ломеллино. Этому мне следовало бы выхлопотать прощение, покуда он не отдаст мои пять тысяч скудо. (*Пишет.*) Смерть все долги спишет.

Джанеттино. Висенте Кальканьо.

Ломеллино. Кальканьо. Двенадцатого я припишу на свой страх и риск: не забудем же мы своего главного врага!

¹ Lavagna — черный камень (*итал.*).

Джанеттино. Конец — делу венец. Джузеппе Веррина.

Ломеллино. Вот она, голова гидры. (*Поднимается, присыпает список песком и, пробежав его глазами, передает принцу Джанеттино.*) Итак, послезавтра синьора Смерть дает роскошный праздник! Приглашены двенадцать знатнейших генуэзцев!

Джанеттино (*подходит к столу, подписывает*). Дело сделано. Через два дня выборы дожа. Когда синьория соберется, по взмаху платка один залп уложит всю дюжину, а мои двести немцев в это время займут ратушу. Едва все будет кончено, войдет Джанеттино Дория и позволит присягнуть себе. (*Звонит.*)

Ломеллино. А как же Андреа?

Джанеттино (*презрительно*). Он дряхл.

Входит слуга.

Если спросит герцог — я у обедни.

Слуга уходит.

Беса в моей душе иначе не спрячешь, как под маской благочестия.

Ломеллино. А список, принц?

Джанеттино. Ты возьмешь его с собой и пущишь по рукам среди наших приверженцев. А это письмо должно быть доставлено с нарочным в Леванто. В нем я сообщаю Спиноле о моей затее и велю ему быть в столице к восьми часам утра. (*Хочет уйти.*)

Ломеллино. В нашей сети прореха, принц! Фиеско не бывает теперь в сенате.

Джанеттино (*обернувшись*). Должен же остаться в Генуе хоть один бунтовщик. Я о нем позабочусь. (*Уходит в боковую дверь, Ломеллино — в другую.*)

Я В Л Е Н И Е П Я Т Н А Д Ц А Т О Е

Аванзала во дворце Фиеско.

Фиеско, в руках у которого письма и векселя. Мавр.

Фиеско. Итак, четыре галеры прибыли.

Мавр. Благополучно бросили якорь в Дарсене.

Фиеско. Как раз во-время. Откуда депеши?

Мавр. Из Рима, Пьяченцы и Франции.

Фиеско (*вскрывает письма, пробегает их*). Добро пожаловать! Добро пожаловать в Геную! (*Очень обрадованный.*) Нарочных угостить по-княжески.

Мавр. Гм... (*Хочет идти.*)

Фиеско. Стой, стой! Тут для тебя работы еще полно!

Мавр. Что угодно? Нюх ищечки или жало скорпиона?

Фиеско. На сей раз — трель подсадной пташки! Завтра поутру в город проберутся переодетыми две тысячи человек, чтобы поступить ко мне на службу. Расставь своих подручных у ворот и прикажи им зорко следить за прибывающими. Одни будут разыгрывать из себя паломников, направляющихся в Лоретто, другие монахов, савояров, комедиантов, торговцев, бродящих музыкантов. Большинство явится под видом отставных солдат, надеющихся сыскать себе пропитание в Генуе. Спрашивай у каждого, где он намерен остановиться. Кто ответит: «*Под золотой змеей*», того обласкать и указать дорогу к моему дворцу. Понял? Я рассчитываю на твою смекалку.

Мавр. Можете, сударь! Не меньше, чем на мое плутовство. Если я хоть муху проморгаю, зарядите моими глазами мушкет и стреляйте из него по воробьям. (*Хочет идти.*)

Фиеско. Постой! Еще одно дедо. В городе, конечно, пойдут толки про галеры. Прислушивайся. А спросит кто-нибудь, скажи, что краем уха слышал, будто твой господин собирается на турка, понял?

Мавр. Понял. Прикроем коробочку басурманскими бородами, чтобы ни один черт не догадался, что там внутри! (*Хочет идти.*)

Фиеско. Не спеши. Еще одна предосторожность: у Джанеттино есть новый повод ненавидеть меня иставить мне ловушки. Поразнюхай среди вашего брата, не пахнет ли где покушением. Дория посещает веселые дома — подзаймись-ка девами радости. Тайны двора часто скрыты в складках бабьих юбок. Посули им тароватых гостей, даже своего хозяина пообещай привести.

Ничем не брезгай, ныряй в это болото с головой, пока не нашупаешь твердой почвы.

М а в р. Стойте-ка! Я ведь вхож к некоей Диане Бонони, года полтора поставлял ей гостей. Позавчера я видел, как прокуратор Ломеллино выходил из ее дома.

Ф и е ск о. Как по заказу! Ломеллино — ключ ко всем сумасбродным планам Дория. Завтра же утром отправляйся к ней. Может статься, что этот Эндимион и нынешнюю ночь проводит у своей целомудренной Дианы.

М а в р. Еще одно, сударь! Как быть, если генуэзцы спросят,— а они спросят, черт меня подери! — что думает Фиеско о Генуе?.. Собираетесь вы сбросить маску или нет? Что мне отвечать?

Ф и е ск о. Что отвечать? Отвечай: плод уже созрел. Схватки предвещают роды. Генуя лежит на плахе. А твоего господина зовут Джованни Лодовико Фиеско.

М а в р (*сладко потягиваясь*). Клянусь своей канальской честью, я это дельце обстряпаю! Ну, друг Гассан, ходи веселей! Первым делом в трактир! У моих ног полон рот хлопот! Надо брюхо задобрить, чтобы хоть оно за меня словечко замолвило! (*Уходит, но тут же возвращается.*) А propos! Чуть было не забыл, так заболтался! Вы желали знать, что получилось у Кальканьо с вашей супругой. Конфуз получился: Кальканьо ушел с носом — больше ничего. (*Убегает.*)

Я В Л Е И Н Е Ш Е С Т Н А Д Ц А Т О Е

Ф и е ск о один.

Ф и е ск о. Примите мои сожаления, маркиз Кальканьо!.. Неужели вы думали, что я брошу на произвол судьбы такой деликатный предмет, как брачное ложе, не будь мне порукой добродетель моей жены и мои собственные достоинства? Но ты хороший солдат — милости просим в родство! Это мне сосватает твой меч на погибель Дория. (*Расхаживает большими шагами по комнате.*) Что ж, Дория, выходи на арену! Все пружины отважного предприятия пущены в ход. Инструменты настроены перед страшным концертом! Оста-

лось только сбросить личину и показать генуэзским патриотам Фиеско; каков он есть.

Слышатся шаги.

Сюда идут! Кто это явился мне мешать в такую пору?

Я В Л Е Н И Е С Е М И А Д Ц А Т О Е

Фиеско, Веррина, Романо с мольбертом, Сакко,
Бургоньино, Кальканьо. Все кланяются.

Фиеско (*идет им навстречу; весело*). Добро пожаловать, мои достойные друзья! Верно, важное дело привело вас ко мне всех вместе?.. И ты здесь, дорогой брат Веррина? Я мог бы забыть твои черты, если бы в мыслях ты не являлся мне чаще, чем в действительности. Насколько помнится, после того бала я так и не видел моего Веррины?

Веррина. Не сетуй на него, Фиеско. Тяжкое бремя легло в эти дни на его седую голову. Но довольно об этом.

Фиеско. Не довольно, чтобы утолить любознательность моей любви. Тебе придется рассказать мне подробнее, когда мы останемся одни. (*Бургоньино.*) Добро пожаловать, юный герой! Знакомство наше еще зелено, но мои дружеские чувства уже созрели. Не изменилось ли к лучшему ваше мнение обо мне?

Бургоньино. Ты не далек от истины.

Фиеско. Веррина, говорят, что этот юный дворянин станет твоим зятем. Я всем сердцем одобряю такой выбор. Мне только однажды довелось беседовать с ним, и тем не менее я был бы горд, если бы мне предстояло сделаться его тестем.

Веррина. Твой отзыв заставляет меня гордиться своей дочерью.

Фиеско (*к остальным*). Сакко! Кальканьо!.. Все редкие гости в моем доме. Право же, я стыжусь своего гостеприимства, если им пренебрегаете вы, благороднейшие сыны Генуи!.. Теперь дозвольте мне приветствовать пятого гостя; хоть он мне и не знаком, но порукой ему служит этот достойный круг.

Романо. Он всего лишь живописец, синьор, по

имени Романо, который добывает себе пропитание, обкрадывая природу; на его гербе — только кисть; в настоящее время он занят поисками (*низко кланяясь*) хорошей натуры для головы Брута.

Фиеско. Вашу руку, Романо. Искусство, которому вы так верно служите, не чуждо этому дому. Я люблю его братской любовью. Ведь оно — правая рука природы. Природа создала только тварей, искусство — человека. Что вы пишете, Романо?

Романо. Сцены из древней истории, и поныне волнующие нас. Во Флоренции находится мой «Умирающий Геракл», в Венеции — моя «Клеопатра», в Риме, в Ватикане — там, где вновь ожидают герои былых дней, — мой «Буйный Аякс».

Фиеско. А чем занята ваша кисть в настоящее время?

Романо. Она заброшена, ваша милость. В наши дни светоч гения стал получать меньше масла, чем нужно светочу жизни. С недавних пор горит один лишь фитиль! Вот моя последняя работа!

Фиеско (*оживленно*). Она бы не могла оказаться более желанной гостью. Сегодня во всем моем существе царит какое-то величавое спокойствие, дух мой необычайно ясен и восприимчив к извечной красоте природы. Поставьте сюда вашу картину. Это будет мне истинным праздником. Подойдите, друзья мои! Все наше внимание художнику. Поставьте же сюда ваше полотно.

Веррина (*делает знак остальным*). Примечайте, генуэзцы!

Романо (*устанавливает картину*). Свет должен падать с этой стороны. Подымем ту занавесь, эту опустим. Так, хорошо. (*Отходит в сторону*.) Это история Виргинии и Аппия Клавдия.

Долгая выразительная пауза. Все рассматривают картину.

Веррина (*с воодушевлением*). Рази, седовласый отец! Трепещешь, тиран? Что вы стоите, как истуканы, римляне, что вы побледнели? За ним, римляне!.. Тесак сверкнул!.. За мной, генуэзцы! Что вы стеите, как истуканы?.. Смерть Дория! Смерть! Смерть! (*Замахивается на картину*.)

Фиеско (*улыбаясь художнику*). Каков успех?
Ваше искусство превратило этого старца в безусого
мечтателя!

Веррина (*в изнеможении*). Где я? Куда они
исчезли? Как пузыри на воде. Ты здесь, Фиеско? Ти-
ран еще жив, Фиеско?

Фиеско. Вот, видишь? Ну где твои глаза? Ты
восхищен головой этого римлянина? Что ты нашел в ней?
Взгляни лучше на девушку! Сколько нежности, сколь
женственен весь ее облик! Как прелестны эти увядаю-
щие уста! Какая нега в гаснущем взоре! Неподражаемо!
Божественно, Романо!.. А эта ослепительно белая грудь,
как живописно приподнял ее последний вздох! Пишите
побольше таких нимф, Романо, и я преклоню колена
перед вашими вымыслами и дам отставку природе!

Бургоньино. Веррина, это и есть то великое
действие, на которое ты так надеялся?

Веррина. Не падай духом, сын мой! Провидение
отвергло руку Фиеско затем, что избрало нас!

Фиеско (*художнику*). Да, это ваше последнее
творение. Это предел, Романо, вы исчерпали себя! Не
притрагивайтесь больше к кисти! Но, восхищаясь худож-
ником, я забываю любоваться его творением. Стоя
перед этим полотном, я не заметил бы и землетрясения.
Уберите вашу картину! Чтобы дать вам достойную
цену за эту головку Виргинии, мне пришлось бы зало-
жить всю Геную. Уберите!

Романо. Честь — высшая награда художнику.
Я дарю вам эту картину. (*Хочет идти.*)

Фиеско. Подождите, Романо! (*Величавой по-
ступью расхаживает по комнате, погруженный в
раздумье о чем-то большом и значительном; время от
времени бросает на присутствующих пронзительный
взгляд. Наконец, берет художника под руку и подве-
дит его к картине.*) Иди сюда, живописец! (*С необы-
чайной гордостью и достоинством.*) Ты гордишься тем,
что умеешь создавать видимость жизни на безжизнен-
ном холсте, ценою малых усилий увековечивать вели-
кие дела? Кичишься своим вдохновением, производя-
щим на свет марионеток без крови в жилах, без сердца,
без силы, рождающей деяния! Ты свергаешь тиранов

на полотне, а сам остаешься жалким рабом. Мазком кисти ты освобождаешь государства, но не в силах разбить собственные цепи. (*Громко, повелительно.*) Поди! Твоя работа — скоморошество! *Видимость, уступи место деянию!*.. (*Опрокинув мольберт, величественно.*) Я сделал то, что ты лишь намалевал!

Все потрясены. Романо в смущении уносит картину.

Я В Л Е Н И Е В О С Е М Н А Д Ц А Т О Е

Фиеско, Веррина, Бургоны, Сакко,
Кальканьо.

Фиеско (*прерывая напряженное молчание*). Вы думали, что лев спит, раз не слышно его рычания? У вас достало тщеславия, чтобы вообразить, будто вы единственные, кто ощущает цепи Генуи, единственные, кто хочет их разорвать? Да прежде чем вы издали услыхали звон цепей, Фиеско уже разбил их. (*Отпирает шкатулку, достает пачку писем и бросает их на стол.*) Вот солдаты Пармы!.. Вот золото Франции! Вот четыре галеры папы римского! Чего еще не хватает, чтобы обложить тирана в его берлоге? Что еще можете вы прибавить?

Все в оцепенении молчат. Фиеско, не дождавшись ответа, горделиво отходит в сторону.

Республиканцы, вы лучше умеете проклинать тиранов, чем нисровергать их!

Все, кроме Веррины, безмолвно бросаются к его ногам.

Веррина. Фиеско, дух мой склоняется перед тобой, не колена. Ты великий человек... но... встаньте, генуэзцы!

Фиеско. Вся Генуя негодовала на сибарита Фиеско! Вся Генуя проклинала Фиеско — этого пошлого волокиту! Генуэзцы, генуэзцы! Мое волокитство обмануло коварного деспота, мои *безумства* скрыли от ваших глаз мою опасную *мудрость*. Пеленами разгула был повит великий замысел. Довольно! Генуя узнала меня через вас. Самая отважная мечта моя сбылась.

Бургоньино (*с досадой бросается в кресла*).
Так я теперь — ничто.

Фиеско. Перейдем же быстрей от слов к делу. Механизм подготовлен к действию. Я могу штурмовать город с моря и с суши. Рим, Парма и Франция поддерживают меня. Дворянство возмущено. Сердца черни — мои. Тиранов я убаюкал. Республика готова к переплавке. Счастье уже сыграло нам на руку. У нас есть все. Только Веррина о чем-то еще размышляет.

Бургоньино. Терпенье! Я знаю слово, которое пробудит его быстрей, чем трубы страшного суда! (*Подходит к Веррине и, повысив голос, окликает его*.) Отец, очнись! Твоя Берта гибнет в муках!

Веррина. Кто произнес это? Генуэзцы, за дело!

Фиеско. Продумайте план действий. Мы заговорились — уже глубокая ночь. Генуя спит. Тиран свалился с ног, устав от дневных грехов. Бодрствуйте за обоих.

Бургоньино. Прежде чем разойтись, скрепим клятвенным объятием наш героический союз.

Они становятся в круг, подав друг другу руки.

В канун великого мига, что решит судьбу Генуи, сердца пяти ее величайших мужей да сольются воедино!

Круг еще тесней.

Когда рухнет мироздание и приговор последнего суда разорвет узы крови, узы любви, сей пятилистник героев да пребудет неразрывным!

Расходятся.

Веррина. Когда мы соберемся вновь?

Фиеско. Завтра в полдень я выслушаю ваши соображения.

Веррина. Итак, завтра в полдень. Покойной ночи, Фиеско! Бургоньино, идем! Ты услышишь нечто весьма необычное.

Оба уходят.

Фиеско (*остальным*). Пройдите через задние ворота, чтобы шпионы Дория ничего не заметили.

Все удаляются.

Я В Л Е И Н Е Д Е В Я Т Н А Д ЦА Т О Е

Фиеско (*в раздумье расхаживает взад и вперед по комнате*). Какое смятение в моей груди! Вихрем проносятся тайные думы! Словно злодеи, что вышли на черное дело, боязливо опустив долу рдеющие лица, крадутся передо мною дивные видения. Стойте! Стойте! Дайте взглянуть вам в лицо!.. Достойные мысли закаляют сердце мужа и не страшатся дневного света. А! Я узнал вас!.. Узнал по ливрее — вы слуги отца лжи!.. Сгиньте! (*После паузы, с новым жаром.*) Республиканец Фиеско? Герцог Фиеско? Остановись! Впереди зияющая пропасть, граница добродетели, рубеж небес и преисподней. Здесь не раз оступались герои, срывались в бездну, и мир предавал проклятию их имена. И здесь же их одолевали сомнения; герои решали: ни шагу дальше — и становились полубогами! (*Порывисто.*) Видеть, что сердца генуэзцев — мои, что грозная Генуя склоняется по мановению *моей* руки!.. О, ты лукав, искуситель, твои адские слуги являются нам в ангельском обличье!.. Злосчастная гордыня! Извечный грех! Твой поцелуй заставлял ангелов позабывать о небесах и чрево твое порождало смерть... (*Дрожа от ужаса.*) Ангелов ты соблазнял напевом о бесконечности... а для смертных твоя приманка: золото, женщины и короны! (*После раздумья, твердо.*) Завоевать венец — великое действие! Отбросить его — действие божественное! (*Решительно.*) Погибни, тиран! Генуя, будь свободной, и я твой (*расторгенно*) счастливейший гражданин.

З а на в е с

Д Е Й С Т В И Е Т Р Е ТЬ Е

Я В Л Е И Н Е П Е Р В О Е

Жуткая глушь. Ночь.

Веррина и Бургоньино входят.

Бургоньино (*останавливаясь*). Отец, куда ты меня ведешь? В твоем прерывистом дыханье мне слышится звук тяжкой муки, что прозвучала в твоем

голосе, когда ты позвал меня. Прерви зловещее молчание! Говори! Я не пойду дальше.

Веррина. Мы на месте.

Бургоньино. Ужаснее его не найти. И если так же ужасно то, что ты задумал, отец, каждый волос на моей голове встанет дыбом.

Веррина. Здесь цветущий сад в сравнении с мраком в моей душе. За мной, туда, где тление пожирает трупы, где смерть правит свою чудовищную тризну! Туда, где дьявол ликует, упиваясь воплями погибших душ, где тщетные слезы страдания льются в дырявое решето вечности! Туда, сын мой, где миром правят иные законы, где провидение стирает со своего щита девиз всеблагости. Там я, дрожа, откроюсь тебе, и ты, стуча зубами, выслушаешь меня.

Бургоньино. О чем ты? Говори! Заклинаю тебя!

Веррина. Юноша! Я не решаюсь. Юноша! Светла еще кровь в твоих жилах, нежна и податлива плоть,— то свидетели нежности чувств. В пламени твоей чувствительности плавится моя жестокая мудрость. Когда бы мороз старости или свинец скорби сковали твоих жизненных духов... когда бы сгустки почернелой крови закрыли чужим страданиям доступ к твоему сердцу, тогда бы ты понял язык моей муки и преклонился перед моим решением.

Бургоньино. Выскажи его — и оно станет моим.

Веррина. Нет, сын мой. Веррина пощадит твою душу. О Сципион! Тяжкое бремя давит эту грудь... мысль, бегущая света, как ночь, мысль, столь чудовищная, что ее не выдержит даже сердце мужа! Поймешь ли? Я приведу ее в исполнение один... но снести ее один я не в силах. Если бы я был гордецом, Сципион, я мог бы сказать: «*Быть великим в одиночестве — мука!*» Самого творца тяготило его величие, и он сделал духов своими наперсниками... Внемли, Сципион!

Бургоньино. Моя душа жаждет слиться с твоей!

Веррина. Внемли же, но не противоречь ни

словом! Ни словом, слышишь? Ни единым словом!
Фиеско должен умереть!

Бургоньино (*пораженный*). Умереть? Фиеско?

Веррина. Умереть! Благодарю тебя, боже! Слово сказано... Фиеско должен умереть, сын мой, умереть от моей руки!.. Теперь иди!.. Есть деяния, неподвластные суду человеческому, им судья — одно лишь небо! Таково задуманное мною. Иди! Мне не надобно ни порицания, ни похвалы. Я знаю, чего оно мне стоит, этого довольно. Но постой! Боюсь, эти размышления сведут тебя с ума. Так слушай: ты видел вчера, как он любовался собою, любовался нашей растерянностью? Человек, чья улыбка обманула всю Италию, равных себе в Генуе не потерпит. Иди! Бессспорно, Фиеско свергнет тирана. Еще бесспорнее: Фиеско станет самым грозным тираном Генуи. (*Быстро уходит.*)

Бургоньино, пораженный, безмолвно глядит ему вслед, потом медленно идет за ним.

Я В Л Е Н И Е В Т О Р О Е

Зал у Фиеско.

На заднем плане посередине большие стеклянные двери, за которыми открывается вид на море и город. Светает.

Фиеско (*у окна*). Что это?.. Луна зашла, и пламенное утро встает из волн морских. Безумные видения смущили сон мой. Всю ночь я метался, томимый одним и тем же чувством. Простора мне, я хочу расправить плечи! (*Распахивает стеклянные двери.*)

Город и море горят в лучах утренней зари. Фиеско ходит по комнате широкими шагами.

Не я ли величайший муж Генуи? Разве не удел малых сих спешить под сень великих? Но я преступаю закон добродетели. (*Останавливается.*) Добротель? Высокий ум знает иные искушения, нежели глупцы, как же ему разделять их добродетель? Придется ли по плечу великому панцырю, в который пигмеи втискивают свое жалкое тело?

Солнце всходит над Генуей.

Величественный город! (*Спешит к дверям, простирая руки.*) Ты мой! Воссиять над тобой, подобно царственному дню, хранить тебя монаршей десницей! Погрузить в этот бездонный океан все кипящие страсти, все ненасытные желания? Да! Как бы ни был хитер обманщик—обман не станет благородным делом. Зато великая цель облагородит и обманщика! Очистить кошелек — позор; присвоить миллион — наглость. Но похитить венец — несказанное величие! Чем больше грех, тем меньше стыд! (*После паузы, многозначительно.*) *Повиноваться! Властвовать!* Какая головокружительная пропасть! Она вмещает все, что есть дорогое у людей: ваши победы, полководцы; ваши бессмертные творения, художники; ваши наслаждения, эпикурейцы; ваши моря и острова, мореплаватели! *Повиноваться и властвовать! Быть и не быть!* Кто перешагнет пропасть, зияющую между вседержителем и последним из его ангелов, тому дано будет преодолеть и это расстояние. (*С величественным жестом.*) Стоять на страшной, головокружительной высоте... взирать свысока на бурный людской водоворот, где колесо слепой обманщицы Фортуны коварно играет судьбами людей, первым припадать к чаше радости, водить закон — этого титана в латах — на помочах, видеть, как тщетны все его старанья отплатить за нанесенные ему раны, ибо где-то там, внизу, он, в бессильной злобе наносит удары лишь по ограде, возведенной вокруг твоего величия! Мягкой игрой поводьев укрощать необузданые страсти народа, этого дикого табуна. *Одним, одним* дыханием повергать во прах гордого вассала, поднявшегося на дыбы. Видеть, как даже грезы, возникшие в воспаленном мозгу государя, воплощаются в жизнь единым мановением животворного монаршего жезла!.. О, при одной этой мысли восхищенный дух рвется из положенных ему пределов!.. Я — государь, хоть на *миг*! Что в сравнении с этим целая жизнь! Не в годах — в *полноте* жизни, вот в чем ценность бытия! Раздели гром на отдельные звуки — и они убаюкают ребенка; сплавь их вместе в единый внезапный удар — и царственный звук поколеблет вечные небеса... Я решился! (*Победоносным шагом ходит взад и вперед.*)

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ь Е

Фиеско. Леонора входит с заметной робостью.

Леонора. Простите, граф. Я, кажется, нарушила ваш утренний покой.

Фиеско (*в крайнем смущении отступает*). Сознаюсь, синьора, ваше появление для меня неожиданно.

Леонора. Неожиданные встречи не удивляют только любящих.

Фиеско. Прелестная графиня, вы предаете свою красоту неверной утренней прохладе.

Леонора. Не знаю, стоит ли мне беречь для скорби то, что осталось от моей красоты.

Фиеско. Для скорби, дорогая? Так я до сих пор заблуждался, полагая, что душевный покой — удел всех, кто *не потрясает государство*?

Леонора. Возможно... Но я чувствую, что тяжесть этого покоя раздавит мое женское сердце. Я пришла, синьор, потревожить вас ничтожной просьбой, если вы согласитесь пожертвовать для меня нескользкими минутами. Семь месяцев мне снился страшный сон: будто я — графиня ди Лаванья. Сон отлетел. Я очнулась с головной болью. И только возврат всех радостей моего невинного детства исцелит мой дух от этого видения, так похожего на явь. Дозвольте мне вернуться в объятия моей доброй матушки!

Фиеско (*ошеломленный*). Графиня!

Леонора. Мое сердце — нежная, хрупкая вещь, сжалитесь над ним. Всё, что хоть чем-нибудь напомнит мне тот сон, может повредить моему больному воображению. Поэтому я возвращаю законному владельцу то, что еще осталось в залоге. (*Кладет на стол несколько драгоценностей.*) Вот и кинжал, пронзивший мое сердце... (*Его любовное письмо.*) И это... и... (*Зарыдав, устремляется к выходу.*) Мне осталась одна лишь рана!

Фиеско (*потрясенный, спешит за нею, удерживает ее*). Леонора! Что за речи? Ради всего святого!

Леонора (*в изнеможении падает в его объятия*). Я не заслужила чести быть вашей супругой, но, кажется, ваша супруга заслуживала бы уважения!.. Как шицят

сейчас все злые языки! Как косо смотрят на меня дамы и девицы Генуи: «Взгляните, как вянет эта гордячка, выскочившая замуж за Фиеско!..» Жестокое возмездие за мое женское тщеславие! Да, преклонив колена с Фиеско перед алтарем, я бросила вызов всему своему полу!

Фиеско. Право же, синьора, это поистине странные речи!

Леонора (*про себя*). А, наконец-то! Его бросает то в жар, то в холод! У меня теперь достанет мужества.

Фиеско. Графиня, два дня — и тогда выносите мне приговор!

Леонора. Пожертвовать мною! О, я стыжусь тебя, девственная заря! Пожертвовать мною для развратницы! О, взгляните на меня, мой супруг! Неужели взгляд, перед которым рабски трепещет вся Генуя, трусливо спрячется от слез женщины?

Фиеско (*в крайней растерянности*). Ни слова больше, синьора! Ни слова!

Леонора (*скорбно, с горечью*). Растирзать слабое женское сердце! О, это достойно сильного пола!.. И я бросилась в объятия этого человека! Моя слабость так сладострастно прильнула к его силе! Ему я отдала все свое блаженство!.. И этот великодушный человек дарит его — кому?..

Фиеско (*с жаром, перебивает ее*). Моя Леонора! Нет!..

Леонора. Моя Леонора! Благодарю тебя, о небо! Снова я услышала чистый звук подлинной любви! Изменник! Я должна тебя ненавидеть, а я жадно подбираю крохи твоей нежности!.. Ненавидеть! Я сказала «ненавидеть», Фиеско? Не верь! Твоя измена убьет меня, но не заставит ненавидеть. О сердце, как ты обмануто!

Слышны шаги мавра.

Фиеско. Леонора, исполните мою маленькую, пустячную просьбу.

Леонора. Проси меня о чем хочешь, Фиеско, только не о равнодушии.

Фиеско. Думайте, что вам будет угодно, как вам будет угодно (*значительно*), но, пока Генуя не станет

двумя днями старше, не спрашивайте и не проклиныте.
(Подает ей руку и церемонно уводит ее в другую комнату.)

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

М а в р., впопыхах. Ф и е с к о.

Ф и е с к о. Что ты так запыхался!

М а в р. Скорей, ваша милость!..

Ф и е с к о. Что-нибудь попало в сети?

М а в р. Читайте письмо. Ох, неужто я уже здесь? То ли Генуя стала на двенадцать улиц короче, то ли мои ноги в двенадцать раз длиннее. Вы бледнеете? Да, они играют на головы, и ваша — первая ставка. Как вам это нравится?

Ф и е с к о *(с содроганием бросает письмо на стол).* Курчавый дьявол! Как ты завладел этим письмом?

М а в р. Примерно, как ваша милость республикой. Нарочный мчался с ним в Леванто. Я, чуя поживу, подстерег молодца в ущелье — баx! Хорек лапки кверху, а курочка — наша!

Ф и е с к о. Кровь его на твоей совести! Письмо но оплатить никаким золотом.

М а в р. Не откажусь и от серебра. *(Торжественно и серьезно.)* Граф ди Лаванья! Недавно я охотился за вашей головой. *(Указывая на письмо.)* Вот, возвращаю ее вам... Теперь, думается мне, сиятельный синьор и негодяй — в расчете. За дальнейшее уж благодарите доброго друга. *(Передает ему вторую записку.)* Номер два.

Ф и е с к о *(с удивлением берет бумагу).* В своем ли ты уме?

М а в р. Номер второй. *(Дерзко подходит к нему, подбоченяясь.)* Лев-то не дурак был, что мышь помиловал, а? *(Лукаво.)* То-то! Хитер! Иначе кто бы прогрыз тенета, в которых он запутался?.. Ну, как вам это нравится?

Ф и е с к о. Сколько чертей тебе служат?

М а в р. *Один,* да и тот на хлебах у вашего сиятельства.

Ф и е с к о. Собственноручная подпись Дория! Где ты взял этот список?

М а в р. Из рук моей Бонони, еще тепленьким. Я отправился туда прошлой ночью, побренчал вашими сладкими речами и еще более сладкими цехинами. Последнее ее проняло. Мне было велено явиться снова к шести утра. Ломеллино и впрямь оказался там и этой Сумажкой уплатил мыто за вход в райские врата!

Ф и е с к о (*горячо*). Ничтожные юбочники!.. Собираются низвергать республики и не могут ничего утаить от шлюхи! Здесь черным по белому написано, что Дория и его присные порешили убить меня и еще одиннадцать сенаторов и посадить Джанеттино самодержавным государем!

М а в р. Точно так! Утром, в день выборов дожа — сего месяца третьего числа!

Ф и е с к о (*энергично*). Надо, чтобы наша ночь успела задушить их утро еще во чреве матери!.. Живей, Гассан! Шевелись, Гассан!..

М а в р. Я еще не все новости вытряс из мешка! Две тысячи солдат благополучно пробрались в город. Я их пристроил у капуцинов. Там их даже самый любопытный солнечный луч не обнаружит. Они сгорают от желания видеть своего господина. Превосходные ребята, молодец к молодцу!

Ф и е с к о. С каждой головы снимешь скуди урожая!.. Что болтают в городе о моих галерах?

М а в р. Потеха, да и только, ваша милость! Четыре с лишком сотни искателей приключений, оставшихся на мели, когда француз с немцем примирился, пристали к моим ребятам, просят замолвить за них словечко, не пошлете ли вы их на басурман! Я велел им вечером прийти к вам на двор.

Ф и е с к о (*радостно*). Еще немного — и я брошусь к тебе в объятия, мерзавец! Ты мастер своего дела! Четыре сотни, говоришь? Теперь Геную не спасти! А ты заработал еще четыреста скуди!

М а в р (*откровенно*). Ну, каково, Фиеско? Мы вдвоем так встряхнем Геную, что все законы посыплются, хоть метлой подметай!.. Я вам еще не говорил, что у меня и в здешнем гарнизоне есть свои голубчики, в которых я так же уверен, как в том, что уложу в ад. Так вот: у каждого ворот в карауле стоит не меньше

шести моих ребят. Они заговорят зубы остальным часовым и напоят их до беспамятия. Стало быть, если вам придет охота идти на дело нынешней ночью, попомните: вся стража пьяна!

Фиеско. Довольно! До сих пор я катил эту чудовищную глыбу без всякой помощи, неужто же на последнем круге меня обойдет последний негодяй? Руку, мавр! Что тебе задолжал граф — заплатит герцог!

Мавр. Кроме всего прочего, вот еще записка от графини Империали. Она окликнула меня из окна, была очень милостива и насмешливо спросила, не разлилась ли желчь у графини Лаванья? Ваша милость, говорю, вас только ее здоровье интересует?

Фиеско (*прочитав записку и бросив ее*). Ответ не плох. А она?

Мавр. Сказала, что она опечалена вдовьей долей графини и в угоду ей готова в будущем запретить вашей милости волокитство.

Фиеско (*саркастически*). Оно, пожалуй, и так прекратилось бы до светопреставления! Это и все важное, Гассан?

Мавр (*лукаво*). Сударь, дамские дела на первом месте после политических...

Фиеско. Ну, разумеется! А дела этой дамы и подавно. Что у тебя там за бумажонка?

Мавр. Чертовщина почище первой. Порошок, который мне дала синьора, чтобы я ежедневно подсыпал его вашей супруге в шоколад.

Фиеско (*побледнев, отступая*). Дала тебе...

Мавр. Донна Джуллия, графиня Империали.

Фиеско (*вырывает пакетик у него из рук*). Я велю живьем приковать тебя к флюгеру башни святого Лоренцо, если ты лжешь, каналья! Пусть ветер волчком вертит тебя! Так этот порошок...

Мавр (*нетерпеливо*). Донна Джуллия Империали приказала подсыпать в пойло вашей жене,— то есть в шоколад, хотел я сказать.

Фиеско (*вне себя*). Чудовище! Чудовище! Этому кроткому созданию?.. Ужели целый ад вмещается в душе женщины? Благодарю тебя, господи, разрушившего этот замысел рукой еще более злобного дьявола! Пути

твои неисповедимы! (*Мавр.*) Пообещай ей все исполнить и молчи!

Мавр. Охотно. Последнее мне нетрудно: она заплатила чистоганом.

Фиеско. В этой записке она зовет меня к себе... Я приду, мадам! И уж сумею уговорить вас последовать за мной *сюда*. Ладно. Беги что есть духу, сзываи всех заговорщиков.

Мавр. Я чуял, что последует такой приказ, и на свой страх и риск пригласил всех к десяти часам.

Фиеско. Я слышу шаги. Ну, малый, ты заслужил такую виселицу, на какой не болтался еще ни один сын Адама. Ступай в прихожую, жди, пока я позвоню.

Мавр (*уходит*). Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. (*Уходит.*)

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

Все заговорщики.

Фиеско (*идет им навстречу*). Тучи надвинулись. Близится гроза. Не стучите. Заприте дверь на оба замка.

Веррина. Я запер все восемь комнат, которые мы прошли, измена не может подступить к нам ближе, чем на сто шагов.

Бургоньино. Здесь пет предателя, если им не станет наш страх.

Фиеско. Страху не переступить порога моего дома. Милости прошу каждого, кто остался таким же, как вчера. Садитесь!

Все садятся.

Бургоньино (*расхаживая по комнате*). Мне не сидится, когда я думаю о перевороте!

Фиеско. Генуэзцы, настал великий час.

Веррина. Ты призвал нас, чтобы обсудить план убийства тирана. Спрашивай! Мы пришли отвечать тебе.

Фиеско. Первый вопрос запоздал настолько, что вам он может показаться странным,— *кто* должен пасть?

Все молчат.

Бургоньино (*наклоняясь над креслом Фиеско, многозначительно*). Тираны.

Фиеско. Хорошо сказано: *тираны*. Прошу вас, вдумайтесь в это слово! Кто более тиран; тот, кто только замышляет ниспровергнуть свободу или тот, у кого на это достанет сил?

Веррина. Первого я ненавижу. Второго страшусь. Да падет Андреа Дория!

Кальканьо (*взволнованно*). Андреа? Дряхлый Андреа, чьи счеты с природой, может быть, завтра будут покончены?

Сакко. Андреа? Кроткий старец?

Фиеско. Ужасна кротость этого старца, милый Сакко! И только смехотворна наглость Джанеттино. Да падет Андреа Дория! Сама мудрость говорила твоими устами, Веррина!

Бургоньино. Стальные узы или шелковые — все равно узы. Да падет Андреа Дория!

Фиеско (*подходя к столу*). Приговор дяде и племяннику вынесен! Подпишите!

Все подписываются.

Кто — мы уже решили.

Все садятся.

Теперь столь же важный вопрос — *как?* Ваше слово первое, друг Кальканьо!

Кальканьо. Есть два пути: путь солдат и путь заговорщиков. Первый опасен, ибо заставляет посвятить в нашу тайну многих; ненадежен, ибо не вся нация на нашей стороне. Для второго — довольно пяти хороших кинжалов. Через три дня торжественная обедня в церкви святого Лоренцо. Оба Дория будут там. Перед лицом всемогущего тираны не внушают трепета. Я кончил.

Фиеско (*отвернувшись*). Кальканьо, твоя рассудительность отвратительна. Рафаэль Сакко?

Сакко. С доводами Кальканьо я согласен, путь, предложенный им, возмущает меня. Пусть лучше Фиеско пригласит дядю и племянника на пир; теснимые гневом республики, они должны будут сами избрать себе

смерть: либо от наших кинжалов, либо в добром кипрском вине. Этот способ по крайней мере удобен.

Фиеско (*с ужасом*) Сакко! А что, если вино, которого коснется их холдеющий язык, для нас обратится в кипящую смолу, в предвкушение адских мук?.. Плох твой совет! Говори ты, Веррина!

Веррина. На честное дело идут с поднятым забралом. Убийство из-за угла роднит нас с любым бандитом. Меч — оружие героя. Мое мнение: мы открыто подадим сигнал к восстанию и подвигнем на месть генуэзских патриотов. (*Вскакивает со стула, остальные тоже*.)

Бургоньино (*кидается ему на шею*). Вооруженной рукой завоюем благосклонность Фортуны. Бог голос чести и мой!

Фиеско. И мой! Стыдитесь, генуэзцы! (*Обращаясь к Сакко и Кальканью*.) Фортуна и так немало потрудилась на нас, пора и нам приниматься за работу... Итак, восстание — нынче же ночью, генуэзцы!

Веррина и Бургоньино поражены, остальные испуганы.

Кальканьо. Как? Нынче же ночью? Тираны еще слишком могущественны, у нас не много приверженцев.

Сакко. Нынче ночью? Ничего еще не сделано, а солнце уже склоняется к западу.

Фиеско. Сомнения ваши вполне обоснованны, но прочтите вот это. (*Подает им список Джанеттино и, прохаживаясь по комнате, лукаво поглядывает на них, пока они читают*.) Счастливого пути, Дория, прекрасное светило! Гордо и надменно красовалось ты в небе Генуи, словно все оно было твоим владением! Разве ты не видел, что и солнце покидает небеса, чтобы делить с месяцем владычество над миром? Прощай же, Дория, прекрасное светило!

И Патрокла нет на свете,
А ведь он — не ты.

Бургоньино (*прочитав список*). Это ужасно!

Кальканьо. Двенадцать одним ударом!

Веррина. Завтра в синьории!

Бургоньино. Дайте мне этот список. Высоко

держа его в руках, я во весь опор проскачу по улицам Генуи, так что камни сорвутся с мест и псы поднимут вой о неслыханном злодействе!

В с.е. Мщенье! Мщенье! Мщенье! Нынче же ночью!

Фиеско. Такими я хотел вас видеть! Когда настанет вечер, я созву к себе на праздник всю недовольную знать, всех, кто значится в черном списке Джанеттино, и еще Саули, Джентили, Бивальди и Везодимари,— словом, всех заклятых врагов Дория: убийца, видно, позабыл, что их ему тоже следует страшиться. Они с радостью схватятся за мое предложение примкнуть к нам, в этом я не сомневаюсь.

Бургоньино. И я не сомневаюсь.

Фиеско. Прежде всего надо обезопасить себя с моря. Галеры и матросы у меня есть. На всех двадцати кораблях Дория убранны паруса и отпущены команды, их нетрудно захватить. Мы запрем устья Дарсены и отнимем у них всякую надежду на бегство. А если гавань станет нашей — Генуя в оковах.

Веррина. Бессспорно.

Фиеско. Потом мы захватим все укрепленные места в городе. Самый важный — ворота святого Фомы, выход в гавань, там соединятся наши морские и сухопутные силы. Дория будут застигнуты в своих дворцах и убиты. Забьем тревогу на всех улицах, ударим в набат, призовем граждан встать на нашу сторону и биться за свободу Генуи. Если счастье будет нам благоприятствовать, вы услышите о дальнейшем в синьории.

Веррина. План хороший. Скажи, как мы распределим роли?

Фиеско (*многозначительно*). Генуэзцы! Вы добровольно поставили меня во главе заговора. Будете вы и впредь повиноваться моим приказам?

Веррина. Да, поскольку они будут наилучшими.

Фиеско. Веррина, знаешь ли ты девиз тех, кто встал под знамена?.. Генуэзцы, скажите ему: этот девиз — *повинование!* Знайте, если эти головы не готовы повиноваться моему слову, если я не буду главою заговора — то считайте в нем одним участником меньшинство!

Веррина. Свободная жизнь стоит нескольких часов рабства. Мы повинуемся.

Фиеско. Тогда идите. Один из вас пройдется по городу и доложит мне о сильных и слабых местах укреплений. Второй выведет пароль. Третий вооружит экипажи галер. Четвертый приведет две тысячи солдат к моему дворцу. Я сам закончу к вечеру все приготовления и, если посчастливится, еще сорву банк в фараон. Точно в девять всем быть во дворце, чтобы выслушать мои последние приказания. (*Звонит.*)

Веррина. Я беру на себя гавань. (*Уходит.*)

Бургоньино. А я солдат. (*Уходит.*)

Кальканьо. Пароль выведаю я. (*Уходит.*)

Сакко. Я отправлюсь на рекогносцировку в город. (*Уходит.*)

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Фиеско. Затем мавр.

Фиеско (*присел к бюро и пишет*). Как они извиваются от словечка «повиновение», словно гусеницы на булавке!.. Но поздно, республиканцы!

Мавр (*входит*). Ваша милость...

Фиеско. Всех, чьи имена стоят в этой записке, пригласишь к вечеру на комедию!

Мавр. Участвовать в ней? Плата за вход — голова?

Фиеско (*враждебно и презрительно*). Когда исполнишь это, я не стану тебя более задерживать в Генуе. (*Уходя роняет кошелек с золотом.*) Это будет твоим последним делом. (*Уходит.*)

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬ М О Е

Мавр (*ошеломленный, медленно поднимает кошелек, глядя вслед Фиеско*). Так вот ты как со мной заговорил: «Я не стану тебя более задерживать в Генуе!» В переводе с христианского на мой басурманский это значит: «Когда я стану герцогом, я тебя, любезный друг, велю вздернуть на первом суку». Так, ясно. Я знаю все его плутни: он беспокоится, как бы я не замарал его честь своим языком, когда он станет герцогом. Легче, господин граф! Я еще, пожалуй, подумаю! Итак, старик Дория, твоя шкура у меня в руках. Пропал ты, если я промолчу. А пойди я сейчас и выдай весь заговор, я как-

никак спасу герцогу жизнь и герцогство. В благодарность он мне как-нибудь наполнит до краев эту шляпу золотом. (*Хочет идти, но внезапно останавливается.*) Только не спеши, брат Гассан! Уж не собрался ли ты свалить дурака? А что, если эта резня не состоится да еще что-нибудь доброе выйдет?.. Ай-ай-ай! Чуть было жадность не сыграла со мной дьявольскую шутку... От чего будет больше зла: если я надую Фиеско или если я этого Дория подведу под нож?.. Ну-ка, черти, пораскиньте мозгами!.. Выгорит дело у Фиеско — и Генуя, чего доброго, процветать начнет! К черту! Не годится! Выскочит Дория цел и невредим — все остается по-старому, и в Генуе наступит мир — это еще хуже. Эх, а красивое было бы представление, кабы головы мятежников полетели в котел к нечистому!.. Славная вышла бы резня нынче ночью, кабы их светлостей придушили по команде мавра! Нет! В этой неразберихе разве только христианин разберется, а нехристь тут ногу сломит!.. Пойти кого ученого спросить!

Я В Л Е Н И Е В О С Ъ М О Е

Покои у графини Империали. Джуллия в пижаме. Джанеттино входит взбешенный.

Джанеттино. Добрый вечер, сестра!

Джуллия (*вставая*). Какие чрезвычайные обстоятельства привели наследного принца Генуи к сестре?

Джанеттино. Сестра, вокруг тебя всегда вьются мотыльки, а вокруг меня — шерши. Как тут быть? Сядем.

Джуллия. Моего терпения надолго не хватит.

Джанеттино. Сестра, когда у тебя в последний раз был Фиеско?

Джуллия. Станный вопрос. Неужто я могу помнить о таких пустяках?

Джанеттино. Мне непременно нужно это знать.

Джуллия. Ну... Он приходил вчера.

Джанеттино. Открыто? Не таясь?

Джуллия. Как обычно.

Джанеттино. И все с теми же фантастическими бреднями?

Джулия (*оскорблена*). Брат!

Джанеттино (*повысив голос*). Отвечай! Все с теми же бреднями?

Джулия (*возмущено встает*). За кого вы меня принимаете, брат?

Джанеттино (*продолжая сидеть, с издевкой*). За кусок женского мяса, завернутый в большущую дворянскую грамоту. Это, конечно, между нами, сестрица,— нас ведь никто не подслушивает.

Джулия (*запальчиво*). Между нами, нас ведь никто не подслушивает, — вы наглая обезьяна, наживающаяся на имени своего дяди!

Джанеттино. Сестренка, сестренка! Не злись! Я просто доволен, что у Фиеско все те же бредни. Мне этого и надо. Честь имею кланяться. (*Хочет идти*.)

Я В Л Е Н И Е Д Е В Я Т О Е

Входит Ломеллино.

Ломеллино (*целует Джуллии руку*). Простите мою дерзость, синьора. (*Обращаясь к Джанеттино*.) Дела, не терпящие отлагательства.

Джанеттино отводит его в сторону. Джуллия в гневе подходит к клавесину и играет бурное аллегро.

Джанеттино. На завтра все готово?

Ломеллино. Все, принц! Но вот курьер, сегодня на заре отправленный в Леванто, не вернулся. Спинолы тоже нет. Что, если его перехватили? Я очень встревожен.

Джанеттино. Напрасно. Список при тебе?

Ломеллино (*смузгенно*). Ваша милость... список... не знаю... верно, я забыл его в кармане своего вчерашнего камзола...

Джанеттино. Не беда. Только бы Спинола вернулся. Завтра утром Фиеско найдут мертвым в постели. Я распорядился.

Ломеллино. Это произведет ужасное впечатление.

Джанеттино. В том-то и залог нашего успеха, любезный! От будничных преступлений у людей в

жилах закипает кровь, и они способны на все. От редкостных злодеяний кровь стынет в жилах, и человек уже бессилен! Знаешь сказку про голову медузы? Взгляд ее обращает в камень!.. А чего-чего только не успеешь сотворить, покуда камни оживут!

Ломеллино. Вы посвятили синьору?

Джанеттино. Да что ты! С ней надо быть осторожным, раз дело касается Фиеско. Но ничего. Вкусив плодов, она примирится с издержками! Пойдем! Я еще нынешним вечером жду войска из Милана, и мне надо отдать распоряжение страже у городских ворот. (Джулии.) Ну, сестрица, уже выбренчала свой гнев?

Джулия. Уходите! Вы грубиян!

Джанеттино хочет идти, но сталкивается с Фиеско.

Я В Л Е Н И Е Д Е С Я Т О Е

Фиеско входит.

Джанеттино (*отпрянув*). А!

Фиеско (*с изысканной любезностью*). Принц, вы предвосхитили мое намерение безотлагательно нанести вам визит...

Джанеттино. И для меня, граф, сейчас нет ничего желаннее, чем ваше общество.

Фиеско (*подойдя к Джулии, почтительно цепляет ей руку*). Когда бы я ни пришел к вам, синьора, действительность превосходит мои ожидания.

Джулия. Полноте, граф! Будь на моем месте другая, ваши слова прозвучали бы двусмысленно... Но я не одета. Простите, граф! (*Хочет удалиться в свой кабинет*.)

Фиеско. О, останьтесь, прекрасная, милостивая синьора! Женщина никогда не бывает так хороша, как в спальном уборе. (*С улыбкой*.) Это наряд ее ремесла!.. О, как жестоко стянуты ваши волосы, позвольте мне распустить их...

Джулия. Как вы, мужчины, любите все приводить в беспорядок!

Фиеско (*с невинным видом, Дэсанеттино*). И волосы и государства! Не правда ли, нам это равно приятно?.. Вот и эта лента не на месте. Садитесь, пре-

лестная графиня... Ваша Лаура умеет обманывать глаза, но не сердца... Дозвольте мне быть вашей камеристкой!

Она садится, он поправляет ее платье.

Джанеттино (*толкнув Ломеллино*). Бедняжка! Беззаботный волокита!

Фиеско (*занятый корсажем Джсулии*). Вот видите, это мы мудро скроем. Чувства — лишь гонпы с завязанными глазами, не знающие о тайнах, которые поверяют друг другу природа и фантазия.

Джулия. Какие пустяки!

Фиеско. Вовсе нет! Самая интересная новость утрачивает свой интерес, став предметом городских пересудов... Ведь чувства — это чернь нашего внутреннего государства. Благородное сословие живет за ее счет, но презирает ее низкие вкусы. (*Окончив туалет Джсулии, подводит ее к зеркалу*.) Клянусь честью, завтра этот наряд станет модным в Генуе! (*Лукаво*.) Разрешите мне теперь сопровождать вас на прогулку, графиня?

Джулия. Ах, хитрец! Как искусно он запутал меня в сеть своей лжи! Но у меня мигрень, и я останусь дома!

Фиеско. Простите, графиня! Вы вольны поступать, как хотите, но вы этого не хотите... Нынче в полдень сюда прибыла труппа флорентийских комедиантов и предложила дать представление в моем дворце... Я не мог противиться тому, чтобы большинство благородных генуэзских дам явилось зрителяницами комедии, и теперь нахожусь в крайнем смущении — кому предоставить лучшую ложу, не обидев при этом моих щепетильных гостей. Я вижу один только выход (*с низким поклоном*), если бы вы оказали мне милость, синьора!

Джулия (*краснеет и поспешило уходит в кабинет*). Лаура!

Джанеттино (*подходит к Фиеско*). Граф, вы, наверное, еще не забыли неприятную историю, которая недавно вышла между нами?..

Фиеско. Я бы желал, принц, чтобы мы оба забыли о ней... Людям свойственно действовать сообразно

своим представлениям друг о друге; и не моя вина, что мой друг Дория недостаточно меня знал.

Джанеттино. Я по крайней мере никогда не буду вспоминать о ней, не испросив у вас от всей души прощения...

Фиеско. А я — не простив вас от всей души.

Джулия входит, насико переодевшись.

Джанеттино. Да, кстати, граф! Вы, кажется, собрались на турка?

Фиеско. Нынче вечером велю сняться с якоря... Как раз поэтому я нахожусь в затруднении, из которого меня могла бы вывести любезность моего друга Дория.

Джанеттино (*с подчеркнутой учтивостью*). С большим удовольствием!.. Все мое влияние к вашим услугам!

Фиеско. Это предприятие, несомненно, вызовет стеченье народа в гавани и в моем дворце. Герцог, ваш дядюшка, может неправильно истолковать его...

Джанеттино (*простодушно*). Положитесь на меня! Действуйте спокойно, и я желаю вам всяческого успеха.

Фиеско (*слажаво*). Весьма признателен.

Я В Л Е Н И Е О Д И Н Н А Д Ц А Т О Е

Те же. Немец-телохранитель.

Джанеттино. Чего тебе?

Немец. У ворот святого Фомы было замечено большое число вооруженных солдат, спешивших к Дарсене и приготовлявших к отплытию галеры графа ди Лаванья...

Джанеттино. И только-то? Дальше не докладывай.

Немец. Слушаюсь. Замечено также передвижение подозрительных личностей из капуцинских монастырей в направлении рыночной площади. По выправке и внешнему виду можно предположить, что это солдаты.

Джанеттино (*сердито*). Усердие не по разуму. (*Ломеллино, уверенно.*) Это мои миланцы.

Н е м е ц . Прикажете арестовать их, ваша милость?

Д ж а н е т т и н о (*громко, Ломеллино*). Выясните, что там такое, Ломеллино! (*Резко немцу.*) Пошел! Довольно! (*Ломеллино.*) Заставьте этого немецкого осла держать язык за зубами!

Ломеллино и немец уходят.

Ф и е с к о (*который все это время любезничал с Джуллией, исcosa поглядывая в их сторону*). Наш друг чем-то недоволен? Смею я узнать причину?

Д ж а н е т т и н о . Ничего удивительного. Вечные доклады и рапорты! (*Стремительно уходит.*)

Ф и е с к о . И нам пора на спектакль. Дозвольте предложить вам руку, синьора.

Д ж у л и я . Не спешите. Я должна еще набросить плащ. Надеюсь, это не трагедия, граф? А то мне будут сниться страшные сны.

Ф и е с к о (*коварно*). О, вы умрете со смеху, графиня. (*Уводит ее.*)

З а п а в е с

Д Е Й С Т В И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Поздний вечер. Внутренний двор дворца Фиеско. Зажигаются фонари. Вносят оружие. Один из флигелей ярко освещен.

Я В Л Е Н И Е П Е Р В О Е

Б у р г о нь и н о разводит часовых.

Б у р г о нь и н о . Стой!.. Четверо часовых — к главным воротам. По двое к каждой двери во дворец.

Караульные становятся на свои посты.

Впускать каждого желающего. Не выпускать никого. Кто попытается применить силу — приколоть. (*Уходит с остальными во дворец.*)

Часовые ходят взад и вперед. Пауза.

Я В Л Е Н И Е В Т О Р О Е

Часовые у главных ворот (*окликают*).
Кто идет?

Входит Центурионе.

Центурионе. Друг графа Лаванья. (*Пересекает двор, подходит к правой двери дворца.*)

Часовой (*у двери*). Назад!

Центурионе, изумленный, идет к левой двери.

Назад!

Центурионе (*в смущении останавливается. Пауза. Обращаясь к часовому у левой двери*). Приятель, где тут пройти на представление?

Часовой. Не могу знать.

Центурионе (*ходит по двору с возрастающим недоумением, потом подходит к часовому у правой двери*). Приятель, когда начало представления?

Часовой. Не могу знать.

Центурионе (*в изумлении ходит взад и вперед; замечает оружие*). Приятель, это что такое?

Часовой. Не могу знать.

Центурионе (*в испуге кутается в плащ*). Странно!

Часовые у главных ворот (*окликают*). Кто идет?

Я В Л Е Н И Е Т Р ЕТЬЕ

Те же. Входит Цибо.

Цибо (*проходя*). Друг графа Лаванья.

Центурионе. Цибо, куда мы попали?

Цибо. Что?

Центурионе. Посмотри кругом, Цибо!

Цибо. Где? Что?

Центурионе. У всех дверей стражи.

Цибо. Здесь сложено оружие!

Центурионе. Никто ничего не объясняет!

Цибо. Да, странно!

Центурионе. Который час?

Цибо. Восемь пробило.

Центурионе. Б-рр, адский холод!

Цибо. Назначено было на восемь часов.

Центрione (покачивая головой). Тут что-то веладно.

Цибо. Фиеско решил сыграть с нами шутку.

Центрione. Завтра выборы дожа... Цибо, тут что-то неладно!

Цибо. Тсс... Тсс... Тсс!

Центропе. Правое крыло дворца ярко освещено.

Цибо. Ты слышишь? Слышишь?

Центрione. Неясный говор внутри и вместе с тем...

Цибо. Глухой лязг, словно латы ударяются об латы...

Центрione. Жутко! Жутко!

Цибо. Карета! Останавливается у ворот!

Часовые у главных ворот. Кто идет?

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же. Четверо Ассерато.

Ассерато (*входя*). Друг Фиеско.

Цибо. А, это братья Ассерато!

Центрione. Добрый вечер, земляк!

Ассерато. Идем смотреть комедию.

Цибо. Счастливого пути!

Ассерато. А вы разве не с нами?!

Центрione. Идите вперед! Мы хотим еще подышать свежим воздухом.

Ассерато. Скоро начало. Идемте! (*Идут дальше.*)

Часовой. Назад!

Ассерато. Что такое? Это из рук вон!

Центрione (*смеясь*). Нет, вон из дворца!

Ассерато. Тут недоразумение!

Цибо. Очевидно!

Из правого флигеля доносится музыка.

Ассерато. Слышите увертиру? Представление начинается.

Центурионе. По-моему, оно уже началось, и мы играем роль шутов.

Цибо. Ну, я не так уж горю желанием мерзнуть. Я ухожу.

Ассерато. Здесь оружие.

Цибо. Пустяки! Бутафория!

Центурионе. Что ж, мы так и будем стоять здесь, как дураки перед Ахероном? Пойдемте в кофейню!

Все шестеро направляются к воротам.

Часовой (*грозно*). Назад!

Центурионе. Гром и молния! Мы в западне!

Цибо. Мой меч говорит: ненадолго!

Ассерато. В ножны! В ножны! Граф — человек чести!

Цибо. Мы преданы! Проданы! Комедия была приманкой, теперь мышеловка захлопнулась!

Ассерато. Не приведи бог! Мне страшно даже подумать, что может произойти!

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

Часовой. Кто идет?

Веррина, Сакко входят.

Веррина. Друзья этого дома.

Появляются еще семеро дворян.

Цибо. Его приближенные. Сейчас все разъяснятся.

Сакко (*продолжая разговор с Верриной*). Как я уже говорил, у ворот святого Фомы начальником караула Лескаро — лучший офицер Дория, слепо ему преданный.

Веррина. Это меня радует.

Цибо (*подойдя к Веррине*). Вы явились как раз кстати, Веррина, чтобы помочь нам рассеять этот мираж.

Веррина. Что такое? Что вы хотите сказать?

Центурионе. Нас пригласили на комедию.

Веррина. Значит, нам по пути.

Центурионе (*нетерпеливо*). По пути на тот

свет. Это я знаю. Разве вы не видите, что у дверей часовые? Нас не впускают! Почему?

Цибо. Зачем это оружие?

Центурионе. Мы тут как на эшафоте!

Веррина. Граф выйдет сам.

Центурионе. Ему не мешало бы поторопиться. Мое терпение сейчас лопнет.

Все дворяне расхаживают по двору.

Бургоньино (*выходит из дворца*). Что в гавани, Веррина?

Веррина. Все благополучно доставлено на борт.

Бургоньино. Дворец тоже битком набит солдатами.

Веррина. Уже без малого девять.

Бургоньино. Граф что-то мешкает.

Веррина. А по-моему, излишне поспешает, Бургоньино! Я леденею при мысли, чем обернется его надежды.

Бургоньино. Когда же Фиеско должен умереть?

Веррина. Когда Генуя станет свободной, Фиеско умрет!

Часовые. Кто идет?

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Те же. Фиеско.

Фиеско (*на ходу*). Друг.

Все кланяются ему. Часовые берут на караул, Добро пожаловать, дорогие гости! Вы, верно, уж негодите, что хозяин дома заставил себя так долго ждать? Простите! (*Tixo, Веррине.*) Готово?

Веррина (*на ухо ему*). Вполне.

Фиеско (*тихо Бургоньино*). Ну как?

Бургоньино. Все в порядке!

Фиеско (*Сакко*). Ну как?

Сакко. Все хорошо.

Фиеско. А Кальканьо?

Бургоны ино. Его еще нет.

Фиеско (*громко, часовым у ворот*). Запереть ворота! (*Снимает шляпу и с непринужденным достоинством обращается к собравшимся.*) Государи мои! Я имел смелость пригласить вас на спектакль, но не с тем, чтобы вас позабавить, а с тем, чтобы предложить каждому из вас в нем роль.

Друзья мои! Довольно мы терпели дерзость Джанеттино Дория и высокомерие Андреа! Если мы хотим спасти Геную, друзья, больше медлить мы не вправе! К чему, скажите, двадцать галер вошли в нашу родную гавань? К чему союзы, заключенные Дориями? К чему к самому сердцу столицы стянуты чужеземные войска?.. Теперь уже не время роптать и проклиналь! Время рискнуть *всем*, чтобы *все* спасти. Тяжелый недуг требует отчаянных средств. У кого из вас в жилах течет столь холодная кровь, чтобы он согласился признать над собой господином себе равного?

Ропот.

Здесь нет никого, чьи предки не стояли бы у колыбели Генуи. Почему же, скажите мне, во имя всего святого, почему те двое граждан посмели дерзостно вознестись над нами?..

Ропот усиливается.

К каждому из вас я обращаюсь с торжественным призывом встать на защиту Генуи против ее угнетателей!.. Ни один из вас не может на волос поступиться своими правами, не предав самого духа республики.

Бурное движение среди слушателей.

(*Выждав, продолжает.*) Вы чувствуете это — тогда дело выиграно! Я уже проложил вам путь к славе! Хотите идти по нему? Я готов вести вас! Пусть же приготовления, на которые вы только что глядели с ужасом, теперь вдохнут в вас дух героизма и отваги! Пусть трепет страха обернется достохвальным рвением к моему делу, к делу этих патриотов! Навеки низвергнем тиранов! Успех будет сопутствовать отважному предприятию, ибо я все предусмотрел! Правда на нашей стороне,

ибо Генуя страждёт. Этот замысел обессмертит нас, ибо он опасен и велик!

Центурионе (*в бурном порыве*). Довольно! Свободу Генуе! Вот наш боевой клич. С ним хоть против самого сатаны!

Цибо. А кто останется к нему глух, пусть кряхтит у весла, как галерный раб, покуда его не освободит трубный глас страшного суда!

Фиеско. Вот речь мужа! Теперь вы достойны узнать об опасности, нависшей над вами и над Генуей! (*Передает им список, принесенный мавром.*) Огня, солдаты!

Дворяне, теснясь вокруг факела, читают.

(*Веррине.*) Все шло, как я того желал, друг мой!

Веррина. Не говори так уверенно: там, возле левого флигеля, я заметил у многих побледневшие лица, дрожащие колена.

Центурионе (*в ярости*). Двенадцать сенаторов! Адский замысел! Все к оружию!

Все, за исключением двоих, схватывают и приготовленное оружие.

Цибо. Твое имя тоже значится в списке, Бургоньино!

Бургоньино. Бог даст, еще нынче ночью мой меч впишет его в глотку Дория!

Центурионе. Осталось еще два меча.

Цибо. Что? Что?

Центурионе. Двое не взяли мечей!

Ассерато. Мои братья не могут видеть крови. Пощадите их!

Центурионе (*запальчиво*). Что? Что? Не могут видеть крови тиранов? Разорвем на куски этих трупов! Вышвырнем ублюдков из нашей республики!

Часть присутствующих в ярости набрасывается на братьев Ассерато.

Фиеско (*останавливает их*). Стойте! Стойте! Неужели Генуя своей свободой будет обязана рабам? Неужели мы подмешаем к нашему золоту сей неблагородный металл, чтобы оно потеряло звон? (*Освобож-*

дает братьев Ассерато.) Вам, господа, придется удовольствоваться одной из комнат моего дворца, покуда наше дело не будет свершено. (*Солдатам.*) Эти двое арестованы. Вы за них в ответе! Приставить к двери усиленный караул!

Братьев Ассерато уводят. В ворота стучат.

Часовые у ворот. Кто там?

Кальканьо (*испуганно кричит*). Отворите! Друг! Ради бога отворите!

Бургоньино. Голос Кальканьо. Что значит это «ради бога»?

Фиеско. Впустите его, солдаты!

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬМ О Е

Те же. Кальканьо, испуганный, запыхавшийся.

Кальканьо. Кончено! Кончено! Спасайся, кто может! Все погибло!

Бургоньино. Что погибло? Разве они сделаны из железа, а наши мечи — лоза?

Фиеско. Подумай, прежде чем говорить, Кальканьо! Ошибку сейчас уже нельзя простить!

Кальканьо. Нас предали! Это адская истина! Этот негодяй, ваш мавр, Лаванья! Я только что из синьории. Он был на аудиенции у герцога.

Все дворяне бледнеют, даже Фиеско меняется в лице.

Веррина (*решительно идет к часовым у ворот*). Солдаты! Вонзите алебарды в мою грудь, дабы мне не умереть от руки палача!

Все дворяне мечутся в ужасе.

Фиеско (*овладев собой*). Куда вы? Что вы?.. Будь ты проклят, Кальканьо! Да он просто струсил, баба!.. Как можно сказать такое при этих мальчишках!.. И ты, Веррина? Бургоньино, и ты?.. Куда ты?

Бургоньино (*пылко*). Домой. Я убью мою Берту и вернусь сюда.

Фиеско (*разражаясь хохотом*). Остановитесь! Стойте! Где же ваше мужество, тираноубийцы?.. Ты

отлично сыграл свою роль, Кальканьо!.. Неужели вы не догадались, что все это подстроено мною!.. Кальканьо, скажи, не я ли приказал тебе принести эту весть, чтобы испытать наших римлян?

Веррина. Ну, если ты способен смеяться... Я поверю тебе или навеки разуверюсь в том, что ты человек!

Фиеско. Позор вам, мужи! Не выдержать этого ребяческого испытания! Поднимите свое оружие!.. Вы должны драться, как тигры, и сточить эту зазубрину позора о латы врага! (*Тихо, Кальканьо.*) Вы сами там были?

Кальканьо. Я прорвался сквозь стражу, чтобы, согласно приказу, выведать пароль, и хотел уже идти, как вдруг ведут мавра.

Фиеско (*громко*). Значит, старик в постели? Мы его вытряхнем из перин! (*Тихо.*) Долго он говорил с герцогом?

Кальканьо. Я так оторопел и так спешил вас предупредить, что и двух минут там не пробыл.

Фиеско (*громко и бодро*). Поглядите-ка! Наших земляков все еще трясет, как в лихорадке!

Кальканьо. Напрасно вы поторопились все выложить им! (*Тихо.*) Граф, ради бога! Что вам даст эта ложь?

Фиеско. Время, друг мой, а там и оторопь пройдет. (*Громко.*) Эй! Принести вина! (*Тихо.*) Что ж, герцог побледнел? (*Громко.*) Веселей, друзья, мы еще чокнемся в честь пляски этой ночи! Так что же герцог, побледнел?

Кальканьо. Должно быть, первое слово мавра было «заговор». Старик отпрянул, побелев, как снег.

Фиеско (*в замешательстве*). Гм! Гм! Дьявол хитер, Кальканьо! Он молчал, покуда им не приставили нож к горлу! А теперь он у них в ангелах-хранителях! Хитрый мавр!

Фиеско подают бокал вина, он поднимает его навстречу собранию и пьет.

За нашу удачу, друзья!

Стучат.

С т р а ж а . Кто идет?
Г о л о с . Посланец герцога!

Дворяне в отчаянии мечутся по двору.

Ф и е ск о (*бросается к ним*). Не пугайтесь, дети! Не пугайтесь! Я здесь, с вами. Живей! Прячьте оружие! Прошу вас будьте мужчинами! Этот посланец... Его появление заставляет думать, что Андреа еще сомневается. Идите в дом! Соберитесь с духом. Солдаты, отврите!

Все уходят. Ворота открываются.

Я В Л Е Н И Е В О С Ъ М О Е

Ф и е ск о делает вид, что он только что вышел из дворца.
Т р о е н е м ц е в ведут связанного мавра.

Ф и е ск о . Кто вызвал меня сюда?

Н е м е ц . Проводите нас к графу.

Ф и е ск о . Граф перед вами. Кто желал меня видеть?

Н е м е ц (*отдает ему честь*). Герцог приветствует вас, ваша милость. Он приказал передать вам этого мавра связанным: негодяй проболтался. Остальное в записке.

Ф и е ск о (*с безразличным видом берет записку*). Недаром я сегодня пообещал отправить тебя на галеру. (*Немцу.*) Хорошо, приятель. Мой нижайший поклон герцогу.

М а в р (*кричит им вслед*). И мой тоже! И скажи ему, что ежели бы он не ослу приказал вести меня сюда, то узнал бы, что во дворце засело две тысячи солдат.

Немцы уходят, дворяне возвращаются.

Я В Л Е Н И Е Д Е В Я Т О Е

Ф и е ск о . З а г о в о р щ и к и . М а в р дерзко выходит на середину сцены.

З а г о в о р щ и к и (*с трепетом отступают при виде мавра*). А! Что это?

Фиеско (*прочел записку, едва сдерживая гнев*). Генуэзцы! Опасности более не существует, заговора— тоже!

Веррина (*восклицает в изумлении*). Как? Разве Дория мертвы?

Фиеско (*глубоко потрясенный*). Клянусь богом! Я был готов встретить всю военную мощь Генуи, но не это! Дряхлый старец четырьмя строчками разбил трехтысячное войско! (*В бессилии опускает руки.*) Дория разбил Фиеско!

Бургоньино. Говорите же! Мы ждем!

Фиеско (*читает*). «Лаванья, сдается мне, у вас один удел со мною: вам платят неблагодарностью за благодеяние. Этот мавр предупредил меня о некоем заговоре. Я возвращаю его вам связанным и нынче ночью отошлю телохранителей». (*Роняет бумагу.*)

Все переглядываются.

Веррина. И что же, Фиеско?

Фиеско (*благородно*). Ужели Дория превзойдет меня великодушием? Ужели в роду графов Лаванья недостает одной из доблестей? Нет! Нет! Пока меня зовут Фиеско, не бывать этому! Эй, расходитесь! Я иду к нему и во всем признаюсь. (*Направляется к воротам.*)

Веррипа (*удерживает его*). В своем ли ты уме? Разве преступно наше дело? Стой! Разве против *Андреа* шел ты, а не против тирана? Стой, говорю я! Я арестую тебя как предателя родины!

Заговорщики. Хватайте его! Вяжите!

Фиеско (*вырывает у одного из них шпагу и расчищает себе путь*). Полегче! Ну, кто первый попытается накинуть аркан на тигра? Что, господа? Видите — я свободен! Могу идти, куда мне угодно!.. Теперь я остаюсь,— мне пришла другая мысль.

Бургоньино. Мысль о долге?

Фиеско (*задетый, с гордостью*). Мальчишка! Научитесь прежде выполнять свой долг передо мною. Вам ли меня учить? Спокойствие, господа! Все остается, как было. (*Мавру, разрезая на нем веревки.*) Ты дал повод совершившись великому делу! Беги!

К а л ь к а н ъ о (гневно). Как? Что? Нехристъ остается жив? Жив, после того как он всех нас предал?

Ф и е с к о. Жив... после того как он напугал вас всех! Беги, малый! Да смотри: носа в Геную не показывай, а то кое-кто еще попытается доказать свое мужество на твоей шкуре!

М а в р. Вот это называется: черт беса не подведет!.. Ваш покорный слуга, господа!.. Похоже на то, что в Италии для меня веревка не свита! Придется поискать ее где-нибудь в другом месте. (*Уходит со смехом.*)

Я В Л Е Н И Е Д Е С Я Т О Е

Входит слуга. Т е ж е, кроме мавра.

С л у г а. Графиня Империали уже три раза спрашивала о вашей милости.

Ф и е с к о. Тьфу ты пропасть! И правда, пора начинать представление. Скажи, что я иду тотчас. Постой! Попросишь мою супругу прийти в концертный зал и ждать меня там за портьерами.

Слуга уходит.

Все ваши роли набросаны мною вот тут на бумаге: каждому остается только сыграть свою. Веррина сейчас же отправится в гавань и, как только корабли будут захвачены, *пущечным выстрелом даст сигнал к выступлению*. Я иду; меня ждет еще одно важное дело. Услыхав колокольчик, вы все пройдете в концертный зал. А пока — милости прошу, отдайте должное моему кипрскому вину!

Все расходятся.

Я В Л Е Н И Е ОДИННАДЦАТОЕ

Концертный зал.

Л е о н о р а. А р а б е л л а. Р о з а. Все встревожены:

Л е о н о р а. Фиеско обещал прийти в концертный зал, а его все нет. Уже двенадцатый час. Дворец дрожит от топота солдат и звона оружия, а Фиеско все нет!

Р о з а. И вам велено спрятаться за портьеры... Зачем это понадобилось его сиятельству?

Леонора. Он так хочет, Роза. Этого довольно, чтобы я повиновалась. Довольно и для того, чтобы ничего не бояться, Белла. И все же я дрожу, Белла, и сердце мое бьется в испуге! Девушки! Ради бога, не отходите от меня ни на шаг!

Арабелла. Не бойтесь ничего! Страх сковал даже наше любопытство!

Леонора. Куда ни гляну, везде чужие лица, искаженные, бледные, как у привидений. Кого ни позву — тот дрожит, как пойманный преступник, и скрывается во мрак, в это жуткое убежище нечистой совести. О чем я ни спрошу — мне отвечают неясным звуком, который замирает на дрожащих устах, словно боясь слететь с них. Фиеско! Я чувствую, что-то страшное готовится здесь... О (*с грацией складывая руки*), не оставьте же моего Фиеско, небесные силы! Овейте его своими крылами!

Роза (*вздрогнув*). Боже! Что за шум в галерее?

Арабелла. Это стражи.

За сценой часовой кричит: «Кто идет?» Ему отвечают.

Леонора. Сюда идут. Спрячемся! Скорее!

Они прячутся.

Я В Л Е Н И Е Д В Е Н А Д Ц А Т О Е

Джулия и Фиеско входят, разговаривая.

Джулия (*возбужденно*). Перестаньте, граф! Уже не равнодушный слух встречает ваши любезности, а кипящая кровь. Где я? Здесь нет никого, кроме обольстительницы ночи! Куда вы заманили мое беззащитное сердце своими речами?

Фиеско. Туда, где робкая страсть становится смелей, где порыв вольней сливаются с порывом!

Джулия. Остановись, Фиеско! Во имя всего святого, ни шагу дальше! Не будь ночь так темна, ты увидел бы пламень моих щек и сжались бы надо мной.

Фиеско. Ты ошибаешься, Джулия! Как раз тогда моя страсть, увидев пламенное знамя твоей, смело ринулась бы ей навстречу. (*С жаром целует ее руку.*)

Джулия. Фиеско, в твоем лице, в твоих речах — лихорадочный огонь! Увы, и на моих щеках пылает то же буйное, греховное пламя. Прошу тебя, пойдем туда, где светло. Взбунтовавшиеся чувства могут воспользоваться опасными намеками темноты. Идем! Эти безумные мятежники могли бы за спиной стыдливого дня приняться за свое безбожное дело! Иди к гостям, умоляю тебя!

Фиеско (*настойчивее*). Напрасны твои страхи, любимая! Владычице ли бояться своего раба?

Джулия. О вы, мужчины! И ваши вечные противоречия! Словно вы не всего опасней, когда сдастесь на милость нашему самолюбию? Ты хочешь, чтоб я тебе призналась во всем, Фиеско? Даже в том, что лишь мои пороки охраняли мою добродетель? В том, что лишь моя гордость смеялась над твоими ухищрениями, а сама добродетель уже не может устоять? Отчаявшись в своем искусстве, ты воззвал к моей крови. И тут я теряю все.

Фиеско (*заносчиво и легкомысленно*). Что же ты теряешь, утратив все?

Джулия (*взволнованно и горячо*). Что я теряю, легкомысленно вручив тебе ключи к своей женской святыне и давая тебе возможность в любую минуту заставить меня краснеть от стыда? Все! И меньше, чем все, я утратить не могу. Что ты еще хочешь услышать от меня, насмешник? Признание в том, что вся тайная *мудрость* нашего пола — лишь жалкая попытка отвлечь противника от уязвимого пункта наших фортификаций, который *осаждают* всего лишь ваши уверения и который — краснея признаюсь я в этом — сам так хочет быть *взят*, что часто изменнически сдается врагу, стоит лишь добродетели отвернуться в сторону! Признание в том, что все наши женские уловки лишь для охраны этой беззащитной безделушки, как все фигуры на шахматной доске — для охраны беззащитного короля. Стоит напасть на него врасплох — и мат! После этого ты можешь опрокинуть доску со всеми фигурами! (*После паузы, серьезно.*) Вот и вся картина нашего пышного убожества. Будь великодушен!

Фиеско. И все же, Джулия, никто лучше не сбережет твоих сокровищ, чем моя бесконечная страсть!

Джулия. Конечно, никто лучше — и никто хуже! Скажи, Фиеско, как долго будет длиться эта бесконечность?! Ах! Я играла так несчастливо, что мне волей-неволей приходится ставить на карту и последнее свое достояние. Самонадеянная, я верила: мои прелести способны завлечь тебя; но я не верю, что они так все-могущи, чтобы тебя удержать. Но что я говорю! (*Отступив, закрывает лицо руками.*)

Фиеско. В едином слове — два прегрешения: недоверие к моему вкусу и святотатственное оскорбление твоего очарования,— которое из двух труднее простить?

Джулия (*сдаваясь, томно*). Ложь — оружие дьявола! Фиеско не нужно более прибегать к ней, чтобы его Джулия пала. (*В изнеможении падает на софу. После паузы, торжественно.*) Еще одно слово, Фиеско! Мы героини — пока наша добродетель вне опасности; дети — когда нам приходится ее защищать. (*Горящим взором смотрит на него.*) И фурии — когда мстим за нее. Запомни это, Фиеско, если ты холоден и задумал погубить меня.

Фиеско (*с деланным возмущением*). Холоден, холоден? О господи! Как же ненасытно тщеславие женщины, если она, видя, как мужчина пресмыкается перед ней, все еще питает сомнения? Но нет! Я чувствую, мужчина вновь пробуждается во мне! (*Холодным тоном.*) Хорошо, что у меня во время открылись глаза. О чем я хотел молить ее? Нет, малейшее унижение мужчины в обмен даже на величайшую благосклонность женщины — мотовство! (*С низким, холодным поклоном.*) Наберитесь мужества, мадам! Вам уже ничто не угрожает!

Джулия (*ошеломленная*). Граф, что с вами?

Фиеско (*с полнейшим равнодушием*). Ничего, мадам. Вы совершенно правы: обоим нам дано ставить честь на карту только один раз. (*Учиво целует ей руку.*) Мне предстоит удовольствие при гостях засвидетельствовать вам свое почтение. (*Быстро направляется к выходу.*)

Джулия (*бросается вслед за ним и удерживает его*). Останься! Ты обезумел! Останься! Неужели я должна высказать... Сказать то, чего бы не вынудил у моей

гордости весь род мужской, на коленях... в слезах... под пыткой? Даже мрак здесь слишком прозрачен, чтобы скрыть пожар на моих щеках, вызванный этим признанием, Фиеско... О, я наношу удар в самое сердце всем женщинам в мире! Все они будут вечно ненавидеть меня! Фиеско, я боготворю тебя! (*Бросается к его ногам.*)

Фиеско (*отступает на три шага, не делая попытки ее поднять, и торжествующе смеется*). Весьма сожалею, синьора! (*Дергает сонетку, потом поднимает драпировку и выводит Леонору.*) Вот моя жена — божественное создание. (*Обнимает Леонору.*)

Джулия (*с воплем вскакивает*). О! Какой неслыханный обман!

Я В Л Е Н И Е Т Р И Н А Д Ц А Т О Е

Заговорщики входят все разом. Дамы входят с другой стороны.

Фиеско, Леонора и Джулия.

Леонора. Супруг мой, вы слишком сурово поступили.

Фиеско. Поделом ее испорченному сердцу! Твои слезы взывали об отмщении. (*Собравшимся.*) Нет, милостивые государи и милостивые государыни, ребячливая пылкость мне не свойственна! Людская глупость способна долго забавлять меня, но есть предел и моему терпению. На эту женщину по заслугам обрушивается мой гнев: вот снадобье, которое она приготовила для такого ангела, как Леонора. (*Показывает порошок собравшимся.*)

Все в ужасе отступают.

Джулия (*кусая губы, с яростью*). Хорошо! Хорошо же, очень хорошо, сударь! (*Хочет уйти.*)

Фиеско (*удерживает ее за руку*). Наберитесь терпения, мадам! Мы еще не кончили!.. Не сомневаюсь, что всем присутствующим будет очень интересно узнать, почему я отрекся от своего разума, разыграл безумный роман с первой сумасбродкой Генуи...

Джулия (*рванувшись*). Невыносимо! Но берегись! (*С угрозой.*) Дория повелевает громами в Генуе, а я его сестра!

Фиеско. Плохи ваши дела, если это все, чем вы можете угрожать! К сожалению, я должен принести вам весть о том, что из венца, украденного вашим сиятельным братцем, Фиеско ди Лаванья свил веревку, на которой он намерен нынче ночью повесить узурпатора. (*Видя, как она бледнеет, злорадно смеется.*) Несколько неожиданно, синьора? (*Еще язвительней.*) Вот почему я счел нужным дать пищу непрошенному любопытству некоторых членов вашего дома; вот почему я надел шутовской колпак (*указывая на нее*) этой страсти! Вот почему (*указывая на Леонору*) пренебрегал этим сокровищем! И дичь сама ринулась в мои сети!.. Благодарю вас, синьора, за то, что вы столь любезно пошли мне на встречу, и снимаю эту шутовскую побрякушку! (*С поклоном подает ей медальон.*)

Леонора (*с мольбой приникая к Фиеско*). Мой Лодовико! Она плачет! Смею ли я обратиться к вам с покорной просьбой?

Джулия (*надменно Леоноре*). Молчи! Ненавистная!

Фиеско (*слуге*). Будь столь любезен, приятель, предложи этой даме руку, ей пришла охота осмотреть мою тюрьму. Гляди, чтобы благородную синьору никто не потревожил,— на дворе свежий ветер... Ты отвечаешь за нее головой! Буря, которая нынче ночью скрушил древо Дория, может... испортить ей прическу.

Джулия (*рыдая*). Чума да поразит тебя, гнусный, коварный лицемер! (*Со скрежетом, Леоноре.*) Не спеши торжествовать, он и тебя погубит, и себя, и— сгинет. (*Бросается вон.*)

Фиеско (*делая знак гостям*). Вы были свидетелями — спасите же мою честь в глазах Генуи. (*Заговорщикам.*) Вы придетете за мной, когда ударит пушка.

Все удаляются.

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т О Е

Леонора, Фиеско.

Леонора (*робко подходит к нему*). Фиеско! Фиеско! Я не совсем понимаю вас, но меня уже бросает в дрожь.

Фиеско (*значительно*). Леонора! Однажды мне пришлось видеть, как вы шли по левую руку от некоей генуэзки. Я видел, как в дворянских собраниях вам приходилось сносить, что рыцари не вам первой целовали руку... Леонора! Мне больно было это видеть. Я решил: больше тому не бывать; и больше этого не будет. Вы слышали бряцание оружия в моем дворце? Да, ваши опасения справедливы. Идите в опочивальню, графиня, наутро я разбужу герцогиню!

Леонора (*заломив руки, бросается в кресло*). Боже! Мое предчувствие! Я погибла!

Фиеско (*спокойно, с достоинством*). Любовь моя, выслушайте меня до конца. Двое моих предков носили папскую тиару. Лишь под пурпуром кровь Фиеско свободно течет в жилах. Ужели ваш супруг должен блестать лишь унаследованным блеском? Как? Ужели он должен всем своим величием быть обязан лишь прихоти случая, который в хорошую минуту со-стрипал Джованни Лодовико Фиеско из полуистлевших заслуг? Нет, Леонора! Я слишком горд, чтобы принять в дар то, что еще способен добыть сам. Нынче ночью я брошу в склеп предков блеск, взятый у них взаймы. Род графов Лаванья вымер — началась династия!

Леонора (*покачивая головой, тихо грезит*). Я вижу, как мой супруг падает, покрытый смертельными ранами... (*Глухо.*) Вот немые служители несут мне навстречу его истерзанный труп. (*В ужасе вскочив.*) Первая, единственная пуля пронзает сердце Фиеско!

Фиеско (*ласково берет ее за руку*). Успокойся, дитя! Этой единственной пули не будет.

Леонора (*сердечно смотрит на него*). С такой уверенностью ты бросаешь вызов небесам, Фиеско? О, будь это возможным лишь на одну миллионную долю — и эта миллионная доля могла бы лишить меня супруга! Подумай, ведь ты ставишь на карту вечное блаженство! Да будь миллионы шансов на выигрыш против одного-единственного на проигрыш, — ужели бы у тебя достало смелости вступить в игру с творцом, затеяв столь дерзостный спор? Нет, мой супруг!

Когда на карту поставлено все, каждый ход — свято-татство!

Фиеско (*с усмешкой*). Не тревожься, я в ладах со счастьем.

Леонора. И это говоришь ты? Ты ведь не раз наблюдал эту игру, доводящую людей до безумия,— у вас она считается развлечением! Ты видел, как обманщица-судьба завлекает своего любимца мелкими удачами, покуда он не разгорячится, не вскочит, не пойдет ва-банк! И тут, в эту решительную минуту, она покидает его. О супруг мой! Ты идешь не на прогулку, не затем, чтобы потешить себя обожающими взглядами генуэзцев! Разбудить республиканцев от сна, напомнить коню о том, что он может взвиться на дыбы, — это не прогулка. Не доверяй мятежникам! Умные, что тебя подстрекают, тебя боятся; глупые, что тебя боготворят, тебе не помогут. Куда ни посмотрю, везде я вижу твою погибель, Фиеско.

Фиеско (*большими шагами расхаживая по комнате*). Малодушие — вот самая большая опасность; величие требует жертв.

Леонора. Величие, Фиеско?.. О, как несправедлив твой ум к моему сердцу!.. Ну, пусть! Я верю в твою удачу, я соглашаюсь — ты победишь. Горе тогда мне, несчастнейшей из женщин! Твоя неудача сулит мне горе, твой успех — еще большее! Выбора нет, мой возлюбленный! Фиеско погиб, если он не станет герцогом. Я же, обняв герцога, лишусь супруга.

Фиеско. Этого я не понимаю.

Леонора. Но это так, мой Фиеско. Вблизи престола, в царстве бурь вянет нежный цветок любви. Сердце человека, будь этот человек даже Фиеско, слишком тесно для двух всемогущих богов,— богов, враждующих друг с другом. Любовь знает слезы и понимает их язык; у властолюбия — свинцовые глаза, в них никогда не блеснет жемчужина чувства! У любви лишь одно достояние, все другие она отвергает. Властолюбие терзается голодом, даже поглотив все мироздание. Властолюбие разрушает мир, превращая его в узилище, где слышится лишь звон цепей. Грэзы любви — пустыню обращают в рай. Вот ты хочешь прильнуть к

моей груди, но строптивый вассал потрясает твою державу. Я хочу броситься в твои объятия, но боязливый слух деспота чует за портьерами шаги убийцы и гонит тебя прочь, гонит из комнаты в комнату. Да, все-пожирающий страх коснется своим губительным дыханием и семейного согласия. Вот твоя Леонора подает тебе освежительный напиток, но ты судорожно отталкиваешь бокал и самое нежность зовешь отравительницей.

Фиеско (*в ужасе останавливается*). Леонора, замолчи. Прогони от себя эти страшные видения!

Леонора. А картина еще не закончена. Я пожертвовала бы величию любовью, покоем, если бы при этом Фиеско оставался самим собою. О боже! Я как на пытке. Редко ангелы всходили на трон, еще реже сходили с него. Способен ли ощутить жалость к людям тот, кому никто из людей не страшен? Тот, кто каждое свое желание может сопроводить громовой стрелой, даст ли ему в спутники доброе слово? (*Останавливается, затем робко подходит к нему; нежно, с горечью.*) Властители, Фиеско,— это неудавшийся замысел природы, которая стремилась осуществить неосуществимое. Они пытаются встать между богом и человеком... Все они жалкие творения — и еще более жалкие творцы!

Фиеско (*мечется по комнате*). Леонора, перестань! Я сжег за собою мосты!

Леонора (*нежно смотрит на него*). Почему же, супруг мой? Только деяния нельзя зачеркнуть. (*Томно, с нежностью и чуть лукаво.*) Когда-то ты клялся, что моя красота опрокинула все твои планы. Либо ты лгал мне, лицемер, либо она безвременно отцвела. Спроси свое сердце, чья тут вина? (*С жаром, обнимая его.*) Вернись ко мне, опомнись! Наберись мужества! Любовь все возместит тебе! О Фиеско! Если уж мое сердце не может утолить твой голод — венец властителя и поздравно не насытит тебя. (*Ласкаясь.*) Приди! Я затвержу на память все твои желания, все чары природы сольются в одном поцелуе любви, чтобы царственный пленик навек отказался от попыток сбросить эти божественные узы! Душа твоя беспредельна, но и любовь — тоже! **Фиеско!** (*Еще нежнее.*) Дать счастье

бедному созданию, все блаженство которого лишь в твоих объятиях,— ужели твоей душе этого не довольно?

Фиеско (*потрясенный*). Леонора, что ты сдѣлала? (*Обессиленный падает в ее объятия.*) Ни одному генуэзцу я не покажусь более на глаза!

Леонора (*радостно-торопливо*). Бежим, Фиеско! Оставим лежать во прахе всю эту пышную пустоту, будем жить среди природы для одной только любви! (*В прекрасном порыве восторга прижимает его к сердцу.*) Наши души будут чисты, как радостная лазурь небес, их не коснется более черное дыхание горя. В гармоническом слиянии, как мелодично журчащий ручеек, потекут наши жизни к предвечному...

Сышен пушечный выстрел. Фиеско вырывается из ее объятий.
Входят все заговорщики.

Я В Л Е Н И Е П Я Т Н А Д Ц А Т О Е

Заговорщики. Час настал.

Фиеско (*Леоноре, твердо*). Прощай навек! Или завтра Генуя будет лежать у твоих ног! (*Устремляется к выходу.*)

Бургоньино (*вскрикивает*). Графине дурно!

Леонора падает в обморок. Все бросаются к ней на помощь.
Фиеско у ее ног.

Фиеско (*душераздирающим голосом*). Леонора!
Спасите ее! Ради бога, спасите ее!

Входят Роза и Арабелла, начинают приводить ее в чувство.

Она открыла глаза! (*Вскакивает, решительно.*) Теперь идем, нам пора закрыть их Дориям!

Заговорщики выходят из зала

Vanasse

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Время за полночь. Улица в Генуе. Кое-где горят фонари, гаснущие один за другим. На заднем плане видны ворота святого Фомы, еще закрытые. Вдали море. Через площадь проходит несколько человек с фонарями, затем патрули. Все тихо, только шумит море.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Фиеско, в доспехах, останавливается перед палаццо Андреа Дория. Потом появляется Андреа.

Фиеско. Старик сдержал слово — во дворце темно, охрана снята. Я позвоню. (Звонит.) Эй, эй! Проснись, Дория! Измена! Дория, проснись! Продали тебя! Эй, эй! Подымайся!

Андреа (*появляется на балконе*). Кто здесь поднял звон?

Фиеско (*изменив голос*). Не спрашивай! Повинуйся! Твоя звезда закатилась, герцог! Генуя встала на тебя! Палачи у дверей, а ты спиши, Андреа?

Андреа (*с достоинством*). Помилуйте мне, гневное море повздорило с моей Беллоной... Киль трещал, горт-мачта рухнула, но это не потревожило сна Андреа Дория. Кто шлет палачей?

Фиеско. Тот, кто страшней твоего разгневанного моря: Джованни Лодовико Фиеско!

Андреа (*смеется*). Ты, видно, в духе, приятель! Приходи рассказывать басни днем. Полночь — неподходящий час.

Фиеско. Ты смеешься над тем, кто предостерегает тебя?

Андреа. Я благодарю его и ложусь в постель. Кутежи усыпили Фиеско, ему не до Дория.

Фиеско. Несчастный старец! Не доверяй змее. Все семь цветов радуги играют на ее блестающей коже, — но стоит подойти — и тебя уже обвила смертоносная лента. Ты презрел донос предателя. Не презирай совета друга. Оседланный конь дожидается тебя во дворе. Беги, пока не поздно. Не смеяся над другом!

Андреа. Фиеско мыслит благородно. Я ничем не оскорбил его, и Фиеско не предаст меня.

Фиеско. Мыслит благородно, предает тебя и уже явил примеры и того и другого.

Андреа. Ну что ж! У меня есть стража, перед которой бессилен и Фиеско, если только ему не служат херувимы!

Фиеско (*с издевкой*). Я бы не прочь поговорить с этими стражниками, переслать с ними письмечко в вечность.

Андреа (*величаво*). Жалкий насмешник! Разве не ведомо тебе, что *Андреа уже восемьдесят лет и что Генуя счастлива?* (*Уходит с балкона*.)

Фиеско (*с удивлением глядит ему вслед*). Ужели мне надлежало свергнуть этого человека, чтобы узнать, как трудно стать ему равным? (*Погруженный в глубокую задумчивость, делает несколько шагов назад и вперед*.) Итак, я отплатил великодушием за великодушие. Мы сочлись, Андреа. Теперь, смерть, слово за тобой! (*Спешит в дальнюю улицу*.)

Со всех сторон барабанный бой. Жаркая схватка у ворот святого Фомы. Ворота разбивают, открывается вид на гавань и корабли, освещенные факелами.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Торошливо вбегают Джанеттино Дория в шурпурном плаще, накинутом на плечи, Ломеллино, предшествуемые слугами с факелами.

Джанеттино (*останавливается*). Кто приказал бить тревогу?

Ломеллино. На галерах прогремела пушка!

Джанеттино. Это рабы хотят разорвать свои цепи.

У ворот святого Фомы выстрелы.

Ломеллино. Там огонь!

Джанеттино. Ворота открыты! Стража взбунтовалась! (*Слугам*.) Живей, каналы! Осветить путь к гавани!

Все спешат к воротам.

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ъ Е

Т е же. Бургоньино и заговорщики появляются со стороны ворот.

Б у р г о н ь и н о . Себастьян Лескаро — храбрый солдат.

Ц е н т у р и о н е . Дрался, как тигр, пока не упал мертвым.

Д ж а н е т т и н о (*пораженный, отступает*). Что я слышу? Стойте!

Б у р г о н ь и н о . Кто это там с факелами?

Л о м е л л и н о . Враги, принц! Скройтесь туда, налево!

Б у р г о н ь и н о (*яростно кричит*). Кто там с факелами?

Ц е н т у р и о н е . Стой! Пароль!

Д ж а н е т т и н о (*выхватив шпагу, надменно*). Покорность и Дория!

Б у р г о н ь и н о (*с пеной у рта, яростно*). А, губитель республики и моей невесты! (*Бросается на Джанеттино. Заговорщикам.*) Нам повезло, братья! Черти сами выдают нам своего господина! (*Закалывает Джанеттино.*)

Д ж а н е т т и н о (*падает с воплем*). Убийство! Убийство! Убийство! Отомсти за меня, Ломеллино!

Л о м е л л и н о . Слуги! (*Убегая.*) На помощь! Убивают! Убивают!

Ц е н т у р и о н е (*кричит зычным голосом*). С этим покончено! Задержите графа.

Ломеллино схвачен.

Л о м е л л и н о (*падая на колени*). Пощадите мою жизнь, и я перейду к вам.

Б у р г о н ь и н о . Эта тварь еще дышит? Беги, подлый трус!

Ломеллино убегает.

Ц е н т у р и о н е . Ворота Фомы наши! Джанеттино мертв! Бегите во весь дух! Сообщите об этом Фиеско!

Д ж а н е т т и н о (*судорожно пытается встать*). Чума! Фиеско!.. (*Умирает.*)

Бургоны ино (*вырывает из его груди шпагу*).
Генуя и Еерта свободны! Дай твой меч, Центурионе,
а этот, окровавленный, ты отнесешь моей невесте! Стены
ее тюрьмы рухнули! Я приду вслед за тобой — запе-
чатль на ее устах брачный поцелуй!

Быстро уходят в разные стороны.

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Андреа Дория. Немцы..

Немец. Буря ушла в ту сторону. На коня,
герцог!

Андреа. Дайте мне еще раз взглянуть на башни
Генуи, на небо! Нет, это не сон! Тебя предали, Андреа!

Немец. Враги везде! Бегите! Скорей через гра-
ницу!

Андреа (*бросается на тело своего племянника*).
Здесь я хочу умереть. Ни слова о бегстве! Здесь лежит
опора моей старости. Путь мой окончен!

В отдалении показывается Кальканьо с другими заго-
ворщиками.

Немец. Убийцы! Это убийцы! Беги, старый гер-
цог!

Андреа (*слыша возобновившийся барабанный бой*).
Внемлите, чужестранцы! Внемлите! То генуэзцы, кото-
рых я освободил от ярма. (*Закрывает лицо плащом*.)
И у вас так платят за добро?

Немец. Спасайся! Беги! Беги, пока они будут
тушить свои клинки о наши немецкие кости!

Андреа. Спасайтесь вы! Оставьте меня! Пусть
содрогнутся народы от страшной вести: генуэзцы убили
своего отца!..

Немец. А, черт! Ну, до убийства еще далеко!
Стойте, друзья. Грудью защитим герцога!

Бросаются вперед.

Вобьем в головы этих итальянских собак уважение к его
сединам!..

К альканьо (*окликает*). Кто там? Что там такое?

Н е м ц ы (*бъются*). Немецкие клинки!

С боем отступают, унося труп Джанеттино.

Я В Л Е И Н Е П Я Т О Е

Л еонора в мужском платье и **А рабелла**, следом за ней, робко прокрадываются вперед.

А рабелла. Пойдемте же, синьора, пойдемте же!

Л еонора. В той стороне бушует мятеж!.. Чу! Слышишь! То стон умирающего... О, ужас! Они окружили его! Прямо в сердце Фиеско направлены зияющие дула!.. Прямо в мое сердце, Белла! Они спускают курки... Остановитесь! Стойте! Это мой супруг! (*С мольбой простирает руки.*)

А рабелла. Ради бога!..

Л еонора (*мечется из стороны в сторону, кричит, как в бреду*). Фиеско! Фиеско! Фиеско! Они бросили его, эти верные друзья!.. Зыбкая верность мятежников! (*Вздрогнув от испуга.*) Супруг мой во главе мятежников? Белла! О небо! Мой Фиеско — мятежник?!

А рабелла. Нет, нет, синьора! Он грозный вершитель судеб Генуи.

Л еонора (*прислушиваясь*). О, если бы это было так! Разве дрожала бы Леонора? Ужели лучший из республиканцев держал бы в своих объятиях трусливойшую из женщин республики? Поди, Арабелла! Когда мужчины бьются за свою страну — и женщины не должны отставать!

Снова слышна барабанная дробь.

Я ринусь в ряды бойцов.

А рабелла (*всплеснув руками*). Милосердное гено!

Л еонора. Постой! Я на что-то наткнулась! Шляпа и плащ! Рядом меч! Тяжел этот меч, Белла, но я в силах его держать, и меч не посрамит руки, поднявшей его!

Бьют в набат.

Арабелла. Слышите? Слышите? Бьют в колокол на башне доминиканцев! Господи помилуй! Как страшно-то!

Леонора (*восторженно*). Скажи: «Как прекрасно!» Этим набатом говорит с Генуей мой Фиеско!

Барабанный бой усиливается.

Ура! Ура! Это слаше звуков флейты! И эти барабаны звучат по воле моего Фиеско!.. Грудь моя вздымается выше! Вся Генуя пробудилась!.. Наемники сбегаются на его зов, так разве можно медлить его жене?

Бьют в набат еще на трех башнях.

Нет, лишь героиня достойна объятий героя! Лишь римлянка достойна объятий моего Брута! (*Надевает шляпу и накидывает пурпурный плащ*.) Я — Порция!

Арабелла. Сударыня, вы грезите! Вы сами не знаете, что говорите!

Набат и барабанная дробь.

Леонора. Горе тебе, если, слыша эти звуки, ты не грешишь! Рыдать хотели бы эти плиты, оттого что у них нет ног, чтобы бежать вслед моему Фиеско! Эти дворцы гневаются на своих зодчих: зачем так прочно они врыты в землю, зачем они не могут устремиться за моим Фиеско! Берега, забыв свой долг, отдали бы Геную во власть моря и зашагали бы под звуки барабанов Фиеско! Сама смерть готова сбросить свои покровы, а твой дух спит попрежнему? Прочь! Я пойду своим путем!

Арабелла. Великий боже! Что вы затеяли? Неужто вы это всерьез?

Леонора (*гордо и смело*). А ты что думаешь, глупая? (*Пламенно*.) Скорей туда, где самая жаркая схватка, где бьется Фиеско, мой Фиеско!.. Я слышу, как они говорят: «Верно, это Лаванья,— тот, кого никто не может одолеть; тот, кто мечу вручил жребий Генуи!» — «Да, генуэзцы, это он! — скажу я.— И это мой супруг... И я тоже ранена!»

Сакко и группа заговорщиков.

Сакко (*окликает*). Кто идет? Дория или Фиеско?

Леонора (*вдохновенно*). Фиеско и свобода! (*Бросается в одну из улиц.*)

Сбегается толпа. Арабеллу оттесняют.

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Сакко с группой заговорщиков. Ему навстречу Кальканьо с другой группой.

Кальканьо. Андреа Дория бежал.

Сакко. Фиеско тебя не поблагодарит.

Кальканьо. Эти немецкие медведи словно скалы сгрудились вокруг старика! Я его и не видел. Мы потеряли девять человек. Меня полоснуло мечом по левому уху. Коли они так боятся за чужих тиранов, тысяча дьяволов, как же они стоят за своих государей!

Сакко. Число наших сторонников все возрастает, все ворота в наших руках.

Кальканьо. Я слышал, в крепости жаркая схватка.

Сакко. Там Бургоньино. А где Веррина?

Кальканьо. Залег между Генуей и морем, как пес у врат ада! Рыбешке не проскользнуть!

Сакко. Я атакую предместье.

Кальканьо. А я двинусь на площадь Сарцана. Бей веселее, барабанщик!

Под барабанную дробь двигаются дальше.

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬМ О Е

Мавр. Шайка воров с фитилями.

Мавр. Так вот, жулики, чтоб вы знали: я заварил всю эту кашу, и меня же оставили без ложки! Ладно! Я покажу, кто я такой! Жги, ребята, поживимся! Пока они там передрались из-за герцогства, мы так подтопим в церквях, что апостолам жарко станет, а то они, бедняги, замерзли.

Бросаются в ближайшие дома.

Я В Л Е И Н Е В О С Ъ М О Е

Б у р г о н ь и н о . Переодетая Б е р т а .

Б у р г о н ь и н о . Отдохни здесь, милый мальчик, тут безопасно. Ты ранен?

Б е р т а (*изменив голос*). Нет, нет!

Б у р г о н ь и н о (*пылко*). Нет? Так вставай же! Я поведу тебя туда, где пожинают раны в битве за Геную. Славные раны! Смотри: вот такие! (*Засучивает рукав.*)

Б е р т а (*отшатнувшись*). О боже!

Б у р г о н ь и н о . Ты испугался, милый мальчик? Видно, ты слишком рано захотел стать мужчиной! Сколько тебе лет?

Б е р т а . Пятнадцать.

Б у р г о н ь и н о . Жаль! На добрых пять лет меньше, чем нужно нынче ночью. Кто твой отец?

Б е р т а . Первый гражданин Генуи.

Б у р г о н ь и н о . Полегче, мальчишка! Есть лишь один такой, и дочь его — моя невеста! Тебе знакомо имя Веррины?

Б е р т а . Еще бы!

Б у р г о н ь и н о (*быстро*). И ты знаешь его божественную дочь?

Б е р т а . Бертой зовут ее.

Б у р г о н ь и н о (*горячо*). Беги сейчас же и передай ей это кольцо. Скажи: оно обручальное; скажи: голубой султан бьется на славу! С богом! Мне пора! Опасность еще не миновала.

Загорается несколько домов.

Б е р т а (*вслед ему, неясным голосом*). Сципион!

Б у р г о н ь и н о (*останавливается, пораженный*). Клянусь моим мечом, мне знаком этот голос!

Б е р т а (*бросаясь ему на шею*). Клянусь моим сердцем, я тебе тоже знакома!

Б у р г о н ь и н о (*вскрикивает*). Берта!

Набат в предместье. Сбегается толпа. Берта и Бургоньино падают в объятия друг другу.

Я В Л Е Н И Е Д Е В Я Т О Е

Фиеско в гневе. Цибо и солдаты.

Фиеско. Кто поджег дома?

Цибо. Крепость взята.

Фиеско. Кто поджег?

Цибо (*делает знак солдатам*). Выслать дозор!
Задержать поджигателей!

Несколько человек уходит.

Фиеско (*гневно*). Они хотят сделать из меня поджигателя! Живей насосы и ведра!

Его люди уходят.

Так с Джанеттино покончено?

Цибо. Говорят.

Фиеско (*яростно*). Только говорят? Кто сказал, что только говорят? Цибо! Заклинаю вас вашей честью — он бежал?

Цибо (*нерешительно*). Если можно верить моим глазам больше, чем слову дворянина, то Джанеттино жив!

Фиеско (*вскипев*). Цибо! Вы головой ответите за эти слова!

Цибо. Я повторяю: восемь минут назад я видел, как он расхаживал с желтым султаном и в пурпурном плаще, живехонек.

Фиеско (*вне себя*). Ад и небо! Цибо! Бургоны не сносить головы! Бегите, Цибо! Прикажите запереть все городские ворота! Затопить каждую лодочонку, чтобы он не мог уйти в море! Вот алмаз, Цибо! Дороже не найти ни в Генуе, ни в Венеции, ни в Лукке, ни в Пизе. Он достанется тому, кто принесет мне весть, что Джанеттино мертв!

Цибо поспешно уходит.

Спешите, Цибо!

Я В Л Е Н И Е Д Е С Я Т О Е

Фиеско, Сакко, мавр. Солдаты.

Сакко. Мы застигли мавра в ту минуту, когда он броил горящий фитиль в храм иезуитов.

Фиеско. Твое предательство сошло тебе с рук потому, что дело шло лишь обо мне. За поджог — веревка! Увести и повесить сей же час на церковной ограде!

Мавр. Тьфу! Тьфу! Тьфу! Это мне не по нутру! Может, повторгусь?

Фиеско. Нет!

Мавр (*вкрадчиво*). Пошлите меня для пробы на галеры!

Фиеско (*делает знак солдатам*). На виселицу!

Мавр (*нагло*). Тогда лучше крестите меня!

Фиеско. Церкви не нужны отбросы язычества.

Мавр (*льстиво*). Дозвольте мне хоть пьяным уйти в вечность!

Фиеско. Уйдешь трезвым.

Мавр. Ну хоть не вешайте меня на христианской церкви!

Фиеско. Рыцарь верен своему слову. Я ведь пообещал тебе виселицу, какой свет не видывал!

Сакко (*ворчит*). Будет церемониться с нехристем! И без того хлопот не обобраться!

Мавр. Ну а если все-таки веревка оборвется?

Фиеско (*Сакко*). Возьмите двойную!

Мавр (*философски*). Ну, что ж поделаешь! Сатана, готовься к встрече знатного гостя! (*Уходит с солдатами, которые и вешают его неподалеку*.)

Я В Л Е Н И Е О Д И Н Н А Д Ц А Т О Е

Фиеско. Появляется Леонора в пурпурном плаще Джанеттино.

Фиеско (*замечает ее, бросается вперед, отступает; злобно про себя*). Мне знакомы этот султан и плащ!

(Снова бросается вперед; с жаром.) Да, конечно знакомы! (В бешенстве бросается вперед и закалывает ее.) Если в тебе три жизни, попробуй встань!

Леонора падает с предсмертным стоном. Слышился победный марш, барабанная дробь, рожки и гобой.

Я В Л Е Н И Е Д В Е Н А Д ЦА Т О Е

Фиеско, Кальканьо, Сакко, Центурионе, Цибо. Солдаты с музыкой и знаменами.

Фиеско (*торжествующе им навстречу*). Генуэзцы, жребий брошен! Вот он лежит — червь, точивший мою душу! Тот, кто вскормил мою ненависть! Мечи наголо! Это Джанеттино!

Кальканьо. Я пришел сказать вам, что две трети Генуи встали на нашу сторону и присягнули знамени Фиеско.

Цибо. Веррина шлет вам привет с флагманского корабля. Вы — господин над гаванью и морем!

Центурионе. Комендант города шлет вам со мной жезл и ключи.

Сакко. В моем лице великий и малый советы республики (*падает на колени*) склоняют колена перед своим победителем и молят о милости и пощаде.

Кальканьо. Я же буду первым, кто приветствует победителя в стенах его города! Да здравствует герцог Генуи! Склоните знамена!

Все (*снимая шляпы*). Ура! Ура герцогу Генуи!

Туш. Фиеско все это время стоит, опустив голову на грудь, погруженный в глубокое раздумье.

Кальканьо. Народ и сенат ожидают той минуты, когда они смогут приветствовать своего милостивого владельца почестями, подобающими государю. Дозвольте нам, светлейший герцог, торжественно проводить вас в синьорию!

Фиеско. Дозвольте мне сначала успокоить мое сердце. Мне пришлось оставить дорогую мне особу в страхе и трепете. Ту особу, которая призвана разделить со мной триумф нынешней ночи. (*Обращаясь ко всем, расстроганно*.) Соблаговолите же проводить меня

к вашей очаровательной герцогине. (*Собирается идти..*)

К а льканъо. Неужели мы оставим здесь кровожадного злодея, чтобы мрак закоулка скрыл его позор?

Ц ентурионе. Насадим его голову на алебарду!

Ц ибо. Пусть его обезображеный труп подметают мостовые города!

Тело освещают.

К альканъо (*испуганно, понизив голос*). Смотрите, генуэзцы! Клянусь богом, это не лицо Джанеттино!

Все в оцепенении глядят на труп.

Ф иеско (*останавливается, внимательно всматривается и, содрогнувшись, с исказенным лицом отводит взгляд*). Нет, дьявол! Это не лицо Джанеттино! О коварство сатаны! (*С блуждающим взглядом*.) Генуя моя, говорите вы? Моя? (*В исступлении, диким голосом*.) Адское наваждение! Это моя жена! (*Падает, как громом пораженный*.)

Заговорщики, потрясенные, застыли в мертвом молчании.

(*С трудом приподнимаясь, глухим голосом*.) Я убил свою жену, генуэзцы? Заклинаю вас, не бледнейте! Хвала господу, это лишь обман зрения! Нет, есть удел, который не страшен человеку, ибо он только человек! Тот, кому не даны радости богов,— не познает и мук дьявола. А эта ошибка еще страшней. (*С ужасным спокойствием*.) Генуэзцы, возблагодарим господа! Это невозможно.

Я В Л Е И Н Е Т Р И Н А Д Ц А Т О Е

Те же. Арабелла входит, рыдая.

Арабелла. Убейте, убейте меня! Что мне еще терять! Сжальтесь, господа!.. Здесь я оставила свою госпожу и теперь нигде не могу ее найти!

Ф иеско (*подойдя к ней, тихим, дрожащим голосом*). Леонорой зовут твою госпожу?

Арабелла (*радостно*). О, какое счастье, что вы здесь, мой дорогой, любимый, добрый господин! Не гневайтесь на нас! Мы не могли ее удержать!

Фиеско (*глухо, с яростью*). Проклятая! От чего удержать?

Арабелла. Она так и кинулась...

Фиеско (*еще яростнее*). Молчи! Куда кинулась?

Арабелла. В самую гущу...

Фиеско (*бешено*). Отродье крокодила! Как она одета?

Арабелла. В пурпурном плаще.

Фиеско (*в исступлении, шатаясь, идет на нее*). Да поглотит тебя девятый круг преисподней! Откуда плац?

Арабелла. Он здесь на земле валялся.

Несколько заговорщиков (*вполголоса*). Здесь был убит Джанеттино.

Фиеско (*в полном изнеможении*). Госпожа твоя нашлась.

Арабелла в страхе убегает.

(*Закатив глаза, делает несколько неверных шагов. Затем говорит тихим, прерывающимся голосом, который постепенно переходит в бешеный крик.*) Нет, это явь! Явь!.. Я — орудие безмерного злодейства! (*В озверении размахивает мечом.*) Прочь, люди!.. О! (*Злобно скалит зубы, подняв лицо к небу.*) Если бы я мог схватить зубами всю твою вселенную! Я грыз бы ее, покула от нее не осталось бы оскаленное чудовище, страшное, как моя мука!

Все содрогаются.

Человек! Жалкое отродье! Ты радуешься сейчас, ты счастлив, что ты — не я! Не я! (*Голос его делается глухое и прерывается.*) Я сам... своими руками! (*Быстрее, яростно.*) Я? Почему же я? Почему не они тоже? Почему мне не дано притупить остроту моей муки мукой себе подобных?

Кальканьо (*робко*). Дражайший герцог...

Фиеско (*кидается к нему со злобной радостью*). А, привет тебе! Вот, слава богу! Вот, наконец, нашелся

еще один, кого тоже размозжил этот громовой удар! (*Яростно сжимает Калькань в своих объятиях.*) Брат, поверженный! Что же? Это и твое проклятье! Она мертва! Ты ведь тоже любил ее! (*Хватает его, прижимает лицом к трупу.*) Терзайся! Она мертва! (*Глядя в пространство невидящими глазами.*) О, если бы я стоял у врат вечного проклятья и моим глазам было бы дозволено увидеть все орудия пытки, порожденные изобретательностью дьявола, а моему слуху впивать вопли и зубовный скрежет грешников! Если бы я мог увидеть ее, мою муку — кто знает, быть может тогда я снес бы ее! (*Содрогаясь, подходит к трупу.*) Жена моя лежит здесь убитая... Нет, это еще не вся правда! (*Подчеркивая каждое слово.*) Я, злодей, убил свою жену!.. Нет, что я? Этого было бы мало, чтобы пощекотать слух сатаны! Нет! Сначала он нарочно вознес меня на блестающие, головокружительные высоты радости, заманил меня на порог рая, а затем швырнул вниз! Затем... О, если бы мое дыхание могло сеять чуму!.. Затем... затем я убил свою жену! Нет, сатана шутит еще отменнее! Затем... меня обманывают (*презрительно*) мои глаза, и я (*с ужасным выражением*)... я убиваю свою жену! (*С сардоническим смехом.*) Лучше не придумаешь!

Все заговорщики стоят вокруг, опираясь на мечи. Иные смахивают слезы. Пауза.

(*Обессиленный, озирает присутствующих, понизив голос.*) Кто-то плачет? Да, боже правый! Тираноубийцы льют слезы! (*Погружаясь в тихую скорбь.*) Говорите! О чем вы плачете? Об этой злобной шутке смерти или о том, что я так пал духом?! (*В скорбной, трогательной позе замирает возле тела Леоноры.*) Когда каменные сердца убийц расплывались и слезы потекли из глаз, Фиеско изрыгал проклятья! (*Рыдая, опускается рядом с ней.*) Леонора, прости! Гневом не склонить небес к милосердию! (*Горестно и нежно.*) Долгие годы уже, Леонора, предвкушал я час торжества, когда я представлю генуэзцам их государыню! Я видел, как твои щеки рдеют в очаровательной стыдливости, как царственно вздымается твоя грудь под серебряным флером, слышал

твой прелестный голосок, прерывающийся от восторга.
(Оживляется.) Ах, как опьянил меня гордый титул,
как сникала зависть, пораженная торжеством моей
любви! Леонора! Этот час пришел! Государем Генуи
стал твой Фиеско,— но и последний нищий в Генуе не
захочет променять свой презренный удел на мой пур-
пур и мои муки! *(Душераздирающее.)* Жена делит с ним
его горе, а я, с кем я разделю свое величие? *(Рыдания
его усиливаются, он прячет лицо в платье убитой.)*

Все растроганы.

Кальканьо. Какая это была прелестная женщина.

Цибо. Надо скрыть от народа этот прискорбный случай. Весть о нем убавит мужества нашим сторонникам и придаст смелости врагам.

Фиеско *(решительно встает, овладев собой).* Внемлите, генуэзцы! Этим ударом божественный промысел,— я понял его знак,— хотел испытать мое сердце на пороге величия! Нет испытания тяжелей. Теперь я не страшусь ни мук, ни восторгов! Идем! Генуя ждет меня, говорите вы? Я дам Генуе властелина, подобного которому не знала Европа! Идем! Этой несчастливой государыне я устрою такие похороны, что жизнь лишится своих приверженцев, а смерть будет сиять, как невеста! Следуйте за своим герцогом!

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т Ы Р И А Д Ц А Т О Е

Андреа Дория. Ломеллино.

Андреа. Там они ликуют.

Ломеллино. Их опьянил успех. Ворота остались без охраны. Все ринулись к синьории.

Андреа. Лишь моего племянника нет. Он умер. Слушай, Ломеллино!

Ломеллино. Что? Что еще? Вы продолжаете надеяться, герцог?

Андреа *(сухово).* Пусть мне не на что надеяться, но ты рискуешь головой, насмешливо даря мне этот титул.

Ломеллино. Всемилостивейший государь! На чаше весов Фиеско неистовствующий народ. Что на вашей?

Андреа (*величественно и проникновенно*). Небеса!

Ломеллино (*насмешливо пожимая плечами*). С тех пор как изобрели порох, ангелы больше не участвуют в боях.

Андреа. Жалкая обезьяна! Ты хочешь отнять у отчаявшегося старца даже бога! (*Сурово и повелительно*.) Иди! Разгласи, что Андреа еще жив! Скажи: Андреа взывает к детям своим — да не изгонят они его на восьмидесятом году жизни к иноземцам, — к тем, что не простят Андреа славы, к которой он привел свое отчество! Скажи им это и скажи им еще: Андреа просит у своих детей столько родной земли, сколько нужно, чтобы успокоить эти старые кости!

Ломеллино. Я повинуюсь, но я в отчаянии! (*Хочет идти*.)

Андреа. Слушай! Возьми с собой еще эту прядь седых волос! Она была последней на моей голове, скажешь ты им, — и вот я лишился ее в ночь на третью января, когда Генуя оторвалась от моего сердца. Восемьдесят лет было этим волосам, а теперь, на восемьдесят первом году, моя голова обнажена! Скажи им, что в этих тонких волосах довольно силы, чтобы скрепить пурпурную мантию на шее юноши и задушить его. (*Уходит, закрыв лицо*.)

Ломеллино поспешно удаляется в противоположном направлении. Слышатся бурные клики радости, звучат литавры и фанфары.

Я В Л Е И Н Е П Я Т Н А Д Ц А Т О Е

Веррина появляется со стороны гавани. **Берта** и **Бургоньино**.

Веррина. Там ликуют. В чью честь?

Бургоньино. Они провозглашают Фиеско герцогом.

Берта (*в страхе прильнув к Бургоньино*). Сципион! Отец мой страшен!

Веррина. Дети, оставьте меня одного. О Генуя, Генуя!

Бургоньино. Чернь, которая боготворит его, с ревом требовала для него пурпурной мантии. Дворянство было объято ужасом, но не осмелилось сказать «нет».

Веррина. Сын мой, я все свое имущество обратил в золото и отправил на твой корабль. Возьми жену свою и немедля поднимай паруса. Быть может, я последую за вами. Быть может — нет. Направляйтесь в Марсель и... (*скорбно сжимает их в своих объятиях*) да хранит вас господь! (*Быстро уходит.*)

Берта. Боже правый! Что задумал отец?

Бургоньино. Ты поняла, что сказал отец?

Берта. Бежать? О боже! Бежать в брачную ночь!

Бургоньино. Так он сказал, и нам надо повиноваться.

Оба идут к гавани.

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т Н А Д Ц А Т О Е

Веррина и Фиеско в герцогском одеянии сталкиваются лицом к лицу.

Фиеско. Веррина! Вот удача! Я искал тебя.

Веррина. И я искал этой встречи.

Фиеско. Веррина не замечает перемен в своем друге?

Веррина (*сдержанно*). Я не хотел бы их.

Фиеско. Но ты их не видишь?

Веррина (*не глядя на него*). Надеюсь, нет.

Фиеско. Я спрашиваю: ты их не находишь во мне?

Веррина (*бросив на него взгляд*). Не нахожу.

Фиеско. Так, значит, правда, что власть не всегда порождает тиранов. С тех пор как мы расстались, я стал герцогом Генуи, но для Веррины (*обнимает его*) мои объятия не менее пламенны, чем в старье.

Веррина. Тем хуже, ибо ответом на них будет холод. Герцогский скипетр в твоей руке — как обоюдо-

острый меч между нами. Джованни-Лодовико Фиеско принадлежали обширные владения в моей душе,— теперь он завоевал Геную, и я беру свою собственность назад.

Фиеско (*задетый*). Не дай бог! Ростовщическая цена за герцогство.

Веррина (*мрачно, сквозь зубы*). Гм! Ужели свобода так пала в цене, что ее продают первому встречному за бесценок?

Фиеско (*закусив губу*). Благо тебе, что никто не слышит этого, кроме Фиеско.

Веррина. Еще бы! Лишь в присутствии столь светлого ума истина не рискует получить пощечину! Жаль только, что ловкий игрок все же проглядел одну карту. Он рассчитал все козыри завистников, но, не взирая на всю свою хитрость, к несчастью позабыл о патриотах! (*Весьма значительно.*) Или узурпатор свободы попридержал карту, которой он побьет римскую доблесть? Клянусь перед лицом господа бога! Потомство скорее найдет мои кости на колесе палача, нежели на кладбище в герцогстве!

Фиеско (*с нежностью берет его за руку*). Даже если герцог будет тебе братом? Если он превратит все герцогство в сокровищницу своей благотворительности, которая доныне влачила жалкое существование в его графских владениях? Даже и тогда, Веррина?

Веррина. Даже и тогда! Раздалив награбленное, ни один вор не спас себя от виселицы! Твоя щедрость не поколеблет Веррину. Моим согражданам я бы еще позволил дарить меня благодеяниями,— я могу надеяться отплатить им тем же. Дары владельца — милость, а милость я приемлю лишь от господа бога.

Фиеско. Мне легче Италию вырвать из объятий Атлантического океана, чем этого упрямца из объятий его безумия!

Веррина. А ведь ты мастер вырывать! Об этом могла бы кое-что порассказать республика — эта овечка, которую ты вырвал из пасти волка Дория, чтобы пожрать ее самому! Довольно! Кстати, скажи мне, герцог: в чем провинился тот бедняга, которого вы вздернули на ограде иезуитского храма?

Фиеско. Мерзавец поджег Геную.

Веррина. Но ведь мерзавец не растоптал законов?

Фиеско. Веррина злоупотребляет моей дружбой.

Веррина. Прочь дружба! Я же сказал: я не люблю тебя более! Клянусь, я ненавижу тебя! Ненавижу, как змия в раю, что впервые бросил на землю злое семя, от которого она страждёт уже пять тысячелетий. Слушай, Фиеско: я говорю с тобой не как подданный с господином, не как друг с другом, а как человек с человеком. (*Сильно и горячо.*) Ты гнусно согрешил против истинного бога, руками добродетели сотворил свое злодейство, руками патриотов совершил насилие над Генуей! Фиеско, будь я среди честных глупцов, не разгадавших твоего плутовства,— клянусь тебе всеми ужасами ада, я свил бы из своих жил веревку и удавился бы на ней, и моя душа, покидая тело, облила бы тебя ядовитой желчью! Пусть царственное преступление своей тяжестью раздавит золотые весы, назначенные для людских грехов,— но ты прогневил небеса, и это не простится тебе на страшном суде.

Фиеско, пораженный, онемев глядит на него, широко открыв глаза.

Не ищи ответа. Между нами все сказано. (*Прохаживаясь взад и вперед.*) Герцог Генуи! На галерах вчерашнего тирана привелось мне встретить несчастных; при каждом ударе весла им отрыгивается давно искупленная вина, они льют слезы в океан, который, словно богач свои деньги, не удостаивает считать их. Добрый государь начинает свое правление с милосердия. Решишься ли ты освободить галерных рабов?

Фиеско (*язвительно*). Пусть это будет началом моей тирании. Иди и возвести им всем освобождение!

Веррина. Ты сделаешь полдела, если не разделишь их радости. Поди к ним сам! Великие мира сего редко бывают там, где они творят зло. Ужели и добро они должны творить исподтишка? Думаю я, герцог не унизит себя, разделив чувства последнего нищего.

Фиеско. Ты страшный человек, и я сам не знаю, почему я иду за тобой.

Оба идут к морю.

Веррина (*останавливается, горестно*). Обними же меня еще раз, Фиеско! Здесь нет никого, кто подглядел бы, что Веррина способен плакать, а государь — чувствовать. (*Горячо обнимает его*.) Нет, никогда не бились рядом два столь великих сердца! Мы ведь так горячо, по-братски любили друг друга. (*Рыдая на груди Фиеско*.) Фиеско! Фиеско! Ты оставляешь в моей груди пустоту, которой не заполнить всему человечеству, будь оно даже в три раза многолюднее.

Фиеско (*растроганный*). Будь... моим... другом!

Веррина. Сбрось этот мерзостный пурпур, и я буду им! Первый монарх был убийцей и облачился в пурпур, дабы цвет крови скрыл следы его злодеяний. Слушай, Фиеско! Я воин. Я не умею плакать, Фиеско,— это мои первые слезы,— сбрось этот пурпур!

Фиеско. Замолчи!

Веррина (*с еще большим жаром*). Фиеско! Посули мне в награду все короны на этой планете, посули в наказание все ее пытки, чтобы я склонил колена перед смертным,— я не склоню их! Фиеско! (*Бросаясь на колени*.) Впервые я преклоняю колена! Сбрось этот пурпур!

Фиеско. Встань и не раздражай меня более.

Веррина (*решительно*). Я встал и впредь раздражать тебя не буду.

Они подходят к трапу одной из галер.

Государю подобает идти первым.

Идут по сходням.

Фиеско. Что ты так тянешь меня за плащ? Он упадет!

Веррина (*с ужасающим сарказмом*). Ну, коли пурпур падает, должен пасть и герцог! (*Сталкивает его в море*.)

Фиеско (*кричит, скрываясь в волнах*). На помощь! Генуя! На помощь! На помощь герцогу! (*Тонет*.)

Я В Л Е Н И Е С Е М Н А Д ЦА Т О Е

Кальканьо, Сакко, Цибо, Центурионе, заговорщики, народ. Все спешат в смятении.

Кальканьо (*кричит*). Фиеско! Андреа вернулся, и половина Генуи перебежала к нему! Где Фиеско?

Веррина (*твёрдым голосом*). Утонул.

Центурионе. Ад или дом умалищенных отвётил мне?

Веррина. Ну, так утопили, если это лучше звучит. Я иду к Андреа.

Все застывают на месте.

Занавес

1783





КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ



МЕЩАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Д Е Й С Т В УЮЩИЕ ЛИЦА

Президент фон Вальтер при дворе
немецкого герцога.

Фердинанд, его сын, майор.

Гофмаршал фон Кальб.

Леди Мильфорд, фаворитка герцога.

Вурм, личный секретарь президента.

Миллер, учитель музыки.

Его жена.

Луиза, его дочь.

Софи, камеристка леди.

Камердинер герцога.

Разные второстепенные лица.



ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Комната в доме музыканта.

Миллер встает с кресла и отставляет виолончель. За столом сидит жена Миллера, еще в капоте, и пьет кофе.

Миллер (*быстро ходит по комнате*). Довольно! Это уже не шутки. Скоро весь город заговорит о моей дочери и о бароне. Моему дому грозит бесчестье. Дойдет до президента и... Одним словом, больше я этого дворянчика сюда непускаю.

Жена. Ты же не заманивал его к себе в дом, не навязывал ему свою дочку.

Миллер. Я не заманивал его к себе в дом, не навязывал ему девчонки, но кто станет в это вникать?.. Я у себя в доме хозяин. Мне надо было как следует пробрать дочку. Мне надо было хорошенько намылить шею майору, а не то сей же час все выложить его превосходительству — папеньке. Могу сказать заранее: молодой барон получит нагоняй — и дело с концом, а все беды посыплются на скрипача.

Жена (*прихлебывая кофе*). Вздор! Пустяки! Что с тобой может приключиться? Кто тебе может навредить? Ты занят своей музыкой да, где только можешь, ловишь учеников.

Миллер. Нет, ты мне скажи, что из всего этого выйдет?.. Жениться на девчонке он не женится,—

о женитьбе тут не может быть и речи, а стать какой-то, прости господи... это уж извините!.. Где только эти барчуки не таскаются, черт знает чем только не лакомятся! Так что же удивительного, что эдакого сладкоежку вдруг потянуло на свеженький огурчик? Сторожи не сторожи, хоть во все щелочки за ним подглядывай, за каждым его шагом следи,— все равно наблюдает он у тебя под носом, испортит девчонку — и был таков. А девчонке вовек сраму не избыть! О замужестве тогда уж и не мечтай, а то еще, глядишь, приохотится и так по этой дорожке и пойдет. (*Ударяет себя кулаком по лбу.*) Боже мой! Боже мой!

Жена. Сохрани нас, господи, и помилуй!

Миллер. Сами должны себя сохранять. Чего еще можно ждать от такого повесы? Девчонка красавая, статная, ножки у нее стройные. На чердаке у нее может быть все что угодно,— на этот счет с женского пола спрос не велик, только бы вас господь первым этажом не обидел. Стоит такому волоките высмотреть ножки — готово дело! У него взыграло ретивое, как все равно у Роднея, когда тот зачует французов,— и пошел очертя голову, и пошел! И... и я его не виню. Все мы люди, все люди. По себе знаю.

Жена. Ты бы посмотрел, какие распрекрасные записки пишет твоей дочке его милость! Господи боже мой, да тут всякий поймет, что только ее чистая душа ему и нужна!

Миллер. Как бы не так! На языке одно, а на уме другое. Кто на тело заглядывается, тот всегда о душе толкует. Сам-то я как поступал? Чуть только спелись сердца — глянь, и тела туда же за ними,— челядь берет пример с господ! И выходит на поверку, что месяц серебристый — всего-навсего сводник.

Жена. Ты бы поглядел, какие роскошные книжки господин майор посыпает к нам на дом. Твоя дочь-то молится по этим книгам.

Миллер (*свистит*). Как же, молится! Много ты понимаешь! Простую, натуральную пищу нежный желудок его милости не переваривает. Сначала господин майор должен отдать ее на выварку искусственным поварам той адской, чумной кухни, что зовется изящной сло-

веснностью. В печку всю эту пакость! Девчонка наберется бог знает чего, разного невероятного вздора, кровь у нее забурлит, как от шпанской мушки,— и прощайте тогда крупицы христианской веры, которую отец и так уж с грехом пополам в ней поддерживал! В печку, тебе говорят! Девчонка забивает себе голову всякой чертовщиной, уносится мыслью в трилесятые государства и в конце концов потеряет, позабудет дорогу в родные палестины, устыдится, что ее отец — скрипач Миллер, и отвадит хорошего, почтенного зятя, который как раз пришелся бы мне ко двору... Ну уж нет, накажи меня бог! (*Вскакивает; в сердцах.*) Скорей, пока не поздно! А майору... да, да, майору... поворот от ворот. (*Направляется к выходу.*)

Жена. С ним надо быть повежливее, Миллер. Мы немало нажились на одних только его подарочках!..

Миллер (*возвращается и останавливается перед ней*). Это что же, плата за честь моей дочери?.. Убирайся ты к черту, мерзкая сводня!.. Лучше я возьму скрипку и пойду по миру, буду играть за тарелку супу, лучше я разобью свою виолончель и набью ее навозом, но только ни за что не притронусь к деньгам, ради которых единственное мое дитя пожертвовало своею душою и вечным спасением Откажись от проклятого кофе и от нюхательного табаку,— вот тебе и не нужно будет торговать красотой твоей дочери. Я жрал до отвала и носил тонкие сорочки еще до того, как этот отпетый негодяй повадился ко мне в дом.

Жена. До чего же ты невоздержан на язык! Закуши удила — и уж себя не помнишь! Я вот о чем толкую: ни с того ни с сего взять да и прогнать господина майора? Нет, так не годится,— ведь он не кто-нибудь, а сын президента.

Миллер. Тут-то собака и зарыта. Вот потому-то, именно потому мы и должны вынче же с этим покончить. Если президент — достойный отец, он еще будет мне благодарен. Почисти-ка мой красный бархатный кафтан,— пойду попрошу его превосходительство, чтобы он меня принял. Я скажу его превосходительству: «Сыну вашей милости приглянулась моя дочь. Моя дочь

недостойна быть женой сына вашей милости, но взять мою дочь в полюбовницы — это для сына вашей милости слишком большая роскошь. Вот вам и все! Меня зовут Миллер».

Я В Л Е Н И Е В Т О Р О Е

Т е же и секретарь В у р м.

Ж е н а М и л л е р а. А, с добрым утром, господин секретарь! Наконец-то вы опять оказали нам честь!

В у р м. Полно, полно, голубушка! Где постоянно бывает знатный кавалер, там моя мещанская честь ровно ничего не стоит.

Ж е н а М и л л е р а. Будет вам, господин секретарь! Его высокородию господину майору фон Вальтеру и впрямь нет-нет да и припадет охота нас осчастливить, но мы-то ведь каждому рады.

М и л л е р (*с досадой*). Жена, подай господину секретарю кресло! Раздевайтесь, сударь!

В у р м (*кладет шляпу, палку и садится*). Ну ладно, ладно! А как поживает моя будущая супру... или, вернее, моя бывшая невес... ведь я уже не смею надеяться... Можно видеть... мамзель Луизу?

Ж е н а М и л л е р а. Спасибо за внимание, господин секретарь. Должна вам сказать, что дочка моя ничуть не спесива...

М и л л е р (*с досадой толкает ее локтем*). Жена!

Ж е н а М и л л е р а. Да вот беда: не придется ей нынче с вами повидаться, господин секретарь. Она сейчас у обедни.

В у р м. Это хорошо, это хорошо. Я хочу, чтоб жена у меня была набожная, богобоязненная.

Ж е н а М и л л е р а (*с величественно-глупой улыбкой*). Это конечно, господин секретарь, да только...

М и л л е р (*яено смущен; дергая ее за ухо*). Жена!

Ж е н а М и л л е р а. Ежели, господин секретарь, мы можем еще чем-либо вам услужить, то это мы с нашим удовольствием...

В у р м (*прищурившись*). Еще чем-либо? Покорно благодарю! Покорно благодарю! Гм! Гм! Гм!

Жена Миллера. Вы, господин секретарь, сами должны чувствовать...

Миллер (*со злостью толкает ее в спину*). Жена!

Жена Миллера. Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше! Кто же это станет мешать единственной дочке, когда ей счастье привалило? (*С гордостью простолюдинки*.) Вы меня хорошо поняли, господин секретарь?

Вурм (*беспокойно ерзает в кресле, чешет за ухом, поправляет манжеты и жабо*). Понял? Не совсем... То есть да... Что собственно вы хотели этим сказать?

Жена Миллера. Так вот.. так вот... я все-таки думаю... я смекаю... (*кашляет*) раз уж господу так угодно, чтоб дочка моя была знатной дамой...

Вурм (*вскакивает со стула*). Что такое? Что вы сказали?

Миллер. Сидите, сидите, господин секретарь! Моя жена — дура набитая. Куда моей дочке до знатной дамы? Вот язык-то без костей!

Жена Миллера. Можешь ворчать, сколько тебе угодно, а я что знаю, то знаю, и что господин майор сказал, то он сказал.

Миллер (*в бешенстве бросается к виолончели*). Заткнешь ты глотку или нет? Хочешь, чтобы я тебя виолончелью по башке треснул? Что ты можешь знать? Что такое он мог сказать? Не обращайте внимания на эти рассказни, сударь!.. А ты — марш на кухню!.. Ведь вы же меня не считаете за дурака, не считаете, что и я стою на том, чтобы моя дочь рубила дерево не по плечу? Не правда ли, господин секретарь?

Вурм. Было бы странно, если бы ко мне вдруг переменились, господин музыкант. Вы всегда казались мне хозяином своего слова, и я полагал, что мой брак с вашей дочерью — это уже решено и подписано. Должность, которую я занимаю, вполне может прокормить человека расчетливого. А президент ко мне благоволит; если мне понадобится рекомендация, чтоб получить повышение, то мне ее дадут. Как видите, намерения у меня по отношению к мамзель Луизе самые серьезные, но

vas, быть может, сбил с толку какой-нибудь дворянчик, у которого ветер в голове...

Жена Миллера. Легче, легче, милостивый государь...

Миллер. Говорят тебе, заткни глотку!.. Будьте спокойны, сударь, все остается по-старому. Что я ответил вам осенью, то повторяю и сейчас. Я свою дочь не неволю. Подходите вы ей — с богом, пусть постараётся быть с вами счастлива. Если же она скажет «нет» — тем лучше... то есть я хотел сказать, на все воля божья. По случаю отказа распейте с ее отцом бутылочку, только и всего... Жить с вами ей — не мне. Какое я имею право только из упрямства насилино выдавать свою дочь за человека, который ей не нравится? Чтобы потом нечистый до конца дней моих гонялся за мной по пятам? Чтобы за каждым стаканом вина, за каждой тарелкой супа я потом твердил себе: «Подлец! Родное дитя погубил»?

Жена Миллера. Одним словом, я на это никак не согласна: моей дочери подавай что-нибудь повыше... Ну, а если мой муж позволит обвести себя вокруг пальца, то я прямо в суд.

Миллер. Я тебе руки и ноги переломаю, трещотка окаянная!

Вурм (*Миллеру*). Совет отца может иметь большое влияние на дочь, а ведь вы, господин Миллер, кажется, достаточно хорошо меня знаете?

Миллер. Черт возьми! Надо чтобы она вас знала!.. Что я, старый хрыч, в вас замечаю, то для молодой лакомки вовсе не приманка. Я вам по пальцам разберу, годитесь вы для оркестра или нет, но женское сердце — это не капельмейстерова ума дело. Я неотесанный, простодушный немец, и я вам, сударь, скажу напрямик: за мой совет вы бы меня в конце концов не поблагодарили. Я моей дочери еще ни за кого несоветовал выходить, но за вас, господин секретарь, я ей отсоветую!.. Дайте мне договорить... За жениха, который обращается за помощью к отцу, я, извините, не дал бы и ломаного гроша. Если он чего-нибудь стоит, то он постыдится таким старомодным способом открывать ей свои совершенства. Если же у него не хватает

духу, значит он трус, и такие девушки, как Луиза, не про него писаны... Э, да что там, он должен выставлять себе девушку за спиной у ее отца... Он должен так ей полюбиться, что она скорей папеньку с маменькой к черту пошлет, а уж его из рук не выпустит или же сама бросится отцу в ноги и станет Христом богом молить либо умертвить ее лютой смертью, либо соединить их сердца. Это, я понимаю, парень! Это называется — любовь! А кто с женским полом обходиться не умеет, тот садись верхом на гусиное перо — и до свиданья!

Вурм (*хватает шляпу, палку и бросается к выходу*). Очень вам признателен, господин Миллер!

Миллер (*медленно идет за ним*). За что же? За что? Мы вас и не попотчевали, господин секретарь! (*Возвращается*.) Ничего не слышит, бежит без оглядки. Для меня эта чернильная душа хуже всякой отравы, хуже яда. У него такая мерзкая, такая поганая харя, что кажется, будто он и на свет-то божий проник благодаря плутням какого-нибудь контрабандиста. Глазки вороватые, мышиные, волосы огненно-рыжие, подбородок так вылез вперед, словно природа с досады на свою неудачную работу схватила мошенника именно за это место и постаралась зашвырнуть как можно дальше... Нет, чем толкать дочь в объятия такого проходимца, пусть лучше она у меня, с позволения сказать...

Жена Миллера (*плакет; со злостью*). Собака!.. Разевай не разевай свою пасть, все равно ни при чем останешься.

Миллер. И ты тоже с этим окаянным барчуком! До белого каления меня сейчас довела. Когда ты из кожи вон лезешь, чтобы сойти за умную, тут-то ты как раз глупее всего и бываешь. Ну к чему вся эта болтовня о знатной dame и о твоей дочери? Да еще при этой протобестии! Ему только намекни — завтра же об этом будут судачить на всех колодцах. Такие-то господа и шныряют по чужим домам, заглянут и в кухню, и в погреб, и чуть у кого сорвется с языка лишнее слово — бац! об этом уже знают и герцог, и фаворитка, и президент, а тебе беды не обобраться.

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ъ Е

Т е же и Луиза Миллер с книгой в руке.

Луиза (*кладет книгу, подходит к Миллеру и по жимает ему руку*). С добрым утром, папенька!

Миллер (*ласково*). Умница, Луиза! Меня радует, что ты так усердно молишься богу. Будь всегда такой, и господь тебя не оставит.

Луиза. Ах, отец, я великая грешница!.. Мама, он не приходил?

Жена Миллера Кто, дочка?

Луиза. Да, я и забыла, что, кроме него, еще есть на свете люди! Я стала такая рассеянная. Так Вальтер у нас не был?

Миллер (*печально и строго*). Я думал, моя Луиза оставила это имя там, в церкви.

Луиза (*пристально посмотрев на него*). Я понимаю вас, отец, чувствуя, как вы вонзаете нож в мою совесть, но уже поздно... Прежнего благочестия нет во мне больше, отец. Небо и Фердинанд раздирают на части мое израненное сердце, и я боюсь... боюсь... (*После некоторого молчания*.) Нет, нет, папа! Когда мы, любуясь картиной, забываем о художнике, то для него это лучшая похвала. Когда от восторга перед совершеннейшим творением создателя я перестаю думать о нем самом, то разве это не приятно богу, отец?

Миллер (*в негодовании опускается в кресло*). Дожили! Вот они, плоды безбожных книжек!

Луиза (*в беспокойстве подходит к окну*). Где-то он теперь? Знатные барышни, те видят, слышат его. А я — простая, покинутая девушка. (*Пугается собственных слов и бросается к отцу*.) Нет, нет, прости меня! Я на судьбу не ропщу, я ничего не хочу, только... только думать о нем... А это такое скромное желание! Моя короткая земная жизнь... Как бы я была счастлива, если бы она излетела из моих уст и легким, ласкающим ретерком освежила ему лицо! Цвет моей юности... Будь то фиалка и он бы на нее наступил,— как покорно умерла бы она под его стопой!.. Больше мне ничего не надо, отец! Если мошка хочет, чтобы солнечный луч

согрел ее, то станет ли ее за это наказывать гордое, патеринское солнце?

Миллер (*растянутый, откладывается на спинку кресла и закрывает лицо руками*). Послушай, Луиза: весь жалкий остаток дней моих я отдал бы за то, чтобы ты никогда не видала майора.

Луиза (*испуганно*). Что такое? Что вы говорите?.. Не то вы, верно, хотели сказать, милый папенька! Вы не знаете, что Фердинанд — мой, что он создан для меня, что он послан мне на радость отцом всех любящих. (*Задумчиво*.) Когда я увидела его впервые... (*оживившись*) я вся вспыхнула, кровь заиграла веселее, и биение каждой жилки говорило мне, каждый мой вздох шептал мне: «Это он!..» И сердце мое, узнав вечно желанного, согласилось: «Это он!» И как же дружно повторил за ним эти слова весь мир, радовавшийся вместе со мной! Тогда... о, тогда в моей душе настало утро! Множество юных чувств распустилось у меня в сердце, подобно тому как весной из земли вырастают цветы. Я не замечала окружающего мира, и все же я припоминаю, что никогда еще не был он так прекрасен. Я совсем не думала о боге, и все же никогда еще так не любила его.

Миллер (*бросается к ней и прижимает к своей груди*). Луиза, милое, любимое дитя мое! Возьми мою старую, дряхлую голову... все возьми... все!.. Но... бог свидетель... майора... я тебе дать не властен. (*Уходит*.)

Луиза. Здесь он мне и не нужен, отец! Эту часть времени, крохотную, будто капля росы... да ее с жадностью поглотит самая мечта о Фердинанде! В этой жизни я на него не посягаю. Но потом, мама, потом, когда перегородки земных различий рухнут, когда с нас спадет ненавистная шелуха сословий и люди станут только людьми... я из этого мира не принесу с собой ничего, кроме моей невинности. Но ведь отец много раз говорил, что, когда придет господь, драгоценности и пышные титулы подешевеют, а сердца вздорожают. Тогда я буду богата, мама! Там слезы зачтутся за подвиги, а благие помыслы — за славных предков. Тогда я стану знатной, мама! Чем же он тогда будет выше своей любимой?

Жена Миллера (*вскочив*). Луиза! Майор!
Вон он, перескочил через ограду. Куда бы мне деться?
Луиза (*дрожа*). Останьтесь, мама!

Жена Миллера. Господи! На что я похожа!
Мне совестно. Я не могу в таком виде показаться его
милости

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Фердинанд фон Вальтер, Луиза.

Фердинанд подбегает к ней; **Луиза**, побледнев, в изнемо-
жении опускается в кресло; **Фердинанд** останавливается
перед ней.

Некоторое время они молча смотрят друг на друга. Пауза.

Фердинанд. Как ты бледна, Луиза!

Луиза (*бросается к нему в объятия*). Ничего!
Ничего! Ты со мной. Все прошло.

Фердинанд (*подносит ее руку к губам*). Моя
Луиза все еще меня любит? Мое сердце — такое же,
как и вчера, а твое? Я лечу к тебе, хочу посмотреть,
весела ли ты, и уйти от тебя повеселевшим, а ты гру-
стишь.

Луиза. Да нет же, нет, мой любимый!

Фердинанд. Говори правду. Ты грустишь.
Я вижу насквозь твою душу, как вот этот чистой воды
брильянт. (*Показывает на свое кольцо*.) На нем не мо-
жет появиться ни одного пузырька, которого бы я не
заметил, ни одна мысль не мелькнет в твоих глазах, ко-
торую бы я не уловил. Что с тобой? Признайся! Когда
это зеркало ничем не замутнено, то и весь мир для меня
безоблачен. Что тебя печалит?

Луиза (*некоторое время смотрит на него молча
и многозначительно; с грустью*). Фердинанд! Фердинанд!
Если бы ты знал, какой прекрасной кажется в твоем
изображении белая девушка, простая мещанка!

Фердинанд. Что ты сказала? (*В изумлении*.)
Девочка моя! Послушай! Как могло это тебе прийти
в голову? Ты — моя Луиза. Кто тебе внушил, что этого
недостаточно? Вот видишь, неверная, как ты ко мне хо-
лодна! Если б ты вся была охвачена любовью, стала бы
ты думать о различиях? Когда я с тобой, рассудок мой
весь уходит в зれние; когда же я вдали от тебя, он пере-

плавляется в мечту о тебе. А ты и в любви способна сохранять благоразумие? Стыдись! Мгновенья, которые ты провела в тоске,— это мгновенья, похищенные у твоего любимого.

Луиза (*берет его за руку и качает головой*). Ты хочешь усыпить меня, Фердинанд, хочешь отвлечь мое внимание от той пропасти, куда я непременно сорвусь. А я смотрю вперед. Голос славы, твои замыслы, твой отец, мое ничтожество... (*Охваченная страхом, выпускает его руку*.) Фердинанд! Меч занесен над тобой и надо мной! Нас хотят разлучить!

Фердинанд. Хотят разлучить? (*Вскакивает*.) Откуда у тебя эти мрачные мысли? Хотят разлучить? Но кто же в силах разорвать союз двух сердец или разъединить звуки единого аккорда?.. Я — дворянин? Подумай, что старше — мои дворянские грамоты или же мировая гармония? Что важнее — мой герб или предназначение небес во взоре моей Луизы: «Эта женщина рождена для этого мужчины»? Я — сын президента? Тем более! Что еще, кроме моей любви, способно искупить те проклятия, которые падут на мою голову из-за того, что мой отец грабит страну?

Луиза. Ах, твой отец!.. Как я боюсь его!

Фердинанд. А я ничего не боюсь... ничего. Боюсь только, что ты меня разлюбишь. Пусть между нами вырастут целые горы — для меня это лишь ступени, по которым я взлечу к моей Луизе. Бури, насылаемые на нас враждебным роком, еще сильнее раздуют пламень чувств моих, опасности придадут моей Луизе еще большую прелесть... Отринь же страх, моя любимая! Я сам, сам буду тебя стеречь, как дракон стережет подземное золото. Доверься мне! Я буду твоим ангелом-хранителем. Я заслоню тебя от ударов судьбы, приму за тебя какую хочешь муку, капли не пролью из кубка радости — все до одной принесу тебе в чаще любви. (*Нежно обнимает ее*.) Опираясь на эту руку, моя Луиза сможет легкой стопою пройти по дороге жизни. Когда же ты снова попадешь на небо, оно с изумлением признает, что ты стала еще прекраснее, чем была тогда, когда оно отпускало тебя на землю, и что душа достигает полной зрелости только в любви.

Луиза (*в сильном волнении вырывается из его объятий*). Довольно! Прошу тебя, молчи!.. Если б ты знал!.. Оставь меня... Ты не чувствуешь, как твои мечты фуриями терзают мне сердце. (*Хочет уйти.*)

Фердинанд (*удерживает ее*). Луиза! Что ты? О чём? Что с тобой творится?

Луиза. Я перестала на это надеяться — и была счастлива.. Но теперь, теперь, с этого дня... мне уже не знать покоя... Я чувствую: дикие страсти закипят в груди моей... Ступай... Да простит тебя господь!.. Ты зажег пожар в моем юном, безмятежном сердце, и уже ничто, ничто его не потушит. (*Убегает.*)

Фердинанд молча следует за ней.

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

Зала в доме президента.

Входят президент, с орденским крестом на шее, со звездой на груди, и секретарь Вурм.

Президент. Глубокая привязанность! Мой сын?.. Нет, Вурм, никогда я этому не поверю.

Вурм. Сделайте милость, ваше превосходительство, позвольте мне представить доказательства.

Президент. Что он ухаживает за этой ничтожной мещанкой, говорит ей приятные вещи, может быть даже толкует с ней про любовь — все это я допускаю, все это простительно, но... Так вы говорите, она дочь музыканта?

Вурм. Дочь учителя музыки Миллера.

Президент. И хорошенькая?.. Впрочем, это само собой разумеется.

Вурм (*живо*). Прелестная блондинка. Смело можно сказать, что она не уступит первым придворным красавицам.

Президент (*с смехом*). Ах, вот оно что, Вурм! Сколько я понимаю, вы тоже на нее заглядываетесь? Но, видите ли, милейший Вурм, то обстоятельство, что сын мой — дамский угодник, дает мне надежду, что и дамы будут к нему благосклонны. Он сможет многоного добиться при дворе. Вы говорите, что девушка хорошенькая? Мне приятно, что у моего сына есть вкус.

Он морочит голову этой дурочке, будто у него серьезные намерения? Тем лучше,— значит, он достаточно находчив и врет ей с три короба. Пожалуй, будет еще президентом. И ко всему имеет успех? Отлично. Это явный знак, что он удачлив. Кончится этот фарс появлением на свет здорового внука? Чудесно! Я выпью лишнюю бутылку малаги за свежий побег на моем родословном древе и уплачу штраф за обольщение девицы.

В у р м. Я одного боюсь, ваше превосходительство: как бы вам не пришлось пить эту бутылку только для того, чтобы забыться!

П р е з и д е н т (*строго*). Вам известно, Бурм, что раз поверив, я уже не разуверяюсь и гнев мой предела не знает. Я охотно оберну в шутку ваше желание определенным образом меня настроить. Что вам не терпится убрать с дороги соперника, это мне ясно. Затмить моего сына в глазах девчонки вам не удается, и вы хотите воспользоваться отцом, как хлопушкой для мух, — это мне тоже понятно; а что у вас такие поразительные способности к плутовству — это меня даже приводит в восторг. Но только, милейший Бурм, я вам не советую дурачить заодно и меня, советую вам помнить, что со мной шутки плохи.

В у р м. Прошу прощения, ваше превосходительство. Если б даже и в самом деле, как вы подозреваете, здесь была замешана ревность, то ее можно было бы уловить в выражении моего лица, но уж во всяком случае не в речах.

П р е з и д е н т. По-моему, лучше бы ее не было вовсе. Чудак! Не все ли вам равно, попадет к вам монета прямо с монетного двора или же от банкира? Берите пример с местного дворянства: умышленно или неумышленно, но только у нас редко когда заключается брачный договор без того, чтобы по крайней мере полдюжины гостей, а то и слуг, предварительно не измерили геометрическим способом тот рай, что уготован жениху.

В у р м (*кланяется*). В этом случае я предпочел бы остаться мещанином.

П р е з и д е н т. К тому же в ближайшее время вы будете иметь удовольствие наилучшим образом отпла-

тить своему сопернику за обиду. Как раз теперь кабинет вынес решение, что леди Мильфорд по случаю появления новой герцогини должна для отвода глаз получить отставку и, чтобы уже не было никаких подозрений, выйти замуж. Вы знаете, Вурм, насколько занимаемое мною положение зависит от влияния леди и сколь мощную пружину моего успеха составляет уменье потворствовать прихотям герцога. Его высочество подыскивает партию для леди Мильфорд. Ему может подвернуться кто-нибудь другой, и этот другой пойдет на сделку и вместе с дамой сердца приобретет доверие герцога, станет необходимым для него человеком. Так вот, для того, чтобы герцог продолжал оставаться в сетях у моей семьи, Фердинанд и должен жениться на леди Мильфорд. Вам это ясно?

В у р м. Ясно как божий день. Во всяком случае ваша милость доказывает этим, что президент в вас куда сильнее, чем отец! Если майор окажется по отношению к вам таким же послушным сыном, как вы — нежным отцом, то ваши намерения могут встретить сопротивление.

П р е з и д е н т. К счастью, я еще ни разу не усомнился в осуществимости плана, на котором я счел возможным начертать: *быть по сему!*.. Видите, Вурм, вот мы и вернулись к исходному пункту. Я еще до обеда объявлю моему сыну о том, что ему предстоит обручаться. По выражению его лица я сразу пойму, оправдываются ваши подозрения или же их следует решительно отнести.

В у р м. Прошу меня извинить, ваша милость. Вид у вашего сына будет несомненно расстроенный, но отсюда еще не следует, что расстроится он из-за того, что вы у него отнимаете невесту, а не из-за того, какую именно невесту вы подыскали ему взамен. Не угодно ли вам будет прибегнуть к более сильному испытанию? Предложите ему самую безупречную партию во всем государстве, и вот если он согласится, тогда приговорите вашего секретаря Вурма к трем годам каторжных работ.

П р е з и д е н т (*кусая губы*). Черт возьми!

В у р м. Да, да, уверяю вас. Ее мать, ходячая глупость, в простоте душевной вы boltала достаточно.

Президент (*ходит взад и вперед, чтобы успокоиться*). Хорошо! Сегодня же утром.

Вурм. Только прошу вас не забыть, ваше превосходительство, что майор — сын вашей милости...

Президент. Его не тронут, Вурм.

Вурм. И что моя услуга, состоящая в том, что я помог вам избавиться от нежеланной невестки...

Президент Требует и с моей стороны услуги помочь вам жениться?.. С удовольствием, Вурм!

Вурм (*довольный, кланяется*). Вечный раб вашей милости! (*Хочет уйти*)

Президент. Но то, что я вам сейчас доверил, Вурм... (*угрожающе*) если вы проговоритесь...

Вурм (*со смехом*). То ваше превосходительство докажет, что я подделывал подписи. (*Уходит.*)

Президент. Ты у меня в руках! Я держу тебя на твоем же собственном мошенничестве, как жука на нитке.

Камердинер (*входит*). Гофмаршал фон Кальб!

Президент. Как нельзя более кстати!.. Очень рад!

Камердинер уходит.

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Гофмаршал фон Кальб в богатом, но безвкусном придворном костюме, с камергерским ключом, двумя часами и шпагой, в руке — *chapeau bas*¹, завит *à la herisson*², взвизгивая подлетает к президенту и распространяет по всему партеру запах мускуса.

Президент.

Гофмаршал (*обнимая его*). С добрым утром, мой драгоценнейший! Как отдыхали? Как почивали? Простите, что я так поздно имею удовольствие... Неотложные дела... выбор меню... визитные карточки... составление компаний для сегодняшней прогулки в санях... Ух!.. А тут еще надо было присутствовать при *lever*³ и доложить его высочеству о погоде.

Президент. Да, конечно, маршал, вам невозможно было отлучиться.

¹ Шляпа с низкими полями (*франц.*).

² Ежиком (*франц.*).

³ Одевание знатной особы (*франц.*).

Гофмаршал. В довершение всего меня надул шельма портной.

Президент. И вы все успели?

Гофмаршал. Это еще что! Сегодня у меня беда за бедой. Вы только послушайте!

Президент (*рассеянно*). Да неужели?

Гофмаршал. Вы только послушайте! Едва я вышел из кареты, как лошади чего-то испугались, начали брыкаться, потом взвились на дыбы и снизу до верху забрызгали грязью мои, с позволения сказать, панталоны. Что тут делать? Войдите, ради бога, в мое положение, барон! Я стою на улице. Уже поздно. Ехать назад — потеряешь целый день, а предстать в таком виде перед его высочеством — боже правый!.. Что же я придумал? Я притворился, что мне дурно. Меня скорей на руки и прямо в карету. Мчусь во весь дух домой... переодеваюсь... еду обратно... Каково?.. И в приемной я все-таки первый... Как вам это понравится?

Президент. Великолепный образец человеческой находчивости... Но оставим это, Кальб... Итак, вы уже говорили с герцогом?

Гофмаршал (*торжественно*). Двадцать минут тридцать секунд.

Президент. Да что вы! Значит, у вас бесспорно есть для меня какие-нибудь важные новости?

Гофмаршал (*после некоторого молчания, с серьезным лицом*). Его высочество сегодня в касторовом камзоле цвета гусиного помета.

Президент. Вы подумайте!.. Нет, маршал, я могу вам сообщить нечто более любопытное... Вы, вероятно, еще не знаете, что леди Мильфорд выходит замуж за майора Вальтера?

Гофмаршал. Да что вы говорите?.. И это ужо решено?

Президент. Решено и подписано, маршал... И я вам буду очень обязан, если вы прямо отсюда отправитесь к леди, предупредите ее, что к ней собирается с визитом Фердинанд, и оповестите о его намерении весь город.

Гофмаршал (*в восторге*). О, с величайшей радостью, мой драгоценнейший! Это для меня такое на-

слаждение! Лечу, лечу! (*Обнимает его.*) Будьте здоровы... Через три четверти часа об этом будет знать вся столица. (*Выпархивает из комнаты.*)

Президент (*смеется ему вслед*). А еще говорят, что такие существа решительно ни на что не годны!.. Ну, уж теперь Фердинанду придется дать согласие, иначе выйдет, что лжет весь город! (*Звонит.*)

Входит Вурм.

Позовите ко мне моего сына.

Вурм уходит, президент в задумчивости расхаживает по зале.

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬМ О Е

Фердинанд, президент. Вурм появляется и сейчас же уходит.

Фердинанд. Вы приказали, батюшка...

Президент. К сожалению, чтобы иметь удовольствие видеть сына, я всякий раз вынужден теперь приказывать... Оставьте нас, Вурм!.. Фердинанд, я с некоторых пор наблюдаю за тобой и не нахожу больше того юношеского чистосердечия и порывистости, которые мне так нравились в тебе прежде. На твоем лице застыло выражение какой-то необычной грусти... Ты избегаешь меня, избегаешь общества... Нехорошо!.. Человеку твоих лет скорее можно простить десять кутежей, чем один-единственный приступ хандры. Озабоченное выражение более пристало мне, дорогой мой! Предоставь мне позаботиться о твоем счастье, а сам старайся только содействовать успеху моего предприятия... Подойди, обними меня, Фердинанд!

Фердинанд. Вы сегодня очень милостивы, отец.

Президент. Только сегодня? Ах ты разбойник! Да еще говоришь мне это с такой кислой миной! (*Торжественно.*) Фердинанд! Ради кого я избрал опасный путь, чтобы войти в доверие к его высочеству? Ради кого я расторг союз со своею совестью и с небом?.. Послушай, Фердинанд... Я говорю со своим сыном... Кому я освободил место, убрав моего предшественника? Этот

поступок тем глубже вонзается в мое сердце, чем старательнее прячу я нож от людей. Ответь же мне, Фердинанд, ради кого я пошел на все это?

Фердинанд (*в ужасе отступает*). Но ведь не ради меня, отец? Ведь не на меня падет кровавый отсвет этого злодейства? Боже всемогущий! Лучше совсем не родиться на свет, чем служить предлогом для этого преступления!

Президент. Что? Что такое? Ох, уж эти мне романтические бредни!.. Фердинанд, я постараюсь говорить с тобой спокойно, дерзкий мальчишка... Так-то ты платишь мне за бессонные ночи? Так-то ты платишь мне за всечесные заботы? Так-то ты платишь мне за то, что меня вечно жалит скорпион совести? Бремя ответственности падает на меня. Проклятие, божья кара — все падает на меня. Ты получаешь счастье из вторых рук. Преступление не оставляет кровавых пятен на наследстве.

Фердинанд (*воздевает правую руку к небу*). От такого наследства, которое только будет напоминать мне о моем ужасном отце, я торжественно отрекаюсь.

Президент. Послушай, юнец, не выводи меня из себя! Если бы я рассуждал так же, ты бы весь свой век ползал во прахе.

Фердинанд. Ах, отец, насколько же это было бы лучше, чем ползать у трона!

Президент (*сдергивааясь*). Гм!.. Ты не понимаешь своего счастья. Куда другие как ни стараются, а все не могут взобраться, ты вознесся шутя, словно во сне. В двенадцать лет ты уже прапорщик. В двадцать — майор. Я добился этого у герцога. Ты снимешь мундир и поступишь в министерство. Герцог обещает тебе чин тайного советника... службу в посольстве... необыкновенные милости. Перед тобой открываются прекрасные виды на будущее! Сначала ровная дорога к трону, а потом и на самый трон, если только имеет смысл менять самую власть на ее внешние признаки. Неужели это тебя не вдохновляет?

Фердинанд. Нет, потому что мои понятия о величии и о счастье заметно отличаются от ваших... Вы достигаете благополучия почти всегда ценою гибели

другого. Зависть, страх, ненависть — вот те мрачные зеркала, в которых посрамляется величие властителя... Слезы, проклятия, отчаяние — вот та чудовищная трапеза, которой услаждают себя эти прославленные счастливцы. И не успеет у них пройти хмель, как они, шатаясь, уже отходят в вечность, к престолу всевышнего. Нет, мой идеал счастья скромнее: он заключен во мне самом. В моем собственном сердце — вот где таятся все мои желания.

Президент. Прекрасно ты говоришь! Лучше нельзя! Превосходно! После тридцатилетнего перерыва я снова слушаю первую лекцию! Жаль только, что моя пятидесятилетняя голова стала худо воспринимать! Впрочем... чтобы твой редкостный дар не оставался втуне, я намерен дать тебе спутницу жизни,— вот, пожалуйста, ей и забивай голову всем этим высокопарным вздором. Ты должен сегодня же... решиться... решиться на брак.

Фердинанд (*в изумлении отступает*). Отец!

Президент. Не благодари меня... Я послал от твоего имени визитную карточку леди Мильфорд. Будь любезен, сейчас же отправляйся к ней и сделай ей официальное предложение.

Фердинанд. Как, отец, той самой Мильфорд?

Президент. Надеюсь, ты знаешь ее...

Фердинанд (*теряя самообладание*). Есть ли в нашем городе хоть один позорный столб, который бы о ней не знал? Однако, батюшка, в какое же я попал смешное положение: я шутку вашу принял всерьез! Да разве вы пожелаете быть отцом негодяя сына, который берет себе в жены высокопоставленную распутницу?

Президент. А что ж тут такого? Я бы и сам к ней посватался, если б только она пошла за пятидесятилетнего. Ты-то разве не пожелал бы при таких обстоятельствах быть сыном негодяя отца?

Фердинанд. Нет! Клянусь богом!

Президент. Это, конечно, дерзость, но я ес тебе прощаю — за оригинальность.

Фердинанд. Прошу вас, отец, прекратить этот разговор, иначе я не в силах буду называть себя вашим сыном.

Президент. Ты взбесился, мальчишка? Какой благоразумный человек не жаждал бы обладать преимуществом — бывать у кого-нибудь по очереди с главой государства?

Фердинанд. Вы становитесь для меня загадкой, отец. Вы называете преимуществом — *преимуществом!* — делить с государем то, в чем он ниже всякого другого человека.

Президент хохочет.

Смейтесь, отец... Хорошо, мы не будем вовсе этого касаться. Но как я посмотрю в глаза последнему ремесленнику, который по крайней мере получает в приданое за женой ее тело на правах единственного обладателя? Как я буду смотреть людям в глаза? В глаза герцогу? Самой герцогской наложнице, которая желает отмыть пятно на ее чести в моем позоре?

Президент. Где ты всего этого нахватался, мальчишка?

Фердинанд. Заклинаю вас небом и землею, отец! Унизив единственного сына, вы сделаете его несчастным, но сами счастливее от этого не станете. Я жизни своей не пожалею, если только это послужит вашему возвышению. Свою жизнью я обязан вам, и я не задумываясь принесу ее, всю без остатка, в жертву вашему величию. Но моя честь, отец... раз вы у меня ее отнимаете, значит легкомыслием и подлостью было с вашей стороны давать мне жизнь, и я вынужден проклясть своего отца как сводника.

Президент (*дружески хлопая его по плечу*). Браво, мой милый сын! Теперь я вижу, что ты честный малый, ты достоин лучшей женщины во всем нашем герцогстве!.. И она будет твоей. Сегодня же днем ты обручишься с графиней фон Остгейм.

Фердинанд (*снова поражен*). Что же это за день выдался мне, он сразит меня окончательно!

Президент (*смотрит на него испытующе*). Уж этот-то выбор, надо надеяться, не задевает твоей чести?

Фердинанд. Нет, отец! Всякого другого Фредерика фон Остгейм могла бы осчастливить. (В край-

нем замешательстве, про себя.) Что его злоба не тронула в моем сердце, то разрывает в клочья его доброта.

Президент (*все еще глядя на него в упор*). Я жду от тебя благодарности, Фердинанд...

Фердинанд (*бросается к нему и с жаром цепляет руку*). Отец, ваше благодеяние трогает меня до глубины души... Отец, я чрезвычайно вам благодарен за ваше добре намерение... выбор ваш безупречен... но... к моему большому сожалению... я не могу... я не вправе... я не могу любить графиню!

Президент. Ого! Сейчас видно желторотого птенца! Попался-таки в ловушку, хитрый лицемер! Значит, дело не в чести, будто бы не позволяющей тебе жениться на леди Мильфорд? Значит, дело не в личности, а ты против женитьбы вообще?

Фердинанд стоит как вкопанный, затем вздрагивает и порывается бежать.

Куда? Стой! Вот оно, твоё сыновнее почтение!

Майор возвращается.

Леди поставлена о тебе в известность. Герцогу я дал слово. Город и двор осведомлены обо всем. И если из-за тебя, мальчишка, я окажусь лжецом перед герцогом... перед леди Мильфорд... перед двором... перед всем городом... Слушай, мальчишка... если мне станут известны некоторые похождения... Ого! Постой! Что это ты стал так бледен с лица?

Фердинанд (*бледный, как снег, весь дрожа*). Чего? Разве? Пустое, отец!

Президент (*устремляя на него ужасный взгляд*). Если это неспроста... если я нападу на след и дознаюсь, чем вызвана твоя строптивость... тогда берегись, мальчишка! Уже одно подозрение приводит меня в ярость. Иди сию же минуту! Сейчас начинается вахтирад. Ты явишься к леди, как только будет вручен пароль... Передо мной трепещет все герцогство. Посмотрим, возьмет ли надо мною верх своевольный сын. (*Направляется к выходу и снова возвращается.*) В последний раз говорю, тебе, мальчишка: ступай туда, не то бойся моего гнева! (*Уходит.*)

Фердинанд (*выходя из тягостного оцепенения*). Он ушел? Ужели то был голос отца?.. Да, я пойду к ней... пойду туда... Я расскажу ей такие вещи, я поставлю перед ней такое зеркало... Гнусная тварь! Если ты и тогда потребуешь моей руки, то перед лицом всего дворянства, войска и народа, хотя бы ты была защищена всей гордыней твоей Англии, я, немецкий юноша, тебя отвергну! (*Быстро уходит.*)

Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е

Я В Л Е Н И Е П ЕР В О Е

Зала во дворце леди Мильфорд; направо софа, налево рояль. Леди, с еще незавитыми волосами, в прелестном свободном неглиже, сидит за роялем и импровизирует. Софи, камеристка, отходит от окна.

Софи. Офицеры расходятся. Вахтпарад окончился, а Вальтера не видно.

Леди (*в сильном беспокойстве встает и проходит по зале*). Не знаю, что со мной сегодня, Софи... Никогда еще со мной этого не было... Так ты его не видела?.. Ну да, конечно... Ему спешить нечего... У меня такая тяжесть на сердце, как будто я совершила преступление... Поди, Софи, скажи, чтобы мне оседлали самого бешеного скакуна, какой только есть в конюшне. Я хочу на простор, хочу видеть людей и голубое небо; от быстрой езды мне станет легче.

Софи. Если вам скучно, миледи, позовите к себе гостей. Позовите герцога обедать, а не то так велите поставить перед вашей софой карточные столы. Будь к моим услугам герцог и весь двор, стала бы я хандриТЬ!

Леди (*бросается на софу*). Ах нет, уволь! Если ты возьмешься ограждать меня от посетителей, я готова дарить тебе по брильянту за каждый час. Для чего мне вся эта публика? Для декорации?.. Когда у меня срывается невзначай теплое, искреннее слово, эти жалкие, дрянные людишки таращат глаза и разевают рты, как

будто перед ними привидение. Такими марионетками мне легче управлять, чем вязальной спицей. Что мне делать с этими людьми, если все их душевые движения так же размежены, как ход часовской стрелки? Что за интерес спрашивать их о чем-нибудь, раз я знаю заранее, что они мне ответят? Что за интерес обмениваться с ними впечатлениями, раз у них не хватает смелости иметь свое мнение?.. Нет, вон их, вон! Противно ездить на лошади, которая не кусает даже своих удила. (*Подходит к окну.*)

София. Но ведь герцога-то вы к ним не причисляете, леди? Это самый красивый мужчина, самый страстный любовник и самый остроумный человек во всей его стране.

Леди (*отходит от окна*). То-то и дело, что в *его* стране... Только его герцогское звание, Софи, и может служить слабым оправданием моему выбору. Ты говоришь, мне завидуют. Бедная я! Жалеть меня надо, а не завидовать. Из всех, кто кормится от щедрот властелина, самая печальная судьба постигает его фаворитку, потому что ей одной видно все убожество великого и богатого человека. Правда, ему стоит обратиться к талисману своего величия — и все, что моей душе угодно, вырастет из-под земли, словно волшебный замок. Он раскладывает передо мной сокровища обеих Индий, создает рай в пустыне, заставляет родники своей страны горделивыми дугами взлетать к небу и разбрызгивает в фейерверках кровь и пот своих подданных. Но может ли он приказать своему сердцу — в лад другому сердцу, могучему, пылкому, — биться так же могуче и пылко? Способна ли одряхлевшая его душа хоть на один высокий порыв? Чувственных наслаждений у меня довольно, а между тем я испытываю сердечный голод. На что мне столько упоительных ощущений, которые лишь охлаждают жар в моей крови?

София (*смотрит на нее с удивлением*). Ведь я же к вам давно поступила, миледи?

Леди. И только сейчас узнала меня?.. Твоя правда, милая Софи... Я продала герцогу свою честь, но сердце мое осталось свободным, и, может быть, дорогая, оно еще найдет себе кого-нибудь более достойного, —

тлетворный воздух двора коснулся его лишь так, как дыхание касается зеркала. Можешь мне поверить, моя милая, что я давно бы уже отказалась от этого презренного герцога, если бы только самолюбие позволило мне уступить место какой-нибудь придворной даме.

Софии. И ваше сердце так легко подчинилось самолюбию?

Леди (*живо*). А ты думаешь, мое сердце не мстило за себя?.. И теперь не мстит?.. Софи! (*Положив ей руку на плечо, торжественно*.) У нас, женщин, выбор один: властвовать — или покоряться. Но даже упоение самой неограниченной властью — это только жалкое самоутешение, если мы лишены наивысшего счастья — быть рабыней любимого человека.

Софии. Вот уж этого, миледи, я от вас никак не ожидала услышать!

Леди. Но отчего же, Софи? Разве по тому, как по-детски держим мы скрипетр, не видно, что наш удел ходить на помочах? Разве ты не заметила, что мои прически и прихоти, все мои дикие забавы лишь заглушают в моей груди еще более дикие страсти?

Софии (*пораженная, отступает*). Леди!

Леди (*с еще большей живостью*). Утоли их! Приведи мне человека, о котором я теперь думаю... которого я боготворю... Я должна завладеть им, Софи, или умереть. (*С нежностью*.) Дай мне услышать из его уст, что слезы любви, сверкающие в моих глазах, прекраснее, чем бриллианты, вплетенные в мои волосы (*страстно*), и я брошу к ногам герцога и его сердце и все его герцогство! Брошу и убегу с этим человеком на край света...

Софии (*смотрит на нее испуганно*). Господи! Да что же это? Что с вами, миледи?

Леди (*в замешательстве*). Отчего ты побледнела? Разве я сказала что-нибудь лишнее?.. Пусть же моя доверчивость наложит на твои уста печать молчания... Сейчас ты узнаешь еще больше... узнаешь все...

Софии (*пугливо озираясь*). Я боюсь, миледи... боюсь... что я буду знать слишком много.

Леди. Брак с майором... Ты и весь свет воображаете, что это *придворная интрига*... Софи!.. Не крас-

ней... не испытывай за меня стыда... Это затеяла...
моя любовь!

София. Я так и думала! Клянусь богом!

Леди. Их нетрудно было убедить, Софи: слабо-вольного герцога, придворного хитреца Вальтера, глупого гофмаршала... Каждый из них готов поклясться, что этот брак — верное средство сохранить меня для герцога и упрочить нашу с ним связь. О нет! Это — средство навеки ее разорвать, навеки разбить позорные эти цепи! Обманутые лжецы, которых перехитрила слабая женщина, вы сами приводите ко мне теперь моего возлюбленного! Этого я и хотела. Как только он будет мой... как только он будет мой... о, тогда прощай навек все это гнусное великолепие!..

Я В Л Е Н И Е В Т О Р О Е

Те же и старый камердинер герцога приносит шкатулку с драгоценностями.

Камердинер. Его высочество герцог кланяется вашей милости, миледи, и посыпает вам к свадьбе вот эти брильянты. Он только что получил их из Венеции.

Леди (*открывает шкатулку и в испуге отшатывается*). Послушай, сколько же герцог заплатил за эти камни?

Камердинер (*мрачно*). Они не стоили ему ни гроша!

Леди. Что? Ты с ума сошел? Ничего не стоили?.. Что же ты (*отступая на шаг*), что же ты смотришь таким взглядом, будто хочешь меня пронзить? Эти безумно дорогие камни ничего не стоят?

Камердинер. Вчера семь тысяч сынов нашей родины отправлены в Америку,— вот они-то и платят за все.

Леди (*резким движением отдвигает шкатулку и быстрым шагом приближается к камердинеру; после небольшого молчания*). Послушай, что с тобой? Ты, кажется, плачешь?

Камердинер (*утирает слезы; весь дрожа, душераздирающим голосом*). Сами-то они дороже всех брильянтов на свете... Там было и двое моих сыновей.

Леди (*содрогнувшись, отворачивается и схватывает его за руку*). Но ведь не насилино же их?

Камердинер (*с горьким смехом*). Какое там насилино! Нет, все сплошь добровольцы! Правда, когда их выстроили во фронт, нашлись ребята посмелее, вышли из рядов и спросили у полковника, сколько герцог берет за пару таких, как они. Но всемилостивейший наш государь отдал приказ всем полкам выстроиться на плацу и расстрелять крикунов. Мы слышали залп, видели, как брызнул на мостовую мозг, а затем все войско крикнуло: «Ура! В Америку!»

Леди (*в ужасе падает на софу*). Боже мой! Боже мой! Я ничего об этом не слышала! Ничего не замечала!

Камердинер. Да, ваша милость... Вольно же вам было уехать с государем на медвежью охоту как раз тогда, когда был подан сигнал к выступлению. Вам непременно надо было остаться ради этого величественного зрелища. А дело было так: засыпали мы грохот барабанов и сейчас догадались, что их отправляют, и сироты с воем кинулись за живым отцом, обезумевшая мать бежит и бросает на штыки грудного младенца, там жениха при помощи сабель разлучают с невестой, а мы, седовласые старцы, стояли тут же и под конец все как один побросали с отчаяния свои kostyli вслед нашим ребятам, прямо в Новый Свет... А дабы всеведущий не услышал наших молений, все время неумолчно трещали барабаны...

Леди (*глубоко взмолнивши, встает*). Прочь эти брильянты! Они бросают в мое сердце отблеск адского пламени. (*Камердинеру, мягко*) Не горюй, бедный старик! Они вернутся. Они снова увидят свою родину.

Камердинер (*горячо и проникновенно*). Бог все знает!.. Они ее увидят!.. Уже у городских ворот они обернулись и крикнули: «Храни вас господь, жены и дети! Да здравствует наш государь-отец! Мы свидимся на страшном суде!..»

Леди (*быстро ходит по комнате*). Возмутительно! Чудовищно!.. А меня еще убеждали, что я осушила все слезы отечества. Глаза у меня открылись, и я в ужасе,

в ужасе смотрю... Ступай... скажи своему господину...
Нет, я поблагодарю его лично!

Камердинер хочет идти; леди бросает ему в шляпу свой кошелек.
Это тебе за то, что ты рассказал мне правду.

К а м е р д и н е р (*с презрением бросает кошелек на стол*). Присоедините и это к вашим богатствам.
(*Уходит.*)

Л е д и (*с изумлением смотрит ему вслед*). Софи, догони его, спроси, как его зовут! Ему надо вернуть его сыновей!

Софи убегает. Леди в задумчивости ходит взад и вперед. Молчание.
(*Обращаясь к вернувшейся Софи.*) Правда ли, я слышала, что сгорел целый пограничный город и около четырехсот семей пошли по миру? (*Звонит.*)

С о ф и. Как это вы вспомнили? В самом деле, так оно и было, и теперь большинство несчастных погорельцев пошли в кабалу к своим кредиторам или же мрут в герцогских серебряных рудниках.

С л у г а (*входит*). Что прикажете, миледи?

Л е д и (*отдает ему бриллианты*). Немедленно отнесите это в банк! Я вам приказываю сию же минуту обратить эти ценности в деньги и полученную сумму разделить между четырьмястами жителей, пострадавших от пожара.

С о ф и. Миледи! Что вы делаете? Ведь это может навлечь на вас самую сюровую опалу.

Л е д и (*гордо*). Что же, я должна носить в волосах проклятие его страны? (*Делает знак слуге, тот уходит.*) Или ты хочешь, чтоб я пала под тяжестью слез, из которых сделан этот ужасный убор? Опомнись, Софи! Пусть лучше в волосах у меня будут фальшивые бриллианты, а в душе — сознание, что я поступила по совести.

С о ф и. Но ведь какие же бриллианты! У вас есть похуже, отдали бы те! Нет, право, миледи, это с вашей стороны непростительно.

Л е д и. Глупая девчонка! Зато настанет миг, когда на мою долю выпадет столько бриллиантов и жемчужин, сколько их не наберется в диадемах у десяти королей, и они будут прекраснее...

Слуга (*возвращается*): Майор фон Вальтер.

София (*бросается к леди*). Ах, боже мой! Вы побледнели...

Леди. В первый раз, Софи... я испытываю страх перед мужчиной... Эдуард, скажи, что мне нездоровится... Постой!.. Он в духе? Смеется? Что он говорит?.. Софи, ведь правда, у меня сегодня ужасный вид?

София. Ничуть не бывало, леди...

Слуга. Прикажете отказать?

Леди (*запинаясь*). Нет, милости прошу.

Слуга уходит.

София, что мне ему сказать? Как мне встретить? У меня язык не повернется... Он будет смеяться над моей слабостью... Он... У меня дурное предчувствие... Ты уходишь, Софи?.. Останься!.. Нет, лучше уходи!.. Да останься же!

Через вестибюль проходит майор.

София. Успокойтесь, миледи! Вон он идет!

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ь Е

Те же и Фердинанд фон Вальтер.

Фердинанд (*с легким поклоном*). Я вам не помешал, милостивая государыня?..

Леди (*не в силах побороть волнение*). Я ничем более важным не занята, господин майор.

Фердинанд. Я явился по приказанию моего отца...

Леди. Я ему очень признательна.

Фердинанд. ...чтобы поставить вас в известность, что я на вас женюсь. Такова воля моего отца.

Леди (*бледнеет и дрожит*). Но не вашего сердца?

Фердинанд. Министры и сводники не имеют обыкновения об этом спрашивать.

Леди (*запинаясь от волнения*). А вы сами ничего не хотите к этому прибавить?

Фердинанд (*показывая глазами на Софи*). Очень много, миледи!

Леди (*делает знак Софи, та удаляется*). Не угодно ли вам присесть на софу?

Фердинанд. Я буду краток, миледи.

Леди. Итак?

Фердинанд. Я человек чести...

Леди. Я умею это ценить.

Фердинанд. Дворянин...

Леди. Первый в герцогстве.

Фердинанд. И офицер...

Леди (*заискивающе*). Это все такие преимущества, которые есть и у других. Почему же вы умалчиваете о более важных, которыми обладаете только вы?

Фердинанд (*холодно*). Здесь они мне не нужны.

Леди (*с возрастающим беспокойством*). Как я должна понять это предисловие?

Фердинанд (*медленно, отчеканивая каждое слово*). Как мятеж чести — в том случае, если вам будет угодно женить меня на себе.

Леди (*вспыхнув*). Что это значит, господин майор?

Фердинанд (*спокойно*). Это голос моего сердца, моего герба и вот этой шпаги.

Леди. Эту шпагу вам дал герцог.

Фердинанд. Мне ее дало государство через посредство герцога, сердце у меня от бога, моему гербу лет около пятисот.

Леди. Имя герцога...

Фердинанд (*запальчиво*). Но разве герцог властен нарушать человеческие законы и, как монеты, чеканить поступки? Над честью даже и он не способен возвыситься, он может только заткнуть ей рот золотом. Он может прикрыть свой позор горностаевой мантией. Прошу вас, миледи, об этом больше ни слова... Сейчас речь идет не об отвергнутых замыслах и не о предках, не об этом темляке, не о мнении света. Я готов через все это переступить, но только докажите мне, что награда не будет еще тяжелее жертвы.

Леди (*расстроенная, отходит от него*). Я этого не заслужила, господин майор.

Фердинанд (*берет ее за руку*). Простите! Мы с вами говорим без свидетелей. То обстоятельство, которое нас свело сегодня, — и никогда уже больше не

свдеть,— дает мне право, более того: принуждает меня не скрывать от вас моих тайных чувств. Я, миледи, отказываюсь вас понимать: вы красивы, умны, вас мог бы полюбить кто угодно, и вы решились отдатья герцогу, который видит в вас только женщину. И вам не стыдно самой предлагать себя в жены?

Леди (*смотрит на него широко раскрытыми глазами*). Говорите все!

Фердинанд. Вы называете себя британкой. Простите, я не могу поверить, что вы британка. Свободная дочь самого свободного народа во всем подлунном мире, народа, который до того горд, что не курит фимиама даже добродетели чужестранцев, ни за что не станет ублажать их порок... Нет, вы, наверное, не британка... Или уж сердце у этой британки настолько же мелко, насколько благородна и отважна та кровь, что течет в жилах дочерей Британии.

Леди. Вы кончили?

Фердинанд. Мне могут возразить, что это — женское тщеславие, страсть, темперамент, жажда наслаждений... Мы знаем примеры, когда добродетель оказывалась сильнее чести, мы знаем случаи, когда те, что выступали на этой позорной арене, в конце концов благородными поступками вновь возвышали себя во мнении общества и облагораживали свое презренное ремесло тем, что ставили перед собой прекрасную цель. Но откуда же этот невыносимый гнет у нас в стране, какого никогда не было прежде?.. У вас была одна цель: владеть герцогством. Я кончил.

Леди (*мягко, но с достоинством*). Со мной никто еще так не говорил, Вальтер, и вы единственный человек, которому я отвечаю на такие речи... Вы отказываетесь от моей руки,— я вас за это уважаю. Вы черните мою душу,— я вам это прощаю. Но я не верю, что вы действительно так думаете. Кто смеет так оскорблять женщину, которой довольно одной ночи, чтобы навсегда погубить его, тот должен быть уверен, что эта женщина необычайно великолушна, или же это безумец... Всю ответственность за разорение страны вы переложили на меня,— да простит вам это всемогущий бог, который когда-нибудь поставит на очную ставку вас, меня и

герцога. Но вы задели во мне англичанку, и вот в подобного рода обвинениях я должна оправдаться перед моим отечеством.

Фердинанд (*опершись на шпагу*). Я весь внимание.

Леди. Сейчас вы услышите от меня то, что до вас я никому не поверила и впредь никому поверять не собираюсь... Я, Вальтер, не та, за кого вы меня принимаете,— я не искательница приключений. Я могла бы перед вами похвастаться своим происхождением: во мне течет королевская кровь... Я веду свой род от несчастного герцога Томаса Норфолька, отдавшего жизнь за Марию Шотландскую. Мой отец, старший королевский камерарий, был обвинен в измене отечеству в пользу Франции и решением парламента осужден и обезглавлен. Все наше достояние отошло в казну. Мы были изгнаны из пределов страны. Моя мать умерла в день казни отца. Я, четырнадцатилетняя девочка, бежала в Германию, и взяла я с собой няню, шкатулку с драгоценностями и вот этот фамильный крест, который моя мать, в последний раз благословив меня перед смертью, повесила мне на шею.

Фердинанд, погруженный в раздумье, уже не так сурово смотрит на леди.

(*Все сильнее волнуясь.*) Больная, безвестная, беспомощная, без всяких средств, чужестранка, сирота — вот при каких обстоятельствах очутилась я в Гамбурге. Меня ничему не учили, я умела разве только говорить по-французски, немножко вязать, немножко играть на рояле; зато привыкла есть на золоте и серебре, спать под атласными одеялами, привыкла к тому, чтобы по одному моему знаку десятки слуг бросались исполнять мое приказание, привыкла к лести знатных поклонников... Я бедствовала шесть лет. Последняя брильянтовая булавка была продана, няня моя умерла, и вот тогда-то моя судьба и привела вашего герцога в Гамбург. Как-то раз я гуляла по берегу Эльбы и, глядя на воду, начала было размышлять о том, что глубже: река или мои страдания?.. Герцог меня увидел, стал меня преследовать, разыскал мое жилище, пал к моим

ногам и поклялся, что любит меня. (*Сильное волнение заставляет леди умолкнуть; когда же она снова начинает говорить, голос у нее дрожит от слез.*) Передо мною одна за другой вновь открылись во всей их прелестной яркости картины моего счастливого детства. Мое безэтрадное будущее представлялось мне темным, как могила... Сердце мое жаждало другого сердца... и я склонилась к нему на грудь. (*Отбегает от Фердинанда.*) Теперь судите меня!

Фердинанд (*глубоко взволнованный, бежит за ней и останавливает ее*). Леди! О боже! Что я слышу? Что я наделал! С ужасом смотрю я теперь на свое преступление. Вы уже не сможете меня простить.

Леди (*овладев собой, снова приближается к нему*). Слушайте дальше. Герцог воспользовался моей молодостью и беззащитностью. Но во мне заговорила кровь Норфольков: «Как, Эмилия, ты, герцогиня по рождению, стала герцогскою любовницей?...» Гордость все еще боролась у меня в душе с моей судьбой, когда герцог привез меня сюда, и тут взору моему явилось ужасное зрелище... Похоть сильных мира сего — это ненасытная гиена, алчущая все новых и новых жертв. Здесь она свирепствовала уже давно: разлучала жениха с невестой, расторгала даже священные узы брака, разрушала чистое семейное счастье, в юные неопытные сердца вливалась смертельный яд, и умирающие ученицы, извиваясь в судорогах, проклинали ненавистные имена своих учителей... Я стала между ягненком и тигром, в минуту страсти я вырвала у герцога клятву, и это отвратительное жертвоприношение было отменено.

Фердинанд (*в смятении мечется по зале*). Не надо, миледи! Довольно!

Леди. За этим мрачным периодом последовал еще более мрачный. Двор и сераль кишили тогда подонками птальянского общества. Ветреные парижанки заигрывали с развратным венценосцем, а народ истекал кровью от их затей... Всех этих женщин постигла печальная участь. Их разогнали на моих глазах,— по части кокетства все они ничего не стоили рядом со мной. Тиран разомлел в моих объятиях, и я вырвала у него бразды правления. Впервые, Вальтер, твоя отчизна

почувствовала на себе человеческую руку и доверчиво прильнула к моей груди. (*Умолкает и смотрит на него с нежностью.*) О, зачем единственный человек, мнением которого я дорожу, принуждает меня хвастаться и сжигать скромную мою добродетель на огне самолюбования!.. Я отворяла темницы, Вальтер, разрывала смертные приговоры, не раз сокращала ужасы пожизненной каторги. На неизлечимые раны я старалась пролить болеутоляющий бальзам, я сокрушила могущественных злодеев, слезой блудницы я не раз спасала проигранное дело невинного. Ах, юноша, какую мне это доставляло радость! С какою гордостью отвечало мое сердце на все упреки моей благородной крови! И вот, наконец, передо мной единственный человек, который мог бы вознаградить меня за все, человек, которого моя горькая доля, быть может, послала мне как утешение в моих скорбях, человек, которого я в невыносимой тоске мысленно уже обнимала...

Ф е р д и н а н д (*потрясенный до глубины души, прерывает ее*). Довольно! Довольно! Вы нарушили наше условие, миледи. Вы должны были оправдаться передо мной, а вместо этого меня же делаете преступником. Пощадите... умоляю вас, пощадите мое сердце, оно вот-вот разорвется от стыда и горького раскаяния...

Л е д и (*берет его за руку*). Теперь или никогда! Эта сильная женщина слишком долго себя смиряла... почувствуй же тяжесть моих слез. (*С глубокой нежностью.*) Послушай, Вальтер! Несчастную женщину... властно, неодолимо влечет к тебе... тянет прижаться к тебе грудью, в которой бьёт неиссякаемый источник пламенной любви... а ты, Вальтер, в такую минуту бросаешь ей холодное слово «честь»... Несчастная женщина, сгибающаяся под тяжестью своего позора, возненавидевшая порок, сделавшая над собой нечеловеческое усилие, чтобы воспрянуть по зову добродетели... она сейчас... бросается в твои объятия... (*обнимает его; умоляющим и вместе с тем торжественным тоном*), она, спасенная тобой, надеющаяся благодаря тебе вновь обрести бога, или же... (*отворачивается от него; глухим, прерывающимся голосом*) принужденная забыть твой образ, поддаться безысходному отчаянию

и вновь окунуться в еще более грязный омут порока...

Фердинанд (*вырываются из ее объятий; в полном смятении*). Нет, клянусь всевышним!.. Я больше не могу... Леди, я должен... этого требуют земля и небо... Я должен сделать вам признание, леди!

Леди (*отпрянув от него*). Только не теперь! Только не теперь, заклинаю вас всем святым... только не в этот страшный миг, когда мое измученное сердце, пронзенное тысячью кинжалов, истекает кровью... Смерть это или жизнь?.. Я боюсь... я не хочу этого признания!

Фердинанд. Нет, нет, дорогая миледи! Вы должны меня выслушать. То, что я вам сейчас скажу, смягчит мою вину,— это будет жаркая мольба о прощении... Я в вас ошибся, миледи. Я ожидал... я надеялся, что вы окажетесь достойны моего презрения. Я пришел сюда, твердо решив оскорбить вас и возбудить в вас ненависть... Как бы мы были счастливы оба, если б мне это удалось! (*После небольшого молчания, понизив голос и с некоторой робостью.*) Я люблю, миледи, люблю девушку из мещанской семьи... Луизу Миллер, дочь музыканта. (*Леди бледнеет и отворачивается, а он более уверенным тоном продолжает.*) Я знаю, на что я иду, но если бы даже благоразумие приказало страсти умолкнуть, то тем громче заговорил бы голос долга. Виноват во всем я. Я первый спугнул золотой сон ее невинности, я заронил в ее сердце смелые надежды и допустил, что оно сделалось добычей неукротимой страсти. Вы станете говорить мне о моем положении в обществе, о моем происхождении, о правилах моего отца... Но я люблю... И тем сильнее во мне надежда, чем глубже пропасть между природой и светскими условиями. С одной стороны — мое намерение, с другой — предрассудок! Посмотрим, что же возьмет верх: обычай или человеческая природа.

Леди в это время отходит в дальний угол комнаты и закрывает лицо руками. Фердинанд идет за ней.

Вы хотели мне что-то сказать, миледи?

Леди (*с выражением глубокого страдания*). Ни-

чего, господин фон Вальтер! Ничего... разве лишь то, что вы губите себя, меня и еще третье лицо.

Фердинанд. Третье?

Леди. Нам всем троим не будет счастья. Нам придется стать жертвами скороспелого решения вашего отца. Я никогда не буду владеть сердцем мужа, раз он отдал мне руку не по своей доброй воле.

Фердинанд. Не по своей доброй воле, миледи? Отдал не по своей доброй воле? А все-таки *отдал*? Значит, вы способны насильно взять руку, без сердца? Вы способны отнять любимого человека у девушки, для которой он — все? Вы способны оторвать от девушки человека, для которого она — все? И это вы, британка, перед которой за минуту до этого я преклонялся? Вы на это *способны*, миледи?

Леди. Я вынуждена так поступить. (*Строго и веско.*) Моя нежность к вам, Вальтер, сильнее, чем страсть. Но моя честь не позволяет мне поступить иначе... О нашем браке говорит вся страна. Все взоры, все ядовитые стрелы обращены на меня. Если подданный герцога меня отвергнет, это будет для меня несмыываемый позор. Добивайтесь своего у отца. Защищайтесь, как можете... Я ни перед чем не остановлюсь! (*Быстро уходит.*)

Майор, ошеломленный, некоторое время стоит неподвижно и молча, затем бросается к выходу.

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Комната в доме музыканта.

Миллер, жена Миллера, Луиза.

Миллер (*быстро входит*). Так я и знал!

Луиза (*встревоженная, бросается к нему*). Что, отец, что?

Миллер (*как сумасшедший бегает по комнате*). Дайте мне мой парадный сюртук! Скорей! Мне нужно его опередить! И белую сорочку с манжетами!.. О, я живо смекнул!

Луиза. Ради бога, что произошло?

Жена Миллера. Что такое? Что случилось?

Миллер (*швыряет на пол свой парик*). Сейчас же отнесите это к парикмахеру!.. Что случилось? (*Подбегает к зеркалу.*) Опять борода отросла на целый палец!.. Что случилось? Ты еще, дрянь паршивая, спрашиваешь, что такое? Черт знает что такое, прах тебя возьми!

Жена Миллера. Вот так так! Я же во всем виновата!

Миллер. Конечно, ты, богомерзкая образина! А то кто же? Ведь это ты сегодня утром тараторила про своего чертова барчука... Я тебе тогда же сказал!.. Бурм все и разблаговестил.

Жена Миллера. Да будет тебе! Почем ты знаешь?

Миллер. Почем я знаю? Еще бы не знать! У наших дверей как из-под земли вырос слуга министра и спрашивает скрипача.

Луиза. Я погибла!

Миллер. И ты тоже, со своими невинными глазками! (*Злобно смеется.*) Видно, правду люди говорят: рождается у кого красавица дочка — так и знай, что дело без нечистой силы не обошлось... Теперь мне все ясно.

Жена Миллера. Откуда ты знаешь, что это из-за Луизы? Может, тебя герцогу рекомендовали. Он еще, глядишь, в оркестр тебя возьмет.

Миллер (*хватается за трость*). Чтоб тебя содомским серным дождем испепелило!.. В оркестр! Да, в оркестр, только в такой, где ты, сводница, завизжишь дискантом, а мой исполосованный зад будет заместо контрабаса! (*Падает в кресло.*) Господи боже!

Луиза (*бледная как смерть, садится*). Мать! Отец! Отчего мне вдруг стало так страшно?

Миллер (*вскакивает*). Ну, попадись мне эта канцелярская крыса на узкой дорожке!.. Попадись он мне... не на этом, так на том свете. Не я буду, если я из него всю душу не вытрясу, а шкуру не разукрашу всеми десятью заповедями, семью прошениями из «Отче наш», всеми книгами Моисея и других пророков, да так, чтоб синяки до второго пришествия не сошли...

Жена Миллера. Лайся, бранись! Этим черта

не изгонишь!.. Помоги нам, господи! Что нам делать? К кому обратиться? Как быть? Да говори же ты, Миллер! (*С воем бегает по комнате.*)

М и л л е р. Я сейчас прямо к министру! Я сам с ним об этом заговорю, сам ему донесу. Ты прежде меня об этом узнала. Должна была предупредить. Девчонку еще можно было наставить на ум. Тогда бы мы еще успели... Куда! Ты все на что-то зарилась, все на что-то целилась! Все подливалась масла в огонь!.. Вот теперь и получай, сводня, награду! Расхлебывай кашу! А я вот возьму дочь, да и махну с ней через границу!

я в л е н и е п я т о е

Т е ж е и Ф е р д и н а н д ф о н В альтер, испуганный, запыхавшийся, вбегает в комнату.

Ф е р д и н а н д. Мой отец был у вас?

Л у и з а (*испуганно вздрагивает*). Ваш отец?.. Боже всемогущий!

Ж е н а М и л л е р а (*всплеснув руками*). Президент?.. Мы пропали!

М и л л е р (*злобно смеется*). Слава богу!

Слава богу! Дождались праздничка!

Ф е р д и н а н д (*подбегает к Луизе и сжимает ее в объятиях*). Ты — моя, хотя бы нас разделили небо и преисподняя!

Л у и з а. Я сейчас умру... Что ты хотел сказать? Ты произнес ужасное имя... Как? Твой отец?

Ф е р д и н а н д. Ничего. Ничего. Все уже позади. Ты опять со мной. Я опять с тобой. О, дай мне перевести дух на твоей груди! То были страшные мгновенья.

Л у и з а. Какие мгновенья? Ты убиваешь меня!

Ф е р д и н а н д (*отступает и многозначительно смотрит на нее*). В эти мгновенья, Луиза, между твоим и моим сердцем стал еще некто, в эти мгновенья моя совесть заставила потускнеть любовь мою, в эти мгновенья моя Луиза перестала быть *всем* для своего Фердинанда...

Луиза, закрыв лицо руками, падает в кресло. Фердинанд быстро подходит к ней, молча, вперив в нее неподвижный взгляд, останавливается, затем вдруг отходит.

(В сильном волнении.) Нет! Никогда! Этого не будет, леди! Это свыше моих сил! Я не могу принести тебе в жертву это невинное создание... нет, я янусь предвечным богом! Я не могу преступить клятву, о которой мне внятно, как удар грома, напоминает этот угасающий взор. Взгляни на нее, леди! Взгляни на нее, жестокий отец! Могу ли я умертвить этого ангела? Могу ли я причинить адские муки этой голубиной душе? *(Решительным шагом подходит к ней.)* Я подведу ее к престолу вечного судии, и пусть вседержитель скажет, преступна ли моя любовь. *(Берет ее за руку и поднимает с кресла.)* Не падай духом, моя ненаглядная! Ты восторжествовала! Я вышел победителем в опаснейшей битве!

Луиза. Нет! Нет! Не таи от меня ничего! Пронеси ужасный приговор! Ты упомянул отца? Ты упомянул леди? Меня объемлет смертельный страх... Говорят, она выходит замуж...

Фердинанд *(падает как подкошенный к ногам Луизы).* За меня, несчастная!

Луиза *(после некоторого молчания, тихим, прерывающимся голосом, до ужаса спокойно).* Что же... что же я так испугалась? Мой отец сколько раз говорил мне... а я все не хотела верить. *(Умолкает; затем, плача навзрыд, бросается в объятия к Миллеру.)* Отец, дочь твоя снова с тобой... Прости меня, отец! Твое дитя не виновато, что сон был так прекрасен... и так ужасно теперь пробуждение...

Миллер. Луиза! Луиза! О боже, она лишилась чувств!.. Дочь моя, бедное мое дитя... Проклятье обольстителю! Проклятье женщине, которая их сводила!

Жена Миллера *(с воплем бросается к Луизе).* Доченька, неужто я заслужила это проклятие?.. Бог еам судья, барон! Что вам сделала эта овечка? За что вы ее хотите зарезать?

Фердинанд *(полный решимости, бросается к Луизе).* Нет, я разрушу его коварство, я порву железные цепи предрассудков, я выберу, кого хочу, как подобает мужчине, и пусть у мелких людышек закружится голова при взгляде на великий подвиг моей любви! *(Хочет уйти.)*

Луиза (*дрожа, поднимается с кресла и идет за ним*). Постой, постой, куда ты?.. Отец! Мать! Как? В этот страшный миг он покидает нас?

Жена Миллера (*бежит за ним и не выпускает его*). Сейчас придет президент... Он нашу дочку не пощадит... Нас он тоже не пощадит... Господин фон Вальтер, и вы покидаете нас?

Миллер (*дико хохочет*). Покидает! Так и должно быть! А как же иначе? Ведь она ему все отдала! (*Одной рукой хватает майора, другой — Луизу.*) Стой, сударь! Уйти из моего дома можно — только перешагнув через нее! Если ты не подлец, дождись сначала своего отца! Расскажи ему, как ты вкрадся в ее сердце, обманщик, или... ради создателя... (*толкает к нему Луизу; с бешеной злобой*) раздави сперва эту жалкую букашку, которую любовь к тебе довела до такого позора!

Фердинанд (*возвращается и в глубокой задумчивости ходит взад и вперед*). Власть президента велика, это верно... Права отца — понятие широкое... в его складках может укрыться все вплоть до преступления. Да, оно простирается далеко-далеко! Но до последней крайности доводит только любовь... Ко мне, Луиза! Дай мне свою руку! (*Порывистым движением берет ее за руку.*) Союз наш так же непреложен, как непреложно то, что при последнем моем издохании господь не оставит меня! Если эти две руки будут разъединены, в тот же миг порвется нить между мною и мирозданием!

Луиза. Мне страшно! Не смотри на меня! Губы у тебя дрожат! Ты так дико вращаешь глазами...

Фердинанд. Нет, Луиза! Не бойся! Во мне говорит не безумие. Меня осенило свыше, и я предпринял роковой шаг в одно из тех решительных мгновений, когда приходится делать над собой отчаянное усилие, чтобы стесненная грудь вздохнула, наконец, свободно. Я люблю тебя, Луиза. Ты должна быть моей, Луиза!.. А теперь скорей к моему отцу! (*Бежит к выходу и в дверях сталкивается с президентом.*)

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Те же и президент со своими слугами.

Президент (*входит*). А, он здесь!

Все в ужасе.

Фердинанд (*на несколько шагов отступает*). Да, в доме невинности.

Президент. В том доме, где сына учат, как надо повиноваться отцу?

Фердинанд. Предоставьте нам...

Президент (*не давая ему договорить, обращается к Миллеру*). Вы — отец?

Миллер. Я учитель музыки Миллер.

Президент (*жене Миллера*). А вы — мать?

Жена Миллера. Да, да, мать!

Фердинанд (*Миллеру*). Отец, уведите дочь, она вся помертвела.

Президент. Не беспокойся, я ее живо вгоню в краску. (*Луизе*.) Как давно вы познакомились с сыном президента?

Луиза. Я не разузнавала, кто он такой. Фердинанд фон Вальтер бывает у меня с ноября.

Фердинанд. Фердинанд фон Вальтер молится на нее.

Президент. Он просил вашей руки?

Фердинанд. Только что — торжественно, как пред лицом всевышнего.

Президент (*сыну, в сердцах*). Тебе скажут, когда надо будет признаться в собственном безрас- судстве. (*Луизе*.) Я жду ответа.

Луиза. Он поклялся мне в любви.

Фердинанд. И клятвы не нарушит.

Президент. Да замолчишь ли ты, наконец?.. И вы поверили его клятве?

Луиза (*с нежностью в голосе*). Я тоже ему поклялась.

Фердинанд (*твердо*). Наш союз заключен.

Президент. Я велю выбросить вон это эхо. (*Луизе, злобно*.) И он каждый раз платил вам наличными?

Луиза (*напряженно думая*). Этот вопрос мне не совсем понятен.

Президент (*с ехидным смехом*). Не понятен? Вот как? А я хотел только сказать, что за труды, как говорится, все что-нибудь да получают. Ведь вы тоже, я полагаю, даром своих ласк не отдавали? Или, быть может, вы находили вкус в самом занятии? Что?

Фердинанд (*в ярости*). Громы небесные! Что вы хотите этим сказать, отец?

Луиза (*майору, с чувством оскорбленного достоинства*). Господин фон Вальтер! Теперь вы свободны!

Фердинанд. Отец! Добротель и в рушице должна вызывать благоговение.

Президент (*смеется громче*). Благодарю покорно! Отец обязан уважать девку своего сына!

Луиза. Праведное небо! (*Падает без чувств*.)

Фердинанд (*обнажая против президента шпагу и тут же опуская ее*). Отец! Вы дали мне жизнь, я пощадил вашу,— мы в расчете. (*Вкладывая шпагу в ножны*.) Вексель сыновнего долга разорван...

Миллер (*до последней минуты робко стоявший в стороне, выступает вперед; вне себя, то скрипя зубами от бешенства, то стучаими от страха*). Ваше превосходительство! Дитя, не во гнев вам будь сказано, плоть от плоти отца своего. Кто обзывают дочь продажной тварью, тот дает оплеуху отцу, но — пощечина за пощечину... Такая у нас существует такса,— уж не прогневайтесь.

Жена Миллера. Сыне божий, помилуй нас! Старик мой туда же еще!... Ох, быть грозе!

Президент (*не вполне рассышав*). А, и сводник подает голос? Сейчас мы и с тобой поговорим, сводник!

Миллер. Не во гнев вам будь сказано, меня зовут Миллер. Если вам угодно послушать адажио, то я к вашим услугам, а сводничеством я не занимаюсь. Пока двор нужды в том не терпит, мы, мещане, вам не поставщики. Не прогневайтесь.

Жена Миллера. Муж, ради бога! Ты губишь и жену и дочь!

Фердинанд. Вы, отец, играете здесь такую роль, что уж лучше было бы вам обойтись без свидетелей.

Миллер (*подходит ближе; осмелев*). Я говорю ясно, ваше превосходительство. Не прогневайтесь. Вершите, как хотите, дела государственные, а здесь я хозяин. Доведется мне быть вашим просителем и прийти к вам, тогда я вам почтение и окажу, но дерзкого гостя я выставляю за дверь. Не прогневайтесь.

Президент (*побледнев от злости*). Что? Что такое? (*Подходит к нему*.)

Миллер (*медленно отступает*). Это только мое мнение, ваше превосходительство... не прогневайтесь.

Президент (*в неистовстве*). Ах мошенник! В смирительный дом тебя за твоё наглое мнение... Ступайте! Приведите сюда полицейских!

Некоторые из слуг уходят. Президент в ярости мечется по комнате.

Отпа в смирительный дом! Мать и распутную дочь к позорному столбу! Правосудие найдет выход моему негодованию. За такое повошение я должен жестоко отомстить. Всякая мразь будет расстраивать мои замыслы и безнаказанно натравливать сына на отца?.. Ну нет, окаянное отродье! Я утолю свою злобу вашей гибелью, всю вашу семейку — отца, мать, дочь — я принесу в жертву лютой моей мести!

Фердинанд (*спокойно и решительно становится между ними*). Этому не бывать! Не бойтесь! Я тут. (*Президенту, кротко*.) Не торопитесь, отец! Если вам дорога жизнь, не прибегайте к насилию! В моем сердце есть уголок, где слово *отец* еще ни разу не было произнесено... Бойтесь проникнуть туда!

Президент. Молчи, негодяй! Моему терпению приходит конец!

Миллер (*выйдя из тягостного оцепенения*). Смотри за дочкой, жена. Я бегу к герцогу. Герцогский портной,— сам бог мне это внушил,— герцогский портной учится у меня играть на флейте. У герцога я найду защиту. (*Направляется к выходу*.)

Президент. Что? К герцогу? А ты забыл, что я — порог к нему и что если ты не сможешь перешагнуть через этот порог, то непременно сломишь себе шею? К герцогу, дурачина? Попробуй-ка к нему возвзвать,

когда ты, заживо погребенный, будешь лежать в темнице на целую башню ниже земной поверхности — там, где перемигиваются ночь и ад и куда не проникает ни единий звук, ни единый луч света. Греми тогда своими цепями и вопи: «Где же справедливость на свете?»

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬ М О Е

Те же и полицейские.

Фердинанд (*подбегает к Луизе, та замерта падает в его объятия*). Луиза!.. Спасите! Помогите! Это она от страха!

Миллер хватает камышовую трость, надевает шляпу и готовится к нападению. Жена Миллера падает перед президентом на колени.

Президент (*полицейским, показывая на свой орден*). Именем герцога, арестуйте их!.. Прочь от девки, мальчишка!.. Сейчас она без памяти, а как наденут на нее железный ошейник да начнут побивать камнями, так живо придет в себя.

Жена Миллера. Смилуйтесь, ваше превосходительство! Смилуйтесь! Смилуйтесь!

Миллер (*силой поднимает жену*). Становись на колени перед богом, старая плакса, а не перед... подлецами! Мне все равно не миновать смирительного дома!

Президент (*кусая губы*). Хорошо еще, если в смирительный дом, мошенник! Для тебя и на виселице местечко найдется. (*Полицейским*.) Сто раз вам повторять?

Полицейские приближаются к Луизе.

Фердинанд (*выпрямляется и заслоняет ее; в исступлении*). Кто посмеет?.. (*Хватается за шпагу, но не вынимает ее из ножен и защищается эфесом*.) Пусть дотронется до нее тот, кто и череп свой отдал в внаймы полиции! (*Президенту*.) Пожалейте себя, отец! Не заходите слишком далеко!

Президент (*полицейским, угрожающе*). Вы что же это, не дорожите своим куском хлеба, трусы?..

Полицейские снова подступают к Луизе.

Фердинанд. Вражья сила! Назад, говорят вам!.. Повторяю: пощадите себя, отец! Не доводите меня до крайности!

Президент (*полицейским, в бешенстве*). Так вот ваше усердие, канальи?

Полицейские подступают к Луизе смелее.

Фердинанд. Ну, если так (*обнажает шпагу и ранит некоторых*), то да простит мне правосудие!

Президент (*в неистовстве*). Попробуй только до меня дотронуться! (*Вырывает из рук Фердинанда Луизу и передает одному из полицейских.*)

Фердинанд (*с горьким смехом*). Отец! Отец! Вы злобный пасквиль на божество, ибо оно из превосходного палача сотворило плохого министра!

Президент (*полицейским*). Уведите ее!

Фердинанд. Отец! Если она и станет к позорному столбу, то только вместе с майором, сыном президента!.. Вы и сейчас еще не изменили решения?

Президент. Тем забавнее будет зрелище... Уведите их!

Фердинанд. Отец! Я брошу свою офицерскую шпагу к ногам этой девушки... Вы и сейчас еще не изменили решения?

Президент. Ты и так уже замарал честь офицера... Уведите их! Уведите! Мое слово — закон!

Фердинанд (*отталкивает одного из полицейских и, одной рукой дергая Луизу, другую заносит над нею шпагу*). Отец! Прежде чем вы мою супругу выставите на позор, я ее заколю... Вы и сейчас еще не изменили решения?

Президент. Заколи, если твой клинок достаточно остри.

Фердинанд (*отпускает Луизу и устремляется к небу полный отчаяния взгляд*). Призываю в свидетели тебя, всемогущий боже! Человеческие средства исчерпаны, обратимся же к средству дьявольскому!.. Ведите ее к позорному столбу, а я в это время (*наклонившись к уху президента, громким шепотом*) расскажу всей

столице о том, как становятся президентами. (Уходит.)

Президент (*как громом пораженный*). Что такое?.. Фердинанд!.. Отпустите ее! (Бежит за майором.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Зала в доме президента.

Входят президент и секретарь Вурм.

Президент. Сорвалось!

Вурм. Этого я и опасался, ваша милость. Насилие всегда ожесточает мечтателей, но не исправляет их.

Президент. А я как раз очень надеялся на эту меру. Я рассуждал так: если опозорить девчонку, он, как офицер, принужден будет отступить.

Вурм. Прекрасно. Но тогда надо было действительно ее опозорить.

Президент. А все же, если поразмыслить хорошенько, я должен был поставить на своем. Это была с его стороны пустая угроза,— он никогда бы не привел ее в исполнение.

Вурм. Не скажите. Раздраженная страсть способна на любые безумства. Вы сами говорите: господин майор относился неодобрительно к тому, как вы управляете государством. Очень может быть. Правила, которые он вывез из университета, мне тогда же показались достаточно странными. К чему эти несбыточные мечты о величии души и личном благородстве при таком дворе, где наивысшую мудростью почитается особое искусство быть в одно и то же время великим и низким? Ваш сын слишком юн и горяч,— долгий, извилистый путь интриги не по нем, задеть его честолюбие может только что-нибудь грандиозное, из ряда вон выходящее.

Президент (*с раздражением*). Позвольте, какое отношение имеет ваше глубокомысленное замечание к нашему делу?

Вурм. Оно указывает вашему превосходительству,

где надо искать уязвимое место, а может быть, подскажет и способ лечения. Вы меня извините, но человека с таким характером никак нельзя было посвящать в свои тайны, равным образом нельзя было и озлоблять его. Он гнушается теми средствами, благодаря которым вам удалось прийти к власти. Может быть, только сыновнее чувство и держало в нем до сих пор на привязи язык предателя. Дайте ему законный повод заглушить в себе это чувство, убедите его при помощи беспрестанных посягательств на его страсть, что вы совсем не такой нежный отец,— и долг патриота в нем пересилит. Эта дерзновенная мысль — принести правосудию такую неслыханную жертву, свергнуть власть родного отца,— уже сама по себе должна быть для него весьма соблазнительной.

Президент. Вурм, Вурм, к какой страшной беде вы меня подводите!

Вурм. Я хочу отвести вас от нее, ваша милость. Могу я говорить откровенно?

Президент (*садится*). Как преступник со своим соучастником.

Вурм. Так вот, прошу меня извинить, но всем своим президентством вы, сколько я понимаю, обязаны своей гибкости, гибкости испытанного царедворца,— почему же вы не проявили ее и как отец? Я помню, с каким невинным видом вы уговаривали вашего предшественника составить партию в пикет и потом, мирно попивая бургунское, сидели у него до полуночи,— а ведь эта была та самая ночь, когда готовился взрыв колоссальной мины и бедняге предстояло взлететь на воздух... Зачем вы открыли сыну, кто его враг? Он не должен был подозревать, что мне известны его сердечные дела. Подкоп под этот роман вам надо было вести по направлению к девушке, а сердце сына не трогать. Тогда бы вы уподобились мудрому полководцу, который не нападает на ядро вражеского войска, а стремится рассеять его силы.

Президент. Но как же этого можно было достичь?

Вурм. Весьма просто. Да ведь не все еще потеряно. Позабудьте на некоторое время об отцовских пра-

вах, не вступайте в борьбу со страстью сына,— от сопротивления она только усиливается. Позвольте мне на жару этой страсти согреть змею, и вот змея-то ее и поглотит.

Президент. Я вас слушаю.

Вурм. Или я плохо знаю барометр человеческой души, или господин майор так же неистов в ревности, как и в любви. Навлеките на девушку подозрение, справедливое или несправедливое — это уже не важно. Положите один гран дрожжей, и вся масса придет в состояние разрушительного брожения.

Президент. Но где же взять этот гран?

Вурм. Вот мы и подошли к самому главному... Прежде всего, ваша милость, мне бы хотелось знать, чем вы рискуете, если ваш сын будет и дальше вам противиться, и насколько для вас существенно, чтобы его роман с мещаночкой кончился и он вступил в брак с леди Мильфорд?

Президент. Как чем рисую, Вурм? Если брак майора с леди Мильфорд не состоится — то всем своим влиянием; если же я попытаюсь его заставить — то своею головой.

Вурм (*радостно*). В таком случае сделайте милость, выслушайте меня... Господина майора мы возьмем хитростью. Против девушки мы употребим все ваше могущество. Мы продиктуем ей любовную записочку к третьему лицу и записочку эту ухитrimся подсунуть майору.

Президент. Чепуха! Кто же это станет сам себе подписывать смертный приговор?

Вурм. Должна будет подписать, если только вы предоставите мне полную свободу действий. Я знаю эту добрую душу как свои пять пальцев. У нее две слабые струнки, и вот на одной из них мы и сыграем. Я разумею ее отца и майора. Майор нам тут не пригодится, так мы ее на музыканта возьмем.

Президент. То есть?

Вурм. Сами же вы, ваше превосходительство, мне рассказывали, какой дебош учинил он у себя в доме; следственно, нам ничего не стоит пригрозить папаше уголовным судом. Особа любимца герцога, особа

хранителя печати есть в некотором роде тень государя. Кто оскорбляет государева приближенного, тот оскорбляет его самого. Насчет этого не беспокойтесь: я его, голубчика, так запугаю, что он у меня будет тише воды, ниже травы.

Президент. Но все это только... только для вида.

Вурм. Разумеется! Мы поставим всю семейку на колени,— дальше этого мы не пойдем. Музыканта без лишнего шума под замок, в крайнем случае и маменьку туда же, а с дочкой поведем разговор об уголовной ответственности, эшафоте, пожизненном заключении в крепости и дадим ей понять, что единственная возможность освободить их — это *написать письмо*.

Президент. Отлично! Отлично! Теперь я понимаю...

Вурм. Она любит своего отца, можно сказать, до страсти... И вот этого отца ожидает казнь, в лучшем случае — тюрьма, девушку мучает совесть, что это из-за нее, с другой стороны — она понимает, что с майором ей придется проститься, голова у нее в конце концов пойдет кругом,— уж я об этом позабочусь, в грязь лицом не ударю,— и она волей-неволей угодит в капкан.

Президент. А мой сын? Ведь он же мигом обо всем проведает? Ведь он же придет в совершенное неистовство?

Вурм. Положитесь на меня, ваша милость,— родители будут выпущены из тюрьмы не прежде, чем вся семья даст клятву держать происшедшее в строжайшей тайне и не раскрывать обмана.

Президент. Клятву? Да чего они стоят, эти клятвы, глупец?

Вурм. Для нас с вами, ваша милость, ничего. Для таких же, как они, клятва — это все. Теперь давайте посмотрим, как это у нас с вами все ловко выйдет. Девушка утратит любовь майора, утратит свое добрее имя. Родители после такой встряски сбавят тон и еще в ножки мне поклонятся, если я женюсь на их дочери и спасу ее честь.

Президент (*смеясь, кивает головой*). Сдаюсь, сдаюсь, мошенник! Сеть сплетена чертовски тонко.

Ученик превзошел своего учителя. Но вот вопрос: на чье имя должна быть записка? Кого бы нам сюда впустить?

Вурм. Разумеется, кого-нибудь такого, кто, в зависимости от решения вашего сына, все выиграет или же все проиграет.

Президент (*немного подумав*). Я могу назвать только гофмаршала.

Вурм (*пожав плечами*). На месте Луизы Миллер я бы в восторг не пришел.

Президент. А собственно говоря, почему? Скажите, пожалуйста! Одет с иголочки, запах *eau de mille fleurs*¹ и мускуса, что ни слово, то перл,— неужели девчонка из мецанской семьи от всего этого не растает? Ревность вовсе не так разборчива, друг мой! Я пошлю за маршалом. (*Звонит.*)

Вурм. Итак, ваше превосходительство, вы побеседуете с маршалом и распорядитесь взять под стражу скрипача, а я пока что успею составить упомянутое любовное послание.

Президент (*подходит к конторке*). Как только будет готово, принесите его мне для просмотра.

Вурм уходит. Президент садится и пишет. Входит слуга.

Президент встает и передает ему бумагу.

Это приказ о взятии под стражу, ты его сию же минуту отнесешь в полицию. Скажи, чтобы послали за гофмаршалом.

Слуга. Его милость сейчас только изволили подъехать.

Президент. Тем лучше. Не забудь сказать, что эти меры должны быть приняты осторожно, чтобы после не было разговоров.

Слуга. Слушаюсь, ваше превосходительство.

Президент. Понял? Чтоб все было шито-крыто!

Слуга. Будет исполнено, ваше превосходительство. (*Уходит.*)

¹ Цветочный одеколон (*франц.*).

Я В Л Е И Н Е В Т О Р О Е

Президент, гофмаршал.

Гофмаршал (*сыплет словами*). А я к вам en passant¹, мой драгоценнейший! Как поживаете? Как себя чувствуете? Сегодня дают оперу «Дидо», грандиознейший фейерверк, весь город будет в огнях. Вам хочется посмотреть, как все это будет пылать? Что?

Президент. Нет уж, увольте, у меня в доме такой фейерверк, что как бы все мое могущество не взлетело на воздух. Вы пришли как раз во-время, дорогой маршал; я буду просить вас помочь мне и словом и делом в одном начинании, которое нас с вами или вознесет еще выше, или уж погубит навеки. Садитесь.

Гофмаршал. Не пугайте меня, добрейший.

Президент. Повторяю: вознесет или погубит окончательно. Вы знаете мой проект, касающийся майора и леди Мильфорд. Вам не нужно также объяснять, как важно упрочить наше с вами благополучие. Все может рухнуть, Кальб. Фердинанд не соглашается.

Гофмаршал. Не соглашается... не соглашается... а я уж раззвонил по всему городу. Безде только и разговору, что об этой свадьбе.

Президент. Ведь город будет считать вас лгуном. Фердинанд любит другую.

Гофмаршал. Шутить изволите! Да разве это препятствие?

Президент. Для такого упрямца — непреодолимое.

Гофмаршал. Неужели же он такой сумасброд, что отказывается от собственного счастья? Что?

Президент. Спросите его самого и послушайте, что он вам ответит.

Гофмаршал. Ah, mon Dieu!² Что же он может ответить?

Президент. Что он всему свету расскажет, какое преступление мы совершили, чтобы возвыситься; что он донесет о наших подложных письмах и квитан-

¹ Мимоходом (*франц.*).

² Ах, боже мой! (*франц.*)

циях, что он нас обоих выдаст головой,— вот что он вам ответит.

Гофмаршал. Да бог с вами!

Президент. Мне он так и ответил. Он уж готов был на все. Я едва-едва удержал его ценою собственного глубочайшего унижения... Ну-с, что скажете?

Гофмаршал (*смотрит на него, как баран*). Это для меня непостижимо!

Президент. И это еще полбеды. Одновременно мои шпионы донесли мне, что обер-шенк фон Бок того и гляди посвataется за леди Мильфорд.

Гофмаршал. Час от часу не легче! Кто, вы сказали? Фон Бок, вы сказали? А вы знаете, что это злейший мой враг? И вы знаете, из-за чего?

Президент. В первый раз слышу.

Гофмаршал. Вы только послушайте, мой драгоценнейший, вы своим ушам не поверите... Вы, конечно, помните тот бал во дворце... двадцать лет тому назад... Ну... вот когда еще в первый раз танцевали английскую кадриль, а графу фон Мершауму капнул на домино горячий воск с люстры... Ах, боже мой, да вы, наверно, это помните!

Президент. Еще бы, разве такое можно забыть?

Гофмаршал. Так вот, видите, принцесса Амалия во время танцев потеряла тогда подвязку. Натурально, все переполошились. Фон Бок и я,— мы были тогда еще камер-юнкерами,— использали весь бал-маскарадный зал, все искали подвязку... Наконец, я увидел ее... Фон Бок увидел тоже... Фон Бок уж тут как тут, выхватывает ее у меня из рук — можете себе представить? — подает принцессе, срывает с ее уст комплимент, а я остаюсь с носом.. Как вам это понравится?

Президент. Нахал!

Гофмаршал. А я остаюсь с носом... Я чуть в обморок не упал. Неслыханное коварство!.. Наконец, я пересиливаю себя, подхожу к принцессе и говорю: «Ваша светлость! Фон Бок имел счастье вручить вам подвязку, но кто первый ее увидел, тот уже втайне вознагражден и безмолвствует».

Президент. Браво, маршал! Брависсимо!

Гофмаршал. «И безмолвствует»... Но я не забуду этого фон Боку до страшного суда. Низкий, угодливый льстец!.. И это еще не все! Когда мы оба присели на пол и потянулись за подвязкой, фон Бок смахнул мне с правой стороны всю пудру с прически, и я на все время бала вышел из строя.

Президент. Так вот, этот самый человек женился на леди Мильфорд и будет первым лицом при дворе.

Гофмаршал. Это мне нож в сердце! Первым лицом? Первым лицом? Почему первым лицом? Почему вы думаете, что это непременно так будет?

Президент. Потому что Фердинанд не желает, а больше охотников не найдешь.

Гофмаршал. Но разве у вас нет возможности принудить к этому майора? Пусть даже это будет крайняя, отчаянная мера! Для нас теперь все средства хороши, лишь бы убрать с дороги ненавистного фон Бока.

Президент. Я знаю только одно средство, и оно в ваших руках.

Гофмаршал. В моих руках? Что вы этим хотите сказать?

Президент. Нужно рассорить майора с его возлюбленной.

Гофмаршал. Рассорить? А как вы это себе представляете? Что я должен делать?

Президент. Если нам удастся очернить девушки, значит мы у цели

Гофмаршал. Распустить слух, что она ворует? Вы это имеете в виду?

Президент. Да нет же! Как это вам могло прийти в голову?.. Что у нее есть другой.

Гофмаршал. Кто же именно?

Президент. Этим другим должны быть вы, барон.

Гофмаршал. Я? Я? А она дворянка?

Президент. Какое там дворянка? Откуда вы взяли? Она дочь музыканта.

Гофмаршал. Так она мещанка? Это мне не подходит. Что?

Президент. То есть как не подходит? Это еще

что за дурачество? Кому во всей вселенной взбредет на ум выведывать родословную смазливой девчонки?

Гофмаршал. Но ведь я женат,— примите в рассуждение хоть это! А что будут говорить обо мне при дворе?

Президент. Это дело другое. Извините! Я не знал, что для вас важнее быть человеком строгих правил, нежели человеком влиятельным. Может быть, мы на этом и кончим?

Гофмаршал. Не сердитесь, барон. Я вас не так понял.

Президент (*холодно*). Нет, нет! Вы совершенно правы. Мне это и самому уже в тягость. Довольно тянуть лямку! Я поздравлю фон Бока с назначением на пост премьер-министра. Свет не клином сошелся. Я подам в отставку.

Гофмаршал. А как же я?.. Вам-то что! Вы человек образованный! А я... *Mon Dieu!* Если его высочество даст мне отставку, что же я буду собой представлять?

Президент. Позавчерашнюю остроту. Прошлогоднюю моду.

Гофмаршал. Дорогой мой, золотой, умоляю вас: возьмите свои слова назад! Я со своей стороны готов на все.

Президент. Так вы даете согласие на то, чтобы в записке, в которой некая Миллер будет назначать рандеву, было указано ваше имя?

Гофмаршал. Господи, конечно!

Президент. И на то, чтобы эту записку обронить в таком месте, где бы она могла попасться на глаза майору?

Гофмаршал. Да я могу на параде как бы нечаянно выронить ее вместе с носовым платком.

Президент. И вы согласны разыгрывать перед майором роль ее любовника?

Гофмаршал. *Moit de ma vie!*¹ Я его проучу! Я покажу этому молокососу, как отбивать у меня крахоток!

¹ Здесь: проклятие (*франц.*).

Президент. Вот это я понимаю!.. Письмо будет готово сегодня же. До вечера вам придется еще раз пожаловать ко мне за письмом, и мы с вами обдумаем, как нам надлежит действовать.

Гофмаршал. Я только сделаю шестнадцать визитов первостепенной важности, и сейчас же к вам. Уж вы меня извините,— я принужден вас покинуть немедля. (*Уходит.*)

Президент (*звонит*). Я полагаюсь на вашу находчивость, маршал!

Гофмаршал (*обернувшись*). Ah, mon Dieu! Вы меня знаете.

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ь Е

Президент, Вурм.

Вурм. Скрипача и его жену отличнейшим образом, без всяких хлопот, удалось взять под арест. Теперь не угодно ли вашему превосходительству прочитать письмо?

Президент (*прочитав письмо*). Молодчина, молодчина, секретарь! Маршала мы тоже поддели на удочку! Этот яд способен обратить в гнойную проказу само здоровье. Сейчас мы кое-что предложим отцу, а потом как следует примемся за дочку

Расходятся в разные стороны.

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

У Миллера.

Луиза, Фердинанд.

Луиза. Не говори со мной больше об этом. Мне уж не видать счастливых дней. Все мои надежды увяли.

Фердинанд. Зато мои расцвели. Мой отец рвет и мечет. Мой отец обрушит на нас всю свою мощь. Кончится тем, что он убьет во мне сына. Чувство сыновнего долга надо мною уже не властно. Гнев и отчаяние принудят меня разгласить мрачную тайну совершенного им убийства. Сын предаст отца в руки палача... Мы на краю пропасти, но эта пропасть должна была раз-

вернуться для того, чтобы любовь моя отважилась на головокружительный прыжок. Послушай, Луиза: в моей душе теснится мысль, великая и дерзновенная, как моя страсть... Ты, Луиза, я и наша любовь! Не заключено ли в этом круге все небо? Или тебе не хватает еще чего-то четвертого?

Луиза. Довольно! Перестань! Я бледнею при одной мысли о том, что ты хочешь сказать.

Фердинанд. Нам с тобой ничего не нужно от мира, так зачем же вымаливать его благословение? К чему рисковать там, где мы ничего не выиграем, а потерять можем все? Разве твои глаза перестанут нежно лучиться только оттого, что лучи их отразятся не в волнах Рейна, а в волнах Эльбы или же Балтийского моря? Моя отчизна там, где меня любит Луиза. Следы твоих ног в диких песчаных пустынях мне дороже, чем величественное здание собора в моем родном краю. На что нам вся пышность городов? Где бы мы ни были с тобою, Луиза, всюду восходит и заходит солнце, а это такое дивное зрелище, перед которым бледнеет самая смелая фантазия художника. Пусть мы будем лишены возможности молиться в храмах, зато, когда настанет ночь с ее трепетом восторга, плывущий по небу месяц будет призывать нас к покаянию, а звездный храм будет вместе с нами в благоговейном молчании воссылать господу богу хвалу. Ужели мы когда-нибудь устанем говорить о любви? Об одной улыбке моей Луизы можно говорить столетия, а до тех пор, пока я не узнаю, что исторгло у нее слезу, я ставлю крест на мечте всей моей жизни.

Луиза. А разве у тебя нет иного долга, кроме твоей любви?

Фердинанд (*обнимает ее*). Твой покой — вот мой самый священный долг.

Луиза (*очень строго*). Тогда замолчи и оставь меня. Мне надо подумать о моем отце: все его достояние — единственная дочь, на днях ему исполнится шестьдесят лет, — и вот этому-то человеку грозит месть президента...

Фердинанд (*прерывает ее*). Мы возьмем твоего отца с собой... Не спорь, моя любимая! Я тотчас же

обращу мои драгоценности в деньги, возьму в долг на имя отца. Разбойника ограбить не грех: все его сокровища — это кровные деньги отечества. Ровно в час ночи сюда подъедет экипаж. Вы с отцом выезжаете сию же секунду — и мы бежим.

Луиза. А вслед нам — проклятие твоего отца? Безумец! Даже убийцы проклинают не напрасно; небесный мститель приклоняет слух и к проклятью, которое вырвалось из уст разбойника, привязанного к колесу, а нас, беглецов, оно, подобно призраку, будет неотступно преследовать от моря до моря... Нет, мой любимый! Если я могу удержать тебя лишь ценой преступления, то у меня еще достанет сил потерять тебя.

Фердинанд (*стоя неподвижно, угрюмо шепчет*). И это правда?

Луиза. Потерять!.. О какая это бездонно мрачная мысль! Такая страшная, что от нее опускаются крылья у бессмертного духа и блекнет яркий румянец счастья... Потерять тебя, Фердинанд! Но ведь теряют лишь то, чем обладали, а твое сердце принадлежит твоему сословию. Вот и выходит, что я посягаю на его священное достояние, а потому я с содроганием отказываюсь от своих домогательств.

Фердинанд (*с искаженным лицом, кусая губы*). Отказываешься?

Луиза. Посмотри на меня, милый Вальтер! Не скрежещи зубами с таким отчаянием! Послушай! Я хочу подать тебе пример и этим примером вдохнуть в тебя мужество. Я хочу показать тебе, что и я способна на геройство; я хочу вернуть отцу блудного сына, хочу отказаться от союза, который грозит подорвать устои общества и разрушить вечный миропорядок. Я преступница. Я взлелеяла в своем сердце дерзкие, безрассудные мечты. Мое горе явилось для меня возмездием, так не разрушай же сладостного, утешительного обмана, — дай мне себя убедить, что я сама пожертвовала своим счастьем... Неужели ты лишишь меня этой отрады?

Фердинанд, поглощенный своими мыслями, берет в руки скрипку, пробует играть, затем в порыве ярости рвет струны, разбивает инструмент об пол и разражается громким смехом.

Вальтер! Боже милосердный! Что с тобой? Не предавайся отчаянию! Нам нужно быть твердыми — настал час разлуки. Милый мой Вальтер, я знаю твое сердце. Твоя любовь живительна, как сама жизнь, и беспредельна, как сама бесконечность. Принеси ее в дар более знатной и более достойной избраннице, и самые счастливые женщины в мире уже не возбудят в ней зависти. (*Подавляя слезы.*) Мы не должны с тобою видеться. Тщеславная, обманувшаяся девушка выплачет свою кручину в четырех стенах, слезы ее никого не разжалобят. Пусто и мертвое будущее... И все же я буду порою вдыхать аромат увядших цветов минувшего. (*Отвернувшись, протягивает ей дрожащую руку.*) Прощайте, господин фон Вальтер!

Фердинанд (*выходя из оцепенения*). Я покидаю родину, Луиза. Ужели ты не последуешь за мной?

Луиза (*садится в глубине комнаты и закрывает лицо руками*). Мой долг повелевает мне остаться и страдать.

Фердинанд. Ты лжешь, змея! Тебя привязывает здесь что-то другое!

Луиза (*с глубокой душевной мукой*). Думайте так... если вам от этого легче.

Фердинанд. Холодные рассуждения в ответ на мою любовь? Ты хочешь обмануть меня этой басней? Любовник — вот что тебя здесь держит. Ну, так горе тебе и ему, если я окажусь прав в своих подозрениях! (*Быстро уходит.*)

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

Луиза, одна, молча и неподвижно сидит, откинувшись на спинку кресла, затем поднимается и, пугливо озираясь, делает несколько шагов вперед.

Луиза. Что так долго нет моих родителей? Отец обещал вернуться через несколько минут, а прошло уже целых пять страшных часов. Уж не случилось ли с ним недоброе?.. Что со мной? Отчего мне так трудно дышать?

Входит Вурми, незамеченный Луизой, останавливается в глубине комнаты.

Нет, мне только так кажется... Это шутит со мной злые шутки разгоряченная кровь... Едва лишь в сердце поселился страх, как уже очам нашим чудятся привидения в каждом углу.

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Луиза, секретарь Вурм.

Вурм (*подходит ближе*). Добрый вечер, барышня!

Луиза. Боже мой! Кто это? (*Оглядывается, замечает секретаря и в испуге отшатывается*). Вот оно! Вот оно! С ужасом вижу, что мое дурное предчувствие меня не обманывает. (*Секретарю, окидывая его взглядом, полным презрения*). Вам нужен президент? Он уже ушел.

Вурм. Нет, барышня, мне нужны вы.

Луиза. В таком случае странно, что вы не пошли на рыночную площадь.

Вурм. Почему же именно туда?

Луиза. Подошли бы к позорному столбу и увели свою невесту.

Вурм. Мамзель Миллер, ваши подозрения неосновательны...

Луиза (*сдергиваясь*). Что вам угодно?

Вурм. Меня к вам послал ваш отец.

Луиза (*поражена*). Мой отец?.. Где же он?

Вурм. Там, откуда он не прочь был бы уйти.

Луиза. Говорите, ради бога, скорее! Сердце мое чует недобroе... Где мой отец?

Вурм. В тюрьме, если уж вам так хочется знать.

Луиза (*возведя глаза к небу*). Еще один удар! Еще!.. В тюрьме? Почему в тюрьме?

Вурм. По приказанию герцога.

Луиза. Герцога?

Вурм. За оскорбление его высочества в лице его превосходительства.

Луиза. Что такое? Что такое?.. Силы небесные!

Вурм. И герцог намерен подвергнуть его за это самому суровому наказанию.

Луиза. Этого еще недоставало! Только этого!.. Да, правда, да, правда, в сердце моем была еще одна святыня, кроме Фердинанда, и я ее не сберегла... Оскорблениe его высочества?.. Царь небесный! Укрепи, укрепи мою слабеющую веру!.. А что Фердинанд?

Вурм. Перед ним выбор: леди Мильфорд или отцовское проклятие и лишение наследства.

Луиза. Нечего сказать, свободный выбор! И все же... и все же он счастливей меня. У него нет отца, ему некого терять. Впрочем, не иметь отца — удел не менее горестный!.. Мой отец в тюрьме за оскорблениe его высочества, моего возлюбленного ожидает женитьба на леди Мильфорд или проклятие и лишение наследства,— тут поневоле призадумаешься! Совершенная подлость есть тоже своего рода совершенство... Совершенство? Нет! Это еще не полная мера... Где моя мать?

Вурм. В рабочем доме.

Луиза (*с горькой улыбкой*). Переполнилась чаша, переполнилась... Теперь я свободна... У меня уже ничего не осталось: ни обязанностей, ни слез, ни радостей. Не осталось веры в божественный промысел. Все это мне уже не нужно... (*В ужасе умолкает.*) Может быть, у вас есть еще какие-нибудь вести? Говорите начистоту. Теперь я все могу выслушать.

Вурм. Что случилось — вы знаете...

Луиза. Но не знаю, что еще произойдет! (*Молча оглядывает его с ног до головы.*) Жаль мне тебя! Невеселое занятие ты себе выбрал, царства небесного оно тебе не откроет. Делать людям зло — само по себе чудовищно, но еще ужаснее — зловещей свою влетать к ним, приносить недобрые вести, смотреть, как обливающееся кровью сердце трепещет на железном стержне необходимости и как христиане теряют веру в пророчество... Нет, боже избави! Даже если бы за каждую слезу отчаяния, исторгнутую тобой, тебе давали бочку золота, я бы не хотела быть на твоем месте... Что же еще может случиться?

Вурм. Не знаю.

Луиза. Вы *не хотите знать?*.. Эта ваша весть прячется от света и боится звуков голоса, но в мертвой тишине вашего взгляда предо мною встает призрак...

Что же может быть еще? Вы только что сказали, что герцог намерен подвергнуть моего отца *суворому наказанию*. Что вы называете *суворым*?

Вурм. Не спрашивайте больше ни о чем.

Луиза. Послушай! Ты, наверное, был подручным у палача. Иначе откуда бы у тебя взялось уменье медленно и верно проводить железом по хрустящим суставам и томить сжимающееся сердце ожиданием последнего удара?.. Что грозит моему отцу? За словами, которые ты произносишь с усмешкой, стоит смерть. Что ты таишь в себе? Говори все. Выпусти весь свой смертоносный заряд. Что грозит моему отцу?

Вурм. Криминальный процесс.

Луиза. А что это такое? Я девушка необразованная, неученая, все эти ваши мудреные латинские слова меня только пугают. Что значит криминальный процесс?

Вурм. Суд на жизнь и смерть.

Луиза (*твёрдо*). Благодарю вас. (*Быстро уходит в боковую комнату*.)

Вурм (*озадачен*). Это еще что такое? Неужели эта дурочка... Черт возьми! А вдруг она... Пойду посмотрю... Ведь я за нее отвечаю. (*Направляется к ней*.)

Луиза (*выходит в верхнем платье*). Извините, господин секретарь. Я должна запереть комнату.

Вурм. Куда вы так спешите?

Луиза. К герцогу. (*Хочет уйти*.)

Вурм. Что? К кому? (*В испуге старается ее удержать*.)

Луиза. К герцогу. Вы разве не слышите? К тому самому герцогу, который хочет судить на жизнь и смерть моего отца... Нет, он не хочет, он вынужден его судить, потому что этого хотите вы, злодеи! Участие же герцога во всем этом процессе об оскорблении его высочества сводится к тому, что он предоставляет в распоряжение судей свой высокий титул и свою княжескую подпись.

Вурм (*с громким смехом*). К герцогу!

Луиза. Я знаю, почему вы смеетесь. Но я на сострадание и не рассчитываю, боже меня сохрани! Только на

нежелание... на нежелание слушать мои вопли. Говорят, что власть имущие до сих пор не научились понимать горе, что они и не хотят его понимать. Я открою герцогу, что такое горе, я буду корчиться в муках,— и он увидит, что такое горе; я буду терзать его слух душераздирающими стонами,— и он поймет, что такое горе. Когда же у него от этого зрешища волосы встанут дыбом, я громко крикну ему на прощанье, что в смертный час и у земных богов клокочет в груди и что страшный суд и королей и нищих просеет в одном решете. (*Направляется к выходу.*)

Вурм (*со злобной радостью*). Идите, идите! Умнее вы ничего не могли придумать! Я советую вам идти, даю вам слово, что герцог исполнит вашу просьбу.

Луиза (*вдруг останавливается*). Что вы сказали? Вы сами советуете мне идти? (*Быстро возвращается*.) Ах! Что же я делаю? Уж если этот человек советует мне идти, значит в этом есть что-то предосудительное... Почему вы думаете, что герцог исполнит мою просьбу?

Вурм. Потому что он этого не сделает даром.

Луиза. Не сделает даром? Какую же цену назначит он за добреое дело?

Вурм. Такая хорошенъкая просительница — достаточно высокая цена.

Луиза (*выйдя из столбняка, прерывающимся голосом*). Боже праведный!

Вурм. Столь умеренная плата за спасение отца, смею думать, не покажется вам непосильной?

Луиза (*ходит по комнате; вне себя*). Да! Так! Все эти ваши земные владыки, словно мечами херувимов, защищены... защищены от правды своими пороками... Отец, да поможет тебе всевышний! Твоя дочь скорее умрет за тебя, нежели согрешит.

Вурм. Это будет полной неожиданностью для бедного, всеми оставленного узника. Он мне сказал: «Моя Луиза низринула меня в пучину зол, моя Луиза меня оттуда и вызволит...» Ваш ответ, мамзель, я передам ему незамедлительно. (*Делает вид, что направляется к выходу.*)

Луиза (*бежит за ним и останавливает его*).
Куда вы? Постойте!.. Каким проворным сразу становится этот сатана, когда ему нужно довести людей до безумия!.. Я погубила отца, я же должна его и спасти!
Скажите мне, посоветуйте, что я могу, что я должна сделать?

Урм. Есть только одно средство.

Луиза. И это — *единственное* средство?

Урм. Ваш отец тоже вам советует...

Луиза. Мой отец тоже?.. Какое же это средство?

Урм. Для вас это средство легкое.

Луиза. Для меня нет ничего тяжелее позора.

Урм. К вам у нас только одна просьба: чтобы майор был свободен.

Луиза. Свободен от любви ко мне?.. Да вы издаётеесь надо мной? Вы спрашиваете, можно ли взять у меня то, что у меня уже отняли силой?

Урм. Не в этом дело, милая барышня. Нужно, чтобы майор отступил первый и притом добровольно.

Луиза. Он этого не сделает.

Урм. Возможно. Но если бы это не зависело только от вас, зачем бы нам понадобилась ваша помощь?

Луиза. Но чем же можно оттолкнуть его от меня?

Урм. Попробуем. Присядьте.

Луиза (*в смятении*). Что у тебя на уме?

Урм. Присядьте. Пишите! Вот перо, бумага и чернила.

Луиза (*крайне встревоженная, садится*). Что я должна писать? Кому я должна писать?

Урм. Палачу вашего отца.

Луиза. Как, однако, ты ловко умеешь истязать человеческую душу! (*Берет перо.*)

Урм (*диктует*). «Милостивый государь...»

Луиза дрожащей рукою пишет.

Прошло уже три мучительных дня... мучительных дня... как мы не видались».

Луиза (*в изумлении бросает перо*). Кому это письмо?

В у р м. Палачу вашего отца.

Л у и з а. О боже!

В у р м. «Это все из-за майора... из-за майора... который по целым дням стережет меня, словно Аргус».

Л у и з а (*вскакивает*). Неслыханная подłość! Кому это письмо?

В у р м. Палачу вашего отца.

Л у и з а (*ломая руки, ходит взад и вперед*). Нет, нет, нет! Господи, что же это за пытка! Если человек тебя прогневал, карай его человечно, но зачем же ты ставишь меня между двумя страшными провалами? Зачем ты бросаешь меня от смерти к позору? Зачем ты позволяешь сидеть у меня на шее этому кровожадному дьяволу?.. Делайте, что хотите. Я ни за что не стану писать.

В у р м (*берется за шляпу*). Как вам угодно, мадемузель! Это всецело в вашей воле.

Л у и з а. В моей воле? Что вы сказали? В моей воле?.. Ты смеешься, варвар! Подвесь несчастного над адской бездной, проси его о чем-нибудь и злорадно нашептывай ему, что это в его воле... О, ты отлично знаешь, что наши родственные привязанности не вырвать из нашего сердца!.. А впрочем, все равно. Диктуйте дальше! Я больше ни во что не вхожу. Перед кознями ада я бессильна. (*Снова садится*.)

В у р м. «По целым дням стережет меня, словно Аргус...» Написали?

Л у и з а. Дальше! Дальше!

В у р м. «Вчера у нас был президент. Трудно было удержаться от смеха при виде того, как бедный майор защищал мою честь...»

Л у и з а. Прекрасно! Прекрасно! Бесподобно! Продолжайте в том же духе!

В у р м. «Чтобы не расхохотаться, я притворилась, что мне дурно... что мне дурно...»

Л у и з а. О боже!

В у р м. «Но долго носить маску я не в силах... не в силах... Когда же я, наконец, избавляюсь от майора...»

Л у и з а (*перестает писать, поднимается и, низко опустив голову, точно что-то ищет на полу, на-*

чинаят ходить по комнате, потом снова садится и пишет). «Избавлюсь от майора...»

В у р м. «Завтра он на службе... Заметьте, когда он уйдет от меня, и приходите в условленное место...» Написали «в условленное»?

Л у и з а Все написала!

В у р м. «В условленное место к нежно любящей вас... Луизе».

Л у и з а. Теперь только адрес.

В у р м. «Господину гофмаршалу фон Кальбу».

Л у и з а. О мой создатель! Имя это столь же чуждо моему слуху, сколь чужды моей душе постыдные эти строки. (*Встает и устремляет на письмо неподвижный взгляд. Затем, после продолжительного молчания, передает его секретарю; слабым, упавшим голосом.*) Вот, милостивый государь! Мое доброе имя, Фердинанд, счастье всей моей жизни — все это теперь в ваших руках... Я осталась нищей.

В у р м. Полно! Не унывайте, милая барышня! Мне от души вас жаль. Кто знает? Может статься... Я бы на некоторые вещи посмотрел сквозь пальцы... Ей-богу, право! Ведь мне же вас жалко...

Л у и з а (*смотрит на него неподвижным, пронизывающим взглядом*). Не договаривайте, милостивый государь. Вы накличете на себя беду.

В у р м (*хочет поцеловать у нее руку*). А что за беда, если я попрошу у вас эту прелестную ручку? Что вы на это скажете, милая барышня?

Л у и з а (*гордо и грозно*). Скажу, что я задушила бы тебя в первую же брачную ночь, а затем с наслаждением отдала себя на колесование (*Направляется к выходу и сейчас же возвращается*.) Все, милостивый государь? Теперь я вольная птица?

В у р м. Осталась сущая безделица, милая барышня. Вы пойдете со мной и дадите присягу, что написали это письмо по собственному желанию.

Л у и з а. Боже! Боже! И ты скрепиши своею печатью дело рук сатаны?

Вурм уводит ее.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Зала в доме президента.

Фердинанд фон Вальтер с распечатанным письмом в руке вбегает в одну дверь; в другую входит слуга.

Фердинанд. Маршала здесь не было?

Слуга. Господин майор, вас просит к себе господин президент!

Фердинанд. Я тебя спрашиваю, черт возьми, маршала здесь не было?

Слуга. Его милость играет наверху в фараон.

Фердинанд. Хотя бы его милость играла с самым дьяволом, все равно пусть пожалует сюда!

Слуга уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Фердинанд, один, пробегает письмо и то мечется, как безумный, по комнате, то застывает на месте.

Фердинанд. Не может быть! Не может быть! В небесной оболочке не может скрываться сердце дьявола... И все же... и все же... если б даже все ангелы слетели с горней высоты и поручились за ее невинность, если б земля и небо, если б творение и сам творец единодушно поручились за ее невинность, то все же это ее почерк. Неслыханный, чудовищный обман, какого еще не знало человечество!.. Вот почему она так упорно не хотела со мной бежать! Вот причина, боже мой! Теперь я прозрел, теперь мне все стало ясно! Вот почему она отказалась от моей любви, отказалась столь самоотверженно, что я чуть было не дался в обман этой личине ангела! (*Все стремительнее мечется по комнате, затем опять останавливается в раздумье.*) Так хорошо меня знать! Отзываться на каждое смелое движение чувства, на каждый легкий, робкий трепет, на каждый пламенный порыв... Угадывать мое душевное состояние по тонким, неуловимым оттенкам в голосе, понимать меня в каждой моей слезе, взбираться вместе со мной на головокружительные вершины страсти,

оберегать меня от крутых обрывов... Боже! Боже! И все это одно притворство? Притворство! О, если ложь так искусно умеет перекраиваться, почему же ни один бес до сих пор не пробрался в царство небесное?.. Когда я ей сказал, что наша любовь в опасности, с какой напускной естественностью побледнела эта притворщица! С каким победоносным достоинством отразила она дерзкую насмешку моего отца! А между тем в глубине души она же сознавала, что она виновна!.. Но разве притворщица выдержала испытание огнем истины? Нет, она просто упала в обморок. Каким языком заговоришь ты теперь, чувствительное создание? Прелестницы тоже падают в обморок. Что ты скажешь в свое оправдание, невинное существо? Ведь и развратницы падают в обморок... Она знает, что она со мной сделала. Она видела насквозь мою душу. Когда я покраснел от первого поцелоя, мое сердце отразилось в моих глазах. Неужели в этот миг она ничего не почувствовала? Или, быть может, она почувствовала гордость за свое искусство? Счастливый безумец, я воображал, что в ней заключено все небо, нечистые желания во мне умолкли, в мыслях у меня были только вечность и эта девушка... Боже! А она в это время ничего не чувствовала? Ничего не сознавала, кроме того, что ее дело идет на лад? Ничего, кроме своей неотразимости?.. Смерть и мщение!.. Ничего, кроме того, что ей удалось меня провести?

Я В Л Е И Н Е Т Р Е Т Ь Е

Гофмаршал, Фердинанд.

Гофмаршал (*семеним по комнате*). Вы изъявили желание, мой драгоценнейший...

Фердинанд (*про себя*). Свернуть мерзавцу шею! (*Вслух.*) Послушайте, маршал, во время парада вы, повидимому, выронили из кармана вот это письмо, а я (*злобно смеясь*), на свое счастье, его нашел.

Гофмаршал. Да что вы?

Фердинанд. Чистая случайность. Никто, как бог.

Гофмаршал. Вы меня пугаете, барон.

Фердинанд. Читайте! Читайте! (*Отходит от него.*) Если уж я не гожусь в любовники, то, может быть, из меня выйдет недурной сводник.

Гофмаршал читает, Фердинанд подходит к стене и снимает пару пистолетов.

Гофмаршал (*бросает письмо на стол и собирается удрать*). А, черт!

Фердинанд (*тащит его назад*). Не спешите, любезный маршал. Мне кажется, это письмо не содержит ничего неприятного. А теперь — нашедшему вознаграждение. (*Показывает пистолеты.*)

Гофмаршал (*в ужасе пятится*). Не теряйте разума, драгоценнейший!

Фердинанд (*громким, повергающим в ужас голосом*). Разума у меня более чем достаточно, чтобы такого мерзавца, как ты, отправить на тот свет! (*Вкладывает ему в руку пистолет и вынимает носовой платок.*) Нате! Держите платок! Мне его подарила любовница!

Гофмаршал. Через платок? Вы с ума сошли! Что это вам вздумалось?

Фердинанд. Держи тот конец, тебе говорят! Иначе же ты промахнешься, трус! Как он дрожит, этот трус! Ты еще должен бога благодарить, трус, что в первый раз в жизни твоя пустая башка хоть чем-нибудь да будет набита.

Гофмаршал хочет улизнуть.

Ни с места! Никто вас отсюда не выпустит. (*Обгоняет его и запирает дверь.*)

Гофмаршал. Как, барон, в комнате?

Фердинанд. А что же, к городскому валу с тобой для этого идти? Здесь, мой милый, треску будет больше,— по всей вероятности, это будет первый случай в твоей жизни, когда ты наделаешь шуму в обществе. Целься!

Гофмаршал (*вытирает лоб*). Но ведь вы же человек молодой, подающий надежды, неужели вам не дорога жизнь?

Фердинанд. Целься, тебе говорят! Мне больше нечего делать на этом свете.

Гофмаршал. Тем больше дел у меня, мой дражайший!

Фердинанд. У тебя, мразь? У тебя? Служить затычкой там, где все меньше становится настоящих людей? В одно мгновение семь раз сжаться и семь раз вытянуться, как жук на булавке? Аккуратнейшим образом записывать, когда и как подействовал желудок у твоего государя, и служить мишенью для его острот? С таким же успехом и я могу тебя всем показывать, как диковинного сурка. Словно ручная обезьяна, будешь ты танцевать под вой грешников, носить поноску, стоять на задних лапах и своими придворными фокусами смешить даже тех, кто впал в безысходное отчаяние.

Гофмаршал. Все, что вам заблагорассудится, милостивый государь, все, что вам будет угодно... только уберите пистолеты!

Фердинанд. Полюбуйтесь на это чадо греха! Полюбуйтесь на этот позор шестому дню творения! Можно подумать, что, после того как он был сотворен всевышним, его переиздал тюбингенский книгопродавец!.. Жаль только, бесконечно жаль унцию мозга, которая зря пропадает в твоем пустопорожнем черепе! Взять бы эту единственную унцию и передать павиану,— может быть, ему только ее и недостает, чтобы стать человеком, а сейчас это всего лишь крохотная доля человеческогоума... И с этим ничтожеством я должен делить ее сердце? Чудовищно! Немыслимо! Этот красавчик скорее создан отвращать от соблазна, а не вводить в искушение.

Гофмаршал. Слава тебе, господи! Он начинает острить.

Фердинанд. Нет, я его не трону! Щадим же мы гусениц, значит можно пощадить и его. При встрече с ним иные только пожмут плечами и, уж верно, дадутся циву, сколь мудро распоряжается небо: даже вот таких тварей оно хоть отбросами и подонками, а все-таки корчит; оно и ворону готовит трапезу на месте казни, и царедворца питает нечистотами коронованных особ. В конце концов нельзя не отдать должного миродержавной воле провидения, ибо оно даже среди существ, у которых есть душа, держит на жалованье медянок

и тарантулов, чтобы было кому источать яд. Но пусть только (*с новой яростью*) ядовитое насекомое не подползает к моему цветку, иначе я его (*схватывает маршала и немилосердно трясет его*) и так, и этак, и вот так, живого места не оставлю!

Гофмаршал (*тихонько охая*). Господи! Как бы мне только ноги унести! За сто миль отсюда, хоть в Бисетр под Парижем, лишь бы подальше от него!

Фердинанд. Негодяй! Что, если ты ее уже совратил? Негодяй! Что, если ты уже насладился той, перед которой я благоговел? (*В неистовстве.*) Что, если ты прелюбодействовал там, где я ощущал себя богом? (*Внезапно умолкает, затем снова угрожающе.*) Тогда, негодяй, беги лучше в ад, иначе мой гнев настигнет тебя и в раю! Как далеко зашел ты с этой девушкой?

Гофмаршал. Отпустите меня! Я вам все открою.

Фердинанд. О, с этой девушкой, уж верно; приятней развратничать, чем строить воздушные замки с другими! Так, значит, она просто распутница, так, значит, под мнимым душевным величием здесь скрывается низость, под напускной добродетелью — блуд? (*Приставляет пистолет к сердцу маршала.*) Как далеко ты зашел с ней? Признавайся, а не то спущу курок!

Гофмаршал. Не в чем, положительно не в чем! Запаситесь терпением хоть на минуту! Вы обмануты...

Фердинанд. И ты мне еще напоминаешь об этом, злодей? Как далеко ты зашел с ней? Признавайся, иначе тебе конец!

Гофмаршал. Mon Dieu! Боже мой! Ведь я же вам говорю... Выслушайте меня... Отец... родной отец...

Фердинанд (*в исступлении*). Свел свою дочь с тобой? И как далеко ты зашел с ней? Признавайся, или я тебя убью!

Гофмаршал. Вы вне себя. Вы ничего не слышите. Я ее никогда не видел. Я с нею незнаком. Я не имею о ней ни малейшего понятия.

Фердинанд (*отступая*). Ты ее не видел? Ты с нею незнаком? Ты не имеешь о ней ни малейшего понятия? Луиза Миллер из-за тебя погибла, а ты, не

переводя дыхания, трижды от нее отрекаешься?..
Вон, подлец! (*Наносит ему удар пистолетом и выталкивает из комнаты.*) Для таких, как ты, еще не выдуман порох!

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Ф е р д и н а н д (*после долгого молчания, во время которого на его лице все явственнее проступает страшная мысль*). Погиб! Да, несчастная! Я погиб. И ты тоже. Да, свидетель бог, если я, то и ты... Судия вселенной! Не требуй ее у меня! Девушка эта — моя. Я уступил тебе за нее весь мир, отказался от всего твоего дивного творения. Оставь мне эту девушку!.. Судия вселенной, к тебе взывают миллионы душ, обрати на них свой сострадательный взор, судия вселенной, мне же предоставь действовать самому! (*Складывает руки на груди; лицо его принимает грозное выражение.*) Ужели всевластный, всеми обладающий творец не захочет расстаться с одной лишь душой, и к тому же еще худшей во всем его творении? Девушка эта — моя! Я был для пеे богом, так буду и дьяволом! (*Смотрит в одну точку жутким взглядом.*) Целую вечность, сплетись телами, провисеть с нею на колесе божьего проклятия... глаза в глаза... волоса у обоих дыбом... наши глухие стоны сливаются воедино... а я все твержу ей нежные слова... а я все повторяю ей ее же клятвы... Боже! Боже! Какое это страшное обручение, но зато вечное!.. (*Быстрыми шагами идет к выходу.*)

Навстречу ему президент.

Я В Л Е Н И Е П Я Т О Е

П р е з и д е н т, Ф е р д и н а н д.

Ф е р д и н а н д (*отступая*). О! Мой отец!..
П р е з и д е н т. Как хорошо, что я тебя встретил, сын мой! Я шел сообщить тебе нечто приятное и притом, мой милый сын, нечто совершенно для тебя неожиданное. Присядем?

Ф е р д и н а н д (*долго, пристально на него смотря*).

рит). Отец мой! (Не помня себя от волнения, бросается к нему и берет его за руку.) Отец мой! (Целует ему руку и опускается перед ним на колени.) О мой отец!

Президент. Что с тобой, сын мой? Встань! Руки у тебя горят и дрожат.

Фердинанд (*в бурном приливе чувств*). Простите мне мою неблагодарность, батюшка! Я гадкий человек. Я не ценил вашей доброты! Вы проявили ко мне истинно отеческую заботу... О, вы были так прозорливы!.. Но теперь уже поздно... Простите! Простите! Благословите меня, батюшка!

Президент (*делает вид, что ничего не понимает*). Встань, сын мой! Что с тобой нынче? Ты говоришь загадками!

Фердинанд. Луиза Миллер, батюшка... О, вы знаете людей!.. Ваш гнев был тогда так справедлив, так благороден, так отечески пылок, но только это пылкое отеческое чувство напало на ложный след... Луиза Миллер...

Президент. Не мучь себя, сын мой! Я проклинаю свою жестокость! Я пришел просить у тебя прощения.

Фердинанд. Просить у меня прощения?.. Меня надо проклясть! Вы были мудры в своей сущности. Вы были ангельски добры в своей жестокости... Луиза Миллер, батюшка...

Президент. Славная, честная девушка. Признаюсь, я судил о ней опрометчиво. Она заслужила мое уважение.

Фердинанд (*пораженный, срывается с места*). Как, и вы тоже?.. Батюшка, и вы?.. Не правда ли, батюшка, это сама невинность? Не правда ли, это так естественно — полюбить ее?

Президент. Скажи лучше, преступление не полюбить ее!

Фердинанд. Неслыханно! Чудовищно!.. А ведь вы насквозь видите сердца! К тому же вы смотрели на нее глазами ненависти!.. Поразительное лицемерие!.. Луиза Миллер, батюшка...

Президент. Достойна стать моей дочерью. Ее добродетель служит в моих глазах заменой знатности,

ее красота — заменой богатства. Мои правила отступают перед твоей любовью... Отныне она твоя!

Фердинанд (*в ужасе бежит из комнаты*). Да что же это такое?.. Прощайте, батюшка! (*Убегает*.)

Президент (*идет за ним*). Постой! Постой! Куда ты? (*Уходит*.)

Я В Л Е И Н Е Ш Е С Т О Е

Богато убранная зала в доме леди Мильфорд.

Входят леди и Софи.

Леди. Так ты ее видела? Она придет?

Софи. Сию минуту. Она была одета по-домашнему и хотела только насконо переменить платье.

Леди. Не говори мне о ней ничего... Молчи... При одной мысли о том, что я увижу эту счастливицу, чувства которой находятся в такой ужасающей гармонии с моим сердцем, я трепещу, как преступница... Что же она тебе сказала в ответ на приглашение?

Софи. Она, как видно, была удивлена, призадумалась, впилась в меня глазами и все молчала. Я думала, она сейчас начнет отекивать, но она как-то странно на меня посмотрела и говорит: «Я сама хотела просить об этом завтра вашу госпожу».

Леди (*в сильном волнении*). Оставь меня, Софи. Пожалей меня. Мне придется краснеть, даже если она окажется обыкновенной женщиной; если же она женщина незаурядная, то это и вовсе меня убьет.

Софи. Однако, миледи, сегодня у вас не такое расположение духа, чтобы принимать соперницу. Вспомните, кто вы. Призовите на помощь свой знатный род, свое звание, свою власть. Пусть ваше гордое сердце придаст еще больше величия вашей гордой красе.

Леди (*в рассеянности*). Что там болтает эта дурочка?

Софи (*злобно*). Ведь не случайно же на вас сегодня сверкают самые дорогие брильянты? Не случайно же на вас сегодня самые пышные ткани, ваша приемная битком набита гайдуками и пажами, а бедную девушку,

простую мещанку, собираются принимать в самой роскошной зале вашего дворца?

Леди (*ходит взад и вперед; с досадой*). Проклять! Это несносно! У женщин всегда бывает рысья зоркость на женские слабости!.. Но как же низко, как же низко я пала, если даже такая тварь и та видит меня насеквоздь!

Камердинер (*ходит*). Мамзель Миллер!..

Леди (*к Софи*). Прочь! Убирайся!

Софи медлит.

(Угрожающе). Прочь! Я что сказала?

Софи уходит.

(Пройдясь по зале.) Это хорошо! Очень хорошо, что я в таком возбуждении! Этого мне и хотелось.

(Камердинеру.) Попросите мамзель сюда.

Камердинер уходит. Леди бросается на софу и принимает важную и вместе с тем непринужденную позу.

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬ М О Е

Луиза Миллер робко входит и останавливается на большом расстоянии от леди. Леди поворачивается к ней спиной и внимательно рассматривает ее в стоящем напротив зеркале.

Молчание.

Луиза. Что прикажете, сударыня?

Леди (*поворачивается лицом к Луизе и с безучастным, отчужденным видом небрежно кивает ей*). А, вы здесь?.. Вы, конечно, и есть мамзель... мамзель... в самом деле, как вас зовут?

Луиза (*слегка задета*). Моего отца зовут Миллер, а ваша милость посыпала за его дочерью.

Леди. Верно! Верно! Я вспомнила... Дочь бедного скрипача, о вас недавно был разговор. (*После некоторого молчания, про себя*.) Очень мила, но совсем не красавица... (Луизе.) Подойдите ближе, дитя мое. (*Про себя*.) Эти глаза знают, что такое слезы... Как я люблю такие глаза! (Вслух.) Поближе, поближе... еще ближе... Милое дитя, ты, должно быть, боишься меня?

Луиза (*гордо и решительно*). Нет, миледи. Я презираю суд толпы.

Леди (*про себя*). Подумаешь, какая!.. Видно, его заносчивость передалась и ей. (*Вслух.*) Мне вас рекомендовали, мамзель. Говорят, вы кое-чему обучены и умеете себя держать... Что ж, я готова этому поверить... Меньше всего хотела бы я изобличить во лжи вашего пламенного защитника.

Луиза. У меня, миледи, нет никого, кто взял бы на себя труд найти мне покровительницу.

Леди (*высокомерно*). Взял на себя труд — ради кого? Ради своей протеже или ради покровительницы?

Луиза. Это мне непонятно, сударыня.

Леди. О, да она плутовка, хоть у нее и открытый взгляд! Вас зовут Луиза? А сколько вам лет, позвольте узнать?

Луиза. Исполнилось шестнадцать

Леди (*вскакивает*). Вот оно! Шестнадцать лет! Первое биение страсти! Первый чистый звук, освящающий клавикорды, к которым никто еще не прикасался,— что может быть привлекательнее! Садись! Ты мне нравишься, милая девушка... И у него это первая любовь,— так нет ничего удивительного, что лучи одной и той же утренней зари отыскали друг друга. (*Берет ее за руку; вполне дружелюбно.*) Хорошо, деточка, я устрою твое счастье... Счастье — это не что иное... не что иное, как сладостная быстролетная греза... (*Треплет Луизу по щеке.*) Моя Софи выходит замуж. Ты поступишь на ее место... Шестнадцать лет! Это длится недолго...

Луиза (*почтительно целует ей руку*). Я вам очень благодарна; миледи, но от милости вашей принуждена отказаться.

Леди (*с раздражением*). Скажите, какая важная дама!.. Обыкновенно девушки вашего сословия почитают за счастье попасть в услужение к господам. На что же это вы, дорогая моя, рассчитываете? Или у вас такие нежные пальцы, что не выносят работы? Или вы оттого такая несговорчивая, что у вас хорошенькое лицо?

Луиза. Я не виновата, сударыня, что у меня такое лицо, и не отвечаю за свое сословие.

Леди. Может быть, вам кажется, что вы вечно

будете молоды? Бедняжка, кто тебе это внушил? Кто бы он ни был, он посмеялся и над тобой и над собой. Румянцу недолго рдеть на этих щеках. То, что представляется тебе в зеркале прочным и нерушимым, есть лишь тонкая золотистая пыльца, и рано или поздно она пристанет к рукам твоего поклонника. Что же мы будем делать тогда?

Луиза. Нам останется только пожалеть поклонника, миледи, раз он купил брильянт единственно из-за того, что ему показалось, будто оправа золотая.

Леди (*делая вид, что она этого не слышала*). У девушки вашего возраста всегда два зеркала: зеркало неподкупное и зеркало их взыхателей, при этом послушная предупредительность второго смягчает суро- вую прямоту первого. Первое зеркало указывает на неприглядные осины. «Какой вздор,— возражает второе,— это ямочки граций!» А вы, милые дети, верите первому лишь тогда, когда оно не расходится со вторым, и скачете от одного к другому до тех пор, пока свидетель- ские показания обоих не перепутаются у вас в голове... Что вы на меня так смотрите?

Луиза. Простите, сударыня, но мне стало жалко ваш чудный яркий рубин,— он бы обиделся, если бы узнал, что его обладательница так резко осуждает кокетство.

Леди (*покраснев*). Не удивляйте, плутовка! Если бы не надеялись на свою наружность, разве вы когда-нибудь отказались бы от единственного места, где можно научиться хорошим манерам и узнать свет, где можно избавиться от мещанских предрассудков?

Луиза. И от мещанской невинности, миледи?

Леди. Пустое! Если мы сами не подадим повода, то ни один повеса ничего дурного о нас не подумает. Выкажите свои добродетели, блюдите свою честь, не роняйте своего достоинства,— и я вам ручаюсь, что ваша молодость устоит перед всеми соблазнами!

Луиза. Позвольте вам не поверить, сударыня. Дворцы знатных дам часто служат местом самых не- скромных увеселений. Откуда у дочери бедного скри- пача возьмется такая твердость духа, чтобы, очутившись там, где свирепствует чума, даже не испугаться

заразы? Какой смысл леди Мильфорд вечно держать при себе скорпиона, жалящего ее совесть, какой ей смысл тратиться на такую роскошь — ежеминутно сгорать со стыда?.. Я с вами откровенна, сударыня... Разве вам будет приятно видеть меня, когда вы отправитесь на бал? Разве не будет для вас нестерпимым мое присутствие, когда вы вернетесь домой?.. О нет, о нет, пусть лучше между нами лягут целые страны, пусть нас разделят моря!.. Берегитесь, миледи! Вдруг настанет час отрезвления, минута изнеможения, змеи раскаяния станут, быть может, терзать вашу грудь, и тогда что за пытка будет для вас видеть, что черты вашей служанки дышат тем безмятежным спокойствием, каким совесть вознаграждает непорочные души! (*Отступив на шаг.*) Еще раз, сударыня, очень прошу меня извинить.

Леди (*в сильном душевном волнении ходит по комнате*). Ужасно, что она говорит это мне! Еще ужаснее, что она права! (*Подходит к Луизе и засматривает ей в лицо.*) Нет, моя милая, тебе меня не провести! Так горячо мы не высказываем общих суждений. За этими нравоучениями скрывается личный интерес, интерес жгучий,— он-то и рисует тебе службу у меня такими темными красками, он-то и вдохновил тебя на эти речи (*угрожающе*), и я хочу понять, откуда он у тебя.

Луиза (*тоном благородной сдержанности*). Ну, а если вы поймете? Ну, а если презрительный удар ногой разбудит ничтожного червя, которому создатель даровал для защиты жало?.. Я не страшусь вашей мести, миледи. Несчастной грешнице, которую уже подвели к позорной плахе, терять нечего. Горе мое так велико, что моя откровенность ничего к нему не прибавит. (*После недолгого молчания, очень строго.*) Вы намерены вознести меня из праха моей низкой доли. Я не хочу вдумываться, чем заслужила я это странное благодеяние. Я хочу только спросить вас, миледи: почему вы думаете, что я настолько глупа, что буду стыдиться своего происхождения? По какому праву навязываетесь вы в устроительницы моего счастья и при этом даже не считаете нужным спросить меня, пожелаю ли я принять это счастье из ваших рук?.. С земными утехами я простилась навек. Я свыклась с мыслью о том, что счастье мое

было скоротечно. Зачем же вы снова напоминаете мне о нем?.. Если даже сам господь скрывает светоносный свой лик от всей твари, дабы и старшие из серафимов не ужаснулись при виде его и сияние их не померкло, почему же люди хотят быть такими жестокими в своем милосердии? Отчего это, миледи, ваше пресловутое счастье так нуждается в том, чтобы ему дивилось и завидовало горе? Или для вашего блаженства требуется оправа отчаяния? О, не лишайте же меня моего неведения,— оно одно еще примиряет меня с моей жестокой судьбой!.. Насекомое блаженствует в капле воды,— она кажется ему царством небесным,— наслаждается и блаженствует до тех пор, пока ему не расскажут об океане, где ходят караваны судов и плещутся киты. А ведь вы желали мне счастья? (*После некоторого молчания вдруг подходит к леди и спрашивает ее в упор.*) А вы-то счастливы, миледи?

Леди в смущении поспешно отходит от нее, Луиза идет за ней и кладет ей руку на грудь.

Или сердце ваше так же беспечально, как беспечально живется всей знати? Если б нам предстояло поменяться сердцами и судьбами... и если б я по-детски доверчиво... если б я... на вашу совесть... если б я обратилась к вам, как к матери... вы бы посоветовали мне согласиться на этот обмен?

Леди (*потрясенная, опускается на софу*). Неслыханно! Непостижимо! Нет, девушка, нет! Это у тебя не врожденное величие и его не мог внушить тебе отец,— в нем слишком много молодого задора. Не отпираяся. Я слышу голос другого учителя.

Луиза (*проницательным и зорким взглядом смотрит ей в глаза*). Мне странно, миледи, что вы только сейчас напали на след этого учителя, а взять меня в услужение решили раньше.

Леди (*вскакивает*). Это невыносимо! Играть с тобой в прятки бесполезно. Ну, так слушай же! Я знаю, кто он, я знаю все, я знаю больше, чем хотела бы знать. (*Внезапно останавливается, затем все более и более ожесточаясь и в конце концов доходит почти до неистовства.*) Но только посмей, несчастная, посмей и теперь

еще любить его или же быть любимой им!.. Да что я говорю? Посмей только думать о нем или же быть одиною из его мыслей!.. Послушай, несчастная, я всесильна! Я могу быть беспощадной, клянусь тебе богом! Ты погибла!

Луиза (*твёрдо*). И безвозвратно, если только вы, миледи, принудите его любить вас.

Леди. Я понимаю тебя... Но мне и не нужна его любовь. Я поборю эту постыдную страсть, укрошу свое сердце и разобью твое. Я воздвигну между вами скалы и вырою пропасти, фурией пронесусь я по вашему небосклону, имя мое спугнет ваши поцелуи, как привидение спугивает преступника, твое молодое, пышущее здоровьем тело заchaхнет в его объятиях и рассыплется, как мумия... Помни, жалкое существо: я не могу быть с ним счастлива, но уж и твоему счастью не бывать! Разрушать чужое блаженство — это тоже блаженство...

Луиза. Блаженство, которого вы уже лишились, миледи. Не взводите напраслины на свое же собственное сердце. Вы не способны обрушить на меня все то, чем вы мне грозите. Вы не способны мучить существо, которое не причинило вам никакого зла, разве только питало те же чувства, что и вы. Но за этот порыв я готова полюбить вас, миледи.

Леди (*сделав над собой усилие*). Что со мной? Что я сделала? В чем я себя выдала? Кому я себя выдала?.. О Луиза, возвышенная, великая, чудная душа! Прости меня, безумную! Я ни единого волоса не трону на тебе, дитя мое! Скажи, чего ты хочешь! Требуй! Я буду носить тебя на руках, стану твоей подругой, твоей сестрой... Ты из бедной семьи... Гляди же! (*Снимает с себя несколько брильянтов.*) Я продам эти драгоценности, платья, лошадей, экипажи... Все, все — для тебя... Только отрекись от него!

Луиза (*в изумлении отступает*). Что же она, издевается над моей истерзанною душою, или же она в самом деле непричастна к этому злодейству?.. О, если так, то я могу еще изобразить героиню и вменить себе в заслугу собственное бессилие! (*Задумывается на несколько секунд, затем подходит к леди, берет ее за руку и вперяет в нее сосредоточенный и многозначитель-*

ный взгляд.) Берите его себе, миледи!.. Я добровольно уступаю вам человека, которого адскими крючьями оторвали от моего израненного сердца... Вы, миледи, сами того, может быть, не подозревая, уничтожили рай двух влюбленных, вы разъединили сердца, которые сочетал господь, вы растоптали человеческое существо, которое ему было так же дорого, как и вы, которое он создал на радость, как и вас, которое славило его, как и вы, но теперь уже славить не будет... Леди! Слух вседержителя улавливает и последние содрогания раздавленного червя. Творец не может равнодушно видеть, как убивают сотворенные им души. Теперь он ваш! Теперь, миледи, берите его себе! Бросайтесь в его объятия! Ведите его к алтарю... Но помните, что как скоро вы и он под венцом сомкнете уста в поцелуе, мгновенно вырастет между вами призрак самоубийцы... Господь меня не осудит... У меня больше выхода нет! (Убегает.)

Я В Л Е Н И Е В О С Ъ М О Е

Леди, одна, ошеломленная, смятенная, стоит, устремив неподвижный взгляд на дверь, в которую выбежала Луиза Миллер, и долго не может прийти в себя.

Леди. Что это было? Как все это произошло? Что говорила эта несчастная?.. О боже! Мне все еще терзают слух ее грозные, звучащие как обвинительный приговор слова: «Берите его себе!..» Кого, несчастная? Дар твоего предсмертного стона, дышащее ужасом завещание твоего отчаяния? Боже, боже! Ужели я так низко пала, так стремительно низверглась со всех престолов моей гордыни... и вот теперь томительно ожидаю, что в своем великолдушии бросит мне нищенка, вступившая со мною в последнюю смертельную схватку?.. «Берите его себе!» Она произнесла это таким тоном и так при этом на меня посмотрела... Ах, Эмилия, для того ли ты поборола в себе слабости, присущие твоему полу, для того ли ты старалась завоевать себе почетное и прекрасное имя британской женщины, чтобы пышные хоромы твоей добродетели и славы не устояли перед высокой добродетелью безвестной девушки из простой мещанской семьи?.. Нет, злосчастная гордячка, нет!

Эмилию Мильфорд можно пристыдить, но она никогда не доведет себя до позора! Я соберу все свое мужество и устраниюсь. (*С величественным видом ходит взад и вперед.*) Ну, так прочь от меня, кроткая, страдающая женщина! Развейтесь, отрадные сны, сны золотые любви! Великодущие — вот с этих пор единственный мой вожатый!.. Одно из двух: или влюбленная эта чета погибнет, или леди Мильфорд прекратит свои домогательства и уйдет навсегда из жизни герцога. (*После непродолжительного молчания, с живостью.*) Свершилось!.. Страшное препятствие преодолено, расторгнуты все узы между мною и герцогом, да и та бешеная страсть тоже вырвана из моего сердца!.. В твои объятия бросяюсь я, добродетель! Прими раскаявшуюся дочь твою Эмилию!.. О, как хорошо у меня сейчас на душе! Как стало мне вдруг легко, как свободно мне дышится!.. Подобно заходящему солнцу, царственно-спокойно сойду я ныне с высоты моего величия, слава моя умрет вместе с моей любовью. Одно лишь сердце мое будет сопутствовать мне в гордом этом изгнании. (*Решительным шагом подходит к письменному столу.*) С этим надо покончить сейчас же, немедленно, пока еще чары милого юноши не начали вновь беспощадной борьбы в моем сердце. (*Садится и пишет.*)

Я В Л Е Н И Е Д Е В Я Т О Е

Л е д и , камердинер, Софи, потом гофмаршал и, наконец, слуга.

К а м е р д и н е р . Гофмаршал фон Кальб с поручением от герцога дожидается в передней.

Л е д и (*с увлечением продолжает писать.*) Как подпрыгнет эта коронованная марионетка! Еще бы! Затея преуморительная, есть от чего расколоться герцогскому черепу! Воображаю, как забегают придворные листцы! Вся страна всполошится.

К а м е р д и н е р и Софи. Миледи, гофмаршал!..

Л е д и (*оборачивается*). Кто? Что такое?.. Тем лучше! Такие, как он, рождены быть вестовщиками... Попросите его войти.

Камердинер уходит.

Софи (*робко приближается к леди*). Простите за беспокойство, миледи...

Леди продолжает писать с еще большим увлечением.

Луиза Миллер не помня себя бежала через переднюю... У вас, миледи, лицо пылает... Вы сами с собой говорите,

Леди продолжает писать.

Я боюсь... Что между вами произошло?

Входит гофмаршал и отвешивает спине леди Мильфорд тысячу поклонов; леди его не замечает, тогда он подходит ближе, становится за ее креслом, ловит край ее платья, целует его и робко сюсюкает.

Гофмаршал. Его высочество...

Леди (*присыпает письмо песком и перечитывает написанное*). Он, конечно, скажет, что это с моей стороны черная неблагодарность... Я была одна в целом свете. Он спас меня от нищеты. От нищеты?.. Отвратительная сделка! Разорви свой счет, соблазнитель! Вечная краска моего стыда оплачивает его с излишком.

Гофмаршал (*безуспешно обежав леди Мильфорд со всех сторон*). Я вижу, вы сегодня что-то рассеяны, миледи... В таком случае я вынужден взять на себя смелость... (*Очень громко.*) Его высочество прислал меня узнать у вас, миледи, устраивать ли сегодня вечером увеселения в городском саду, или же давать немецкую комедию?

Леди (*встает, со смехом*). Либо то, либо другое, мой ангел!.. А пока что преподнесите герцогу на десерт вот эту записку! (*К Софи.*) Вели запрягать, Софи, и позови сюда всю мою прислугу.

Софи (*в смятении уходит*). Ах, боже мой! Не к добру это! Что бы это значило?

Гофмаршал. Вы взволнованы, моя достопочтеннейшая?

Леди. Тем больше правды будет в моих словах... Ура, господин гофмаршал! Вакансия свободна. Сводникам теперь раздолье. (*Заметив, что гофмаршал подозрительно поглядел на записку.*) Прочтите, прочтите! Я из этого ни для кого не делаю тайны.

Гофмаршал читает вслух. Тем временем в глубине сцены собираются слуги леди Мильфорд.

Гофмаршал. «Милостивый государь! Вы были так неосторожны, что нарушили наш договор, и теперь меня уже ничто с вами не связывает. Благоденствие вашей страны было условием нашей связи. Обман продолжался три года. Наконец, пелена спала с моих глаз. Мне претят ваши милости, орошенные слезами ваших подданных. Подарите свою любовь, на которую я больше не могу отвечать взаимностью, вашей несчастной стране, и пусть британская герцогиня научит вас быть милосердным к немецкому народу. Через час я буду уже за границей. Иоганна Норфольк».

Вся прислуга (*в полном недоумении перешептывается*). За границей?

Гофмаршал (*в ужасе кладет письмо на стол*). Боже меня упаси, моя драгоценнейшая и достопочтеннейшая! За такое послание ни той, кто его писала, ни тому, кто его передаст, не сносить своей головы.

Леди. Это уж как тебе угодно, золото мое! К сожалению, мне хорошо известно, что у тебя и у таких, как ты, язык отнимается при одном упоминании о том, как поступили другие!.. Я бы на твоем месте запекла эту записку в паштете из дичи, с тем чтобы его высочество нашел ее у себя на тарелке.

Гофмаршал. *Ciel!*¹ Какая дерзость!.. Да вы только взвесьте, вы только подумайте, леди, в какую вы впадете немилость!

Леди (*поворнувшись к собравшейся прислуге, расстроганно*). Вы поражены, друзья мои, и со страхом ждете, чем разрешится эта загадка... Подойдите ко мне поближе, мои дорогие!.. Вы служили мне верой и правдой не из одной лишь корысти, на повиновение мне смотрели как на свое призвание, моими милостями гордились. Жаль только, что память о вашей преданности будет для меня неразрывно связана с воспоминанием о моем унижении! Как это грустно, что мои самые черные дни оказались для вас счастливейшими! (*Со слезами на глазах*.) Я отпускаю вас, дети мои... Леди Мильфорд более не существует, а Иоганна Норфольк слишком бедна, чтобы содержать вас. Пусть мой

¹ Боже мой! (*франц.*)

казначей поделит между вами все, что есть в этой шкатулке. Дворец останется герцогу. Самый бедный из вас уйдет отсюда богаче, нежели его госпожа. (*Протягивает руки; слуги наперебой с жаром целуют их.*) Милые вы мои, я разделяю ваши чувства!.. Прощайте! Прощайте навсегда! (*Пересилив себя.*) Вот уже и карета подъехала. (*Вырываеться от них и идет к выходу.*)

Ей преграждает дорогу гофмаршал.

Ты все еще здесь, богом обиженное существо?

Гофмаршал (*все это время с растерянным видом смотревший на письмо.*) И эту записку я должен передать в собственные его высочества руки?

Леди. Да, богом обиженное существо, в собственные его высочества руки. И доведи до собственных его высочества ушей, что если я не дойду босиком до Лоретского монастыря, то найдусь в поденщицы, лишь бы смыть с себя позор моей связи с ним. (*Быстро уходит.*)

Все расходятся в сильном волнении.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Комната в доме музыканта. Вечерние сумерки.

Луиза, уронив голову на руки, неподвижно сидит в самом темном углу комнаты. Долгое и глубокое молчание. Входит Миллер; в руках у него фонарь; с тревожным видом начинает он водить фонарем по всей комнате, затем, так и не разглядев Луизы, кладет шляпу на стол, а фонарь ставит на пол.

Миллер. И здесь ее нет. И здесь тоже... Я обегал все закоулки, побывал у всех знакомых, расспрашивал у всех городских ворот,— никто не знает, где мое дитя. (*После некоторого молчания.*) Потерпи, бедный, несчастный отец! Подожди до утра. Утром, может статься, мою единственную дочь прибьет к берегу... Господи! Господи! Пусть даже я ее богохворил больше, чем должно,— наказание слишком сурово... Слишком сурово, отец небесный! Я не ропщу, отец небесный, но наказа-

ние слишком сурово. (*В глубоком унынии опускается на стул.*)

Луиза (*из своего угла*). Так, так, бедный старик! Привыкай заранее к утрате.

Миллер (*вскакивает*). Это ты, дитя мое? Ты? Почему же ты одна, впотьмах?

Луиза. Нет, я не одна. Когда вокруг меня становится совсем темно, ко мне приходит мой самый дорогой гость.

Миллер. Бог с тобой! Только червь нечистой совести бодрствует вместе с совами. Света боятся грехи и злые духи.

Луиза. Да еще вечность, отец, беседующая с человеческой душой без посредников.

Миллер. Дитя мое! Дитя мое! Что ты говоришь?

Луиза (*выходит из своего угла*). Я выдержала суровое испытание. Господь дал мне силу. Ныне испытание это пришло к концу. Нас, женщин, принято считать нежными и слабыми созданиями. Не верь этому, отец. Мы вздрагиваем при виде паука, но страшное чудище — тление — мы с улыбкой принимаем в свои объятия. Запомни это, отец. Твоя Луиза весела.

Миллер. Знаешь, дочь моя, я бы предпочел, чтобы ты выла! Так бы мне было спокойнее.

Луиза. Уж я его перехитрю, отец! Уж я проведу этого тирана! Злоба не так лукава и отважна, как любовь,— человек со зловещей звездой на груди этого не знал... О, они хитроумны до тех пор, пока им приходится иметь дело только с головой, а стоит им столкнуться с сердцем — и злодеи мгновенно глупеют!.. Он надеялся, что присяга утвердит его обман. Присяга связывает живых, отец, а смерть расплавляет и железные цепи тайнств. Фердинанд поймет, что Луиза ему верна. Пожалуйста, отец, передай эту записку! Будь так добр!

Миллер. Кому, дочь моя?

Луиза. Странный вопрос! Всей бесконечности и моему сердцу не вместить одной-единственной мысли о нем. Кому же мне еще писать?

Миллер (*с беспокойством*). Знаешь что, Луиза? Я распечатала письмо.

Луиза. Как хочешь, отец. Только ты в нем ничего не поймешь. Там буквы лежат окоченелыми трупами и ожидают лишь для очей любви.

Миллер (*читает*). «Тебя ввели в обман, Фердинанд! Беспримерная подлость расторгла союз наших сердец, страшная клятва заградила мне уста, и к тому же еще твой отец всюду расставил своих соглядатаев. Если же у тебя достанет мужества, мой возлюбленный, я знаю третье место, где не связывает никакая присяга и куда не проникнуть ни одному из его соглядатаев». (*Прерывает чтение и внимательно смотрит ей в глаза.*)

Луиза. Что ты на меня так смотришь, отец? Прочти до конца.

Миллер. «Но ты должен быть мужественным, и ты пройдешь темный путь, который никто тебе не озарит, кроме твоей Луизы и господа бога. Ты должен быть весь любовь — и только любовь, должен оставить все свои надежды, все кипение страстей,— ты должен взять с собою только свое сердце. Если согласен, пускайся в путь, как скоро колокол кармелитского монастыря пробьет двенадцать. Если же убоишься, вычеркни слово «сильный», определявшее твой пол, ибо тебя пристыдила девушка». (*Кладет записку, долго смотрит прямо перед собой скорбным, неподвижным взглядом и, наконец, поворачивается к Луизе; тихим, сдавленным голосом.*) Что это за третье место, дочь моя?

Луиза. Ты разве не знаешь? Правда, не знаешь, отец? Странно! Я его обозначила точно. Фердинанд непременно найдет его.

Миллер. Гм!.. Не понимаю.

Луиза. Сейчас я еще не могу подыскать для него ласкового названия. Не пугайся, отец, если я назову его именем, неприятным для слуха. Это место.. О, зачем имена не придумывала любовь! Самое лучшее она дала бы ему. Третье место, мой милый папенька... только дайте мне договорить до конца... третье место — могила.

Миллер (*шатаясь, идет к креслу*). Господи!

Луиза (*подходит к нему и поддерживает его под руку*). Не бойтесь, отец! Наводит страх только самое

слово. Отбросьте его, и глазам вашим откроется брачное ложе,— утро расстилает над ним свой золотой покров, весна украшает его разноцветными гирляндами. Одни лишь великие грешники могут обзвывать смерть скелетом,— это прелестный, очаровательный розовощекий мальчик, вроде того, каким изображают бога любви, только он не такой коварный,— нет, это тихий ангел: он помогает истомленной страннице-душе перейти через ров времени, отмыкает ей волшебные чертоги вечной красоты, приветливо кивает ей головою и — исчезает.

Миллер. О чём ты толкуешь, дочь моя? Ты хочешь наложить на себя руки?

Луиза. Это не то, отец. Уйти из мира, где я была гонимой, перенестись туда, куда меня так неодолимо влечет,— разве это грех?

Миллер. Самоубийство — самый тяжкий грех, дитя мое, единственный незамолимый грех,— в нем смерть и злодейство подают друг другу руку.

Луиза (*в оцепенении*). Ужасно!.. Но ведь это не так скоро произойдет. Я брошусь в реку, отец, и, погружаясь на дно, буду молить бога простить меня.

Миллер. Это все равно как если ты сознаешься в воровстве, а между тем награбленное будет у тебя скончено в надежном месте. Ах, дочка, дочка! Смотри не смейся над богом,— сейчас он тебе особенно нужен. О, ты и так уже слишком далеко от него ушла! Ты совсем перестала молиться, вот он, милосердный, и отступил от тебя!

Луиза. Значит, любовь — преступление, отец?

Миллер. Люби господа, и любовь никогда не доведет тебя до преступления... Ты меня совсем пригнула к земле, моя единственная, совсем, совсем,— может, мне уже и не встать... Нет, нет, не буду больше, я тебя только расстраиваю... Дочка, у меня тут давеча нечаянно вырвалось... Я был уверен, что я один. Ты все слышала, да и к чему мне сейчас от тебя таиться? Ты была моим кумиром. Послушай, Луиза, если ты еще хоть чуточку любишь своего отца... Ведь ты же была для меня всем!.. Ты не одной себе принадлежишь. С тобой я тоже все теряю. Гляди, волосы-то у меня седеют. Ко

мне незаметно подкралось то время, когда нам, отцам, становится нужен капитал, который мы некогда поместили в сердца наших детей... Неужто ты меня обманешь, Луиза? Неужто ты скроешься с последним достоянием твоего отца?

Луиза (*глубоко тронута; целуя ему руку*). Нет, отец! Я оставлю мир великой твою должницей, но в жизни вечной я верну тебе долг с излишком.

Миллер. Смотри, дитя мое, не обещай заранее! (*Проникновенно и торжественно*.) Кто знает, свидимся ли мы еще там?.. Вот ты побледнела! Моя Луиза сама понимает, что мне на том свете ее не догнать: ведь я не стремлюсь попасть туда спозаранку.

Луиза в ужасе бросается к нему в объятия, он крепко прижимает ее к груди.

(*Умоляюще*.) О дочь моя, дочь моя! Падшая, быть может, уже погибшая дочь! Выслушай завет своего отца! Мне за тобой не уследить. Я у тебя нож отберу — ты вязальную иглу схватишь. Я от тебя яд спрячу — ты на низке бисера удавишься. Луиза, Луиза, я могу только предостеречь тебя! Неужто тебя не пугает, что несбыточная твоя мечта рассеется, едва лишь ты очутишься на страшном мосту, что перекинут от Времени к Вечности? Неужто ты дерзрешь, представ перед престолом всевышнего, солгать: «Я здесь ради тебя, мой создатель!» — и в это время грешными очами искать земную свою утеху? А вдруг этот бренный кумир души твоей, теперь такой же ничтожный червь, как и ты, ползая у ног твоего судии, изобличит в этот решительный миг бессвестную твою ложь и предоставит тебе, обманутой во всех своих ожиданиях, одной молить творца о милосердии, которое этот злосчастный и себе-то едва ли вымолит, — что тогда? (*Громче и настойчивее*.) Что тогда, горе ты мое? (*Еще крепче прижимает ее к своей груди, смотрит на нее сосредоточенным, пронизывающим взглядом, затем внезапно отстраняется*.) Больше мне тебе сказать нечего... (*Воздев правую руку*.) Царю мой и боже мой! Я за эту душу более пред тобой не отвечаю. (*Луизе*.) Делай, что хочешь. Принеси своему красавцу жертву, которой возрадуется искушающий тебя бес и

из-за которой от тебя отступится твой ангел-хранитель. Иди! Возьми на себя все свои грехи, возьми и этот, последний и самый страшный, и если бремя покажется тебе легким, то положи еще сверху мое проклятие... Вот нож... Пронзи свое сердце и... (*плача навзрыд, бросается к выходу*) и сердце своего отца!

Луиза (*срывается с места и бежит за ним*). Папенька! Постой! Постой! О, нежность бывает еще жесточе и самовластней тиранства! Что мне делать? Я больше не могу! Как мне быть?

Миллер. Если поцелуи твоего возлюбленного жгут сильнее, чем слезы отца,— что ж, тогда умри!

Луиза (*после мучительной внутренней борьбы, довольно твердо*). Отец! Вот тебе моя рука! Я хочу... Боже мой! Боже мой! Что я делаю? Чего я хочу?.. Клянусь тебе, отец... Горе мне, горе! Я кругом виновата... Будь по-твоему, отец!.. Свидетель бог, вот так... вот так я уничтожу последнюю память о Фердинанде! (*Разрывает письмо*.)

Миллер (*не помня себя от радости, обнимает ее*). Узнаю мою дочь! Смотри! Ты отреклась от возлюбленного, но зато осчастливила отца. (*Смеется сквозь слезы и прижимает ее к себе*.) Дитя мое! Дитя мое! Нет, я никогда не был достоин тебя! И за что это мне, такому дурному человеку, господь послал такого ангела!.. Луиза, утешение мое!.. Господи! Я в сердечных делах не знаток, но как больно вырывать из сердца любовь — это-то уж я понимаю!..

Луиза. Но только прочь из этого края, отец! Прочь из этого города, где подруги надо мной смеются и где опорочено мое добroe имя! Прочь от тех мест, где все мне напоминает об утраченном блаженстве! Дальше, дальше, как можно дальше!..

Миллер. Куда хочешь, дитя мое! По милости божией хлеб всюду растет, и господь пошлет мне охотников послушать мою игру. Да, да, пропадай все пропадом, а мы уедем! Я переложу на музыку сказание о твоем злосчастье, я спою песнь о дочери, из любви к отцу разбившей свое сердце; с этой балладой мы будем ходить от двери к двери, и нам не горько будет принимать подаянья от тех, у кого она вызовет слезы.

Я В Л Е И Н Е В Т О Р О Е

Те же и Фердинанд.

Луиза (*первая замечает его и, вскрикнув, бросается в объятия отца*). Боже! Вот он! Я погибла!

Миллер. Где? Кто?

Луиза (*отвернувшись, кивает в сторону майора и еще теснее прижимается к отцу*). Он! Это он! Оглянись, отец! Убить меня,— вот зачем он пришел!

Миллер. (*увидев Фердинанда, отступает*). Как? Вы здесь, барон?

Фердинанд медленно приближается, останавливается прямо против Луизы и вперяет в нее пристальный, проникающий в душу взор.

Фердинанд (*после молчания*). Застигнутая врасплох совесть, благодарю тебя! Ты сделала чудовищное признание, зато скорое и правдивое,— мне незачем прибегать к пытке... Добрый вечер, Миллер!

Миллер. Скажите, ради бога, барон, что вам здесь нужно? Зачем вы сюда пришли? Чем объяснить это ваше вторжение?

Фердинанд. Прежде в этом доме отсчитывали секунды до встречи со мной, прежде здесь тоска по мне повисала на гирях медлительных стенных часов, прежде здесь с нетерпением ожидали, когда же, наконец, колебание маятника предзвестит мой приход. Почему же теперь я появляюсь нежданный?

Миллер. Уходите, уходите, барон! Если в вашем сердце осталась еще хоть искра милосердия, если вы не хотите умертвить ту, которую вы будто бы любите, то бегите отсюда, не медлите ни секунды! Как только вы переступили порог моей хижины, благодать божья от нее отлетела. Вы накликали беду на мой кров, а прежде здесь царила радость. И вам все еще мало? Вам непременно хочется растравить раны, которые злополучное знакомство с вами нанесло единственному моему ребенку?

Фердинанд. Вы чудак, отец! Ведь я же пришел сообщить вашей дочери приятную новость!

Миллер. Опять надежды, а потом снова отчая-

ние? Уходи! Ты всегда приносишь несчастье! Выражение твоего лица ничего доброго не предвещает.

Фердинанд. Предел моих желаний, наконец, достигнут! Леди Мильфорд, самое грозное препятствие для нашей любви, только что уехала за границу. Отец одобряет мой выбор. Судьба улыбается нам. Счастливая звезда наша восходит. Я верен своему обещанию: сейчас я поведу мою невесту к алтарю.

Миллер. Ты слышишь, дочь моя? Слышишь, как он глумится над несбывшимися твоими надеждами?.. Что ж, продолжайте, барон! Обольстителю так оно и подобает,— истощайте свое остроумие по случаю вами же содеянного преступления!

Фердинанд. Ты думаешь, я шучу? Клянусь честью, нет! Слово мое истинно, как любовь моей Луизы, и я исполню его так же свято, как соблюдает она свои клятвы,— я не знаю ничего более священного, чем ее клятвы... Ты все еще сомневаешься? На ланитах моей прелестной супруги все еще не вспыхнул румянец счастья? Странно! Значит, ложь в этом доме — ходячая монета, если правду здесь ни во что не считают. Вы не доверяете моим словам? Так поверьте же этому письменному доказательству! (*Бросает Луизе ее письмо к гофмаршалу.*)

Луиза развертывает письмо и, смертельно побледнев, падает без чувств.

Миллер (*не замечая этого, майору*). Что это значит, барон? Я вас не понимаю.

Фердинанд (*подводит его к Луизе*). Зато она поняла меня прекрасно!

Миллер (*склоняется над ней*). О боже! Дочь моя!

Фердинанд. Бледна как смерть!.. Вот сейчас твоя дочь мне нравится! Никогда еще не была так прекрасна твоя благочестивая, твоя добродетельная дочь, как в это мгновение, когда у нее помертвело лицо. Дуновение страшного суда, снимающее лоск со всякой лжи, стерло с этой великой мастерицы румяна, которые даже духов света ввели в заблуждение. Это лучшее из выражений ее лица! Впервые предо мною подлинный ее лик! Дай мне поцеловать ее. (*Хочет нагнуться.*)

М и л л е р. Назад! Прочь! Не береди ты моего родительского сердца, мальчишка! Я не оградил ее от твоих ласк, но уж от надругательств твоих я ее защищить сумею.

Ф е р д и н а н д. Отстань от меня, несносный старик! Мне до тебя нет дела! Не лезь ты в эту игру, тем более что она явно проиграна! Впрочем, может быть, ты хитрее, чем я думал? Уж не помогал ли ты шестидесятилетним своим опытом дочкиным шашням, уж не опозорил ли ты почтенные свои седины ремеслом сводника? О, если это не так, тогда ложись и умирай, горемыка! Время еще есть. Ты еще можешь безмятежно почить, утешая себя сладостным самообманом: «Я был счастливым отцом!» Еще мгновение — и ты швырнешь эту ядовитую гадину, это исчадие ада туда, откуда она приползла, ты проклянешь и самый дар и того, кто тебе его послал, и, богохульствуя, сойдешь в могилу. (*Луизе.*) Отвечай, несчастная! Ты писала это письмо?

М и л л е р (*Луизе, предостерегающе*). Дочь моя, ради бога! Не забудь! Не забудь!

Л у и з а. О мой отец, это письмо...

Ф е р д и н а н д. Попало не по адресу? Да будет же благословен Случай,— он совершал такие дела, какие и не снились умствующему рассудку, и на страшном суде он сумеет оправдаться лучше, нежели хитроумие всех мудрецов... Ну, конечно Случай!.. О, без воли божией и воробей не упадет на землю, отчего же Случаю не подвернуться там, где нужно сбросить личину с дьявола?.. Я жду ответа! Ты писала это письмо?

М и л л е р (*не отходя от Луизы, умоляюще*). Смелей, дочь моя! Смелей! Скажи только «да» — и дело с концом.

Ф е р д и н а н д. Забавно! Забавно! Отец — и тот обманут! Все обмануты. Посмотри, даже у нее, потерявшей совесть, язык не повернется выговорить эту последнюю ложь! Поклянись грозным всеправедным судией! Ты писала это письмо?

Л у и з а (*после мучительной внутренней борьбы, во время которой она бросала вопросительные взгляды на отца, твердо и решительно*). Да, я.

Фердинанд (*от ужаса замирает на месте*).
Луиза! Нет! Клянусь моей душой, ты лжешь! Сама невинность сознается под пыткой в злодеяниях, о которых она и не помышляла. Я задал тебе вопрос в слишком резкой форме. Ведь правда, Луиза, ты призналась только потому, что я был с тобой слишком резок?

Луиза. Я созналась в том, что было на самом деле.

Фердинанд Да нет же, нет же, нет! Это не ты писала. Это совсем не твоя рука. А если б даже и твоя, то разве подделать почерк труднее, чем разбить сердце? Скажи мне правду, Луиза... или нет, нет, не говори! Скажешь — и я погиб... Ну, солги, Луиза, ну, солги! Если б ты сумела с самым невинным, ангельским видом солгать мне сейчас, убедить мой слух и зрение, подло обмануть мое сердце, в тот же миг, Луиза, вся правда покинула бы мир, а добру пришлось бы, точно призворному низкопоклоннику, гнуть свою непокорную выю! (*Робко, дрожащим голосом.*) Ты писала это письмо?

Луиза. Да, клянусь грозным всеправедным судией!

Фердинанд (*после некоторого молчания, с глубокой скорбью*). О женщина, женщина! С каким лицом стоишь ты сейчас передо мной! Предлагай ты с таким лицом райское блаженство, у тебя не найдется покупателей даже среди осужденных на вечную муку... Знала ли ты, Луиза, чем ты была для меня? Нет! Не может быть! Ты не знала, что ты была для меня *всем, всем!* Как будто бы жалкое, ничего не значащее слово, а между тем его не вместить и самой вечности. Целые миры движутся в нем по своим орбитам... *Все!* И так преступно этим играть?.. Ужасно!

Луиза. Вы выслушали мое признание, господин фон Вальтер. Я сама себя осудила. А теперь уходите! Оставьте дом, где вам доставили столько огорчений!

Фердинанд. Хорошо, хорошо! Ведь я же спокоен... Спокоен, говорят, и тот земной край, над которым пронеслась чума... Так же точно и я... (*Подумав.*) Еще одна просьба, Луиза... последняя! У меня голова горит, точно я в лихорадке. Хочется чего-нибудь прохладительного. Принеси мне, пожалуйста, стакан лимонаду.

Луиза уходит.

Я В Л Е Н И Е Т Р Е Т Ъ Е

Ф е р д и н а н д, М и л л е р.

Долгое время оба молча ходят из угла в угол.

М и л л е р (*наконец, останавливается и печально смотрит на майора*). Дорогой барон, быть может вам станет легче, если я вам скажу, что мне вас глубоко жаль?

Ф е р д и н а н д. Довольно об этом, Миллер! (*Снова прохаживается.*) Миллер, я не могу вспомнить, как я попал к вам в дом, по какому слушаю?

М и л л е р. По какому слушаю, господин майор? Вы же хотели учиться играть на флейте. Разве вы забыли?

Ф е р д и н а н д (*живо*). Я увидел вашу дочь! (*Молчание.*) Вы не сдержали своего слова, мой друг! Вы обещали мне, что наши уроки будут происходить в уединении и спокойствии. Вы обманули меня — вы продавали мне скорпионов. (*Видя, что Миллер взмолничен.*) Полно, старик, не печалься! (*Расстроганный, обнимает его.*) Ты не виноват ни в чем!

М и л л е р (*утирая слезы*). Господь видит!

Ф е р д и н а н д (*мрачно задумавшись, снова начинает ходить по комнате*). Непонятно, до странности непонятно с нами играет бог! На тонких, незаметных нитях часто висят непомерные тяжести. О, если бы человек знал, что, вкусив от этого плода, он вкусит смерть! Да, если б он знал!.. (*Быстро ходит взад и вперед, затем, в сильном волнении, берет Миллера за руку.*) Старик, мне слишком дорого стоили те два-три урока на флейте, которые ты мне дал!.. Впрочем, и ты ничего не выигрываешь... Ты тоже теряешь... теряешь, быть может, все. (*Удрученный, отходит от него.*) Не в добрый час вздумалось мне учиться играть на флейте!

М и л л е р (*стараясь не показать своего волнения*). Что-то долго нет лимонада. Пойду посмотрю... Вы уж меня извините...

Ф е р д и н а н д. Спешить некуда, дорогой Миллер. (*Про себя.*) Особенно отцу... Побудьте со мной!..

О чём бишь я хотел вас спросить?.. Да! Луиза — ваша единственная дочь? Кроме нее, у вас нет детей?

Миллер (*с нежностью*). Кроме нее, у меня никого нет, барон... Да мне больше никого и не надо. Такой девушки, как она, вполне достаточно, чтобы завладеть всем моим родительским сердцем. Сколько было во мне любви, я всю ее потратил на дочь.

Фердинанд (*потрясен до глубины души*). О!.. Будьте любезны, добрейший Миллер, узнайте насчет лимонада.

Миллер уходит.

Я В Л Е Н И Е Ч Е Т В ЕР Т О Е

Фердинанд один.

Фердинанд. Единственное дитя!.. Сознаешь ли ты это, убийца? Единственное! Слышишь, убийца? Единственное! У этого человека на всем божьем свете только и есть, что его инструмент и его единственное... И ты хочешь его отнять? Отнять у нищего последний грош? Сломать костили и швырнуть их калеке под ноги? Как же так? Неужели у меня хватит на это духу?.. Вот он спешит домой, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, увидит он свою ненаглядную дочь, вот он входит, а она лежит — увядший, мертвый, по злому умыслу растоптанный цветок, последняя, единственная его надежда, никогда не изменявшая ему... И вот он все стоит над ней, все стоит, и ему не хватает воздуха, и его отсутствующий взор напрасно обнимает вдруг опустевшую для него вечность, ищет бога и уже не может обрести его, и, еще более опустошенный, возвращается вспять... Боже! Боже! Ведь и у моего отца единственный сын.. Единственный сын, но все же не единственное его сокровище... (*Молчание*.) Впрочем, что же это я? Кого теряет старик? Может ли девушка, для которой священное чувство любви — всего лишь игрушка, составить счастье отца?.. Не может! Нет, не может! Я хорошо сделаю, что раздавлю гадину, пока она и отца родного еще не успела ужалить.

Я В Л Е И Н Е П Я Т О Е

М и л л е р, Ф е р д и н а н д.

М и л л е р (*входя*). Сейчас подадут, барон. Белляжка сидит и горько плачет. Она даст вам напиться своих слез вместе с лимонадом.

Ф е р д и н а н д. Если бы только слез!.. Мы с вами говорили о музыке, Миллер. (*Достает кошелек.*) Я у вас до сих пор в долгу.

М и л л е р. Да ну! Да что! Эх, барон, оставьте! За кого вы меня принимаете? За вами не пропадет, а вы уж меня не обижайте,— поди не в последний раз мы с вами видимся нынче.

Ф е р д и н а н д. Ничего неизвестно. Возьмите, возьмите! Все мы под богом ходим.

М и л л е р (*смеясь*). Ну вот еще! Насчет смерти, барон, за вас, я думаю, бояться не приходится.

Ф е р д и н а н д. Бояться есть чего. Разве вы не знаете, что юноши тоже умирают,— девушки и юноши, эти мертворожденные надежды, неосуществившиеся мечты обманутых отцов?.. Кому не грозят ни болезни, ни старость, тех часто убивает наповал удар грома... Ваша Луиза тоже не бессмертна...

М и л л е р. Она мне послана богом.

Ф е р д и н а н д. Не прерывайте меня... Повторяю, она не бессмертна. Для вас только и свету в оконце, что ваша дочь. Вы привязались к своей дочери всем сердцем и всей душой. Это опасно, Миллер! Только доведенный до отчаяния игрок ставит все на одну карту. Шальной головой называем мы купца, который все свое достояние грузит на одно судно. Советую вам над этим подумать... Что же вы не берете денег?

М и л л е р. Как, сударь? Весь этот тугу набитый кошелек? Что же это такое, ваша милость?

Ф е р д и н а н д. Мой долг — вот это что такое! (*Бросает кошелек на стол с такой силой, что по столу рассыпаются золотые монеты.*) Надоел мне этот мусор!

М и л л е р (*попаджен*). Господи Иисусе! Серебро так не звенит. (*Подходит к столу; в ужасе.*) Что это?

Барон, барон, ради всего святого! Бог с вами, барон! И что вы только делаете? Вот что значит рассеянность! (*Всплеснув руками.*) Да ведь тут... или я рехнулся, или это... вот как бог свят, самое настоящее, неподдельное, чистое червонное золото!.. Отвяжись, сатана! Не на такого напал!

Фердинанд. Вы что сегодня пили — старое или молодое вино?

Миллер (*грубо*). А, чтоб вас! Да вы что, не видите?.. Золото!

Фердинанд. Ну и что же?

Миллер. Черт возьми! Я же вам говорю, я же вам всеми святыми клянусь — золото!

Фердинанд. Да, правда! Вещь неплохая.

Миллер (*немного помолчав, подходит к нему; решительно*). Сударь, я человек простой, откровенный; если вы хотите втянуть меня в какое-нибудь некрасивое дело, потому как за что-нибудь хорошее таких больших денег, ей-ей, не дадут...

Фердинанд (*расторганно*). Успокойтесь, дорогой Миллер! Такие большие деньги вы давно уже заработали честным трудом, а подкупать вашу чистую совесть — упаси бог, мне это и в голову не приходило!

Миллер (*прыгает как сумасшедший*). Так, значит, они мои! Мои! С ведома и согласия господа бога! (*Подбегает к двери и кричит.*) Жена! Дочь! Ура! Идите сюда! (*Возвращается.*) Боже милостивый! Как же это на меня нежданно-негаданно свалилось такое несметное богатство? Чем я его заслужил? Чем я за него отплачу? А?

Фердинанд. Только не уроками музыки, Миллер... Этими деньгами я вам плачу (*внутренне содрогнувшись*), я вам плачу (*помолчав, с грустью*) за тот счастливый сон, в котором целых три месяца являлась мне ваша дочь.

Миллер (*схватывает его руку и крепко пожимает*). Ваша милость! Будь вы простым, незаметным мещанином (*живо*) и не полюби вас моя девчонка, да я бы ее заколол своими руками! (*Приближается к кошельку с деньгами; вдруг помрачнев.*) Ну, вот теперь

у меня все, а у вас ничего... Стало быть, выходит, я должен все-таки отказаться от своего счастья? Так, что ли?

Фердинанд. Не беспокойтесь, друг мой! Я уезжаю, а в стране, где я собираюсь поселиться, деньги этой чеканки не имеют хождения.

Миллер (*впился глазами в золото; в полном восторге*). Стало быть, оно останется у меня? У меня?.. Жаль только, что вы уезжаете... Посмотрели бы, какой я стану важный, как буду нос задирать! (*Надевает шляпу и козырем проходит по комнате*.) Стану давать уроки музыки только в самых богатых домах, стану курить табак «Три короля» номер пять... Я не я буду, если не брошу свои грошевые заработки! (*Направляется к выходу*.)

Фердинанд. Постойте! Замолчите и спрячьте деньги! (*С расстановкой*.) Помолчите только этот вечер. И доставьте мне удовольствие — с этого дня не давайте больше уроков музыки.

Миллер (*хватает Фердинанда за жилет; весь сияя, еще восторженнее*). А дочка, дочка-то моя, сударь! (*Отпускает его*.) Для мужчины деньги — тьфу, деньги — тьфу! Картофель, рябчик — мне все едино, — наелся, и ладно; вот этот сюртук я готов таскать до самой смерти, только бы на локтях не светился. Для меня это чепуха. Но девчонке все эти блага вот как нужны! Теперь я ей так в глаза и буду смотреть: чего ни захочет — пожалуйста...

Фердинанд (*живо прерывает его*). Замолчите! О, замолчите!

Миллер (*с еще большим воодушевлением*). Она у меня и по-французски выучится как следует, и менуэт танцевать, и петь, — да так, что про нее и в газетах напечатают. Чепчик у нее будет, какой только дочке надворного советника под стать, будет у нее и кидебарри, или как он там называется, — и пойдет молва о дочери скрипача по всей округе!

Фердинанд (*в страшном волнении схватывает его за руку*). Довольно! Довольно! Ради создателя, замолчите! Помолчите только сегодня! Иной благодарности я от вас не требую.

Я В Л Е Н И Е Ш Е С Т О Е

Те же и Луиза с лимонадом.

Луиза (*подает майору стакан на тарелке; дрожащим голосом, с покрасневшими от слез глазами*). Скажите, если недостаточно крепок.

Фердинанд (*берет стакан, ставит его на стол и живо оборачивается к Миллеру*). Да, чуть было не забыл! Можно вас попросить об одной вещи, дорогой Миллер? Окажите мне одну маленькую услугу!

Миллер. Хоть тысячу! Что прикажете?

Фердинанд. Дома меня будут ждать ужинать. К сожалению, я в прескверном расположении духа. Показаться на люди для меня сейчас просто невыносимо. Сходите, пожалуйста, к моему отцу и извинитесь за меня.

Луиза (*испуганная, живо перебивает*). Нет, лучше я!

Миллер. К президенту?

Фердинанд. К нему самому не надо. Передайте то, что я вас прошу, кому-нибудь из слуг в швейцарской. Вот вам мои часы — в доказательство, что вы от меня. Я подожду вас здесь... Без ответа не уходите.

Луиза (*сильно оробев*). А разве мне нельзя?

Фердинанд (*Миллеру, который собирается уходить*). Погодите, еще не все! Вот письмо к моему отцу, мне его сегодня передали в запечатанном виде... Может быть, это что-нибудь срочное... Отдайте заодно и его.

Миллер. Слушаюсь, барон!

Луиза (*повисает на руке отца; не помня себя от страха*). Отец, я бы отлично со всем этим справилась.

Миллер. Куда ты, дочка, на ночь глядя пойдешь одна? (*Уходит*.)

Фердинанд. Посвети отцу, Луиза!

Луиза берет свечу и идет проводить отца. Фердинанд в это время подходит к столу и бросает яд в стакан с лимонадом.

Да, час ее настал! Настал! Высшие силы дают мне на это свое грозное сойзволение, суд божий — за меня, ангел-хранитель от нее отлетел.

Я В Л Е Н И Е С Е ДЬМ О Е

Ф е р д и н а н д, Л у и з а.

Л у и з а со свечой в руке медленно возвращается, ставит свечу на стол, потупившись останавливается на противоположной от майора стороне сцены и лишь по временам, боязливо и робко, искоса на него поглядывает. Ф е р д и н а н д стоит на другой стороне сцены и смотрит прямо перед собой.

Перед началом этого явления на сцене царит долгое молчание.

Л у и з а. Если вы, господин фон Вальтер, желаете сыграть со мною вместе, то я охотно сяду за фортепьяно. (*Поднимает крышку.*)

Фердинанд не отвечает. Пауза.

За вами еще проигранная партия в шахматы. Не желаете ли отыграться, господин фон Вальтер?

Молчание.

Господин фон Вальтер, я вам обещала вышить бумажник... Так вот, я его уже начала... Не желаете ли посмотреть узор?

Молчание.

Я так несчастна!

Ф е р д и н а н д (*не меняя позы*). Вполне возможно.

Л у и з а. Я плохо вас занимаю, господин фон Вальтер, но я в этом не виновата.

Ф е р д и н а н д (*с презрительным смехом*). О, разумеется, во всем виновата моя дурацкая скромность.

Л у и з а. Я знала, что нам теперь нельзя оставаться вдвоем. Дело прошлое: когда вы услали отца, мне стало страшно... Господин фон Вальтер, мне кажется, нам обоим будет невыносимо тяжело вместе. Позвольте мне привести кого-нибудь из моих знакомых!

Ф е р д и н а н д. Отчего же! А я приведу своих.

Л у и з а (*смотрит на него с недоумением*). Господин фон Вальтер...

Ф е р д и н а н д (*крайне язвительно*). Ничего умнее и не придумаешь в таких обстоятельствах, честное слово! Мы превратим наш мрачный дуэт в приятное времяпровождение и обменом любезностей вознаградим себя за злые шутки любви.

Луиза. Вы что-то в игривом расположении духа, господин фон Вальтер.

Фердинанд. Я сегодня до того шаловлив, что как бы все уличные мальчишки не побежали за мной! Нет, правда, Луиза! Твой пример заразителен. Будь моей наставницей! Дураки те, что болтают о вечной любви. Вечное однообразие приедается, перемена — вот единственный источник наслаждения!.. Твоя правда, Луиза! Давай заключим союз. Будем с тобою порхать от романа к роману, валяться то в одной грязной луже, то в другой,— ты здесь, я там... Быть может, я вновь обрету утраченный покой в одном из веселых домов; быть может, после такого презабавного бега наперегонки мы, два иссохших скелета, столкнемся вторично, чтò явится для нас обоих в высшей степени приятной неожиданностью, и, подобно героям комедий, найдя друг в друге черты семейного сходства, признаем, что мы — чада единой матери,— и вот тогда-то чувства гадливости и стыда образуют, наконец, ту гармонию, которая оказалась не под силу нежной любви.

Луиза. О юноша, юноша! Ты и так несчастен, зачем же ты еще стараешься доказать, что ты это заслужил?

Фердинанд (*злобно цедит сквозь зубы*). Я несчастен? Кто тебе сказал? Ты бессердечная женщина, ты не знаешь страданий, как же ты можешь понять страдания другого человека?.. Она говорит, что я несчастен? О, это слово могло бы привести меня в ярость, даже если бы я лежал в могиле! Она знала, что я буду несчастен! Смерть ей и вечная мука! Знала и все же изменила мне... Слушай, змея! Ты еще могла вымолить у меня прощение, но ты сама себя погубила. До сих пор я еще мог объяснить совершенное тобой преступление твою наивность; мое презрение чуть было не спасло тебя от моей мести. (*Порывистым движением берет со стола стакан*.) Значит, ты не ветреная, глупая девчонка — ты сам сатана! (*Пьет*.) Этот выдохшийся лимонад — точь-в-точь как твоя душа. Попробуй!

Луиза. О боже! Недаром я так боялась этого свидания!

Фердинанд (*повелительным тоном*). Попробуй!

Луиза неохотно берет стакан и пьет. Как только она подносит стакан ко рту, Фердинанд внезапно бледнеет, отворачивается и спешно отходит в дальний угол комнаты.

Луиза. Лимонад хорош.

Фердинанд (*не оборачиваясь, охваченный ужасом*). На здоровье!

Луиза (*ставит стакан на стол*). О, если бы знали, Вальтер, как жестоко оскорбляете вы мою душу!

Фердинанд. Гм!

Луиза. Придет время, Вальтер...

Фердинанд (*снова приближается к ней*). О, с временем мы покончили!

Луиза. Когда воспоминание о сегодняшнем вечере камнем ляжет вам на сердце...

Фердинанд (*не может найти себе места — мечтается по комнате, сбрасывает с себя шарф и шляпу*). Прощай, служба!

Луиза. Боже! Что с вами?

Фердинанд. Мне жарко, душно... Так будет легче.

Луиза. Выпейте лимонаду! Выпейте лимонаду! Ведь он охлаждает!

Фердинанд. О да, меня он охладит навеки!.. У этой потаскушки доброе сердце! Впрочем, все они таковы!

Луиза (*в бурном порыве любви устремляется к нему и хочет обнять его*). И ты это говоришь своей Луизе, Фердинанд?

Фердинанд (*отстраняет ее*). Прочь! Прочь! Прочь от меня, этот умильный, исполненный неги взор! Я слабею под ним. Явись мне во всей своей чудовищной лютости, змея! Бросайся на меня, ползучая тварь! Выставь напоказ твои отвратительные кольца, вознеси к небу свои позвонки! Покажись во всем том безобразии, в каком когда-то видела тебя преисподняя! Только не надо этого ангельского вида! Теперь уже не надо этого ангельского вида! Поздно! Или я раздавлю тебя, как гадину, или с ума сойду от отчаяния!.. Пощади меня!

Луиза. О, зачем все это так далеко зашло!

Фердинанд (*смотрит на нее сбоку*). Какое дивное творение небесного ваятеля! Кто бы подумал... Да и как можно было подумать? (*Берет ее руку и поднимает вверх.*) Я не призываю тебя к ответу, создатель, но все же отчего твой яд разлит по таким дивным сосудам? Как может порок таиться за этими чертами, дышащими ангельскою добротой? Непостижимо!

Луиза. Каково слушать все это — и молчать!

Фердинанд. И этот сладкий, нежный голос... Возможно ли, чтоб эти струны звучали так волшебно? (*Вперяется в нее восхищенный взор.*) Все в ней так прекрасно, так совершенно, так полно божественной гармонии! Кажется, будто господь создал ее в миг наивысшего вдохновения! Право, можно подумать, будто вселенная только для того и возникла, чтобы творец на радостях создал еще и этот перл! Значит, бог допустил оплошность, только когда создавал ее душу? Ужели возмутительный этот урод появился на свет безупречным? (*Отпрянув от нее.*) Или, увидев, что из-под его резца выходит ангел, творец решил исправить ошибку и сгоряча дал ей *наихудшее сердце*?

Луиза. О злостный упрямец! Ему легче богохульствовать, чем признаться в собственной опрометчивости.

Фердинанд (*страстно рыдая, бросается к ней в объятия*). Еще раз, Луиза! Еще раз, как в день нашего первого поцелуя, когда ты прошептала: «Фердинанд!» и когда твои пылающие уста впервые вымолвили слово «ты»... О, тогда казалось, что в этом мгновении, словно в почке, заложены семена бесконечных, несказанных радостей! Тогда перед нашими очами, словно роскошный майский день, простиралась Вечность, века златые, разубранные, как невесты, проносились перед умственным нашим взором... Тогда я был счастлив! О Луиза, Луиза, Луиза, зачем ты так со мной поступила?

Луиза. Плачьте, плачьте, Вальтер! Горюйте обо мне, но не возмущайтесь,— так будет справедливее.

Фердинанд. Ты ошибаешься. Это не те слезы, не та теплая, целительная роса, что льется бальзамом

на душевые раны и снова приводит в движение остановившееся колесо страсти. Это — скучные, холодные капли, это — леденящее душу последнее «прости!» моей любви. (*Положив руку ей на голову, необычайно торжественно.*) То слезы о душе твоей, Луиза, слезы о том, что небо не простерло над тобой до конца неизреченной своей милости, что оно так своенравно обошлось с лучшим своим созданием... О, все божье творение, потрясенное тем, что в нем происходит, должно бы, кажется, облачиться в траур! Гибнут люди, исчезают эдемы,— все это для нас не ново, но когда чума свирепствует среди ангелов, траур должен быть объявлен во всей природе.

Луиза. Не доводите меня до крайности, Вальтер! Душевной твердости у меня не меньше, чем у всякой другой, и все же душа моя способна выдержать только такое испытание, которое не превышает человеческих сил. Еще одно слово, Вальтер, и затем расстанемся... Жестокий жребий наш мешает нам излить друг другу всю душу. Если бы я посмела раскрыть уста, Вальтер, я могла бы тебе рассказать такое... я могла бы... Но враждебный рок сковал мне уста, как сковал он и нашу любовь, и вот сейчас ты обращаешься со мной, как с продажной девкой, а я должна терпеть.

Фердинанд. Ты хорошо себя чувствуешь, Луиза?

Луиза. Почему ты спрашиваешь?

Фердинанд. Мне было бы жаль тебя, если бы ты ушла отсюда с этой ложью.

Луиза. Вальтер, я заклинаю вас...

Фердинанд (*в сильном волнении*). Нет, нет! Такая месть была бы достойна сатаны! Нет! Боже меня сохрани! Я не хочу переносить этого в мир иной... Луиза! Ты любила маршала? Тебе уже не уйти из этой комнаты.

Луиза. Спрашивайте, что хотите. Я вам больше ничего не отвечу. (*Садится.*)

Фердинанд (*строго*). Подумай о своей бессмертной душе, Луиза!.. Ты любила маршала? Тебе уже не уйти из этой комнаты.

Луиза. Я вам больше ничего не отвечу.

Фердинанд (*в страшном волнении падает перед ней на колени*). Луиза, ты любила маршала? Прежде чем догорит эта свеча, тебя призовет на суд сам господь бог!

Луиза (*в ужасе вскакивает*). Сыне божий! Что же это? И правда — ох, как мне стало худо! (*Снова опускается в кресло*.)

Фердинанд. Уже?.. Беда с вами, женщины, — вечная вы загадка! Ваши слабые нервы выдерживают такие преступления, которые подтачивают самые основы человеческого общества, а крошечная доза мышьяка повергает вас наземь...

Луиза. Яд! Яд! Господи Иисусе!

Фердинанд. Боюсь, что так. В твой лимонад положили приправу бесы. Ты выпила его в честь смерти.

Луиза. Умереть! Умереть! Владыка всемилостивый! Яд в лимонаде! Смерть! Боже, спасителю наш, спаси мою душу!

Фердинанд. Это сейчас самое главное. Я тоже об этом молюсь.

Луиза. А моя мать? Мой отец? Боже, избавитель мира! Мой бедный отец — он этого не переживет! Ужели мне нет спасения? Так молода — и спасения нет? И уже сейчас — *туда*?

Фердинанд. Спасения нет — тебе уже сейчас придется уйти *туда*. Не беспокойся, мы совершим это путешествие вместе.

Луиза. И ты, Фердинанд? Значит, яд — это ты, Фердинанд? Боже, прости ему! Милосердный боже, отпусти ему этот грех!

Фердинанд. Своди с ним *свои* счеты, — боюсь, что они у тебя запутаны.

Луиза. Фердинанд! Фердинанд! О, теперь я уже не стану молчать! Смерть... смерть разрешает все клятвы!.. Фердинанд! Более несчастного существа, чем ты, нет ни на небе, ни на земле. Я умираю безвинная, Фердинанд!

Фердинанд (*в страхе*). Что она сказала? Разве кто-нибудь берет с собой ложь в *такую* дорогу?

Луиза. Я не лгу. Я не лгу. Я солгала только раз за всю жизнь... Бэр! Как мне стало вдруг холодно!.. Солгала, когда писала письмо гофмаршалу...

Фердинанд. Вот, вот! Письмо! Слава богу! Теперь ко мне вернулось все мое мужество.

Луиза (*коснеющим языком, судорожно подергивая пальцами*). Это письмо... Возьми себя в руки, сейчас ты услышишь страшное признание... Моя рука писала то, что проклинало мое сердце... Это письмо продиктовал мне твой отец.

Фердинанд стоит неподвижно, как статуя, затем, после долгого гробового молчания, точно громом пораженный, падает на пол.

Это все печальное недоразумение!.. Фердинанд!.. Меня заставили... Прости... Твоя Луиза предпочла бы умереть... Но мой отец... Угроза... Они действовали ловко.

Фердинанд (*в ужасе вскакивает*). Слава богу, я еще не чувствую в себе яда! (*Выхватывает шпагу*.)

Луиза (*слабея с каждым мгновением, опускается на пол*). Ох! Что ты задумал? Ведь он твой отец...

Фердинанд (*вне себя от ярости*). Убийца он и отец убийцы! Я увлеку его за собой, дабы гнев вечного судии пал на истинного виновника. (*Устремляется к выходу*.)

Луиза. Спаситель наш, умирая, прощал... Храни вас господь — тебя и его!.. (*Умирает*.)

Фердинанд (*подбегает к ней, видит ее последнее, предсмертное движение и в порыве отчаяния прощается лицом перед умершей*). Помедли! Помедли! Не улетай от меня, ангел небесный! (*Берет ее руку и сейчас же опускает*.) Холодная, холодная и влажная рука! Душа ее — там! (*Поднимается с пола*.) Господь моей Луизы, помилуй! Помилуй подлеявшего из убийц! Это была последняя ее мольба!.. Она и в смерти все так же чарующе прекрасна! Ангел мщения, тронутый ласковым ее выражением, пощадил ее... Кротость ее — не личина, иначе ее бросила бы смерть. (*Молчание*.) Но что же это? Почему я ничего не чувствую? Или тут берет свое моя молодость? Тщетные усилия! Я все равно не поддамся. (*Берет стакан*.)

Я В Л Е И Н Е П О С Л Е Д Н Е Е

Фердинанд, президент, Вурми слуги в страхе вбегают в комнату; затем появляется Миллер и приводит с собой народ и полицию,— те группируются на заднем плане.

Президент (*с письмом в руках*). Сын мой, да что же это? Я никогда не поверю...

Фердинанд (*бросает стакан к его ногам*). Вот, смотри, убийца!

Президент отшатывается. Все застывают на месте.
Грозное молчание.

Президент. Сын мой, зачем ты так со мной поступил?

Фердинанд (*не глядя на него*). Ну, конечно, я должен был сначала осведомиться у государственного мужа, не спутает ли мой ход его карт!.. Вы задумали расторгнуть союз наших сердец, распалив во мне ревность,— право, нельзя не подивиться подобному хитросплетению! Расчет был верен. Вот только ослепленная гневом любовь — это все же не то, что деревянная кукла: она не повинуется проволоке.

Президент (*растерянно обводит глазами присутствующих*). Неужели здесь нет никого, кто бы поплакал над безутешным отцом?

Миллер (*кричит за scenой*). Пустите меня! Бога ради! Пустите!

Фердинанд. Эта девушка — святая! Ответ за нее вам придется давать другому. (*Распахивает двери*.)

Врывается Миллер с толпой народа и полицейскими.

Миллер (*полный ужаса*) Дитя мое! Дитя мое! Яд! Я слышал, здесь кто-то принял яд! Дочь моя! Где ты?

Фердинанд (*ставит его между президентом и трупом Луизы*). На мне вины нет. Благодари его.

Миллер (*бросается на труп дочери*). Боже мой!

Фердинанд. Только два слова, отец! Они недешево будут мне стоить... У меня воровски похищена жизнь, похищена вами. Сейчас я трепещу так, как если бы стоял перед лицом божиим,— ведь я же никогда

не был злодеем. Какой бы удел ни достался мне в жизни вечной — вам достанется иной. Но я совершил убийство (*угрожающе повысив голос*), убийство, и ты не можешь от меня требовать, чтобы я один шел с этой ношей к всеправедному судье. Большую и самую страшную ее половину я торжественно возлагаю на тебя. Донесешь ты свою ношу или нет — это уж дело твое. (*Подводит его к Луизе.*) Смотри, изверг! Насладись чудовищным плодом своего хитроумия! На этом искашенном мукой лице написано твое имя, и ангелы мщения его прочтут... Пусть ее тень отдернет полог в тот миг, когда ты вкушаешь сон на своем ложе, и протянет тебе свою руку, холодную, как лед! Пусть ее тень возникнет пред очами твоей души, когда ты будешь умирать, и оборвет последнюю твою молитву! Пусть ее тень станет у твоей могилы в час воскресения мертвых — и перед самим богом, когда ты явишься на сго суд! (*Лишается чувств.*)

Слуги поддерживают его.

Президент (*объятый ужасом, воздевает руки к небу*). Судия всеправедный, не я, не я в ответе пред тобой за эти души, а вот этот! (*Направляется к Вурму.*)

Вурм (*вздрагивает*). Я?

Президент. Ты, окаянный! Ты, сатана! Ты, ты подал мне убийственный этот совет! Ты всему виной, — я умываю руки.

Вурм. Я всему виной? (*Отвратительно хохочет.*) Занятно! Занятно! По крайней мере я узнал, как черти умеют благодарить за услуги... Я всему виной, глупый злодей? Да разве это был мой сын? Разве я имел право тебе приказывать?.. Я всему виной? И ты мне это говоришь в такую минуту, когда от одного вида этой девушки холод пробираёт меня до костей? Так вся вина ложится на меня?.. Пусть я сейчас погибну, но вместе со мною и ты! Эй, люди! Люди! Кричите на всех перекрестках: «Убийство!» Разбудите судебные власти! Стража, вяжи меня! Уведите меня отсюда! Я открою такие тайны, что тех, кто будет слушать меня, мороз подерет по коже. (*Направляется к выходу.*)

Президент (*останавливает его*). Не смей этого делать, безумец!

Вурм (*похлопывает его по плечу*). Еще как посмею, дружище! Я обезумел — то правда; это ты меня свел с ума. Вот я и буду вести себя как сумасшедший! Об руку с тобою на эшафот! Об руку с тобою в ад! Мне льстит, что я буду осужден вместе с таким негодяем, как ты!

Вурма уводят.

Миллер, лежавший до сих пор в немом отчаянии, уронив голову на грудь Луизы, вдруг вскакивает и бросает кошелек к ногам майора.

Миллер. Отравитель! Вот тебе твое проклятое золото! И ты смел думать, что купишь на него мое дитя? (*Выбегает из комнаты*.)

Фердинанд (*прерывающимся голосом*). Бегите за ним! Он сам не свой... Деньги эти отдайте ему... Это страшное вознаграждение ему от меня... Луиза! Луиза! Я иду!.. Прошайте!.. Дайте мне умереть у этого алтаря...

Президент (*выйдя из тягостного оцепенения, сыну*). Сын мой, Фердинанд! Ужели ни единым взглядом не порадуешь ты отягченного скорбью отца?

Майора кладут рядом с Луизой.

Фердинанд. Последний мой взор — милосердному богу!

Президент (*с выражением нестерпимой муки опускается перед ним на колени*). Творение и сам творец оставляют меня... Ужели единый взгляд твой — последняя моя отрада — не упадет на меня?

Фердинанд протягивает ему свою холодающую руку.

(*Быстрым движением поднимается с колен.*) Он меня простил! (*К остальным.*) Теперь — берите меня! (*Ходит в сопровождении стражи.*)

Запавес





КОММЕНТАРИЙ



СТИХОТВОРЕНИЯ

В настоящем собрании сочинений Ф. Шиллера стихотворения воспроизводятся в хронологическом порядке.

В соответствии с мнением Шиллера, что эпиграммы воспринимаются читателем не столько каждая в отдельности, сколько в своей совокупности, редакция сочла возможным те из них, которые не входят в отдельные циклы («Памятки», «Мелочи», «Реки»), объединить в разделе «Эпиграммы», не нарушая при этом принятого в данном издании хронологического расположения материала.

1780

Стр. 79—80. Прощанье Гектора.— Позднейший вариант песни Амалии из драмы «Разбойники» (II, 2). Источник стихотворения — «Илиада» Гомера. В отличие от источника, у Шиллера прощанье героя с Андромахой происходит *после* смерти Патрокла, поверженного Гектором. Таким образом, Гектор идет в свой последний бой, в котором примет смертельный удар от руки Ахилла. На этом примере мы видим, что Шиллер уже в раннюю пору своего творчества группировал события (вразрез с данными мифа, истории), с целью достижения наибольшего драматического эффекта.

Гектор (греч. ερεβος) — сын троянского царя Приама, предводитель троянцев во время Троянской войны. *Ахилл* — главный герой «Илиады». Когда Гектор убил в сражении друга Ахилла — Патрокла, Ахилл поклялся, что жестоко отомстит Гектору за смерть Патрокла. Поединок Ахилла с Гектором

заканчивается гибелью последнего (XXII песнь «Илиады»). *Орк* — римское название мифологического царства мертвых, подземного мира. *Пергам* — троянский акрополь (возвышенная укрепленная часть города). *Отойду к стигийским берегам...* — Стикс — река в подземном мире. *Коцит* — река в подземном мире. *Лета* — «река забвения» в подземном мире. *Дикарь* — имеется в виду Ахилл.

Стр. 80. *Амалия* — песня Амалии из драмы «Разбойники» (III, 1); дано в редакции Шиллера 1793 года.

Валгалла — в древнескандинавской мифологии: дворец бога Одина; обиталище душ воинов, павших в бою.

Стр. 80—82. *Брут и Цезарь*. — Песня Карла Моора из драмы «Разбойники» (IV, 5). Конфликт, отраженный в этом стихотворении, — столкновение поборников двух политических принципов: *автократического* (Цезарь) и *республиканского* (Брут), — достигает особой остроты, когда Цезарь сообщает Бруту, уже нанесшему ему смертельную рану, что является его отцом (предание, не подтверждающееся исторически-достоверными данными).

Брут, Кассий — Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин, главные участники заговора против Юлия Цезаря и вожди республиканской армии, сражавшейся против войск Антония и Октавиана. Цезарь был убит в 44 году до н. э. В 42 году армия республиканцев потерпела поражение в битве при Филиппах (Фракия), и сначала Кассий, а затем Брут покончили жизнь самоубийством. *Семихолмный град* — то есть Рим, расположенный на семи холмах. *Стигийский провал*. — См. примечание к стр. 79—80. *Минос* — мифический царь Крита, ставший после смерти судьей в царстве мертвых.

Стр. 82—84. *Могильная фантазия*. — Написано на смерть умершего на девятнадцатом году жизни Христиана-Августа фон Говена, младшего брата друга и соученика Шиллера по Академии Карла.

Аврора — богиня утренней зари у римлян. *Флора* — римская богиня цветов и весны. *Валгалла*. — См. примечание к стр. 80.

Стр. 84—92. *Колесница Венеры*. — Написано в духе народных сатир времен немецкой реформации. Этот жанр был вновь введен в немецкую литературу писателями из круга «бури и натиска».

Прометея дети — то есть люди (согласно мифу, сотворенные

Прометеем). *Фарисеи с янусовым рылом*. — Здесь: двуличные святоши и тайные сладострастники. Янус — римский бог входа и выхода. Его изображали с двумя лицами, обращенными в разные стороны. *Ты не у Людовика в постели!* — Людовик — имя многих французских королей; здесь: нарицательное имя государей. ... в хронике Назона — в «Метаморфозах» Овидия Назона. *И тотчас становится быком*. — В образе быка Зевс-Юпитер совершил похищение Европы (г р е ч. м и ф.). *Дельфы* — древнегреческий город, известный тем, что здесь находился оракул Аполлона. Роль прорицательниц (пифий) исполнялась женщинами, которые надевали особый наряд, восходили на треножник и изрекали пророчества. *Оракул в косах* — пифия, прорицательница. *Тот юнец*. — Имеется в виду Александр Македонский, женившийся на дочери низвергнутого им персидского царя (у Шиллера — вавилонского). *Сирены* — мифические полуженщины-полуптицы, жившие на острове и привлекавшие морепутов своим чарующим пением. Причаливая к острову Сирен, моряки неминуемо погибали. *Харидда* — мифологическое морское чудовище. У Гомера («Одиссея», песнь XII) и вообще в античной литературе Харибда упоминается вместе с другим чудовищем — Скиллой (или Сциллой). *Фрина* — знаменитая в древности гетера, славившаяся своей красотой. ... *хочет // Над измученным бойцом* — над бойцом, измучившимся в любовной схватке с Венерой. *Ящик Пандоры* (г р е ч. м и ф.). — Пандора — виновница людского неблагополучия; она приподняла крышку «ларчика бедствий» и выпустила оттуда все беды. *Молох* — у ряда древних семитских народов — бог солнца, огня и войны, которому приносились человеческие жертвы. *Гименей* — бог брака. *Вакханки* — участницы оргий в честь бога вина Диониса (Вакха). Вакханками в античной мифологии называются также спутницы Вакха. *Кортес, Пизарро* — испанские завоеватели XVI века, захватившие значительную территорию Центральной и Южной Америки и с неслыханной жестокостью истреблявшие и порабощавшие коренное население.

Стр. 93—96. *Дурные монархи*. — Суд над монархами — частый мотив во французской литературе двух последних десятилетий, предшествовавших французской буржуазной революции 1789 года. К концу семидесятых годов стихотворения

на эту тему стали появляться и в Германии (Клопшток, Бюргер, Шубарт). В частности, Шубарт написал снискавшее большую популярность стихотворение «Княжеский склеп», подражанием которому и являются «Дурные монархи» Шиллера.

Обнаженных Фрин. — См. примечание к стр. 84—92. *Минотавр* (греч. миф.) — критское чудовище, полубык-получеловек, пожирающий афинских юношей и девушек. *Геката* — одно из древнегреческих божеств подземного царства, способное вызывать души умерших из преисподней. Обычные атрибуты Гекаты — собаки, змеи, факелы, ключи и кинжалы. *Где весы гремят* — весы, взвешивающие добрые и злые дела человека на «страшном суде» (христ. миф.).

Стр. 96—99. *Элегия на смерть юноши.* — На смерть товарища Шиллера Иоганна-Христиана Веккерлина, окончившего Академию Карла.

Есть ли где загробная страна? — Это сомнение в существовании рая, равно как и в благости бога возбудило толки о безбожии автора стихотворения. «Это слава, но слава того, кто сжег храм Эфесский. Господи помилуй!» — щутливо отозвался Шиллер на толки штутгартских обывателей (в письме от 4 января 1781 года).

Стр. 99—102. *Журналисты и Минос.* — Сатира на политически беззубых немецких журналистов. Пренебрежение к ним достаточно ясно выражено революционно настроенным автором во второй строфе стихотворения: «Обычно наша пресса // (— Как знать по чьей вине?) // Не будит интереса // Особого во мне». Отрубание большого пальца упоминается в древнегерманском праве как позорное наказание. Переведено на русский язык впервые.

Минос. — См. примечание к стр. 80—82. *Лета.* — См. примечание к стр. 79—80. *Стикс* (или Стигс). — См. примечание к стр. 79—80. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик душ умерших в подземном царстве. *Геenna* (христ. миф.) — место вечных муки. *Явиться в Сан-Суси.* — Ад назван здесь Сан-Суси, по имени резиденции Фридриха II Пруссского. *Цербер* (греч. миф.) — трехглавый пес, стороживший вход в подземное царство.

Стр. 102—103. *Вытрезвление Бахуса.* — В Германии (вплоть до второй половины XVIII века) сажали во вращающуюся клетку довинных в скандалах, драках и беспутном поведении; эта карательная машина кружила преступника до потери сознания. Шиллер сажает здесь в такую клетку бога вина

Бахуса (Вакха) за то, что он доводит до головокружения всех, кто предается пьянству, вкушает «дары Бахуса». Переведено на русский язык впервые.

Стр. 104—105. Мужицкая серенада.— Написана по образцу сатирического городского фольклора, потешающегося над крестьянской любовной лирикой, на грубый лад подражающей галантным песням рыцарей-миннезингеров. Переведено на русский язык впервые.

Стр. 105—107. Воздействие муз.— Переведено на русский язык впервые.

Геликон (греч. миф.) — горный хребет в Беотии, считавшийся местопребыванием муз. Мельпомена — муза трагедии. Фурии — римское название эрийний, богинь проклятия, мести и кары в греческой мифологии.

Стр. 107—109. Фантазия к Лауре.— Адресат этого стихотворения (как и стихотворений «Лаура у клавесина», «Восхищение Лаурой» и, ниже, «Тайна воспоминаний») — вдова капитана Фишера, штутгартская хозяйка молодого Шиллера. Мысль, лежащая в основе «Фантазии к Лауре», восходит к философии Эмпедокла, утверждавшего, что создателем мира является бог любви Эрот. Подобно тому как мир материи связует сила всемирного тяготения (открытая Ньютоном) — «мир духа», мир «существ, наделенных душой», объединяет сила любви. Поэт и ту и другую силу одинаково именует любовью. Последние три строфы говорят о том, что порыв к вечному слиянию в любви невозможен; это произойдет, согласно древнему поверью, лишь тогда, когда время, ранее ошибочно названное Сатурном (ошибка, вызванная смешением титана Кронос-Сатурна с Хроносом — богом времени), соединится со своей «невестой — Вечностью».

Арахнейская ткань (греч. миф.) — тончайшая ткань, названная так по имени искусной ткачихи Арахны.

Стр. 109—110. Лаура у клавесина.

Словно Филадельфия, из тела // Душу исторгаешь ты мою.— Шиллер намекает здесь на способность, приписывавшуюся известному фокуснику и авантюристу XVIII века Якову Филадельфию, вызывать души умерших и отсутствующих. Хаос (греч. миф.) — зияющее мировое пространство, первоисточник всего сущего: Коцит.— См. примечание к стр. 79—80. Элизий (или Элизиум) — местопребывание душ, приобщенных к блаженной загробной жизни (греч. миф.).

Стр. 110—111. Восхищение Лаурой.

Орфей — мифологический певец, пение которого приводило в движение деревья и скалы и укрощало диких зверей.

Стр. 111. Р у с с о.— Шиллер обращается к памятнику Жан-Жака Руссо в Эрменонвиле близ Парижа, где умер в 1778 году великий философ, пламенный противник феодализма и дворянских монархий.

Пал Сократ.— Древнегреческий философ Сократ (469—399 гг. до н. э.) был приговорен афинским судом к смерти за отречение от государственной религии и неповинование законам демократических Афин. *Пал Руссо, но от рабов Христовых*.— Шиллер имеет в виду преследования, которым подвергался философ со стороны реакционеров и мракобесов: его сочинение «Эмиль, или О воспитании» было сожжено, сам же он, приговоренный к тюремному заключению, оказался вынужденным спасаться бегством и переносить большие лишения.

Стр. 111—115. Д е т о у б и й ц а.— Популярная тема в литературе «бури и натиска»; она проходит и в первой части «Фауста» Гете (сцена «В тюрьме»).

Стр. 115—117. Б и т в а.— Первоначально это стихотворение носило название «В бою. Рассказ офицера».

Стр. 117—122. Т р и у м ф л ю б в и.— Шиллер в своей анонимной рецензии на «Антологию на 1782 год» называет это стихотворение подражанием стихотворению Бюргера «Ночное прирештство Венеры» (в свою очередь являющемуся вольным переводом поэмы неизвестного римского автора).

Элизий.— См. примечание к стр. 109—110. *Эос* (греч. миф.) — богиня утренней зари. *Селена* (греч. миф.) — богиня луны, луна. *Наяды* (греч. миф.) — одна из разновидностей нимф (женских божеств, олицетворяющих силы природы), обитающих в водах рек, родников, озер. *Пигмалион* — мифологический царь Кипра, влюбившийся в статую Афродиты, изваянную им самим. Богиня Афродита оживила эту статую, и Пигмалион женился на ней. *Кротко спит в объятьях Леды*...— Согласно греческому мифу, Зевс, приняв облик лебедя, соединился с женой царя Тиндарея — Ледой. *Тот, кем свергнут был титан*.— Титан Крон и другие титаны были свергнуты Зевсом. *Супруга Кронида* — Гера, жена Зевса — сына Крона. *Уранид* — потомок Урана; здесь: Гелий, бог солнца. *В амбровийных волосах* — то есть в душистых, благоуханных волосах (от амброзии — благоуханной пищи богов). *Волоокая* — обычный эпитет Геры. *Вечно юную богиню* — Афродиту, богиню любви. *Орк*.— См.

примечание к стр. 79—80. *Властитель черный* (греч. миф.) — Аид, бог подземного царства, полюбивший Персефону, дочь богини плодородия Деметры. *Орфей*. — См. примечание к стр. 110—111. *Минос*. — См. примечание к стр. 80—82. *Фурии*. — См. примечание к стр. 105—107.

Стр. 122—123. *Фортуна и мудрость*. — В оригинале называется «Счастье и мудрость».

Фортуна — богиня счастливой судьбы у римлян. *София* — по-гречески значит: «мудрость».

Стр. 123. *Моралисты*.

Селадон — влюбленный пастушок, герой романа «Астрея» Оноре д'Юрфе (1568—1625).

Стр. 125—126. *К цветам*.

Сильфы — по средневековому поверию, духи воздуха, легкие воздушные существа, олицетворяющие стихию воздуха. *Дочь Дионы* — Афродита.

Стр. 126—128. *Тайна воспоминаний*. — В основе стихотворения лежит миф о происхождении любви, рассказанный в «Пире» Платона. Люди некогда были сложным существом, состоявшим из мужчины и женщины. Зевс разрубил их на две половины — мужчину и женщину, которые с тех пор стремятся вновь воссоединиться.

Стр. 128. *Группа из Тартара*. — Когда в греческой мифологии под влиянием восточных религий установилось разделение умерших на награждаемых и караемых, то теням первых отвели в подземном мире блаженную обитель — Элизиум; тем, кто вел жизнь среднюю между добром и злом, — Асфодельский луг; а тем, кого осудили боги за злые дела, — царство муки, Тартар. Мысль о возможном избавлении от муки, согласно греческой мифологии, никогда не всплывала в сознании обреченных; она привнесена Шиллером.

Сатурн (римск. миф.) — бог посевов, отождествленный с греческим богом Кроном, отцом Зевса. Крана представляли в образе старца, с серпом в руке.

Стр. 129. *Элизиум*. — В «Антологии на 1782 год» стихотворение называлось «Кантатой». Это первая песня для солистов и хора, написанная Шиллером; за нею последовали песня «К радости» и (позднее) «Торжество победителей».

Стр. 130—131. *Дружба* (из «Философских писем»). — Стихотворение одушевлено той же идеей, что и оды к Лауре. Растигнутое и непомерно риторическое, оно достигает большой

энергии в последних трех строфах. Заключительными стихами «Дружбы»:

Дабы тот, кто всех нас совершенней,
Видел в совокупности творений
Беспредельность лика своего. —

Гегель кончает свою «Феноменологию духа».

Стр. 131—133. Памятник разбойнику Моору.

Фаэтон (греч. миф.) — сын бога солнца Гелия. Гелий позволил сыну в течение одного дня править колесницей Солнца. Фаэтон не справился с конями, и Солнце зажгло небо и землю. Чтобы спасти весь мир от гибели, Зевс ранил Фаэтона молнией.

Стр. 133—134. Беглец.— Посвящено теме самоубийства, получившей особенно широкое распространение в литературе после опубликования романа Гете «Страдания юного Вертера».

Стр. 136—138. Граф Эберхард Грейнер.— Эберхард II Грейнер, то есть Сварливый (1344—1392) — первый независимый граф Вюртембергский. Он потерял сына в битве не при Рейтлингене, а при Дефингене. Граф Уллерих (Ульрих) не потерпел поражения в бою с вооруженными горожанами при Рейтлингене, как утверждает Шиллер, и отнюдь не был «мальчиком», когда его убили (погиб он на пятьдесят третьем году жизни), — но Шиллер ориентировался здесь не на данные истории, а на народный фольклор, содержащий все эти исторические неточности.

1782

Стр. 139—141. Достоинство мужчины.— Ранее (в «Антологии на 1782 год») называлось «Кастраты и мужчины».

Граник — река в Малой Азии, близ которой в 334 году до н. э. Александр Македонский одержал победу над персами. Гекла — действующий вулкан в Южной Исландии. На праже Карфагена. — Как рассказывает Плутарх, римский полководец Гай Марий, спасший Рим от нашествия германских племен, был изгнан из Рима и посетил развалины Карфагена.

Стр. 142—143. Зимняя ночь.— На русский язык переведено впервые.

Теренций (I в. до н. э.) — известный римский писатель, автор шести комедий, представляющих собой переделку грече-

ских образцов. *Минелли* — нидерландский ученый XVIII века, издатель и комментатор античных авторов; его комментариями пользовались как учебным пособием в Академии Карла.

1 7 8 4

Стр. 145. *Б о рьба*.— Стихотворение обращено к Шарлотте фон Кальб, игравшей заметную роль в личной жизни поэта. Одно время (в первый год пребывания в Веймаре) Шиллер думал жениться на ней после ее развода с мужем. Написано перед отъездом из Мангейма к другу Кернеру, когда Шарлотта при прощании призналась поэту в любви.

Стр. 146—148. *О т речени е*.— Первое стихотворение, в котором Шиллер утверждает свой атеистический гуманизм: «история и есть всемирный суд», то есть «страшный суд» (х р и с т. м и ф.); иначе: воздаяния после смерти не существует.

Аркадия — одна из областей древней Греции (на Пелопоннесе). Название это стало нарицательным именем для обозначения сказочной страны блаженных. *Лаура* — в этом стихотворении: Шарлотта фон Кальб. По собственному признанию, Шиллер высмеивает в стихотворении не добродетель вообще, а «корыстную добродетель христиан», надеющихся ценою отречения от земного счастья купить себе блага загробной жизни.

1 7 8 5

Стр. 149—152. *К радости*.— Это стихотворение было с подлинным вдохновением переведено Тютчевым; но его перевод крайне неточен; более того, Тютчев привнес в него свое христианское мировоззрение. На самом деле шиллеровский «бог, в любовь пресуществленный», очень близок к Эросу, в том толковании, какое дает ему автор в своих одах к Лауре и в стихотворении «Дружба». Данный нами новый перевод вернее раскрывает подлинное содержание песни «К радости». Шиллер справедливо говорил, что она «удостоилась чести сделаться некоторым образом народным стихотворением». Бетховен написал на ее слова финальную часть Девятой симфонии.

Стр. 152—153. *П рошени е*.— Шуточное стихотворение, написанное Шиллером в доме Кернера по поводу того, что ему мешали во время работы над «Дон Карлосом» шум стирки и громкие разговоры прислуги

Пегас — крылатый конь поэтов. (Образ Пегаса взят из греческой мифологии.) *Эскуриал* — дворец, монастырь и королевская усыпальница в Испании, выстроенные Филиппом II. *Принцесса Эболи* — одно из действующих лиц «Дон Карлоса»; прототип ее — Анна де Мендоса, жена испанского вельможи Рюи-Гомеса де Сильва, вдохновительница многих интриг при дворе Филиппа II.

1786

Стр. 154—155. *Непобедимая армада*.— Филипп II Испанский, решив покарать Елизавету Английскую за оказание помощи восставшим Нидерландам, снарядил свой флот, так называемую Непобедимую армаду, с целью высадиться в Англии и завоевать эту страну, данную ему в лен (так назывались земли и доходы, переданные крупными феодалами своим васалам) папой римским после смерти Марии Стюарт. Гибель армады была следствием невиданной бури, но отчасти также и искусного маневрирования, предпринятого английскими флотоводцами. Потеря флота сильно ослабила мощь Филиппа и укрепила мировое значение оплота протестантизма — Англии, конституции которой Шиллер давал тогда преувеличенно высокую оценку.

1788

Стр. 156—159. *Боги Греции*.— Стихотворение свидетельствует об отходе Шиллера от традиционного христианского образа мыслей, которому он противопоставляет светлое, жизнерадостное мироощущение древних греков. В первой редакции предпочтение языческого многобожия христианскому единобожию выражено с еще большей резкостью, но и вторая редакция доносит эту мысль достаточно четко. Вместе с тем Шиллер сознает необходимость избавления возмужавшего человечества от всяких религиозных представлений: «Что бессмертно в мире песнопений, // В смертном мире не живет». В художественном отношении поздний вариант значительно выше раннего, растигнутого и местами утомительно-монотонного. «Боги Греции» вызвали озлобленную критику со стороны реакционеров. Так, поэт граф В. фон Штольберг заявил в своей рецензии: «Я предпочел бы быть предметом всеобщего осмеяния, чем написать такое стихотворение, хотя бы оно принесло мне славу нового Гомера».

Киферел (греч. μιφ.) — эпитет богини любви Афродиты, по имени острова Киферы, славившегося культом Афродиты. *Ореады* — нимфы гор. *Дриады* — лесные нимфы. *В той скале дочь Тантала молчит* (греч. μιφ.). — Дочь легендарного фригийского царя Тантала, Ниоба, обратилась в скалу, после того как боги Аполлон и Артемида умертили ее детей. *Филомела плачет в темной чащe* (греч. μιφ.). — Фракийский царь Терей запер в темницу свою свояченицу Филомелу, отвергнувшую его любовь. Прокна, жена Терея, освободила свою сестру и, чтобы отомстить супругу, убила их сына Итиса. Затем обе сестры бежали из дома. Терей пытался их догнать, но боги превратили Прокну в ласточку, Филомелу — в соловья, а Терея — в удода. *Стон сиринка в тростнике звучит.* — Сиринкс — музыкальный инструмент древнегреческих пастухов, изобретенный, по преданию, богом пастухов Паном. — *Деметра, Персефона.* — См. примечание к стр. 117—122. *Киприда* Афродита. *Девкалион* (греч. μιφ.) — сын Прометея Девкалион и его жена Пирра были после потопа родононачальниками нового поколения людей. Из камней, брошенных Девкалионом, произошли мужчины, из камней, брошенных Пиррой, — женщины. Таким образом, «сыны Девкалиона» — мужчины, «дщери Пирры» — женщины. *Сын Лето* — Аполлон. *Хмурый подвиг* — христианский аскетизм. *Эрато* (греч. μιφ.) — музя любовной поэзии и мимического искусства. *Пейто* (греч. μιφ.) — олицетворение силы убеждения; часто имя это служит прозвищем Афродиты или Артемиды. *На истмийских пышных торжествах.* — Каждые два года на Коринфском перешейке (Истме) древние греки устраивали гимнастические, конные и музыкальные состязания, носившие название истмийских игр. *Менады* (греч. μιφ.) — вакханки; см. примечание к стр. 84—92. *Костяк ужасный* — образ смерти, принятый в христианской мифологии. *Фракиец* — Орфей. *Елисейские рощи.* — См. примечание к слову «Элизий», стр. 109—110. *Лин* (греч. μιφ.) — юноша-певец, олицетворение гибели растительного царства. *Алкестида, Адмет.* — Мифологический царь города Фер в Фессалии, Адмет, был любимцем Аполлона. Богини смертной участи людей, моры, обещали пощадить Адмета, если за него согласится умереть кто-либо другой. Когда родители Адмета отказались умереть за сына, за него пожертвовала жизнью его жена Алкестида. За такой подвиг боги освободили Алкестиду из подземного царства и возвратили ее супругу. *Орест* — сын мифологического

греческого царя Агамемнона. Имена Ореста и его друга Пилада стали нарицательными для обозначения товарищеской преданности. *Филоктет* (греч. миф.) — один из участников Троянской войны, обученный искусству стрельбы из лука Гераклом, который и подарил Филоктету лук и стрелы, бьющие без промаха. *Луч бессмертных близнецов*. — Сыновья Зевса и Леды, близнецы Кастор и Полидевк (их называют Диоскурами, то есть Зевсовыми отроками), считались покровителями моряков. *Селена*. — См. примечание к стр. 117—122. *Пинд* — горный хребет в Греции.

Стр. 160—163. *Зваменитая женщина*. — Стихотворение написано во время сближения Шиллера с его будущей женой Шарлоттой фон Ленгефельд.

Аристарх — здесь: в смысле присяжный критик. *Нинон* — имя известной Нинон де Ланкло, любовницы кардинала Ришелье. *Гроссинг* — венгерский авантюрист, издатель ряда дамских журналов, в год написания этого стихотворения арестованный в Вене за обман и вымогательство. *Карлсбад и Пирмонт* — модные европейские курорты. *Цитерез* (или Киферез). — См. примечание к стр. 156—159.

1789

Стр. 164—176. *Художники*. — Философское стихотворение, теснейшим образом связанное с эстетическими статьями Шиллера. Поэт прослеживает в нем созидательную роль искусства в истории человечества. Прогрессивна уже сама исходная точка, с которой написано стихотворение (оценка роли искусства в свете французской буржуазной революции 1789 года). «Я начинаю его (стихотворение) изображением нынешнего совершенства человечества, и это мне дает возможность набросать картину нашего века с его лучшей стороны. Отсюда я перехожу к искусству, которое было его колыбелью», — писал Шиллер другу Кернеру. Иными словами: искусство, выведшее человека из полуживотного состояния, мощно участвовало во всем его духовном и политическом раскрепощении, освобождая человека от страха перед силами природы и от цепей рабства (во всех его исторических проявлениях). Но человечество должно быть благодарно искусству не только за его прошлое, когда оно предвосхищало выводы еще не достигшей зрелости научной мысли, — по Шиллеру, вся духовная культура (научная и нравственная)

не только имеет своим источником чувство красоты, но и стремится достигнуть гармонического совершенства, отличающего высшее проявление искусства: «Для того чтобы научное целое превзошло художественное создание, оно само должно стать произведением искусства».

Как указывает Шиллер, стихотворение «Художники» делится на три части. Первые семь строф составляют как бы вступление; в нем говорится о благородной роли искусства. Искусство (красота) воспитало человека и человечество в умственном и нравственном отношении, искусством он жил в пору своего «унижения», оно же удержало его от дикой похоти, возведя низменную чувственность в степень любви (не только плотской, но и духовной), в нравственный брачный союз мужчины и женщины. Во второй, исторической части (строфы 8—14) отображено развитие искусства в Греции, его благотворное воздействие на сознание человека. В третьей части (строфы 25—31) после сжатого изображения роли искусства в эпоху Возрождения, приведшей также к возрождению наук, поэт развивает мысль о растущей роли искусства в будущем. В заключительных строфах Шиллер обращается к художникам современности с призывом не изменять своему высокому назначению.

Феспис (или Феспид; VI в. до н. э.) считался основоположником греческой трагедии. В трагедии греков важнейшую роль играло представление о роке, предопределенном, тяготеющем над героем. *Аверн* — глубокое озеро в Кампании (Италия), упоминаемое в мифологии как место спуска в подземный мир (например, «Энеида» Вергилия — III, 442; VI, 118). *Гесперия* — так называли Испанию античные поэты. *Ионийские цветы* — Иония — область Малой Азии, в которой находилось множество древнегреческих колоний. *Урания* — здесь не муза, а Афродита — как богиня духовной любви. *Уллессы гордый сын* — Телемах; Уллессом у римлян назывался Одиссей.

Стр. 177—178. П о э з и я . ж и з н и . — Первое стихотворение Шиллера после долгого перерыва (1789—1795).

Гермес (греч. миф.) — бог пастбищ и разнообразных промыслов, вестник богов, провожавший души мертвых в подземное царство.

Стр. 178—179. Власть песнопения.— Стихотворение тесно связано с основной идеей «Художников». По Шиллеру, «единство этого стихотворения — в его идее: чудотвордо и внезапно действующей силой поэт восстанавливает в человеке «правду природы», то есть общность с природой, его способность постигать природу, наконец исконную человечность, заложенную в него природой. (Мысль, заимствованная у Руссо.)

Стр. 180—183. Пегас в ярме.— Единственная философская басня Шиллера.

Стр. 183—185. Мечты (У Шиллера: «Идеалы»).— Под мечтами, идеалами, Шиллер здесь подразумевает свои юношеские возарения на мир, получившие наиболее яркое выражение в его ранних бунтарских драмах. В двух заключительных строфах поэт утешает себя тем, что ему остались еще дружба и неустанная творческая деятельность. Стихотворение отражает разочарование Шиллера во французской буржуазной революции.

Стр. 185—186. Вечер.— Подражание античным лирикам.

Тефифа (греч. миф.) — нимфа, возлюбленная Аполлона.

Стр. 186. Метафизик.— Нечто вроде притчи или параболы, направленной против философов-идеалистов. Критика справедливо усматривает в этом стихотворении влияние Гете.

Стр. 186—188. Достоинство женщины.

Эол — правитель ветров в античной мифологии. *Хариты* (греч. миф.) — богини красоты, изящества и веселья.

Стр. 188—189. Прощанье с читателем.

Оры — греческие богини времен года и погоды.

Стр. 189—193. Идеал жизни.— Один из наиболее яких образцов философской лирики Шиллера с его идеалистическим пониманием красоты как условия «истинной свободы». Стихотворение проникнуто верой в человека, в человеческий труд. Недаром в его finale прославляется великий труженик Геркулес, прошедший через непомерные испытания и за это вознесенный на Олимп, чтобы вместе с блаженными богами жить, не зная разрыва между чувственным наслаждением и душевным покоем.

Церера — римское имя Деметры (см. примечание к стр. 117—122). *Стикс*.— См. примечание к стр. 79—80. *Сатурн*.— См. примечание к стр. 128. *Элизий*.— См. примечание к стр. 109—110. *Лаокоон* (греч. миф.).— Троянский жрец Аполлона Лаокоон советовал троянцам не вводить в город деревянного коня, подозре-

вая, что в нем таится нечто гибельное для Трои. Лаокоон и его сыновья были задушены двумя огромными змеями, посланными покровительствовавшей грекам Афиной. Троянцы увидели в этом чуде подтверждение своей догадки о священном назначении деревянного коня. Смерть Лаокоона и его сыновей изображает известная античная скульптурная группа, найденная в 1506 году в Риме и хранящаяся ныне в Ватикане. *Ирида* (греч. миф.) — вестница богов, богиня радуги. *Алкид* — Геракл. *С вепрем бился, с Гидрою сразился.* — Второй и третий из двенадцати подвигов Геракла: победы над чудовищами — эримантским вепрем, опустошившим Аркадию, и многоголовой Лернейской гидрой. *Не побоялся... сойти в Аид.* — Речь идет о двенадцатом, самом трудном, подвиге Геракла: герой вынес из преисподней пса Цербера, а затем опять возвратил его в подземное царство. *Зевса грозная жена.* — В день, когда Алкмена должна была родить Геракла, Зевс предсказал, что родится человек, который будет властвовать над детьми из рода Зевса. Жена Зевса, Гера, раздраженная этим предсказанием, преследовала Геракла всю его жизнь, до тех пор, пока Зевс не возвел его в сонм бессмертных. *Чрез огонь очистившийся бог.* — Вознесение Геракла на небо произошло в момент, когда герой решил кончить жизнь самосожжением. *И ему сияющая Геба полный подает фиал.* — Дочь Зевса и Геры — Геба, олицетворение вечной юности, по мифу, стала женой обоготворенного Геракла. Геба обносила богов нектаром.

Стр. 193—194. Гений.— Имеется в виду не гениально одаренный художник или мыслитель, а внутренний голос и совесть, наставляющие человека. В этой связи Шиллер говорит в статье «Нечто о первобытном человеческом обществе», что поэт прав, называя разрыв человека с нравственным инстинктом *падением*, так как человек вследствие этого делается из совершенного создания природы несовершенным нравственным существом. Но прав и философ, видя в разрыве с нравственным инстинктом гигантский шаг вперед, так как человек тем самым перестает быть рабом инстинкта и становится существом свободным; такой шаг — первая ступень той лестницы, которая через много веков приведет человека к господству над собой, над грядущими судьбами всего человечества.

Стр. 194—197. Сайсское изваяние под покровом.— Стихотворение в поэтической форме утверждает ошибочное учение Канта о непознаваемости «вещи в себе».

Изида — главное женское божество египтян, супруга Озириса — бога солнца.

Стр. 197—202. *Прогулка*. — Развумье о взаимоотношениях природы и культуры, увенчанное излюбленным утверждением Шиллера о необходимости гармонического слияния общественной жизни и «природы» (в руссоистском понимании этого термина).

Мать Деметра. — См. примечание к стр. 117—122. *Гермес*. — См. примечание к стр. 177—178. Гермес в числе прочих промыслов покровительствовал мореходству. *Минерва* — римское имя греческой богини мудрости Афины, которая, согласно мифологии, научила афинян сажать оливы. *Посейдон* — греческий бог, правитель морей (у римлян — Нептун). По преданию, Посейдон создал коней и научил людей управлять ими. Поэтому Посейдон считался покровителем конских ристалищ. *Мать Кибела* — дочь Урана и Геи, мать Зевса и других олимпийских богов. Культ Кибелы был особенно распространен в Малой Азии. *Путник, придя в Лакедемон...* — Лакедемон — Спарта. Шиллер цитирует здесь известную древнегреческую надгробную надпись, автором которой считается Симонид Кеосский (V в. до н. э.). Двустишие Симонида посвящено спартанскому царю Леониду и его тремстам воинам, геройски погившим при обороне от персов Фермопильского ущелья (480 г. до н. э.). *Рог Амалтеи*. — Амалтея (или Амалфея) — имя козы, которая, согласно мифу, вскорила Зевса на острове Крите. Когда Амалфея сломала себе о дерево рог, Зевс подарил этот рог своим воспитательницам-нимфам, пообещав им, что из этого рога они получат все, что пожелают. *На столбах ионийских...* — то есть на колоннах так называемого ионийского стиля. В древней Греции различалось три стиля колонн: дорийский, ионийский и коринфский. *Пантеон* — здесь: храм, посвященный всем богам. *Ириса* — она же Ирида (см. примечание к стр. 189—193). *Сикофант* (древнегреческ.) — доносчик, ябедник. *Нумидийские леса*. — Нумидия — древняя страна в Африке.

Стр. 203—205. *Мудрецы*. — Стихотворение развивает мотив «Метафизика». Заключительные строки: «И чтобы мир был молод, царят любовь и голод» — выявляют материалистическое начало в мышлении Шиллера.

Картезиус — латинизированная фамилия французского философа Рене Декарта (1596—1650). *Локк* (1632—1704) — английский философ-сенсуалист. *Пуффендорф* — немецкий фи-

лософ XVII века, получивший известность благодаря проповедавшейся им идее мирного сотрудничества наций. Федер — профессор философии в Галле, современник Шиллера.

1 7 9 5 — 1 7 9 6

Стр. 206—221. Э п и г р а м м ы.— Эпиграммы 1—27 написаны в 1795 году; от 28 до 90 — в 1796 году.

Стр. 206. 2. О д и с с е й — герой Гомера, царь острова Итаки. О Сцилле и Харибде см. примечание к стр. 84—92.

Даже спускался в Аид...— Во время своих странствий Одиссей побывал и в подземном царстве.

Стр. 206. 4. З е в с — Г е р к у л е с у .— О Геркулесе (Геракле) и его возведении в сонм богов см. примечание к стр. 189—193.

Стр. 206. 5. П о ч е с т и .— Эпиграмма выражает убеждение Шиллера в том, что случайный носитель высокого сана в сущности ничем с ним не связан.

Стр. 207. 6. Г е р м а н и я и е е к н я з ь я .— Шиллер высказывает здесь мысль об отмирании монархического принципа вместе с возрастающей просвещенностью народа.

Стр. 207. 7. И г р а ю щ и й м а л ь ч и к .— Эпиграмма связана с противопоставлением труда игре, характерным для идеалистической философии Шиллера.

Аркадия.— См. примечание к стр. 146—148.

Стр. 207. 8. И о а н и и т ы .— В основе стихотворения мысль о превосходстве мирного служения народу над воинскими подвигами.

Иоанниты — духовный рыцарский орден, позднее преобразованный в Мальтийский орден.

Стр. 208. 12. И щ у щ и м п р о з е л и т о в .— Первые две строчки перафразируют известное изречение, приписываемое Архимеду: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир».

Стр. 209. 14. Ф и л о с о ф с к и й э г о и с т .— Стихотворение направлено против абстрактности философии Канта и его последователей, их невмешательства в ход исторической жизни.

Стр. 209—210. 16. Н е м е ц к а я в е р н о с т ь .— Стихотворение основано на историческом факте, относящемся ко времени борьбы за императорскую корону Фридриха Красивого (из дома австрийских Габсбургов) с баварским герцогом Людовиком (позднее германо-римским императором Людвигом IV).

Слова папы Иоанна XII взяты из его подлинного письма к французскому королю Карлу V. Отречение Фридриха Красивого не было признано ни папой римским, ни братьями австрийского претендента.

Стр. 210. 17. Н а и в с ш е е.— Прославление гармонического единства мышления и деятельности, которые, по Шиллеру, должны развиваться с той же необходимостью, какая наблюдается в растительном мире.

Стр. 210. 18. И л и а д а.— Не оспаривая утверждения филолога Вольфа, согласно которому «Илиада» и «Одиссея» — произведения многих певцов (рапсодов), Шиллер усматривает в гомеровских поэмах выражение духовного единства древнегреческого народа.

Стр. 210. 20. Т е о ф а н и я.— Теофания значит по-гречески: явление бога. Стихотворение связано с мыслью Робеспьера о том, что страждущее человечество не может жить без представления о божественной справедливости.

Стр. 210—211. 21. Ю н о м у д р у г у.

Храм Элевсинский.— Элевзин (или Элевсин) — древнегреческий город неподалеку от Афин, известный культом Деметры и Персефоны. Условием участия в нем было исполнение особых таинственных обрядов.

Стр. 211. 22. А р х и м е д и у ч е н и к.— Вложенная в уста Архимеда мысль о самоцельности искусства и науки заимствована Шиллером из идеалистической философии Канта.

Стр. 212. 25. П у т е в о д и т е л и ж и з н и.— Два путеводителя: прекрасное и возвышенное.

Стр. 212—213. 27. З е н и т и Н а д и р .— Наша воля, по Шиллеру, должна исходить из того, что мы признаем своим идеалом; конкретная же деятельность не может не считаться с конкретной исторической обстановкой.

Стр. 213—214. 35. П о д а р о к.— В ответ на посылку «Альманаха муз» (редактором которого был Шиллер) викарный архиепископ Майнцский, Дальберг, подарил поэту двенадцать бутылок старого рейнского вина, на что и намекает эта шутливая эпиграмма.

Стр. 217. 58. П р е д п о ч т е н и е.— Эпиграмма связана с полемикой, в которой Шиллер, возражая Канту, утверждает, что между этическим долгом и склонностью человека не должно быть принципиального противоречия: это противоречие имеет

место только среди рабов, но не в идеальном обществе свободных людей, наделенных «прекрасными душами». Знаменательная характеристика поэтом-«кантианцем» этики Канта как этики рабства.

Стр. 218. 65. Значение.— См. примечание к эпиграмме «Архимед и ученик».

Стр. 218. 67. Поэт-моралист.— Стихотворение направлено против богослова и физиогномиста Лафатера.

Стр. 218. 70. Возведенная тема.— Имеется в виду поэма «Мессиада» Кlopштока.

Стр. 219. 73. Danaиды.— Имеется в виду журнал «Новая библиотека изящной словесности», издававшийся книгоиздателем Диком, но относится ко всем издателям, выпускающим бесодержательную литературу.

Danaиды (греч. миф.) — олицетворение бесконечного и бесполезного труда. Согласно мифу, пятьдесят дочерей Даная (Данаиды) должны были вечно наполнять водой бездонные бочки.

Стр. 219. 78. Философская беседа.— Написано против книги Эрнста Платтера «Беседы об атеизме», в которой автор преднамеренно вкладывает в уста атеистов самые неубедительные аргументы.

Стр. 220. 86. Грекомания.— Написано против реакционного немецкого романтика Фридриха Шлегеля, выпустившего в молодые годы книгу «Греки и римляне. Исторический и критический очерк классической древности», в которой он сближает республиканизм древних с якобинской практикой французской революции. Шиллер, как известно, к революционному террору якобинцев относился тогда с осуждением.

Стр. 221. 87. Опасные последствия.— Направлено против Фридриха Шлегеля. (См. предыдущее примечание.)

Стр. 221. 88. Баловни счастья.— Направлено против братьев Августа и Фридриха Шлегелей, которых Шиллер обвинял в творческом паразитизме.

Стр. 221. 89. Вольфовский Гомер.— Это двустишие пародирует античную эпиграмму о семи городах, оспаривавших честь называться родиной Гомера. О теории Вольфа см. примечание к стр. 210. 18.

Стр. 221. 90. Гомериды.— Направлено против Х. Г. Гейне, профессора филологии в Геттингене, ярого против-

ника гипотезы Вольфа о происхождении «Илиады» (см. примечание к стр. 210, 18). «Гомериды» по-гречески значит: «потомки, наследники Гомера».

1 7 9 6

Стр. 222. Дева с чужбины.— Под девой Шиллер понимает здесь поэзию. Этим стихотворением должна была открыться книга его избранных стихов. Смерть Шиллера помешала выходу книги.

Стр. 223—224. Помпей и Геркуланум.— Поэтический отклик на закончившиеся раскопки Помпеи и Геркуланума. Шиллер никогда не был в Италии, но на основании подробных описаний и иконографии сумел воссоздать образ открытых городов с удивительной наглядностью и подлинным лиризмом.

Город Геракла — Геркуланум (римское название Геракла — Геркулес). *Мими* (греч. «мимос» — подражатель) — античные актеры, исполнявшие обычно смешные сценки. *Жертва Атрида*. — Повидимому, Шиллер имеет в виду принесение в жертву Ифигении, на которое решился ее отец Агамемнон, сын Атрея (Атрид). *Пусть Оресту вслед страшный протягается хор*. — После того, как Орест убил свою мать Клитемнестру, его преследовали богини мщения — эриннии. *В креслах курульных*. — Ряд должностных лиц в древнем Риме (консулы, преторы, курульные эдилы и др.) во время официальных актов сидели в особых — курульных — креслах, изготовленных из слоновой кости, позднее — из мрамора и металла. *Ликторы* — в древнем Риме служители высших должностных лиц. *Претор* — должностное лицо в древнем Риме, ведавшее главным образом судебными делами. *Кентавры* — мифологические полулюди-полулошади. *Тит* — Тит Флавий Веспасиан, римский император (79—81). *Музей* — здесь: библиотека. *Пенаты* — древнеримские боги домашнего очага, считавшиеся хранителями единства и целости семьи. *Кадуцей* — так назывался у римлян посох, который носили вестники. *Гордо победа летит*. — Греческая богиня победы Нике обычно изображалась в виде летящей женщины.

Стр. 224—227. Жалоба Цереры.— В основу стихотворения положен миф о похищении Прозерпины, дочери Цереры, Плутоном. Благодаря ее браку с Плутоном любовь водворилась и в подземном царстве. Юпитер, сжалившись над матерью Це-

перой, позволил Прозерпине проводить полгода на земле,— поэтому Прозерпина стала символом растительной жизни, а не только мрачной богиней смерти. Шиллер повысил трагизм мифа: у него Прозерпина не может посетить мать. Но растения, уходящие корнями в подземное царство, а цветами и листвой — в царство богини земного плодородия — Цереры, соединяют их сердца в чувстве взаимной любви, материнской и дочерней, и вместе с тем связывают воедино жизнь и смерть. Прозерпина и Церера — римские имена Персефоны и Деметры.

Эреб (греч. миф.) — источник мрака, сын Хаоса (см. примечание к стр. 109—110). *Аид* (греч. миф.) — он же Плутон, властелин подземного царства. *Парки* — римское название мойр, богинь судьбы и смертной доли людей. *Гелиос* (или Гелий). — См. примечание к стр. 131—133. *Ирида*. — См. примечание к стр. 189—193. *Ахерон* — река в подземном царстве. *Борей* — божество, олицетворяющее северный ветер. *Вертумн* (римск. миф.) — бог превращения, от которого зависит цветение растений и созревание плодов. *Лист живет лучами Феба*. — Аполлон (Феб) был богом света. *Стихосова струя*. — См. примечание к стр. 79—80. *Коцит*. — См. примечание к стр. 79—80.

Стр. 229. *Дифирамб*. — Ранее было названо Шиллером «Час вдохновений». Примечательны заключительные строки «Дифирамба», где Шиллер определяет вдохновение не как бурный восторг, а как проникновенное спокойствие и высшее прозрение: «Спокоилось сердце. Провидели очи».

Стр. 229—237. *Памятки*. — Ранее входили в состав «Ксений» (собрание эпиграмм, написанных совместно Гете и Шиллером). Этими эпиграммами поэты хотели очистить литературную арену от дутых ничтожеств, — попытка, удавшаяся им только весьма относительно. Три эпиграммы (15, 16 и 42) внесены также в «Четыре времени года» Гете, что показывает, как глубоко было взаимодействие творчества обоих поэтов в период «Ксений».

Немецкое название «Памяток» — «Votivtafel», от латинского *tabula votiva*, то есть «доска с обетом», которые у римлян вешали в храмах люди, избежавшие опасности. Шиллер хочет сказать, что благодаря тем взглядам на жизнь, которые получили выражение в «Памятках», он избежал многих житейских опасностей. Эпиграммы 9. К*, 10. К**, 11. К***. — Адресаты этих трех эпиграмм неизвестны.

Стр. 232. 22. *Согласие*. — Эпиграмма обращена к Гете

(или напротив, адресована Гете Шиллеру). Выше уже было сказано, что эта эпиграмма вошла также в «Четыре времена года» Гете.

Стр. 232—233. 23. Политическое учение.— Эпиграмма направлена против философа Фихте. Примирение с действительностью не было последним словом житейской мудрости Шиллера. Как известно, эта проблема много десятилетий спустя волновала также молодого Белинского.

Стр. 233. 24. *M a j e s t a s p o r o u l i* (*лат.*).— По-русски: «Величие народа». Речь здесь идет о духовном величии нации, которое, по Шиллеру, получает свое наиболее полное выражение лишь у малого числа людей, ее представляющих. Эпиграмма не содержит насмешки над народом, скорее напротив: ею утверждается *народность* высокой культуры.

Стр. 233. 25. Исправителю мира.— Направлена против политического радикализма Фихте. Та же самая мысль, которая лежала в основе эпиграммы «Политическое правило», здесь получила еще более филистерское выражение. Некоторые комментаторы приписывают ее Гете.

Стр. 234. 28. Астрономические сочинения.— Эпиграмма направлена против книги «Космологические беседы для юношества» профессора Вюнша, современника Шиллера.

Стр. 234. 29. Лучшее государство.— Противопоставление активному якобинскому государству мещанского идеала пассивной государственности. Идея эпиграммы подсказана Шиллеру его другом Вильгельмом фон Гумбольдтом, полагавшим, что государству следует воздерживаться от всякого воздействия на самостоятельную деятельность граждан или, говоря словами Мирабо-старшего: от «мании управления, этой злосчастной блесни современных правительств».

Стр. 236. 46. Музика.

Полигимния (греч. миф.) — муз гимнов.

Стр. 237. 50. Пояс.— Предположительно, поэт имеет в виду необходимуюдержанность литературного языка, не блещущего яркостью красок, но тем более обаятельного.

Стр. 237. 55. Печать в виде головы Гомера.— Такую печать Шиллер заказал себе в 1790 году.

Стр. 238. Мелочи.— Подобно «Памяткам», этот цикл эпиграмм входил в состав «Ксений» Гете и Шиллера.

Стр. 239—240. Реки.— Из «Ксений».

Стр. 239. 2. Рейн и Мозель.— Край, расположенный между Рейном и Мозелем, ко времени Шиллера не выдвинул ни одного крупного писателя, мыслителя или художника.

Стр. 239. 3. Дунай в***— в Австрии. Австрийцы, в пристрастной оценке немцев-северян,— народ беспечный и не слишком трудолюбивый.

Феаки — мифологический народ, живущий спокойной, беспечной жизнью.

Стр. 239. 5. Зал.— Комплимент направлен в адрес Карла-Августа Веймарского, а также ряда других тюрингских государей, благоволивших к Шиллеру.

Стр. 239. 6. Ильм.— Дружеское восхваление веймарских писателей — Гете, Виланда и Гердера.

Стр. 239. 7. Плейса.— На реке Плейсе расположен Лейпциг, немецкий литературный и книгоиздательский центр.

Стр. 239. 8. Эльба.— Намек на филолога и библиотекаря Аделунга, объявившего саксонское наречие наилучшим немецким языком.

Стр. 240. 9. Шпре.

Цезарь — Фридрих II Прусский, воспетый в трескучих одах поэтом Раммлером, умершим в 1796 году, когда была написана эта эпиграмма.

Стр. 240. 11. Целебный источник в***.— Источник в Карлсбаде, где Шиллер проходил курс лечения. Насмешка над основанным в 1644 году нюрнбергским «Орденом пастухов и цветов на Пегнице» — обществом поэтов, во времена Шиллера не насчитывавшим в своих рядах ни одного значительного литератора.

Стр. 240. 13. (Духов)ные реки — то есть реки, протекавшие через владения немецких католических епископов. Содержащуюся в эпиграмме хвалу кроткому правлению князей римской церкви надо понимать как иронию.

Стр. 240. 15. Анонимная река.— Резкий выпад против епископа Фульдского, жестокого эксплуататора своих подданных.

Стр. 240. 16. Les fleuves indiscrets («Дерзкие реки»).— Эпиграмма содержит в себе намек на роман Дидро «Les bijoux indiscrets», в котором драгоценности рассказывают о похождениях своих владельцев. Шиллер хочет сказать, что многие немецкие реки могли бы поведать о недостойных немецких князьях, через владения которых они протекают.

Стр. 241. И е р е м и а д а.— Стихотворение составлено из десяти «Ксений». Насмешка над сетованиями переживших свой век немецких литераторов о «добром старом времени». Шиллер особенно возмущался тем, что к голосам сожалеющих об утрате «золотого века» немецкой литературы присоединились также Виланд и Гердер.

Зигмунд — любовник из комедии «Нежные сестры» немецкого комедиографа XVIII века Геллерта. Маскариль — слуга из комедии Лессинга «Сокровище».

Стр. 241—243. Ф и л о с о ф ы.— Стихотворение составлено из девятнадцати «Ксений». На собрание философов под председательством Аристотеля приходит любознательный ученик, жаждущий получить ответы на основные вопросы, занимавшие во времена Шиллера немецкую философскую мысль. Дистих, посвященный вопросу права, и следующий — «Пуффендорф» (см. примечание к стихотворению «Мудрецы», стр. 203—205) заключают в себе насмешку над изворотливостью современных Шиллэру юридических теорий. Последние два дистиха — насмешка над этикой Канта (см. примечание к «Эпиграммам», 58. «Предпочтение», стр. 217).

Стр. 244—245. Т е н ь Ш е к с п и р а.— Пародия, опирающаяся на эпизод из XI песни «Одиссеи», где герой беседует с душами умерших. Под Гераклом подразумевается Шекспир, под мифологическим прорицателем Тирезием — Лессинг.

Твой воинственный дух — тень отца Гамлета. Талия — муза веселой и сельской поэзии. Мельпомена — муза трагедии. Андромаха — жена Гектора (см. примечание к стр. 79—80), героиня одноименной трагедии Эврипида. Орест (см. примечание к стр. 156—159) — герой трагедий Эсхила, Софокла, Эврипида. Коммерцсоветник или пастор.— Намек на драмы Иффланда. Секретарь или сам гусарский майор, а также коварные — намек на трагедию Шиллера «Коварство и любовь».

Стр. 248—249. О ж и д а н и е.

Геспер — вечерняя звезда, то есть планета Венера.

Стр. 251—252. Н а д е н ь р о ж д е н и я г о с п о ж и Г р и з б а х .— Стихотворение, вложенное в уста сына Шиллера Карла, обращено к г-же Гризбах, жене церковного советника, в доме которого Шиллер жил в Иене.

Стр. 252—253. С л о в а в е р ы.— «Свобода», о которой говорит здесь Шиллер,— не политическая свобода, а та «внутренняя свобода разумного существа», о которой пишет Кант в «Критике практического разума»: способность человека поступать вопреки обстоятельствам, согласно живущему в его сознании нравственному закону. «Словами веры» Шиллер называет понятия «свобода», «добродетель», «божество», в соответствии с положением Канта: «промысел не пожелал, чтобы понятия, без которых наше счастье несовершенно, были основаны на изобретательности в изыскании доводов, и потому непосредственно внушил их естественному здравому смыслу» (в них можно только «верить»).

Стр. 254—259. К у б о к.— Баллада написана вместе с рядом других баллад того же года в творческом соревновании с Гете. Русское название баллады принадлежит Жуковскому (у Шиллера — «Водолаз»). Сюжет баллады восходит к средневековому преданию о сицилийском водолазе Николае, по прозванию «Рыба». Но герой баллады Шиллера — не профессиональный водолаз, а юный смельчак, дважды рискувший жизнью: первый раз, чтобы утвердить за собой славу бесстрашного пловца, второй раз — во имя любви.

Стр. 259—260. П е р ч а т к а.— В основу баллады положен пересказ действительного происшествия, имевшего место при дворе французского короля Франциска I; взят из книги Сен-Фуа «Исторические заметки о Париже» (1766).

Стр. 260—263. П о л и к р а т о в п е р с т е н ь.— В этой балладе получила отображение мысль древних греков о неизменности земного счастья. По их представлению, боги считали человека чрезмерно счастливого достойным жестокой кары (отсюда выражение: «Боги завистливы»). Рассказ о перстне Поликрата заимствован Шиллером у древнегреческого историка Геродота.

Милет — один из крупнейших древнегреческих городов в Малой Азии.

Стр. 263—265. Н а д о в е с с к и й п о х о р о н н ы й п л а ч.— Надовессы — индейское племя в Северной Америке. Шиллер положил в основу стихотворения прозаический перевод похоронного плача, воспроизведенный английским путешественником Джоном Карвером в его книге «Путешествие вглубь Северной Америки». Почти все образы похоронного плача переданы Шиллером с удивительной точностью. Во всем верный

«местному колориту», Шиллер пополнил песню картиной загробной жизни, также заимствованной из книги Каравера.

Стр. 265—267. Рыцарь Тогенбург.— Шиллер говорит здесь об исключительной, большой и трагической любви, оказавшейся сильнее самой смерти. «Рыцарь Тогенбург» — один из лучших переводов В. А. Жуковского, оказавший несомненное влияние на формирование романтической поэзии в России:

Стр. 267—272. Ивикovy журавли.— В основе баллады предание о древнегреческом поэте Ивике, знакомое Шиллеру в трех различных изложениях, в том числе в пересказе историка-биографа Плутарха. Ивик был убит разбойниками, когда он шел на так называемые истмийские игры (см. примечание к стр. 156—159; «Боги Греции»). Победители на этих играх не получали никакой другой награды, кроме соснового венка. В отличие от античных авторов, Шиллер объясняет саморазоблачение убийц не «чудом» (вмешательством богинь мщения эринний), а силой воздействия искусства на психику злодеев. Искусство, над которым надругались убийцы в лице его служителя Ивика, само же и покарало убийц, вырвав у одного из них неосторожное восклицание. Гете уступил Шиллеру сюжет «Ивиковых журавлей», считая, что этот сюжет более соответствует драматическому дарованию его друга.

Акрокоринф — коринфский кремль.

Стр. 272—279. Хождение на железный замок.— Сюжет баллады взят из новеллы французского беллетриста XVIII века Ретифа де ла Бретона. Действие перенесено поэтом из Франции в Эльзас; имена действующих лиц германализированы. Шиллер хотел выразить в этой балладе не столько идею «божественного промысла», сколько идею конечного торжества правды над ложью. Старонемецкое христианско-католическое благочестие здесь не более как «местный колорит» отдаленной эпохи.

1 7 9 8

Стр. 281—283. Счастье.— Предположительно, отрывок из задуманной Шиллером «Теодицеи» («Оправдание бога»), основанной на философском учении Лейбница. По Шиллеру, счастье — незаслуженный дар богов, но человек не вправе осуждать божество за несправедливость, так как не знает путей пророчества. Шиллер не написал задуманной философской поэмы, видимо утратив интерес к этой теме.

Феб, поразивший Пифона.— Согласно мифу, бог Феб-Аполлон вскоре после своего рождения одержал победу над драконом Пифоном. *Цезарь* — Юлий Цезарь, сказавший оробевшему во время бури гребцу: «Не бойся, ты везешь Цезаря и его судьбу». *Гефест* — греческий бог огня и кузнечного ремесла (римский Вулкан). Описание щита, выкованного Гефестом для Ахилла (см. примечание к стр. 79—80), дано в XVIII песни «Илиады». *Фемида* — богиня правосудия и законного порядка у греков. Ее изображали с рогом изобилия и весами.

Стр. 283—291. *Бой с драконом.*— Источник стихотворения — книга Верто «История Мальтийского ордена», где говорится о подвиге юного рыцаря Дьедонне де Гозона и об осудившем его за непослушание гроссмейстере Гийома де Вильнене, который (вразрез с балладой Шиллера) простил его лишь после долгих лет покаяния. Гозон самовольно убил свирепого крокодила, приносившего большой вред населению, тогда как устав ордена разрешал обнажать меч лишь в боях за освобождение Иерусалима. Таким образом, мы здесь имеем дело с конфликтом, характерным для литературы «бури и натиска»: конфликтом между освященными преданием законами общества и самовластной личностью.

Главу Медузы мог отсечь// И льва сразить.— Речь идет о подвигах Геракла (см. примечание к стр. 189—193).

Стр. 291—294. *Порука.*— Сюжет баллады заимствован из книги римского писателя Гигина, но значительно усложнен Шиллером. Мотив тираноборчества дан Шиллером только в завязке, как вступление к другому, основному мотиву, — мотиву дружбы, торжествующей перед лицом смерти. Просьба тирана Дионисия принять его третьим в союз верных друзей — по Гигину, отвергнутая — в балладе Шиллера прямого отпора не встречает. Читателю как бы подсказывается мысль о начавшемся нравственном перерождении тирана. Но этот мотив не получает в балладе дальнейшего развития.

Мерос.— Имя тираноборца Шиллером выдумано. *Дионисий* — Дионисий-старший, тиран Сиракуз (406—367 гг. до н. э.). *Агора* — городская площадь (рынок) в древнегреческом городе.

Стр. 295—300. *Элевзиинский праздник.*— Согласно воззрению древних греков, низшей ступенью развития человечества являются охотничий и кочевой быт, высшей — земледелие. Поэтому Деметра (Церера), богиня плодородия, чтилась ими так же, как и создательница гражданственности, правового

общества. Элевзинским называется праздник в честь Деметры, по месту, где он обычно происходил. По мысли Шиллера, это стихотворение является как бы гимном, предназначенным для Элевзинского праздника. В первой части стихотворения (от слов: «робок, наг и дик, скрывался» до слов: «Зевсов пламенный орел») изображен переход человеческого общества к оседлому образу жизни; во второй части говорится о развитии науки и искусства.

Ком (греч. миф.) — бог пиршеств. *Ореады*. — См. примечание к стр. 156—159. *Камены* — римское название муз. *Цибела* (Кибелы). — См. примечание к стр. 197—202. *Юнона* — римское название Геры. *Цианы* — васильки.

Стр. 301—302. Солдатская песня. — Из «Лагеря Валленштейна».

Стр. 302—303. Жалоба девушки. — Подражание английской песне, переведенной Гердером.

Стр. 303. Нenia: (*Naenia*; лат.) — так назывались у римлян похоронные прицитания. Шиллер дал такое заглавие этой элегии, поскольку в ней говорится о бренности мира.

Зевс *Стигийский* — Плутон. *Венрь... растерзал*. — Возлюбленный Афродиты, Адонис, был на охоте растерзан венрем. *Бессмертная мать* — богиня Фетида, мать смертного Ахилла.

1799

Стр. 304—315. Песнь о колоколе. — Все стихотворение — монолог старого литейного мастера — заключает в себе десять последовательных приказаний рабочим при отливке колокола и девять строф, написанных свободным размером, в которых содержатся рассуждения старого мастера — то «разумное слово», каким он хочет сдобрить «радостный труд», свой и своих помощников. С процессом отливки колокола Шиллер познакомился по «Экономической энциклопедии» Крюнитца; оттуда же он заимствовал и надпись па колоколе: «Живых призываю. Мертвых оплакиваю. Молний ломаю».

Стр. 315. Изречение Конфуция. — В основу положено поучение китайского мыслителя Конг Фу-тзе (551—497 гг. до н. э.).

1800

Стр. 317—319. К Гете. — Премьера «Магомета» Вольтера, переведенного Гете, состоялась в Веймарском театре в 1800 году.

Постановка была задумана как отповедь мещанской драматургии Коцебу, Иффланда и пр. и одновременно бесформенной драме немецких романтиков. Расплывчатым формам реакционных пьес иенской романтической школы Шиллер и Гете полемически противопоставили композиционно-четкие формы просветительской классической драматургии с ее ненавистью к католицизму, столь превозносимому реакционными романтиками.

Пинд.— См. примечание к стр. 156—159. *Возок феспийский*—то есть театр. О Фесписе см. примечание к стр. 164—176. *Ахерон.*— См. примечание к стр. 224—227. *Мельпомена.*— См. примечание к стр. 105—107.

Стр. 320. *Немецкая муз.*— Первый римский император Октавий Август и итальянские князья эпохи Возрождения из династии Медичи покровительствовали литературе и искусствам, в отличие от немецких князей и, в частности, Фридриха Пруссского, который сам писал по-французски, преклонялся перед французской литературой и презирал немецкую (не делая исключения и для Гете). Шиллер считал, что от этого передовая немецкая литература только выиграла.

Стр. 320. *Античные статуи в Париже.*— Шиллер высказывает в этом стихотворении свое возмущение ограблением войсками Наполеона итальянских музеев и частных коллекций.

1801

Стр. 321—322. *Начало нового века.*— Стихотворение отражает пессимистическую оценку поэтом политической жизни современной ему Европы, которая была тогда охвачена кровопролитными войнами.

Бог Нил, // Старый Рейн и океан суровый — намек на войны в Африке, Европе и Америке. *Два народа, молнии бросая // И трезубцем двигая, шумят* — Франция и Англия, здесь уподобленные Зевсу-громовержцу и Посейдону, атрибутом которого был трезубец. *Брени* — предводитель галлов, бросивший свой меч на весы при взвешивании дани и воскликнувший: «Горе побежденным!» Шиллер намекает здесь на огромные контрибуции, взимавшиеся Наполеоном. *Как полип тысячерукий, бритвы.*— Имеется в виду блокада английским флотом морских побережий, а также расширение колониальных владений Англии. *Амфитрита* — здесь: олицетворение моря.

Стр. 322—323. *Желание.*

Поток, о котором говорится в этом стихотворении,— чувственная природа человека, каковую можно преодолеть лишь усилием собственной воли. Поэтому у лодки нет гребца («где ж вожатый?»). Поэтому: «Верь тому, что сердце скажет; // Нет залогов от небес».

Стр. 323. Орлеанская дева.— Ответ на сатирическую поэму Вольтера «Орлеанская девственница», в которой народная героиня Франции изображена в столь непристойном виде, что само слово «девственница» надолго стало неприличным.

Стр. 324—330. Герои Леди.— Сюжет баллады восходит к поэме того же названия греческого поэта Мезеоса (V в. н. э.). Шиллер противопоставляет в этой балладе могуществу стихий — силу любви двух человеческих существ. Их гибель становится апофеозом любви, бросающей вызов и людям и богам.

Смертная Геба — красавица, равная по красоте богине юношеской свежести Гебе. *Сест* — название горы на берегу Дарданелл. *Геллеспонт* — древнее название Дарданелл. *Абидос* — город на малоазийском берегу Дарданелл. *Ариадна* — (греч. миф.) — дочь критского царя Миноса, спасшая своего возлюбленного Тезея из Лабиринта посредством путеводной нити. *Стикс девятикруженый*.— Река Стикс (см. примечание к стр. 79—80), по представлению древних, имела девять извивов. *Веспер* — бог вечернего часа у римлян. *Фетиды влажной стая* — то есть рыбы. *Фетида* — морская богиня, мать героя Ахилла. *Гелла* (греч. миф.) — дочь царя Афаманта, спасенная матерью от свирепого отца, поддавшегося наговорам второй жены. *Кронион* — то есть Кронид, Зевс.

1 8 0 1—1 8 0 4

Стр. 331—338. Притчи и загадки.— Написаны для переведенной Шиллером пьесы Гоппи «Принцесса Турандот», где судьба героя зависит от решения им трех загадок. Пьеса шла на сцене Веймарского театра. Шиллер время от времени заменял загадки новыми. Всего таких загадок было написано пятнадцать и столько же ответов. Рукописи трех загадок и восьми ответов погибли при пожаре Веймарского театра в 1825 году. Рагадка второй загадки — «подзорная труба», третьей — «звезды и луна», четвертой — «мирозданье», пятой — «лето и зима», один-

надцатой — «искра» и тринадцатой — «корабль». В загадке девятой Шиллер вместо обычных семи цветов насчитывает (в соответствии с теорией Гете) шесть основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. В разгадке десятой говорится о древнем китайском обычаяе, согласно которому в праздник земледелия Гумгум император сам проводил борозду плугом.

1 8 0 2

Стр. 339—340. Благоволенье мига.— Написано для певческого кружка Гете, собиравшегося по средам в его доме.

Стр. 340—341. Друзьям.— Написано для того же кружка.

Стр. 342—343. Четыре века.— Написано для того же кружка.

Век Сатурна — мифический золотой век, в память которого в античном Римеправлялся праздник Сатурналий. *Скамандр* — река, протекавшая по троянской равнине. *На поле Скамандра кипела вражда* — Троянская война.

Стр. 344—347. Кассандра.— Наделив дочь троянского царя Приама, Кассандру, пророческим даром, Аполлон наказал ее: пророчествам Кассандры никто не верил. Эта баллада о горьком даре прозрения, тяготившем дочь троянского царя Приама, Кассандру, в значительной мере отражала, по свидетельству друзей Шиллера, личное настроение поэта. Его мучило тогда предвидение собственной близкой смерти, а также тяжких народных испытаний, через которые должны будут пройти его близкие и его отчество. Критика справедливо относит эту балладу к лучшим образцам поэзии Шиллера.

Поликсена — дочь Приама, невеста Ахилла. *Пелид* — сын Пелея, Ахилл. *Пергам*.— См. примечание к стр. 79—80. *Гимен*.— См. Гименей, примечание к стр. 84—92. *И моей любви открылся*.— Руки Кассандры просил фригийский царь Кореб, но она отвергла его сватовство, предсказав ему скорую гибель (поэтому ниже: *тень стигийская*). *Убийцы взор* — взор Париса, готовившегося убить Ахилла. *Я в чужбине гроб найду*.— После падения Трои Кассандра была увезена Агамемноном и убита вместе с ним его женой Клитемнестрой и Эгистом, любовником Клитемнестры. *Боги мчатся к небесам* — так как покидают обреченную на гибель Трою, перестав участвовать в Троянской войне.

Стр. 347—348. Тэкл а.— Стихотворение вложено в уста Тэклы, юной героини «Валленштейна». Мысль о бессмертии души, надежда на счастье в загробной жизни не характерны для мировоззрения самого Шиллера.

Там отец мой — Валленштейн. См. примечание к драматической поэме «Валленштейн», т. II настоящего собрания сочинений Шиллера.

1803

Стр. 349—350. Юноша у ручья.— Написано для певческого кружка Гете.

Стр. 351—352. Пущевая песня.— Написана для того же кружка.

Стр. 352—353. Пущевая песня. Для севера.— Написана для торжественного ужина в Веймарской ратуше.

Стр. 354—357. Граф Габсбургский.— Шиллер почти без изменений передал в этой балладе рассказ швейцарского летописца Чуди (умер в 1572 г.). Коронование Рудольфа Габсбургского состоялось в октябре 1273 года в Аахене, после долгого междуцарствия.

Богемец напитки в бокалы цедил. — Богемец, то есть король Богемии, как то оговаривает в примечании сам Шиллер, «при короновании Рудольфа не отправлял своих обязанностей», так как не хотел ему подчиниться. *Семь избирателей* — семь немецких курфюрстов, избиравших германо-римских императоров.

Стр. 357—361. Торжество победителей.— Шиллер задумал «Торжество победителей» как хоровую песнь. Таковой эта баллада не стала, хотя она бесспорно является одним из лучших, наиболее глубоких шиллеровских стихотворений. Жанр этого произведения Белинский определил как «высокую ораторию».

Приамов град — Троя. *Пергам.* — См. примечание к стр. 79—80. *Илион* — другое название Трои. *Каллас* (или Калхант) — жрец-прорицатель в греческом войске под Троей. *И носящему Горгону// Богу смертных и богов!* — Бог смертных и богов — Зевс, носящий эгиду (щит), с изображением на ней головы Горгоны. *Сын Атрея* — царь Аргоса Агамемнон, предводитель похода под Трою. *Сигей* — мыс в Малой Азии, неподалеку от Трои. *Марс* — римское название бога войны (у греков — Арес). *Палладой вдохновенный.* — Богиня Афина-Паллада покровительствовала Одиссею. *Елена* — супруга Менелая, брата Агамемнона,

похищенная Парисом, сыном троянского царя Приама. Похищение Елены и было причиной Троянской войны. *Парид* — Парис. *Право гостя оскверняет*. — Приехав в Спарту, к царю Менелаю, Парис воспользовался отсутствием последнего, соблазнил его жену Елену и увез ее вместе с большими сокровищами в Трою. *Патрокл*. — См. примечание к стр. 79—80. *Терсит* (или Ферсит) — безобразный воин в «Илиаде», протестующий против действий царей. *Лучших бой похитил ярый*. — Это говорит Тевкр, сводный брат Аякса (Аянта), спасшего греческие корабли, подожженные троянцами. Аякс покончил с собой в припадке ярости, когда Одиссей присвоил себе хитростью доспехи павшего Ахилла, на которые справедливо притязал спаситель греческого флота Аякс. *Эреб* (Эреб). — См. примечание к стр. 224—227. *Неоптолем* — сын Ахилла, взятый Одиссеем под Троей. *Нестор* — царь Пилоса. В глубокой старости, царствуя уже над третьим поколением людей («Илиада», I, 250 и след.; «Одиссея», III, 245 и след.). Нестор отправился воевать под Трою. *Гекуба* — троянская царица, супруга Приама. *Вспомни матерь Ниобею*. — По одним преданиям, Ниобея после гибели своих двенадцати детей превратилась с горя в каменную скалу, по другим — нашла успокоение в вине, о чем и говорит здесь престарелый Нестор.

1 8 . 0 4

Стр. 362—363. *Горная дорога*. — У Шиллера — «Горная песня». В стихотворении изображен подъем на Сен-Готардский перевал в Альпах. В первой строфе описывается тропинка до Чертова моста, затем говорится о реке Ройсе («поток разъяренный»), за ним следует «Урийская дыра» («грозно раздавшись, стоят ворота»), откуда открывается вид на долину Ури; здесь находятся истоки рек Роны, Ройса, Тичино и Рейна.

Два утеса и Царица — возвышенности, господствующие над Сен-Готардом.

1 8 0 5

Стр. 365. *В альбом другу*. — Последнее стихотворение Шиллера. Написано 16 марта 1805 года в альбом любителя искусства Христиана фон Мехельн из Базеля.

ДРАМЫ В ПРОЗЕ

РАЗБОЙНИКИ

Стр. 369—496

«Разбойники. Драма. Франкфурт и Лейпциг». Под таким названием вышла в свет 6 мая 1781 года эта пьеса, без имени автора и книготорговца.

«Разбойники» — не первый драматический опыт Шиллера. Еще тринадцатилетним мальчиком им была написана трагедия «Христиане» и вслед за ней несколько других пьес, которые все были уничтожены юным автором. Ни об их содержании, ни о форме, ни об их названии мы ничего не знаем.

Шиллер посвятил «Разбойникам» все досуги последних четырех лет, проведенных в Академии Карла. Он начал обдумывать драму еще семнадцатилетним юношей, вскоре после появления в печати новеллы Шубарта «К истории человеческого сердца», которая была им положена в основу «Разбойников», и осуществил свой замысел на двадцать первом году жизни.

«Разбойники» возникли под влиянием идей и поэтики литературы «бури и натиска», но непосредственными образцами для драмы служили (по собственному признанию автора) Руссо, Плутарх и Сервантес. «Разбойник Моор не вор, а злодей, не подлец, а чудовище,— писал Шиллер в анонимной авторрецензии.— Если я не ошибаюсь, этот странный человек обязан своими основными чертами Плутарху и Сервантесу (Шиллер имел в виду благородного разбойника в «Дон Кихоте» Рока Гипарта.— A. и B.), чертами, которые силой поэтической фантазии, на шекспировский манер, объединились в один новый правдивый и целостный характер».

Год спустя после выхода «Разбойников» состоялось первое представление драмы. Хотя автор и не предназначал ее для сцены, она поразила зрителя своими драматическими достоинствами. Сценические эффекты сложились как бы сами собой в результате напряженной работы мысли и чувства. Первый постановщик «Разбойников», интендант (директор) Мангеймского театра барон Дальберг, потребовал от Шиллера (из политических соображений) целого ряда смягчений и прежде всего пере-

песения всего действия пьесы их эпохи Семилетней войны в XVI столетие.

Но и в таком искалеченном виде «Разбойники» прошли триумфальным шествием по всем сценам Германии (за исключением Лейпцига, Вены и Штутгарта, где они были запрещены цензурой). Несмотря на все искажения, «Разбойники» были поняты правильно. В них видели поэтический манифест угнетенного немецкого народа. Шиллер сразу сделался наиболее популярным драматургом Германии. «Если мы имеем основание ждать появления немецкого Шекспира, то вот он налицо», — писал первый рецензент «Разбойников», видный критик того времени Христофор-Фридрих Тимме.

Э п и г р а ф

Эпиграф к драме взят из так называемых «Афоризмов» Гиппократа, древнегреческого врача и философа. Шиллер приводит афоризм не целиком: у Гиппократа он заканчивается словами: «...а то, чего не излечивает огонь, должно считаться неизлечимым».

Д Е Й С Т В И Е П Е Р В О Е

Сцена первая

Стр. 373. *Товий* — герой одной из апокрифических книг библии, где рассказывается история его плена арабскими разбойниками.

Стр. 374. *Подвиги всех Картушей и Говардов*. — Луи-Доминик Бургиньон, прозванный Картушем, — знаменитый французский вор XVIII столетия, колесованный на Грэвской площади в Париже. О Говарде (судя по фамилии, англичанине) ничего не известно. *К памятнику, который он воздвигнет себе между небом и землей*. — Речь идет о виселице.

Стр. 375. *На лейпцигском рынке портрет вашего сынка*. — Портреты преступников, которых не удалось поймать, выставлялись у позорного столба на рыночных площадях.

Стр. 378. *Зачем не я первый вышел из материнского чрева?* — Франц — младший сын графа Моора, а по феодальной системе наследования недвижимое имущество (и в первую очередь поместье) переходило безраздельно к старшему сыну (вместе с титулом, если владение давало на него право).

Сцена вторая

Стр. 381. *Плутарх* (умер ок. 120 г. н. э.) — греческий писатель, историк и моралист, автор жизнеописаний греческих и римских полководцев, государственных деятелей и других знаменитых людей. *Иосиф Флавий* — иудейский историк I века н. э., пользовавшийся покровительством римского императора Тита Флавия, автор «Иудейской войны» и «Иудейских древностей» (на греческом языке). *Александр* — Александр Македонский, известный завоеватель древности (356—323 гг. до н. э.). *Ганнибал. Битва при Каннах. Победы Сципиона.* — Ганнибал — величайший карфагенский полководец, одержавший над римлянами ряд побед, самой блестящей из которых была победа при Каннах (Апулия) в 216 году до н. э. Позднее, в 146 году до н. э., римляне под предводительством Сципиона-младшего, после трехлетней осады, овладели Карфагеном. ... *скучить по-александрийски* — по-ученому, выказывая свою начитанность.

Стр. 382. *Саддукей* — религиозно-политическая секта в древней Иудее. *Герман* (или Арминий) — вождь германского племени херусков, разбивший в союзе с другими германскими племенами римские легионы в тевтобургском лесу (9 г. н. э.).

Стр. 383. *Ирод* — правитель иудейской области Галилеи (первые десятилетия I в. н. э.), находившейся под римским владычеством.

Стр. 389. *В галерном раю* — на галерах, на каторге. *железный склад Вулкана* — здесь: кандалы, каторжные цепи.

Стр. 391. *Хвостатые ангелы* — вороны, кружавшиеся над местом казни. *Юпитеров орел* — шуточный намек на миф о Промете, которого терзал орел Зевса (Юпитера). *Берегись трехногого зверя* — виселицы.

Сцена третья

Стр. 398. *Калека Эзоп.* — Греческий баснописец Эзоп был горбуном; он почитался человеком высоких духовных качеств.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Сцена первая

Стр. 401. *Ведь довели же смешенье ядов до степени чуть ли не подлинной науки.* — К этому месту Шиллер сделал следующее примечание: «Говорят, что некая женщина в Париже с по-

мощью правильно поставленных опытов с ядовитыми порошками дошла до таких результатов, что могла с известной достоверностью заранее определять день смерти. Позор для наших врачей, которых эта женщина посрамила своими прогнозами». Шиллер имеет в виду Марию-Мадлену Добре маркизу Бренвилье, в сообществе со своим возлюбленным Сен-Круа отравившую своего отца и брата. Обезглавлена в 1676 году на Гревской площади в Париже. *Эвеменида* (греч. миф.). — Эриннии, богини проклятия, мести и кары, преследуют преступника до тех пор, пока он не покается и не очистится от своей вины. После этого они перестают его мучить и становятся богинями-благодельницами — эвменидами.

С ц е н а т р е т ь я

Стр. 418. *Разъяряется на физиогномику* — то есть на искусство определения внутреннего состояния человека по движениям, мимике лица и т. д. *Гаси фонарь, хитроумный Диоген*. — О древнегреческом философе Диогене рассказывали, что он ходил днем с зажженным фонарем, а когда его спрашивали, зачем он это делает, он отвечал: «Я ищу человека».

Стр. 424. *Лотова жена* (б ибл.) оглянулась на пораженный божьим гневом город Содом и была за это превращена в соляной столб.

Стр. 432. *Молох* — здесь: дьявол (см. примечание к стр. 84—92).

Стр. 431—432. — Рассказ Карла Моора о жертвах его мести намекает на действительные преступления вюртембергских сановников и придворных перед народом. *Опустошили страну Перу*. — Испанцы после завоевания Перу (1551), в погоне за золотом, с благословенья римской церкви истребили большую часть коренного населения страны.

Д Е Й С Т В И Е Т Р Е Т Ъ Е

С ц е н а в т о р а я

Стр. 443. ...человека... который... сидел на развалинах Карфагена.— См. примечание к стр. 139—141.

Стр. 444. *За Ганг* — шутливое обозначение далекого расстояния. *Сенека* (I в. н. э.) — римский философ-стоик; проповедовал строгость морали и верность долгу.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Сцена первая

Стр. 448. *Арбеллы* (или Арбела) — город в Малой Азии, где была ставка персидского царя Дария перед битвой при Гавгамелах (331 г. до н. э.), в которой победил Александр Македонский.

Сцена вторая

Стр. 449. *Барбаросса* (по-итальянски: «Рыжая борода») — прозвище германского императора Фридриха I (XII в.).

Сцена четвертая

Стр. 462. *Она услыхала, что я жив; и пожертвовала мне венцом праведницы* — то есть отказалась от мысли уйти в монастырь.

Сцена пятая

Стр. 468. *Перилл* — древнегреческий мастер-медник, изготавливший, по преданию, агригентскому тирану Фалариду медного быка, в котором можно было сжечь человека. При этом стоны сжигаемого, вследствие особого акустического устройства этого орудия казни, должны были походить на мычанье быка. Перилл будто бы сам сделался жертвой своего изобретения.

Стр. 470. *Это ты, Герман, мой ворон?* — В одной библейской легенде рассказывается, что пророк Илья, спасаясь от преследования, бежал в пустыню, поселился у источника, и вороны приносили ему пищу.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Сцена первая

Стр. 476. *Елеазар* — синоним старого верного слуги (по имени слуги библейского патриарха Авраама).

Стр. 482. *Ричард* — Ричард Третий, король Англии (XV в.), достигший трона ценой ряда кровавых преступлений.

Сцена вторая

Стр. 494. *Ну, тогда ты, Диодона, научи меня умереть!* — В «Энеиде» Вергилия Диодона кончает жизнь самоубийством из-за того, что возлюбленный Эней покинул ее.

Стихотворения в драме даны в переводах М. Достоевского.

ЗАГОВОР ФИЕСКО В ГЕНУЕ
(стр. 497—612)

«Заговор Фиеско в Генуе» — первая историческая пьеса Шиллера. Была начата летом 1781 года, сейчас же после выхода из печати «Разбойников». Весною 1782 года Шиллер писал Дальбергу, директору Мангеймского театра, что заканчивает новую трагедию. Но когда осенью того же года Шиллер бежал из Штутгартта, опасаясь преследований со стороны герцога Карла-Евгения, заключительное действие не было еще написано. Не решаясь вступать в деловые переговоры с «беглым лекарем», Дальберг заявил, что сможет судить о пьесе не раньше, чем она будет закончена. Шиллер взялся за работу над пятым действием, но ему мешал отдаться ей всеселый замысел — драма «Луиза Миллер» (позднее названная «Коварством и любовью»). Тем не менее в ноябре 1782 года «Заговор Фиеско в Генуе» был завершен. Интриги актера и драматурга Иффланда, а также опасения Дальберга воспрепятствовали тогда постановке драмы. Шиллер отдал трагедию мангеймскому книготорговцу Швану, который выпустил ее в свет весной 1783 года.

11 февраля 1784 года прошла премьера «Заговора Фиеско в Генуе» в постановке Дальберга, и на этот раз потребовавшего значительной переработки пьесы. Успех «Заговора Фиеско» в этом варианте и отдаленно не напоминал восторженного приема, оказанного «Разбойникам». Позднее Шиллер создал свой «дрезденский» театральный вариант пьесы, в котором фигура республиканца Веррины дана более рельефно.

«Заговор Фиеско в Генуе» получил подзаголовок: «республиканская трагедия», и автор этой первой «республиканской трагедии» удостоился за нее почетного звания гражданина Французской республики: убийство узурпатора Фиеско суповым республиканцем и патриотом Верриной вызвало восторг депутатов Конвента.

Ниже приводим текст письма, которым Шиллер оповещался о присвоении ему, как автору «Разбойников» и «Заговора Фиеско в Генуе», почетного звания гражданина молодой Французской республики:

«Париж, 10 октября 1792 года, первый год Французской республики.

Честь имею послать Вам при сем, за государственной печатью, копию указа от 26 августа текущего года, предоставляющего звание французского гражданина некоторым иностранцам.

Вы прочтете, что Нация включила Вас в число друзей человечества и общества, которым она пожаловала это звание.

Национальное Собрание решением от 9 сентября поручило исполнительной власти отправить Вам этот указ. Повинуясь, прошу Вас принять мои уверения в том, что я испытываю удовлетворение быть при данном обстоятельстве министром Нации и присоединить мои личные чувства к тем, которые Вам свидетельствует великий народ, охваченный энтузиазмом первых дней своей свободы.

Прошу Вас подтвердить получение моего письма, чтобы Нация получила уверенность в том, что указ дошел до Вас и что Вы тоже считаете французов своими братьями.

Министр Внутренних Дел Французской Республики Ролан».

Шиллер узнал о присуждении ему этого почетного звания из газет. Диплом и сопроводительное письмо были им получены лишь спустя шесть лет, в 1798 году. Оригинал диплома и письма Шиллер передал в герцогскую библиотеку в Иене, а заверенную копию названного документа хранил у себя на тот случай, если кто-нибудь из его детей пожелает воспользоваться правами французского гражданства и поселиться во Франции.

Основные исторические источники «Заговора Фиеско в Генуе»: «История правления императора Карла V» Робертсона (в немецком переводе 1779 года), «Заговор графа Жан-Луи Фиеско» кардинала де Ретца (1665), а также «Всеобщая история знаменитых заговоров, конспираций и революций» Дюпона (1763) и «Подробные историко-политические известия о республике Генуи» Геберлина (1779).

Как видно при сличении трагедии Шиллера с ее источниками, автор точно держался исторических данных, отступив от них лишь в трех существенных пунктах: *во-первых*, он исключил элемент случайности из гибели Фиеско: в трагедии Веррина убивает его как изменника революции; *во-вторых*, он создал самый *образ* Веррины (согласно Робертсону, ничем не отличавшегося от таких вертопрахов и циников, как Калькань и Сакко); и, *в третьих*, он ввел в трагедию мотив истории Берты, дочери Веррины (заимствованный из «Эмилии Галотти» Лессинга), чтобы в связи с этим подчеркнуть stoический, республиканский характер ее отца, антипода и политического противника Фиеско.

Все эти отступления были необходимы для постановки проблемы, составляющей идейное зерно «Заговора Фиеско в Генуе».

Эпиграф

Эпиграф к «Заговору Фиеско в Генуе» взят Шиллером из книги римского историка Саллюстия «О заговоре Катилины» (VI, 4).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Явление первое

Стр. 500. *Антиой* — прекрасный юноша, любимец римского императора Адриана (II в. н. э.). *Подобно золотому яблоку раздора*.— Намек на древнегреческий миф, в котором повествуется о том, как богиня раздора Эрида бросила золотое яблоко с надписью «Красивейшей» в залу, где происходил пир по случаю свадьбы царя Пелея и нимфы Фетиды. Из-за этого яблока перессорились богини Афина, Гера и Афродита.

Явление четвертое

Стр. 505. *Силуэт* — анахронизм: силуэты появились лишь во второй половине XVIII века.

Явление пятое

Стр. 507. *Прокуратор*.— Правительство Генуи состояло из коллегии восьми прокураторов, два из которых ежегодно заменялись новыми. *Сенат* — сеньория, верховный совет Генуэзской республики, где правила аристократическая олигархия.

Явление седьмое

Стр. 509. *Фараон* — азартная карточная игра.

Явление девятое

Стр. 515. *Воровские гильдии*.— Преступный мир в Европе XVI века действительно имел определенную организацию и даже свой кодекс.

Явление десятое

Стр. 518. ...что сказал Виргиний своей падшой дочери.— Вопреки словам Веррины, дочь Виргиния не была обещана. Римский историк Тит Ливий рассказывает об этом так: Патриций Аппий Клавдий влюбился в дочь плебея Виргиния, отверг-

шую его притязания. Аппий Клавдий подговорил своего клиента Клавдия отобрать ее у отца под тем предлогом, что она была якобы дочерью его, Клавдия, рабыни, которую бездетная жена Виргиния выдала за свое дитя. Виргиний обратился к суду Аппия Клавдия, который и присудил девушку своему клиенту. Тогда отец заколол свою дочь, чтобы избавить ее от позора. Неточность, допущенная Шиллером, вероятно объясняется тем, что он спутал историю дочери Виргиния с обещанием Лукреции сыном царя Тарквина Гордого. Случай с дочерью Виргиния Лессинг использовал в своей драме «Эмилия Галотти» (1772).

Явление тринацатое

Стр. 523. *История низвержения Аппия Клавдия*.— За попытку насилия над Виргинией римский консул и децемвир Аппий Клавдий (см. предыдущее примечание) был предан суду, но суда не дождался: он покончил с собой или был умерщвлен в тюрьме (450 г. до н. э.).

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Явление второе

Стр. 524. *Лорнеты* — анахронизм: лорнетами в эпоху Шиллера назывались дамские театральные бинокли, но во времена Фиеско их еще не было; подобные оптические приборы получили распространение лишь в начале XVII века.

Явление четвертое

Стр. 529. *Французы были для Генуи что крысы: кот Дория их поиграл...*— В 1524 году Дория изгнал французов, которые до него были всесильны в Генуе.

Явление пятое

Стр. 533. *Отрок Октавиан* — Октавиан-Август, первый римский император, племянник Юлия Цезаря.

Явление четырнадцатое

Стр. 543. *Скудо* — старинная итальянская монета.

Стр. 544. *Леванто* — небольшой приморский город неподалеку от Генуи.

Явление пятнадцатое

Стр. 544. Дарсена — стоянка кораблей в старой Генуэзской гавани.

Стр. 546. Эндимион (греч. миф.) — прекрасный юноша, возлюбленный Селены (луны), которому, по ее просьбе, Зевс даровал бессмертие, погрузив его в вечный сон.

Действие пятое

Явление первое

Стр. 592. Беллона — корабль Андреа Дории, названный именем римской богини войны Беллоны.

Явление пятое

Стр. 597. Порция — жена Брута, разделявшая его республиканские убеждения и окончившая жизнь самоубийством, когда до нее дошла весть о гибели Брута.

Явление тринадцатое

Стр. 604. Девятый круг преисподней.— В «Божественной комедии» Данте в девятом круге ада томятся изменники.

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

Стр. 613—722

Замысел этой «мещанской трагедии» зародился у Шиллера на гауптвахте, куда его посадил герцог Карл-Евгений Вюртембергский за самовольную отлучку в Мангейм. «Луиза Миллер», как первоначально называлась эта пьеса, была спутницей скитаний Шиллера после бегства из Штутгарта. По свидетельству друга поэта, музыканта Штрейхера, трагедия окончательно сложилась в голове автора во время их совместного путешествия пешком из Мангейма во Франкфурт (где Шиллер посетил мать Гете, на которую произвел «самое выгодное впечатление»). Еще не завершив работы над «Заговором Фиеско в Генуе», поэт тогда же набросал подробный план этой трагедии. В письме к Дальбергу (от 3 апреля 1783 года) Шиллер, говоря о своей работе над пьесой, называет ее «смелой сатирой и глумлением над породой шутов и негодяев из знати». Спустя месяц он пишет, что «Луиза» гонит его с постели уже в пять часов утра. Хотя воображение

Шиллера занимал уже новый драматический замысел — «Дон Карлос», пьеса все же была закончена в сентябре 1783 года и тогда же передана Дальбергу. Ознакомившись с нею, одаренный актер и драматург Иффланд посоветовал автору дать пьесе название «Коварство и любовь».

9 марта 1784 года пьеса «Коварство и любовь» была впервые сыграна на сцене Мангеймского театра. Дальберг на сей раз не потребовал от автора каких-либо изменений. Успех пьесы не уступал успеху «Разбойников». Всего пять лет отделяло первое представление «Коварства и любви» от начала французской буржуазной революции, и мысли, с неслыханной до того силой и пафосом выраженные в этой пьесе, вполне отвечали настроению широких кругов общества. Во многих действующих лицах зрители узнавали живых людей: незримо присутствовавший за сценой герцог был слишком похож на герцога Карла-Евгения Вюртембергского. Леди Мильфорд имела своим прототипом графиню Франциску фон Гогенгейм, любовницу герцога Вюртембергского, с которой он позднее обвенчался; президент фон Вальтер — его министра Монмартина, достигшего власти путем преступления; секретарь Бурм — пронырливого разночинца Виттледера, занявшего видное положение в административном аппарате герцогства. Но значение «Коварства и любви» далеко превосходило значение острого политического памфлета. В этой пьесе замечательно сочетались революционный романтизм, страстные тирады против насквозь прогнившего феодального строя Европы конца XVIII века — с глубиной психологического анализа и подлинно реалистическим изображением неприглядной немецкой действительности.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Явление второе

Стр. 639. *Вчера семь тысяч сынов нашей родины отправлены в Америку... — Мелкие немецкие князья продавали солдат Англии, ведшей тогда войну с Францией из-за северо-американских колоний.*

Явление третье

Стр. 645. *Томас Норfolk — четвертый герцог Норfolk (1536—1572), которого леди Мильфорд называет своим предком, претендовал на руку Марии Стюарт и вел тайные переговоры об*

ее освобождении и восшествии на английский престол с папой и испанским королем Филиппом II. За это он был казнен правительством королевы Елизаветы Английской.

Д Е И С Т В И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

Я в л е н и е т р е т ъ е

Стр. 682. *Можно подумать, что... его переиздал тюбингенский книгопродавец.*— Тюбингенские книгопродавцы беззастенчиво перепечатывали книги известных писателей, в частности Шиллера, часто крайне неряшливо, с грубыми искажениями текста.

C. Апти и Н. Вильмонт

СОДЕРЖАНИЕ

H. Вильмонт. Фридрих Шиллер 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

1 7 8 0

<i>Прощание Гектора. Перевел Л. Мей</i>	79
<i>Амалия. Перевел Л. Мей</i>	80
<i>Брут и Цезарь. Перевел В. Левик</i>	80
<i>Могильная фантазия. Перевел Ф. Мюллер</i>	82
<i>Колесница Венеры. Перевел Л. Гинзбург</i>	84

1 7 8 1

<i>Дурные монархи. Перевел Л. Гинзбург</i>	93
<i>Элегия на смерть юноши. Перевел Л. Гинзбург</i>	96
<i>Журналисты и Минос. Перевел Л. Гинзбург</i>	99
<i>Вытрезвление Бахуса. Перевел Л. Гинзбург</i>	102
<i>Мужицкая серенада. Перевел Л. Гинзбург</i>	104
<i>Возмездие муз. Перевел Л. Гинзбург</i>	105
<i>Фантазия к Лауре. Перевел В. Левик.</i>	107
<i>Лаура у клавесина. Перевел В. Левик</i>	109
<i>Восхищение Лаурой. Перевел В. Левик</i>	110
<i>Руссо. Перевел Л. Мей</i>	111
<i>Детоубийца. Перевел Л. Гинзбург</i>	111
<i>Битва. Перевел Ю. Александров</i>	115
<i>Триумф любви. Перевел А. Кочетков</i>	117
<i>Фортуна и мудрость. Перевел Ф. Тютчев</i>	122
<i>Моралисту. Перевел Ю. Александров</i>	123

Гению весны. <i>Перевел К. Фофанов</i>	124
Величие мира. <i>Перевод под ред. Н. Вильмонта</i>	124
К цветам. <i>Перевел А. Фет</i>	125
Тайна воспоминаний. <i>Перевел Аполлон Григорьев</i>	126
Группа из Тартара. <i>Перевел В. Левик</i>	128
Элизиум. <i>Перевел В. Левик</i>	129
Дружба. <i>Перевел В. Левик</i>	130
Памятник разбойнику Моору. <i>Перевел В. Левик</i>	131
Беглец. <i>Перевел В. Левик</i>	133
К Минне. <i>Перевел Ю. Александров</i>	134
Граф Эберхард Грейнер. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	136

1 7 8 2

Достоинство мужчины. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	139
Зимняя ночь. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	142
Сравнение. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	143

1 7 8 4

Борьба. <i>Перевел А. Майков</i>	145
Отречение. <i>Перевел Н. Чуковский</i>	146

1 7 8 5

К радости. <i>Перевел И. Мишимский</i>	149
Прощение. <i>Перевел В. Левик</i>	152
Кернеру. <i>Перевел Л. Остроумов</i>	153

1 7 8 6

Непобедимая армада. <i>Перевел В. Левик</i>	154
---	-----

1 7 8 8

Боги Греции. <i>Перевел М. Лозинский</i>	156
Знаменитая женщина. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	160

1 7 8 9

Художники. <i>Перевел Е. Эткинд</i>	164
-------------------------------------	-----

1 7 9 5

Поэзия жизни. <i>Перевел Ю. Александров</i>	177
Власть песнопения. <i>Перевел И. Мишимский</i>	178
Танец. <i>Перевел Д. Бродский</i>	179

Пегас в ярме. <i>Перевел В. Левик</i>	180
Мечты. <i>Перевел В. Жуковский</i>	183
Вечер. <i>Перевел А. Фет</i>	185
Метафизик. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	186
Достоинство женщин. <i>Перевела Т. Спендиарова</i>	186
Прощанье с читателем. <i>Перевел Ю. Александров</i>	188
Идеал и жизнь. <i>Перевел В. Левик</i>	189
Гений. <i>Перевел Е. Эткинд</i>	193
Саисское изваяние под покровом. <i>Перевел Е. Эткинд</i>	194
Прогулка. <i>Перевел Д. Бродский</i>	197
Раздел земли. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	202
Мудрецы. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	203

1 7 9 5—1 7 9 6

Эпиграммы. Перевели Л. Мей, М. Михайлов и Е. Эткинд

1. Дитя в колыбели	206
2. Одиссей	206
3. Неизменное	206
4. Зевс — Геркулесу	206
5. Почести	207
6. Германия и ее князья	207
7. Играющий мальчик	207
8. Иоанниты	207
*9. Сеятель ¹	208
10. Два пути добродетели	208
11. Купец	208
12. Ищущим прозелитов	208
**13. Колумб	208
14. Философский эгоист	209
15. Античная статуя — северному страннику	209
16. Немецкая верность	209
17. Наивысшее	210
18. Илиада	210
19. Бессмертие	210
*20. Теофания	210
21. Юному другу	210
22. Архимед и ученик	211
23. Человеческое знание	211
24. Певцы минувшего	211

¹ Переводы Л. Мая помечены*, переводы М. Михайлова**.

25. Путеводители жизни	212
26. Карфаген	212
27. Зенит и Надир	212
28. Лучшее государственное устройство	213
29. Законодателям	213
30. Гордость человека	213
31. Достойное уважения	213
**32. Лжеучение	213
**33. Источник юности	213
34. Круг природы	213
35. Подарок	213
36. Гений с опрокинутым светильником	214
37. Могущество женщины	214
38. Добротель женщины	214
39. Приговор женщины	214
40. Суд женщины	214
41. Идеал женщины	214
42. Прекраснейшее явление	215
43. Греческий гений	215
44. Ожидание и исполнение	215
45. Общая участь	215
46. Человеческая деятельность	215
47. Отец	215
48. Любовь и желание	216
**49. Добро и величие	216
50. Правление	216
51. Филистер и прекраснодушный	216
52. Субъект	216
53. Уродство	216
54. Пружины	216
55. Истина	216
56. Красота	217
57. Условие	217
58. Предпочтение	217
59. Воспитатели	217
60. Рассудок	217
61. Фантазия	217
62. Сила поэзии	217
63. Остроумие и рассудок	217
64. Посредственное и доброе	218
65. Значение	218

66. Немецкий гений	218
67. Поэт-моралист	218
68. Средство соединения	218
69. Уловка	218
70. Возвышенная тема	218
71. Эпоха	218
72. Непростительное	219
73. Данайды	219
74. Новейшие законодатели вкуса	219
75. Кант и его толкователи	219
76. Дух и буква	219
77. Наука	219
78. Философская беседа	219
79. Германское государство	219
80. Немецкий шедевр	220
81. Немецкая комедия	220
82. Естествоиспытатели и трансцендентальные философы	220
83. Ученое общество	220
84. Объявление книгопродавца	220
85. Преждевременным объединителям	220
86. Грекомания	220
87. Опасные последствия	221
88. Баловни счастья	221
89. Вольфовский Гомер	221
90. Гомериды	221

1 7 9 6

Дева с чужбины. <i>Перевел И. Мишимский</i>	222
Помпея и Геркуланум. <i>Перевел Д. Бродский</i>	223
Жалоба Цереры. <i>Перевел В. Жуковский</i>	224
Два пола. <i>Перевел Е. Эткинд</i>	228
Дифирамб. <i>Перевел В. Жуковский</i>	229
Памятки. <i>Перевел Е. Эткинд</i>	
1. То, чему бог научил...	229
2. Различное назначение	230
3. Животворящее	230
4. Двоякий способ действия	230
5. Сословное различие	230
6. Ценное и достойное	230
7. Нравственная сила	230

8. Сообщение	230
9. К*	231
10. К**	231
11. К***	231
12. Нынешнее поколение	231
13. К музе	231
14. Ученый труженик	231
15. Долг каждого	231
16. Задача	231
17. Собственный идеал	232
18. Мистикам	232
19. Ключ	232
20. Критику	232
21. Мудрость и ум	232
22. Согласие	232
23. Политическое учение	232
24. <i>Majestas populi</i>	233
25. Исправителю мира	233
26. Моя антипатия	233
27. Астрономам	233
28. Астрономические сочинения	234
29. Лучшее государство	234
30. Моя вера	234
31. Внутреннее и внешнее	234
32. Друг и враг	234
33. Свет и цвет	234
34. Прекрасная индивидуальность	234
35. Идеальная свобода	234
36. Многообразие	235
37. Три возраста природы	235
38. Гений	235
39. Подражатель	235
40. Гениальность	235
41. Исследователи	236
42. Редкое сочетание	236
43. Безупречность	236
44. Закон природы	236
45. Выбор	236
46. Музыка	236
47. Язык	236
48. Поэту	237

49. Мастер	237
50. Пояс	237
51. Дилетант	237
52. Болтуны — ценители искусства	237
53. Философские системы	237
54. Благосклонность муз	237
55. Печать в виде головы Гомера	237
Мелочи. Перевел Е. Эткинд	
1. Эпический гекзаметр	238
2. Дистих	238
3. Восьмистрочная станса	238
4. Обелиск	238
5. Триумфальная арка	238
6. Прекрасный мост	238
7. Ворота	238
8. Собор святого Петра	238
Реки. Перевел Е. Эткинд	
1. Рейн	239
2. Рейн и Мозель	239
3. Дунай в ***	239
4. Майн	239
5. Заал	239
6. Ильм	239
7. Плейса	239
8. Эльба	239
9. Шпре	240
10. Везер	240
11. Целебный источник в ***	240
12. Пегниц	240
13. ...ные реки	240
14. Зальцах	240
15. Анонимная река	240
16. Les fleuves indiscrets	240
Иеремиада. Перевел Е. Эткинд	
Философы. Перевел Владимир Соловьев	
Тень Шекспира. Перевел Вс. Рождественский	
Театр жизни. Перевел Е. Эткинд	
Встреча. Перевел Е. Эткинд	
Тайна. Перевел Л. Гинзбург	
Ожидание. Перевел Л. Мей	
К Эмме. Перевел В. Жуковский	

1797

На день рождения госпожи Гризбах.	<i>Перевел Л. Гинзбург</i>	251
Слова веры.	<i>Перевел Л. Гинзбург</i>	252
Свет и тепло.	<i>Перевел Л. Гинзбург</i>	253
Ширина и глубина.	<i>Перевел Е. Эткинд</i>	254
Кубок.	<i>Перевел В. Жуковский</i>	254
Перчатка.	<i>Перевел В. Жуковский</i>	259
Поликратов перстень.	<i>Перевел В. Жуковский</i>	260
Надовесский похоронный плач.	<i>Перевела Т. Спендиарова</i>	263
Рыцарь Тогенбург.	<i>Перевел В. Жуковский</i>	265
Ивикины журавли.	<i>Перевел Н. Заболоцкий</i>	267
Хождение на железный завод.	<i>Перевел Л. Гинзбург</i>	272
Надежда.	<i>Перевел А. Фет</i>	279

1798

Счастье.	<i>Перевел Е. Эткинд</i>	281
Бой с драконом.	<i>Перевел В. Левик</i>	283
Порука.	<i>Перевел В. Левик</i>	291
Элевзинский праздник.	<i>Перевел В. Жуковский</i>	295
Солдатская песня.	<i>Перевел Л. Гинзбург</i>	301
Жалоба девушки.	<i>Перевел Н. Чуковский</i>	302
Ненин.	<i>Перевел М. Михайлов</i>	303

1799

Песнь о колоколе.	<i>Перевел И. Мишимский</i>	304
Изречение Конфуция.	<i>Перевел Е. Эткинд</i>	315
Слова безумия.	<i>Перевел Д. Цертелев</i>	316

1800

К Гете.	<i>Перевел Н. Вильмонт</i>	317
Песня привратника.	<i>Перевел Ю. Александров</i>	319
Немецкая муз.	<i>Перевел А. Кочетков</i>	320
Античные статуи в Париже.	<i>Перевел Е. Эткинд</i>	320

1801

Начало нового века.	<i>Перевел В. Курочкин</i>	321
Желание.	<i>Перевел В. Жуковский</i>	322
Орлеанская дева.	<i>Перевел А. Кочетков</i>	323
Геро и Леандр.	<i>Перевел В. Левик</i>	324

Притчи и загадки. *Перевел Е. Эткинд* : 331

1 8 0 2

Благоволенье мига. <i>Перевела Т. Спендиарова</i>	339
Друзьям. <i>Перевел Н. Чуковский</i>	340
Четыре века. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	342
Кассандра. <i>Перевел В. Жуковский</i>	344
Тэкла. <i>Перевел Аполлон Григорьев</i>	347

1 8 0 3

Юноша у ручья. <i>Перевел К. Фофанов</i>	349
Путешественник. <i>Перевел В. Жуковский</i>	350
Пуншевая песня. <i>Перевел Л. Мей</i>	351
Пуншевая песня. Для севера. <i>Перевел Л. Гинзбург</i>	352
Граф Габсбургский. <i>Перевел В. Жуковский</i>	354
Торжество победителей. <i>Перевел В. Жуковский</i>	357

1 8 0 4

Горная дорога. <i>Перевел В. Жуковский</i>	362
Альпийский стрелок. <i>Перевел Л. Мей</i>	363

1 8 0 5

В альбом другу. <i>Перевел Ю. Александров</i>	365
---	-----

ДРАМЫ В ПРОЗЕ

Разбойники. Драма в пяти действиях. <i>Перевела Наталия Ман</i>	369
Заговор Фиеско в Генуе. Республикаанская трагедия. <i>Перевел Вс. Розанов</i>	497
Коварство и любовь. Мещанская трагедия. <i>Перевел Н. Любимов</i>	613
Комментарии. <i>С. Апт и Н. Вильмонт</i>	723

Редактор Б. Арон и Н. Вильмомонт

Художник Г. Фишер

Художеств. редактор А. Ермаков

Технич. редактор Д. Ермоленко

Корректор А. Иванова

Сдано в набор 12/III 1955 г. Подписано к печати 25/V 1955 г.
А 02766. Бум. 84×108^{1/2}. 48,75
печ. л.=39,97 усл. печ. л. 37,87 уч.-
изд. л.+1 вкл. = 37,92 л. Тираж
75 000 экз. Зак. 193. Цена 12 р.

Гослитиздат.

Москва, Ново-Басманная, 19.

З-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфпрома Министерства культуры СССР. Москва,
Краснопролетарская, 16.